

Наталия Курчатова, Ксения Венглинская

Лето По Даниилу Андреевичу



ПЯТЫЙ РИМ

МОСКВА

2018

ОБОРОТ ТИТУЛА

Там, где ищут мифа, там жаждут события.

Филипп Лаку-Лабарт, Жан-Люк Нанси

Оттаявший под солнцем город застывал к ночи. Все громче пахло чем-то мертвым и весной, но лужи, перебродив, возвращались к морозу. Темные окна смотрели человеку в затылок. Ловили стук шагов, отзывались гулкими каплями звука между соседних стен. Воздух шевелился в поблескивающих стеклах. Облизанный холодом асфальт скользит из-под ног, ветер. Небо бежит между туч темными пятнами.

На перекрестке лед треснул под ее каблуками. Из проулка почти неслышно вышел человек. Она не решилась ни перейти улицу, ни бежать прочь, пока он приближался, успокаивая, усыпляя расслабленной походкой, чем-то знакомым в движениях и осанке. Отблески света, островки тени колебались вокруг, в ореоле гаснущего фонаря. Он перешел улицу. Обернулся. Подъехала машина.

— Янка, merde! — разразился знакомым картавым ругательством. И добавляет уже гладко, четко, по-учительски, будто — дети, откройте тетради: — Куда тебя понесло, коза?

Яна послушно остановилась. Данька подошел, толкнул ей в ладонь твердую маленькую руку:

— Держись. Пошли. Я тачку поймал.

Апрель, холодно, где-то стучит вода, где-то над крышами домов возвращаются птицы. Из клуба вываливается компа-

¹ Утешение (*лат.*). Обряд посвящения у еретиков-катаров; приятие человеком своего небесного духа, наделяющее правом проповедовать и учить.

ния; видят такси с зеленым пока огоньком и направляются к ним. Кто-то зовет Грабовскую. Яна оборачивается.

— Мы поедем без них, — безапелляционно заявляет Данька и бормочет: — Надо ж так обдолбаться...

Заталкивает ее в машину.

— Поучи меня жизни еще... — возмущается Янка. — Teacher, leave the kids alone!¹ Как будет я вас люблю по-французски?

— Я вас люблю или люблю по-французски?

— Пошляк...

Данька отворачивается в окно и негромко говорит:

— Je vous aime.

...И все-таки с начала, то есть с осени.

Река вздувалась и шипела, выползая из берегов, распалась, заполняя собой город, превращалась в бесконечный октябрьский дождь. По гибкому, чуть вибрирующему среди зарослей дождя мосту шагал темный и мокрый человек.

Он смотрел сначала вниз — вздыбленная шерсть реки волновалась под порывами тяжелого ветра, тростинки дождя колыхались, дрожали, уходили все выше.

Он оглянулся — на берегу дождь постепенно редел, ближе к острову, наоборот, темнел и клубился. Мост выгибался между двумя дождями и постепенно подходил к концу. Человек шел все дальше и вскоре исчез вместе с островом, который оброс дождем так сильно, что стал частью реки.

Такая уж была эта осень — лихорадочные, совсем майские ливни с торжествующего воя и гула переходили на захлебывающийся плач; остепенившись, входили в ритм и обрушивались на город с тяжелой размеренностью небесных мар-

¹ Учитель, оставь детей в покое (*англ.*). Цитата из знаменитой композиции «The Wall» группы Pink Floyd.

шей. Бледное, умытое, до жестяной белизны стертое солнце сверкало, слепило нещадно и холодно, так продолжалось уже не первую неделю, но вот сегодня было тепло и просто ветер. На лестнице ветер распахивал окна, рамы скрипели в тишине обезлюдившего здания. Вниз по ступенькам текла позабытая пыль. Четвертый этаж, конец коридора, окно, настесь, лейтенант Ворон остановился и посмотрел вниз. Ключья листьев и туч, середина солнца. Ветер густой и свежий, дышишь, как пьешь, и чем больше, тем больше хочется. Дальше по улице заурчала машина. Дружинники входили в город.

Машина мягко тычется длинным носом в ноздреватый, осевший сугроб.

— Куда мы приехали? — Яна сквозь окно вглядывается в темноту. По одну сторону маленького бульвара — мокрые хрущевки, по другую — забор воинской части и колонны офицерского клуба.

— Тебе не без разницы? С милым вместе всюду рай.

— В рай? В таком состоянии?

— Со мной можно.

— Твой рай слишком смахивает на казарму. Ты отдашь меня солдатам?

— А как же. Командир велит делиться.

— Так ты теперь херувим? Интересно, от какого слова.

— От слова ангел.

— Слушай, а у вас бывают утренние поверки? Я ведь не проснусь!

— В раю не спят.

— Тогда зачем я тебе в раю?

— Чтобы не спать.

— А Дружина — это что за часть? Спецназ какой-нибудь?

— Ага. Всадники апокалипсиса.

— Вот уж не думала, что тебя возьмут.

— Считаю, что я напросился. А ты что, читаешь мой живой журнал?

— Коля Карташов показывал. Сказал — посмотри, твой Ворон пишет журнал из армии. Мы очень, — Яна икает, — очень беспокоились, как ты там.

— Вашими молитвами. — Ворон смеется, в темноте взблескивают зубы. Об руку с Яной вываливается из машины; в сырую тишину и глушь маленького предместья. Янка тут же лезет в кусты — блевать.

— Дань, я так за тебя переживаю, аж тошнит, — оправдывается она.

Данька никак не перестанет ржать; тащит ее из кустов, встряхивает за плечи. Он тоже слегка не в себе, пьян. До беспечности, не до тоскливой дурноты. Они возятся у парадной; оба ладные, небольшого роста, в тяжелой зимней одежде. На снег ложится желтый квадрат света из позднего окна. В столбе мечутся капли: не то снег, не то дождь. Волосы липнут Даньке на лоб, Яна хрипло смеется и фыркает ему в лицо. Голова ее болтается, как наспех пришитая. Он щиплет ее за щеки. Под пальцами выступают розовые пятна; деревья бормочут в вышине, дверь в парадную он открывает ногой, заталкивает Янку в темноту. Такси за спиной отъезжает, шуршит пластами растревоженного снега.

Дома он обрушивает ее на тахту. Яна лежит молча, потом начинает раздеваться. Отводя глаза, он собирает ее шмотки. Уносит в ванную. Когда возвращается, она сидит за столом в его футболке и пытается подключить интернет.

— Чего ты хочешь? — спрашивает он.

— Продолжения... — Яна запрокидывает голову и смотрит. В желтом свете настольной лампы лицо у нее восковое, на лбу — мелкие капельки пота.

Не удержавшись, он проводит тыльной стороной руки по ее кругленькому упрямому лбу.

— Читай.

Экран загорается, трещит коннект.

Пока лейтенант Ворон шел впереди двух потешных воинов в камуфляже, при шпорах, в кепи; шел по широкой лестнице особняка, в мирное время последовательно занимаемого десятком учреждений — от прокуратуры до редакций газет, до клуба филателистов или сельскохозяйственной библиотеки — отлично строили древние — снаружи красиво, изнутри просторно; пока шел, неспешно покачиваясь на гладких плитах ступеней, давая солдатам возможность поохать на реку в бескрайних окнах; пока шел, он много передумал, короче. Забрали его в конце лета. Накануне он умудрился вылететь из аспирантуры — притом что, в отличие от большинства, поступал с серьезными намерениями; уже к третьему курсу знал, о чем и приблизительно как будет писать диссер. Легковесность вообще ему была не свойственна, а вот легкомыслие — то да. Умотав в апреле в Египет, очнулся только на Казантипе. Вернулся в город худой, безмозглый и дочерна загорелый, провал научной карьеры воспринял философски, месяц проболтался в интернете, с удивлением отмечая желтеющие листья и усложнившуюся общественно-политическую обстановку: кого-то суетливо сажали, росли цены на бензин и на маршрутки, объявляли новую свободу, отменяли новую свободу, прикручивали гайки, шумели демонстрации в полдесятка участников. Мимо всего этого будущий лейтенант Ворон проходил в знакомый бар, приподняв воротник парусиновой курточки, пока не обнаружил в ящике запыхавшуюся уже повестку. Отлично-отлично-отлично, — подумал про себя; валить? — подумал затем. А, на фига. И открыл, когда позвонили в квартиру.

— Скажи мне, кому нужны лейтенанты со знанием старофранцузского языка Ок? — перебивает Яна.

— О'к, — Данька отодвигает сигарету в угол рта. — Сейчас отредактируем.

«...Пошел с ними спокойно» — ошибка, сборы-то отрубил, военного положения нет, кому нужны лейтенанты со знанием старофранцузского языка Ок?

— М-м-м... Вот так: «И до икоты ржал потом, примеряясь перед зеркалом к новенькой форме».

— А форма красивая?

— Глаз не оторвать. В национальном, знаешь, стиле.

— Это что? Галифе и буденновка с двуглавым орлом?

— А что... — улыбается Ворон и снова лезет в компьютер.

— Что ж ты так, — продолжает сокрушаться Янка. — Своими мозгами из аспирантуры вылететь... Не, Дань, это надо уметь.

Данька кидает на нее быстрый взгляд из-под отросших волос. Так и запишем, — сообщает. Лицо у Яны становится обиженное.

— Дань.

— Что?

— Ты ведь наврал? Это же все неправда? Пишешь, что тебя забрили, а у самого волосы длинные.

— Мы в дружине — как сказочные корейские воины. Косы отрачиваем. Я еще сопляк, поэтому...

Закончить фразу не получается, потому что очень весело. Посмеиваясь, он набирает текст. Яна внимательно смотрит на экран, где буква за буквой появляется новая история про лейтенанта Ворона.

— Ну ты здоров пиздеть, — наконец выдыхает она. Тычет его кулачком под ребра и привстает из-за компа. — Это же неправда все, Дань? Фэйк?

— Конечно, фэйк. Роман. Литература, — улыбается Данька. — Там же от третьего лица, ты не заметила? — Смотрит с нежной насмешкой. Треплет по волосам. — Как себя чувствуешь? Нормально? Тогда иди спать.

Яна выползает из-за стола и почти моментально проваливается — не в сон даже, а в дремотный бред. Ей все-таки

нехорошо; сколько раз обещала себе, что с этим неправильным парнем покончено, и вот опять. Оглушительно стрекочет компьютер; этому как его Даньке не спится — шатается по комнате, как привидение. Трогает мышку; монитор загорается. Свернутый документ саднит в глубине экрана.

Утром она встает и бродит в двух комнатах, как потерянная. Звучное весеннее солнце рушит с крыши град веселых капель. Данька не просыпается; лежит мордой в подушку и ничего не хочет слышать.

— Дань, где моя одежда?

— В ванной. Ты ее всю вчера заплевала.

И мычит что-то произвольное.

— Да... — Яна задумчиво ковыряет в ухе ватной палочкой. — Кое с чем надо завязывать. А ты правда меня любишь?

— Je vous aime? — он мучительно усмехается в подушку. — Ян, у французов это высказывание, как правило, ничего не означает. Ну разве что — какая ты невыносимо прикольная.

Данька тянется за штанами. Садится на кровати и смотрит на женщину — ей двадцать пять едва, но утром она выглядит не ахти. Пахнет от Янки кисловатым пожившим духом; есть желание вытряхнуть ее, как траченную молью шубку. Увезти подальше, запретить красить морду, жрать суши и невеститься по клубам. На все это он не имеет никакого права.

— Что ты вылупился на меня, а? — тоскливо тянет Янка, в окно глядя. — Давай уедем куда-нибудь.

Солнце безжалостно высвечивает ее лицо — одновременно осунувшееся и помятое, будто провисшее вовнутрь. Даньку переворачивает от жалости, а еще — от неожиданного пересечения желаний. Черт, ладно, — вскакивает он и уходит в ванную. Она видит, что он спал в трусах.

— Дань, а мы не трахались еще? — игриво заглядывает она в ванную, уже понимая, что победила. Данька сердито задергивает занавеску.

— По последним сведениям, оргазм увеличивает интеллектуальную мощь! — хохочет Янка из коридора. Топает босыми пятками в кухне; Данька ожесточенно намыливает голову под душем. Она возвращается, сует к нему востренькую длинноносую мордочку. Переливается вся, чуть хвостом не виляет:

— Дань, а помнишь, у тебя там про Египет написано? Может, рванем в Дахаб?

— Предлагаешь эксперимент в реальном времени? — смеется Ворон, стряхивая с себя клочья пены. Вздергивает подбородок и смотрит сквозь мутную занавеску. Теплые капли на занавеске дрожат и сливаются. Яна улыбается с лукавинкой; хватает за подбородок, комкая занавеску, и целует полиэтилен, припечатывая к его рту. Пока Данька пытается отдернуть полотнище, она выскальзывает из ванной и хохочет откуда-то с кухни.

— Тебе бутерброд сделать? — кричит она.

— Не трогай ничего там! — командует Данька, торопливо запахивая халат. — Я сам сейчас... что-нибудь приготовлю.

— Ах, да! Мазафака повар.

— Допрыгаешься сейчас, — обещает. Хлопает дверью ванной. Яна с сигаретой в зубах грохочет сковородками.

— За каким хером столько, — сокрушается она, — ты что, черт? Грешников поджаривать?

— Угомонись, — отстраняет ее Данька. — Сядь и не отражай.

Поддергивая длинную футболку, Яна устраивается в плетеном кресле. Задница в стрингах; невозможно; аж внизу живота поднывает. Данька отворачивается к плите. Он изо всех сил пытается сосредоточиться, включить голову и что-то про себя решить.

— К солнышку хочется.... — ноет за спиной Янка. — У тебя деньги есть? Ты из школы можешь отпроситься?

Данька двигает на огонь сковородку и чуть не обжигается. Черт с тобой.

— Я из школы уже год как ушел, — напоминает он. — А деньги... найдутся.

Через два дня он снимает с карточки все деньги, что мама дарила, а он никогда не брал. Они с Яной улетают в Дахаб.

— Ну что вы говорите! — всплеснула полными белыми руками директриса. — Без опыта работы... не справитесь, совершенно невозможно. К тому же историк у нас худо-бедно... Я взяла с нее слово не уходить, пока мы не подыщем подходящей замены. — Директриса примиряюще улыбнулась. — Вы молодой человек, в конце концов. У вас практика на истфаке будет, тогда и придете. А пока — зачем вам это надо?

Директриса пожала плечами, улыбнулась и переложила на столе несколько бумажек.

— И как вы собираетесь управляться с детьми? Сколько вам лет? Восемнадцать, как д'Артаньяну?

— Двадцать три.

— И у вас нет опыта работы?

— Есть. В газету пишу. А до университета поваром работал, — молодой человек чему-то заулыбался.

Директриса хихикнула, потом озадачилась:

— О! Эврика! У нас свободна ставка учителя труда... — взглянув в бумаги, она пояснила: — Для девочек. Учителя труда для девочек. У нас несколько лет этого предмета не было, а оценка в аттестат нужна... Позор, старшеклассницы суп варить не умеют. — Директриса хитро посмотрела на молодого человека.

Даниил Андреевич задумчиво опустил глаза.

— Но вы же не согласитесь... — и она углубилась в чтение.

— Ну почему не соглашусь... Мне кажется, что это было бы интересно.

Директриса в безмерном удивлении подняла взгляд от документов и озадаченно поправила очки.

— М-да? Вы думаете?

— ...Новый учитель?

— Да ну, да брось...

— Ну и подумашь, урок труда.

— Молоденький?

— ...И как? Симпатичный?

— Молоденький, симпатичный и опаздывает.

— Одни достоинства.

— У нас что... мужик будет домоводство вести?

Хи-хи-хи, ха-ха-ха!

— Не верю.

— Ну и не надо. Здравствуйте, девочки!

Девочки с восхищенным писком скрылись за партами.

— Меня зовут Даниил Андреевич.

По классу пробежал шепоток.

— Я буду преподавать вам домоводство.

Отчетливое хихиканье.

— Тема сегодняшнего урока — ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ОМЛЕТА.

— А у нас плита не работает, — раздалось с задней парты.

— Как не работает?

— Очень просто не работает.

Даниил Андреевич нашел глазами говорившего, усмехнулся.

— Значит, урок окончен, — девчонка с лицом грустного клоуна бросила авторучку в сумку и виновато развела руками.

— Завянь, Смирнова, — шипят рядом.

— Нет, как это не работает? — не унимался Даниил Андреевич.

— Ну не работает...

— Завянь, Смирнова!

— Так что... извините.

Даниил Андреевич нахмурился. Снял очки. Потер переносицу. Смирнова застегнула сумку и встала.

— Нет-нет, девушка, вы не торопитесь...

— Кто вам сказал, что не тороплюсь?

Девчонки захихикали. Смирнова разозлилась и покраснела. Даниил Андреевич добродушно улыбнулся, прошел через класс и встал перед виновницей торжества.

— Как вас зовут?

— Смирнова.

— Нет, как вас обычно зовут...

— Меня не зовут, я сама прихожу.

— Ну хорошо... — Даниил Андреевич угрожающе потянулся за журналом. Класс затих. — А, вот. Алевтина. Какое интересное у вас имя.

По рядам снова зашуршал смешок.

— Да, но я разрешаю вам запросто не выпендриваться и называть меня на «ты» и «Смирнова».

Всеобщее веселье.

— Ладно, — сказал Даниил Андреевич и обратился к плите. — Каждая порядочная домохозяйка должна быть немного электриком, слесарем-сантехником...

— Угу. Нефтедобытчиком и электрогазосварщиком, — отвернувшись, чтобы ее не слышали, проворчала Смирнова.

— О'кей, это тема следующего занятия, — согласился Даниил Андреевич, — а сейчас, Смирнова, мы с тобой прогуляемся к вашим молодым людям... Ничего-ничего, ты мне дорогу покажешь. Я один потеряюсь. Нам будут нужны кое-какие инструменты. А девочки пока нам тут на доске изобразят последовательность приготовления героя сегодняшней передачи. А ты чего приуныла, Смирнова? Мы вернемся скоро.

Смирновой было страшно. Она не знала, куда девать руки и что делать со своей дурацкой походкой, она не понимала, почему не слышит строгих воспитательных слов. Даниил Ан-

дреевич что-то тихо насвистывает. Первый этаж они прошли из конца в конец, она подождала его у дверей мастерской. Скоро он вышел с какими-то инструментами, и так же молча они вернулись. Он так ничего и не сказал. Наверное, у него просто не нашлось слов. Он открыл дверь класса, он вежливо пропустил ее вперед. Она застыла на пороге. Много маленьких покрашенных змеюшек. Шипят. Хихикают. На доске их идиотская художественная самодеятельность: смирнова то, смирнова се, смирнова дура. А у нее очень длинные руки и брюки тоже немодные.

— Это еще что? — за спиной возмущается Даниил Андреевич. Бушует с тряпкой, устраняет с доски алькину фамилию. Мельком оглядывается на нее; на лице сочувствие. Алька поджимает губы и вспыхивает: больно надо. Лариска кивает на нее и что-то говорит на ушко соседке — гадость какую-нибудь. Обе смеются. Альке, конечно, плевать, но она сжимается, прежде чем идти на свое место. Звенит звонок. Все. Можно бежать, можно скрыться. Она так и делает. Она налетает на Даниила Андреевича, он роняет тряпку и удивленно хлопает глазами, она слышит смех за спиной. О-ой...

— Смирнова, ты куда? Смирно-ова!

Из утомительного бэдрипа по дайверским местечкам и кислотным тусовкам они вывалились на исходе лета. По дороге из аэропорта Яна предупредила: я к себе. Я выйду у метро, — кивнул Данька. Выскочил из такси, поманил следом — на минуточку. Пока водитель распаковывал багажник, Яна закурила. Данька достал свою сумку, расплатился.

— Что это значит? — устало.

— Мне надо подумать. Я позвоню. Не беспокой меня некоторое время.

(Я — тебя — беспокоил?! — вскинулся было Данька.) Смолчал. Как язык заморозило. Стоило тратить время

на длинные дороги, разговоры, обмен физиологическими жидкостями. Некоторые люди не меняются. Он готов был весь зануть изнутри: из аспирантуры вылетел, халтуры растерял, друзья-приятели за лето вычеркнули его из оперативной памяти, все из-за этой сучки — а теперь? Молчать. Сказал себе. Теперь — молчать. Никто не заставлял, повелся — значит, самому хотелось. Но вместо этого понес какую-то несусветную, нервную чушь. Они стояли у типовой сталинской таблетки метро, налетевший перед дождем шквал метнул под ноги пыль. Повисла на шее. Пока, Данечка. Ладно, — и что-то шевельнулось в маленьких голубых глазах, — я сама позволю.

— Я что, неважно доказал свою рентабельность? — резко усмехнулся Данька.

— Можно начинать смеяться? Рентабельный ты наш, — чмокнула воздух около его уха, выкинула сигарету и вскочила в машину.

Вернувшись домой, Данька следовал нехитрому расписанию: прогулка с утра, потом уроки французского. Ученики разбежались почти все, бабла стало до неприличия мало, но особой нужды он, как ни странно, не испытывал. Выбравшись из любовной карусели, он чувствовал, будто потерпел крушение на берегу пустого гостеприимного острова. В сущности, жизнь всегда обходилась с ним, как строгий, но добросердечный родитель — ограничивая в избыточном и не отказывая в необходимом, навязывала умеренность, стоицизм и внутреннюю дисциплину. У него было где жить и что есть, мамины деньги на карточке — на черный или счастливый день — позволили выработаться и расцвести некоторому аристократизму: ему никогда не приходилось мучительно унижаться из-за копейки или заниматься чем-то, радикально противоречащим собственным принципам. При этом самостоятельности — сколько угодно, только пользуйся; в девятнадцать лет съехав от бабушки и перебравшись в пустующую

после маминой эмиграции квартиру, он был совершенно предоставлен себе. Другой бы разумно и признательно распорядился одиночеством и комфортом, но нет, — мы простых путей не ищем, — и он от души бузил, чудил и выламывался. Вечно чего-то не хватало. Или кого-то — близкого, теплого, взбалмошного, бесконечно волнующего, о ком заботиться, с кем носиться, кому навязывать нежность, любовь и неистраченную душевную энергию. Нашел себе Грабовскую; придумал ей душевный разлад, вообразил глубину, которой никак не было. Сбил девчонку с панталыку, поманил чем-то неясным и томительным, для чего сам-то слова не мог найти. Внушил опасное сомнение в простых деревянных ценностях. С ужасом и восторгом наблюдал, как из гладкой самодовольной телочки вылупляется раздерганное, порывистое существо с горячечным блеском в потерянных глазах. Но не рассчитал, не вытянул — сам изболелся и схлопнулся раньше, отпустил. А Янка, обогащенная, впрочем, некоторой интересной червоточинкой, переболела быстро и легко, затянула все ранки и трещинки. Закруглилась гулким и плотным яблочком, оформилась в прежнее бездумно-лоснящееся состояние.

Так удобнее было полагать, привычно затворившись в двухкомнатных апартаментах времен первых полетов в космос, воображать, что не она ушла, а он отпустил, сбежал, дезертировал — ведь даже чувство вины ему легче было принять, чем окончательную беспомощность и фиаско перед другим человеком, с одной стороны — олицетворяющим непобедимо упругую инертность мира, с другой — бесконечно притягательным и любимым именно за эту упрямую противоположность.

Просторная, несмотря на скудный метраж, квартира, — перед отъездом мама продала всю обстановку, собирая деньги на всякий пожарный, — населена, помимо хозяина, только самодельным книжным стеллажиком с дээспэшной панелью

откидного стола, небольшим раскладным диваном, да еще бабушкиным трюмо, журнальным столиком и банкеткой в малиновой бархатной обивке, которые смотрятся роскошно и чуждо. Телевизор с DVD-плеером, купленные на единственный пристойный гонорар в жизни, стоят прямо на полу. Стены Данька завесил отцовскими картинами, пытаясь хоть как-то одолеть пустоту. Распаковав вещи, он посвятил первый вечер походу в дешевый пивной клуб, единственное ночное заведение в округе. Просидев там оставшиеся от вояжа копейки — даже надраться толком не получилось, назавтра он занялся тем единственным, что научился делать более-менее сносно — то есть конвертированием буйной своей фантазии в слова и предложения. Так продолжалось уже две недели; никто не звонил, не отрывал, никто ничего не требовал, — мир, будто удовлетворившись восстановленным статус-кво, заломав нелепую, несвоевременную пассионарность, отступился от него — спокойно-печального, каждое утро начинающего за стареньким лэптопом, каждый день заканчивающего с любимой книжкой, перестал предъявлять счета; даже квитанции за квартиру приходили с опозданием. По вечерам Данька иногда брал бутылку вина и отправлялся на залив. Жара в конце августа концентрировалась, будто скатываясь в нескольких днях; эти несколько дней ему и выпали. Мягкие, потные, слабо гомонящие туристы брели в горку, навстречу; он торопился вниз. На маленькой каменной косе блестели пивные бутылки; гранитные валуны придавливала ступенчатая плита лестничного марша — все, что осталось от разгроханной в последнюю войну Морской караулки; чуть дальше по побережью торчали осколки стен Нижней дачи, Ново-Александрийского дворца — цирковой полосатой, охристо-терракотовой расцветки. Этот заброшенный парк нравился ему своеобразным клошарским благородством — развалины дворцов честно зарастали травой и не выпендривались, только на приморской террасе рез-

ной игрушечкой светился дворец-Коттедж, да дымно-розовая Готическая Капелла стояла вечно запертой, за забором, на холме среди императорских дубов. Солнце не падало, как на юге, но лениво валилось в залив. Данька хлопал пробкой холодного, с характерным высотным привкусом чилийского вина и на нулевом уровне моря делал первый глоток — не по правилам глубокий. Легкий хмель действовал как камень, брошенный в спокойную, мертвую воду — слои слегка смещались, шли круги: тихая, размеренная рефлексия. С тем, что Янку ему придется потерять непременно, он уже соглашался раз пять. За раз-два-три-четыре — тоже пять лет знакомства. Правда, сначала они просто приятельствовали; может быть, лучше бы так и осталось. На этом пункте он обычно начинал грустно что-то насвистывать и швырять в море камешки. Блинчики получались не ахти, жизнь тоже не задалась. Ай-ай, как нам самих себя жаль, — злобствовал про себя Данька. Он робко набирал эсэмэску и тут же решительно ее стирал. Вспоминал Янку в клубе; Янку в Дахабе; Янку у себя дома. Кадры мелькали перед глазами один за другим; внутри все сжималось от очарования и жалости. Ему было жаль ее даже более, чем себя. Все казалось, что он чем-то ее обделил, утаил от нее что-то важное.

Обычное твоё интеллектуальное высокомерие, — написал ему на днях Витас из своего Евросоюза. Такой тирадой в аське разразился; ох. Кто тебе вообще сказал, что ты лучше; умнее; что у тебя есть нечто, чего нет у нее или у меня? Но ведь ты сам в этом настолько непреложно уверен, что и других умеешь убедить. Хорошо твоей Янке; она все же натура простая, сидит небось сейчас с подружками за десертом и косточки тебе, идиоту, вяло перемывает. А вот меня, например, ты этим чуть не поломал; в свою очередь. Этой своей вечной позой немого превосходства, будто тайну какую-то знаешь, а сказать не можешь: не поймут дураки потому что. А всего-то ты сноб дешевый, Даня.

Такой отповеди, друг мой детства, я от тебя не ожидал, — отписал ему Данька, и улыбочек пририсовал невразумительных: аффтар жжот, типа. Ладно, — ответил Витька. — Иди, что ли, пиши свою нетленку; лейтенант Ворон. А ведь про Яну ты с самого начала мне говорил, что у вас ничего не получится. Помнишь? Так не ной теперь. Как скажем, так и будет, верно?

Верно. Данька усмехнулся и закрыл ноутбук. Пора было идти домой проверять почту. Сеть в последнее время лежала через раз; из дома вечно было не дозвониться. В редакцию смотреть, что ли, — Данька зевнул на залив. Чайки обнагтели; он их прикармливал обычно, а вот сегодня ничего нет. Носятся над головой и орут. Да и смеркается уже; август. Он затолкал ноутбук в рюкзак и, загребая сандалиями мусорный серый песок, пошагал домой.

— Слушай, Смирнова, нарвешься! Вот будешь Даньку изводить, он от нас к старшим уйдет, а мы тебя вздуем. Уродина, — закончила свою речь Лариска.

— Сама уродина, — сказала ей Алька. — Блин, фанатки омлетов.

Хлопнула дверь. Это опоздал Даниил Андреевич. Смирнова поспешно слезла с учительского стола, Лариска Антоенко поправила локон и сделала глазки.

— Тема сегодняшнего урока...

— Яичница, — прошептала на весь класс Алька.

— Нет, — огорчился Даниил Андреевич. — Тема сегодняшнего урока — техника безопасности...

— При общении с молодым смазливый учителем труда, — прошипела Алька на ухо сидящей впереди Лариске. Та ответила ей негодующим взглядом из-за плеча. Даниил Андреевич гневно хлопнул ладонью по столу. Акустика в кабинете была хорошая.

— Смирнова! Расскажи мне, как ты будешь готовить омлет.

Алька молча покраснела.

— Я не люблю омлет.

— Ну а ты представь, что я попросил тебя приготовить омлет мне.

— Так вы же сами прекрасно справитесь. Вот у вас какая фамилия?

Даниил Андреевич задумался.

— Ворон, — наконец с вызовом сказал он и почему-то тоже покраснел, — а при чем тут омлет?

— Ну как при чем? А вот когда вы женитесь, как вашу жену будут звать?

— А я почему знаю... — совершенно потерялся Даниил Андреевич.

— А вот я знаю. Очень просто. Во-ро-на. Вот она вам омлет и приготовит. А меня зовут просто...

— Смирнова. Дай дневник.

— Я дома забыла.

— Она врет, — выступила Лариска. — Он вот! — быстрым движением она вытянула алькин дневник из-под учебника истории. Даниил Андреевич молча смотрел на Алевтину. Она опустила голову, вырвала у Лариски дневник.

— Берите.

Ворон покачал головой и сел за стол. Снял очки, провел руками по лицу. Сказал тихо:

— Ладно. Оставь себе. На чем мы там остановились?

Вернувшись в город, Яна решила круто изменить свою жизнь. Он чуть не упал со стула, когда позвонил и услышал от автоответчика заявление, что мы позвонили Янине Эдуардовне, но сейчас она на работе. Янина Эдуардовна принадлежала к типу девушек, которые не работают никогда.

Было одиннадцать утра. Сам он только что проснулся от бьющего в лицо света; в легкой дурноте. Накануне за-

чем-то терся в «Варшаве». Веселый богемный кабачок доживал последние деньки — сначала перессорились хозяева, потом ушла тусовка и появились орды студенток и иностранцев. Разноцветная и разноязыкая толпа танцевала в едином удушающем ритме. Протолкался сквозь, его несколько раз облили пивом. В воздухе стоял запах табака и резкого алкогольного пота. Примостился у стойки со стаканом вискаря. Года полтора назад чуть не любой тусовочный вечер начинался отсюда; сейчас он видел только одно-два лица из числа смутно знакомых. Две блондинки составляли планы на вечер в обществе высокого улыбчивого немца. Рядом тихо напивался актуальный некогда художник. Через человека молодой грузинский антиквар пикировался с очередной барышней на тему судеб мятежной Абхазии. Абхазия была наживкой, на которую антиквар без промаха ловил девиц. Вот и сейчас очередная — доказывала, кипятилась, а лукавый генацвале знай подливал вина. Что непременно менялось — так это программный хит. Новая музыка позволяла сохранять иллюзию того, что завсегдатаи перемещаются вместе со временем. Бегут на гребне и обновляют события и чувства, а не только собеседников.

Данька выпил довольно много дешевого вискаря; катал обмылки льда под языком и пытался достичь состояния алкогольного благодушия, когда каждый случайный человек кажется увлекательным. Часа через полтора поймал себя на том, что стоит на улице; уже с пивом, в окружении упоенно щебечущих бельгийцев. По-французски обещает показать им город и тоскливо высматривает Яну дальше по переулку. Слова чужого языка, августовская ночь и эта душная, бессмысленная тоска — все складывалось в затертую, с чересполосицей помех, кинокартинку. Из распахнутых дверей «Варшавы» наружу рвался очередной клубный хит. Бельгийские девушки хохотали и звали потанцевать. Данька застегнул куртку и тихо отступил в темноту. На его место в кругу тут

же втиснулся грузинский антиквар с изрядно нагружившейся подругой.

Вернувшись домой в четвертом часу ночи, он примостился на кровати с ноутбуком. Полуспящий, сонный, обескураженный. В привычном окружении, недавно таком комфортном, он чувствовал себя пустотой, выпавшим звеном, лакуной.

До поры-времени ты смотришь новые фильмы, ходишь в правильные места и одеваешься как они. Не задумываясь, попадаешь в такт, все вокруг кружится, ты искренне интересуешься людьми и журналами, обещающими тебе отличный вечер, замечательный сезон и уникальный шопинг. Как все вокруг невыносимо прикольно! В поисках забвения можно прилепиться к собрату, вдвоем генерировать поле самообмана, с созданием которого перестал справляться в одиночку. Или загрузить себя работой, от звонка до звонка конвертировать жизнь в лавэ, городить вокруг огород товарно-статусных отношений. Или зарыться в культурный перегной, зажить червем, стараясь не замечать ничего вокруг. Любовь, семья, работа, культура и потребление как культ — тот же самый опиум, анестезия, воздвигающая спасительный барьер между человеком и тем, что, по одной версии, составляет его предназначение, а по другой — беду и грех. Яблочко от яблони, семечко осознания видимого мира, к которому все разумное и доброе не имеет никакого отношения, а вот вечное — вечное да.

— Альбигойцев своих опять начался, а? Еретик несчастный, — в аське проснулся Витас. — Ощущаешь видимый мир как царство нечистого с рогами?

Данька улыбнулся в ответ.

— Вполсилы пока ощущаешь. На вот, ссылочку прочитай.

Данька машинально щелкнул по предложенной строчке. В новостях говорилось о молодежном параде на день рождения Москвы, об отмене военной кафедры и о формиро-

вании нового подразделения внутренних войск, призванного охранять покой жителей больших городов, бороться с терроризмом и отчасти заменить коррумпированных милиционеров.

— Большинство тысячелетиями прятало головы в песок, а избранные по этим головам ходили. Только так все и держится. Кем бы тебе хотелось? Как правило, остается еще несколько вакансий очевидцев, но они, как бы сказать... временные, что ли. Из аспирантуры-то вылетел?

— Да.

— Плохо дело. Скоро может появиться возможность живо поучаствовать в реальности. Не уверен, что тебе понравится. А приезжай ко мне в Амстер!

— На экскурсию по загнивающему Евросоюзу?

— Ну, он пока весьма комфортно загнивает. От нас можно и к лягушатникам; хоть посмотришь на предмет своих... культурологических изысканий.

— А оттуда — в Нью-Йорк... — написал Данька.

— По маме соскучился, гусар? Бугага.

— Охренеть как смешно. Я ее два года между прочим не видел.

— И меня...

Витька пририсовал улыбочку.

— Пидарские штучки свои оставь.

— Гомофоб.

— Я тебя тоже люблю нежно.

— Как Яна?

— Даже не спрашивай...

...Утро пахло вялым алкогольным душком, плюшевой подушечной пылью и вчерашними сигаретами. Лэптоп валялся рядом. Неудобно упирался в бок и утомленно мерцал. Внизу дрожало окошко аськи — неп прочитанное сообщение. Вырубился; даже интернет отключить забыл. «Не грусти и приезжай в гости», — писал Витас. Комната наполнялась

радостным синевато-белесым светом. Данька встал в рост напротив окна, воспаленно посмотрел на солнце. Лето, потряхнувшее всю его небольшую и относительно правильную жизнь, наконец заканчивалось. По свежим солнечным улочкам торопились люди; дети с родителями спешили по школьным базарам, старушки вытаскивали к метро ведра астр и помпезных георгинов. В такое утро хочется начать жизнь сначала. Данька вспомнил, как торчал вчера у «Варшавы», будто под окнами у неверной возлюбленной; в ожидании неизвестно чего. Все внутри протестовало, не желая то ли отмереть, то ли смириться. Он потянулся к пульту и машинально включил телевизор. Реальность продолжала рифмоваться с воображением весьма причудливым образом: в телевизоре была Яна. В общем, она занималась тем же, чем обычно — демонстрировала себя. Попутно бормотала прогноз погоды. Данька задумчиво почесал заросший подбородок. Яна скоро закончила, и на экране появилась заставка регионального телеканала. Он выключил в телевизоре звук, отправился в ванную и начал приводить себя в порядок. Необходимо разветься; пусть несмотря ни на что сегодня будет вечеринка. Он до красноты отскреб подбородок, вымыл и уложил волосы, извлек из гардероба белые брюки и смешную брендовую майку с неровным швом. Щелкнул кнопкой ноутбука, стер вчерашний пьяный бред и одной левой набросал статью в глянцевого таблоид. Почистил туфли. Полил цветы и предпочел старый добрый «сК — Eternity» подаренному Янкой малотиражному аромату. Скатался в редакцию за давним гонораром и заодно выяснил, где сегодня будут все. Все будут на открытии очередного кабака на месте то ли яхт-клуба, то ли дебаркадера, то ли лодочной станции. Отлично; туда и направимся.

В одиннадцать было уже совсем темно — август все-таки. И холодно. На берегу речки пылал мангал — повара-азербайджанцы жарили шашлыки и раздавали всем желающим. Не-

подалеку были выставлены спонсорские дары: ром, мохито. Яну он заметил почти сразу же — она щеголяла синайским загаром в компании нескольких журналистов и мыльного продюсера. Что ж, прогресс налицо — в прошлый раз были просто бандосы. Яна исчезла из виду и нарисовалась уже за спиной.

— Здорово, Данечка!

— Вечер добрый, — Данька резко повернулся и чуть не выплеснул на нее коктейль.

— А это мои коллеги. А это Даня Батманов... — промурлыкала Яна. Батманов — это было имя в миру, псевдоним для журналов, куда Данька время от времени строчил ресторанные обзоры и рецензии на свежую литературу.

— Мы знакомы, — кивнул высокий мулат. Второй, тоже чернявый, но скорее похожий на серба, улыбнулся и подтвердил. Парни были братья; оба журналисты с того самого регионального канала, где Яна про погоду.

— Во замечательно как, — Яна была чуть разочарована: честь открытия новых людей принадлежала не ей; Данька уже и здесь наследил.

— Пойдем есть барана, — предложил старший брат; он почувствовал между Данькой и Яной легкое электричество и решил поработать громоотводом.

— Мне нравятся ваши статьи, — добавил второй, отхлебывая мохито.

— А мне — нет, — весело ответил Данька. — Пойдем есть барана.

Мыльный дядька уже жевал рядом.

В ту ночь они уехали с вечеринки все вместе и в три часа ночи встали в пробке на мосту. Спасло взятое с собой шампанское и Эдит Пиаф по радио. Братья прямо в машине курили план и флиртовали с Яной; Данька сидел рядом с водителем и смотрел в окно. Город не угасал; вокруг оглушительно сигналили машины: серебристые мыльницы ино-

марок и таксомоторы всех мастей. Данька вспомнил янкин прогноз погоды — резкое похолодание со следующей недели, — и ему стало грустно. Грустно безотносительно; просто лето заканчивалось. Они вывалились на проспект в полпятого утра. Дошли до сквера с фонтаном, допивая шампанское. Рядом возвышалась одна из национальных библиотек; по ступенькам прогуливались голуби. Яна хотела афтерпати, а потом — овсянку и блинчики в утреннем кафе. Ты уходишь? — удивленно спросила она. Пройдусь до метро, — сам не веря в свою чистую голову и холодное сердце, пояснил Данька. Ах ты! — возмутилась Яна и толкнула его в фонтан. Данька счастливо засмеялся, подхватил ее и выкупал тоже. Братья молча ухмылялись на это безумство. Покедова, — заявил он, выбрался из фонтана и пошлепал к метро. Дурилка! Все равно изноешь и сам позвонишь! — кричала Янка ему вслед. Attendez gar tчk бьен аррив!¹ — телеграфно откликнулся Ворон.

Вернувшись домой в восемь утра, зачем-то открыл деревянный почтовый ящик и в груде рекламных листов обнаружил повестку.

Бабы наступали полукругом. Отвратительные, прыщавые, грубо накрашенные. Солировала Лариска. Она первая и бросилась на Смирнову, схватила за волосы и толкнула головой в засоренный, полный гнилой воды раковинник. Пока Алька пыталась вывернуться, у нее отобрали рюкзак. Кто-то спешно вымочил ладони и теперь вытирал руки о ее свитер.

— Сифа!! — завизжала толстая Ирка Веселова.

— Будешь еще выделываться?

Алька очень близко увидела злобно-ласковую мордочку Лариски. Та покачивала головой и грозила пальчиком;

¹ Attendez gare. Bien arrive. — Ждите вокзале. Прибыл благополучно (*фр.*).

зрачки в светло-серых глазах — как две черточки. Лариска покатала языком за щеками и звучно плюнула Альке в лицо. Умойся.

Морда в слезах, в слюне, в вонючих обмывках. Алька взвыла и выдернулась; аж почувствовала, как жалобно в голове хрустнуло.

— Держи ее, бабы! Пусть пизду покажет!

Алька в ужасе дернулась, поскользнулась на мокром кафельном полу и грохнулась, подминая под себя Лариску. Кажется, все же успела ей наподдать; по крайней мере, та верещала, пока Алька на четвереньках ползком ретировалась в кабинку.

— Ну и целуйтесь с вашим Каркушей! — зареванная Алька хлопнула дверью спасительной кабинки. Некоторое время она еще слышала, как девчонки, смеясь, потрошат ее сумку. Только бы не нашли! Только бы не нашли!

— Ха-ха! Какой зайка!

О, бли-ин... Ларискин противный голосок:

— Какой зайка! Смирнова сама в Каркушу втюрилась!

— Ду-уры! Это же карикатура!

Алька вылетает из кабинки. Сумка плавает в забитой раковине. Учебники разбросаны по полу. Девчонок уже нет. Убежали. И забрали с собой рисунок. Алька садится на пол школьного туалета и, тихонько поскуливая от обиды, начинает собирать книжки.

...Блин, снова опаздываю. Данька вылетает из университетской кафешки; засиделся. Бежит на остановку; кто-то оглушительно библикает ему вслед. Ворон оборачивается: это Яна Грабовская, фифа на «бьюике». С Янкой они дружат немножко, хоть Ворон никак в толк взять не может, с чего он ей интересен. Так, пытался помочь когда-то; книжки подсовывал. Первый курс они вместе на истфаке учились, потом Грабовская перевелась в менеджеры. Туда, собственно, и дорога.

— Куда тебе, Дань?

— Далекo, — Данька улыбается и машет рукой: не беспокойся, мол.

— Садись! До метро подброшу.

He вопрос. Они катят через мост; Данька глядит в окно и нервничает. Куда торопишься, — спрашивает Яна. В школу, — коротко отвечает он. Яна прыскает. Не доучился, что ли? Ворону неохота объяснять, как он хотел преподавать историю и где в итоге оказался. Это и вправду выглядит анекдотом. Он жмет плечами.

Лестница, лестница, этаж, учительская, здравствуйте, Марь-Иванна... Коридор. Даниил Андреевич заскакивает в прокуренный школьный туалет. Вот черти — трава, одноко... Хлопает дверца кабинки. Коридор, лестница, кабинет. Блин, снова опоздал. Ну, здравствуйте, девочки. К доске что-то пришпилено кнопками. Рисунок и подпись: «КАРКУША». А что, похоже... Спасибо за внимание, может быть, я заберу это себе на память? Кто-нибудь отсутствует?

— Смирнова. Она не придет сегодня. Наверное. Ведь это она нарисовала, Даниил Андреевич.

Зареванная Алька сидит в вестибюле туалета, прижавшись спиной к батарее. Чьи-то негромкие шаги нарушают ее покой. Она поднимает глаза и видит десятиклассника Сашку. Сашка задумчив и курит.

— Что стряслось, пташка?

— А что ты в женском туалете делаешь?

— А ты не видишь? Курю, — спокойно говорит Саша, закрывает дверь и присаживается рядом. — У нас я уже накурил, — улыбается, — Хочешь?

Алька колеблется, потом берет у него скромный джойстик и старается затянуться.

— Не так, — говорит Саша и показывает, как надо. Алька снова пробует, у нее получается, она кашляет и ждет, что сейчас случится что-то непоправимое, но ничего не случается.

— Не действует, — смущенно шепчет она.

Сашка хихикает:

— А ты думала, сразу вертолеты? Втянуться надо.

Алька молчаливо соглашается. В этот момент из коридора доносится голос Даниила Андреевича и, хотя вроде бы в женском туалете делать ему нечего, дверь открывается.

— Смирнова? — входит завхоз Вера Сергеевна. Саша вскакивает, но Алька понимает, что они все равно опоздали. Глаза Веры Сергеевны округляются:

— А ты, Розенберг... Куришь?

Сашка Розенберг считается отличником и в противоположных действиях до сих пор замечен не был.

— Курю, Вера Сергеевна, — с покаянным видом.

— И еще младших приучаешь?

В туалет тихонько проскальзывает Даниил Андреевич. Вера Сергеевна продолжает бушевать:

— Даниил Андреевич за тебя, видите ли, волнуется, а ты тут с Розенбергом...

Алька краснеет и злится.

— Что я с Розенбергом?

— Тихо, тихо. Вера Сергеевна... — пытается вмешаться Данька, — Аля, что произошло?

— Что Вера Сергеевна?!

— Что с Розенбергом?!!

— Вера Сергеевна!!

— Я за директором! Задержите их, Даниил Андреевич!

Вера Сергеевна удаляется.

— Допрыгались, зайчики? — неласково спрашивает их Каркуша.

— А вам какое дело? — Алька снова готова разреветься. Все в этой жизни решительно не клеится.

— Гони косяк, — решительно требует у Розенберга Даниил Андреевич. Сашка было уже надеялся, что про волшебную папиросу в его кулаке все забыли, но тут приходится отдать.

Данька берет джойнт двумя пальцами, качает головой:

— Валите отсюда.

— Что? — не понимает Розенберг.

— Быстро!

Сашка смекает, хватается Альку за руку, Алька хватается сумку, и они тащат друг друга из туалета. Сильно хлопает дверь. Даниил Андреевич снова качает головой и с наслаждением затягивается. Когда Вера Сергеевна возвращается с директрисой, они застают в женском туалете нового учителя домоводства, который в спокойной обстановке приканчивает Сашкин косяк.

Год назад, когда он заканчивал универ, на факультете намечалась форменная истерика. Особенно надсаживались те, кого угораздило отрубить военную кафедру и получить звание (Даньку угораздило). Для офзапов, как называли друг друга товарищи по лейтенантскому несчастью, почти не существовало отмазок по здоровью: парень с лупами по минус девять в каждом глазу считался годным с небольшими ограничениями; по президентскому указу гребли почти бесстыдно: спустят бумажку от Минобороны, и привет. Даньку тогда же просветили насчет того, что с его сносной близорукостью и стрелковой секцией могут взять хоть в морпехи; кому он там нужен — другой вопрос; но по закону — вполне. Представляя щуплого, метр с кепкой, соседа-античника Сеню Никифорова в роли командира мотострелкового взвода, Данька думал, что если есть в жизни хоть какая-то логика, то мотострелком Никифору не бывать. Тем не менее Сеню трясло. В логику он не верил.

— Про список знаешь? — спрашивал Сеня в курилке, нервно теребя Данькин рукав. — Зеленые список спустили, кого в аспирантуру не брать. Твоя фамилия там одной из первых.

— А твоя — из вторых? — потешался Ворон.

— Ну да!

Данька мотал башкой и смеялся. На кафедре он был на хорошем счету, а Сеня так и вовсе шел на красный диплом. Ерунда все это. Дурацкая ерунда и паранойя.

Сейчас дело было уже серьезнее. Из аспирантуры он, понятное дело, вылетел: сначала еще слал из Дахаба прелестные письма научруку Любви Игоревне — письма, полные неумелого, топорного вранья, но вскоре бросил. Барахтался с Яной в Красном море, курил гашиш на арабских крышах и пытался думать, что, видимо, судьбой ему предназначен какой-то иной высокий путь — со старофранцузской поэзией и академическим знанием пересекшийся только на краткое время. Легковесность вообще-то ему была не свойственна, но легкомыслие — то да. Умотав в апреле в Египет, очнулся только летом на Казантипе. Об оставленных за спиной проблемах старался не вспоминать. Вернулся в город худой, безмозглый и дочерна загорелый, провал научной карьеры воспринял философски, месяц проболтался в интернете, с удивлением отмечая желтеющие листья и усложнившуюся общественно-политическую обстановку: кого-то суетливо сажали, росли цены на бензин и на маршрутки, объявляли новую свободу, отменяли новую свободу, прикручивали гайки, шумели демонстрации в полдесятка участников. Мимо этого всего будущий лейтенант Ворон проходил в знакомый бар, крепко приподняв воротник парусиновой курточки, пока не обнаружил в ящике запыхавшуюся уже повестку.

Ночь, проведенная без сна, давала о себе знать: думалось хорошо, но с каким-то немислимым эмоциональным напряжением, будто и в самом деле — не головой, а сердцем, как древние верили. Все внутри содрогалось, двигалось грубо и гулко. Пока он ехал домой, телефон разрывался от янких эсэмэсок: не выдержишь и сам позвонишь; так, кажется,

она написала. Не позволю, — внезапно понял Данька. Вот именно что понял, а не придумал и не решил. Янкин облик, как есть — с ехидной улыбочкой, с глазами, меняющими и выражение, и цвет, как бегущая за лодкой вода, с пушистыми волосами-перышками, прилипшими к шее, — нет, не таял вовсе, но, наоборот, проступал и фиксировался, как изображение на фотобумаге. В кои-то веки он мог удержать его в памяти, отложить меж страницами и осторожно прикрыть книжку.

Данька подобрал с пола бумажку с предписанием явиться в военкомат «для проведения призывных мероприятий». Спать сегодня он уже не сможет, зато знает теперь, что следует сделать. А следует скататься на кафедру — не для того, чтобы ныть и выпрашивать прощение; но. Программа-максимум — разведать насчет возможного спасения и отмаза; программа-минимум — извиниться по-человечески. А то еще грохнут в казарме, а тут на тебе — такой грех на совести. Ведь, как он вызнал уже гораздо позже, список, о котором говорил Сеня Никифор, действительно был; и отбивали Даньку тогда всей кафедрой. В этом свете его последующее раздолбайство выглядело откровенно не очень.

Сонное школьное утро. Алька клюет носом на задней парте.

— Даниил Андреевич! — раздаётся над ухом наглый ломающийся баритон Славки Медведева. Алька вздрагивает. И правда, Каркуша.

— А что за урок у нас нынче? Неужели история? А что тогда кулинары здесь делают?

— Александра Васильевна заболела, — объясняется Даниил Андреевич. — Меня попросили заменить ее и рассказать вам пару занимательных историй, — Каркуша смущенно улыбается.

— А я сегодня не завтракал... — Медведев облизывается.

— Мои соболезнования, — Каркуша невозмутимо не замечает иронии.

— Мы проходим восстание Пугачева! — это Лариска подлизывается. Даниил Андреевич благодарно кивает. Ларочка улыбается. Сама преданность. Каркуша толкает руки в карманы джинсов и начинает плести что-то про поэта Державина. Слышится сдавленный Ларискин шепот:

— Вчера его застукали с травой в женском туалете...

— Ё?!

— А ты думала... Думаю, его Смирнова туда затащила. Она ж у нас известная наркоманка... лесбиянка... и сатанистка.

— ...Державин интересовался метафизическими вопросами... В частности, его очень занимал момент перехода между жизнью и смертью и то, каким образом тело расстается с душой. Удовлетворяя сей естествоиспытательский интерес, Державин, будучи при исполнении, приказал повесить пленного башкира из пугачевского войска. Башкира вешали несколько раз; когда он начинал задыхаться, Гаврила Романович распорядился вынуть его из петли и расспрашивал о впечатлениях. Эта история шокирует нас потому, что Державин — не какой-нибудь дикий есаул, вчерашняя татарва с берегов Яика, но национальный поэт, Пушкина благословил, во гроб сходя... Личность, включенная в культурный контекст. Но помимо культурного контекста, который есть нечто отвлеченное, своего рода результат коллективной галлюцинации, существует бытовая реальность, исторический чернозем. Пытаясь вообразить отдаленные или даже не очень эпохи, мы склонны судить о них с точки зрения современных нам представлений, этических систем. Ту же ошибку мы повторяем в отношении параллельно существующих во времени, но живущих по совершенно различным законам народов, субкультур. Даже профессиональных сообществ — ведь милиционер, бизнесмен и студентка филфака говорят на разных языках. Со-

мневаюсь, что кто-то из вас решит посвятить себя исторической науке, но даже и на профанном уровне... в процессе изучения предмета мы можем попытаться овладеть своего рода наддиалектным восприятием, которое позволит нам охватить взглядом, научиться воспринимать совершенно различные системы взглядов и ценностей, стили жизни и нравственные ориентиры... Понимать, что жуть и ужас реальности не противоречат поэзии и культуре, но питают ее, и этим завоевывают целесообразность... Нехилая цена для какой-то целесообразности, да?

Алька с ненавистью смотрит на Ларискин хвостатый затылок и отрывает от тетрадки кусок листочка. Пишет записку левой рукой, потом тычет Лариску в спину:

— Тебе передали.

— Кто? — высокомерно поднимает выщипанные и нарисованные бровки Ларисочка.

— Не знаю, — буркает Аллька, — Миша, кажется.

Ларка отыскивает Мишу-Медведева и делает ему глазки. Миша неопределенно хмыкает. Лариска пишет ответ и, передавая его Алльке, внимательно смотрит на нее. Аллька вспыхивает и отправляет записку Мише.

Миша читает:

КОЕ-КТО У НАС В КЛАССЕ, КАЖЕТСЯ, ТОЖЕ ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ПРИХОДИ В ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ ПОСЛЕ УРОКОВ И ВСЕ УЗНАЕШЬ.

На перемене Аллька подходит к компании одноклассников. Парни курят за углом школы и тихо гогочут. Аллька стесняется.

— Слава, можно тебя на минутку? (Мишу на самом деле зовут Славой, просто Медведев — его фамилия).

Миша хихикает и с видом превосходства (сегодня он любимец женщин) смотрит на Алльку:

— А зачем? Тоже в туалет позовешь?

Алька злится, но молчит. Миша отбрасывает сигарету и отходит на пару шагов от приятелей.

— Ну, что?

— Слушай, та записка, которую тебе передали, она на самом деле для меня.

— Чё?

— Через плечо! — сердится Смирнова, — это мне отвечали, а к тебе она попала случайно.

— Ты хочешь сказать, это тебя Ларка приглашала в женский туалет после уроков? — насмешливо тянет Миша, затем присвистывает.

— А куда она меня еще могла пригласить? В мужской, что ли? — спрашивает Смирнова.

Миша свистит, свистит, потом останавливается:

— Ну, в «Макдоналдс» хотя бы... или в кафе-мороженое.

— Отдай записку.

— Ах, она мне дорога как память, — издевается Медведев.

Алька смотрит в его наглую рожу еще полминуты, потом разворачивается и уходит. Медведев уже оглушительно свистит ей вслед:

— Бросай ее, Смирнова! Я ее лучше! Я в платный сортир могу пригласить!

По знакомой галерее Данька проскользнул как сонное привидение. Броский солнечный свет искрил в глаза сквозь проемы, на площади перед зданием факультета толпилась веселая ребятня: вчерашние абитуриенты. Ворон поймал себя на том, что слегка им завидует: его студенческая жизнь получилась бурной, но бессистемной; собственно, и не было ее у него. От однокурсников он всегда держался наособицу, в пьянках и пикниках участия не принимал. Сначала давала о себе знать небольшая, но чувствительная в этом возрасте разница в годах (до универа Данька два года щедро посеял

в кулинарном техникуме), потом у него вечно находилось много отдельных и увлекательных дел: школа, Яна, журналы.

Ворон быстро миновал вахту и помчался по лестнице; перескакивая через две ступеньки и швабру мрачной кривоногой уборщицы, которая устроила на лестнице целый пенный потоп. Изможденный факультетский паркет привычно застонал под ногами.

Кафедра истории Средних веков располагалась на отшибе; это была как бы расплата за герметичность и вопиющую непопулярность добываемого здесь знания. В медиевисты с курса обычно шли от силы полтора человека: во-первых, увлечение «рыцарями» требовало уйму сопутствующих: от латыни до языка изучаемого региона в его давно снятом с производства варианте, плюс обширная зарубежная историография, да еще куча мертвых, слежавшихся дисциплин — от геральдики до исторической географии: не подскажете ли, эн Даниэль, как нам проехать из Авиньона в Каркассон? А это смотря какое у нас, милый друг, на дворе тысячелетие. Данька улыбнулся, вспоминая, как его хором отговаривали от дурной и непродуктивной затеи: мало того, что за этих твоих трубадуров въябывать придется по первое число, так еще и не факт, что поможет: ну, будешь в командировки ездить. В Европу. А вот звездой исторической науки побывать мало надежды: в твоей милой Франции небось и своих специалистов навалом. Занимайся лучше какими-нибудь вечно актуальными князьями и не мудри. Ну что вы, ребята... — упорствовал в ереси Ворон. Если насчет актуальности, так это на соседней улице, журфак называется. Хотел бы — туда отправился. А!.. — махнули на него продвинутые сокурсники. Не наигрался юноша в рыцарей; что с него требовать. В ответ на эти рассуждения Данька обычно садился верхом на стул и раскрывал ладони в сторону собеседника: вот если про актуальность, — говорил он. Неважно, в каком срезе изучать дерево — двадцать ему, пятьдесят или полтораста,

но едва ли елка превратится в ясень — разве не так? В чем-то главном люди не меняются. В двенадцатом веке атрибутами воинского сословия, то есть тогдашних хозяев жизни, были меч у пояса и конь... гм, под седлом. Если у тебя есть собственное оружие и транспорт — можешь наняться на службу и со временем заслужить феода. В двадцатом у пацана сотовый у пояса и тачка под парами. Он надевает кожаную курточку и идет сдаваться на службу к авторитету. Так начинается карьера. Большинство безземельных псов-рыцарей поляжет по дороге, но кто-то заслужит феода, закажет себе герб и родословную от Карла Великого, заведет кухарку, дворецкого, офисных крепостных и ловкого лоера из балли или духовного сословия. И ручного попа. Наладит связи в муниципалитете; словом, превратится в сеньора. В ответ на рассуждения сокурсники хмыкали; на дворе была середина девяностых.

Увлечение трубадурами для Даньки началось действительно с рыцарей; конкретно — с одного. С Ричарда Львиное Сердце, сына Генриха Плантагенета и Алиенор Аквитанской, человека, возглавлявшего крестовые походы, а военные вызовы сочинявшего в форме стихотворений-сирвент, на родном его матери южнофранцузском языке Ок. С того, кто в советском фильме про Айвенго с песнями Высоцкого бьется с закрытым лицом, как простой ратник, а противников кладет ниц вибрацией львиного рыка. Уже после Данька узнал о своем кумире, что был он невысок ростом, пидарас и неврастеник — в общем, в высшей степени творческая личность, но много лет назад сочетание пера и меча в одних руках примирило Ворона со странной для мальчишки любовью к французским стишкам.

Дверь на кафедру была приоткрыта, в коридор била тоненькая полоска света. Данька осторожно постучал, но никто не отозвался. Он вздохнул и попытался собраться: сейчас, когда дело уже почти сделано, искушение отступить было особенно велико. Черт — как неудобно, как неприятно. Он

неловко повернул ручку и легонько подвинул дверь; тут же пришла спасительная мысль позвонить научруку и прийти в другой раз; да, зря он об этом не подумал... Надо было заранее договориться о встрече. Решение прямо просилось, легкое и относительно приятное — прикрыть дверь обратно, пробежать по коридору, вылететь на солнце. Еще на пару недель вздохнуть спокойно. А военкомат? — напомнил себе Данька. Не, дорогой, ты же сам говорил, что унижаться не планируешь. А военкомат?..

Дверь сама толкнулась в руку.

— А, Даниил Андреевич?

У стола вполоборота к нему стоял старенький профессор Грюнберг; дверь он подтолкнул тростью и теперь смотрел на Даньку — лукаво и благожелательно. Грюнберг уже давно не числился штатным преподавателем, но вел пару спецкурсов и на кафедре захаживал: всегда такой легкий и светящийся, будто не было на свете большего счастья, чем втолковывать молодым остолопам гуманистическую доктрину Эразма Роттердамского.

— Здравствуйте, Александр Николаевич, — сказал Ворон и почувствовал, как у него пересохло в горле: голос получился жалким и скрипучим.

— Давно не виделись, — улыбнулся Грюнберг. — Заходите, что ли...

На столе лежали теплые солнечные пятна, пахло книжной пылью. Все было таким хорошим, тихим и знакомым. Данька посмотрел на профессора; Грюнберг опустил глаза в открытую перед ним тетрадку, но у Ворона было ощущение, что тот чего-то ждет и не отпускает. Он вошел, прикрыл за собой дверь и остановился, не совсем понимая, что делать дальше. Грюнберг поднял на него глаза.

— Любви Игоревны сегодня нет. Кажется, она через неделю из отпуска вернется. Вы не могли бы сходить набрать воду... для чая?

Профессор ободряюще кивнул и легко, по-юношески, присев на край стола, снова окинул бывшего аспиранта веселым взглядом. Данька понял, что Грюнбергу смешно; и в общем, он понимал профессора — такая вариация сюжета про возвращение блудного сына не могла не вызывать легкой иронии. Он неловко обогнул стол, протолкался между креслами и книжными стеллажами, едва не уронил фикус. Достал с полки беленький электрочайник и бодро вымелся в коридор, стараясь не смотреть на Грюнберга. Александр Николаевич в его глазах обладал, что называется, непререкаемым нравственным авторитетом, и то, что он нарвался именно на него, было очень разумной и справедливой расплатой.

— Вода у нас теперь в другом конце коридора, — нагнал его мягкий голос Грюнберга. — Такие большие пластиковые бидоны стоят.

Вернувшись, аспирант Ворон выглядел уже более собранным, но отнюдь не менее несчастным. Он тихо проскользнул в кабинет, подключил чайник, опрокинул блестящую железную сахарницу. Молча поднял, поставил ее на стол и отправился искать веник. Если бы не это небольшое происшествие, он вообще бы не представлял, что делать — накрыть Грюнбергу стол и откланяться? Пожелать приятного чаепития?

Профессор не торопился прийти ему на выручку, но и на разрушения никак не реагировал — сидел на столе, листал тетрадь, задумчиво поправляя шейный платок. Грюнбергу было уже под восемьдесят, но он оставался денди — костюм, трость. Даже хромал Грюнберг с каким-то шиком, сколько Данька помнил. После ранения — на фронт Александр Николаевич отправился молоденьким офицером-артиллеристом прямо с истфака. Отвоевав, вернулся к своим немецким гуманистам. Перед таким человеком ныть про военкомовскую повестку неудобно.

Данька собрал сахар на бумажку, бумажку выкинул в корзину. Чайник уже пыхтел. Данька выключил чайник. Боль-

ше никаких осмысленных действий не предвиделось. Ворон злился на себя. Как мальчик, ей-богу. Постоял, приподнял крышку опустевшей сахарницы.

— Ничего-ничего, — наконец проснулся Грюнберг. — Я пью без сахара. Как ваши ученики, кстати?

— Какие? — не понял Данька.

— Вы же в школе преподавали? Я правильно помню?

Данька хмыкнул. Нет ему оправдания. Он даже в школе последний год не преподавал, вообще какой-то ерундой занимался. Истерика вокруг Яны сейчас казалась чем-то далеким и жалким, постыдным, не заслуживающим даже воспоминаний.

— Был здесь какой-то мальчонка, в этом году поступал. Все хвастался, что ваш ученик.

Данька похлопал глазами. Надо же. Кто бы это мог быть?

— Не сидится вам за библиотечной стенкой, а?... Это хорошо, — неожиданно сказал Грюнберг и улыбнулся. Слез со стола и потянулся за чашкой, Данька бросился было помочь.

— Ничего-ничего; я сам, — остановил его профессор. — А вы погуляйте и возвращайтесь. Работы у вас хорошие; может толк выйти. Как там, а? Историческая личность и культурный миф на примере эн Арнаута Даниэля из епископата Перигорского, из замка Риберак? Вы его как тезку предпочли?

— Это был мой диплом. Я изменил тему... Очень литературная, мне сказали. Сейчас — про стихи и альбигойские войны. Гавуадан.

— А, темный трубадур? Почти ничего не известно? Мда, интригует...

Грюнберг закрыл тетрадь и начал бесшумно болтать в стакане ложечкой. Не поднимая глаз, улыбнулся.

— Времени только всегда не хватает. Не только мне; вам... тоже не хватит.

Грюнберг взмахнул в его сторону рукой с тонкими узловатыми пальцами.

— Об этом очень легко забывается, — печально сказал профессор, — особенно когда оперируешь столетиями... Так и кажется, что стоишь на вершине, над ними... А они внизу, как облака. Пронесятся.

Данька шагал по набережной; очень быстро, почти бежал. В голове все стучали слова Грюнберга: пронесятся, пронесятся. Он шел и думал так стремительно, что мысли, казалось, обгоняют постепенно поднимающийся, нарастающий порывами осенний ветер. На заливе начинались шторма. Вода билась о набережную и тоже прирастала. Бледное, умытое, до жестяной белизны стертое солнце сверкало, слепило нещадно и холодно, так продолжалось уже не первый день, но вот сегодня было тепло и просто ветер. Над городом, нарезая кольца, стрекотал вертолет.

Когда Данька подошел к своему дому, из подъезда как раз вывалились эти двое: участковый мент и зеленый человечек.

— О! — обрадовался военный дядя, старлей; чуть младше Даньки, зато с усами. — Ты не из десятой квартиры будешь?

— Да, — только и нашелся ответить. Про себя он уже решил: будь пока что будет. Любовь Игоревна, его научрук, через неделю вернется; следует позвонить и извиниться, но просьбами не донимать. Выгорит — так выгорит; нет — и не надо. По правде сказать, после разговора с Грюнбергом шевелилась плохонькая, но надежда: Данька слышал, что когда год назад кафедра решала, цапаться ли с военными за выпускников или погодить, именно Александр Николаевич сказал им всем такую пламенную речь, что в итоге... В итоге...

— В итоге так: распишетесь сами или документы придется проверять? — пробасил участковый. Ему вся эта тяготина с уклонистами уже в печенках; надосло; будто своих забот нет.

Данька смотрел под ноги, все еще о чем-то раздумывая. Потом вскинул глаза на мента, на старлея. Сообразил чего-то.

— Ручка есть?

Военный радостно полез в планшетку. Придерживая повестку, все смотрел на Даньку подозрительно, будто ожидал, что он сейчас бумаженцию прямо из-под пера выхватит и съест.

Заросший красными по осени кленами бульвар; клочья листьев и туч, середина солнца. Ветер густой и свежий, дышишь, как пьешь, и чем больше, тем больше хочется. Дальше по улице заурчала машина.

Старлей неровным жестом оторвал у повестки корешок и быстро отступил на шаг.

— Все? — устало спросил Ворон.

— Все, — радостно кивнул военный и ослабился: — До встречи.

Щас тебе, — думал Данька, поднимаясь по лестнице. Скажешь больным, уеду к бабушке. В деревню. В турпоход.

В общем, он уже знал, что не уедет никуда: бабушке объяснять про военкомат было еще унижительней, чем Грюнбергу. Строгая Екатерина Игоревна; или Даньке так казалось. Ворон злобно толкнул от себя входную дверь квартиры. Грохнул кулаком в притолоку. А что еще оставалось?

...Оставалось чуть больше недели. Первые пару дней Данька шатался по квартире, время от времени исступленно хватаясь за какую-нибудь книжку. Читать не получалось; он был весь напряжен, изнутри как поднывало. Он позвонил маме в Нью-Йорк, спросил, как дела. Разговаривал с ней так тихо и ласково, что мать, привыкшая к его обычному небрежно-холодноватому тону, даже забеспокоилась: Данечка, ты не заболел? С матерью они так давно поддерживали светские отношения, что удивляться внезапному потеплению у нес были все основания.

Данька сидел на балконе, уложив руки на парапет, а подбородок — сверху, на тыльную сторону ладони. Собирался тусклый сентябрьский дождик; теплый и нерешительный, будто не определившийся — летний он или уже совсем осенний. Данька вспоминал мамино лицо и думал о том, какой он тупой и нетерпимый дуралей: после смерти отца мама заторопилась замуж; он с полным, казалось бы, правом на нее обиделся. Обидели мышку — написали в норку, — подумал про себя Ворон. Беспокойство, непонимание в голосе матери очень его резануло: насколько надо было привыкнуть к его оскорбленной мине, чтобы удивляться нормальному человеческому тону. В комнате зазвонил телефон. Возможно, он звонил уже некоторое время, но Данька только сейчас услышал. Он медленно поднялся с табуретки. Дождик то ли прекратился, то ли подзатих; гляди-ка, — улыбнулся Данька. Радуга. Над тополями, над черемухами, через шпиль часового завода в отдалении. Тоже — чахлая, невзрачно-прозрачная, но все же. Ра-ду-га. Данька подумал загадать желание, но телефон все трезвонил, и он отложил на потом.

— Да.

— Да... Даниил Андреевич? — Алька, кажется, уже не ждала, что ей кто-нибудь откликнется.

— Смирнова? — внезапно развеселился Ворон.

— Да, это я... — Даниил Андреевич с удивлением уловил в Алькином голосе легкое кокетство. — Мы все хотели узнать, как у вас дела.

Данька зажал трубку плечом и плюхнулся на диван, приготовившись развеяться разговором.

— Мы — это кто? У тебя комсомольское поручение, что ли?

— Нет... Я... Мы...

Данька почесал нос и во весь рот улыбнулся в трубку. На душе становилось свежо и весело; он так давно не чувствовал себя в силе перед обстоятельствами, что Алькины смешные

заминки, ее робость, то, как она лихорадочно подыскивает повод для звонка, доставляли ему легкое садистское удовольствие.

— Это ты у нас будущий историк, что ли? — поддел Данька.

— Не-ет... — удивилась Алька. — Я в Академию поступила.

— Какую? Тыла и транспорта?

— Художеств, — обиженно поправила Смирнова. Она надеялась, что Даниил Андреевич будет разговаривать по-взрослому, а он опять. — На истфак кто-то из парней собирался... Они даже хотели с вами посоветоваться. Не звонили они вам?

— Нет, — грустно сказал Каркуша. Какое звонили, он только три недели как с Казантипа.

— Вообще у нас все хорошо, почти все поступили, — отчитывалась Смирнова. — В армию даже не загремел никто.

Парам-падам, — подумал про себя Данька. Так уж и никто. За окнами таяла радуга и снова начинал накрапывать дождь; и если хочешь загадать желание, то надо поторопиться.

— В общем, так, — сморщил нос военком. Коснулся кончика желтыми прокуренными пальцами. Нос поколебался и задрожал. Нос был такой длинный и притом бесхребетный, что казалось, военком может положить его либо на правую, либо на левую щеку — безо всякого для себя ущерба.

— У нас есть заявка в Хабаровск на командира мотострелкового взвода.

— Я артиллерист вообще-то. Военно-учетная специальность...

— Отставить, — лениво сказал военком. — Какой ты кляду артиллерист?

Военком заглянул в бумаги.

— У тебя другая есть возможность, — неохотно заявил он и снова уставился в документы. Потом на Ворона — с некоторым недоверием даже. — Стрелок, что ли? Кандидат в мастера спорта? Ого... Пистолет, винтовка?

— Пистолет.

Военком продолжил:

— Формируется новая часть. Здесь, для города. Внутренние войска. Если в Хабаровск не хочешь, можешь попробовать. Только заявление надо написать, что ты доброволец и бла-бла-бла, и чтобы потом все четко. Никаких ваших обычных хитростей, отказов по убеждениям и прочих...

— А что за часть? — осторожно спросил Данька. Родную страну он давно хотел посмотреть, но вряд ли из окна воинского эшелона.

— Херзнает, — раздраженно выдохнул военком, продолжая теревить шнобель. Выглядело это пугающе и почти неприлично. — Ментам в помощь. Ну что, пишем?

Поднял глаза от бумаг. Усталые, желтоватые. С сеточкой красных прожилок.

— Чё молчим, кого ждем?

— Подумать можно?

— Думать надо поменьше, у тебя это не очень получается! — Отхлебнув из кружки холодного красноватого чаю, военком распорядился: — Пиши давай. Писатель.

...Судорожно собираясь, Данька бегал по комнате. На столе — предписание; такого-то сентября месяца явиться по месту прохождения службы. Вещи валялись из рук, от непривычно короткой стрижки голове свежо и неудобно; лэптоп завис на самом интересном месте — там, где лейтенант Ворон встречается с капитаном Гвардейской Дружины, незабавным фриком при шпорах, с широкими полномочиями и бла-бла.

Мельком отследив в зеркале скомканную мечущуюся фигурку, Данька тяжело присел к столу. Вот привалило. Он провел рукой от затылка к темени; свежестриженные волосы кололись. Посреди экрана болтались песочные часики: последняя операция никак не хотела выполняться. Часики перевернулись в последний раз; окно померцало и забелело, будто рашпилем прошлись сверху вниз, срезая картинку, надписи и кутерьму баннеров: невозможно отобразить страницу. Интересное словечко — отобразить; яркое и фантомное одновременно; сейчас так не говорят. Оставив лэптоп в покое, он встал и подошел к зеркалу. Зеркало тоже — отображало. Развинченный зеленый человечек смотрел на него из трехполосного окна трюмо; понизу отражались одеколони, средства для укладок и прочие атрибуты метросексуального житья. Вот блядь, — зазвенел Данька, выдвинул ящик и резким движением смахнул туда всю эту легкомысленную посебень. Семь утра; над шпилем завода вспыхнуло оранжевое солнце.

Особняк на речной оконечности; совсем рядом — лакированный центр, но всего ничего — и начинаются заброшенные заводы, старые адмиралтейские верфи. В разное время здесь находились клуб филателистов, сельскохозяйственная библиотека, редакция городской газеты или военная прокуратура. Отлично строили древние — снаружи красиво, изнутри просторно. Внизу — вахта, сержант в камуфляже с нашивкой внутренних войск. От недосыпа и нервов вело; Данька с трудом отыскал указанный в предписании кабинет.

Кабинет был маленьким и тесным от тяжелой темной мебели. Пахло давнишним кофе и сигаретами, на полу распластались осенние листья. Квадратный человек, упиравшись ногами в пол, с силой пытался закрыть окно. Вмять на место разбухшую от дождей раму.

— На колбасу!

Лейтенант Ворон вздрогнул и посмотрел с пугливым интересом. Дружинники по-своейски располагались в редакции газеты «Местное время». Вместе с листьями по комнате летали факсы и распечатки, бодро сгребаемые в кучи; кучи — в корзины; корзины — вон.

— Ну, что еще? — человек обернулся, посмотрел внимательными маленькими глазами. — Какие лошади, к бесу? Я сказал — на колбасу! Всех! Всех на колбасу! На сардельки!

— На сосиски, — из-за плеча лейтенанта.

И робкий гогот. Солдатня.

— Ма-алчать! — красные глазки метнулись вверх, потом на Ворона.

— Кто? А-а-а, из этих! — он указал пальцем в пол: — Местный, да? Сочувствуешь?

Ворон ошалело сморгнул:

— Колбасе?

— Ма-алчать! Шуточки, да? Шутим? Как звать?

— Ворон.

— Ворон? Это что? Птица?! На колбасу!

— На окорочка, — поправили от дверей.

— Ма-алчать! Боровушек, да? Мы тоже шутить умеем!

Ворон, говоришь?

Квадратный человек сжал челюсти и тихо качнулся вперед на плотных кривых ногах. Скрипнули половицы.

Сквозняк слизнул со стола забытый фантик. Данька услышал, как дышат ему в спину; соображал, как ответить: явился по предписанию к месту службы. Как-то так. «Честно мени скажи, як тобі звати». Обмахнул кончиком языка губы. Хлопнул глазами. Поправил очки. Кивнул.

— Ворон, ну да. А что ж ты вье-ошься!.. (в голос).

Капитан боязливо отодвинулся.

— Заткнуть? — чуть придя в себя, спрашивал конвойный, тщетно пытаясь перекричать звонкий голос лейтенанта. Капитан, не отвечая, дослушал до конца.

— Молодец. Люблю народные песни.

И похлопал Ворона по плечу.

— А вы? Чего встали? Зовите секретаря или кого там? Сейчас приказ оформим.

Сел за стол. Достал папку. Начал что-то листать.

— Что здесь за хлам везде... — ругался капитан себе под нос. — Офис, что ли, какой-то был? — взгляд на Ворона; из-под бровей. — Газета? Редакция?

— Нет, это в предыдущей... Редакция.

— Как часть называется, знаешь? — спросил капитан. — Знаешь, какая честь тебе?

— Дружина? — с недоверием осведомился Данька. Снилось это ему уже где-то, что ли.

— Вот именно. Особое подразделение внутренних войск, Гвардейская Дружина. А ты у нас совсем зелен никак?

— Призвали месяц назад, — кивнул Данька.

— А чё к нам?

— Я стреляю... — залепетал лейтенант.

В Хабаровск все еще не хотелось.

— Хрен с ней, со стрельбой. Так ты лошадей любишь?.. Меня тоже с конины воротит... — задумался. — А что, будешь у нас главным над лошадьями!

Данька очнулся на конюшне. Он никак не мог отвязаться от ощущения, что все это ему мерещится. Какие, к бесу, лошади? — хотелось взвять Ворону. Ну какие, к бесу? На колбасу? Вороную, караковую, трех гнедых, двух рыжих, серого, солового, остальные масти затрудняюсь описать, но и их тоже по случайности спас от колбасы лейтенант Ворон. Гвардейской Дружине придали в том числе и ведомственную конюшню, последнее время более известную как прокат, — берешь лошадь на час и упражняешься. Что делать с хозяйством, было непонятно, но шпоры на ботинках у дружинников обязывали. С чего капитан Александр Петрович решил, что Данька лошадей любит? А ведь угадал.

Ворон болтался по конюшне без дела в новенькой форме, когда наткнулся на угрюмую девицу — свитер, галифе.

— Привет, — сказал он неуверенным голосом.

— Ну, здорóво, — ответила она и подбоченилась.

— Ты кто здесь? — нашелся Ворон.

— Варя. Конюх. Сержант.

Ворон прищурился. Варвара хлопнула попону на спину поджиревшему сизому мерину и обернулась к Даньке.

— Седлать умеете? Что значит — немного? Наполовину умеете? Ладно, сейчас приготовлю и поедем их гулять.

Мягкое облако прислоняется к дальней крыше, как конь к забору. То, что происходит этой осенью, довольно неприятно; время пришло в себя и показало зубы. Хотя, если посмотреть, — с улыбкой размышляет Данька, забравшись на чердак конюшни, — то происходит торжество марксистского положения — бытие вырабатывает подходящее для себя сознание, мифологию, символическую систему. И система эта — от шпор на ботинках гвардейцев Дружины до мессы по центральным телеканалам — безусловно стоит своего Парижа.

— Прочитал я твою антиутопию... Это ведь только начало, верно?

Они сидят в новооткрывшемся литературном клубе с Петей Мыскиным, местным когда-то журналистом, ныне живущем на чемоданах: ему светит место в столице. Петя политобозреватель, сделавший себе имя в сетевых журналах.

— Забавненько... Дружинники в галифе... Хм. Надо запомнить... — Петя оглядывает веселыми глазами обеденный зал клуба и слегка скучнеет. Во-первых, ему никак не несут борщ, во-вторых, во время, далекое от прайм-тайма, в клубе совсем нет девушек, которые могли бы обратить на него внимание: такого молодого, замечательного, прямо завтра уезжающего в Москву.

— Видишь ли, Дань... — Петя подпирает ладошкой по-девичьи нежную щеку и разглядывает Даньку сквозь толстые очки. — У тебя такая книжка получается... С политическим, как-никак, замесом. У нас сейчас политика неплохо проплачивается; политика проплачивается всегда хорошо. Но тут надо решать, выбирать позицию. Либо ты... гм... с партией власти, либо сам понимаешь за кого. И в том, и в другом случае можно неплохо устроиться. А у тебя с этим как раз неясность: кажется, что ты вообще против всех. Зачем это? Зачем тогда все?

Пете кажется, что Данька то ли не понимает, то ли недостаточно проникается. Он горячится, жестикулирует ладошками. На правой руке — два щегольских перстня, которые Петя для пущей выразительности иногда покручивает.

— Черт его знает... Я не думал об этом. — Данька улыбается. Петя расцветает и тянется его по плечу похлопать: вот, не думал! А следовало бы! Пете приносят борщ. Ему становится совсем хорошо: он ест и ободряюще поглядывает на Ворона: мол, слушай меня, и все образуется. Тот рассеянно скользит взглядом в окно; там солнце высвечивает половину улицы, душно танцует пыль. Данька продолжает улыбаться — легко и ни о чем, будто его разморил полдень. Потом оборачивается к Мыскину и говорит:

— Петь, смотри... Я отдаю себе отчет в том, что очень неплохой кандидат на роль какого-то там трибуна. В конце концов, мне лично не на что обижаться. Все косяки, на которые другие напарываются, со мной будто уклоняются от встречи... личные горести не в счет, они есть у всех. А я вот все равно почему-то обижаюсь, — смущенно. — Тебе, наверное, тоже знакомо это чувство — как будто нас всех развели, только вот непонятно как. Я все думал — к чему бы это? Если даже такого колобка, у кого все хорошо, от бабушки ушел и от дедушки, и от волка, счастливого и вообще, тошнит от любого соприкосновения с происходящим — это ведь го-

ворит о чем-то? Как будто, знаешь, по-тихому неумолимо шла инфляция человеков, и вот они уже совсем обесценились. Вроде бы номинал тот же, а реальное обеспечение уже давно ноль, без палочек. Ну вот, от примитива... Вот... телепрограммка. — Данька кивает на газету, стыдливо подсунутую Петей под стопку журналов.

— Да я... — краснеет Мыскин. — Там по каналу «Культура» ретроспектива.

— Что ты нервничаешь? — Ворон приподнимает бровь. — Смотришь телевизор... Ну и что? Ты так заерзал, будто я тебя в публичном рукоблудстве уличил. В общем, дальше можно и не продолжать, но... Смотри, телепрограммка... ну и вообще ящик. Видишь ли, я любопытен. В отличие от тебя, мне интересно общаться с так называемым «народом». Кстати, вот уже в нашем привычном расслоении восприятия — мы-они, есть что-то в корне... несовременное. Будто мы до сих пор под Николашей живем — страшно узок их круг, страшно далеки от народа. И так далее. Ну, ладно. Так вот. Среди этого самого «народа» — ты встречал когда-нибудь того клинического, беспримесного пошляка, на которого рассчитан телевизор или эта, к примеру, газетенка? Я — нет. Получается, этот монстр существует только в воображении тех парвеню, что вскарабкались на зарплату в несколько американских тонн, сидят там, ноги свесив, а на остальных гадят, с выражением. Самое гнусное — что на них даже давить не надо; все сами с удовольствием сделают. Это не умозрительное построение; я на себе эту атмосферу почувствовал, и самое неприятное — что-то во мне на нее откликнулось, заерзало. А ведь так называемая массовая культура — это современная мифология. Мифология, как нам известно с доколумбовых времен, есть средство интеграции в социальность и даже средство ее моделирования. Зачем кому-то потребовалось искусственно навязывать собственному народу матрицу дебила? Возьмем выше. Весь этот глянец-полуглянец, ситигайды разные, планы

на вечер. Там тоже рулят люди, искренне презирующие Васю с Просвета, но все их усилия при этом направлены на них, вчерашних Вась. На то, чтобы объяснить, как им перестать быть Васями и стать — кем? Людьми, одержимыми постоянным внутренним комплексом — что-то вовремя не купил, не посмотрел, не сходил, куда надо. Кому — надо? Культура — важнейшее средство изменения общества, но у меня вызывает сильные сомнения, во-первых, чистота рук тех, кто тасует ее, как сдачку в покере, а во-вторых, их компетентность. Людей все время пытаются куда-то слить; конвертировать человеческую энергию в какую-то херню, вроде просмотра нового сериала или поедания виноградных улиток в правильном месте. А ведь на телевизор или эскарго авек вин блан еще надо заработать; это мы с тобой жрем улитки на презентациях, а Вася гробится целыми днями в вонючем офисе — и для чего? Чтобы съесть улитку? Бред. А пока люди маются всей этой навязанной им ерундой, кто-то решает их будущее. Возводит в культ самые тупые, инертные человеческие свойства. Этот опиум хуже любого другого, потому что он даже не предполагает возвышения и прорыва. В условиях давления через религию или идею можно найти опору в личной вере. В собственном понимании идеи. В освоении благ нет никакой идеи. Их может быть больше или меньше, но качественной разницы никакой. Здесь нечего ловить. Не может бесконечно продолжаться это пожирание обществом самого себя, не говоря уж о том, что всегда останутся те, кому не досталось улиток. И телевизор рано или поздно надоест... И ведь ладно было бы все ровным слоем в шоколаде — так ведь в каком-нибудь городке на Байкале людям поднимают зарплату только к приезду федерального начальства, а жаловаться ходят к местному смотрящему. Да что я тебе рассказываю... И вот люди днем ходят решать вопросы к смотрящему, а вечерами пьют разбодяженный спирт, а им еще по телеку впаривают про гламур. Есть от чего обидеться и заскучать.

Может настать момент, когда все эти планы на вечер расплывутся, как газета в сортире, букочки поплывут и сложатся в нечто совсем неприятное.

— На культуру потребления ополчился, а? — усмехнулся Петя. — Оставь кесарю кесарево, а народу — его телесериалы. И молись, чтобы они не отвлекались.

...Данька толкает носком ботинка оконную раму — та рассохлась, скрипит, ни на одну щечолду не застегнута. На чердаке сложены старые попоны, сапоги без подметок. Поэтика запустения. Низкое окно с выбитым стеклом выходит в Орловский парк, и ветер близко — руку протяни и дотронешься — шевелит плотные, желтоватые, заскорузлые по началу осени восковые листья тополей и дуба. Назавтра после этого разговора Петя уехал в столицу; через неделю прикрыли клуб. В следующий его приезд они сидели с Мыскиным уже в кофейне, и Данька осторожно осведомился, не связано ли закрытие клуба тоже с какой-нибудь такой... нечеткой или неправильно выбранной позицией — все-таки там и диспуты проходили, и все дела. Мыскин звонко расхохотался на Ворона пенкой от капучино. Ой, ну Дань, ты наивный. Наверняка у разгильдяев лицензии не было на водку или что-нибудь в этом роде. Вскоре после этого Данька загремел в армию, и Петя если и приезжал еще в город, то это проходило мимо него. Никакой политики, — в первый же день объяснил ему капитан. Мы, лейтенант, с бандитизмом боремся и с чурками. И с коррупцией. Ну, и по мелочи там, конечно: это если партия прикажет. Данька пока по мелочи: уже две недели командует лошадьми. Выводит их по утрам на прогулку — вдвоем с конопатой Варькой — и ощущает свою новейшую историю как сюжет; а в этом сюжете не ощущает ничего лишнего.

Его обязанности заканчиваются после обеда — для Варвары он с одной стороны — начальник, с другой — интеллигент. Белоручка то есть. До нормальной работы его заботли-

во не допускают. Сержант Варя возится одна, иногда рычит на вечно пьяненького сторожа Фомича. Варвара — неухоженная девица лет двадцати, с отлично развитыми мускулами на бедрах. Русые волосы, короткая комсомольская стрижка. К вечеру на конюшню подтягиваются две-три похожие на нее девицы — из тех, у которых тинэйджерский возраст без перехода сменяется... бальзаковским? Нет, Данька мусолит это слово на языке и даже смеется — до того оно не подходит. Как раз сейчас одна из них — жирненькая, неспортивная совершенно, лихо гарцует по двору на Помехе — злой стерве-кобыле, четырехлетке. Данька к Помехе и подойти-то остерегается, непредсказуемая тварь — ластится, морковки просит, а потом зубами — клац! И пол-ладони нету, Данька это очень живо себе представляет.

Варька закончила прибираться в стойле у Помехи и тоже вылезла на двор. Открыла зубами бутылку пива, протянула ее лейтенанту. Открыла вторую — для себя. Хмурится.

— Что такое, Варь? — мягко спрашивает Данька. Варвара дергает волевым подбородком.

— Тучи вон. Нагнало. Погода завтра испортится... — Варька из пиетета перед лейтенантом подбирает приличные слова вместо тех, что не очень; как «ты» на «вы» заменяет. Выражение лица озабоченное. — Совсем, — добавляет она, — совсем испортится.

— И дождь пойдет, наверное, — рядом возникает пацан неопределенных лет — по росту только скажешь, что пацан — лицо как у старушки, сигаретка меж зубов. Варя недовольно смотрит на него. Тот улыбается — и это выглядит по-настоящему страшно, как если бы хэллоуинская тыква вздумала заискивать.

— Пивко, а, Варь? — говорит тыква. — Здравствуйте, Даниил Андреевич, — протягивает Даньке ладошку. Данька демократично здоровается и даже бутылку отдает:

— Угощайся.

Варька неодобрительно смотрит на лейтенанта. Тыква, которую зовут то ли Пашкой, то ли Саньком, прибилась к ним не так давно и даже среди лошадиных девиц считается парией. Пашка-Санек делает затяжной глоток и протягивает Даньке пиво:

— Спасибочки.

Борьба между демократизмом и брезгливостью завершается вничью — лейтенант берет бутылку обратно, но пить не решается. Варька насмешливо смотрит на него и кричит:

— Эй, на Помехе! Пивка не хочешь?

Лейтенант, наконец решившись, прикладывается к горлышку. Девица подъезжает, Помеха почти прижимается к Даньке боком, он отступает назад, Варька протягивает подружке свое пиво. Девица на Помехе колышет ногами на уровне его груди. Все молчат.

— Слышь, Тань, — говорит Варька. — Завтра нам Самсоновых приведут.

— Пиздишь, — уверенно отвечает Таня.

— Ни хуя, — ободренная примером подруги, Варвара расслабляется. — Вон, Андреича спроси. Ихние вчера приехали, Самсона и все цыганье свонное на грузовик погрузили и увезли со всем барахлом. А лошадей ихних, я думаю, к нам определят, куда их девать-то?

— На колбасу, — хихикает юноша-тыква. Данька подмечает, что тыква и капитан Александр Петрович мыслят в одном направлении.

— Да не, на хрен им такая колбаса. Они ж не азеры, — резонно замечает Варька.

— А кто они? — озадачивается Татьяна. — Ментов здешних я почти всех знаю, — хвастается Таня и вопросительно на Даньку смотрит. Помехе уже надоело стоять, она машет хвостом по морде Даниилу Андреевичу.

— Лошадь на место заведи, — по-хозяйски подмечает Варвара, — и продолжим. Диксусию.

Даньке становится смешно.

Самсоновых лошадей им не привели, зато Таня появляется на следующий день к обеду и говорит, что у нее юбилей.

— Юбилей — это сколько? — спрашивает Данька.

— Юбилей — это что? — интересуется мальчик-тыква.

Поскольку спрашивают они почти одновременно, Таня затрудняется, кому отвечать, и только застенчиво выкладывает на стол в раздевалке пять помидоров, палку колбасы и буханку хлеба. Следом из клетчатой «челночной» сумки появляются две бутылки водки и бутылка «Алазанской долины» с пластиковой пробкой. То еще пойло.

— Вы ведь вино любите? — предупредительно спрашивает она у Даниила Андреевича. Теперь уже он не знает, что отвечать. Ага, вино. Кино и домино. В раздевалку входит Варька, бросает на стол стек и стучит сапогом о сапог — сбивает прилипшие опилки, ну и навоз, конечно.

— На травку пойдём? — спрашивает она у Даниила Андреевича, оценив ситуацию.

— А что, — задумчиво говорит Данька. — Пойдем.

Через четверть часа они сидят на берегу речки Стрелки. Осень затягивается: уже конец сентября, но листья на тополях зеленые по-прежнему, только слегка пыльные, заветрившиеся. Кавалерист-девицы даже ради десятиминутной прогулки не бросают своих скакунов, и две лошади — Помеха и серый орловец Анжар пасутся рядом. Таня наливает Даньке вино в пластиковый стаканчик.

— Слышь, лейтенант, — говорит она. — Мне интересно — всех цыган и хачиков выпрут теперь или... оставят немножко на расплод?

Таня серьезна.

— А тебе зачем? — спрашивает Паша-тыковка.

Все-таки Паша, как Данька теперь выяснил. Погода ясная, и на речке лежит веселая солнечная чешуя. Солнца уже не видно за деревьями, но оно разлито в воздухе. Данька ду-

маст — забавно, что солнце есть целый день, но замечают его обычно только на закате.

— Неважно, — сначала говорит Таня, но потом колется: — Мужик у меня был, Манас. Азер. Слышал, кабак держит?

— Нет, — говорит Данька.

— Неа, — вторит Пашка.

— Тань, я интернационалист, поэтому не одобряю, — решает Данька завершить дискуссию и помидором закусывает. — Но новый проект мира практически безупречен в своей аскезе, — внезапно добавляет он. Таня значительно кивает и смотрит на речку. После двух часов неформального общения она кажется Даньке почти симпатичной — если бы не штаны-треники и брезентовая жилетка, вообще не весь обидный и жалкий вид, она была бы похожа на девушку с голландских полотен: где комната, окно, тряпочка на стене и тщательный гвоздик, и складочки у тряпочки-полотенца четкие, как уравнение на «отлично». А у стола, руки сложив, сидит такая Таня в чепце, с выпуклым лобиком и безмятежными водянистыми глазками.

— Сегодня у меня желание исполнилось, — говорит голландская Таня. — Чтобы день рождения, а баб и мужиков поровну, — поясняет и хлопает водки. И стаканчик комкает в пакет. Водка кончилась. Либо заканчивать, либо идти за добавкой.

Он так и торчит на конюшне без дела, начальство о нем будто забыло. По вечерам уезжает по шоссе на юго-запад: жить ему разрешили дома. Новости узнает из интернета; федеральные телеканалы передают шапкозакладательные репортажи о прогрессивном эксперименте по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и чуть ли не врагом рода человеческого в отдельно взятой имперской провинции. В помощь городской милиции придана гвардейская

часть. Лучшие из вчерашних студентов, вместо того чтобы ехать в Хабаровск, получили шанс послужить родине на местах. Региональный днем рассказывает об улучшившейся ситуации на дорогах, ночью показывают пейзажи, города и туристические веси под вкрадчивый лаунж — новую музыку толстых мужчин и невесомых женщин. Еще — репортажи с бесконечных вечеринок. В сети царит атмосфера интеллектуальной истерики — аналитики наперебой строят прогнозы, на форумах — нескончаемый упоенный визг. Все с воодушевлением ожидают введения цензуры и напоследок отрываются изо всех сил. Как же — наверху в кои-то веки оценили; как плохие новости — тоже новости, так и неблагоприятное внимание льстит. Ночью перед монитором Ворон чувствует себя на аттракционе русские горки — и страшно, и увлекательно, и подташнивает. Он ведь историк, а тут такой прецедент — интересно. Незадолго до полуночи Данька захлопывает ноутбук, вынимает заложенную между книжными страницами записку и отправляется ловить маршрутку.

Ворон чесал вдоль центральных улиц по гражданке — плащ-тренч, камуфляжные штаны, темно-синий блейзер, арафатка — и ощущал себя засланным казачком, проводником меж мирами. Никогда еще ему не доставляло такого удовольствия играть ресторанным критика Батманова. Если раньше приятная личина проницательного модника, завсегдатая тусовок и знатока правильных мест давила и девальвировала то, что он понимал собой, то сейчас на стыке двух неправд его маленькой внутренней истине было почти комфортно. Он ловил беспокойный и веселый кайф от того, что встречающиеся на клубном пятачке знакомые никак не прозревают случившейся перемены.

В городе стало меньше людей и намного меньше машин. Богемная молодежь и последние отважные иностранцы проскакивают между барами перебежками, чуть пригнувшись,

будто с наступлением ночи все стороны улиц становятся наиболее опасны. С наступлением ночи по улицам вместе с милицейскими патрулями разъезжают наряды Дружины. Парни в кепи и потешных галифе. Веселы, слегка пьяны и постоянно стрекочут семечками. Данька пересекал открытые пространства спокойно и слегка развернув плечи; может, поэтому никто ни разу не потребовал у него документы. Смешно и некрасиво, но его пьянила эта неуязвимость, эта фатальная несвобода, дающая право на свободу в мелочах. Наверное, примерно так должен был чувствовать себя мелкопоместный рыцарь, предавшийся могучему суверену. Он зашел в несколько популярных кабаков, в третьем или четвертом напоролся на знакомую компанию.

— Легко не будет, но будет очень, очень интересно, — разглагольствовал длинноволосый мужик с застиранной бабьей физиономией. Данька помнил, что встречал его на умных семинарах в университете. Барышня-журналистка лет двадцати, пьяненькая и трогательная, кивала в такт риторическим паузам и смотрела оратору в рот. Тот не реагировал, ему было очень-очень интересно, но с самим собой. Саша Станишевский, философ и умница, все больше молчал и налегал на водку.

Ворону было странно увидеть Станишевского в декорациях безалаберного, но при том довольно пафосного заведения. Французский кабачок, где он застал компанию, пестрел изречениями из эпохи Просвещения, медиа-девочка чирикала потешные картинки на устилающем стол ватмане, официанты, как один, щеголяли фирменной велеречивостью и жуликоватой галльской искрой в глазах, а выпивка стоила не меньше четырех евро. Станишевский был бессребреником из принципа, и Данька цинично заключил, что Саше наконец начали наливать только за то, чтобы он скрашивал интерьер своим присутствием. Интеллектуал как элемент обстановки. Девочка-журналистка

захотела есть; веселый и ласковый халдей подогнал меню. Компания углубилась в чтение.

— Дю лапин а ла мутард! — радостно возгласила барышня.

— Лапán, — с улыбкой поправил Данька. — Du lapin a la moutarde, кролик в горчичном соусе.

— Мне всегда казалось, что для историка этот молодой человек слишком увлекается жратвой, — прокомментировал Станишевский.

— А для ресторанного критика? — зазвенела девчушка и поочередно состроила глазки Даньке и Станишевскому. Учитывая, что навеселе она слегка косила, вышло весьма потешно.

— Для ресторанного критика он слишком увлекается словами. Лапан. Скажите тоже. Он пробует не кролика, а лапана. А еще вернее будет сказать, что он дегустирует слова.

— Логика помогает понять, фантазия — вообразить, эрудиция обеспечивает строительным материалом, — продолжал заливаться длинноволосый, не обращая внимания ни на девушку, ни на лапана, так и оставшегося на столе в виде строчки из меню. — Но всем умозрительным построениям не хватает тактильности, а полевые изыскания в гуманитарной области уже зовутся политикой и куда как чреватые.

— Вот что, Вова, — попытался вставить Станишевский. О как. Просто Вова. Вова кивнул и продолжил — мнение Станишевского его явно не волновало:

— Знатоки исторической механики отлично осведомлены о статистике нештатных ситуаций — и за руль предусмотрительно не садятся.

— Им прав не дадут, — пожала плечами барышня.

— Каких прав?

— Как на автомобиль.

— Все верно, — кивнул Станишевский. — Если руль — тогда права, — и снова глубокомысленно замолчал.

— Что ж они сдаются-то тогда... с такой готовностью. Пассажирами. На неуправляемое плавсредство? — спросила девица.

— Во-первых, они, то есть мы, все время в состоянии опьянения. Хотя бы собой, любимыми. Ты же, когда пьяна и не уверена, не сядешь за руль? Ну? А тачку ловишь. А может, у водилы вовсе прав нет? Но для тебя это дело десятое. А ты где сейчас, Дань? Чем занимаешься? — Станишевский, как всегда — без паузы перешел на личности.

Данька не торопился с ответом: почему-то кажется, что о своей новой работе в приличном обществе лучше помалкивать. Но все смотрят на него, и он жмет плечами.

— Зеленым человечком работаю.

Общий смех.

— Без шуток, — подтвердил Данька. — Меня призвали летом еще.

Помолчали. Данька не то чтобы почувствовал себя лишним, но темы для разговора исчерпались.

— Ладно, — наконец сказал он. — Пойду ловить. До дома. Неуправляемое плавсредство.

— И правда — плавсредство, — засмеялась девушка и посмотрела на Даньку вроде бы даже с интересом. — Смотрите, дождь-то какой.

Отсчитав на стол деньги, он поднялся и пошел к выходу. Его проводили без драматизма — только Станишевский протянул руку и сонно порекомендовал быть осторожней. Данька вывалился на улицу: горящий проспект вроде Невского. Воздух, перемешанный с водой, шумит. По асфальту, фасадам хлещет темный, уже почти зимний дождь.

Машина с плеском затормозила возле одинокого пешехода — в свете фар блестит его плащ и лицо. Данька назвал куда и быстро согласился платить сколько требовали — под дождем торговаться неуютно. В недрах скрипучей вишне-

вой «копейки» ежился стандартный бомбила с орлиным носом. — Живете там? — вежливо осведомился водитель, перекатывая русские слова камешками под языком. — А что? Так далековато! — улыбается. Ворон любопытно взглянул на парня поверх арафатки. — А ты будто ближе? — О-у-у, — заныл хачик. — Угадай, а? Смеется, подергивая ноздрями. — Перс, — на ходу придумывает Данька. — Зо-роастриец. Таджик. — Таджик — да, так у вас называют. А вот персов не знаю. Это азербайджанцы, да? — Нет, постой, — смеется Ворон. — Ты на фарси говоришь? Значит, перс. — На фарси, но персов не знаю. Закурив вонючий «Голуаз», Данька начинает пересказывать полуночному персу его историю. К Петергофу водила уже подъезжает наследником Кира и Атаксеркса. «Копейка» проскакивает указатель, но не тут-то было — пост. Подходит парень в кепи и плащ-палатке. Потоки воды летят по лобовому стеклу, дворники — взмах, как вдох-выдох; расчерчивают фигуру постового напололам. Водила опускает стекло, полицай сбрасывает на плечи капюшон, тычется козырьком в окно. Улыбается мокрыми губами: выходи, дорогой. Потомок непобедимых персидских конников бледнеет и сползает с сиденья, устремляясь под дождь. С жалким видом трясет тощей бумажник. — Договоримся? — Гроши свои убери, — рывкает дружинник. — Документы. Регистрацию. В темпе. Водила хлопает коровьими ресницами, нерешительно шуршит кэшем, купюры разбухают влагой; жирные и неподатливые, как скользкие жареные пирожки, выворачиваются из пальцев. — Данила! — орет кому-то в темноту постовой. Звони на отделение, здесь нарушитель иммиграционного режима. Данька просыпается на собственное имя, толкает дверцу машины. Солдат стоит над «копейкой», расставив локти; мокрая плащ-палатка бугрится, и бьют в козырек кепи тяжелые дождевые капли. У парня скуластое и радостное лицо. Таджик перед ним

сгорбился и переступает ногами. — Минуточку, — просит Данька. — Да хоть сотню минуточек, — улыбается постовой. — Тебе, земля, еще до хрена здесь торчать. Пока следующего поймаешь — у! Полицай, веселясь, ерзает на каблуках. Сочная улыбка похожа на половинки яблока. Данька придерживает его вращение и наудачу толкает удостоверение солдату под козырек. Тот ладошкой закрывает корочку от дождя, сверяет фотографию. — Ага, — говорит. — Что тебе ага? — Черный с тобой? (недоверчиво) — Да. Даньке неприятно за потомка Атаксеркса, но возмутиться он не решается. Постовой возвращает ему удостоверение, машет — валите. — Поехали? — спрашивает водитель. С кончика красивого носа падают дождевые капли. Данька кивает, садится в машину и молчит до самого дома. — Здесь. Достает бумажник. — Эй, командир, не надо. — Какой я тебе командир? — морщится лейтенант Ворон, но деньги убирает. Выскакивает, чиркает зажигалкой — дождь прекратился; окна ближних хрущевек темные. Парадная выходит на бульвар Разведчика, красные клены через дорогу уже начинают осыпаться. Деревья как живые — колышутся без ветра. Кленовый сироп, — ловит Данька внезапную ассоциацию. В первый раз навестив его из Нью-Йорка, мама привезла кленовый сироп.

Засыпая, Данька бредит кленовым сиропом, аллеями Централ-парка и Иглоу Клеопатры; огромным городом, где он никогда не был, о котором так поэтично и завлекательно писала ему мать. Но поперек осевых нитей сна из волн непокорной Атлантики, меж небоскребных стрел всплывает история, которую рассказывал ему в дешевом питерском баре маленький филолог из того самого Нью-Йорка. Мэр Джулиани, который прославился слезами на 9.11, — усмехался Лева, — изо всех сил боролся с преступностью. Полиция выходила на охоту ночью; заставая на улице или на станции сабвея компанию черных или латиносов, они,

не говоря ни слова, пускали в ход демократизаторы. Когда те спрашивали — за что? — полисмены смеялись и отвечали: расслабьтесь, гайз, ничего личного. It's Giuliani's time¹.

Кому бы приписать то время, что происходит сейчас со мной и с нами? Нам ведь непременно нужно имя — для того чтобы свалить на него всеобщие ошибки, грехи, ярость, ежедневные предательства. Хорошая формулировка; означает — это время не мое, в конечном счете — я не отвечаю за то, что сейчас происходит.

Утром звонит Варвара. Говорит: здесь ваши были, спрашивали. Капитан этот толстый, с солдатами. Даньке становится слегка не по себе, но он откладывает трубку, садится на кровати и вспоминает завязшее с ночи выражение: джулианиз тайм, только то. Ничего личного.

Начался новый учебный год. Это лето Алька провела в ларискиной тусе и много чему научилась. Лариска, правда, так не считала. Ты странная все же, — говорила она подружке. Вроде с нами, но все делаешь по-своему и многие вещи проходят, тебя не касаясь. Алька на такие реплики молчала — ей самой в себе это не нравилось, но она не могла ничего поделать. И в то же время подозревала, что, будь они больше похожи, Лариске с ней было бы неинтересно.

— Историчка наша уволилась. Говорит, достали ее уголовники малолетние, и что она не Макаренко. Сегодня последний урок ведет, — Ларка вернулась из столовки и сообщила последние новости.

— И что теперь?

— Наталья Евгеньевна теперь, — пожимает плечами Лариска.

— Чур меня, — Миша суетливо крестится и тычет Лариску в плечо:

¹Время Джулиани (англ.).

— Да ну, она ж только у мелких ведет.

Наталья Евгеньевна — дама с роковым чувством юмора. С ней обычно весело, но недолго — до первой контрольной.

Ларискин шепот стремительно затихает, раздаются шаги.

— Сан-Васильевна, а Сан-Васильевна! Правда, что вы уходите?

— Ти-хо! Все открыли тетради. Что там написано?

— У меня там еще с прошлого года назначена встреча со Смирновой! В платном сортире, — глумливо орет Миша, вскакивает и хватается за портфель. — Так что я пойду!

Всеобщий смех.

— Сидеть! — кричит Александра Васильевна. Смирнова вскакивает на парту, Лариска визжит — кто-то ползет под партами и хватается за коленки. Парни свистят и бросаются тряпкой. Александра Васильевна тоже визжит, по классу начинают летать стулья. Один из них грохается в едва откывшуюся дверь. Дверь захлопывается, потом открывается снова. С некоторой опаской. В класс заглядывает чернявый парень лет двадцати — джинсы, фурацилиновые очки; фанатистские татарские усики на смуглой физиономии; клубные ботинки и сумка-почтальон. Явно ошибся дверью.

— Вот вам новый учитель! — бросается к нему Александра Васильевна. — Им всем неуд! Всем! Даниил Андреевич его зовут!

Алька с Лариской переглядываются; их лица синхронно расплываются в улыбке.

— Это что еще за японский студент? — обескураженно шепчет Миша.

Сухая, холодная, какая-то незрелая осень: солнце в полную мощь и минус тепла. Желтые листья скукожились на деревьях, с небес льется пронзительная безвоздушная синева. На трамвайном виадуке тихо, воздух неподвижен, только внизу шумит город, да время от времени со звоном и грохотом проносятся вагоны. У нового историка свои методы:

дети вытянулись вдоль пешеходной дорожки, Даниил Андреевич идет впереди и перекрикивает трамваи:

— Кто знает, откуда происходит название района?

— Автово? Ну, автомобили... Завод... Как еще? — Высокий темно-русый мальчик с печальными южными глазами.

— А вот неверно! — Каркуша расцветает, как ведущий какого-нибудь «Поля чудес». — Нет такой буквы в этом слове. — Какой завод... Руслан? — Даниил Андреевич радуется еще больше — вспомнил имя. — Какой завод? Завода-то нет! Была финская деревня, называлась Ауттава на наш лад. Деревню заглотил город, а русский язык заглотил и переработал под себя название. А кто жил в деревне?

— Финики! — радуется Медведев. Пляшет вокруг, задирает девчонок. Все успевает — и вопросы спрашивать, и вслед трамваям орать про «трамвай пересекл отряд октябрят». Кто такие октябрята, уже мало кто помнит, но все равно смешно.

— Почти так! — кивает Каркуша. — История — как вода, как волны. Накатывают, сталкиваются, поглощают. Водь, ижорцы и прочие инкери — это не совсем финны, но финно-угорские племена. Союзники Великого Новгорода, потом подданные шведского короля, потом... Кто помнит про Столбовский мирный договор?

Никто не помнит. Всем весело. Каркуша не унимается, твердит что-то про Новгородскую федерацию. Про средневековую офшорную зону, про посадских людей и иллюзию свободы. Одна Смирнова слушает внимательно; вернее, не слушает, а следит, как Даниил Андреевич поправляет свои фурацилиновые клубные очки. Во клоун; журнал «Птюч» на пленэре, и на тебе — Новгородская федерация.

— Ижорский дозор предупредил князя Александра о появлении шведских кораблей на Неве. Ижорцы были язычниками, но приняли православие, как можно полагать, на манер

римлян, которые брали к себе в пантеон всех завоеванных богов. До сих пор считается, что славяне ассимилировали угро-финское население, но если учесть, что большую территорию европейской России до Урала и даже чуть дальше населяли угорские племена, а численность их была поболее, чем у славян, то еще неизвестно, кто кого ассимилировал. Если по-честному, то мы все немного ижорцы, вепсы или мордва. Все, надеюсь, знают, что именно после битвы на Неве князь Александр стал прозываться Невским... Впрочем, аутентичных ижорцев, по последней переписи, в наших краях сейчас осталось не более четырехсот пятидесяти человек. Вопрос выживания народов часто решается так — чем мы готовы пожертвовать: кровью или идентичностью. Кто-нибудь понимает слово «идентичность»?

Даниил Андреевич говорит вроде бы всем, но обращается в основном к Смирновой — поскольку она единственная не отвлекается. Наконец такая ситуация ему надоедает. Он оборачивается к детям и хлопает в ладоши.

— Представляете — триста, четыреста, еще больше лет назад. Мы бы стояли на болоте, над нами бы шумел темный сльник, а под ногами — сизый мох.

Вокруг громоздятся сталинские дома-монументы, за виадуком начинаются новостройки, еще дальше — выросшие в город загородные особняки восемнадцатого-девятнадцатого века. Они уже спустились с виадука, прошли дворами мимо лавок с носками, лампочками и книжками, призывающими отправить голову в отпуск, и теперь стоят у входа в метро.

— А разве мы и сейчас не на болоте? — Миша топает ботинком в асфальт. Лариска оборачивается ко входу в подземку.

— Нам туда? Все, урок окончен?

Даниил Андреевич слегка теряется.

— Нам туда, но урок не закончен, — строго говорит он. Гомонящая толпа через тяжелые вертящиеся двери просачи-

вается внутрь. Даниил Андреевич лихорадочно вспоминает учебник — за вольными отступлениями он не только потерял нить, но и забыл, что эти мартышки сейчас проходят. Так и не вспомнив, он отчаивается и решает, как чукотский акын, руководствоваться подсказками проплывающего мимо пейзажа.

— Представьте — седьмое ноября, праздник Великого Октября. Тысяча девятьсот пятьдесят пятый год. Открывается первая ветка метро, всеобщее ликование.

— Да вы реваншист! — хихикает Медведев. Даниил Андреевич выцепляет его взглядом: большой и крепкий недоросль с сотовым на поясе.

— Какие вы, Слава, знаете существительные. Знаете, а скрываете. Продолжим.

Они спускаются в метро. Первая в городе станция, как только что сказал Даниил Андреевич. Он окидывает публику быстрым взглядом: ребятам вроде снова интересно, пока. Алька и Лариска смотрят на него очень внимательно, прямо едят глазами. Потом переглядываются. Даниил Андреевич чувствует подвох, но не может понять — в чем дело-то? И продолжает:

— Мой дед привез отца на открытие станции. Была толпа народа, красная ленточка, первая электричка и военный оркестр.

— Улыбаемся и машем, — кивает Алька Медведеву. Данька поеживается. Детям весело, и стоит ли добавлять, что дед всего за полгода до этого вернулся из лагеря, а еще через месяц тихо умер; ночью, от сердечного приступа. Медведев смеется:

— Даниил Андреевич, смотрите, а там мозаика. Что за событие там изображено?

Даниил Андреевич слегка близорук, а фасонистые желтые очки от этого греха не помогают, поэтому он начинает вглядываться. Ему стыдно — мало того, что не видит, он еще и не

помнит. Пока он ломает голову, как выйти из положения, — вокруг не остается никого. Школьники, как ниндзя — профессионально и без шума, — рассеиваются в толпе. Рядом остается горстка отличниц. Данька затравленно озирается. Кто-то касается его плеча. Даниил Андреевич оборачивается. На ступеньках стоит Саша Розенберг и улыбается. Кивает:

— Цыплят растеряли?

Данька правда не знает, что отвечать.

— Да ладно, — ерничает Розенберг. — Забей, пойдем покурим лучше. — Розенберг подмигивает, но Даниил Андреевич явно не настроен поддержать.

— Я не скажу никому, — добавляет Саша.

— Спасибо тебе большое, — едко говорит Даниил Андреевич.

— Мы с вами как мушкетеры — будем выручать друг друга, — смеется Розенберг.

— Сегодня ты, а завтра я? — Даниил Андреевич находит в себе силы иронизировать.

Розенберг хохочет.

— Чувствуешь себя большим и сильным? — интересуется Данька.

— Есть немного, — признается Саша.

— Это ненадолго, — заверяет его Даниил Андреевич.

Ворон положил трубку и суетливо засобирался. Выдернул из шкафа форменные брюки; куртка валялась на столе, поверх лежал ноутбук. Он рванул куртку, и лэптоп рухнул, повиснув на проводах. Данька бросился подхватить его, приподнял, на руках раскачивая, будто маленького. Яна как-то раз спросила, что он в первую голову будет спасать из горящего дома. Ворон, не задумываясь, кивнул на лэптоп. А меня? — обиделась Янка. А ты сама выберешься. Шучу, конечно. А кроме Яны были еще картины — все, что после отца осталось. Книжки, фотографии. Ты как Кощей Бессмертный. Только вместо

яйца с иглой — лэптоп, — съязвила Янка. Ох, дошутимся сейчас, Янина Эдуардовна...

За историю про одержимый город Данька принимался несколько раз. Сначала город звался Монсегюр, в честь знаменитой альбигойской цитадели. Потом Данька занялся реальными альбигойцами и надолго оставил литературные эксперименты. Когда пару лет назад началась горячка с Яной, ему потребовалось уравновесить катастрофическую важность новых отношений. Две истории качали между собой его энергию, как сообщающиеся сосуды. Монсегюр жил в лэптопе.

Пуговицы не попадали в петли. Он дико нервничал, но внезапно накатило спокойствие. Следовало быстро привести себя в порядок (не забыть обмахнуть тряпичей ботинки), отключить электроприборы, перекрыть газ, выскочить на улицу и поймать маршрутку до конюшни.

Последняя редакция получалась на совесть; Данька начал ее на волне злости и отчаяния: тогда они в очередной раз расставались с Грабовской. Монсегюр утратил имя и стал просто городом; большим подстоличным городом второго имперского эшелона, в котором все скрытое оборачивается бесстыдно-явным. То, что происходит с вашим соседом по предместью, пока вы возвращаетесь из благополучного центра города, теперь происходит с вами. Время вышло из хрупких берегов. По улицам марширует зловещая Дружина, людей вешают на фонарях.

Маршрутка остановилась на бензозаправке. По правилам надо было выходить, но пассажиров было полтора человека — Данька плюс какая-то бабка, и водила махнул рукой. Глядя в окно, подумал, как забавно расслаивается человек — вот сейчас, например, он был един в трех лицах: двадцатичетырехлетний горе-любовник, впервые переживающий нечто живое и человеческое; неудавшийся кандидат наук, фантазер у разбитого корыта; лейтенант Ворон, следующий

к вверенному ему объекту «ведомственная конюшня». Он сфокусировал взгляд и посмотрел по сторонам: реальность расслаивалась тоже. Бабка говорила по мобильному телефону; водила возился, заправляясь. К бензоколонке подрулил армейский «козел», и оттуда вышел капитан Петрович. Он направлялся к водиле и тут заметил Даньку. Пришлось выйти.

— Здорово сачкам, — неодобрительно сказал капитан.

— Здравия желаю, — Данька козырнул.

— Так ты это, понял? — продолжил капитан разговор с шофером. Тот застыл со шлангом наперевес и выглядел дико обескураженным.

— Мы начальству вашему на прошлой неделе циркуляр отправляли. Так что увижу еще тебя или еще кого из ваших — придется оформлять. Тебе ж этого не надо? — Петрович сплюнул на асфальт.

— Все понял, товарищ капитан, — водила отвернулся, аккуратно пристроил на место шланг. — Можно, я до автопарка доеду?

— Валяй.

Водила свернул провод и полез в кабину. Они стояли посреди заправки, а заправка — посреди заболоченного, отвоеванного ивняком и дикими утками поля. Рядом струилось шоссе, Данька задумчиво вертел в пальцах сигарету. Петрович щурился на солнце, потом перевел взгляд на лейтенанта.

— Парень, ты очумел? — поинтересовался он, кивая на сигарету. Пояснил: — Движение перекрываем, вот неделю уже, а эти козлы все ездят и ездят.

Дорогу Даньке пришлось продолжать на армейском «козлике». Петрович сел вперед, рядом с водителем; лейтенант Ворон трясся на заднем сиденье вместе с высоким чернявым парнем. На коленях у того лежал автомат. Всю дорогу парень смотрел под ноги и шевелил губами, будто что-то подсчиты-

вал про себя; окружающая действительность его совершенно не интересовала.

— Деньги тебе нужны вообще, Дань? Или за идею работаешь? — спросил Петрович, клонясь на повороте. Нужны, конечно, — сообразил Данька.

— Довольствие завтра и послезавтра. Приедешь в Управление. Еще и поговорить надо.

— Так точно.

— Около вас тоже пост будет, — кивнул Петрович. Они доехали до поворота на конюшню. — Товарища тебе оставляю, поселишь его где-нибудь.

Мрачный детина с автоматом поднял голову и тупо кивнул. У него было маленькое, будто скукоженное, лицо и крупные водянистые глаза.

— Рядовой Иконников, — сказал он. Подумал и добавил, — рядовой Сергей Иконников.

— Ну, бывай, — Петрович протянул руку, — до завтра.

Данька вылез из машины. Рядовой Иконников уже стоял рядом и наблюдал носки своих ботинок.

Они прошли по дорожке вдоль парка — Данька бодро перемахивал лужи от вчерашнего дождя, рядовой Иконников угрюмо и равномерно хлюпал ботинками. Добрались до ворот. Надпись: территория охраняется собаками. Собаки — черная вечно беременная сука, валялась на чахлой травке, считай — в грязи, и гостеприимно взбивала эту грязь хвостом, до пузырей. Калитка была прикрыта на щеколду изнутри, Данька просунул руку и ловко ее отодвинул. Вошли во двор.

— Здесь надо сторожку поставить, — по-хозяйски сказал Иконников. Оглядел забор, снова пошевелил губами. — И проволоку натянуть.

Показалась Варвара. Иконников по-птичьи наклонил голову, лицо его слегка оживилось.

— А это что... телочка?

— Постой здесь, — хмуро приказал ему Данька. Обогнул раскинувшуюся через весь двор лужу, подскочил к Варе.

— О-ля-ля, товарищ лейтенант, — сказала Варька, — А это что за верста коломенская?

Иконников стоял у ворот, где сказали. Держал автомат у локтя нелепо, как палку на веревке, и во весь рот улыбался Варьке.

Данька в так называемом кабинете заполнял какие-то накладные, приказы, прочую муть. В окне сумерки; в сумерках светился забор, аккуратно выкрашенный Варей с внутренней стороны. Шевелились деревья. Этот черт Иконников соорудил себе у забора будочку и сидел в ней, как таракан в домике. Каждый раз, когда мимо проходила Варвара или еще какая девица, он высовывался и что-то шуршал — шутил типа. Девки сначала огрызались, потом перестали обращать внимание. Зато мальчик-тыква нашел себя — рядовой Иконников гонял его на угол за пивом, затем они часами что-то терли в «сторожке». На Варьку Паша теперь поглядывал с легким превосходством.

— Даниил Андреевич, здрасте, — зашла без стука.

— Бонсуар, — вяло кивнул Данька, не поднимая глаз от бумажек.

— Как вы домой-то поедете? — озаботилась Варвара. — Маршрутки не ходят.

Даниил Андреевич индифферентно пожал плечами. Варя подумала еще о чем-то.

— А этот хмырь теперь всегда у нас будет торчать?

Лейтенант кивнул и снова обратился к своим бумагам.

Сержант Варя выжидательно смотрела на Даниила Андреевича. Тот сидел, подперев рукой щеку. Думал о чем-то; без улыбки.

— А у вас-то девчонка есть?

— Нет. Наверное...

— А была?

— Не знаю.

Яну он заметил сразу. Небольшая, мягкая и легонькая одновременно, по-особенному ладная — что дает только привычная уверенность в себе. На первой лекции ее не было, она появилась пару недель спустя — поступила на платное отделение. Она резко выделялась среди девчонок, попавших в универ сразу после школы: училась небрежно, замуж тоже вроде не собиралась. Кажется, они были ровесниками — Данька всегда знал, что истфак рано или поздно будет в его жизни, но до этого он еще по дури оттрубил два года в кулинарном техникуме. Получилось так, что умер отец, а через год мама во время гастролей познакомилась с мистером Робсоном. Мистер был коллега, какой-то ударник (барабанщик, то есть) из Нью-Йорка. Мама вышла замуж за Нью-Йорк, а Данька ушел жить к бабушке, поступать никуда не хотел, из вредности засобирался в армию. Кулинарный техникум возник случайно — он пошел туда за компанию и поступил по приколу; таким образом состоялась альтернатива Вооруженным Силам.

Чем занималась Яна до того, как возникла на истфаке, Данька не знал; возможно, что и ничем. В универ она приехала на своей машине, посредством которой раз чуть было не задавила однокурсника Ворона. Машина была смешная, — длинноносый «бьюик» семидесятых годов, — но машина, не велосипед все же. Был темный осенний вечер, Яна находилась в расстроенных чувствах и предложила подвезти его до метро; затем попросила посидеть с ней в баре. В итоге «бьюик» всю ночь простоял в подворотне: пока они перемещались из одного кабака в другой. Кабаков тогда было немного, а ночной оказался и вовсе один — в подвале, с деревянными столиками и пластиковой зеленью. Мурлыкал муммий тролль; Яна говорила о том, как она любит историю, а родители дают бабки только с условием перевестись на факультет менеджмента. Первый семестр на истфаке

оплатил ее «бывший», но на то он и бывший, чтобы теперь не платить. Данька слушал, пытался что-то советовать — ему искренне было жаль симпатичную девушку. Он не мог предложить ей денег, но пообещал помочь подготовиться к экзаменам, чтобы летом перевестись на бюджетную форму. Так началась эта странная дружба. Много позже Яна говорила, что если бы он в то время повел себя не как рыцарь (читай, лох), а как мужик, все было бы по-другому.

Данька заночевал на сундуке в кабинете. Варька принесла ему ворох старых одеял. Долго не мог заснуть, хоть и затянул тряпкой окно, выходящее во двор и дальше — на улицу со сторожевым фонарем. Без света комнатка казалась совсем маленькой, этакой коробочкой, а за временной фанерной стенкой конюшня шевелилась и дышала. Здание было старое, дореволюционное и — редкий случай — до сих пор использовалось по первоначальному назначению.

В одеяле кто-то кусался. Данька решил думать, что блохи. Собачьи (у лошадей блох вроде бы нет? Или есть?). Неважно, пусть даже лошадиные — когда тебя кусают чужие паразиты, то есть одновременно и по ошибке, с этим можно смириться. То есть не вскакивать в брезгливой судороге, не включать свет; наоборот — завернуться плотнее и даже смаковать странный уют временной неустроенности: как в палатке или на старой даче. Дача теперь была очень, очень далеко — она и раньше-то находилась неблизко, сто с лишним километров от города, но сейчас это — у-у-у, другая жизнь, за три-четыре блокпоста и несколько беглых проверок. Город потихоньку начинали закрывать: как говорил Петрович, чтобы экстрадированные криминальные элементы обратно не просочились. Данька начал прикидывать про себя, где могут находиться посты: так, один мы видели около заправки; второй, наверное, на выезде из черты города. И все? О, йо, — нет. Атомная станция. Наша дорога идет мимо АЭС — там даже в мирное время менты стояли. Впрочем, АЭС можно объехать по верх-

ней дороге. Помнится, как-то раз они так и сделали — Данька наконец решился пригласить Яну на дачу и хотел по дороге показать ей крепость. Крепость находилась в стороне от основной трассы.

Дача была для Даньки местом, куда всегда хотелось возвращаться. Во-первых, ее строил отец. Он и проводил там все лето, зачастую один; Данька объявлялся наездами, а мама, как все люди, выросшие в деревне и слегка этого стесняющиеся, очень ценила городской комфорт. Данька любил отца; они прекрасно ладили в то время, когда тот не пил. На даче он не пил. Целыми днями бродил с Данькой по окрестным лесам-болотам, где сквозь мох резалась история — остовы ингерманландских деревень, шведские жальники, отпечатки гусениц советских танков «Клим Ворошилов», советского супероружия — один-два КаВэ, случалось, тормозили немецкое наступление на сутки, катакомбы заброшенных военных баз. Потом на даче появился Витас. Этот парнишка увлеченно следовал за Данькой, лазил в угрожавшие обвалиться подземные склады, развесив уши, внимал рассказам про ижорцев и второй Кронштадт. При этом оставался странноватым; всегда на своей волне. Как-то раз отец позвал его на рыбалку. На рыбалке Витас проявил себя — ему стало жалко карасей и он устроил диверсию: вылил бидон с уловом. Данька взбесился и чуть было ему не навалял — остановило только то, как Витас стоял перед ним: ужасно боялся, но не отступал и защищаться не думал. Такое поведение поставило Даньку в тупик. Он пыхтел, как чайник, сжимал кулаки и не знал, как поступить. Тут из-за кустов вышел отец — кажется, он ходил отлить. Увидел своего пацана — маленького, черного и разъяренного, как фокстерьер. Кулаки сжаты, пляшет вокруг длинного флегматичного Витаса, который только поворачивается вокруг своей оси и глазами хлопает. Отец расхохотался. Данька окончательно потерял нить происходящего. Плюнул, пнул бидон и полез в воду. Отец согнулся пополам:

— Дань, ты куда? Карасей не вернешь. Не догонишь. Разбежались.

Данька заворочался. Улыбнулся. Аж в глазах защипало. За окном медленно светало — спать оставалось совсем чуть.

Спустил ноги на пол. Встал, потянулся, походил по комнате. Сон никак не шел. Он выскользнул в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Лошади спали, только соловый Боливар тяжело шатнулся в стойле, когда Данька проходил мимо. На табличке было означено то, что Боливар жеребец, а еще — кто его папа с мамой, какого он года рождения и породы. Дончак. Боливар просунул мягкий нос между прутьями, потянул ноздрями.

— Казак ты у нас, оказывается, — Данька погладил лошадиный нос. Боливар улыбался. Осмелев, лейтенант открыл дверцу, хлопнул Боливара — прими. Лошадь послушно подвинулась. Данька нашел щетку и принялся вспоминать остальные азы варькиной науки.

Отряхнул коня от опилок, принес седло. Было странное чувство — как в детстве, когда он как-то после школы первый раз самостоятельно сел на электричку и отправился из своего предместья в большой и незнакомый город. Или когда тем летом, два года тому, решился сломать вроде бы раз и навсегда заведенный порядок и пригласил Янку на дачу.

Как ему вообще пришла в голову эта крамольная мысль — утащить Янку, такую чистенькую, цивилизованную, всегда накрашенную, в дорогих шмотках, — и за сто километров от города, где нет электричества, туалет на улице, грязно, свежо и пахнет дымом? Так вот, — когда эта мысль появилась, — он понял, что попал. Военное садоводство; бывший аэродром; бывший ингерманландский хутор — это был его остров Сальткрокка, его Мумми-долл, место, где сходятся параллельные рельсы. Там до сих пор был жив отец, Витька там каким-то образом не уехал в Амстер, а мама — в Нью-Йорк. Мысль о том, что в этой волшебной стране может

оказаться какая-то девушка, была равносильна признанию в любви. С этого момента увилить от себя стало невозможно — и он сам чувствовал, что теперь при взгляде на Яну в его глазах появляется то неуместная обволакивающая нежность, то еще более унижительная тоска. Тоску он давил нещадно, а еще — заглушал преувеличенной веселостью. Долго так продолжаться не могло, и когда на исходе лета ему позвонил Витас и сказал, что он проездом в России, Данька зажмурил глаза и набрал Янку. Она согласилась на удивление быстро: забавно, — сказала она. Это может быть забавно, только поедем на моей машине. И хихикнула: заодно поучу тебя водить.

Заставить Даньку получить права было частью янкиного плана по его социализации, а план этот, как Данька чувствовал, был своеобразной идефикс, как для него в свое время — помочь ей стать историком. У него не получилось. Яна не осталась на истфаке — она с удовольствием слушала его рассказы, но книжки возвращала непрочитанными и к концу года успешно перевелась на факультет менеджмента. Этот ее шаг Данька переживал как личное идеологическое поражение, но поделать ничего не мог. Так лучше. Наверное. Грабовская время от времени позванивала, жаловалась на мужчин. Иногда они встречались на каких-то концертах, но вокруг происходило много чего интересного, и только через год с лишним ему захотелось пригласить ее на дачу.

Выехали с утра и к полудню попали в сумасшедшую грозу. Дождь стоял стеной, колотил в асфальт, потом еще и град посыпался. Им пришлось прижаться к обочине, затем остановиться совсем. Яна визжала от восторга. Когда чуть развиднелось, полезло солнце. Мокрая дорога сверкала, будто огнем облитая. Яна завелась, Данька включил музыку. Постепенно набирая скорость, они мчались к крепости. Данька показывал дорогу. На поворотах колеса высекали фонтаны брызг.

Было страшновато и весело — если бы тогда они вписались в какой-нибудь столб, у всех троих в крови нашли бы невозможное количество эндорфинов.

Крепость выросла на фоне неба темной громадой; Яна охнула.

— Это она? — обернулась она к Даньке. — Точно. Обрыв какой. Здесь ведь раньше было море? Прямо внизу? Прямо море? Она же на берегу стояла? Я читала где-то, я подготовилась.

Дорога взбиралась все выше, солнце совсем спряталось за оплывшие каменные зубцы. Дождь кончился, в открытое окно летела водяная пыль. Янка порывисто обернулась к нему, схватила за уши, поцеловала. Машина трепетно вильнула. Яна выпустила баранку, Данька едва успел перехватить руль. Хлопнула ладошки поверх его рук: останавливаться не будем, да? Пусть так. Как видение. Промелькнет.

Они выехали на грунтовку. Затрясло, по крыльям «бьюика» застучала щебенка. Салон наполнился сладковатым дымом — Витас на заднем сиденье раскуривал свой вечный косяк.

Когда Данька вернул Боливару с прогулки, было уже совсем светло. Он медленно проехал мимо сторожки — в будке было пусто, Варька сжалась над солдатом Иконниковым и пригласила его к себе. Данька завел Боливару в стойло, расседлал и вытер ему ноги тряпкой. Татьяна уже слонялась по коридору с тачкой опилок.

Ночью опять прошел дождь, теперь поднялся сердитый ветер. Он рвал в клочки тучи над головой; Данька торопился на первый трамвай. После бессонной ночи внутри было пусто и свежо, тело будто истончилось до предела. Все звуки — шум ветра, стук капель, прикосновения собственных шагов к гравию или асфальту; все запахи — воды, ветра, мертвых листьев — он чувствовал почти на болевом пороге. Трамвай уже стоял на кольце; он пах железом и старой краской.

Данька хлопнул удостоверением в окошко вагонОВОЖАТОГО, тот кивнул. Они поехали сквозь осенние сады — заброшенные и облетевшие, мимо мокрых дачных домиков. Народу было мало, трамвай пролетал остановки. Пересекли шоссе; через пустырь темным свинцом лежал залив. У дороги торчал корпус морской академии, на мачте по праву ночи все еще сверкал красный огонек.

Первые два урока на следующий день — это алгебра. Алгебра — это первые два урока. Повторяет про себя Алька. Всего лишь. Они пройдут, и взойдет солнце, и все забудется. Смирнова испытывает суеверный ужас перед магией бесстрастных чисел, да и для остального десятого «А» это жуть как неприятно. Темное утро, в открытую форточку кричат вороны и звонит колоколами собор. Медленно светает. Алгебраичка Татьяна Михайловна — высокая, сухая и очень готичная, прогуливается по классу, внезапно оказываясь в самых неожиданных местах. Например — за спиной у Славы Медведева. Татьяна Михайловна резко склоняется над партой и выхватывает у Медведева шпаргалку, как цапля лягушку.

— Вещи, — говорит она.

— Че-его... — ноет Слава.

— Собирай вещи и на выход! Завтра — пересдача!

Медведев оборачивается и открывает рот — подыскивая покаянное слово и заранее зная, что это бесполезно.

— Медведев, ты чем-то недоволен? — голос алгебраички звенит под потолком. — Иди пожалуйся! Постовому милиционеру!

Слава зажимает уши, встает и начинает собираться. Ловит соболезнующие взгляды. Татьяна Михайловна обводит класс недремлющим оком, и все взгляды скрываются в тетрадках. Медведев вздыхает. Раздается негромкий стук в дверь, дверь приоткрывается.

— С добрым утром, — говорит Даниил Андреевич и смотрит на Татьяну Михайловну, как кажется, тоже с долей трепета: — Можно мне сделать объявление?

— Конечно, Даниил Андреевич, — улыбается алгебраичка, выпускает Медведева из когтей своего зловещего обаяния и проходит к столу. — Мы все вас внимательно слушаем.

Данька кивает и оборачивается к классу.

— Всем привет, — говорит он. — Возможно, вы еще не знаете, но сегодня у вас седьмым уроком история. — Даниил Андреевич улыбается — ему очень нравится выражение на лицах учеников.

— А я не могу. Я братика должен забрать из садика, — Медведеву терять нечего, и он решает спасти честь класса. Кто-то прыскает в кулак.

— Братика твоего участковый заберет, — кивает алгебраичка. Медведев смотрит на нее ненавидящим взглядом, класс ржет уже откровенно: здесь спецназ нужен, участковому не потянуть. Брат Миши ездит на «гранд-чероки», а в гараже для торжественных случаев стоит «мерс». Даниил Андреевич шутку улавливает, но не понимает; строго сдвигает брови:

— Медведев, обрати внимание — за каждого дезертира остальным ставлю двойки.

Миша зло краснеет.

— Ну что, я с вами не прощаюсь, — победно улыбается Каркуша.

Миша яростно пыхтит — так и растерзал бы мерзавца.

На перемене в библиотеке собирается военный совет: Миша, Саша Димитриади — красавчик, культурист и гроза окрестных дискотек, Алька с Лариской и Руслан Мкртчян.

— Ну, граждане, что мы можем противопоставить тирании?

— А что случилось-то? — улыбается Димитриади, украдкой любясь своим отражением в застекленных шкафах.

— По последним данным, учитель домоводства возомнил себя историком, — поясняет Лариска. Димитриади в стекле смеется во весь белозубый рот.

— Каждая кухарка может управлять государством?

— Что делать-то будем?

— Суп. Из вороны.

— Да-да, мы уже умеем! — верещит Лариска.

— И плиту он починил, — задумчиво вворачивает Смирнова. — В прошлом году еще.

Возможно, все бы и сложилось так, как хотел Даниил Андреевич, но последний шестой урок был физра, и их отпустили пораньше. Когда Алька с Лариской вышли из раздевалки, Миша и Димитриади уже ждали их с вещами.

— Чё копаетесь? — хмуро спросил Миша. — Вот ваши шмотки. Руки в ноги. Быстро.

— Слушай, Миш... — начала было Алька.

— Кто не с нами — тот против нас. И за Каркушу, — парировал Миша. Алька, про себя бухтя и возмущаясь, натянула пуховик. Лариска вся светилась — так долго стесняемая репутацией отличницы авантюрная натура ликовала и рвалась наружу. Они похватили сумки и бегом бросились к выходу. Бухнула вслед тяжелая дверь; компания вылетела на школьный двор.

У калитки маячил Даниил Андреевич. Курил и трепался с кем-то по сотовому. Краем глаза запеленговав веселую компанию, он заулыбался, быстро закончил разговор и пошагал им навстречу.

— Песец, — огорчился Димитриади.

Каркуша приближался. Толкнул телефон в карман куртки, выбросил сигарету.

— Привет, дорогие. Как мы удачно совпали.

— Кому как, — сквозь зубы пробормотал Миша.

— Ну чего, постоим, пока остальные подтянутся? — Каркуша искренне радовался. Его прямо перло. Двери приот-

крылись, оттуда с некоторой опаской выглянул Мкртчян. Моментально оценив обстановку, он кивнул Мише:

— Ребят, вы идете?

Даниил Андреевич рассмеялся.

— Не переживай, Руслан. Куда они теперь денутся.

...Каркуша вежливо пропустил их вперед и прикрыл за собой дверь. Оглядел класс — не хватало человек пять или семь, но общий баланс был явно в его пользу.

— Ну что, — Алька с удивлением подметила, что Каркуша начал нервничать. Отвернулся к доске, повесил экран. Обернулся, сжал пальцы.

— Продолжим так трагически прервавшуюся лекцию. Поскольку гулять у нас не получается, будем смотреть что-то вроде кино.

Даниил Андреевич задернул шторы — темноты никто не боится? Включил диапроектор. Зарядил слайды. На экране — любительская картинка: черно-белый ландшафт, метро «Автово». Толпа и военный оркестр.

— Это было очень странное время. Знаете, как в жизни у человека, так и в жизни страны бывают такие... тектонические сдвиги, когда на поверхность выходит сразу несколько жил, горных пород. И за любую можно взяться. Начать ее разрабатывать. Ну, ладно... — Каркуша, казалось, слегка запутался, но у него пока была фора неожиданности. — Метро у нас собирались строить еще до войны, но по понятным причинам проект не состоялся. Практически каждая станция первой очереди должна была каким-то образом прославлять вождя народов — статуи, барельефы. Сталин и ученые, Сталин и матросы, Сталин и письма горожан. И в итоге получился почти что казус — наверху происходили разнообразные события и перевороты: запустили «дело врачей», Сталин умер, «дело врачей» закрыли. К власти пришел Лаврентий Берия; амнистировал уголовников. «Холодное лето 53-го» смотрели? Нет? Посмотрим. Потом Берию сместили, в дека-

бре 53-го он был расстрелян. Плакать о нем не будем, потому что та еще сволочь.

Раздались тихие смешки. Даниил Андреевич улыбнулся, слегка успокоился — по крайней мере, перестал метаться по классу и присел к учительскому столу.

— ...Кстати, именно Маленкову принадлежит мысль о том, что ядерную войну выиграть невозможно. Так называемая «оттепель» началась еще при нем, но ассоциируется она с Никитой Хрущевым, который и приходит к власти... — Каркуша вертит ручку проектора; на экране появляется следующий слайд — вестибюль метро во всем сверкающем великолепии — ...То есть возглавляет партийный аппарат в январе 55-го года. В последние два года из проекта метрополитена убирают большинство запланированных сталинских монументов. Итак, мы видим, как история преломляется в отдельно взятом объекте материальной культуры... По первоначальному проекту все колонны станции «Автово» должны были быть облицованы литым граненым стеклом. При Хрущеве от этого отказываются, в итоге мы видим, что часть колонн выглядит уже попроще...

— Напоминает Древний Египет, — подает голос эрудированная Лариска.

— Да, культура сталинской эпохи была обращена куда угодно, но только не в повседневность. В этом смысле она представляла собой крайнюю форму идеализма, что, кстати, роднит ее с нацистским проектом. Миф о великой Германии, миф о нерушимом Союзе.

— Россия, великая наша держава! — Алька Смирнова глумливо воеет с места.

— Я что, должен встать? — интересуется Ворон. — Дети, я ни в коем случае не хочу окорачивать в вас такое естественное чувство, как патриотизм. Но вы должны осознавать, что в наше время для того, чтобы генерировать миф, вовсе не обязательно строить подземные города и рассылать полстраны

по «беломорканалам». Достаточно запустить несколько циклов пафосных передач по центральному ТВ, и люди в маленьких уральских городках будут работать на заводах за тысячу рублей в месяц и гордиться своей великой отчизной.

— А что там за краля в военной форме? На первом слайде? — лукаво спрашивает Миша. — Небось, тоже воевала против великой Германии?

— Это не краля, — с вызовом говорит Каркуша. — Это моя бабушка, лейтенант ПВО.

— Ничего бабушка, — одобряет Мкртчян.

— Продолжим, — строго говорит Даниил Андреевич. Он не может решить, конкретизировать про бабушку или же начинать сердиться.

Со своего первого полноценного урока Данька выходит весь в поту. Его трясет. Он быстро и путано объясняет что-то увязавшемуся за ним Саше Димитриади; улыбается Лариске, которая смотрит на него с мягкой иронией (или ему показалось?). В учительской после седьмого урока пусто — тетки-преподавательницы разбежались по магазинам и домой. Он открывает форточку и пытается вспомнить, зачем, собственно, здесь оказался. Не иначе, спастись от внимания своих десятиклассников. Данька опирается о подоконник, дышит в форточку и улыбается: теперь они хотят слайды, хотят фильм. Ладно, до четверга есть время, будет им фильм. Получилось, елки. Получилось. Ура.

В коридоре уже темно, проемы огромных окон синие-синие, с оранжевыми подсолнухами фонарей вдалеке. Холодная осень через стекло кажется полотном Ван Гога.

Капитан Петрович бодро чешет по коридору Управления, старый паркет вибрирует под его шагами и прогибается.

— Значит, Данила, так. Мы сейчас оперативно удаляем из города чурок, цыганье, прочую нечисть. Вот ты знаешь Юго-Запад — какие у них там места козырные?

— Не знаю, — сквозь зубы мычит Данька. И малодушно объясняется: — На рынок не хожу, шашлыки не ем.

За окнами шумит набережная.

— Как не знаешь? — огорчается Петрович.

Ворон морщится.

— Скажите, Александр Петрович, иначе — никак?

— Никак, Данила, ты мараться не хочешь?

Петрович разворачивает его за плечо к себе.

— Бабло у нас получаешь, а мараться не хочешь? Не получится!

— Не получал я еще бабла.

— Как не получал? Так иди получи! Кассирша уйдет скоро. Давай-давай, по-быстрому. Стремглав.

Он толкает Даньку в спину. Иди-иди, говорит, а потом ко мне.

— Есть, Дань, проект. Выселить чурок за черту оседлости, распахать по садоводствам. И заставить выращивать арбузы, помидоры величиной с голову младенца, баклажан там, патиссон. — И кокос, — смеется Данька. — И кокос, — соглашается Петрович. — А что, они ж это делают у себя на родине, почему здесь не хотят? Неет, здесь они только торговать хотят, честных граждан объегоривать! Работать будут у нас, паразиты. А торговать будут простые русские люди. — Паразиты будут работать? — недоумевает Данька. — Они же и сейчас работают, за четверых, аж за ушами трещит.

— Ты, Дань, эту софистику брось! — возвышает голос Петрович.

Данька просыпается. Хлопает глазами в окно. Они с Петровичем едут через город. Полчаса уже едут, неудивительно, что Данька заснул и теперь ему несколько сложно восстановить — что было, чего не было. Он не уверен даже — говорил Петрович про патиссон или нет.

— Мы на рынок, Данила, едем. Если ты запомнил, — Петрович приходит ему на помощь. — Не бойся, хачей сегодня трогать не будем. То есть будем, но не особенно — нам просто яблоки от них нужны. Ты же сам говорил — лошадям твоим жрать нечего.

Ворон приезжает в конюшню с Петровичем и фургоном яблок. Провиант, — отчитывается перед Варькой. Лошади ведь любят яблоки? Варвара присаживается на какой-то ящик, кивает: ага, устроим животным яблочную диету.

— Данила, — отвлекает внимание Петрович. — Выпить есть?

Даниил Андреевич удивленно кивает:

— Вино.

— Откудова? — удивляется капитан.

— Так этот, — говорит Данька, — генацвале. Вы его так напугали своей странной просьбой о яблоках, он так счастлив был избавиться, что на прощанье мне вина подарил.

— Вот черт ты, Данила, — удивляется Петрович. — Даже с хачом договориться умеешь. По-человечески.

Лейтенант Ворон дипломатично молчит.

— Все равно, — заявляет Петрович. — Ихнюю мочу я пить не буду.

Хорошо хоть не кровь христианских младенцев, — думает про себя Данька.

Варвара приносит водку. Петрович с хрустом закусывает яблоком. Петрович большой человек — гаулайтер по Юго-Западу, как Данька его про себя называет. Все знакомые и дорогие лейтенанту Ворону места вверены его заботе и неусыпному вниманию.

— Невесело мне, Данила, — наконец раздражается Петрович. Ворон кивает участливо и любопытно — будто записывает, как фольклорист. — Прикинь, я сам из области. Закончил военное училище — при Советах, тогда это хорошая была судьба. Послужил — в Афгане был таким же,

как ты. Щенком. В перестройку ушел. Калымил потихоньку, через пару лет деньги собрал и бизнес затеял. Крутился, колбасой торговал. Возили колбасу из Прибалтики — нас на границе смотрели и, если было чем поживиться, грабили на дороге. Те же эстонские погранцы — форму снимут, и за нами. Я раз на все деньги затарился, а они на шоссе подрезали. Весь груз сняли. Бизнес накрылся медным тазом. Пошел охранником; потом ремонтировал квартиры. Жена ушла. Потом, правда, вернулась... Плюнул и пошел в ментуру. А тут говорят: собирайся — в сорок лет с чистого листа. Как не повестись на такое? Мечта... Гвардейская Дружина. Нормальным человеком будешь! Переодевай форму и вали — а Родина слышит, Родина знает. Нас перебросили, а баба моя ехать не хочет. Говорит — то ли еще будет, сейчас при делах, а потом опять.

Данька медленно, по глотку тянет водку. Мечта, да.

Петрович неожиданно раскисает. Не говорит ничего, но морда его крепкая плышет, как свечка. Данька откидывается на спинку. Он не знает, что тут сказать. По-человечески ему жаль Петровича, он, в общем, не виноват. Сам он тоже вроде не виноват, но все-таки лучше бы они здесь оба не сидели.

— Можно рассуждать логически? — кивает лейтенант, сцепляя за спиной пальцы.

— Ну.

— Так, значит. Сомневаться есть основания.

— То есть? — капитан поднимает лицо. Он так ничего, симпатичный мужик, хоть и кабан, конечно. Нос топориком, весь крепкий, мясистый. Жарить бы тебе, думает Данька, шашлык с сослуживцами в своем Верхнеразвезжинске, гонять азеров и от них же милостиво принимать на лапу. Весь тот ленивый уклад, который так долго набивал ему оскомину своей пошлостью и в котором ему не находилось места, сейчас кажется вполне себе ничего.

— Права твоя женщина, — наконец заявляет лейтенант. Как обычно от водки, он ощущает, что с первым прояснением в мыслях наступает невнятность в языке.

— Ладно, — соглашается Петрович. Подливает. — Только не ее это дело.

— Почему не ее? — пожимает плечами лейтенант. — Дети есть?

— Ты пей, Дань, — советует Петрович. — А то какой-то ты напряженный.

Как всегда, под хмельком Петрович чутко улавливает в собутыльнике нечто чуждое.

— Ты еврей, что ли?

Лейтенант смеется. Смех у него хороший, откровенный, но вот улыбка — с вызовом. Непочтительная.

— На четверть, — кивает он и кладет на стол аккуратные маленькие ладони.

— Ах-ха-ха! Самому не смешно? — спрашивает Петрович.

— Нормально, — Данька выбивает пальцами легкую дробь, — капля еврейской крови есть в каждом. Просто я об этом осведомлен, а вы — нет.

Стоп, — говорит себе Данька. — Стоп. Кому ты говоришь об этом? Что вообще за разговор такой идиотский?

— Ты мне, Данила, не лепи из говна солдатиков. Ты ж татарин. — Петрович не согласен.

— Жизнь многообразна, одно другого не исключает. Моя Родина — русский язык. Вообще-то.

Данька чувствует, что его несет. Остановиться бы вовремя, — с тоской размышляет он.

— Дети есть, — говорит Петрович. В отличие от лейтенанта, он крепко держит нить разговора.

— Вот и подумай. — Данька тоже вспоминает о чем-то и неопределенно взмахивает рукой. — Фигли твоей женщины не срывать; ты — ты понятно, выполняешь важное госу-

дарственное задание. А она при чем? Ей твоего пацана или девочку там вырастить — это главное.

— Верно. — Петрович клонится к столу. Водит по нему кривым пальцем. Говорит, трогательно надсаживаясь: — Девушка у меня. Светочка. Светлана Александровна.

— Ну, вот, — выпили уже порядочно, и Данька теряется: — Имя красивое.

— А то, — расцветает Петрович. — Шестнадцати нет, а уже такая вот оторва!

Данька улыбается. Петрович доволен.

— Вот тебе сколько — двадцать пять — двадцать шесть, так где-то?

— Типа того.

— В самый раз, — соглашается капитан. — Давай тогда мы вас поженим.

Отличная, думает Данька, идея. Действительно, в самый раз. У меня как раз с этим проблемы.

— Ты вот парень, я вижу, положительный, детей любишь... — басит Петрович.

С чего взял? — удивляется про себя Данька.

— Это видно сразу, — кивает Петрович. — Десять лет — та самая замечательная разница. Прикинь, тебе сороковник, а женка еще почти молодая.

Неожиданный поворот сюжета. Данька выходит на воздух и рвет воротник. Петрович рядом, закуривает:

— А где живешь вообще, Дань?

— Недалеко. В Петергофе. Там хорошо.

— Плохо. Это фильтрационная зона скоро, — неожиданно выдает Петрович.

— И? — равнодушно спрашивает Ворон.

— Мы тебе квартиру дадим. Какую хочешь?

Данька ржет.

— Хочешь — музей — или в сталинском доме! Заказывай! — горячится капитан. Во душа широкая.

— Черная речка. Около Пушкина. Где дуэль, — глумится Ворон.

— Книжки любишь? — Петрович закуривает. — Я запомню. Сержанта тебе дадим, поселишь его в одной комнате, все остальное — твое.

— Что — остальное?

— Комнаты остальные. Там квартиры, знаешь, освобождаются — во! Хоть балы устраивай. Мне пофиг.

Оба молчат. Вьются в ледяном воздухе погибающие мушки, бабочки с бархатными крыльями падают чуть не за шиворот. Необычная осень. Не то что бы тепло, просто солнечная активность.

Облетевшие яблони, редкие клены — с бурыми пластами листьев. За ними — дворец Константина. Петрович умчался, Данька шел по шоссе, постепенно проветриваясь. Перескочил через дорожное ограждение, рискуя угодить в овраг; продрался сквозь яблони. Дикий, запущенный сад; под ногами хлюпают раскисшие паданцы. Скоро здесь будет Морская резиденция, а пока орут вороны. Чуть выше — чайки.

Такой же солнечной осенью два года назад они проходят через арку и попадают на террасу с балюстрадой. Если бы не облетевшие деревья, это место напоминало бы Италию: руины с античным настроением, море на горизонте. Облокотившись о парапет, Даниил Андреевич широким взмахом руки представляет им владения великого князя. Теплотой и восхищенностью жеста сам похожий на молодого хозяина этих мест. Алька ловит солнечную улыбку Каркуши и умиляется; ветер взбивает ее легкие рыжеватые волосы, гонит по телу дерзкую дрожь. Она склоняется, чтобы рассмотреть мозаику — высокая и гибкая, как олененок. Миша смотрит на Альку и удивляется, как раньше не замечал, что она очень симпатичная.

— Что ты там нашла?

— Да вот, нам в художке рассказывали, — лепечет она, дальше слов не находит и указывает на тусклые цветные плитки. Узор еле различим.

— Ты в художественной школе учишься?

— Училась, — кивает Алька. — Потом у мамы денег не стало за меня платить.

— А сколько там нужно? — неожиданно спрашивает Миша.

— Да ну, ерунда, — смущается Алька. Миша молчит. Он хочет проявить благородство, но ему тоже неудобно.

— Эй, голубки! — верещит Лариска. Оба вздрагивают. Лариска указывает наверх. Наверху, под аркой, гнездятся дикие голуби.

Данька прошел сквозь арку. Речка звенела, к вечеру подергивалась тренировочным ледком. Проскользнув под сводами, как привидение в другой мир, он увидел террасу, потом — дорожку, обрывающуюся вниз, с которой пацаном едва не слетел на велосипеде.

В другой раз они были здесь с Янкой, в начале лета. Июнь, робкое ситцевое небо и дубы вокруг. Черный контур ствола и листья, упругие и едкие; люминесцентные, как кресс-салат. К заброшенному дворцу приехали на большом желтом автобусе; двухэтажном; они еще назывались — «Титаник», так как высота корпуса была такова, что автобус чуть не задевал провода. Красиво, но опасно. Данька придерживал ее пальцы и тянул вниз по дорожкам парка; звенел что-то радостно, захлеб.

— Знаешь, у людей бывает аллергия на пыльцу.

— Бывает, — согласился Данька. — У тебя тоже?

— Нет. У тебя.

Он обернулся, весь беспардонно-сверкающий. Яна сказала:

— Дань, ты посмотри. У тебя ведь приход. Это своеобразная форма аллергии, я думаю. У тебя каждое лето так.

Данька засмеялся. Закинул подбородок. Яна любовалась украдкой, потом выдернула ладонь. Ворон тут же бесцеремонно загреб ее в объятия.

— Я тебе больше скажу. У меня все лето — приход; а в конце августа — ломка. Зимы боюсь. И еще я зеленый цвет люблю.

— Как тля, — злобно прошептала Янка, пытаясь вырваться.

— Нет. — Данька улыбался и держал крепко. — Как Робин Гуд.

— Робин Гуд был банальным средневековым уголовником.

— Ну, ты же любишь бандосов.

— Торчок хлорофилловый.

Рыжее солнце размазалось по горизонтали и упало, как занавес. Белые ночи бывают много где, но только в некоторых местах отблеск заката соседствует с первыми звездами — а свет их тонок и прозрачен, как березовый сок.

Данька присел на выщербленные ступени и закурил. Вниз тянулся парк, заросший до залива. Перебираться в город не хотелось. Ему хорошо здесь. Он чувствовал себя будто прикованным к этой земле, осенью — безнадежно, весной — как птица к привычному маршруту. Зазвонил мобильник. Данька нажал кнопку приема и вздрогнул. Говорила Яна: Привет, дорогуша. Ты как? Нормально. А мне сказали, опять в армию загремел. Янка осторожно засмеялась. Ничего, с этим тоже живут. Пауза. Я волнуюсь, — мягко извинилась Янка и тут же затараторила обратно. Хочешь, попробуем пожить вместе? То есть, ничего, если я у тебя поживу немного? Неожиданный поворот. Ну, не прогоню, конечно. Звони. Целую! И чмоканье. Данька чуть не уронил мобильник. Впрочем, к утру телефон все равно отрубился — как рудимент.

Пару дней спустя Сан-Петрович объяснил, что на сотовые теперь нужно специальное разрешение, и выдал лейтенанту утешительный приз — старую милицейскую рацию.

Солнце медленно подтапливает чистый осенний денек. Варвара водит по двору тихого серого мерина. Завтра воскресенье, по выходным Петрович повадился трясти в седле начальственный жирок, сегодня вот только не приехал. Ну да завтра точно объявится. Даниил Андреевич предается созерцанию — березы и тополя торчат над забором; березы ржаво-рыжие, потому что на солнце и холоде не успели осыпаться и замерзли прямо в одежке. Завтра будет водка, будут бабы: Варька злится, Петрович называет Ворона Данилушкой за ладно сидящий мундир и пьяно слезится. Дружинники охают, подлетая на длинных лошадиных спинах. Дамы испуганно голосят и строят молодому лейтенанту глазки, он спокоен и предупредителен, он на работе. Впрочем, в данном случае совсем не трудно сохранять спокойствие: обслуживающий персонал, начальник над лошадьми, царский стремянной.

Лейтенант кидает поводья через голову Боливару. Открывает планшетку и смотрит на карту города. Город живет вокруг реки; вдоль нее растекается медузой. Это очень старинная форма жизни; ей свойственно разрастаться и иногда болеть. Загнивать от краев к центру.

Город постепенно обмирает; приближается зима. Если верить в существование небесного зрителя, то он видит это пространство срежиссированным кое-как: с длинными пустынными планами по краям и нелепым мельтешением в центре. Медуза подбирает щупальца: на всех въездах-выездах стоят посты внутренних войск; за ними — огромная лесная страна. Камера-обскура с прорезью солнечного зрачка фиксирует мутную перевернутую картинку, урбанистический эскиз посреди редющего черно-бурого моря. Огоньки поселков вдоль серой паутины дорог. Данька вытянулся на скамейке навзничь, смотрит в стенку: на ней отражаются конские тени.

Исторический Монсежур вовсе не был городом. Это замок в отрогах Пиренеев, которым на излете альбигойских

войн владело семейство Перейсей, комендантом крепости был сеньор Роже де Мирепуа. Мирепуа был вассалом изгнанного французами виконта Безьерского и пользовался временной безнаказанностью. У короля, а также у святой инквизиции и беспринципных дурковатых предателей вроде виконта де Фуа или графа Тулузского до Монсегюра просто не доходили руки.

Мы все свободны и благоденствуем потому, что на нас пока никто не обратил внимания. Время оставило нас на по-том; и это даже обидно. Так разглагольствовал друг Петя Мыскин в интернет-листке, а будущий лейтенант Ворон, а пока аспирант, — на семинарах перед студентами. Диктатура — это когда ни гу-гу, а демократия — когда надрываешься, сколько влезет: все равно никто не услышит. Для человека, выросшего на излете диктатуры, — когда машина не действует, но еще помнит свой изначальный ритм и внушает тебе опасное чувство собственной значимости, — положение муравья в барском салате очень, очень обидно. Верно, — склоняя голову к ноутбуку, Данька соглашался с собой и Мыскиным. Так, без этих неуклюжих литературных упражнений жизнь моя с любой точки зрения выглядит не ахти: горе-любовник, специалист по старофранцузским стишкам. Единственное, что выделяет тебя из остальных и привлекает ненужное внимание — это способность выбивать в тире установленное количество очков, призывной возраст и симпатия к большим безобидным лошадям, которых никак нельзя на колбасу.

От стрелкового кружка у Ворона осталась мальчишеская страсть ко всяким опасным гаджетам: получив табельное, он тут же обточил надфилем уголки и ребрышки; пистолет стал уютным и обтекаемым. Сейчас Данька возился, цепляя колечко к защелке магазина — так перезаряжать удобнее. На манеже Варвара; тоже со своими гаджетами. Рычит на мальчика-тыкву, который плохо затянул подпругу.

— Вот, смотреть сюда... — горячилась Варя. — На эту дырку, а не на ту.

Несмотря на препирательства, оба представляют весьма умильное зрелище.

— Помочь? — Данька повышает голос из своего закутка. Варька вздрагивает. Не заметила. Оборачивается, ее лицо разъезжается в улыбке. Данька встает со скамьи и идет к ним через манеж. Пашка вертит что-то в грязненьких пальцах.

— Смотри, что нашел, — хрипло обращается он к Даниилу Андреевичу. — Что это за херня?

Данька берет протянутый Пашкой предмет.

— Губная гармошка, — отвечает. Во дожили. Дети что такое губная гармошка не знают. Он протирает ее краем рукава и прикладывает к губам. Гармошка свистит.

Солнце медленно подтапливает чистый осенний денек. Открытый манежник на заднем дворе весь засыпан огненными листьями. Варька водит по двору тихого серого мерина. Мерин при каждом шаге важно кивает головой, будто соглашается с чем-то. Облака лениво плывут по холодному небу; светлому и непроницаемому, как голубая эмаль. Монсегюр выглядел непрístupным; его обходил мор, теракты и даже безработица была вполне умеренной. А сдался очень быстро; ночью подошел передовой отряд, а утром, когда солнце осветило дома и башни, враги тут как тут. Сначала они заняли юго-западное предместье; барон де Мирепуа спешно затеял переговоры. Феодалное право гарантировало ему личную безопасность и относительное благоденствие. Потом подтянулись представители местной военщины и бизнес-элиты. Командир гвардейского подразделения «Дружина» ввел в городе идейный трибунал под началом доминиканцев и папского легата, и двести несдавшихся «совершенных» из радикальной богемы и молодежных политэкстремистов посадили в следственный изолятор. «Совершенные» отвергли брак по расчету и постились на охотничьих колбасках

и пиве «Балтика»; походы в ресторан в этой среде считались моветоном постольку, поскольку на рестораны никогда не было денег. Главного героя за месяц до этого призвали в ряды крестоносцев из усмирленного округа Альбижуа; он происходил из небогатой рыцарской семьи де Варрен и был ни рыба, ни мясо. Отец сочувствовал еретикам и тихо спивался на местном портвейне сорта «каор», мать развелась с мужем посредством альбигойского обряда, затем поспешно вышла за верного католика и уехала с ним в сопредельный домен английского короля, а дальше — и вовсе за море.

Данька выдает залиvistую трель на губной гармошке, носок его ботинка увлеченно лохматит покрывающие землю опилки вперемешку с грубым песком. Серый тоже бьет копытом, нервничает, Варька недовольно косится на начальство. Даниил Андреевич примирительно отнимает гармошку от улыбчивых губ, спрашивает:

— Варь, а, Варь?

— Чего вам?

— Хорошо я на коне выгляжу?

Варвара дипломатично молчит.

— Ну, не Чингисхан, но смотреть можно.

— Чего-чего? — смеется лейтенант. — Почему Чингисхан? Как так смотреть можно? — напрашивается на комплимент Даниил Андреевич.

— Ну, хорошо, нельзя. Чингисхан потому что косой.

— Я не косой, я раскосый. И то слегка. Некоторые еще говорят — узкоплечный. Так что, значит — нельзя?

— Можно, но лучше не надо.

— Ты хочешь сказать, что плохо? — с угрожающей ноткой в голосе спрашивает Ворон.

Варька снова молчит. Даниил Андреевич вредно свистит в гармошку. Варвара не реагирует, и ему быстро надоедает. Он любит мягкую рысистой поступью серого и наконец говорит:

— Ну так научи!

Варвара думает. Жмет плечами.

— Смотрите, сами не рады будете.

— Так я ведь почти умею.

— Это вам Сан-Петрович сказал?

Данька заливается беззвучным смехом, резко поднимается, подходит и серьезно заглядывает ей в глаза.

— Научи, Варь.

Конь потянулся мордой, Ворон машинально погладил его длинный доверчивый нос. Варвара, немного смешавшись под внимательным взглядом темных глаз, растерянно кивает.

— Хорошо. Конечно. Держитесь вы неплохо, вот посадка только...

Серый требовательно тычется Даньке в руку.

— ...Задницу подтяни! Что ты размазался по лошади!

Старательная Варька стояла на скамейке и хмурилась. Недовольна.

Лейтенант Ворон шел круг за кругом. Задница болела и подтянуть ее не было никакой возможности. Он поморщился. Сам дурак. Посмотрел на Варвару. Строгие глаза, бледный, поджатый рот, вся очень важная. Не выдержал, засмеялся.

— А нечего смеяться. Сначала ездить научитесь. (Обиделась.)

У ворот скрипнула тормозами машина. Даниил Андреевич перестал улыбаться, слез с лошади и передал поводья.

В машине были Петрович и шофер. Шофер, сухощавый мент с волчьим профилем центуриона, посмотрел на лейтенанта и отвернулся с усмешкой. Петрович, закуривая, пошел к манежу. Даньку кивком головы позвал за собой.

— Тут, Данила, дело важное. Непростое.

Даниил Андреевич вздохнул. И капитан перешел к важному делу. Недалеко от конюшни — школа милиции. Есть

идея, чтобы молодежь с выпускного курса учить без отрыва от производства. Попутно — формировать новое подразделение: конногвардейский эскадрон внутренних войск. И падаванам интереснее, и лошадям веселее. Конная гвардия — это для города вообще лучше не придумаешь. Возрождение традиций и все такое.

— А назовем спецподразделение — «Стрелец».

Лейтенант не понял.

— Древнерусских стрельцов помнишь? Помнишь, — намекнул Петрович. Ворон явно не улавливал. Александр Петрович решил объяснить подробнее.

— Вы на лошадях? На лошадях, — подождал. Опять не ясно. — Во дубина! Чему тебя в школе учили?

Ворона много чему учили в школе, а потом еще на истфаке университета, но все не тому и явно недостаточно.

— Стрельцы — это древнерусские кентавры, — снизошел наконец Петрович. — Ну, понял? Ты кто по зодиаку?

— Стрелец, — сказал лейтенант и истерично заржал.

— Вот и будешь у нас главным кентавром! — обрадовался Петрович. Повернули к машине. Водитель курил, облокотившись о капот. — Вот, Данила, это твой шофер, — кивнул Сан-Петрович.

— Лев Николаевич, — представился милиционер.

— Даниил Андреевич.

— Наш главный кентавр, — улыбнулся Петрович. Водитель поперхнулся дымом.

— Зачем же ему шофер?

— Как зачем? Не пешком же ходить! — возмутился Петрович. Водитель загадочно покачал головой.

Заиндепевшим утром, когда Алька подходила к школе, асфальт казался легким и хрустящим, каблуки очень звонко его касались.

История последним уроком; Каркуша как всегда — на лекцию про советско-кубинско-американские отношения притащил музыку. Советские песни они уже послушали, теперь из проигрывателя тихо лепечет латиноамериканский тенорок: аста съемпре команданте. Даниил Андреевич тоже говорит о чем-то, но Алька не вдается в подробности — ее сморило, она занята собственными мыслями и воспринимает речь Каркуши как дополнительную мелодическую линию. Время от времени мелодия обогащается смысловыми ударами, как то: первые атомные подводные лодки, берега Кубы, Че был бездарным политиком и прекрасным героем, есть анекдот, что во время заседания правительства он думал о своем и вместо «экономист» ему послышалось «марксист» или что-то в этом роде. — Среди нас есть экономисты? Я! — уо соу, или как-то так ответил Че. — Будешь министром экономики, — ответил Кастро.

Каркуша чуть не в лицах разыгрывает диалог Че и Фиделя. Алька открывает тетрадь с конца и задумчиво смотрит на Даниила Андреевича. Тот разыгрался, говорит с жаром, вертит в руках мелок и время от времени чирикает что-то на доске — не для них даже, а так, от полноты жизни. Медведев слушает, приоткрыв рот. Глаза Мкртчяна затуманились мечтательной дымкой — небось так и представляет себя в боливийской сельве, заросшим черной щетиной по уши, с мачете и походной ракетой за спиной. Алька снова поглядывает на Ворона — в холодном зимнем солнце его смуглая физиономия кажется плавной и рельефной, будто отлита из неведомого металла. Алька берет ручку и начинает проектирование: в основе лица треугольник, но челюсть слегка выдается... как будто под этот треугольник подложили квадрат... прямоугольник... нет, тоже треугольник, но чуть больше первого и усеченный. Основанием вверх. Вверху тоже выдаются углы — правильно, это скулы. Алька быстро чертит в тетради найденное геометрическое сочетание. Нужная пропорция

получается не сразу — она увлекается, сопит, пробует снова и снова. Когда она в очередной раз поднимает глаза, то не находит свою модель на прежнем месте и хмурится. Украдкой оглядывает класс — куда делся-то? Даниил Андреевич стоит рядом с ее партой и удивленно наблюдает геометрические упражнения в алькиной тетради — страсти к точным наукам за Смирновой вроде бы не водилось.

— Что-то не получается? — мягко спрашивает он, облакачиваясь о парту. Темная голова близко; волосы распадаются на блестящие прядки. Алька не успевает даже покраснеть. Захлопывать тетрадь тоже поздно. Она опускает глаза и ей становится смешно — листок снизу доверху заполнен треугольниками-симбиотами. Она снова смотрит на Каркушу и загадочно улыбается. Даниил Андреевич смотрит на треугольники, а она смотрит на него. Класс замер в ожидании потехи — либо Смирнова что-то выкинет, либо Каркуша отмочит. Динамическая парочка. Алька ловит себя на том, что продолжает рассматривать Даниила Андреевича — теперь это еще удобнее. Лоб высокий, но слегка скошен назад; нос крупный, правильный, почти прямой... или нет. Нет, не с горбинкой, но плавно выгнутый, как щипец у гончей собаки. Верхняя губа бледная — усы пижонские сбрил недавно. И коротковата, и вздернута смешно. Длинный улыбчивый рот изогнут, как татарский лук. Подбородок серьезный, уверенный, но с дурацкой ямочкой. Глаза слегка раскосые, но в них она старается не смотреть. Данька чувствует какую-то неловкость, но откуда — не может уловить. Поэтому он слегка жмет плечами, выпрямляется и говорит: продолжим. Что-то в поведении Алевины Смирновой от него ускользает, но он решает пока оставить все как есть. Музыка затихает, Каркуша меняет пластинку и начинает рассказывать про Джона Ф. Кеннеди. Слышно, как стрекочет о стекло муха; шипит старая пластинка; раздается улыбчивый голос Фрэнка Синатры — Нью-Йорк, Нью-Йорк.

— ...А что, Смирнова, нравится тебе Каркуша? — Медведев догоняет Альку на эскалаторе и поддает ей рюкзаком по заду.

— Козел, это же я придумала! — оборачивается Смирнова и толкает Медведева на ступеньки. Миша почти увернулся, но равновесие потерял и присел — будто так и собирался. Поставил рюкзак меж колен.

— Что?

— Про Каркушу.

— Ага, а про стиль «вампир»? Ладно, не дуйся. Поехали к нам лучше «Восставшие из ада» смотреть. Вампиров не обещаю, но всякого мерзкого шита там до фига.

Миша смотрит на Альку с легким испугом, будто сам удивляется тому, что сказал. Он не думал ее никуда приглашать, просто издали на эскалаторе увидел и развеселился. Смирнова размышляет.

— Ладно, — глаза прищурила. Репутация у посиделок на Мишкиной квартире ударная: приходят взрослые парни, ставят музон. — Когда?

— Прямо сейчас! — подмигивает Медведев.

— И Лариску позовем. — Алевтина выдвигает условия.

— Ну... да, — качает головой Медведев. — Только затариться надо, у меня после прошлой пати бухла почти не осталось.

Аля Смирнова, вся красная от смущения, танцует с Медведевым в полутемной комнате. Неподалеку Лариска вертит тощими бедрами, несколько парней валяются на диване с пивом, неумело тянут один косяк на троих.

— Отличная дурь, а? — отвлекается от Альки Миша.

— Брательник привез?

В прихожей хлопает дверь. Миша отпускает Альку и начинает суетиться:

— А вот и брательник... Так, пиво, траву, собрали все быстро. Смотрим «Восставшие из ада».

Убраться не успевают. Дверь в комнату открывается, пропуская полосу света из прихожей. На пороге застывает крепкий силуэт.

— Развлекаемся, детки, да? — угрожающим тоном говорит эта неясная тень в кожаной куртке и вертит на пальце ключи от машины.

— Борь, да мы так, кино типа смотрим.

— Спортом в твоём возрасте надо заниматься, книжки читать. А не пиво сосать да девок жать по углам. А это у нас что?

Борис входит, отвечает легкий подзатыльник парнишке на диване и отнимает у него косяк. Затягивается. Альке смешно; ситуация ей кое-что напоминает. Борис включает свет и смотрит на Альку. Она понимает, что осталась в комнате одна — все гости уже тихо слились в прихожую, Миша стоит в дверях с растерянным видом. Алька первый раз видит медведевского брата — они с Мишей одного роста, у Бориса широкое умное лицо.

— Славка, а че они сбежали? Где все вообще? — Борис с ухмылкой кивает в прихожую. — Как раз бы по-семейному кино посмотрели...

Борис давит в пепельнице косяк.

— Расслабься, — советует он Мише. — Сходи, что ли, чайку поставь. — Борис неожиданно подмигивает Алевтине. Миша быстро исчезает в сторону кухни. — А марьяванну еще у тебя увижу — башку скручу-у! — орет Боря в коридор.

Данька медленно раскачивался на соловом Боливаре, Ваське в просторечии. Как из дончака Боливара образовался Васька, он не понимал, но, вероятно, так же, как из рысистого Анжара — Жора. Варвара с Помехи давала дельные советы; рядовой Иконников разложил костер и жарил сосиски на берегу реки Стрелки. Они медленно спускались к берегу — над водой летел плотный сизый туман. Вниз ложились мягкие,

мертвые листья. Рядом слонялись стреноженные кони: старый седой Варяг, несколько экспроприированных Петровичем текинцев и воронья Зазноба с жеребенком. Варька приподнялась в стремях и заорала. Пугливо обернулась на Даньку. Тогда и появились цыгане.

Курчавый бородатый мужик выехал из-за деревьев и толкнул Варькину Помеху крупом рыжего тяжеловоза. Варвара ответила. Некоторое время они препирались; Данька нахмурил брови и мягко направил солового вниз, к пойме. Костер и Серегу Иконникова уже окружили пешие — то ли цыгане, то ли хачики, не разобрать. За деревьями одна за другой останавливались машины.

— Блядь, — тоскливо сказала Варька. Их прижали с двух сторон. С двух сторон, от воды и от дороги, набегали злые темные мужики. Хлестали цепями — кто-то резанул Помеху по коленям залитым свинчаткой шлангом — лошадь взвилась, забила копытами. Варя точно направила ее в обступающую толпу.

— Стоять! — испуганно заорал лейтенант.

— Чингис, к дороге! К дороге гони, там пост! — Варвара вертела головой, взглядом его искала. Данька приподнялся на стремях, разворачивая коня и одновременно пытаясь увеличить расстояние между собой и подползающими с двух сторон пешими; смотрел, как рядового Иконникова топчут в грязь ногами. Высокий парень в джинсовой куртке раз за разом опускал на спину Сереге тусклую тяжелую цепь. Суетливую толкотню, неловкое побоище освещало осеннее солнце; солнце цвета мягкой, густой платины. Тяжелые, узловатые ивы наклонялись к воде. Варвару стащили с лошади. Она рухнула на спину; и Данька сквозь зубы почувствовал ее резкий крик — будто птица пронеслась. Васька отступал, высоко выбрасывая копыта. Данька держался коленями: мой Боливар поднялся на дыбы, развернулся, неведомым способом лейтенант удерживался на его спине и слышал свой

дикий, гортанный возглас. Мимо, закатывая голубые белки под надбровья, промчалась Помеха. Зазнобу и текинцев, забросив на шею веревки, тянули к дороге. Варьку тащили в кусты.

И никого не было вокруг. Ни души. Васька метался среди черных, и молотил, молотил копытами воздух.

— Бляди! Стрелять буду! — заорал лейтенант, снова привстал в седле и слетел лошади под копыта. Кнут вился под коленками, напротив маячила кудрявая борода. Данька забыл себя; его бросило вперед, как торпеду. Свалившись на жилистое, мнущееся под рукой тело, он вцепился в волосы и макал жесткую голову в мокрую, слезавшуюся траву.

Развиднелось. Варвара вылезла из кустов и хлестала ему в лицо воду из пакета.

— Не ушиблись? — заботливо спросила она.

— Ты-то как? — пробормотал он.

— Серегу нашего прибили. Насмерть. — резюмировала Варвара. Даньку аж подбросило. — Вон, лежит. — кивнула на берег. Около затухшего костра лежала непонятная куча, стыдливо и наскоро прикрытая попоной. На Варьке одежда висела лохмотьями. — Вас как — не порезали? А вот текинцев увели. Чурки позорные.

— Да не потей ты так, Медведев. Тройку я тебе поставлю. Обещал же... — Даниил Андреевич задумчиво подпирает рукой щеку. — Успокойся, сохраняй достоинство. Ишь, красный весь уже.

Миша ожесточенно соображает над зачетным билетом.

— Хрущев еще... дал колхозникам вольную.

— Ну, можно сказать и так, — Даниил Андреевич рассматривает свои ногти и искренне потешается. — Паспорта он им выдал. Ладно, собирайся, пошли домой. — Ворон интеллигентно зевает в кулак. — Темно уже, еще получишь бутылкой по голове, а мне отвечать.

— Вы же говорите, она у меня и так пустая.

— Ну, это я образно выразился. — смягчается Даниил Андреевич.

— Брат тоже говорит, книжки надо... и спортом заниматься, а не это...

Они бредут по обширной школьной лестнице; гардеробщица внизу нервно бренчит ключами. Школа засыпает; рано. Полвосьмого.

— Не что?

— Девоч по углам не жать, — выдает Миша и краснеет.

— Девоч? — усмехается Даниил Андреевич.

Миша краснеет еще больше, спотыкается.

— Я считаю, самое время. — серьезно говорит Ворон. Смотрит на Мишу искоса, смеется. Весело ему. — И любить, и думать надо учиться вовремя. Это, может, самое непростое и интересное, что есть в жизни.

Выходят на улицу — в прохладный, мокрый декабрь. Данька сладко потягивает плечи, останавливается и смотрит на красную полосу зимнего неба, которое гаснет на глазах, придавленное густыми облаками, с ночной стороны уже подсвеченными морковным отблеском большого города.

— Но спорт... это, конечно, тоже хорошо. Хотите, я вас в конюшню свожу как-нибудь?

— А вы это... еще и на лошади умеете?

— Не то чтобы умею, в детстве занимался немного. Потом застенялся — там одни девочки обычно, и мне было как-то... неспортивно. — Даниил Андреевич чему-то тихо улыбается. Они стоят на трамвайном виадуке, и с некоторого отдаления видно, что Слава Медведев уже почти на полголовы выше небольшого чернявого учителя.

Петрович примчался утром.

— Ну вот, Дань, а ты туда же — лояльность, все дела. Пора понять — либо мы их, либо они нас. Не уберег Серегу, эх.

Варвара несет водку.

— Ничё, Чингис. — Данька удивленно приподнимает бледное, мятое лицо. — Прорвемся, — говорит Петрович. — И, кстати, переезжай в город наконец. А то подловят тебя здесь где-нибудь, а мне отвечай.

Даньку бьет дрожь. Он не смеет Варе в глаза посмотреть. Ему все мерещатся черные морды и как ее в кусты волокут.

— Ничего, — говорит она, и приобнимает его мягко, и к плечу волосами прислоняется. — Ничего страшного не случилось, Иконников ведь тупой был, как тот гриб в парке «Александрия». А теперь семье за его тупость пенсию выплачивать будут; и все равно что герой.

Данька стряхивает ее с плеча. Спохватившись, гладит по волосам. Он уже не знает ничего, ничего не понимает. Петрович напротив раскачивается над рюмкой багряным колоколом. Опухшие брылья печально дрожат.

— Курнем? — спрашивает Данька и выходит с Варькой на воздух.

— ...Они еще летом продали квартиру — кавказцам каким-то. Очень быстро продали. Деда забрали и уехали.

— Куда? — зачем-то спросил Данька.

— Кажется, у них родственники в Севастополе. А новые хозяева так и не появились...

— Мы — новые хозяева, — поясняет Петрович и плечом проталкивает Даньку в прихожую. — Что встал? Располагайся. Вот, сержанта еще поселишь куда-нибудь. Он тебе кофей по утрам готовить будет, — капитан аж гоготнул, так ему понравилась идея. Соседка жалобно посмотрела на Даньку и исчезла. Ворон обернулся — на площадке теперь маячил рослый парень с рюкзаком через плечо и сержантскими лычками.

— Меня Алексеем зовут, — представился. — Я здесь на пропусках буду сидеть, когда вахту сделают. Мы с вами соседи, — Данька рассеянно пожал руку.

В гостиной стоял огромный овальный стол и пустой сервант. Старый пустой сервант. На стене висела карта — материки, моря и океаны. Еще — огромная морская черепаха. Прежние хозяева были явно тем еще кусочком истории. Данька закрыл за собой дверь и еще раз оглядел комнату. Ему стало не по себе — обстановка слишком напоминала бабушкину квартиру на берегу одной из малых речек нашего города, где он, собственно, и провел первые несколько лет жизни. Даже карта на стене — атласная, крепкая, как шкура земли, только у них шарик был поделен на два — анфас и профиль; Новый и Старый свет. Дед Даниил Андреевич, его полный тезка, был морским офицером.

— Чё, лейтенант, а правда здесь адмирал жил? — Леха толкнул дверь, Даньке пришлось посторониться. Он пожал плечами — не знаю, мол. — Счастливая квартирка, — сержант улыбался; доволен.

— Ботинки сними, — посоветовал Данька. Сам так и стоял, как кот — в сапогах.

Собаки орали по всей деревне, кричали люди. По чердакам шарили желтыми кончиками пальцев карманные фонарики. Облава сгребла бродяг, в железных ящиках грохотали и скреблись человечьи кости. Никто не хотел так, но каждый теплый уголок в эту холодную солнечную осень был обитаем.

— Отбросы, — коротко сплюнул капитан, он был доволен.

Деревенька Санино; в стороне от тракта. Жители — пьянчужки, бабки с козами и цыгане со всей остальной живностью. Заповедник натурализма и нищеты в двух шагах от одного из культурных центров цивилизации. Машины Дружины подошли с двух концов единственной улицы. Предосторожности излишни: деревенька так давно и прочно пребывает в летаргическом забытьи, что никто и с места не стронулся. Чуть на отшибе стоит большой цыганский хутор. Собрав

урожай бомжиков, на зиму пригревшихся в пустующих деревенских домах, дружинники направляются туда.

— Пристукнуть бы их намертво; нечего загрязнять следственный изолятор. И так за каждого нашего.

Что за бред, Александр Петрович. Посмотрите на них; вы только распорядитесь пожестче — они сами умрут. Два налитых парня тащат в хмелеуборочную скрюченного мужичка. Вся морда в коросте. Чингис ловит себя на фашистской мысли, что пристукнуть этого было бы милосердием.

— Там они, гражданин начальник! — хрипит мужик и кажется на цыганскую усадьбу. — Вчера так набенились — ой! Орали! Праздник у них был!

— Щас устроим праздник, хэллоуин! — рычит Петрович.

Две машины с клеткотом останавливаются у дощатого забора. Данька вцепился в ручку двери; пальцы заледенели.

— Обрезы были у них? — спрашивает Петрович. Данька резко мотает головой — ответил типа. Без команды толкает дверцу ногой и выскакивает из машины. Ноги по щиколотку погружаются в раскисшую грязь. С чавкающим звуком выдирая ботинки, он бежит к забору.

— Отседова заходи! — машет ему веснушчатый дружинник с калашом на груди. Их уже высыпало человек десять; второй уазик подъехал со стороны железки. У парня смуглое и бешеное лицо; крап на морде темный, как родинки. Веснушка.

Парень выбивает ногой калитку; та хлопается на землю, как в обморок: все петли проржавели. С мусорной кучи в углу обширного двора шумно снимаются голуби. Дружинники бегут через двор, Данька бежит тоже и будто видит все со стороны: хутор торчит посреди заброшенных совхозных полей, с дальнего края к забору жмутся остатки дикого сада. Дом равнодушно принимает в себя гостей; оживает топотом и ругательствами. С потолка на плечи и головы сыплется труха. Данька откидывает с лица лоскутную занавеску, через

пустые и засранные комнаты поднимается вслед за Веснушкой на второй этаж. Лестница маленькая и кривая; он видит колышущуюся перед ним спину и слышит гулкое пыхтение. Уже понятно, что дом пуст, а Ворон, вместо того чтобы радоваться, чувствует досаду.

«На цыган» выехали к полудню; от Управления пошла машина с солдатами и два милицейских «козла» — один с отделением для арестантов, в другой поместились Данька, Петрович и участковый по деревеньке Санино. По дороге капитан в двух словах объяснил тактическую задачу. Чингис слушал молча, все в окно смотрел; вдоль вспомогательного шоссе тянулись подмерзшие поля, дачные домики, птицефабрика. Задворки дворцово-паркового хозяйства, вытянувшегося по побережью с северо-востока на юго-запад. Вскоре они занырнули еще дальше на континент. Данька опустил стекло и зажег сигарету. Капитан включил музыку — популярную лет пятнадцать тому назад бразильскую плясовую. Чингис даже дымом поперхнулся от такого бытового абсурда — ламбада посреди унылых полей кормовой свеклы.

Лейтенант спотыкается на последней ступеньке; едва не поцеловав грязный дощатый пол. Следом за Веснушкой вываливается в комнату.

Второй этаж — это почти что чердак. Маленькая комнатенка с косым окном. Топчан с одеяльцем, гора тряпок в углу, битое зеркало. Похоже на девичью спальню. Веснушка бросается к окну с победным воплем: из сарая с этой стороны дома выбирается мужик с вещмешком через плечо. Пригибаясь, ломится в кусты. Улепетывает. Очередью из калаша Веснушка срезает верхние ветки низеньких яблонь. Мужик хлопается на пузо, вскакивает и сигает в канаву. Веснушка с воплем и треском бьет ногой в окно. Сухая рама трещит; опадают стекла. Мужик бежит через поле. Чингис ловит Веснушку за рукав, но тот во время удара

потерял равновесие. Ткань камуфляжной куртки обдирает пальцы до боли под ногтями; под собственной тяжестью дружинник ухает из окна во двор. Мужик оглядывается. Чингис расстегивает кобуру; видит небритое лицо и как в оскале сверкают золотые зубы. Улыбается; ах вот оно как. Предохранитель идет вниз. Чингис вращает ногами в пол и чувствует себя нежной маленькой пружинкой, натянутой и бездумной. Удаляющаяся фигурка начинает расплываться в сумерках; еще чуть, и цыган скроется в лесополосе, окаймляющей дорогу. Мокрые деревья топорчатся последней листвой, стволы астеничные и скрюченные. Лесополоса режет горизонт напополам, Чингис легким движением перекидывает затвор. Патрон из магазина перемещается в патронник. Большим пальцем взводит курок; поле, низкое небо и начинающийся дождь — все, как в шахматах, рассечено на квадраты. Е2-Е4; в центре — удаляющаяся фигурка. Мешок подскакивает за плечами. Гремит выстрел. Веснушка матерится среди дохлой крапивы.

— Сними его! — орет кто-то снизу.

Данька вздрагивает, выдыхает. И опускает пистолет. Машинально щелкает предохранителем.

В мокрых осенних сумерках горит цыганская усадьба. Из огня летят щепки и обугленные поздние яблоки. Чингис откидывает антоновку носком ботинка, разворачивается и идет к машине.

На хуторе больше никого не нашли. Судя по всему, хозяева снялись уже давно, а местному алкашу с пьяных глаз приоблазнилось. Мужик с мешком, которого Чингис снял единственным выстрелом в кудлатый затылок, ничего поведать уже не мог, но, по словам вездесущей соседки бабы Паши, это не цыган был никакой, а бывший совхозный сторож и воришка. Вот это я понимаю, — радуется Петрович, разглядывая аккуратное входное отверстие. Ты, Дань, прям художник. Чингис дрожит под мелким ветром; не ветром буд-

то, а сквозняком. Капитан приказывает отнести труп в дом и запереть. Недосуг возиться. В мешке у мародера — старая посуда, ветошь и недопитая бутылка водки.

В пределах захваченного Монсегюра крестоносцы возвели загородку из кольев; внутрь набросали дров. Двести человек «совершенных» загнали вовнутрь. Вся компания держалась достойно, завоеватели не услышали ни единой жалобы.

Уходя, Петрович приказал поджечь дом.

После уроков Алька ждала Мишу. Она болталась у раздевалки вроде бы без дела, ожидая, что Медведев сейчас спустится и предложит проводить ее домой. Миша бежал по лестнице — за ним неслась Лариска и Розенберг. Лариска явно о чем-то канючила, а Розенберг время от времени хлопал Медведева учебником по макушке и, судя по выражению желчного лица, отпускал шуточки. Миша вяло отмахивался.

— А ты здесь чего? — с разбегу спросил Миша Альку. — Полюбовницу дожидаясь? — и получил снова, уже от Лариски и сумкой.

— А если меня, то не жди. Мне еще на факультатив к Каркуше.

— Какой факультатив? — спросила Алька. Самоуверенность мигом с нее слетела.

— Средневековая литература. Не слышала, что ли? Уже пятое занятие.

Алька наклонила голову, прищурилась.

— С каких это пор ты интересуешься средневековой литературой?

Миша хохотнул.

— Врага надо знать в лицо, — объяснил Розенберг. — Медведев озабочен растущим влиянием средневековой литературы на девичьи души.

Алька покраснела.

— Пойдем с нами, — предложил Саша. — Тебе же хочется.

Медведев первым вваливается в маленький лингафонный кабинет — два ряда парт, гнезда от наушников на каждом рабочем месте. Тихо жужжат лампы дневного света.

— Войти можно? — спрашивает он рассеявшегося на учительском столе Каркушу. Тот весел, чуть ногами не болтает.

— Первые пятилетки выучил? — Даниил Андреевич приподнимает брови.

— Какие пятилетки, Даниил Андреевич! Я еще про средневековую поэзию не знаю ничего, необходимо соблюдать хронологический порядок!

Даниил Андреевич смеется.

— Ладно, заходите. А ты, Медведев, бери учебник и садись на заднюю парту читать про стахановцев.

— Я так не играю.

— Зато я играю. Ладно, пошутили. Заходи, сегодня моя любимая тема, и я добр.

Каркуша соскакивает со стола, Медведев протискивается между партами (вот вымахал, лось! — про себя веселится Данька).

— Эй, о чем речь? — трясет за плечо Руслика Мкртчяна.

— Тробар ле и тробар кло.

— Не томи, — просит Медведев.

— Медведев, если чего не знаешь, спроси меня как, а лучше — помолчи пока, — вмешивается Каркуша. Медведев кивает. Лезет в сумку, шуршит тетрадками. — Итак, — Даниил Андреевич задумчиво смотрит в окно, — специально для Вячеслава Медведева повторяю, что тема сегодняшнего необязательного разговора — средневековая куртуазная поэзия. Тема хороша и обширна, поэтому начнем с провансальских трубадуров. Кто-нибудь помнит, чем Южная Франция отличалась от Северной и какие области туда входили?

— С культурной точки зрения Северная Франция против Южной — все равно что плотник супротив столяра, — выступает Розенберг.

— Образно, хоть и с чужого голоса, — посмеивается Даниил Андреевич.

— Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс... — напевает Медведев.

— Про Гасконь ответ правильный, но о-очень неполный.

Даниил Андреевич распахивает сумку-почтальон и достает карту. Карта большая, закрывает доску почти полностью.

— Вдыхаем и смотрим внимательно, — говорит Каркуша, — Южная Франция — это в прошлом две цветущие римские провинции; Цезальпинская и Нарбоннская Галлия. Знать покоренной Галлии смешивалась с римской знатью: они мылись в одних банях, учились в общих школах и заключали смешанные браки. Римская империя была высокомерна, но, в общем, чужда мелкого шовинизма.

— То есть Мкртчян мог жениться, например, на тебе, — шепчет Миша Смирновой на ухо.

— А почему нет? — Алька отвечает ему строгим взблеском глаз.

— Даниил Андреевич! — кричит Миша. — Так чем все закончилось? Зуб даю, что ничего хорошего!

— Закончилось все Альбигойскими войнами. Но это еще очень, очень далеко. До этого Прованс был первым регионом готического Ренессанса — земля, охваченная экономическим цветением, религиозными вольностями и захватывающим искусством. Сочиняя легкомысленные канцоны, политические сирвенты и задорные пасквили, путешествуя по городам и замкам, трубадуры выработали наддиалектный койне — общий язык, схватывающий в единое культурное поле романизированные области Северной Италии, Южной Франции, пиренейских областей — Арагона и Галисии. Получалось так, что люди сначала писали на общем язы-

ке стихи, и уже потом — платежные документы. Забавно, да? Происходило потрясающее явление — консолидация, объединение снизу, на основе общей культуры и межнационального языка. Навстречу шло близкое, но в то же время противоположное явление — то есть объединение Франции руками северных баронов при поддержке королевской администрации. Объединение сверху, как правило — насильственное. Французские короли мечтали о национальном государстве, папство бредило католической теократией, бароны хотели урвать от богатых, культурно чуждых и необыкновенно притягательных южных земель. Это была атака одновременно и на мечту, и на благополучие. Сразу со всех сторон. Не забывайте также, что юг Франции — это романтизированный, почти античный регион, где христианство по-прежнему обогащалось, с одной стороны — древней идеалистической философией и раннехристианскими учениями, с другой — восточным мистицизмом, мы в первую очередь манихейство имеем в виду. Манихейство — это почти русский дуализм, ведь жить в моей стране, не имея в виду постоянно принцип кесарю — кесарево, — практически невозможно. Кесарю — кесарево — это самый манихейский принцип христианства. Популярность альбигойской ереси, воспринявшей этот принцип, основывалась не в последнюю очередь на том, что альбигойцы не требовали от своих последователей невозможного, главным делом было пробудить их души от дьявольского наваждения материального мира. Альбигойцы полагали реальный мир отданным на откуп темным силам, адом здесь и сейчас, в котором каждый проходит испытание.

— Вы тоже так думаете? — Смирнова смотрит; руки Даниила Андреевича приникли к крышке парты; побледневшие и веселые губы играют. Он вскидывает глаза в окно, как режет стекло взглядом. У Али невозможно кружится голова. Она представляет Южную Францию, все то расписное,

красочное Средневековье — как Даниил Андреевич говорил, оно вовсе не было мрачным, но сочным и свежим, как золотисто-алая книжная миниатюра. Люди в причудливых одеждах танцуют в большой зале, пылает огромный камин. Все ждут весны — ведь в отсутствие электрических чайников и центрального отопления так хочется солнца после сырости и промозглого холода. Вся жизнь — будь то любовь или война — пляшет вокруг теплой половины года, как эти люди вблизи очага.

— Аля, нет, — говорит Ворон, останавливая жестикуляцию. — Для того чтобы думать так, я слишком люблю землю — лес, реки, моря. Зеленые деревья у меня на даче. Если это — царство дьявола, то я дико слаб к искусству. Но дьявола в этом нет ни разу — так что катары преувеличивали. Истина, друзья, всегда не то, что посередине — она выворачивается и ускользает из рук человеческих; и все же мне кажется, что обладание истиной и одновременно счастьем — возможно. Редко, но получается — как выбить все очки в тире.

Каркуша подходит к доске, сворачивает карту. Декабрьское солнце через стекла отражается розовым: это своеобразная эстафета — солнце — снег — небо — снег. Миша смотрит на Альку — солнце просвечивает ее ухо, оно розовое и мягкое, как креветка. На скуле играет оранжевый отблеск, и рыжий — в волосах. Даниил Андреевич бродит вдоль доски и бормочет стихи: сладко дыхание апреля, майских предвестие дней... И так далее, и тому подобное. Миша чувствует, как глаза заволакивает сладкой дымкой: двадцать второе декабря, вторая четверть заканчивается, Новый год на носу, каникулы, погода отличная, и кажется, даже май не за горами.

— Верно, — Каркуша будто отвечает его мыслям, хотя на самом деле — снова стихи читает: «В самый короткий день в году знакам небес внять мы должны. Солнце словно спит на ходу, недобрав своей вышины...»

Он столкнулся с Яной на пороге квартиры. Молча передал ей ключ:

— Располагайся.

Он был тихий и собранный. Настолько, что Яна испугалась даже. Потщила мимо него тяжелую сумку с наклейками различных авиакомпаний. Ворон подхватил сумку, качнул ее внутрь. Поставил у вешалки. Вышел вон.

Мчались по сизому шоссе; стоял ноябрь. Лев Николаевич легко поворачивал руль, не спрашивая — куда, зачем. Притормозил у конюшни. Дальше — сказал Ворон. Много дальше.

Окончательно переселившись в адмиральскую квартиру, лейтенант полдня бродил по комнатам. Доставал из коробки очередную вещь и пытался пристроить ее куда-нибудь. Вещи не хотели приживаться — чужой дом оставался пустым и высокомерным. Он поселил в ванную бритвенный прибор. Отодвинул в угол шкафа забытые хозяйские вещи, бросил на дно свои свитера и джинсы. Книги остались лежать в распахнутой коробке. Данька достал ноутбук, щелкнул клавишей. На экране расцвела веселая красно-золотистая картинка — репродукция французской книжной миниатюры тринадцатого века: эти обои он вешал, когда работал над диссертацией. Данька залез в экранные опции, поменял картинку; теперь на экране было лето, ворох зеленых листьев. Услышал шаги — кто-то прошел по коридору, остановился на пороге комнаты. Шофер Лев Николаевич, — дверь у вас не закрыта. А я в машине жду, — ехать будем еще куда-нибудь? Данька закрыл комп. Аккуратно убрал в чехол. Положил на стол. Встал, прошелся — в конюшню съездить, что ли? Последнее время казалось почти безразмерным — он жил по распорядку, от дежурства до дежурства, и понимал теперь, как много часов и минут на самом деле отнимают мысли и сомнения в целесообразности того или иного действия, и попытки представить последствия, и планы, и тем более

мечты. Теперь, когда ничто из этого не имело смысла, он как никогда располагал собой.

Угасающий ноябрь лучился мягким утешительным светом. Напитавшиеся влагой бурые листья тяжело висли на ветках. Та жизнь, что на расстоянии вытянутой руки, — вялая и податливая штука; как промокший гриб, выделяющий сукровицу от легкого касания; как качели, колеблющиеся от удара незначай. Охота на химер чревата добытыми химерами, да?

Лева молчал. Ждал. На столе лежал ноутбук — и это была единственная вещь в комнате, все еще продолжавшая сопротивляться образовавшемуся вакууму. Безвоздушному пространству, холоду и надвигающейся зиме. Данька смотрел на комп почти с ненавистью — так разительно выбивался он из контекста, в то же время — будто заключая его в себе на манер стенографического знака. Куда девать вещь, от которой хочешь избавиться, но рука не поднимается насовсем? Правильно. Туда, куда отправляется старая мебель, детские рисунки и вышедшая из моды одежда.

Вы ведь все равно работаете сегодня? — спросил у милиционера. Вроде да, — согласился Лева. Тогда поехали, — легко кивнул Чингис, забрал ноутбук и вышел вон. Не вовремя подвернувшаяся под руку Янка так и осталась стоять в коридоре.

Они выскочили на шоссе, просвистели тихий померкший городок со шпилями башен и золотистыми луковицами соборных маковок. Машина вильнула на нижнюю дорогу. Вдоль побережья стояли дачи; темнела густо-красная церковь Иоанна Кронштадтского. Над шоссе нависал берег старого моря, бурые дубы валились с его склонов. Хлынул дождь.

Два года назад, тоже выскользнув из-под дождя, Янкин «бьюик» затормозил у шлагбаума военного садоводства.

— Здесь? — спросила Яна.

— Приехали, — сказал Данька. Его узнали и пропустили.

Дом пропах сыростью и мышиным пометом. Закипевший замок с трудом поддавался, и они оказались на веранде: пыльные занавески, облупившаяся краска на оконных рамах. Электричества нет и не будет. Витас чиркнул зажигалкой и по-хозяйски отыскал свечку. Пока Янка куталась в курточку и чувствовала себя неловко, Данька принес дрова. Растопил печку. Вскоре в небольшом домике стало невыносимо жарко. Набросив ватник и прислонившись к теплым кирпичам, Данька разомлел как кот. Яна поморщилась, осторожно отряхнула стул и присела. Стул страшно заскрипел. Данька сонно ухмыльнулся, наблюдая Янку в непривычной обстановке.

— Чаю хочешь? — спросил он с ласковым злорадством. С улицы вернулся Витас, поставил чайник. Предложил разжечь костер. Вышли во двор, в тяжелых тучах образовались проплешины. Светились звезды. Кострище было забрано в тяжелые брусчатые камни. Польшнули первые языки. Рядом шумел огромный ясень. Данька заговорил.

— Давным-давно здесь был финский хутор. Урочище Купля. Ингерманландцы были хорошие и крепкие хозяева... у них была булыжная мостовая, маслобойня. На том месте, где сейчас наш домик, стояла кузница. Янка, а ты знаешь, что раньше в деревнях кузнец в отсутствии священника мог заключать браки?

— Звездопад, что ли? — задрал в небо подбородок, зевнул Витас. — Извини, Дань, что отвлекаю тебя от матримониальной романтики.

Данька поежился и ушел в дом. Через тонкое стекло он слышал, как Янка спросила Витаса:

— Ты давно этого оболтуса знаешь?

Он не уловил, что ответил Витас, но, в общем, представить мог. Посмеиваясь, достал чашки, побросал в них засушенную мяту из жестяной банки. Продрогнут — подтянется.

Лев Николаевич чуть не ткнулся в шлагбаум. Сторожа долго не было; наконец проснулась и заорала собака. Потом

завыла. Из-за дома выскочила Надежда — крепкая испитая финка, вернувшаяся на родину еще при Даньке и заставшая там военное садоводство.

— Данила! — запричитала она. — Давно вас не было. Отодвинула шлагбаум; пес вился вокруг. Надежда выглядела почти так, как всегда — узкие глаза, заплывшие щеками-подушками, юбка из занавески, пуховик. — Ты, парень, как вообще? Как жизнь молодая? — спросила она Даньку. Тот заметил, что Надежда уж очень сильно пьяна. — Ты ведь смекаешь, я ваше добро сторожить не занималась.

Данька сообразил неладное, вскочил обратно в узик. Петляя по остаткам бульжной мостовой, они выскочили на Тихоокеанскую улицу — там их дом стоял. На коленях дрожал лэптоп. Данька родился в городе; в самой се­редке — и в Летний сад гулять водил. Но если бы у него спросили, где его малая родина, он без обиняков вспомнил бы мягкий ельник, начинающийся сразу за дачным домиком; голосащее по осени гусиными воплями небо. Темное озеро, заштрихованное по берегам легким тростником; густые сизые болота. Бруснику кровавыми каплями на лаковых темно-зеленых листьях. Рыжие, пламенеющие березы. Кленовые листья в октябре, бледными призраками проносящиеся в темноте наискось окон. Режущийся по весне сочный папоротник. Мягкую землянику. Летнюю воду — золотую сверху, бугрящуюся ледяными ключами со дна. Уносящийся в безвозвратные северные джунгли родник — легкий, звенящий; случайные хвоинки и не по сезону желтые осино­вые листки увлекающий вниз по течению ручья — и дальше, и дальше.

Водица-царица, бежишь ты с востока до запада, омываешь пенья-коренья, белые ка­менья, зеленые луга, крутые берега. Смой осуд и призор, и всякий оговор; выходи печаль в мох и болото, там твое место, там колодина лежит, а водичка

чистая бежит. Есть поверье — если бумажную птичку пустить вниз по ручью, то все печали раздаст — с моего Ивана на траву-бурьян, горе-беда, что с гуся вода, по утренней заре, по вечерней мгле, от глаза завистного, от серого глубокого, от карего, всяки разны глаза, от всякого забытого, с боку засматривающего, вперед заглядывающего.

Если я — это не просто ряд электрических импульсов и капелька плоти при них, то в материализующуюся на глазах историю про лейтенанта Ворона надо поверить насовсем, и потому — поскорее упрятать, как иглу — в яйцо, а яйцо — в утку. А утку отпустить. Сам себя ведь сглазил — с боку засматривал, вперед заглядывал.

Витас задернул желтые полотняные занавески. Яна вызвалась готовить бутерброды. Кромсала ветчину тупым ножом; в итоге Данька отобрал и нож, и ветчину. Посмеиваясь, нарезал пружинистый хлеб из сельпо, сверху побросал мясо.

— И этому тебя два года в кулинарном техникуме учили? — притворно возмутилась Янка, впиваясь зубами в бутерброд. Витас водил тонкими пальцами вокруг свечки, фигурно оформлял заплывший огарок. Янка, мигом сточив бутерброды, потянулась к сумке.

— Сейчас мы будем увлекаться оккультизмом, — заявила она. Плясал огонь; Данька напротив оборачивался то монгольским ханом, то кельтским духом — носатый, скуластый; смуглое лицо будто оплывало, меняло очертания, как кусочек олова на спиртовке. Яна достала карты.

— Чингисхану вон погадай, — посоветовал Витас. — Это он у нас собирается ойкумену завоевывать, а я — так, второгодник.

— Лады, — Яна хлопнула на стол три атласных квадратики. Посмотрела пристально.

— Дань, вот смотри, — провела ладошкой над картами, — это то, что у тебя в голове.

— Чего-чего? — засмеялся Данька.

— То, что ты о себе понимаешь, — пояснила Яна. Даньке неудобно, он дурачится.

— Чингисхан смущен, — поясняет Витас.

— А понимаешь ты о себе много, — продолжила Яна. — Эта карта называется «корень сил огня»!

— Ян, кончай.

— Заканчивай, — поправляет Яна. — Теперь личность. Что в сердце. Что нам, девушкам, более всего интересно.

— Ян, может, чайку еще?

— Упс! — Яна разыгралась. — Принимаю ставки, — говорит.

— Хуйня какая-нибудь, — подзуживает Витька. Ворон злобно сверкает глазами. Яна смотрит на обоих, открывает карту.

— Ну? — нетерпеливо спрашивает Данька. Яна посмеивается.

— Король огня, — со значением говорит.

— Дань, ты саламандра, ты понял? А ну в печку.

— Достал, — отмахивается Данька. — Янка, что дальше?

— А дальше — что ты на самом деле.

Яна открывает последнюю карту. Все молчат. Яна грустно пожимает плечами.

— Дань, эта карта называется «шут».

— Дурак, одним словом, — поясняет Витас. Данька смеется.

— Ян, — говорит он, — а давай теперь в них поиграем?

— Нельзя, — Янка серьезна, — это карты Таро.

— Я ж говорю — дурак, — подытоживает Витас.

«Уазик» с плеском затормозил на Тихоокеанской — по верх старой финской брусчатки и вправду лился океан грязи.

Данька соскочил на травяную кочку у обочины.

У ворот росли деревья — ель по правую, сосна по левую руку. Отец сажал. Ворота были приоткрыты, во дворе паслись мокрые курицы. На крыльцо выскочила черноволосая

женщина с тазом белья, затараторила что-то по-нерусски. Данька — как был с ноутбуком — прислонился к столбу. Ноги резко ослабли. Из-за сарая вышел и уставился на него еще один. Увидел «уазик» и заорал: мыльцыя! С резким гортанным акцентом. Баба на крыльце быстро спряталась в дом. На месте костра, который они когда-то жгли с Витасом, располагалась куча мусора.

Парни галантно предоставили единственную комнату в ее распоряжение; сами улеглись на веранде. Еще час или полтора она сквозь дремоту слышала, как они шептались за стеной. Трескучий смешок Витаса и то, как на него шипит Данька — тише, мол. В окне колыхал листьями огромный ясень, облака ездили по небу туда-сюда; чувствовалась близость побережья — погода за ночь поменялась несколько раз.

С утра домик пронизывало солнце. Яна вышла на веранду — две панцирные кровати были уже сложены и стояли в углу. На столе — Данькина книжка про язык трубадуров и трехлитровая банка молока. Молоко еще теплое. Яна налила себе молока, откинула ветхую марлевою занавеску над дверью и вышла во двор.

В умывальнике воды не было; плеск слышался за поленницей. Лиственные тени плясали на утопанном пяточке вокруг кострища; шуршал ветер. На солнце сверкнуло белое полотенце; из-за сарая выскочил мокрый и полуголый Даниил Андреевич. Ой, Янка, — улыбнулся он, плотнее заворачиваясь в простыню. Мы тебя будить не хотели. Ты умыться хочешь? Воды нет пока, Витас на родник пошел.

Данька вытер башку и бросил полотенце на провисшую бельевую веревку. Молоко нормальное? — кивнул он. Здесь по утрам деревенские ездят на тракторе; с Сойкинского полуострова. Продают молоко, иногда рыбу. Здесь озеро рядом, а чуть дальше — море и рыбхоз. Кильку продают.

Яна пожалала плечами и протянула ему чашку. Попробуй сам; оно теплое, согрелось уже, наверное. Данька пригубил

молоко и фыркнул. Оно теплое, потому что из-под коровы. А ты, может, думаешь, что батоны на деревьях растут? Яна кисло улыбнулась: Дань, я тебе подыграла, а ты ведешься с полплевка. У тебя молоко на губах не сохнет; усы белые. Чашку отобрала. Нет, все равно не получилось. Тыльной стороной ладошки мазанула по губам; Данька отпрянул. Рассмеялась.

— Колется... Ты моешься, но не бреешься? Бороду отращиваешь?

— Нет... (смеется). Приспособы забыл.

— А ты как натуральный человек.

— Как?

— Молоком. Вместо пенки.

Она опрокидывает молоко на руку, подпрыгивает и с хохотом хлопает его по щекам. Данька вздрагивает и всплескивает руками. Оступается босиком, Янке здорово; всю морду ему молоком вымазала. У Даньки на щеках бьется стыдливый смуглый румянец; он ловит ее руки и рычит:

— Слизовать заставляю!

— Ого?! — приподнимает брови Янка.

Не ого. В малине шуршит Витас; с родника прется. Данька скачет за поленницу и Янку следом дергает. Тихо. Что тихо? Ничего, Витька идет. А тут неувязка такая, представь — ты, я. Голый в полотенце, и морда в непонятной белой гадости. Стесняешься? Или дружок приревнует? Ишь, слизовать он заставит. Янка шипит и едва сдерживается, чтобы не расхохотаться — губы кусает через слово, давится собственным неумным остроумием. Данька бесшумно смеется и закидывает голову; башкой мокрой прилипает к нагретой стене сарая и смотрит вверх. Ясень колышется над головами.

— Ну вас к черту! Помогите кто-нибудь! — орет Витька и ведром грохочет. — Выходите уже наконец, ну?! Я видел вас все равно.

— Анфа'дэ пют..!¹

Данька сгибается от хохота и вытирает лицо краем простыни. Во блин! Весело ему, — ругается Витас.

Из трубы тянется густой черный дым. У цыгана на ногах батины старые сандалии. Погреб вскрыт; туда затаскивают мешки, бугрящиеся картошкой. Мешки свалены у входа.

— Гражданин начальник, — цыган дергал подбородком, — нас сюда привезли, бросили, ты пойми. — Он подхватил первую попавшуюся птицу. — Курицу хочешь? Больше ничего нет.

— Это мой дом.

— Патиссон, говорит, выращивать будешь. А счас зима — какой тебе патиссон? — чернявый никак не мог уgomониться. В курчавой бороде дрожали крупные капли осенней дождевой взвеси.

— Я убью тебя сейчас, и мне ничего не будет, — кивнул Чингис. — Понимаешь, ты?

Цыган стоял под дождем и хлопал глазами. Стремительно темнело. Курица в руках у мужика вяло дергалась и дико воняла. В ста метрах за домом начинался лес. Данька помнил, что в эту пору, так же как и ранней весной, он был пустым и гулким, и проглядывался далеко.

...Янка в лесу ничего не умела и боялась. Данька шел по тропинке первым, покачивая ладными плечами, как молодой цыганский барон, легко уклоняясь от веток и словых лап. Насладившись самолюбованием, спохватился и принялся ветки придерживать. Ничего, Дань. Я справляюсь, — усмехнулась Яна. Витас шагал позади нее и заботливо стряхивал со спины комаров и слепней. Там вот, — кивнул Данька, внезапно остановившись, — замечательное моховое болотце. Изумрудное все, и грибы растут. Моховики. Моховиков он произнес с чутким придыханием, будто пытался фонети-

¹ *Enfant de pute (фр.)*. — Сукин сын.

чески передать их золотисто-охристый цвет, а еще — какие они бархатные, влажные, живые. Яна фыркнула и отдышалась. Устала. До озера твоего далеко? Нет. Не очень, — сказал Данька и внезапно сиганул с тропинки прямо в папоротник. Дань, там гадюки. Могут быть, — осторожно предостерег его Витька. Знаю, — отозвался из-за деревьев. Идите, я догоню.

Догнал минут через пять, весь запыхавшийся и счастливый. Протянул Янке маленький аккуратный букетик — тонкие веточки, на веточках — земляника. Последняя, — похвастался Данька. Раскисла только немного, от дождей. Ее можно съесть или так любоваться? — спросила Яна. Данька засмеялся, щелкнул пальцами. Нет, — говорит, — засуши, конечно, на память.

Деревья расступились внезапно; перед ними было поле и режущаяся сквозь траву бетонная полоса. На горизонте торчали огромные полукруглые строения; прозрачные и решетчатые. В арматуре свистел ветерок. — Это что? — обомлела Янка. Инопланетяне? — Это второй Кронштадт, — тихо и тожественно сказал Данька, даже для себя незаметно касаясь пальцами ее легкой стебельковой шеи. — Щекотно, — отмахнулась она.

Здесь перед войной базу строили, — объяснил Ворон, сшибая прутом коробочки чертополоха. Солнечногорск. На Сойкинском, ближе к заливу, были причалы и военный городок, а здесь — аэродром. Немцы начали бомбить в конце лета сорок первого, весьма успешно. А потом наши отходили и сами уже все подрывали. Чтоб врагу не досталось. Это не очень у них получилось; там дальше есть лаз в подземные склады, все в целости — так что если хочешь тушенки тридцать какого-то года выпуска, то можно устроить. Яна поежилась. Слушай, сталкер... выведи нас наконец к озеру. Я купаться хочу, а не в царство мертвых.

От озера завернули на станцию — Янке захотелось докупить сигарет. На водонапорной башне сидела четверка

аистов; время от времени один из них закидывал горло и исполнял странное булькающее соло — пел вроде. По железнодорожным путям скакали сороки. Данька присел на ступеньки станционного домика и смотрел, как на солнце одно за другим наползают облака. Когда облако отходило, дальние деревья за железкой постепенно загорались золотисто-салатным светом; солнечная полоса надвигалась фронтом, крылом — стремительно и неумолимо. Солнце перекидывалось через пути и припечатывало плечи большой теплой ладонью. По всему телу бежал веселый трепет, и тут возвращалась Янка. Вертелась рядом на стоптанном каблуке старых босоножек, болтала что-то. Рядом Витас откупоривал пиво. — Прикинь, здесь даже сигарет нормальных нет, — возмущалась Грабовская. — А какие тебе нужны? — Вог, — наивная, улыбается, — Вог супеслимз. Витька начинает ржать. — Глушь! — Янка сердится, — Медвежий угол! Во забрался! — хлопнула ладошку Ворону на темечко. Оперлась бесцеремонно, на одной ноге вытряхивала камешки из босоножки. — Лешак! Автомобильно туда не доехать и мамабильно туда не дозвониться! — пропела. — Вылупились яйца на небо, — подхватил Витас, подмигивая Даньке. — Девушка любит другого! — сердито кивнул Ворон. Небо в сахарных облаках звенело дерзкой лоскутной синевой, как всегда в конце июля; налетал ветер; вдалеке грохотал подкидыш — смешная электричка о двух вагонах; булькали аисты, трещали сороки. Это и было счастье.

Вечером парни начали раскладывать костер. Зачем костер, когда мангал есть? — недоумевала Яна. Иди, Янинка, освежись, я душ тебе починил, — мягко спроваживал ее Данька. Душ — это деревянная кабинка с баком наверху и рычажком. Внутри пахло елкой. На проволочной сетке полагалось стоять; в ячейках торчала листва и сережки ясеня. Когда Яна вышла, кутаясь в огромное вафельное полотенце, — не так

уж плохо, — Данька колол дрова, а Витас старательно раздувал щепочки. При виде Яны Данька улыбнулся и скинул рубашку, поиграл мышцами. Витас отвлекся от щепочек и усадил ее на длинную скрипучую скамейку, которая служила вместо завалинки. Данька махал топором и ревниво оглядывался. А ты работай, работай, — посмеивался Витас. Данька раздул ноздри и с наигранной досадой запустил топор в стенку сарая.

Смеркалось. Над крыльцом горела лампочка; в оконное стекло бились бабочки и огромная оса. Витас включил музыку; таракашки на стекле двигались в такт.

— Ян, смотри, у них дискотека, — кивнул Данька. — Бабочки-блондинки и осы-бандосы.

— Они у него в малине живут, у туалета, — пояснил Витас. — Не выкурить никак.

— Кого? — смеялась Янка.

— Бандосов, кого.

— Шутки у вас — как в пионерском лагере, — сказала Яна, отбирая у Витаса куртку и шашлык. Данька, наклонившись над костром, заговаривал мясо.

— Я очень люблю, когда он готовит, — кивнул Витас.

— Почему, — спросила Янка, впиваясь в шашлык.

— Ну, хоть какая-то польза.

Витас тихо засмеялся, Данька передернул плечами. Яна сидела на бревнышке рядом с поленницей. Землю под ее ногами усеивала пахучая древесная труха. Данька примостился рядом, раскопал труху носком кроссовки и показывал ей разнообразных жуков и древесных личинок. На дальние сосны карабкалась луна — желтая и тепло светящаяся, как сыр. На участке рос ясень-патриарх, его нескончаемые побеги гибко свистели под тихим ночным ветерком и разбрасывались сережками. Разве не замечательно? — тихо спросил Данька. Его вдохновенная физиономия казалась Янке удивительно милой и трогательной. Данька тем не менее был вполне серьез-

езен — смотрел на нее открыто и прямо, ждал утвердительного ответа.

— Что ты хочешь от меня услышать? — усмехнулась Янка. — Что-нибудь о том, как прекрасен мир? Какую-нибудь обаятельную чепуху в этом роде?

Данька пожал плечами.

— Хочешь, чтобы я преисполнилась восторга от этой твоей дикой Ингерманландии? Чтобы вернулась в город и рассказала всем друзьям? Чтобы мы приехали сюда на двух машинах, открыли капот и багажник, поставили сборник «Ибица всегда с тобой» и круто оттянулись под шашлычки и виски с колой? Ты же не этого хочешь? Ты хочешь, чтобы я, — смешок, — разделила твою веру. Чтобы я сидела рядом на бревнышке и смотрела с тобой на луну; потом слушала про дерево-ясень в славянской мифологии...

— В скандинавской.

— Что?

— В скандинавской мифологии. Ясень Игдрасиль, мировое дерево. У славян просто поверье есть... Что под ясенем загадаешь, то и сбудется. Дерево клятв и обетов.

— Вот-вот, — Яна фыркнула, — а потом еще оду каждому завалящему булыжнику и его подробную биографию. И про жука-короеда. И про финский хутор. И про военный аэродром. И о том, на каких диалектах болтают старушки в автобусе по пути от деревни Нежново до рыбхоза Ручьи. А такого не будет. Можешь даже не надеяться. Единственная информация о мире, которая меня привлекает, — это инструкция по его применению. В собственных интересах.

Присвистывая под нос, Данька поймал на щепочку жука и зашвырнул его подальше в траву. Яна проследила траекторию.

— Завтра будем разжигать костер, будем собирать щепочки. Он попадется и сгорит. Жалко, потому что красивый.

Хоть и вредитель. — Ну, что тебе сказать... — пожал плечами. — Ибица всегда с тобой, да?

Он посмотрел на нее и усмехнулся.

— Самоирония — это здорово. Это здорово, что она тебе не отказывает. Сомнение и скепсис — самый надежный путь в истинную веру. И вообще, не наговаривай на себя. Ты настолько хорошая, что боишься не выдержать. Боишься не оправдать чьих-то ожиданий, обмануть и сделать человеку больно. Этого не нужно. Гаудеамус игитур. Налить тебе вина?

— Водка есть? — ровно произнес Данька.

Цыган преданно закивал и умчался в дом. Данька чувствовал, как холодеют щеки. Вверху свистели голые деревья; из вытоптанного малинника орали цыганята.

Новый хозяин выскочил с литровым пузырем; до самой пробки плескалась золотистая жидкость.

— Сам делаю, — похвастался он. — Стакан дать?

Вечером воскресенья они заторопились домой. Выехали поздно — шашлыки, то-се. Яна вела под хмельком, на половине пути передала Даньке штурвал. АЭС проскочили удачно, но на выезде их затормозил армейский патруль. Худой ушастый срочник проверял документы. Витас уже лет пять как гражданин ЕС; на его паспорт солдат уставился, как баран на новые ворота. А вы здесь откуда? — спросил солдат. Шпиён, — веселилась Янка. Вплавь Балтику пересек, и вот он тут. Нет, как вы здесь оказались? — настаивал патрульный. Понять его было можно — в пограничную зону Витас вроде не въезжал (они обогнули блокпост по грунтовке), а обратно — вот те на. Витас развел руками. Данька насупился: может, как-то решим эту проблему? Яна призывно размахивала пятидесятидолларовой купюрой. Данька поймал ее руку — оставь. Очень кушать хочется, — ушастый солдат улыбнулся и пожевал губами. Витас поморщился — во, Рашка. Данька обернулся на него, и Витас увидел непонимание в глазах быв-

шего соотечественника. Выходи, — приказал Ворон. Оба вывалились в тихую глушь, в темноту; колыхались сосны. Где магаз? — спросил Данька у солдата. Там. Где свет.

Они быстро добрались до магазина; Данька купил палку колбасы, хлеб и сок. Витас болтался по киоску и шуршал деньгами.

— Тушенка — нормально? — наконец спросил он.

— Если у них открывашка есть, — пожал плечами Ворон, — возьми лучше плавленых сырков. И пару пива.

— Ты чего, Дань? — спросил Витас, попевая за ним с плавлеными сырками.

— Ничего. — Данька быстро шагал к машине, в руке болтался пакет. — Держи, — сказал он патрульному.

— Проезжайте быстро, — попросил солдат, оглядываясь на караулку.

— Удачи, — кивнул Ворон. Они с солдатом перекинулись рукопожатием, и Данька вскочил на водительское место.

— Ты че, Дань?

— Ничего.

Сосны шуршали в темноте, Янка молчала. Ей внезапно захотелось прислониться к Данькиному плечу. Вместо этого она сказала:

— У нас тут один за всех, а все за одного, если ты забыл. А Данька — настоящий мушкетер. Уловил, Витас?

— А хули, — пробормотал Витька с заднего сиденья. Данька резко закладывает поворот. — Я просто легко представляю себя на его месте, — пробормотал он.

Когда они ехали назад, Даньке хотелось не просто реветь — выть. Цыганская водка завязала язык, но тайное доньшко откупорила. Чингиса влекло по длинным тягучим волнам, голова была как поплавок. В таком состоянии обычно рыдают на плече у незнакомца или пишут эсэмэски позабытым друзьям. Пузырь, забитый газетой, болтался между ним и Львом Николаевичем, на коленях трясся ноутбук.

Чувство, которое он испытывал, было знакомо — как тогда, когда мама, в первый раз приехав из Ю-Эс-Эй, ввалилась в квартиру и сразу бросилась к телефону: звонить подругам, рассказывать об офигенной заморской жизни, о счастливом билете в лице галантного лысенького барабанщика. Данька сидел на кухне, слушал придыхания по телефону и ждал, когда до него дойдет время. Через час уяснил, что время не дойдет никогда, и тихо открыл вино, приготовленное для встречи.

В городе они снова попали в ливень. Преследует он нас, что ли, — чертыхалась Яна. Данька уверенно проехал мимо своего дома, прекрасно осознавая, что добираться обратно в три часа пополуночи будет ох как непросто. Логика момента требовала побережь хрупкое тройственное равновесие, и он промолчал; поехал дальше. Над городом висел розоватый электрический отсвет.

— А он ничего, — резюмировала Грабовская, когда Витас высадился около гостиницы — длинный и рыжий, в джинсовом костюме и смешной шапочке.

— Нравится? — с тайным садизмом спросил Данька.

— А то, — с вызовом. Данька усмехнулся в ответ.

— По идее, Витька — гей. Но ты все же можешь попробовать. Чудеса бывают.

— Во, блядь, — плюнула Яна, — а я-то думаю, что ты так ненормально ко мне спокоен. А вы, оказывается, парочка... баран да ярочка...

Данька бесшумно расхохотался. Янка как-то уж совсем неприкрыто кокетничала и на комплимент напрашивалась. Вообще на нее непохоже.

— Витька — мой друг, — спокойно пояснил он, отсмеявшись. — Он уехал вместе с родителями, почти сразу, как мы окончили школу. Пацанами мы дружили; просто не разлей вода. Всюду вместе. Ближе друга у меня никогда не было, да и... с тех пор нет. Через пару лет Витас написал, что переехал в Голландию и живет в гей-коммуне.

Яна склонилась к нему; ровные маленькие зубки полупрозрачно светились между темных, вином окрашенных губ.

— А как он понял, что он... педик? А у вас с ним ничего не было?

Данька поежился.

— Все-то тебе знать надо... кокаиновая королевишна.

Яна смеялась. Впереди размахивал палочкой гаишник.

— Давно хотел тебе признаться, Дань. Я был в тебя влюблен.

Данька учился в кулинарном техникуме; играть в интернет ходил в компьютерный клуб. Вокруг сумасшедшие вонючие геймеры, а в аське — Витька со своими откровениями.

— Бугага, — написал в ответ Ворон. — Придумай что-нибудь посмешнее.

Витька придумал:

— Хотел бы жить с тобой, но живу с другим женщиной.

— Поздравляю... Отличная дурь у тебя в Голландии; полный отвал башки.

— Не веришь — не надо.

После этого Данька какое-то время вообще ему не отвечал, но стоило выйти в Интернет, его догоняло очередное Витькино сообщение. Любофф мая, ибу и плачу, — ерничал Витька на нарождающемся албанском. — Вспоминаю, как мы купались голяком на даче, и твою красивую треугольную спину. Даньке хотелось сплунуть: так бы и сказал, что жопу. Нет ханжи больше либертена. Что такое либертен? — осведомился Витас. Нет дурачка больше интеллектуала. Знает все обо всем, и словечко либертен знает, а близких людей при этом мнит исключительно по своему образу и подобию. Опасное заблуждение!

Даньке было неловко и страшно за Витаса, и вовсе не верилось в его заморское пидарское счастье. А еще он чувствовал, что последний кусочек его детства оторвало и унесло от берега: отец в могиле, мама в Нью-Йорке, а Витька с мужиком в постели.

— Западный мир умирает, люди прячутся от всякой ответственности. Срабатывает механизм медленного самоуничтожения: популяция регулирует сама себя. То, что ты полагаешь осмысленным выбором, есть просто результат работы этого механизма.

— Блядь, какие слова! — бесился Витька. — Профессор ты наш, пассионарий не к месту и не ко времени! Пока ты бьешься над осмысленным выбором, нормальные люди вполне себе ничего живут, и только потом придают этому вид осмысленности. А некоторые даже не парятся. Я попробовал ебаться с мужиком, мне понравилось. Рядом со мной друзья, которые меня понимают, а не капризная бабенка. У меня все хорошо, а вот у тебя-то как?

Не в его правилах было разбалтывать чужие душевные секреты, но перед Янкой мог бы говорить всю ночь; лишь бы слушала. Они давно затормозили перед поворотом к ее дому; постовой в пятидесяти метрах дальше отловил пьяный джип и тряс водителя. Тут бы и уехать, но Данька болтал, как помело.

— Чем закончилось? Он продолжает тебя любить?

— Я попросил его считать, что победила дружба.

Янка возлежала в кресле пассажира; слушала с нежной ухмылкой.

— Забудь, — наконец прошептала она.

Данька ощутил ее пальцы на предплечье и отпустил баранку. Их лица оказались очень близко, Данька прикоснулся рукой к ее щеке; пальцы подрагивали. Преодолевая любовный полуобморок, он поцеловал, вталкивая язык, касаясь кончиком ее альвеол, будто хотел на двоих произнести один английский определенный артикль the.

Постовой облокотился о стекло и улыбался им корпоративной улыбочкой.

— Куда торопимся?

Данька кинул на него мрачный взгляд поверх горлышка и совершил очередной глоток.

— Ветром разогнало, — невозмутимо ответствовал Лев Николаевич.

— Здесь не проехать вам, — постовой с каким-то злорадным удовольствием посмотрел на Даньку и махнул рукой на дорогу.

Данька высунулся и увидел поваленный на шоссе фонарный столб. На нем — полуразмытые дождем буквы.

— «Долой Кровавых Петухов», — с выражением прочитал постовой. И извиняющимся тоном пояснил: — Это они про Дружину. Шпоры потому что. По Волхонке езжайте, через деревню.

— Диссиденты уезжали, но потом все равно возвращались на Васильевский остров, потому что Петр построил его на костях, а каждый из диссидентов носил на груди такую ладанку, чтобы прах постоянно стучался об сердце. Это назвалось постмодернизм, и когда он наступил в конце двадцатого века, то проснулся и пес Пиздец. Три президента собрались в Беловежской пуще и стали думать, как восстановить зубров, а бешеную собаку пристрелить. Вскоре писатель Пелевин провел спиритический сеанс и оживил Чапаева, но утопленники, как известно, очень беспокойны. Чапаев стал бродить по Европе в поисках призрака коммунизма, а еще восстановил яицкое казачье войско, которое вооружилось против чеченцев и даже договорилось с уголовниками, что их на зоне не будут трогать, а будут усиленно кормить и посадят в самом чистом углу.

— Отлично, Смирнова. Отлично за фантазию и два по предмету. — Даниил Андреевич рассерженно захлопнул журнал. — Аля, я даю вам возможность самой выбрать, как пересдать экзамен. Можете написать доклад, или реферат, если вам ближе компилятивная форма подачи...

— Или приходите на сеновал, — пискнул кто-то с задней парты.

Смирнова вспыхнула.

— Кто сказал?! — Даниил Андреевич вскинул глаза на класс и вышел из-за учительского стола. В кабинете стало очень тихо. Ворон выдохнул, снял очки и принялся их тереть рукавом свитера.

— Артур Лажевский. У вас отлично по истории, и чтобы я вас больше не видел на своих уроках.

Лажевского он видит в первый раз — а хотелось бы в последний. После того, как стало известно, что школа с будущего года делается гимназией, сюда потянулись учителя. Училики, верней сказать. Лажевский — учительский сынок, кочующий вместе с мамой.

— А если у меня тяга к знаниям? — тихо ухмыльнулся Лажевский. — Что вы с ней можете поделывать?

— В библиотеку сходишь, — Ворон в тихом бешенстве впечатал ладонь в парту. За партией вздрогнула Смирнова. Это вышло не вовремя — Данька тотчас и на нее обратил внимание.

— И ты, Смирнова.

— Что? — с вызовом спросила Алька.

— Собирай вещи. На пересдачу придешь с мамой и рефератом. Все.

Легким щелчком сложив очки, он отвернулся к учительскому столу. Зашуршали страницы классного журнала.

— Ты все еще здесь? — спросил он, не оборачиваясь.

Алька медленно потянула к себе тетрадку, тихо убрала ее в сумку. За ее спиной кто-то с грохотом вылезал из-за парты.

— Пошли, Алька.

Миша бережно взял ее за локоть.

Ворон наконец обернулся к классу. На бледном и злом лице застыло недоуменное выражение. Миша, опустив глаза, тащил Альку к выходу.

— Разрешите, Даниил Андреевич.

Они стояли перед ним, двое такие решительные. С вещами. У Альки уже глаза на мокром месте — тоже голову

опустила, ладошку к носу тянет. Даниил Андреевич захлопал глазами и отступил. Ребята вышли. Лажевский с задней парты потешается. Медленно, победоносно складывает вещи. Выходит тоже. Хлопает дверь.

Ворон проводит рукой по столу, нащупывает очки, кидает на нос.

— Ну, кто еще... хочет откланяться? — тихо спрашивает он.

Класс молчит. Лариска с сожалением смотрит на него. Остальные уткнулись в тетрадки.

По потолку, как в детстве, пляшут электрические тени. Небольшое смуглое тело распято на жестком хлопке; Данька-Чингис бьется во сне, над взбесившимися глазными яблоками дрожат веки и стрекочут темные, щеточкой, ресницы. Больно и нелегко прирастает новое имя. Смутно оно знакомо — как любого черно-носатого в школе прозовут не Шамилем так Дудаевым, так и слегка раскосого Ворона, огибая красивую фамилию, нарекли Чингисом. Это забылось, но теперь настойчиво вспоминалось; детские прозвища ведь так или иначе всплывают.

Река опять замерзала, с этим ничего нельзя было поделать. Лед схватывал ее прямо на глазах, останавливая прерывистое течение, умиряя крохотные бурунчики. Каждый раз это начиналось странно — с налетевшим прямо посреди лета порывом ветра, который, как в фильмах Тарковского, катился вдоль набережной, выворачивая листья стремительной серебристо-зеленой волной. Данька заглядывал в небо — и там пухлые рафинадные облака тоже менялись, серели, наливались влагой. Начиная падать снег. Он заполнял те окошечки темной воды, где еще не было льда: белые мухи липли на них, как на открытые раны. Данька стоял и смотрел на погибающую реку — он ничего не мог изменить. Ощущение смутной тревоги накатывало постепенно. Наконец он осознавал, по-

чему не должен был выпасть снег, почему река не должна была замерзнуть. С первым снегом умер отец.

Он просил себя проснуться, но вместо этого, едва очнувшись от оцепенения, бросался и бежал по залепленному мокрой травой полю — трава была похожа на водоросли, его следы тотчас наливались сизоватыми лужицами — он знал это, хотя ни разу не обернулся. Желтеющие космы до отказа набухли сыростью, но продолжали пить воду из земли, присосавшись, прикинув к ней своими длинными плоскими телами. На траву грязно мазал снег. Поле становилось пегим. Неровный горизонт никак не приближался; зато оттуда, от серых, уступами громоздящихся типовых зданий, на Даньку надвигалось плотное крыло тумана. Клубясь, туман скатывался ему под ноги, и Данька отчетливо ощущал его дымный запах.

В комнате было тихо. Горела настольная лампа, зеленый пластмассовый абажур отражался на потолке мертвенным кольцом. На диване лежал отец. Давит мне что-то здесь, Дань... — говорил он и долго, очень долго и медленно тянулся к вороту рубашки. Данька понимал, что снова не успел.

За окнами падал легкий снег. Данька шел через поле в новенькой форме, не ощущая холода. Фонари с трассы выстилали снег синим. По снежной равнине тихо ползла поземка, ветер дул в лицо, а фонари светили в спину. Снег из-под ног роем фосфоресцирующих искр относил назад. Он светился все ярче, а тень, что бежала впереди, становилась короче и четче. Донесся рокот мотора. За ним шла машина. На бегу он оглянулся через плечо. Почему-то он знал, что машина именно за ним. Он упал и поднялся. На щеки налип снег, на стекла очков — тоже. Данька знал, что вытирать их на бегу — гиблое дело, поэтому просто сорвал с физиономии одним движением. Жесткий ветер высекал слезы — без очков глаза стали совсем беззащитными. Неподвижные до-

ныне звезды замигали неровно и испуганно. Рокот мотора нарастал.

Он добежал-таки до реки. Река была все еще мертва — она не собиралась оживать, она не могла ожить до весны, а весны могло и не случиться. Берег был обрывист, до присыпанного снегом льда далеко. За рекой темной стеной хоронился лес. Он прыгнул с обрыва и в полете увидел, как лопаются на реке лед. Как хлещет из щербатых трещин вода, и вся река, от истока до устья, приходит в движение. Он помнил глухой удар и то, как над ним зашумели деревья.

Рывком поднявшись над кроватью, Данька вспомнил, что Яна с вечеринки обещалась только к утру. Откуда тогда звонок, — подумал он, — и уже откидывая одеяло, понял, что это был звонок телефона. Обратно в сон не хотелось; прошлепав через комнату, он нажал автоповтор.

— Але, — ответил в трубке хриплый голос Александра Петровича.

— Звонили?

— А, да. Хорош, Чингис, дрыхнуть. У нас ЧП, все по коням, а за тобой машину я уже послал. Будь готов и табельное возьми. Все, до встречи.

Больше Петрович объяснять не стал — повесил трубку. Данька посмотрел на часы — полчетвертого ночи. Поплелся одеваться, заварил кофе, пытаясь отогнать сонную дурноту. От кофе заныла голова — будто вправду об лед приложился. В замке заскрипел ключ. Дверь открылась, с площадки донеслись веселые подгулявшие голоса.

— Ой, Данечка!..

Яна ввалилась в кухню; Данька мрачно смотрел на нее и на кое-кого еще. Небритый парень в парусиновой не по погоде курточке шлепнулся задом о край табуретки; табуретка уклонилась, и он шлепнулся уже об пол.

— Даня, это Толик! — весело провозгласила Яна.

— Я помню, — мрачно кивнул Чингис.

— Че ты как неродной? — капризно заверещала она.

У Янки на шубке таял снег. Толик поднялся с пола и цеплялся теперь к столу.

— Отличная была вечеринка! — заявил он Даньке.

— Рад за тебя, — кивнул Данька и резко затянулся. На пороге без стука появился Лев Николаевич. Данька раздавил сигарету и пошел к выходу. Обернулся к Яне: — Снег там, что ли?

Яна не ответила. Она стояла ко всем спиной и раскачивалась под музыку.

— Что стряслось-то? — спросил у Левы Чингис, захлопывая дверцу «уазика». Лев Николаевич молча пожал плечами — не в курсе, мол.

— В Управление велели ехать, — сказал он, до отказа выворачивая баранку.

Ночь шуршала первым снегом. Данька медленно отходил от сна, взбаламутившего в нем знакомое тревожное чувство.

А река и вправду замерзает; запомнил он, когда пересекала мост. Черная вода, белые берега. Тонкий ледок медленно подползает к середине русла, но пока границу между ним и водой можно заметить только по качеству отражения — в воде дома, набережная, редкие огни плывут четче и неверно колеблются. Там, где лед, они мутны и неподвижны. Город медленно проносится за стеклом, отделенный хрупкой пленкой; разницей температур. В машине тепло и слегка пахнет бензином. Улицы громоздятся одна на другую, одна за другой вспоминают себя названиями. Чингис просит у Левы зажигалку.

История вырастает, как гриб на взмокшей почве. Пограничная форма жизни — не растение, не животное — субстрат; и вот рушится небесный дождь. Грибница оживает и выкидывает уродливые наросты в самых неожиданных точках пространства. В мокрых осенних сумерках горит цыганская усадьба. Из огня летят щепки и обугленные поздние

яблоки. Лейтенант в новенькой форме, стрекочущей камуфляжными пятнышками. Где-то в доме гремит выстрел.

Они мчатся по набережной; машину плавно приподнимает на маленьком горбатом мостике. Чингис судорожно тянет в себя сигаретный дым и украдкой оглядывается на Леву. Волчий профиль милиционера леденеет в полупризрачном ночном, ночью все кошки серы, и как ладно, что в машине не горит свет. У Чингиса растерянное и страшное лицо. Гладко уложенный асфальт искрится первым снежком. Где-то дальше по набережной по фасаду играют пятнышки рыжего света; и это явно живой огонь. Данька всматривается, но толком пока ничего не видно, а вскоре дорога вписывается в изгиб реки, и огонь вовсе скрывается за домами.

Вот мразь, — думает Чингис про маленького дурковатого лейтенанта. Грохнул несчастного алкоголика, бездумно и ни про что, и как теперь увязать эту бессмысленную легкость жестокости с глубокой рефлексивной натурой персонажа? В ужасных и непредумышленных обстоятельствах люди спасаются тем, что ощущают происходящее как не с ними, а с кем-то другим.

На очередном круто заложённом повороте впереди выросло корявое трехэтажное здание Управления Дружины; тяжеловесная отрыжка имперского классицизма. Там, собственно, и горело.

Петрович ездил на джипе. Данька узнал машину — она стояла прямо на набережной, рядом вприпрыжку бегал хозяин и еще какое-то офицерье из Управления. По крыше ползали пожарные — слабеющее пламя вырывалось из слухового окна. Вдоль здания суетливо выстраивалось оцепление — из ментов и дружинников вперемешку. Лева сбавляла обороты, чтобы пристроить «уазик» рядышком с джипом капитана. Кивнул через плечо, разворачиваясь:

- Окна.
- Что окна?
- На окна посмотрите.

Данька присвистнул. На фасаде исторического здания ни одного целого окна — педантично выбиты.

Затормозили. Данька выскочил. Петрович с недоверием оглядывал здание — будто ждал, что стекла появятся обратно. Данька подошел, остановился.

— Гляди, да? — обескуражено протянул Петрович.

— А как же охрана? — Данька поежился с недосыпа.

— Не все ж такие снайперы, как ты. Устроили пальбу, распугали только... злоумышленников.

Петрович плюнул и выругался.

— Говорят, малыцы какие-то. Камнями и зажигалками; одна вон в слуховое окно угодила. Добросили, надо же. Опергруппа приехала, уже не было никого.

— И что теперь? — подошел Лева.

— Да ничего. Этих драть будем, как сидоровых коз... а тех — искать, и тоже. Драть. Не ожидал я, — сокрушался капитан. — Знал, конечно, но не ожидал, что так скоро. Ниче, Дань, — Петрович хлопнул его по плечу. — Это, знаешь, нам даже на руку. Все равно собирались стеклопакеты ставить.

До самого утра они слонялись с Петровичем по вымороженному зданию. Капитан, тихо матерясь, подсчитывал убытки. На рассвете посыпались звонки — в разных концах города поймали несколько подозрительных подгулявших компаний; на лютеранском кладбище накрыли кучку сатанистов, а в некрополе у Лавры — парочку готических девиц с одним на двоих томиком Блока. Облава на бывший штаб партии христианских революционеров ничего не дала — на стене обнаружен винтажный постер рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и рукописный портрет Че Гевары.

— Такую истерику закатил — прям потеха. — Артур Лажевский тянет дешевую сигариллу и смотрит поверх нее на Сашу Розенберга — худого, неладного парня в длинных прямоугольных очочках.

— Ставлю, говорит, вам пятерку в четверти и без мамы не приходите.

Они сидят в популярном кабаке «Варшава», старательно изображают завсегдаев. На маленьком танцполе болтаются студентки с полупьяными белобрысыми иностранцами — обычный набор. Артур окунает взгляд в полупустой бокал пива, бесшумно смеется.

— Приходи ко мне на выходных, будем смотреть всякое интересное.

— Что? — Розенберг, несмотря на потертый вид, смотрится в баре более естественно, чем Артур в своих брендовых джинсах, с причесочкой под диско-петушка.

— Мультки про трах. И девочек бери.

— Дрянь ты все-таки, Лажевский.

Артур, восприняв это как комплимент, заливается согласным смешком.

— Я не про баб, я про Каркушу. Отличный мужик, между прочим. Нам бы такого классного... Вы, мелюзга, своего счастья не понимаете. Кого еще из преподав можно встретить в этом, к примеру, баре?

— А ты знаешь, что у нас будет гимназия со следующего года? Всех неподходящих — кто учится плохо или родители проплачивать не могут — отсеют по результатам экзаменов. С твоим замечательным Каркушей уже была воспитательная беседа, и мама говорит, что он ни полслова поперек директорисе не сказал. — Артур пыхает сигариллой, но та погасла, и ему приходится разжигать снова. Розенберг задумчиво наблюдает за его стараниями. — Смотри, только это закрытая инфа, типа ничего я тебе не говорил.

— Поживем и увидим... — Розенберг меланхолично лохматит свой ежик. Он не знает, что и думать, но Артур ему тоже не нравится. Про себя он уже решил, что это неправильный чувак.

Розенберг кидает на стол деньги и застегивает куртку.

— Пошел типа? — недоуменно спрашивает Артур. — Подожди, — просит он, суетливо распаковывая бумажник. Они вместе выходят на улицу. Темнеет. Артур продолжает брнчать в ухо. Саша смотрит под ноги и соображает, что шанс отвязаться безвозвратно упущен. Перебивая Лажевского, он просит у него сигариллу. Закуривая, вздергивает подбородок и замечает дальше по улице странную компанию — маленькая девушка в лохматой шубке, как язычок колокольчика, болтается между двумя парнями. Справа — крепкий кадр лет тридцати с лишком, этакий пригламуренный бандит: джинсы дольче с габбаной, распахнутая дубленка, цепка на груди. Слева, мрачно опустив нос, чешет Ворон наш Даниил Андреевич. Компания явно направляется туда, откуда они с Артуром пришли — в «Варшаву» то есть. Лажевский стоит к ним спиной и продолжает разоряться:

— ...а эта дурочка чуть не плачет — еще бы, такое, блядь, разочарование...

Метрах в трех Данька поднимает глаза и видит Сашку Розенберга, который, как обычно, курит не сигарету. Яна скользит между ним и Васей своим; поочередно цепляется в локти; сейчас Данька как раз чувствует у себя на предплечье ее маленькие аккуратные пальцы. Он уже собирается поздороваться с Розенбергом, который смотрит прямо на него и почему-то с улыбкой, но тут второй пацан, который до того спиной стоял, тоже смотрит через плечо. Данька узнает Артура Лажевского, кивает и мимо проходит. Из распахнутых дверей «Варшавы» летит пар, доносится громкая музыка. Лажевский смеется и шепчет:

— ...телка-то — небось живет с кабанчиком, а Каркуше дает иногда... по выходным.

— Слушай, нах! — внезапно взвизгивается Розенберг. — Задрал ты меня, понял? Тебе-то много кто дает, ну? Сперматококкозник вонючий!

Артур отваливается от его плеча и обиженно моргает. Сашка для верности еще и толкает его — осознал чтоб. Лажевский зло плюет ему под ноги, склоняет голову и бьет Розенбергу башкой в туловище. Розенберг охает и начинает молотить по лицу Лажевского снизу вверх — быстро и сильно, как рассерженный кролик.

— Братва, але! — Сашка неожиданно тычет рукой в пустоту, потому что кто-то сзади уверенно тащит его за шиворот.

— Вы чего? — спрашивает миролюбивый Каркуша, предусмотрительно придерживая Сашу за воротник. Троица уже выкатилась обратно из бара, девчонка виснет на руке у бандоса и с улыбкой наблюдает разъяренных парнишек. У Артура по лицу текут кровавые сопли.

— А-шан-те¹, — в нос произносит Каркуша и тянется в карман за платком.

...Его торопливые шаги привычно раздавались в пустых коридорах. Снова опоздал на урок. Даниил Андреевич бросил взгляд на часы. В класс заходить не хотелось. В прошлый раз вел себя глупо. Он вздохнул и толкнул дверь. Первое, что насторожило, была необыкновенная тишина. За партами сидели несколько «ботаников» и Лариска.

— А куда подевались остальные? — Данька медленно стянул с правильного носа очки.

— Здрате, Даниил Андреич. — Лариска перестала качивать ногой соседний стул и села, как хорошая школьница. — Остальные просили передать, что будут там, — многозначительно вздернутые бровки, — куда вы их послали...

Даниил Андреевич нахмурился, припоминая.

— В библиотеке, — улыбнулась Лариска.

В школьной библиотеке тепло и тихо. Высокие окна задернуты полупрозрачными кремовыми портьерами, через кото-

¹ Enchante. Здесь: «очаровательно» (*фр.*).

рые мягкое солнце припекает спину. Библиотекарша Светлана Владимировна иногда поднимает глаза над формулярами и смотрит на компанию школяров, сидящих за длинным темным столом. Их двойники вверх ногами отражаются в отполированной столешнице, и поэтому вся группа напоминает каких-то горгулий из книжек про средние века для младшего школьного возраста. Вечные заговорщики десятого «А». Медведев, Смирнова, Мкртчян, Димитриади, который и не заговорщик, а так, всегда за компанию. И еще этот новенький, Лажевский, перевелся в середине года, вместе с мамой-учительницей. Сидят, читают книжки. Кто-то торопливо идет по коридору. По звуку бодрых, торопливых шагов Светлана Владимировна определяет старшеклассника, торопящегося с физры в столовку за первой ватрушкой. Дверь в библиотеку распахивается. Ан нет, ошибочка, не старшеклассник за ватрушкой, а Даниил Андреевич за учениками. Он тоже приятно удивлен идиллической картиной. Постоял, глянул на библиотекаршу. Усмехнулся.

— Самообразованием увлекаемся? — Быстро прошел к столу. Ребята молчат. — У нас урок вообще-то, — неуверенно.

Смирнова утыкается носом в книжку, Медведев соображает медленно, но начинает улыбаться. Лажевский откинулся на спинку своего стула и смотрит строго, но с явной надеждой, что его уломают.

Алька встает первой — как самая обиженная; начинает собираться. Каркуша неловко мнется рядом, еще не подзревая, чего ждать. Некоторое время в тишине только шуршат учебники. Один за другим ребята выходят из библиотеки; Даниил Андреевич плетется следом и думает, что если они сейчас хором завернут в раздевалку, то он будет иметь безусловно бледный вид. Миша хитро оборачивается на него, а Алька решительно следует к лестнице на этажи.

Загнав фрондеров в класс, Даниил Андреевич некоторое время не знал, с чего начать. Дети сосредоточенно рассаживались.

— Ну, мне как бы следует извиниться... Но я не буду. Потому что, помимо повода, у меня была причина.

Каркуша сцепляет руки на груди и начинает гулять по классу.

— Кто помнит разницу между поводом и причиной?

Молчание. Даниил Андреевич почти что свой, а со своими подобные риторические фигуры не совсем проходят. Каркуша это понимает и потому переходит к делу.

— Со следующего года ваш класс сокращается минимум на треть. Здесь будет гимназия, то-се. Я по этому поводу немного нервничаю, поэтому гулять мы больше не будем; историю изучать тоже не будем; за оставшиеся пару месяцев нам следует научиться правильно отвечать на тупые и однозначные вопросы.

Лажевский в тихой панике смотрит на свою соседку: учителя в принципе не могут так разговаривать.

— Но при этом мне хочется, чтобы у вас отложилось... что однозначных вопросов не бывает, равно как и однозначных ответов. Это — на будущее. А теперь включаем оперативную память и открываем страницу сто восемнадцать.

Раздолбанный милицейский «уазик» мчится по шоссе, в кассетной магнитоле верещит французская попса. Данька легкомысленно подергивает ногой, стекло опустил. Холодный влажный ветер отдает прелью, дразнит. Летящий за окном пейзаж складывается в кинематографическую увертюру, рифмуется с безалаберным саундтреком. Короток день и ночь длинна, воздух час от часу темней. Будь же мысль моя зелена и плодами отяжелей... Чингис привычно вертит в голове трубадурскую цитатку и сам не замечает, как начинает тихо улыбаться.

Лев Николаевич недоволен. Ему продувает мозги, а музыка раздражает. Он не выспался и злится на этого щенка очкастого. Лейтенанту, очевидно, все равно. Задумался, ловит свой мимолетный кайф.

— Даниил Андреевич, вы не могли бы закрыть окно? — с расстановкой спрашивает Лева. Лейтенант ноль внимания. Заслушался. Милиционер про себя матерится, но просьбу не повторяет. «Уазик» рычит на повороте, лейтенант валится на Леву и выходит из сентиментального оцепенения. Закуривает и бормочет — простите. Лева хмыкает и резко тормозит, твою мать, чуть не ткнув носом машины лохматого бледно-серого мерина, который важной рысью вываливается на дорогу. Лейтенант Ворон падает грудью вперед, лбом в стекло. Стекло выдержало, голова вроде тоже, очки на полу. Лева не успевает высказаться по поводу так, как того требуют обстоятельства — лейтенант распахивает дверь и бежит ловить лошадь. Всех не переловишь — по парку их бродит с десятков; Боливар, потряхивая гривой, направляется к железнодорожному переезду. За конями гоняются курсанты, и бешеная Варька размахивает стеклом.

— Данииландреич! Андреич! — орет Варвара. — Солового ловите, Ваську!

Ворон понятливо кивает и на бегу скидывает с плеч куртку.

Данька свистит Боливару; тот оборачивается и независимо трусит дальше. Раздается длинный трогательный гудок — к переезду несется товарняк. Боливар вертится на месте. Сзади сигналил одинокий «жигуленок». Конь приседает на задние ноги. Господи, только не это; Васька перемахивает шлагбаум и шарахается через переезд. Локомотив свистит, как огромный взбесившийся чайник. Данька на бегу закрывает глаза, спотыкается и летит в грязь. Ему кажется, что мир вокруг грохочет, будто кто-то сверху бьет в жестяное небо, как в крышку банки. Чингис подгребает под себя ноги, под-

нимается и следит мчащийся поезд. Идет к железке, в ужасе ищет глазами какую-нибудь кровавую мерзость. Ничего нет.

Поезд тянется очень долго; водила из «жигуленка» выскакивает и орет Даньке в ухо. Тот даже не отмахивается; просто не слышит. Он перескакивает шлагбаум и идет к путям; последний вагон дребезжит полуоткрытой дверью. Боливар привалился боком к платформе; дышит, шарахается от Данькиной руки. Так и убил бы гада, но сначала надо успокоить. Васька сам подходит к лейтенанту, трепетно перебирает ногами. Извиняется. Чингис перекидывает куртку через гибкую лошадиную шею, гладит. На потной конской шкуре остаются чумазы следы. Данька утирает рукавом грязное лицо, кладет ладонь на холку и забирается верхом. Руки у него дрожат, но Васька сам испуган и, видимо, против его страха Данькин страх почти ничто. Шлагбаум поднимают; сбегаются какие-то станционные люди. После, — машет лейтенант и уезжает от них прибавленной рысью. Ноги болтаются, бьют Боливару в ребра.

Остальных по одной-две головы приводит Варвара: теперь еще курсантов безмозглых собрать, и тогда отлично. Отлично, кивает Ворон, сваливаясь с солового и утирая со лба пот. Лев Николаевич деловито заводит в гараж «уазик» — ему и до курсантов, и до лошадей параллельно. Молоденький мент тащит за шкуру рослого парня в широких штанах, рукав куртки полуоторван.

— Товарищ лейтенант, вот. Это они лошадей выпустили. Подкрались незаметно, — румяный курсант собой доволен. — Второго в подсобке закрыли, прочие утекли.

Лейтенант передергивает острыми плечами. В конюшне холодно, ворота нараспашку.

— Второй кто? — устало спрашивает он парня. Как бессмысленно хорошо начинался день. Медведев ухмыляется и упрямо мотает стриженной башкой. А я почему знаю, господин лейтенант Даниил Андреевич.

— Ну пойдём, вместе посмотрим. — соглашается Ворон. Мент тащит Медведева в подсобку. Данька идет следом, опустив голову. Подхватывает листовку; разбросанные, оии кружатся сквозняком, в коридоре меж денников шуршат под ногами. В подсобке их встречает Артур Лажевский — прячет расквашенный нос в светлых варежках, озадаченно всхлипывает. Ворон кивает милиционеру на дверь — иди, сам побеседую. Толкает Медведева на ящик с инструментами, сам прислоняется к двери.

— С лошадами воюем, народовольцы херовы?

Лажевский снимает варежку и зажимает нос. Чингис шарит в кармане брюк платок. Губы у него дрожат — кажется, он сейчас сам расплачется вместо Артура. Идиоты, — цедит он сквозь зубы и отворачивается.

— ...Навоз туда. А это подстилка! — Варька орет, возмущается. Дурни безрукие. Медведев зло ковыряет лопатой, Лажевский дует на мозоли, опасно поглядывая на Варвару. Хлопает дверь с улицы, появляется Даниил Андреевич.

— Закончили?

— Щас! — Варвара стоит, подбоченясь. — Я бы ложкой быстрее прибралась. Чем эти.

В конюшне тёплый сумрак, все звуки как в мягких тапочках; лошадей отловили, спускается вечер. Кто-то успел позвонить в Управление и в общих чертах доложить начальству об инциденте. Петрович или кто-нибудь из его нукеров может нагрянуть в любой момент.

— Черт с ними. Медведев, эту тачку свезете, и чтоб духу вашего не было.

— Даниил Андреевич. — Медведев выпрямляется ему навстречу. За отчетный период он поступил на истфак и перерос Ворона на целую голову.

— Что тебе, Слава.

— Мне — ничего, — передразнивает его Медведев. — Вы бы поговорили с нами, что ли. Как служба, то-се. Давно не виделись, не чужие люди. — Слава увлеченно издевается.

— Я отчитываться перед тобой должен? — тихо спрашивает лейтенант.

Ворон ощутимо на взводе, достает сигареты и зубами тянет одну из пачки. Медведев в своем праве, молчит. Данька с ужасом думает, как похоронить это ЧП. Никак. Ответ — никак. Допустим, Варька не расскажет. Так толпа курсантов — и все видели.

— Я на истфак поступил, — тихо говорит Медведев.

— Поступил — так учись! Какого черта тебя, жеребца стоялого, сюда понесло? Чем лично ты недоволен? — раздражается Ворон. Глаза сходятся в две щелочки, он резко взмахивает рукой у Миши перед носом. На бешеную лису похож.

Миша пятится, но продолжает сверлить Даньку взглядом. Он крупнее Ворона и на голову выше; стоит, опустив ладони, с лица не сходит обиженное выражение.

— Варь, все, — говорит Чингис. — Пусть заканчивают по-быстрому и на все четыре стороны. Проку все равно никакого.

Варвара жмет плечами — о'кей; хозяин — барин.

Данька поднимает глаза на Мишу. Тот смотрит, внимательно.

Сигарета не зажигается, Варя услужливо лезет с огнем, но Ворон комкает свой «ротманс кинг сайз» и вылетает из подсобки.

Шаги бухают в деревянный настил, во дворе рычит машина.

— Слышали, что сказано? — надсаживается Варька. — Тачку на двор!

— Орать не надо, — морщится Медведев. Лажевский тихо смеется. Ай да Даниил Андреевич.

— Заткнись, — беззлобно кивает ему Медведев и обращается к лопате.

— ...Ты что, очумел совсем? Почему отпустил мерзавцев? Ты, козел, знаешь вообще, как это...

— Да, Александр Петрович.

— Что, блядь, да?

— Баловство, Сан-Петрович. Дети, видите ли.

— А ты это видел? Твой сержант, между прочим, у них. Изъял. — Сан-Петрович неожиданно успокаивается, присаживается на кособокий стул и расправляет на колене листок. Достает очки из кармашка, вчитывается. — Вот! — взмахивает рукой. — Дружинников — за яйца, президента — на фонарь!.. Понимаешь ты это?

Чингис нагло протягивает ладонь. Можно? Читает, смеется. Петрович недоуменно смотрит на лейтенанта. Тот поднимает на него глаза и осекается. Смешно написано, — объясняет. За окнами нарастает ветер, Чингис облакачивается о подоконник, через плечо смотрит на улицу. Варька выпроваживает на улицу по уши грязных народовольцев, лейтенант смеется в окно, Слава Медведев кажет кулак любимому учителю. Данька откидывает отросшую челку со лба.

— Ты бы подстригся хоть, придурок, — ласково говорит Петрович. — смотри, в пятницу специально смотреть приеду нашу конную, так сказать, гвардию. Если к сегодняшнему твоему милосердию еще что не так — пиздец тебе. Понял?

Чего ж не понять.

Десятому «А» повезло. Кабинет истории вот уже полгода как их классная комната: а дома не только стены помогают, но и все щелочки известны, куда можно схоронить «шпору». Прогноз на экзамен по истории неутешительный. После математики и английского половине класса хватит и четверки, чтобы отправиться искать другую школу.

Но пока еще ничего не решено; десятиклассники толпятся у закрытых дверей и шумят. В протокольных белых рубашечках они неожиданно похожи на детей. Выскочив на этаж, Даниил Андреевич видит их в конце коридора. Немного в стороне сосредоточенный Руслик Мкртчян с какими-то методичками. Лариска что-то зубрит, успевая стремительно перемещаться от кружка к кружку и шептаться сразу со всеми. Димитриади, удивительное дело, тоже читает учебник. Славка Медведев напряженно улыбается. Алевтины не видно... даже на экзамен, блин, опаздывает!

— Здравствуйте, Даниил Андреевич, — Лажевский, конечно, уже расслабился. У него все отлично.

— Привет. — Даниил Андреевич кивает ребятам и скрывается за дверь. В кабинете тихо. У доски стоит не один стол, а два. Сидит тетушка из РОНО.

— Доброе утро, молодой человек, — приветливая тетушка.

Данька нервно улыбается и смотрит на часы. Тетушка смотрит на него. Данька внезапно понимает, что еще чуть-чуть, и его отошлют к ребятам учить билеты.

— Даниил Андреевич, — он перекидывает сумку в левую руку и пытается поздороваться. Тетушка растерянно жмет его руку кончиками пальцев.

До начала экзамена минут десять. Данька садится на свое место и нервничает. Очень. Входит вторая историчка, Наталья Евгеньевна — с непроницаемым лицом и осанкой маленькой шахматной королевы. Вслед за ней в кабинет проskalзывает Медведев.

— Даниил Андреевич, можно вас на минутку?

Учительница из РОНО удивленно приподнимает выщипанные в ниточку брови, но Мише до неприличия на нее наплевать. Данька с грохотом вскакивает из-за стола. Выходит в коридор вслед за Медведевым, прислоняется спиной к двери.

— Что случилось?

— Видите ли... — Мишка мнется, — мне кажется, Смирнова не придет сегодня.

Этого еще не хватало. Классный приваливается к двери. Клацает защелка. Они отходят в сторону.

— С чего ты взял? — сам не зная зачем, Каркуша понижает голос.

— Я звонил ей... Ну, вроде — че она опаздывает... она меня послала. Сказала — что за профанация и все такое.

Каркуша некоторое время смотрит на Мишу, затем кивает:

— Напомни-ка мне ее телефон.

Даниил Андреевич быстрым шагом перемещается от кабинета в конец коридора; к окну во всю стену. Миша, как верный оруженосец, торопится на полшага позади. В учительской телефон, — напоминает. Данька машет рукой — не надо, с мобилы позвоню.

Трубку поднимают только на десятый гудок.

— Что еще надо?

Истеричный голос Смирновой. Неприятно.

— Аля, это Даниил Андреевич.

Молчание.

— Аля, у нас экзамен. Не валяй, пожалуйста, дурочку.

Под окнами клубится черемуха. С проспекта оглушительно сигналият машины. Даниил Андреевич нервно бежит от стенки к стенке.

— А какая разница? Ставьте, что хотите. Или вам стопроцентная явка нужна?

Данька шумно выдыхает. В конце коридора хлопает дверь. Выходит Наталья Евгеньевна, ищет его глазами.

— Что значит, что хотите? — кипятится он. — На что наговоришь, то и поставлю. Собирайся, пулей! Твоя фамилия в конце.

— Артур сказал, с вами обо всем договорились.

Наталья Евгеньевна машет ему рукой.

— Мало ли о чем со мной договорились.

Алька слышит в трубке короткий смешок. Теплая интонация в его голосе обезоруживает. Алька молчит.

— Аля? — спрашивает Даниил Андреевич.

— Да, — наконец выдавливает она. — Я сейчас... Извините.

Данька жмет кнопку отбоя и бежит по коридору. Пиджак непривычен.

Алька двигает стул ногой, садится. Комкает листочек. Руки дрожат, в кабинете нет никого, кроме трех менторов — она последняя.

У Даньки руки дрожат тоже, но он предусмотрительно прихлопнул ими колени.

— Канун Второй мировой войны, — читает Алька название билета и кивает. Даниил Андреевич сосредоточенно кивает тоже. Она поднимает глаза на доску за его спиной.

— Карту повесить? — каким-то жалким, полузадушенным голосом спрашивает Каркуша.

— Не надо, — мотает головой Алька. Облизывает губы и начинает: — Немалую роль в спасении Рейха сыграла международная олигархия. В начале 1939 года директор английского банка...

— ...банка международных расчетов, — подсказывает Каркуша. Алька кивает, хлопает глазами и сбивается.

— Они... отдали им чешское золото. Из Английского банка.

— Из Английского банка, — как загипнотизированный, повторяет Даниил Андреевич.

— Нас интересует Советский Союз, — перебивает тетя из РОНО.

— Репрессии в генералитете... — шепчет Каркуша. Алька читает по губам, Наталья Евгеньевна хихикает.

— Рихард Зорге... — хрипит Алька. — И другие советские резиденты, и активисты Коминтерна. Единый фронт борьбы против фашизма.

Даниил Андреевич идет пятнами, но Алька выкарабкивается и начинает про Буденного и устаревшие танки.

Тетя из РОНО важно кивает. У Каркуши аж волосы взмокли, он сдувает их нервным движением и грохает локтями о парту. Начинается перекрестный допрос.

Данька мчится по широкому коридору с экзаменационными листками. Его ловит за локоть Наталья Евгеньевна.

— Я отнесу, — говорит она. Он лихорадочно кивает и сворачивает в первый попавшийся кабинет. Там ведет урок военрук Иван Михайлович, на задней парте сидит алгебраичка с какими-то тетрадями. Кивает Даньке — заходи. Конец учебного года; нигде так, как в школе, не чувствуется этот острый финал — окончательная победа тепла, весны и разгильдяйства над холодом и рутинной.

— Такого не бывает, — говорит директриса, поднимая глаза на Наталью Евгеньевну.

В экзаменационных листках — подозрительно хорошие оценки; и отчислить, например, Альку Смирнову не получается никак.

— Они просто не хотели вас подводить, — кивает Татьяна Михайловна. Они с Каркушей сидят на классных задворках, Данька нервно вертит авторучку.

— Если нет воды, то марлевые повязки следует пропитать мочой, — басит Иван Михайлович.

— Пописать, говоришь? — спрашивает сзади Татьяна Михайловна.

Пятиклассники хором сгибаются над партами. Алгебраичка встает и рукой машет.

— Дети, не слушайте его. Слушайте меня. Если рванет АЭС, нам останется только завернуться в простыни и ползти на кладбище.

Иван Михайлович разводит руками.

Двери кабинетов открываются и закрываются беспрерывно; петли скрипят. По коридору гуляет весенний сквозняк. Только что объявили оценки по истории. Алька стоит у стенки и тихо плачет. Сумкой прикрывает колени.

— Аль, ну что ты? — вертится около Мишка. — Ну хорошо же все. У тебя отлично; куда лучше.

На пороге кабинета появляется Даниил Андреевич. Алька подается на полшага вперед, но вспоминает про свои идиотские слезы и прячется. Каркуша ловит Лажевского за локоть и отводит в сторону.

Ворон выходит за порог школы.

— Даниил Андреевич!

— Да?

За загородкой стандартного общеобразовательного здания — легкая морось. С утра было солнечно, но к обеду зарядил воздушный дождик.

— Аля, я слушаю, — мягко произносит Ворон. — Тебе к метро?

— Нет, я близко живу.

Вообще-то, в школе ее ждут Миша с Лариской.

Даниил Андреевич усмехается.

— Это хорошо. Идем, — пожимает плечами. Алька чувствует, что он устал, а еще — что говорит, будто подглядывая на циферблат. Они идут рядом по аллейке, обсаженной барбарисом. Барбарис скоро зацветет. Алька внимательно смотрит ему в лицо. На смуглой физиономии Даниила Андреевича блестят дождевые капли. Он снимает очки и смахивает с них водяную пыль.

Они останавливаются за воротами.

— Ну, ты умеешь, Алевтина... Привлечь к себе внимание. — Даньке никак не дают покоя его очки — дождь, и через минуту становится ничего через них не видно. Он убито мотает головой.

— Я чуть инфаркт не получил. Не придет она на экзамен, видите ли... выразит мне недоверие... Импичмент... — Даниил Андреевич сверкает резкой улыбкой. Аля замечает, что зубы у него немного крупноваты, с такой же легкой монголкой, как и раскосые темные глаза.

Алька смеется. Даниил Андреевич смотрит на нее внимательно и внезапно тоже смеется, закидывая подбородок.

— Мне, скорее всего, придется уйти после этого года. — говорит он, отсмеявшись. — Все так складывается... — Данька чувствует, как слова брякаются какой-то неизбывной пошлостью. Он вскидывает глаза и с облегчением замечает знакомую машину.

Из машины появляется Янка.

— Прости, меня ждут. — Ворон кивает Альке и быстро идет по аллее. Она видит длинноносый «бьюик», закисший в луже у высокого поребрика, и пухленькую девушку в летней маечке, размахивающую рукой. Ворон машет в ответ, приближается, приобнимает девушку, и они вместе садятся в машину.

Той весной они с Янкой обменивались несусветными какими-то глупостями; путались в трех соснах и безнадежно не совпадали. Когда один делал шаг вперед, другой непременно отступал на два. Они несколько раз холодно расставались и горячо мирились; и вот это, наконец, произошло будто насовсем. Яна отправилась в Москву, в головной офис компании, куда ее сватали на работу. Данька дожидался Грабовскую и выпускал свой десятый «А».

После экзаменов он написал заявление по собственному. Сочинил и положил в стол. Было ясно, что история с так называемыми «завышенными» оценками с рук ему не сойдет. Вслед за Янкой ему начинало казаться, что это к лучшему — верно, какая нелепость, молодой и неглупый мужик — и школьный учитель. Подумать смешно. Также

мне, взвейтесь кострами, синие ночи. О такой работе в приличном баре за кружкой «гиннесса» как-то не заикнешься: справа пиарщик, слева какой-нибудь финансист, специалист по фьючерсным торгам, напротив — менеджер по продажам баллонов со сжатым кислородом, любимая девушка работает в крупном рекламном агентстве... руководитель, например, линии по рекламе на воздушных шариках. Ну, а вот это, здравствуйте, Данечка Ворон, учитель истории, классный руководитель десятого «А». Действительно, не-серьезно.

Заявление-то он написал, но отдавать не торопился. То ли дергало то, что Янка, позванивая из Москвы, только и рассказывала, что об очередном клубе не для таких, как он, а на вопрос — когда назад, каждый раз посмеивалась. То ли перед недорослями своими было слегка неудобно — слух о том, что Каркушу непременно уволят за несвоевременную принципиальность, по школе разлетелся моментально. Дети смотрели, как на героя, мамыши звонили домой, и благодарили, и выражали поддержку. Татьяна Михайловна подмигнула, в том смысле, что — не дрейфь, мол, еще повоюем. И добавила — а заявление все же напиши. Он так и сделал, и решил дождаться Яны — накануне выпускного она наконец взяла обратный билет и обещалась заехать.

На их праздник он собирался, как на собственную свадьбу. Накануне занял денег, приобрел тройку и туфли. Заскочил к цирюльнику — до экзаменов не стригся; смешное такое суеверие. В школу приехал заранее, через пустые и торжественные этажи прошел в класс. Окно во двор распахнуто; Ларка Антоненко о чем-то шепчется с Медведевым. Сава!¹ — Лариска соскакивает с подоконника. Ага, филин, — Каркуша прикрывает дверь. Ворон, — поправляет Миша. Каркуша, — поправляет Даниил Андреевич.

¹ Ça va? — Как дела? (*фр.*)

Смеются.

— Слушайте, а кто автор? — вскидывает глаза Ворон.

— Спокойной ночи малыши, — кивает Медведев.

Антоненка:

— Смирнова придумала. А что?..

— Меня даже в школе так не обзывали.

Даниил Андреевич откидывает полы пиджака. Руки в карманы брюк. Садится на парту. Улыбается смущенно — Ларка разглядывает его явно оценивающе, и Даниилу Андреевичу неловко за свой начищенный вид.

— А здесь что, по-вашему?.. — фыркает Лариска.

Кто-то открывает дверь ногой, но не входит, и разговор доносится из коридора. Скрипучий голос алгебраички и звучное контральто Натальи Евгеньевны.

— Дань... Даниил Андреевич, зайди к директору, — со значением сообщает Татьяна Михайловна, заглядывая в кабинет.

Каркуша соскочил с парты, поправил волосы, пошел к дверям. Остановился, щелкнул пальцами, вернулся к столу и вытащил какую-то папку. Подмигнул ребятам и вышел.

Тучная женщина с осанкой бывшей пионервожатой разгуливала по кабинету и поливала суккуленты в расписных горшках. Когда Данька открыл дверь кабинета, она плавно развернулась и опустилась в кресло. На столе у директрисы стоял гипсовый бюст императора Александра Второго Освободителя; во время воспитательных бесед она любила поглаживать самодержца по белесым кудрям. Каждый раз, заходя в кабинет, Даниил Андреевич надеялся, что обойдется.

Директриса вздохнула и опустила руку на гипсовое чело.

— О, — сказала она. — Вы сегодня такой нарядный.

Данька снова почувствовал неловкость за свой костюм с жилеткой, туфли и дедовские запонки. Он стоял на пороге этаким новогодней игрушкой и дожидался, пока его разобьют.

— Я вам рекомендую написать заявление по собственному желанию, — директриса кинула взгляд на часы. Тут надо было открыть папку и достать спасительную бумаженцию — как револьвер с последним патроном.

— У меня нет такого желания, — Даниил Андреевич чувствовал себя перед ней, как мальчишка; ну и повелся, как пацан.

— Жаль. Я пыталась решить вопрос полюбовно.

Директриса колыхнула грудью.

— С трудом, но могу поверить, что вам удалось натаскать их перед экзаменом... — в полутьме кабинета мерцает торжественное бордовое платье. — Но вот то, что вы, так сказать, преподавали целый год, — приподнимает брови и кидает через стол конспект. Даниил Андреевич послушно берет тетрадь, раскрывает, узнает почерк Альки Смирновой. Рисуночки на полях — тоже мне, А-эС Пушкин...

Директриса неожиданно проворным для своей комплекции движением приподнимается в кресле, выхватывает у Даньки из рук тетрадку. Шуршит страницами. Тычет крепким крашеным ногтем:

— Вот! Метро «Автово» и древний Египет! Че Гевара! Че Гевара хреновый экономист! Что это? Офшорная зона в Новгороде... Все мы немножко чужь белоглазая! Зеленые деревья на вашей даче?! При чем тут ваша дача? Мир отдан на откуп темным силам! Дни зеленые, в цветеньи бор! Что это за ересь?

— Альбигойская... — через силу простонал Даниил Андреевич. Где-то на «чуди белоглазой» его пробило на беззвучный смех. Директриса подняла глаза от конспекта.

— Вижу, вы нашли повод для веселья.

Даниил Андреевич закашлялся в кулак:

— Простите.

— Нет уж! — директриса удовлетворенно похлопывает императора по макушке. — Здесь вопрос вашей профнепригодности. Пишите по собственному, или...

— Как скажете, — Данька с усмешкой вытряхнул на стол заявление.

— О как? — заглянула в бумажку. — Дату. — Заявление полетело через стол. Даниил Андреевич наклонился и старательно вывел цифирь. Поднял глаза. Директриса ласково улыбалась.

— Как говорится, не по сеньке шапка, не по ебене маковке колпак. Сначала к секретарю. А потом иди. Танцуй, — и кивнула на дверь.

— У вас впереди много любви и бездна взросления. Надеюсь, вы будете делать красивые глупости и попробуете не унижаться перед теми, кто что-то решает. Ведь главное — это равнодушие и живой блеск в глазах... Это Уильям Блейк... И даже если вам придется совершать какие-то сделки, старайтесь, пожалуйста, сначала понять — зачем.

Даниил Андреевич в неловком темном костюме сходит со сцены под тихий ропот присутствующих. Костюм подчеркивает резкие, прямые, египетские плечи. Алька Смирнова выходит и дарит букет разномастных роз. Выпускной бал у девярых, десятых, одиннадцатых четыреста пятнадцатой школы Кировского района.

— Я должен танцевать? — спрашивает Ворон. — Я не буду. Мы идем ко мне, вы ведь знаете?

Даниил Андреевич оккупировал новоприобретенный школьный автобус. Дети и букеты уже погрузились, когда дверь школы хлопнула и оттуда показался Сашка Розенберг — с девицей и алгебраичкой Татьяной Михайловной.

— Эй, на катере! — орал пьяный Сашка. — Возьмите нас в приключение!

Каркуша махнул водителю и тот придержал дверь. Все трое вскочили в автобус — места уже не хватало, Розенберг плюхнулся Медведеву на колени, а сверху попытался усадить Татьяну Михайловну. Та вяло возмутилась.

Автобус вывернул на шоссе и помчался на юго-запад.

— Стоп, — скомандовал Даниил Андреевич у неприметного зеленого поворота.

— Мне дальше, — грустно заявила алгебраичка. Давайте, уябывайте, а то я прямо расплачусь, — добавила она. В салоне соловьем заливался Адриано Челентано.

Ребягтя веселым звонким горохом высыпала на шоссе. Автобус заурчал и уехал.

— Цветы!! Цветочки ваши забыли!! — возопила Лариска. Даниил Андреевич обернулся — на дорогу уже выскочили Медведев, Алька, Димитриади. Они орали и размахивали руками — кто-то даже понесся вслед за автобусом.

— Они что, с ума сошли, — сокрушенно сказал Данька в пространство. — Куда мы попремся с этим гербарием.

Автобус уже тормозил метрах в ста от поворота.

Слегка притихнув, класс вытянулся вдоль полузаросшей дорожки. Даниил Андреевич, словно дух места, скользил чуть в стороне — Алька, которой досталось нести чей-то любовно выбранный букет садового жасмина, заметила, что он уже незаметно стянул неудобные ботинки и идет по траве босиком. Кто-то вспыхнул на него фотоаппаратом — Данька резко обернулся, так и застыл на пленке — потревоженным лесным фэйри, со встрепанными темными волосами и мечтательной травинкой в углу рта. Рубашка цвета топленого молока застыла вокруг загорелой шеи. Даниил Андреевич почувствовал внимательный взгляд, подмигнул искоса. Алька покраснела и сквозь толпу одноклассников начала пробираться к нему.

— А ботинки куда дели? — со смешком спросила она.

— В сумке, — улыбнулся Данька. — Вон, Миша несет. Балуете меня.

С моря потянуло ветром; как сквозняком. В сумерках нежно светились зеленые факелы деревьев. За ними вырисовывался бледно-желтый, полный миниатюрного изящества дворец-коттедж. Даниил Андреевич по привычке на-

чал что-то рассказывать: про царскую семью, которая хотела жить, как люди, и удалялась в этот затерянный домик из громоздкой столицы, про императрицу, которая любила белые розы. Именно белые, так как это символ высокого долга и нравственной чистоты. Миша следовал за Каркушей, как оруженосец — смешной переливающейся тенью. Лариска натерла лапки фасонистыми туфлями, и Руслик Мкртчян подхватил ее на руки. Они обогнули закрытый по позднему времени дворец Коттедж — за оградой тускло сверкала цвета слоновой кости итальянская терраска и росли те самые розы — белые. Над кронами царских дубов лежало разноцветное небо; чуть ниже — молочно-голубой залив.

Они спустились в тихую, обволакивающую мглу лесистого побережья.

— Кто-нибудь знает, что это за возвышение? На котором все дворцы вдоль берега поставлены? — спросил Даниил Андреевич.

— Холм. Это холм, — нерешительно выступил Миша.

Даниил Андреевич покачал головой и засмеялся:

— Нет, Миша. Это берег. Берег старого моря. Сейчас мы идем по дну.

Миша благоговейно замолчал. Повертел в руках бутылку вина и передал ее Даньке.

— Даниил Андреевич! Расслабьтесь! Мы не на уроке! — закричала Лариска с высоты Мкртчяна. Даниил Андреевич смутился и отхлебнул вина. Они все спускались и спускались к заливу.

Яна вернулась из Москвы и предложила отпраздновать. Что — выпускной? Нет, — поправила она. Твоя, Тимур, команда меня не волнует. Но: ты же в конце концов тоже свой истфак закончил; из школы тебя выгнали, и есть надежда, что образумишься и заживешь как мужик. Ян, я по жизни экспедитор чужих комплексов, — заявил он. Твоих, на-

пример. Вот в чем прикол этой, например, сумочки? Она же не отражает ни материального твоего состояния — сама ты на нее фиг заработаешь; ни душевного. Тебе ведь другая нравилась. Сплошной камуфляж. Да знаю я, — отмахнулась Яна. На войне как на войне. Дань, а ты вот левой лапой: школа плюс уроки французского, плюс заметки про книжки и про жратву, зарабатываешь... сколько? Тебе не стыдно вообще? Или тебе на деньги плевать совсем? Мне нравится, когда они есть, — сказал он, — но, наверное, я недостаточно люблю кокаин и бытовую технику. Сноб ты дешевый, Даня. Брось эту ерундень наконец — писульки всякие, галломанию библиотечную. Скажи, с кем ты собираешься говорить на старопровансальском? С тенью королевы Альенор? Поговори лучше со мной на питерском варианте русского литературного; я, например, живая и даже даю иногда. Ворон вскочил с тахты: Ян, я ничего другого не умею. Уяснила? Мне неинтересно торговать барахлом, дурью или выбивать долги. Да у меня и не получится. Но если ты подождешь немного, то все сложится. Я обещаю. Когда я втрескаюсь как следует, у меня все получается. Все-все, честно. Ты только расслабься, пожалуйста, и прекрати искать счастье там, где его нет.

Данька сломал сигарету, достал новую и распахнул окно. Весенний городок покрывался белым крошевом черемухи. Где-то внизу, во дворе орала мальчишки. Смотри, — высунулся он в окно. Это же чудо. I'll waiting... for the miracle... for the miracle to come¹, — напевал он из Коэна. Унтерменши мы с тобой, ублюдочное поколение. О самом прекрасном боимся сказать своими словами. Вечно нужны посредники... какой-нибудь Леонард Коэн. А помнишь, как ты курсовик писала по Барту? — улыбнулся Данька. Это было то,

¹ Я буду ждать... чуда... ждать, когда чудо придет (*англ.*). Цитата из песни Леонарда Коэна.

что их немножко сближало. Как ты его называла? «Мой Ролан» — засмеялась Яна. Очень забавное чувство, и ты можешь меня понять... — Да, чувство сродства с соседями по умозрительной вселенной, — продолжила и вроде бы согласилась Яна. И не замедлила добавить: но мир идей гораздо более заинтересован в мире вещей, чем наоборот.

В императорском коттедже есть Морской кабинет. Он на самом верху, и оттуда вид на заболоченный луг с крепким соцветием старого дуба посередине; далее — на залив и остров Котлин. Между дворцом и островом вечно висит морская взвесь; она преломляет взгляд, и пейзаж предстает оживающей географической картой, по которой неустанно движется маленький гордый флагман с резными парусами итальянской террасы; в подзорную трубу видны не только прибалтийские задворки империи, но и чужие северные берега, и выход в океан, где теряется самый смысл голубых и сизых мундиров. В душе каждого тирана журчит нервная, обиженная и романтическая юность, мечтающая затеряться в волнах кипучей весенней листвы, в морских волнах, в волнуемом рассветном небе. Его собственная жизнь тоже происходила между двумя равнопритягательными полюсами — очарование затерянности, пропажи соперничало с тусклым обаянием власти. Эту власть он чувствовал, передавая ток собственных мыслей по трепещущей струне детских взглядов; или выстукивая стрекочущий ритм очередной статьи в журнал. В обоих случаях власть реализовалась не полностью, и эта неполнота заставляла его долбить и долбить, истекать каплями в лед: бесконечный и тягостный любовный акт. Этот же мотив — и он отдавал себе в этом отчет — направлял его отношения с Янкой. Который год он пытался выручить ее, перетянуть на свою сторону, но на самом деле — заразить. Закабалить. Обречь на то самое томление, жажду и болезнь. Кто дал ему это право? Да никто; но как есть завет Иеговы с богоизбранным еврейским народом, также есть и завет

осмысленности существования с такими как он; но в отличие от иудейского завета, передающегося каплей крови, этот передается через толику сомнения; через толику жестокости к себе. Эта зловредная частичка заставляет бесконечно рисовать, конструировать в себе совершенный фрактал самой основы мира; выращивать внутри прекрасного и губительного паразита, ядовитой пластичностью напоминающего подводного зверя-актинию.

А они спустились наконец к морю; прошли мимо Адмиральского домика, воздевающего среди зарослей крапивы и бузины обгорелые печные трубы. Море волновалось; в камышах шипел невесомый прилив.

— Здесь раньше кабаны водились, — зачем-то сказал Данька. — Мы с батей гуляли тут часто; когда он не пил, он любил природу и был вообще спортсмен.

— Я отца не помню, — грубо бухнул Миша. — Его придавило в шахте, меня брат воспитывал.

Данька был почти пьян — выпил немного, но воздух подействовал, голова кружилась. Ему захотелось обнять Мишу, утешить как-то. Они спустились на камни, присели. Данька оглянулся: остальные дети шумели и радовались — Димитриади предложил запалить костер.

— А ваш батя как... такой же небось?

— То есть?

— Умный, все дела.

— Не знаю. Про близких людей часто меньше всего знаешь. Мы последнее время ссорились много. Он пил... с мамой ругался. Потом умер.

Отец был военным журналистом и служил на том самом острове Котлин, что вырисовывался сейчас на горизонте. Его часто не было по нескольку дней; приезжал со службы на пароме и изрядно поддатым. Если дома был один Данька, — мама-музыкантша часто моталась по гастролям, — тогда еще ничего. Данька по отдельности не вызывал у отца

раздражения — наоборот, он совал ему сумку с растаявшим мороженым, включал телевизор и засыпал на середине вечернего выпуска новостей. Данька закидывал его длинные нескладные ноги на диван и уходил в свою комнату. Он привык.

Когда дома была мама, получалось гораздо хуже. Она ругала отца, тот зверел и выкатывал белесые от водки глаза. Мама пряталась в комнату, а отец бился в дверь огромным раненым лосем. Стучал ногами, плакал и ругался. Сначала это был ужас, потом Данька привык. Привык до того, что, когда отцу как-то раз удалось вынести дверь, он встал между ним и мамой и заговорил матом. Отец вылупил глаза на маленького чернявого наглеца и ударил. Данька отлетел к стене. Рядом голосила мама, и он почувствовал, как глаза застилают злые слезы. Вскочил и бросился на отца. Они сцепились, отец стряхнул его и начал бить ногами. Мама все кричала; Данька орал ей, чтоб ушла. Ушла поскорее.

Вдоль залива рос низкорослый дикий шиповник; такой же всегда растет вдоль железнодорожных путей. Залив, эта низкая сверкающая лужа, — подумал Миша, — есть то же самое, что заброшенная ветка с проржавевшими рельсами, то есть забытая и обесценившаяся дорога, устаревшее средство передвижения.

— Не совсем забытое, — поправил его Данька. Вдоль горизонта тихо, как наваждение, скользил эскадренный миноносец. Шел на Котлин, старая коряга — там таких чуть не эскадра; специально для того, чтобы курсантам местного морского училища было чем на практике заниматься. Позади пылал костер, дышал жаром в спину; Димитриади травил анекдоты, Руслик поджаривал оставшуюся от школьного банкета колбасу.

— Надо их сдернуть, Даниил Андреевич, — посоветовал Миша. — Иначе здесь и заночуем.

— Сейчас пойдем. — тихо ответил Данька. Оранжевый закат угасал; превращался в узкий, карамельно-карминный

отблеск над горизонтом. Выше светились сиреневые перистые облака и мерцало небесное полотно — голубовато-зеленое, будто толченую бирюзу развели в молоке.

Парни гасили костер пионерским способом, девчонки отворачивались и хихикали.

Пошли мимо пляжа. Среди песка чернели силуэты деревянных грибков. Несколько поздних парочек бродили по воде, рассекали ногами пушистую илистую пену. Среди камней блестели чайчи перья, тускло отсвечивал плавник и раковины маленьких северных моллюсков. Орала чайки.

— Очень романтичное место, — заметила Алька.

— Возьми на заметку, — кивнул Даниил Андреевич. Легкий и дерзкий девичий профиль колыхался рядом, как видение, как русалочья фигура на носу корабля. Остановились. Ветер свистел в гибких ветках мелкого березняка, выдувая терпкие зеленые фитонциды.

Солнце блеснуло, как выстрел — то ли от палубы миноносца, то ли от купола Морского собора, что на острове Котлин, среди брусчатки, железных мостовых и заросших кирпичных бастионов. Ветер пах уже не березой, но йодом, мазутом, железом. Об этот берег когда-то разбился морской десант, полтыщи человек на этом нежном песке и камнях, пегих от чайчьего помета, на них сейчас так любят фоткаться туристы и влюбленные. Они вступили под густые напластования старых деревьев; по обочинам колыхались бархатные лапы папоротника. Миша оглядывался на две фигурки, одинаково призрачные и невесомые: длинная колеблющаяся Алька и широкоплечий, гибкий Даниил Андреевич то проступали в солнечных лучах, то снова пропадали, как очерки тел на фоне ядерного взрыва: солнце продолжало бить им в спины.

Когда они подошли к выходу из парка, из ворот, из города грубо пахло тяжелым дымом. Впереди высилось здание цвета запекшейся крови — корпус императорских конюшен.

Лажевский повел носом: мясом пахнет, а? Мы не проголодались?

Они прошли мимо обугленных башен, мимо расстрелянного немцами герба над воротами и наткнулись на ряд столиков, занавешенных зонтиками с рекламой местного пива. Кабак находился в помещении тех самых конюшен — округлые своды, стойка с мерцающими бутылками. Ребятня хотела сюда, а Данька не имел сил сопротивляться. Они заняли два соседних столика. Девчонки вытянулись в туалет. Миша распахнул меню.

— Здесь сносный шашлык, — вспомнил Даниил Андреевич.

— Я плачу, — заявил Миша. Данька поморщился. Он внимательно наблюдал сценку у туалета: рослый парень из местных задирался с Антоненкой.

— Что стоим?

— Так просто, — жалась Лариска.

— Отличная тема здесь постоять, — кивнул тот, — желания сбываются все.

— Шашлык здесь сносный, а вот вино совсем никуда, — Миша проследил его взгляд.

— Согласен, — резюмировал Даниил Андреевич. — Закажем здесь мясо, а вино купим в магазине.

Они переглянулись, и Данька почувствовал негласный сговор с этим большим неуклюжим парнем — будто они два, блин, барана, пасущие стадо ярков и ягнят. Он легко поднялся и пошел к стойке. Миша последовал за ним.

Они выскочили из кабака слегка за полночь. Уже ощутило смеркалось, вечер был как синее стекло. Лариска, словно переходящее красное знамя, висела теперь на плечах у Димитриади. Шли сквозь курортный городок, подергивающийся стыдливым ночным туманом; у них спрашивали дорогу заплутавшие туристы. В Данькином дворе колыхались серебристые тополя, похожие на космические водоросли.

Прислонившись к стенкам пятиэтажек, зацвёл жасмин. Они топали в облаке цветов и пыльцы и тусклых вечерних шорохах.

У парадной росли яркие американские клены. В квартире на видном месте распласталась карта города Нью-Йорка.

Даниил Андреевич расслабленно болтается на плюшевом диване.

— А в Нью-Йорке хорошо?

— Я так и не собрался... И вообще, Нью-Йорк — это миф. Эта карта висит у меня на правах карты какой-нибудь сказочной страны... История выросла из мифов, а я, как историк, обязан чтить свою прародину.

— Вы же сами говорили, что мифостроительство — опасное занятие.

— Миф опасен как средство самоидентификации, с одной стороны, с другой стороны — как мощное средство ее подавления. Средство подавления «я». Но без него никак, потому что человек слаб, а миф приподнимает, даёт силы и волю желать.

— А почему вы нам об этом на уроках не рассказывали?

— Ещё бы на уроках... меня и без того выгнали...

Ворон закуривает и тушит сигарету. На ковре танцует Лариска — с Мишей, с Русликом, Димитриади. Будто других девчонок нет.

— Сейчас приедет Яна и мне придется отправить вас по домам.

Звонок снова трещит. Как специально. Как в театре. Руслик заряжает в видеомагнитофон первый попавшийся фильм — «Куклы» Такеши Китано. Миша приносит разогретый шашлык и предлагает его Альке и Даниилу Андреевичу. Извини, — говорит Данька, — под этот фильм я есть не могу.

Утром приезжает Яна из Москвы. Бродит по комнате. Наклоняется над включенным компьютером. Двигает мыш-

кой. В монитор глядя, хохочет. А в проигрывателе стоит пластинка Виктора Хара. Яна касается иглой винила, слушает музыку, читает с монитора и смеется. Чего — угрюмо спрашивает Данька. Ой, не могу, Данечка, да ты у нас писатель! А это — кивает на проигрыватель — для вдохновения, да? «...Оттаявший под солнцем город застывал к ночи. Темные окна смотрели человеку в затылок...» — Яна читает вслух и снова заливается хохотом. А дальше небось про революцию... верно?

Табуретку отдай, — невозмутимо говорит Ворон. Чего тебе, — Яна. А он приподнимает ее, садится сам на табуретку и распахивает полотенце на коленях. Читай. Что читать? Что читала то и продолжай. Янка читает, его рука лежит у нее на поясице. Все сильнее и громче пахло чем-то мертвым и весной, но по ночам лужи, перебродив, возвращались к морозу. Черемуховые заморозки в этот год были так крепки, что в одно утро цветы осыпались вместе с дождем — из-за холода. Мать писала из Нью-Йорка — а у нас цветут бесплодные вишни, выведенные специально для города, отцветают уже; тебе бы, Данечка, надо приехать. Ник Александер грант обещает. Правда, что ли? — лепечет Грабовская. Правда-правда, — шепчет Данька ей в ухо, а рука его нахально скользит вверх, от припухлых узелков под коленками, колготки аж стрекочут электрическими искорками. Читай, — кивает он, мелкой щетинкой на щеке царапая ей шею. Ранняя сегодня весна — пишу я ей, вот черемуха и осыпалась. Виданное ли дело — черемуха в начале мая. Посмотри, то ли еще будет... а будет? — хихикает Яна. Читай, — шипит Данька. Юбка взмахом ложится на спину. Все будет, вот только выпущу этих радостных остолопов да разберусь с одной девчонкой, циничной не по годам. Мама, матушка, у меня, знаешь ли, проблема — ничто не радует, а тут еще этот Медведев, второгодник хренов. Он экзамен завалил по математике, а если уволят его из десятого класса, то пойдет дурак напрямиком

в армию. Жалко парня, искренний он, то есть дурак по-хорошему. А ты? — а я по-плохому. Постольку, поскольку дурь свою сознаю, да ничего не могу поделать. Янка мелко дрожит под поцелуями, но пока еще бормочет, читает мерцающий с монитора текст — с пятого уже на десятое. А вот еще, мама, связался я с барышней, и, друг мой, грустно мне, очень грустно, но мое общество она предпочитает поездке в Москву в компании таких же объебосов, поблядушек клубных, и хочется мне что-то с этим поделать, да опять же — ничего не могу. Можешь. Шепчет барышня. Можешь. Могу, да дурацкое дело нехитрое. А еще, мама, очень хочется наконец лета, и чтобы наступило оно в полную силу, обрушилось, навалилось жарой, дождями, зеленой пеной. А не можешь читать больше — тогда молчи, говорит он и зажимает ей рот ладонью.

К вечеру повалил снег. Два припозднившихся пешехода нарезали восьмерки вдоль шоссе; увидев машину, принимались размахивать руками. Никто не останавливался.

— Да не, бесполезняк! Это была хитрая тема с его стороны — продержат нас на навозе до последних трамваев, а потом отпустить. — Артур шмыгает носом, подтягивая к злым ноздрям верхнюю губу и жалобно предлагает:

— Может, брату твоему позвоним? Может, он подхватит? Позвони, а... — ноет Артур. У Миши каким-то чудом сохранился мобильник. Впрочем, говорят, если кому надо забашлять, то заводи хоть портативную радиостанцию. Вот Борис и забашлял — за себя и за брата.

— Не, — Медведев морщится и качает головой. — Борян — это на крайняк. Я сейчас партагеноссе наберу, может, он кого из наших поднимет.

— Але, доцент? — говорит Миша и прикрывает телефон ладонью от ветра. Артур с надеждой смотрит на него. Миша машет ему рукой — продолжаем, мол, движение.

Мимо пронесится милицейский «уазик». Мишу с Артуром моментально сдувает к обочине. «Уазик» тормозит метрах в тридцати и начинает сдавать задом.

— Час от часу не легче, — шипит Медведев и нажимает на кнопку отбоя. «Уазик» явно по их душу. Артур бодро сигает с тракта в канаву и сразу проваливается по бедра в холодную грязь. Миша перескакивает и тянет его за шиворот. Артур сучит руками и ругается. Они ломаются через кусты.

Чингис открывает дверь и выскакивает из машины.

— Эй! — кричит он. — Бомбисты, але!

На тракте никого нет. Только кусты шевелятся. Данька смеется, хлопает рукой по капоту и некоторое время прислушивается. С заросшего пустыря раздаются треск и ругательства. По колебанию веток можно проследить, что двое уходят, и уходят насколько возможно быстро. Уяснив, что возвращаться они не собираются, Данька садится обратно и с усмешкой кивает Льву Николаевичу:

— Не хотят ехать — не надо. Верно?

... — Залезайте.

Казбек вытаскивает с заднего сиденья коробки, грузит их в багажник. Смотрит на Артура — тот чуть не по пояс в липкой грязи и тине.

— Ой, елки! Подожди, я сейчас пакет найду... Машинка пыльная, но все равно немножко жалко.

Казбек никогда не матерится, говорит с мягкой, даже ласковой интонацией. Обожает уменьшительно-ласкательные суффиксы. Вместе с тем он — проверенный боец, не раз дрался с ментами, все ребра переломаны и шрам через подбородок. Миша и Артур стоят у машины и уважительно ждут, пока Казбек найдет пакет.

— Мы у Сержа заседали, а тут партагеноссе сигналит — говорит, два товарища идут с операции, на трассе застряли. Вас по домам или к Сержу заедем?

— Поехали, — соглашается Миша.

— Ты потерпи немножко, — Казбек оборачивается на съезжившегося на заднем сиденье Артура. — Серж здесь близко, доедем — согреешься. Сильно приложили?

Артур вспоминает про свой расквашенный нос и приосанивается.

— Да нет, фигня. Милицанерик какой-то ботинком съездил.

— Не Каркуша? — спрашивает Миша.

— Нет, — Артур мотает головой. — Куда ему.

— Каркуша — кто это? — спрашивает Казбек.

— Это наш упоительный человек-сюрприз, — охотно начинает Артур. — В десятом классе целый год втирал нам про исторический выбор и личное достоинство. А теперь конногвардейцами командует.

— Полицай, что ли?

— Ага. Лейтенант. — Миша бледнеет и с каждой минутой злится все больше. Отступившая было обида просыпается с новой силой.

— Обычный либеральный перевертыш, — классифицирует Казбек. — Вы ему хоть вломили?

— Надо бы, — соглашается Миша. Казбек аккуратно подводит машину к подъезду.

— Прибыли. Вылезайте. Сейчас у Сержа все и обсудим.

Миша выпил стакан водки с перцем и теперь тянется к сигарете.

— Курить на лестнице, — извиняющимся голосом говорит Серж. — Ася не разрешает.

Ася — это жена Сержа. Красивая и строгая. Что она нашла в Серже, кроме революционной романтики, — не совсем понятно. Серж низкорослый и смешной. Чем-то похож на Каркушу, но, в отличие от фактурного Даниила Андреевича, его никак не назовешь смазливый. У Сержа чистое, твердое и страшненькое лицо с большим ртом и редкими зубами.

Они дымят на лестничной площадке, окурки скидывают в баночку из-под зеленого горошка. Артур остался в квартире; плещется в горячей ванне и что-то мурлычет под нос.

— Обаятельный мальчик. Но пустоголовый, — при первой встрече припечатал его Серж. — Пойдет за тем, кто громче крикнет.

Серж — звеньевой. Казбек — тоже, а Миша с Артуром пока на посылках. Но у Миши, в отличие от Артура, уже есть авторитет. К оперативной работе его привлек сам партагеноссе, и Казбек к нему прислушивается, а вот с Сержем не понять. Вроде тоже прислушивается, но все же скорее пока изучает.

— Ты понял, у парней тут заминка вышла в конюшне. — Казбек спускается по лестнице с пакетом апельсинового сока. В присутствии Сержа он пытается обуздать свои уменьшительные суффиксы и выглядеть солиднее. Зачем ему это надо — непонятно, но, глядя на тихого спокойного Сержа, Миша не то чтобы понимает, но чувствует почему.

— Обычное дело, — пожимает плечами Серж. — Издержки рода деятельности.

— Не просто издержки, — оговаривает Казбек. — Там полицей один служит... Их учитель в прошлом. Миш, скажи.

Серж поднимает на Мишу задумчивые зеленые глаза. Молчит, ждет объяснений. Миша немного теряется. Как объяснить этому спокойному, донельзя уравновешенному человеку всю меру подлости Даниила Андреевича?

— Я его очень уважал. Когда-то. Он всегда говорил очень хорошие, настоящие вещи. Это из-за него я...

— Пришел к нам? — спрашивает Серж.

Миша хотел сказать немножко не то, но сейчас версия Сержа кажется ему более верной.

— Да. Очень странно и неприятно было встретить его... по ту сторону. Когда нас поймали, он приказал нам навоз

выгрести. Сказал, что мы жеребцы стоялые. И спросил, чем лично я недоволен.

— Я думаю, нам надо его подловить с бойцами и объяснить... Чем мы недовольны. — усмехается Казбек. Серж тоже усмехается, но немножко с другой интонацией.

— А он у вас с чувством юмора, — с удовольствием говорит он. — Мог бы и попросту в отделение. Жаль, что он не с нами.

Лажевский вылез из ванны и попросился спать. Ася над ним сжалилась и положила на раскладушку в коридоре; теперь, когда прочие мужчины возвращаются с лестницы, им приходится огибать сладко посапывающего Артура. Снег за окнами все усиливается; в белой мгле вовсе ничего не видно. Серж достал вафельный торт, Ася у плиты готовит яичницу, но Мишка не ест и налегает на водку. Он никак не может захмелеть и все мечется взглядом от Сержа к Казбеку, которые тихо о чем-то спорят за кружками с крепким чаем.

— Это верно, что такие субчики — из самых вредных врагов. Своими рассказами они лакируют диктатуру. Но целесообразно ли нам размениваться на отдельного персонажа, который и сам наверняка угодил под каток и теперь выручает свою либеральную шкуру?

Серж говорит мягко, но очень внушительно. В его голосе звучит настоящая убежденность, и Мишу от этого охватывает оторопь — чего не случается, например, от злобной ласковости Казбека или его горячих призывов утрамбовать Даниила Андреевича в снег.

Казбек же машет головой.

— Ты как знаешь, а я — без разговоров. Я с парнями согласен. Нельзя такое спускать. Если бы он под каток, то он, знаешь, выручал бы сейчас либеральную шкуру где-нибудь в районе Военно-грузинской дороги. А он — враг, полицей! Ты знаешь, что про эту Дружину говорят? Ты знаешь, что у них полномочия неограниченные? Тебе мало, что они хачей

поперли? Надо, чтобы и тебя также, с Асей и маленьким, как неблагонадежных — на сто первый километр?

Серж молчит. Смотрит на Мишу. У того глаза в поллица, он ими прямо ест старших товарищей. Ждет вердикта. А перед глазами почему-то Даниил Андреевич, как он им про Че Гевару рассказывает и рубит ладонью воздух, и чуть не подпевает Виктору Хара.

— Что скажешь? — кивает ему Серж и щелчком отбрасывает пустой спичечный коробок. Медведев молчит, и Серж решает сам.

— Ладно, пусть это будет образцово-показательная порка.

Казбек улыбается и подмигивает Мише. Тому становится не по себе. Закрутилось. И еще он думает, как к этому отнеслась бы Алька.

— Ну что, завтра у конюшни? — торопится Казбек. Миша быстро прикидывает и качает головой.

— Не канает. Он на машине уезжает.

— Тогда у его дома, — предлагает Казбек. — Он же не вызывает водилу, чтобы ведро вынести? Или вызывает?

Казбек старается смеяться бесшумно — стоит кому-то повисить голос, из коридора выглядывает Ася.

— Ты знаешь, где он живет? — деловито спрашивает Серж.

— Да, вроде... — Миша скребет затылок.

— Если он полицейай, он может не жить дома, — качает головой Казбек, — надо убедиться. Домашний его у тебя есть? Давай, я телефон сейчас принесу.

Казбек встает и роняет табуретку. Ася выскакивает из ванной, где она детские пеленки настирывала, и без разговоров отвешивает Казбеку подзатыльник. Казбек втягивает голову в плечи и прикрывается ладонями — все, все. Понял. Ася недовольно шипит и вытирает о его футболку мокрые покрасневшие руки.

— Я с мобильного позвоню, — примирительно говорит Миша. Ася внезапно успокаивается.

— Чаю налейте мне. И подвиньтесь, — она толкает Сержа бедром, тот приобнимает ее и украдкой гладит по попе.

— Руки, — Ася смеется и приподнимает бровь. Серж встает и уступает ей место. Миша набирает номер из записной книжки. Слушает гудки, потом протягивает телефон Казбеку:

— Вот... Автоответчик.

В телефоне голосом Даниила Андреевича говорится, что он в отъезде. Потом то же самое повторяется по-французски.

— Во пижон, — со злобой говорит Казбек.

— Голос красивый, — замечает Ася. — На Генсбура похож.

— У тебя все на Генсбура, что по-французски, — отмахивается Серж. Смотрит ей в темный затылок, потом на Мишу и мягко улыбается: — Вот женщины!..

Взгляд его теплый, будто после жены еще не остыл.

Подождем у конюшни; так решил Серж. Казбек вздумал было возражать, но Серж разложил как по нотам. Дело делать надо быстро; чтобы человек понял и осознал семантическую связь событий. Подъезжаем на твоем, Казбек, моторе к конюшне. Машину ставим поблизости. Мишка или этот его... Лажевский будут отираться у конюшни, поскольку знают объект в лицо. Главное — самим на глаза не попасться. Объект садится в машину и едет домой. Миша нам об этом сигнализирует. Мы снимаемся и двигаем следом. Ведем его до дома. Дожидаемся, пока отвалит шофер. И ждем. При хорошем раскладе он вскоре выйдет за сигаретами или еще куда; если же нет — мы по крайней мере узнаем, где он живет. Все, по койкам. Медведев вон спекся, еще полчаса — и упадет мордой в стол.

Мишка встал и послушно побрел на матрац. Ася постелила ему в углу хозяйской комнаты; проваливаясь в сон, он еще

успел осознать легкую неловкость за то, что на сегодня лишил Сержа личной жизни, но усталость от пережитого быстро его доконала. Услышал, как хлопнула входная дверь — Серж проводил Казбека. С легким шорохом улеглась Ася. Заплакал маленький. Вошел Серж. Хозяева шептались и успокаивали ребенка, потом Ася вышла готовить на кухню детскую смесь. Всего этого Мишка уже не помнил, потому что сам спал, как младенец, уткнувшись лицом в подушку и причмокивая. Ему снилась Алька Смирнова и бесконечные солнечные новостройки, среди которых они будут непременно гулять, только наступит лето. Казалось, все непременно будет хорошо и даже лучше. Потом с кухни донесся голос Даниила Андреевича, который по-французски лукавил с какой-то девицей. Девнице было хорошо, она велась и даже стонала. Это внесло легкое смятение в мишкины безоблачные сны; а если бы он хоть раз до этого слышал дуэт Генсбура и Джейн Биркин, ему б стало намного легче.

В служебную квартиру можно возвращаться засветло и пешком — из любого, практически, центра нашего города. Каменноостровский теперь молчит по ночам, и Дмитровка молчит, большие и малые молчат улицы. Огней мало — только в паре избранных мест. Одно из них — Управление Дружины, другое — закрытый клуб «Пять звезд». Лейтенант Ворон чешет именно оттуда. Короткое пальто с каракулевым воротничком, винтаж. Форменные брюки, кобура, узкогорлый свитер из прошлой жизни. Музыка все еще бухает в уши, мысли четкие, точные. Чингис тихо смеется — все летит кувырком, деться некуда, и от этого как бы прет.

Пальцы подрагивают в карманах пальто, Яна от души сыпанула кокса, Данька храбро втянул. Грабовская его не узнавала — последнее время мрачный был и отстраненный — слова не вытянешь. Переехала к нему, квартиру завалила шмотка-

ми, бельем, провоняла духами, по комнатам носилась в одном полотенце — и бровью не вел, будто так и надо. Будто собачку завел и терпит. А тут вечером прикатил, усмехнулся — а что, спрашивает, у нас сегодня в «Звездах»?

Едем? — не веря своим ушам, спросила у него Янка. Ну да, — усмехнулся Ворон. Не все ж дома торчат. Во, торчать, — вспомнила Грабовская. Смотри, что у меня есть, — и извлекла из косметички пакетик.

Сделала дорожки прямо на кухонном столе. Данька присел на табуретку. На буфете уютно тикали хозяйские часы «Ракета», шестьдесят какого-то года выпуска. Вечер был слепым и малоснежным; клубы облачного тумана содрогались над городом. Где-то в этом городе входил в вечернее алкогольное пике капитан Петрович, на окраине мерзли в конюшне Танька и Варвара. Медведев с Лажевским под водительством Сержа грезил революцией. В клуб «Пять звезд» подтягивалась обслуга. Люди в большом городе всегда стянуты, искусственно стиснуты, сшиты меж собой на живую нитку. Сейчас эти швы расплзались, и даже с девушкой, сидящей напротив, Данька уже не находил общего. Время трещало по швам, а двое на кухне брошенной старорежимной квартиры сидели и пытались заштопать его, да и себя вдвоем, посредством грамма южноамериканского чудо-порошка.

Яна стронулась первой. На нее обрушилась теплота и болтливость. Она налила себе матэ и взяла сигарету из Данькиной пачки.

— Понимаешь ли... Даниэль... Давно хотела тебе объяснить. Почему мы не любим таких мальчиков-зайчиков, которые себя всячески берегут, живут чистенькими и деньги зарабатывать не хотят. Ты ведь думал небось все это время — чего же этой сучке не хватает? Сумочек ей брендовых надо дюжину, обувной гардероб, как у сороконожки. Тачку. Мужика, который деньгами сорит... Нет, все не так. Просто, Дань,

мир перевернулся. Мир перевернулся, но мы, бабы, остались прежними. У нас все равно — будь ты хоть сучка-рассучка вся на ботоксе, все равно раз в месяц ПМС, и залететь раз плюнуть, и рожать в муках, а потом за этих детей дрожать. А вы... вы очень хитро от всех мужских неприятностей уворачиваетесь. Армию — закосить, работу — чтобы полегче и ручки не пачкать. Семью кормить — не ваша проблема. Любить — и то боитесь, двести раз подумаете, как бы чего не вышло. Вот оттого и бандосы, и авантюристы всякие — рискованные, короче, персонажи, которые жить торопятся и не боятся, — они как-то больше сочувствия вызывают. Потому что они... — Янка наклонилась к его лицу и аж зашипела, — ...соблюдают договор.

Чингис с оторопью смотрел в ее неверные бирюзово-зеленые глаза. Его тоже подхватило, но как-то неправильно, нерадостно. Он чувствовал мелкую дрожь во всем теле, нервное возбуждение, но слова не мог вымолвить и только чутко, поверхностно дышал.

— Хотя ты лично, Дань, мне бесконечно симпатичен.

— Все, — Данька собрался наконец и хлопнул рукой по столу. — В данный-то момент есть какие претензии? Семью прокормить или морду подрихтовать кому-нибудь? В армию я вроде пошел уже.

Он смотрел на нее весело и сумрачно.

— Нет, — замотала головой Янка. — Сейчас — никаких.

Она неожиданно притянула к себе его голову, запустила пальцы в волосы и тихо запищала от восторга.

Каркуша жил теперь в районе Черной речки. Двор был старый и чистенький, сейчас в нем осваивались полицаи: после того, как «уазик» доставил Каркушу домой и отвалил, подъехало еще несколько служебных машин. В проездах были сложены бетонные столбы и мотки железной сетки — судя по всему, двор собирались огородить. Казбек пристроил

«жигуль» к двум железным коробочкам частных гаражей. Вчетвером — Артур, Серж, Казбек и Миша, они сидели в машине и ждали. Хорошо, догадались затариться водкой и сигаретами: прошло полтора часа, а объект не показывался. Лажевский тихонько ныл и просился домой. На исходе второго часа к парадной подъехал таксомотор, Каркуша выскочил из парадки под руку с девицей. Они быстро погрузились в машину и уехали.

Таксомотор желтым экзотическим фруктом катился в синеву декабрьского вечера. Серж с Казбеком спорили.

— Бесплезненько, Сережа! Он с бабой, погляди. Наверняка к ней поехали, а даже если и нет — мы ж не уроды какие-нибудь, у девчонки на глазах его уродовать!

— Во-первых, никто не собирается уродовать, — методично упрявился Серж. — Во-вторых, с чего мы должны щадить чувства какой-то поблядушки. И в-третьих, завтра Ася меня не отпустит. Все, заводи.

Чертыхаясь, Казбек завел мотор.

К клубу подкатали на такси. Фасад помпезного особняка привычно завешен строительной сеткой, только из подворотни бьет яркий свет. Новый год еще не скоро, но вдоль ковровой дорожки уже установлены голубые «кремлевские» елочки в кадках; на елочках — фигурные финские свечи. Данька выскочил из машины, подал руку Яне. Таксист пожелал хорошего вечера. Они быстро миновали первый контроль — обоих здесь знали. В гардеробе Данька отдал парнишке пальто и Янкину шубку; толкнул номерки в карман форменных брюк и устремился наверх.

— Батманов, ты охуел?

Это Макс Грищенко, арт-директор. Самолично на втором контроле. Значит, важная вечеринка.

— Здорово, Максик, — Ворон весело протянул руку.

Макс рассеянно поздоровался и заканючил:

— У нас нельзя так!

Макс кивнул на форменные брюки и «макаров» в кобуре. Данька сообразил, что забыл переодеться. Приобнял Янку — та уже дулась; сейчас выставят этого дурня из заведения; вот позор. Тот смеется.

— Максик, это мой личный дресс-код.

Отсмеялся и погнал дальше. Янка за ним, как болонка на веревочке. Охранник вопросительно смотрел на Макса — догнать, мол?

— Пистолет хотьними! — заголосил Максик вслед. В гардероб, что ли, сдать? — расхохотался Чингис, не оборачиваясь.

— Отдай, у себя запрю!

Завернули в туалет — Яне потребовалось догнаться. Еще бы, такие нервы — чуть не выставили из клуба, как лохов каких-нибудь. Этими соображениями она тоже не замедлила поделиться. Ворон криво усмехнулся и смешно всхлипнул — порошок тревожил нос. Прислонившись к стенке, смотрел, как Яна сворачивает свои пакетики и слушал, как она продолжает ему выговаривать. Ворон поймал ее руку, притянул к себе: заткнись, наконец, что ли. Яна опешила. Данька был какой-то не тот, неправильный. Они поцеловались.

Начинался декабрь; самый суматошный и насыщенный месяц в году. Все торопятся догнать уходящий год; доделать, осуществить. Бесконечные праздники; тревожная, веселая, нескончаемая гонка за упущенными кусочками радости. Радужная, трескучая, золотая лихорадка. В первый раз Данька чувствовал себя уволенным с этого прииска. Свое состояние он уже составил — форменные брюки, пистолет, Яна и дурь в пакетике. Личный дресс-код.

Светильники под потолком белые и четкие; как в больнице. Музыка здесь не слышно, только пол вибрирует и стены; и слушать можно как змеи — всем телом. Откинувшись на стенку, она лопатками чувствует дрожь. Трах в туалете — это своеобразный ритуал, часть программы. С ним так в пер-

вый раз. Она подмечает детали: отбитый кусочек нефритовой инкрустации на зеркале; их сдвоенное отражение; его необычно короткую стрижку. То, как у него с лета не сошел загар — шея смуглая, уши бледные. Одной рукой он упирается в стенку и пальцы чуть дрожат — она никогда не разбиралась в музыке, но сейчас по вибрации, кажется, может угадать песню, которую ставит диджей на верхнем танцполе.

Его тело сухое и горячее, как радиатор.

Поправляя перед зеркалом макияж, укладываясь небольшим аккуратным тельцем обратно в вырез кофточки, Яна поглядывала на Ворона, чувствуя, что стесняется его темного, чуть насмешливого взгляда. Данька застегнул брюки. Щелкнул пряжкой. Кобура уже привычно оттягивала ремень. Подмигнул ей, и Яна вспыхнула. Чтобы скрыть это, отвернулась к зеркалу. Зеркало злорадно фиксировало то же самое — порозовевшие щеки и потерянные глаза. И помада смазана; а губы горят. Вишневые.

— Отдать, что ли, ему пистолет? Действительно.

Спросил явно не у нее; будто сам с собой разговаривал. Яна хотела сказать, что надо бы отдать, что выставить могут или в следующий раз не пустят, но показалось, что для Даньки это не аргумент; следующего раза может не быть.

— Отдай, — сказала она тихо, — он ведь инфаркт получит.

Затормозили на маленьком бульваре. Каркуша с девкой исчезли в светящейся арке проходного двора. Казбек продолжал злиться.

— Ну и что? Нам теперь ждать, пока эти буржуи оттянутся как следует?

Серж хранил ледяное молчание. На бульваре торчало еще несколько машин. Хлопнула дверь вишневого «вольво».

— Эй, мужики, скучаем?

Водила постучал в стекло, улыбался.

— В компании-то ждать приятнее. А че вас много так?

Серж с Казбеком переглянулись в растерянности. Мишка почуял, что надо спасать ситуацию. Он потянул Артура за рукав и вышел из машины.

— Да мы это... Вот его девица одна попросила подъехать. Говорит, выйдет скоро.

Водила заулыбался.

— А... А я подумал — пидора какого модненького караулите. Раньше, в прошлом сезоне еще, такое бывало. Они в четыре утра из клуба вываливаются, никакие уже, а их тут уже ждут. Тут главное на серьезного человека не напороться. А так — телефон снимали очень просто; бабла-то у них после вечеринки не густо. Слышь, а может, пойдем бахнем слегка? Мне много нельзя, я за баранкой. Солянку съедим, потрындим, то-се. Здесь кабак недалеко. Нормальный. Недорого. Мой-то все равно раньше трех ночи не появится.

Миша раздумывал. Артур смотрел во все глаза на шофера, а с еще большим интересом и пониманием — на светящуюся арку клуба, где исчез Даниил Андреевич со своей чиксой.

— Пойдем, — согласился Миша. — Недалеко, говоришь?

— Через квартал, на углу, — обрадовался шофер. — Сейчас, тачку на контроль поставлю...

Он заторопился к своему «вольво». Миша наклонился к окну.

— Сереж, мы прогуляемся с шефом. Нас много очень, внимание привлекаем.

Серж поразмыслил. Пьянства на операции он не одобрял — и так уже пол-литра выжрали, но против логики не попрешь.

— Хорошо, — неохотно кивнул, — на углу, так я понял?

Мишка выпрямился и посмотрел на Артура. Тот все глядел на свет, на окна клуба; как летел туда.

— Слушай, Миш, — спросил он. — Если он полицейский, то какого черта в таком клубе делает? Здесь же небось поро-

шок прямо через кондиционеры распыляют. Или я совсем уже ничего не понимаю.

Водила из «вольво» торопился к ним, подгребая ботинками слякоть, пряча в рукаве огонек сигареты.

Даньку было не уговорить. На дешевые эффекты потянуло, — с хохотом вывалились из кабинки; едва позволил Янке губы обратно покрасить, — из сортира на руках вытащил. Понес наверх, ко всему привыкшие завсегдатаи обтекали буйную парочку, прижимаясь к стенкам. Грищенко болтался рядом и канючил про пистолет.

Чтобы оторваться от него, Данька потащил Яну на танцпол. За диджейским пультом торчал высокий неказистый парень, в кепке и наушниках напоминавший странный гриб. Он поймал взглядом нетривиальную парочку — парень в галифе, девчонка в сиреновой кофточке, — и неожиданно свел точеный хаус с ремикшированным, полузадушенным хрипом Эдит Пиаф. Как бы они с Яной не танцевали, всегда получалось что-то вроде танго — он вел, Яна сопротивлялась.

Он прислонил Яну к стойке, хлопнул бумажником. Грязные — усмехается — деньги. Будем отмывать. Заказал шампанского. Выпил залпом, раскис и попросил прощения.

В то лето все очень не просто совпадало — Данька должен был довести свой десятый, в школе начинались проблемы, но и без того становилось ясно, что требуется что-то менять — личная жизнь стоила денег. Он набрал долгов и частных уроков, но бабла вечно не хватало.

Деньги сами по себе вряд ли были для Янки ценностью — скорее они были дурной привычкой, в которой не так-то просто себя ограничить. Ее родители были в меру обеспеченными людьми — вполне достаточно для того, чтобы Янке угодить в круг богатеньких девочек-мальчиков, и в самый раз, чтобы там почувствовать себя неудобно. Этот комплекс неполноценности она и принялась восполнять

со всем возможным рвением, а Данька здесь был ей, ясное дело, не помощник. Он стал тем, кем только и мог стать — дружкой, парнишкой-конфидентом, которого обожают и ни в грош не ставят. Неформат. Янка могла спать с ним, рыдать на плече, просить займы, делиться детскими воспоминаниями — для этого он подходил вполне; и все это вовсе не означало, что на завтра в клубе она снизойдет до того, чтобы поздороваться.

Приехала как-то вечером; без звонка. Данька поставил музыку, предложил вина; Яна молчала и прогуливалась от окна к любимому креслу. В окно посматривала с тоской; будто в первом классе — уроки сделала, а гулять все равно не пускают.

— Надоело, — наконец выдавила она.

У Даньки в руках застыла бутылка шардоне. К таким заходам он, в общем, привык. Каждый раз внутри дергало, будто недолеченный зуб, но он привык и к этому.

— Проблемы какие-то? — спокойно спросил он, — Скажи, если что не так. Я мысли читать не умею.

— У меня нет проблем, — отчеканила Янка. — А вот с тобой засада.

Данька поморщился. Словечко «засада» могло означать что угодно — плохая погода, я тебя не люблю, у тебя джинсы из прошлого сезона. Долил себе, поболтал вино во рту, обнял ее сзади за плечи. Бокал в его ладони маячил перед Янкиным носом и призывно, золотисто переливался. *A votre sante*. Яна стряхнула его подбородок со своего плеча. Данька выпрямился, отошел, сделал музыку потише.

— Ты кем себя считаешь вообще? — обернулась к нему Янка. Руками вцепилась в подоконник.

— Маникюр побереги, — усмехнулся Данька.

Яна молча смотрела на него. Потом закрыла рукой подбородок и отвернулась. Даньке показалось, что она готова расплакаться. Ему стало неловко, будто мальчишка-таджик

в метро обхватил колени и десятку канючит: и жалко, и оттолкнуть нельзя, и терпеть противно.

Он налил ей воды и заставил выпить. Янка стучала по стеклу зубами.

— Прекрати истерику, — ровно произнес Данька. Как всегда, когда он сам готов был зайти, свалиться в полную неадекватность, кто-то из близких людей предупредительно делал это за него. Только успевай.

— Ты мне отвратителен, — выдавила Янка, прихлебывая воду из его рук.

Он выпустил стакан и отвернулся. Стакан упал.

— Я хотела тебя на вечеринку пригласить.

Данька присел на корточки и начал подбирать осколки.

— Ян, ты определись с направлением, что ли. То хамишь, то на вечеринку.

— На вечеринку, — улыбнулась Яна. Он почувствовал, как ее рука коснулась волос.

В кои-то веки они приехали в клуб вместе: оба молодые и невозможно красивые. Черный, ладный Ворон, осанкой напоминающий латинского танцора, и маленькая энергичная Янка; ручной зверек, пушистый, с острой улыбкой и быстрыми глазками. Весенний холодок пощипывал щеки, а недопитую бутылку шардоне Данька легкомысленно выкинул из окна машины. Янка хохотала. Потасила его за руку по каким-то коридорам, завешанным бархатными тряпками. В маленьких кабинетах по ту и по эту сторону толстые мужики сосали кальян. Пахло шашлыками.

— Быстро оглянись, а потом не оглядывайся.

Данька подчинился. Типическая парочка — высокая сухая блондинка за тридцать и ее маленький бритый бойфренд. Яна откинула последнюю портьеру — они оказались в небольшом полукруглом баре. Водку. Две, — сказала Яна.

— Это что, новый Вася? — грустно поинтересовался Данька.

— Хуже, — Янка хлопнула водки и выжидательно уставилась на него. — Пей!

— Зачем, — воспротивился было Данька. Зачем мы вообще сюда приехали? Что ловить? Она следила за тем, как он пьет. Внимательными и серьезными глазами.

— Он хочет с ней развестись. Из-за меня. Мне предлагает замуж.

— Какой порядочный мальчик, — съязвил Данька.

— Но он же урод.

Яна стукнула рюмкой о стойку и просигналила официанту — еще!

— Не думал, что для тебя это имеет значение.

— Угомонись, — серьезно предупредила Яна. — Ты лучше их всех вместе взятых. Именно поэтому, заметь, я и говорю тебе всякие гнусные вещи и даже сцены иногда закатываю. Потому что на тебя действует. Потому что ты поймешь. С этими — бесполезно.

Янка обвела бар мутным и бешеным взглядом. Рассмеялась.

— Смотри, сколько брендовых тушек, и хоть бы один осознанный взгляд.

Стремительно пьянея, она обняла его за плечи.

— Но и ты, прямо скажем, многого добился. Бьешься со своими недорослями; пишешь рецензии на жратву в ресторане, которую не можешь себе позволить — филе утки с глянсе, поданное с шатне. Учишь каких-то идиотов французскому — мадам и мсье, силь ву плс, же не ма. Дань, ты — обслуга, ты понял? Крепостной художник.

Данька хотел сказать, что все эти кабаки и васи внутри них существуют для него только как часть ее мира, с которым он согласен мириться, и потому — пусть будет. Только поэтому. Но тут подошел тот самый Вася и пригласил Янку на кальян.

— Ничего, что мы тут разговариваем? — поинтересовался Данька у Васи.

— Я не Вася, я — Арсен! — значительно сказал лысый.

— Здорово, Арсен.

Арсен с удивлением смотрел на сопляка. Держится уверенно, смотрит нагло. Кивнул бармену.

— Шурик, обслужи... ребят за мой счет. Пусть ни в чем себе не отказывают.

Улыбнулся и отошел. Бармен, усмехаясь, выставил перед ними два фужера с мутной водицей. Украсил едко-зелеными ягодками. Долил сверху.

— Коктейль «Босфор». Арсен Валентинович всегда заказывают. На побережье бывали?

— Побережье для лохов.

Яна обернулась. Из-за Данькиного плеча над стойкой нависал Макс Грищенко. Грищенко подмигнул.

— Ты, Шурик, не того паришь. Он всю твою туречину объехал и раскопал. Молодое светило исторической науки.

У Макса мягкое белое лицо, он слегка полноват. Часики с камушками, асимметрично застегивающаяся рубашка. Напоминает раскормленного бурсака — носик уточкой, умные зеленые глазки. Грищенко человек светский — редко понятно, когда он льстит всерьез, а когда издевается.

— С Арсеном хуями меряешься? — кивает Макс. — Ну-ну. Жидковат ты пока для этого. Впрочем, — обслужи не видно, но Макс на всякий пожарный понижает голос, — этой его шаверме скоро кердык. Москвичи новый клуб открывают, слышал? Я — арт-директор.

Максик, как обычно, в компании себе подобных мальчиков: пидоры-лайт, чистенький пустоцвет. Среди них выгодно выделяется высокий широкоплечий парень: бровки домиком, интересная рассеянность на челе.

— А это вот Толян, — Максик перехватывает Янкин взгляд и хлопает приятеля между лопаток, продвигая его к стойке. Одновременно небрежным движением уводит у Даньки из-под носа коктейль «Босфор». Улыбается:

— Забористая какашка.

Данька наглеет совсем и заказывает еще. Ракия. Ничего особенного. Просто ракия, но с какой-то фигней перемешана и в голову дает. Он боковым зрением замечает Арсена. Арсен стоит, отодвинув портьеру, смотрит на них с усмешкой и что-то говорит в коридор невидимому собеседнику. В шаверме начинаются танцы, из бара видно, как изгибается за пультом рыжая порнозвезда.

— Девку, смотри, из Нью-Йорка выписал. Будто своих блядей нет, — шепчет Макс и снова тащит к себе недопитую ракию. Толян наклонился к Янкиному уху, бормочет что-то и улыбается. Данька встречается глазами с Арсеном, тот салютует ему бокалом, — будь, — усмехается и исчезает за портьерой. Дань, дело есть, — шипит Грищенко, карабкаясь на табуретку рядом. Порнозвезда на танцполе заводит радиохит. Молодняк орет; в вип-кладовку проскальзывают люди из телевизора. Голова у Даньки идет кругом. В лицо бьет фотовспышка; Янка и Толян позируют; Макс предлагает Даньке работу в новом итальянском ресторане.

— Тебе только надо с одним персонажем встретиться. У него сегодня закрытая вечеринка; поехали прямо сейчас; заодно шлюшку проучишь; губу не раскатывай, но на первое время тысячи две он тебе положит; с ними надо только так; потом еще и проценты пойдут; тут главное вовремя себя поставить. Этих, — он кивает на Яну и Толяна, — все равно бы не пустили, а тебя я проведу как своего человека.

Макс хлопает дверцей машины — крошечный серебристый «матисс». Ведет мимо парка и заворачивает под мост. Кажется, они едут далеко. Почти что за город. На чью-то дачу.

— За телочку не волнуйся, Толян все равно гомик, дальше болтовни у них дело не пойдет.

Макс снова подмигивает. Машину слегка ведет. Публичности проходит железка; слышен поезд.

— За дорогой смотри, — хмуро говорит Данька. Он постепенно приходит в себя.

Янка отвлекается от Толяна и ищет глазами Даньку. В топшаверме час-пик, их толкают со всех сторон. Она пытается отвалить от стойки; девушка, а расплатиться, — ловит ее официант. Так Арсен же; а Арсен пошутил. Толян жмет плечами; Даньки нет; Яна успела угостить чуть не каждого в этом баре и теперь с бледным видом лезет в сумочку.

— Разворачивайся, — говорит Данька Максу.

— Ты че-го? — смеется Грищенко.

— Назад, говорю.

Грищенко останавливает машину. Выходи, — кивает. Вдоль дороги — то ли лес, то ли парк. Данька щелкает дверью, молчит и захлопывает ее обратно.

— Поехали? — мягко спрашивает Макс. Данька отворачивается в окно.

В огромной студии шумно и накурено. Белые стены завешаны фотографиями. На фотках — мальчики-модели; на кровати кинг-сайз тоже мальчики, грудой и обдолбанные. Фатоватый хозяин при тросточке и с оловянными глазами приветствует гостей. Грищенко наливает в баре вискарь — на себя и того парня, Даньке то есть.

— Бахнем? — спрашивает Макс.

— Проголодался, ресторанный критик? — нежно интересуется хозяин. Щелкает пальцами блондинке в наколке и трусиках-стрингах. Блондинка исчезает и возвращается с тарелкой.

— Меня Олежкой зовут, — рука у Олежки мягкая, как подушка. Он зажимает под мышкой тросточку и угощается.

— Знаешь, что это такое?

Данька пробует. Есть совершенно не хочется.

— Карпаччо, — говорит он.

— Точно, — смеется Олежка. — Мне нужен маленький чернявый арт-директор. Ты подойдишь.

Яна танцует бутербродом — впереди Толян, болтает и уворачивается от ее лица; сзади ее за талию придерживает Арсен Валентинович. Он танцует почти на корточках и все время пытается подтолкнуть Янку бедрами. За пультом из последних сил размахивает грудями рыжая диджейка.

Данька сидит на подоконнике и ищет шпингалет, чтобы проветриться. Сбоку щебечет мулатка в наколке, с пола карабкается на колени Макс Грищенко. Олежка сидит напротив в плетеном кресле а-ля колониаль, улыбается и вертит тросточкой.

— У тебя интересный тип, — курлыкает он. — Высокие скулы, глаза... миндалевидные, раскосые, как у нукера Чингисхана. И крупный нос. Я никогда не мог устоять перед красотой. Хорош, — Олежка прищелкивает языком и тянет пальцы к его подбородку.

— Шутки в сторону, — кивает Ворон, — кто будет сосать — вы или я?

Олежка теряетяся.

— Я ищу работу, — поясняет Данька. — Ничего особенного, ведь так?

— Будет тебе работа, — слегка замаявшись, отвечает Олег.

Снег за окнами клуба валил и валил; «Звезды» постепенно наполнялись публикой. На первом этаже отстойник; почти школьная дискотека — девочки танцуют, воздевая руки к диджею, раскрывая темные желобки подмышек. Мужики трутся у бара или сидят на диванах. На втором этаже — vip-кладовка. Туда очередь, но пускают не всех. Девицы скрипят каблуками по стеклянным ступеням и изредка сваливаются вниз. Чистилище. Раздухарившись, Янка набрала в рот шампанского и сделала — п-ш-ш! — резкий выдох.

— Пойдем наверх? — полуспросила она.

Данька поднял очки на лоб. В глазах защипало — капельки стекли под ресницы. С ума сошла, — сокрушался он.

— Хочу есть, — пожаловалась она.

— О'кей, — кивнул он. — Чего именно?

— Ты ж у нас спец... по средиземноморской кухне. Вот и выбирай — на свой вкус.

С итальянским рестораном получилось смешно и тупо. Из квартиры-студии Данька ушел, разбрасывая носками кроссовок невменяемую молодежь: тела стлались по полу, как миноги, присосавшиеся к телу хозяина. Олежка упал в кровать и совершал в его сторону прощальный жест ладошкой; Грищенко лежал у него на коленях и выковыривал Олежкин член из узких полосатых брюк. На пороге столкнулся с Толяном; тот болтался в дверях и обводил пейзаж мутным взглядом. А ты чего, уходишь уже? — облизнулся Толян. Смотри, — широкий жест, — это ж реальный декаданс! Толяну нравилось. Ебал я ваш декаданс, — прошипел Данька. Еще не-ет, — засмеялся Олежка. Реплика имела успех.

Олег позвонил через неделю и заявил, что речь идет о хороших деньгах. Они встретились во французском рестике.

— Толстяка видишь? — спросил Олежка, заправляя под шейный платок салфетку. — Не оборачивайся, его в окно видно.

Огромные окна в пол переливались огнями вечернего проспекта. В окне, как в зеркале, отражались ряды бутылок над баром, французские афиши и эмблема заведения — гарсон ловит поднос на вытянутый указательный палец; другой рукой подкручивает тонкий черный ус.

— На тебя похож, — кивнул Олежка.

— Кто, толстяк? — Данька наконец отыскал толстяка среди посетителей — публика разогревалась перед субботним походом в ночное, ресторанчик служил перевалочным пунктом между вечером и ночью, между телятиной по-провансальски и популярным диджеем — пропускным пунктом служил клозет с зеркальными стенами, где можно поскрести кредиткой по туалетному столику и сэкономить бабло на полуграмме кокаина. Провинциальный гламур, чтоб его.

— Нет, гарсон. На тебя похож гарсон, — улыбнулся Олежка и приник взглядом к картинке.

Данька равнодушно кивнул:

— У меня уса нет. И подноса.

— Поднос я тебе обеспечу, — ласково сказал Олег. — А ус отрастить можно.

Олежка чему-то захихикал и подцепил на вилку запеченную устрицу.

— Ты не ешь ничего, — пожурил он Даньку.

Данька совсем перестал понимать, какого хрена он здесь делает, но хамить пока не решался. После вечеринки в шаверме с Яной они не виделись. Данька про себя внутренне решил, какой он все же оказывается подлец и тряпка, но стыда по этому поводу нисколько не испытывал. Ему было настолько все равно, что это уже граничило с христианским смирением. С всепрощением, которое легко и приятно начинать с самого себя.

— Этот хрюшка — известный промоутер и хозяин нескольких дискотек. Предлагает задешево возить к нам в ресторан диджеев. Устраивать пре-пати своих вечеринок и тому подобное. Это если мой арт-директор согласится, конечно, — Олежка приподнял бокал. — Чин-чин, — предложил.

Они чокнулись, Данька отхлебнул вина.

— А почему тогда мне на него не смотреть? — спросил он.

— Потому что он поднялся на наркоте. Я с дилерами в ресторане не здороваюсь.

Олежка сверкнул начищенной улыбкой.

В ресторан входила Яна с Арсеном.

Данька опустил бокал и с хрустом сжал салфетку.

В баре играла французская версия роллинговской Paint It Black.

Олежка приподнял брови и проследил Данькин взгляд. Старые знакомые? Мебельный король или эта фифа? Или оба?

— Арсен зачем-то полез в клубный бизнес, в котором он ни фиги не понимает... — заливался Олег. Данька не слушал, смотрел на Яну. Яна заметила его, но здороваться не собиралась. Вместо этого взяла сумочку и откланялась в туалет.

— Извини, — бросил Данька.

Яна стояла перед раковиной, положив сумочку на бортик. Щелкала замочком. Ее легкий, чуть полноватый профиль, с остреньким носом и зобиком, как у сойки, отражался во всех зеркалах сразу. Данька оперся о дверной косяк и ткнул руки в карманы. Ноги поганно ослабли. Дорогой мой, а тебя продергивает, как нитку через ушко... что-то надо сказать. Что-то надо.

— Пописать захотелось? — мягко спросила Янка и обернулась.

— Я... пardon. — Данька тряхнул волосами и взмахнул пальцами, будто где-то в воздухе болтались те слова, которые он никак не мог поймать. Яна отступила и прислонилась к двери кабинки. Каблучки скрипнули по кафелю, как ножик по стеклу.

— А по-русски никак? А, Даниэль?

Из клозета они вышли вместе. Данька крепко придерживал Яну за локоть. Он вытряхнул на стол деньги и отсалютовал Олегу:

— Эскьюзе муа. Звони, если нужно будет побеседовать с каким-нибудь дилером.

Они шагали по смеркающейся магистрали; в крыши домов бухала первая весенняя гроза. Они болтали и смеялись, и никак не могли наговориться. У них было сто рублей на двоих.

— Бедные они бедные, — смеясь, приговаривала Янка. — Как нехорошо их прокинули два зверька, уже почти что ручных. А у нас теперь даже на тачку нет.

— Так до тебя же близко.

— Ага! — залилась Яна. — Полчаса пешком.

Назавтра Данька позвонил однокашнику по техникуму, который подвизался в сфере общепита. Тот обещал подумать насчет вариантов. Еще через пару дней ему предложили место директора шашлычной на северном берегу залива; как раз неподалеку от Олежкиного итальянского ресторана. Без базара, — заявил он, осваивая новый лексический слой. Яна уехала в Москву — вспомнила о том, что она менеджер, и решила подыскать работу в местном представительстве какой-нибудь столичной фирмы. Прощаясь на бессмысленном Московском вокзале, в толпе бомжей, гастролирующих музыкантов и ранних курортников, она намекнула насчет жилья, и Данька начал подыскивать им квартиру.

Грохнув дверцей кафе, они оказались в пластиковом раю: бистро «Акула». Шофер «вольво», — Володя его звали, — быстро подскочил к стойке. Заказал говяжье рагу с картошкой фри и пиво. Миша с Артуром, помявшись, взяли коньяк, колу и по паре бутербродов.

— А если бы вы знали, парни, как я эту новую гопоту ненавижу, — разоткровенничался шофер. — У меня у самого, прикинь, старенький «фольксваген гольф». А у моего эта «вольва», что вы видели — она так, чтобы разбить не жалко. Он меня зачем-то с собой берет, а сам каждый раз в клубе нажрется и за руль лезет. А еще в конюшне джип «лексус» и «бумер» последний; это для бизнеса. Платит пятьсот бачей плюс премия, иногда. А у меня, братцы, семья. Когда эти пришли, со шпорами, я-то надеялся — моего первого прижучат. А... — водила потряс пальцем и отхлебнул пива. — А ни хуя.

Володя говорил и обращался к Мише; Мишка чувствовал себя странно. Он знал, что у него лицо без возраста и доверие внушает, но чтобы перед ним так распинаясь сорокалетний мужик. Такое бывало нечасто.

— А ты — бандит, — внезапно заключил Володя.

— Почему? — не понял Миша.

— Потому... — Володя жалко улыбнулся. — У тебя вид — решительный. Вот поэтому. У кого в этой стране еще может быть такое лицо?

Шел четвертый час ночи. В три Володя убежал, как по звонку. Артур клевал носом. Барменша уже утомилась подавать коньяк.

Шампанское быстро закончилось; Яна и Ворон поднялись в вип-кладовку. Подгулявшие компании валялись на низких диванах, официанты в рубашках-галабия разносили херес и сигары. Выписанный из Перми электронный гений играл интеллигентный хаус и крутил авторское видео про тайгу. Они присели за низкий столик с кальяном; Грищенка бросил в курильницу крошку афганского гашиша. Грабовская открывала вторую бутылку «Дом Периньон». Грищенка проявил редкую галантность и отобрал у нее шампанское. «Дом» оглушительно хлопнул в потолок.

В шашлычной Данька проработал всего ничего. Выматывался так, что к середине лета обнаружил, что видел Янку последний раз после выпускного у школьников. Перезванивались раз в неделю. Наконец встретились в «Варшаве». Он обнял ее у входа и почувствовал знакомую сомневающуюся холодность. Повел за столик, не отпуская руку. Присев, Яна тут же мягко высвободила пальцы из его ладони и полезла в сумочку. Принялась невозмутимо подкрашиваться. Даньке стало не по себе, но он бодрился. После второго коктейля заикнулся о том, что подыскал квартиру в центре. Даже две, на выбор. Ну, умница, — пожалала она плечами. Рада за тебя. Что дальше? На Маяковской сойдет? — замирая, спросил Данька. Как всегда в неловкой ситуации, Яна расхохоталась за двоих: а я откуда знаю? Ты уж, пожалуйста, сам решай, где тебе сойдет. Данька молчал и постукивал по столу зажигалкой.

— Батманов, а ты оптимист. Тебе кажется, что все и всегда можно исправить. — Яна прищурилась. — Такой образованный господин и так обидеть девушку. Помнишь, ты меня бросил, я спала с этим козлом Арсеном — только потому, что не могла расплатиться в его поганом баре. Я понимаю, тебе кажется, что для бабы вроде меня это ничто. Но ты очень, очень удивишься, когда узнаешь, что до этого момента я никогда не сбалась с кем-то, кого хоть чуточку не хотела.

— Чуточку не сбалась или чуточку не хотела? — усмехнулся резко.

— Твоя галантность тебе изменяет, — кивнула Янка. Она смотрела на этого странного парня. Умного, зануду, дурака восторженного. Невозможно простого, как дважды два, и ускользящего, неясного — в целую жизнь не разберешься. Вывалившись на утренний проспект тогда, после Арсена, она хватала воздух, как рыба, и не могла надышаться. Проникающее чувство грусти, внутреннего обрыва, будто дернула за веревочку, а та неожиданно легко поддавалась; и на том конце — ни рыбки золотой, ни плохонького карасика. Крючок пустой и голенький; сверкающий, холодный, острый. Дань, Данька — ты ведь предал меня, ты хоть это понимаешь? Нет?! Ерунда, верно. Но здесь, знаешь, как на войне — любая ерунда, и сапер два раза не ошибается. Данька с недоумением замечал в этой испорченной девочке какой-то избирательный, но от этого не менее упрямый максимализм. А также то, что она с этой меркой подходила прежде всего к нему.

Она пришла в себя от звука собственного голоса: ты что думаешь, мне хата твоя нужна? Деньги нужны от тебя? Сколько ты там теперь зарабатываешь? Тысячу? Две? Ма-лад-ца! А лица-то на тебе и нет уже. У тебя синяки под глазами пудовые, и не нужна я тебе ни почему; просто ты пока еще помнишь, что когда-то была необходима. Я не люблю тебя такого, ты мне не интересен. Уж лучше бы в школе оставался,

ей-богу. Больше пользы прогрессивному человечеству. Макаронник херов, милицанер недоделанный.

Данька хрустнул в пальцах бокалом и скатился по лестнице. Янку он ударил по лицу — резко, наотмашь. У самого лица горело — щеки моментально облепило ветром. Изнутри что-то треснуло, но он почти моментально понял, что это просто зубы скрипят. С порошком переборщил потому что.

Охранник хлопнул за ним дверью «Звезд» — елочки в кадках сгибались под пластами мокрого снега. Зима заволакивала город густой сыростью, валилась снегом и туманами. Люди ощущали себя как в аквариуме с каменными стенками; а мускулистые барельефы разбухали и неповоротливо шевелились под тяжелым ленивым ветром.

Серж влетел в сонное бистро, как бэтмен. Было пять утра.
— Быстро, быстро! Погнали!

Он выхватил из кошелька случайную купюру, бросил барменше. Мишка схватил Артура за ворот куртки и вытащил из-за столика.

— Он вышел, один, — бросил Серж, вскакивая в машину. — Пока мы ваш кабак искали, упустили его. Козлы.

— Ничего, — сказал Казбек, заводясь. Пойдет домой — больше, я думаю, некуда.

Они гнали по темным улицам, напрямик. На каком-то перекрестке Артур проснулся и заорал:

— Вот он! Там, где перекресток только что проехали!

Казбек, чертыхнувшись, затормозил. Из-под колес взлетел веер свежевывающего снега. Он вывернул баранку, разворачиваясь к перекрестку. Парни прилипли носами к стеклу, высматривая в полутемных улицах неясный силуэт.

— Так что, Дань, так и не поехал в Нью-Йорк? — Яна кривляется. Верно, таблетку съела уже. Лето так и не наступило, очень холодно и почти утро. Почти полгода прошло

с разговора в «Варшаве», когда он вышел из себя и опрокинул Янку вместе с табуретом.

Отработав до осени в шашлычной, он сдал дела и забыл про Яну. Параллельно поступал в аспирантуру. С октября по март сидел, как сыч, над диссером и романом про Монсегюр. Сначала еще пытался лечить уязвленное самолюбие какими-то приключениями, — потом как забыл. Замерз. Угомонился. Теперь он понял, о чем она, собственно, говорила — когда любишь кого-то, то никого более не хочешь. Даже симпатичный человек в неправильном качестве, рядом, живот к животу — глубоко отвратителен. Время от времени выбирался в клубы, втайне мечтая повстречать Яну; одним глазком увидеть и ощутить знакомую дрожь в пальцах.

Наконец они столкнулись на дурацкой вечеринке, посвященной очередному элитному бухлу. Яна виснет на худом парне с животиком. Животик под олимпийкой пожевывается, как таракашка.

— Это Денис, известный клубный промоутер! — верещит Яна. Кому известный, хотелось бы сказать Даньке.

— Это неважно, — уже отвечает Яна на чей-то другой вопрос. Рядом с ней рисуется еще один — плечистый мальчик с бисексуальной внешностью. Смотрит на Даньку с кривой улыбкой, насмешливо.

— А это ведь Толян... — журчит Яна, покачивая пальчиком. То ли грозит, то ли заигрывает.

Они увиделись в «Пяти Звездах» — новооткрытом москвичами клубе, где арт-директором Макс Грищенко. Данька помнит его по Олежке, который так и не открыл свой итальянский ресторан — порезвился в ландшафтах родного города и свалил в Европу. На большом танцполе пустынно; Данька смотрит на Яну. Яна виснет на Денисе. Диня — та еще штучка; явно хочет сбегать девушку не в себе и не знает на кого. Данька подходит.

Ему становится противно, он разворачивается, и тут Яне становится плохо. Друзья с матерком суетятся, Толян пытается ее подхватить, но крепкие руки отказывают, он только хихикает замучено. Бегут охранники. Данька оказывается один. У Янки на губах пена. А у него денег только на метро, все спустил этой ночью. Янка, Яночка. Подхватывает ее. Сто баксов нашел, быстро, — говорит Толе. И не видели тебя здесь. Вы ее отвезете? — говорит Толян, внезапно переходя на «вы». Известный клубный промоутер испарился.

На улице Яна блуждает по знакомому бульвару, спотыкается о поребрики. Она выглядит тихой и потерянной; ее шатает. Даньке в эти полгода тоже было несладко, но он все равно чувствует вину и невыносимую, непоправимую жалость.

— Янка, merde... Соберись, — говорит он, взмахом руки утирая ей слезы. Апрель, где-то стучит вода. Где-то над крышами домов возвращаются птицы.

Они едут на такси к нему в Петергоф. Постепенно светает; небо становится прозрачным и синим, как звездчатый сапфир. Яна болтается у него на плече, время от времени ее тошнит. Тогда они тормозят и Данька ведет ее к обочине. Водила каждый раз гудит и набавляет цену. Голые кусты волнуются, свистят под ветром. Янка плачет и говорит, что ей уже неделю как двадцать пять, а вокруг все та же беспробудная хуйня.

Утром Яна встает и начинает болтаться по квартире. Вот ничего себе, ей уже хоть бы что, а у него похмелье. Какого черта.

— Дань, где моя одежда.

— В ванной. Ты ее всю вчера заплевала.

— Да... — Яна задумчиво ковыряет в ухе ватной палочкой. — Кое с чем надо завязывать. Вызови мне такси, — и смотрит, вся честная-честная.

Данька тянется за штанами. Вот, — говорит он. — Сдача. Это бабло твоего друга Толи. Разбирайтесь сами.

Какого Толи? Мне плевать, какого.

Тут Яна начинает плакать. Дань, — говорит, — увези меня отсюда. Черт, у тебя есть деньги?

Данька садится на кровати и смотрит на женщину — ей двадцать пять едва, но утром она выглядит не ахти. Черт, ладно, — вскакивает он и уходит в ванную. Она видит, что он спал в трусах.

— Дань, а мы не трахались еще? — игриво заглядывает она в ванную, уже понимая, что победила. Данька сердито задергивает занавеску.

Через два дня он снимает с карточки все, что там есть. Они с Яной улетают в Дахаб.

Они торчат на перекрестке минуты три.

— Ну и где твой призрак полица?! — наконец злобно раздражается Казбек.

Артур что-то мямлит и прокидывает улицу взглядом. Очень тихо падает снег, алкаши толкуются, как бабочки, у огонька ночного магазина.

— Может, в магаз зашел? — жалобно спрашивает Артур. Миша неопределенно мотает головой. Мечтательно смотрит в небо. Небо низкое и тесное; не обещает ничего хорошего на ближайшие четыре месяца.

Данька купил бутылку вина и сигарет; сразу две пачки. Рассовал все по карманам и вышел в темное зимнее утро.

В проезде показалась маленькая на свежем снегу темная фигурка. Голова непокрыта, карманы оттопырены.

— Все, — сказал Серж. — Вперед, ребята.

Они вывалились в ночь неуклюжими мишками в пуховиках. Казбек замешкался. Каркуша шел, то опуская, то задирая голову.

Ночные улицы проветриваются от истока до устья. Данька печатает шаги в мокрую пленку снега, прикрывающую асфальт. Ему хотелось в Каир, но Янка заторопилась

на «Русскую волну». Дахаб; бывшая бедуинская деревня. Серферы, дайверы и диджеи собираются на берегу Красного моря — ловят волну и кайф. На фестивале Даньке не понравилось — те же лица, только в профиль; к тому же у него было другое занятие — гораздо интереснее и больней. Он крал Янку из общества себе подобных, они нанимали джип и ехали к бедуинам. Лежали под звездами. Отовсюду задувал песок. Свистели пальмы — была весна, и ветры на побережье еще не кончились.

В Дахабе была целая русская колония. Бывшие топ-менеджеры обслуживают дайвинг-клуб. Этакая новая каста невозвращенцев: приехав в отпуск, не захотели обратно.

Вечерело. Они поднялись на плоскую крышу. Дом принадлежал Мухаммеду Ширину — наездник, танцор, говорит по-русски и постоянно курит гашиш. На крыше уже сидела его подруга — крепкая, красивая девица Настя из московского еженедельника.

— Я жила в Штатах, в Швеции, — делилась она с Янкой. — Постепенно все становится скучно. Я вернулась в Россию и начала работать. Ну, через год примерно я села бы в кресло главного редактора. Квартира у меня и так нормальная; машину бы поменяла. Что дальше?

Настя вдохнула; поболтала ладонью. Море в ста метрах от дома светилось.

— А здесь у нас почти коммуна. Все родные. И вечное лето. Айда к нам.

Далеко в море вспыхивали фонтанчики воды.

— Это, знаешь, козлы московские, — пояснила Настя. — Падают на глубину в акваланге, балласт сбрасывают и выпрыгивают с немеряной глубины на поверхность. Жидкий азот закипает в крови — и весело им, приход. Да и вообще — вроде как дельфины. А потом валятся с кессонной болезнью. Никакой защиты против дурака. Сейчас пойдем за ними на катере. Хотите с нами?

Чингис очнулся перед компанией из четырех человек. Напротив стоял Медведев, Лажевский — чуть поодаль и косился виновато. Делал вид, что ему тут не с руки. До дома лейтенанту Ворону оставалось только двор пересечь.

К утру слегка развиднелось. Над головой, как в опрокинутом ковше с холодной и мутно-синей водой, мерцали легкие отблески — северные звезды. Становилось холоднее; Даньку вело; у него замерзали губы. Миша говорил о чем-то, но он не слышал.

Миша видел небольшое смуглое лицо, маячившее среди темени. Даниил Андреевич встряхнул головой и ровно попросил: дай пройти. Миша попятился. Данька шагнул. Ребята не двигались.

— Насмерть стоим, а?

Подоспел Казбек. — Зачитали? — деловито бросил он. Миша кивнул. Приговор привести в исполнение. Лови, земля. Ворон еле устоял на ногах. *First we take Manhattan, then we take Berlin?*¹ — Данька еще ухмылялся из-под руки, но уже не был ни Даниилом Андреевичем, ни даже Каркушей, а превратился в обычного парня, которого справедливо наказывают ему подобные. Миша наконец отыскал в себе правильное чувство — едкую, острую боль и злобу. Перед ним стоял брехун и предатель, стоял и нагло выделялся. Его надо было наказать. Научить бояться и отвечать за базар. Миша подхватил его на подножку; Данька споткнулся, отскочил и обернулся к нему, пытаясь увернуться от бешеного Казбека. Мишка ударил. Оправа рассекла Даньке бровь. Он с легким удивлением стянул очки, провел по лицу ладонью, стряхнул с пальцев кровь.

— Миша, ты чего? — Данька сам не заметил, что обратился к Медведеву как ровесник — по школьному прозвищу.

¹ Сначала мы возьмем Манхэттен, потом возьмем Берлин (*англ.*). Цитата из Леонарда Коэна.

Мишка снова ударил. Молча. Снизу вверх, в подбородок. Он видел, как Данька распахнул руки и оступился. Очки выронил под ноги. Серж бросился и наступил на них. Очки мягко утопи в снегу. Казбек схватил его за волосы и попытался сбнуть голой мордой о колено. Каркуша упал на колени, вывернулся. До подъезда полминуты бегом, через двор и направо.

Додумать ему не дали, не дали даже подняться. Бросились вместе, повалили. В кармане хрустнула бутылка вина. Миша запыхался и смотрел, как любимого учителя втоптывают в мокрый снег крепкими армейскими ботинками. Вино в темноте пролилось фиолетовыми каплями; как чернила. Чингис юлой перекатился в сугроб, схватил Мишу за рукав куртки и умудрился вскочить — вострепанный, расхристаный. Поднялся на ноги, плавным движением отправил руку под пальто. Скрипнула кобура.

— Миша, назад.

Небо гудело. Снег таял на разгоряченных лицах. Во дворе росли деревья — зимой просто мокрые и лиловые столбы. Заснеженные деревья и болтающаяся между ними парочка недорослей средних лет, — родителей то есть, — это было первое Данькино воспоминание. А он стоял по колени в подмерзающем насте, маленькое меховое недоразумение в облаке снежинок и взаимной любви.

Миша посмотрел на мятого человека с решительно и миролюбиво отброшенной за спину рукой. В руке — пистолет.

— Назад! — заорал Ворон, но тут на него кинулся Серж. Маленький, в рост Даньке. Бесстрашный. Чингис отбросил его ударом ноги и снова попятился, полуобернулся почти, чтобы бежать, и в этот момент Миша понял, что он не выстрелит. Данила... — предостерег Миша и упал вперед, подминая под себя лейтенанта, пытаясь выкрутить ему запястье. Чингис действительно не выстрелил, да он даже затвор не передер-

нул; руку высвободил, но пистолет не удержал. «Макаров» мягко ткнулся дулом в сугроб.

Серж валялся на снегу и стонал, что хватит, пока лейтенанта валили и пиздили уже как следует. Лажевский на половине истории прислонился к дереву, да так и стоял, в полубмороче.

— Сержа подбери, — гаркнул ему Миша, когда на казбеков бешеный мат, — вот для чего он его бережет, оказывается! — хлопнула дверь подъезда. Лейтенант лежал вниз лицом, вытянув вперед небольшие аккуратные руки. Пальто задралось на спину, и Миша запомнил съехавшие на бедра брюки и нелепо оголившуюся поясницу. Казбек одним ударом ноги перевернул его.

Когда Чингис открыл глаза навстречу утренним сумеркам, вокруг валялся мятый снег и курлыкали помоечные голуби. Голова была чистая и святая, над ней стоял сержант Леша и вызывал наряд.

— А ты говоришь — дети, — кивнул Петрович. И, перебросив через стол оформленный рапорт, кивнул: подпиши.

Яна приехала к полудню. Данька болтался в ванне и курил, снова напоминая ей любимого в детстве Джима Моррисона. Янка присела на бортик и смотрела, как легкая шерсть у Ворона на груди колышется в такт его ленивым движениям. В ванной густо воняло «сК — Eternity»; и это был не бренд, а просто — любимые духи. Данька слегка сдвинул колени — потому что она когда-то говорила, что видеть голого и при этом невозбужденного мужчину ей неприятно. Какая она была дура. Она видела, что ему плохо, замечала постепенно проступающие на лице кровоподтеки. Она ничего не могла поделать: просто им было плохо вдвоем. Наконец Данька поднялся, обрушивая с себя каскады воды. Завернулся в полотенце и ушел; упал вниз лицом на диван в гостиной. Янка легла

рядом и тихо гладила его мокрые волосы. Она знала, что от этого вряд ли становится легче, но в такие мгновения они пытались быть вместе.

Холодные фары ткнули в нижние окна. Алька сидела за столом напротив Славки и раскладывала перед ним разноцветные тряпочки.

— Это батик, — объясняла она. — Роспись по ткани, — пояснила, наткнувшись на его взгляд — неподвижный, тупой и теплый. Медведев кивнул. В последние полгода в Альке появилось такое душемутительное нежное кокетство, что в ее присутствии он зачастую не мог вымолвить слова — только сидел и глупо тарасился, как ослепший от дневного света филин. Алька пожала плечами и снова склонилась к своим тряпочкам. Будто размышляла, стоит ли вообще говорить с Медведевым или с него одного ее присутствия довольно.

— Ты меня проводишь? — спросила она.

— Отвезу даже, — кивнул Миша. — Подожди немножко, Борька машину пригонит...

Он привстал и откинул занавеску. Под окнами их первого этажа как раз зафырчала машина. Что-то рано он, — с тоской подумал Миша.

Стекло окна постепенно покрывается колкой изморозью — вчера снег весь стаял, а сегодня снова прихватывает морозцем. На кухне тепло; в трубах уютно журчит вода. Потрескивает синими язычками конфорка.

Отделав Даниила Андреевича, они пошли к брату Боре и впятером выпили водки. Миша проспал весь день и половину следующего; к вечеру зашла Алька. Уже неделю он зывал ее под предлогом найти покупателя на тряпочки. Что за тряпочки, он понимал смутно, но в случае чего готов был сам купить у нее хоть целый бельевой шкаф.

— Я тебя утомила уже... — улыбнулась Алька. — Всех уже задолбала этими батиками... На студии говорят, у меня хорошо получается. Вот я всем и хвастаюсь. Даже Каркуше звонила, но у него телефон не отвечает.

Еще бы, не отвечает, — злорадно подумал Миша. Этому сейчас явно не до тряпочек. Что-то внутри нехорошо дернулось — Миша снова вспомнил безвольную фигуру в разворошенном снегу, и как они утекали из нехорошего двора.

Журчит дверной звонок.

— Борис? — Алька пугливо дергается. Бориса она недолюбливает и, кажется, боится.

Миша щедро распахивает дверь, и его тут же берут под руки. Там, на площадке — два парня в камуфляжных штанах. Штаны смешно точат из-под длиннополых шинелей, ботинки украшены шпорами. Дружина.

Медведев-младший пятится было в прихожую и тут вспоминает, что нельзя — там Алька. Ее голосок что-то лепечет из кухни — спрашивает про Бориса. Пока Мишу выволакивают во двор, он замечает две вещи — Алька стоит у освещенного окна, не осмеливаясь даже пошевелиться, а около машины — Даниил Андреевич с опухшим от синяков лицом. Рядом толстый капитан. Миша почти ничего не слышит от страха, все как сквозь туман, только снова видит — Алька все-таки выбегает во двор, но смотрит не на него, а на Даниила Андреевича, а тот машет рукой в грубой перчатке и четко произносит:

— Сажайте.

Борис является поздно, как и полагается старшему брату. Застает Альку под дверью — пока Мишу сажали в машину, входная дверь захлопнулась, а ключей у нее нет. Боря выслушивает Альку, садится рядом и все говорит: так, так, — будто загибает пальцы.

— Говорил я придурку, не суйся в эти интеллигентские игрища. — Боря с досады сплевывает прямо на лестницу. —

Проку никакого, а оплачивается от года до десяти. Башки своей нет... Этот доцент ихний небось сидит на кухоньке, кофеек попивает. Зуб даю. А малышня расплачивается. Они что, с ума посходили все? — Борис бьет кулаком в колено, поднимается. — А может, это они ко мне подбираются? Как думаешь? С этими ментами новыми я ни хера не понимаю. Чего хотят, и вообще. Берут кого попало, будто заложников набирают — табуретки там мужик стащил или картриджи для принтера, а его без суда и следствия на принудительные работы или вообще драсть на площади. Бить, на площади. Слыхала про такое?

Алька смотрит на Бориса с испугом. Ага, палками по пяткам. Точно, спятил Борян. Двинулся от лишений.

— Тебя домой отвезти? Да не реви ты, — у Борьки в глазах темно, он думает о Славке, говорит, а у самого губы не слушаются. Он смотрит на Альку и видит, что она не ревет вовсе, просто рассматривает пыль под ногами.

— Борь, они ходили листовки клеить. А потом лошадей выпустили. А ты знаешь, что наш классный — ну, ты его помнишь, мы молились все на него, — теперь в Управлении работает?

Теперь Алька ревет, но Борька не хочет ничего сказать или не может. А хочешь, оставайся у меня, — говорит он.

— Домой, — просит Алька. Борис бренчит ключами, помогает ей подняться и ведет к машине.

Алька валяется в тесной горячей ванне. Лампочка мигает.

Нездолго до дурацкой истории про диссидентов и Пелевина Даниил Андреевич привел их в конюшню, пересажал всех на лошадей, а потом решил принимать зачет.

— Знаете, какая была практика у монголов во время их победоносного нашествия? Если отряд бежал, после убивали каждого десятого. Без разбора. Поэтому монголо-татарское войско, состоявшее из сотен разных племен, почти никогда не бегало с поля битвы. По этой логике, если

Смирнова не сдаст зачет, Медведев тоже получит двойку. Но мы пытаемся иметь в виду, что в итоге каждый из нас что-то должен только самому себе. Банальному чувству человеческого достоинства. Поэтому — оценки после, но перед тем, как я посажу вас на лошадь второй раз, каждый должен мне рассказать то, что ему запомнилось про монгольское нашествие.

— Даниил Андреевич, — говорит Алька, — про старое ваше задание. Когда вы просили рассказать что-то про семью, историческое.

В коллективе возникает недовольный ропот. Ворон хлопает стеклом по голенищу и кивает:

— Говорите, Смирнова.

— Мой дед был морским офицером на Дальнем Востоке. Он всю войну водил конвои, а потом воевал с японцами. — Алька переминается с ноги на ногу, ее голос становится необычно звонким. — Вскоре после войны мою бабушку, с которой они тогда еще не расписались, забрали в НКВД. Мой дед собрал матросов со своего корабля и взял отделение штурмом. И отбил бабушку. Так говорит моя мама, и я ей верю.

Ворон улыбается, потом смешно щелкает пальцами.

— Это вы о том, что человек иногда может противостоять ходу истории... Ну-ну, — качает головой. Тема Каркуше нравится, но он явно не совсем верит. — Ну что, Алевтина. Садитесь на лошадь.

Ворон держит под уздцы мягкого серого мерина, Алька неловко закидывает ногу. Ворон подсаживает ее. Смирнова смотрит на всех с высоты лошади. Даниил Андреевич, маленький и очень ладный, подходит ближе и хлопает мерина по мягкому бедру. Лошадь кивает головой и пускается не крупной рысью. Ворон подхватывает узду около трензеля и бежит рядом.

Когда Алька вспоминает об этом, ей становится очень грустно. Она думает, где бы взять таких матросов; в принци-

пе, она еще беспечно верит, что чудеса бывают, но в животе шевелится гадкий скользкий холодок. Этот страх совершенно не понарошку — она понимает это хотя бы потому, что в нем нет ничего сладкого, ничего запретного, только одна жуть и мертвящая реальность, от которой побыстрее хочется отказаться.

Так она и поступает. Она приподнимается в ванне и смотрит в зеркало. Она мурлычет песенку. Боря довез до дома и обещал, что «все рассосется».

Алька смотрит на себя в зеркало и хочет быть как Лариска — худой и с лицом таким ироничным; вместо этого у нее все больше растут отвратительные сиськи, а физиономия остается тупой и детской.

В ванную грохочет Вероничка.

— Скоро ты? Хахаль твой звонит!

Неужто Миша; Алька выскакивает из ванной и мчится к телефону, на бегу завязывая халат. Она так и знала, что все будет хорошо; все будет просто отлично. Бог не выдаст, свинья не съест; Борис разрулит все, а Даниил Андреевич образумится.

— Аля, это Руслан, — говорит ей телефон гулким баском Мкртчяна. — Ты знаешь, что вчера Лажевского забрали? Тебе Ларка не звонила разве? Мне звонила, и вся в истерике.

Утро было тяжелым. Который день ныло все лицо. Данька задирал подбородок, тянул мышцы — только чтобы вызвать острое неудобство и избавиться от этой тупой, безгласной тяжести, и от ноющего, свербящего стыда.

Он рывком приподнялся над кроватью. В простынях дремала Яна. Яне было хорошо — пятикомнатная адмиральская квартира разгорожена, брошена, на стенках — черепахи. Красивое жилье на третьем этаже, с балконом и огромной гостиной, где фикусы в кадках, редкие старые ковры и мачете в бархатном футляре. И Данька, ее тененте,

у которого широкие легкие плечи, узкая талия, да и вообще обалдеть.

Яна дышит в подушку; подушка теплая и даже влажная уже. Она проснулась раньше Даньки, но не хочет первая смотреть на него при свете. Очень долго он нуждался в ней, как в дозе чистого кислорода — дурил и вспыхивал при любой случайной встрече. Теперь если и бывает с ним такое, то как в горячке — будто не отвечает за себя человек. В остальное время отвечает, и даже слишком — помрачнел, отяжелел.

Будешь ты мужиком наконец, — говорила она ему еще год тому. Получила, что хотела. Все налаживается. Все налаживается, — твердит себе Яна. Но на самом деле ей просто жутко, будто душит кто-то этой самой подушкой, а она плачет и в легких свистит — Даня, вернись.

— Дань... — говорит Яна и потягивается. — Апельсиновый сок.

Яна сбрасывает с себя дремоту и швыряется в него подушкой. Чингис легко уворачивается; смотрит на нее с любовной ненавистью. Человеческое в этой сучке по-прежнему просыпается только по выходным. Бредет на кухню, ужасается воспоминаниям. Выжимает Яне апельсин, предназначенный для нее лед тянет ко лбу. Расправляет плечи; ребра поднывают тоже. Если бы не пальто, вообще страшно подумывать. Да и так страшно; только не поэтому. Как неудобно там оказалась Алька; вот кому в глаза не хотелось бы снова посмотреть. Чингис берет в горячие пальцы стакан и ловит себя на мысли о том, как и почему Алька Смирнова оказалась в пол-одиннадцатого вечера в медведевской квартире. Но не его это дело в конце концов, — говорит он себе и распаивает дверь ногой.

Яна в спальне задергивает халатик. Привычно направляется к зеркалу. На трюмо валяется кобура и разбросаны клочья ваты — это она вчера пыталась ему лечить разбитую морду. Лечить она не умеет; еще она не умеет готовить и до-

жидаться по вечерам. Она вообще много чего не умеет, а то, что умеет хорошо, ему скоро не понадобится.

На пороге светится Данька — солнце бьет ему в лицо. Стучается о журнальный столик стакан, Данька идет к телефону. Тот звонит, не дожидаясь прикосновения.

— Александр Петрович? Я хотел бы отозвать рапорт.

— По поводу?

— Не бил меня никто, — Чингис морщится — врать надо было соображать заранее. — Вернее, бил, но уже потом, и в общем я сам с ними сцепился. А пистолет, вы знаете, я теперь вспомнил, я еще до этого его потерял.

Петрович молчит, потом хмыкает.

— Данила, ты соображаешь? Ты мне сейчас на статью наговорил. Соображаешь? Спасибо, я добрый и забыл. Все, у тебя проверка завтра. До свидания.

Чингис валится в простыни, Яна кладет на него мягкую грудь и тянет теплый сок. Данька осторожно переводит дыхание — ему немного больно. Яна прижимается щекой к его животу, отстраняется и встает. Обоим становится легче и удобней.

...А ветки скребут по стеклу. Быстрый-быстрый ветер. По-земка по застывшим волнам грязи. Ближе к берегу, почти у горизонта, горит одинокая помойка. Шум. Где-то далеко в коридоре. Окно холодное. И лоб теперь тоже. Холодный и влажный. И думается легче и свежее. Морозный воздух гудит где-то под ногами. И нет ничего, кроме этого гула. Ни-че-го нет. Только след на стекле. Тает белесое пятнышко и буквы на нем. Исчезают.

Страница из другой жизни, книга из позабытого себя, лежит на подоконнике, раскрывается веером, гностический змей — кусается обложками. Чингис забывает ее просто и мимоходом, завтра проверка, ему не хочется об этом думать, ему не туда, он закрывает кабинет, вывести солового,

широкой рысью по шоссе на юго-запад; стоп, кольцевая, манеж.

Парк наутро замело, посему демонстрация происходит в помещении. Петрович с какими-то чинами из Управления примостились на завалинке, наблюдают. Капитан хмурится все больше. Без году неделя молоденький мент. Ноги в высоких шнурованных ботинках. Нелепые шпоры. Недобрый взгляд на маленького, уютного в седле лейтенанта Ворона. Чингисхан. Нет. Хан Чингис. (Темные пятна раскосых глаз прячутся за ресницы.) Спецподразделение «Стрелец». Курсанты падают с лошадей тяжелыми осенними грушами, матерятся. Трут отбитые задницы и снова матерятся. Кентавры из ментов, конечно, аховые. Но это только начало.

— Строевой рысью... а-арш!

Варька в новенькой форме, плеткой по блестящему голенищу.

— Не умеют они ездить. Коровы.

А пока нет у нас конной гвардии, потому что то, что здесь катается, это не гвардия. Петрович презрительно комкает губы по результатам проверки... а вот голос у тебя звонкий, звонкий у тебя голос, ты пел, а я слышал.

— Без разговоров, Данила. Надоело. Штрафной наряд. Завтра чтоб при параде.

Вещи она собрала быстро.

Оставалось только дожждаться Даньку. Окна потемнели, а его все не было. Впрочем, уже начало декабря и темнеет рано.

Яна пошуршала отрывным календариком за восемьдесят какой-то год: на оборотах говорилось про советские праздники и домашние заготовки. Календарик был почти весь сточен педантичными хозяевами, дни оборваны до середины декабря, но там и остановились. Видимо, произошло что-то,

помешавшее обычному ходу времени; людям стало недосуг считать дни, и про календарик забыли. Умер кто-то или родился.

Четырнадцатое декабря. Кольца восемьдесят какого-то года остановились через день после Данькиного дня рождения. Яна усмехнулась — символично. Она смотрела на чемодан и соображала, не подождать ли Даньку еще немного. Они ни разу не отмечали вместе его бездник.

В замке завертелся ключ.

Данька вошел и сразу споткнулся о чемодан. Посмотрел на нее быстро и внимательно. Кивнул и передвинул чемодан ногой к стене.

— Чаю выпьешь на дорожку?

Спросил, ответа ждать не стал и ушел в кухню. Грохнула посуда.

Борис увез братишку с Донбасса в шестом классе, когда стало ясно, что там всё — ни учебы, ни работы нормальной. Славке-то было все равно, где жить, но Борис по молодости успел погорбатиться в шахте, и младшенькому такой радости искренне не советовал. В большом городе Медведев-младший освоился быстро, только вот не мог привыкнуть не к холоду даже, но к межсезонной промозглости.

Борис аккуратно упаковал два теплых свитера, сигареты. Славка покуривает от случая к случаю, но там, где он сейчас, сигареты пригодятся. Он бросил передачку на заднее сиденье и завел джип. Ключ подрагивал в гнезде зажигания.

Алька ждала Борю у метро. Он еще по телефону предупредил, что свиданок не будет, просто передачку кинет через знакомого и все, но девчонка уперлась. Ну и ладно. Вдвоем чуть веселее. Борис ухмыльнулся в зеркало заднего вида. Ничего, прорвемся.

— Куда пойдешь?

Данька обещал чай, но заварил кофе. Турка зашипела на огне. Чингис обернулся на Яну и упустил. Быстро сдернул турку с плиты, крутанул выключатель, двумя пальцами кинул тряпку на растекшуюся гущу.

— В Дахаб, — жалко улыбнулась Янка.

— За солнцем вслед? — усмехнулся он. — Сахар, — кинул на стол жестяную плошку с арабской вязью по бокам.

Яна отказалась. Кофе все равно был сладковат и мягок; Данька кинул чуть сахара, а еще — щепоточку соли. Поклонник бытовых парадоксов, подумала Янка. Данька стоял у окна и дул на кофе.

— Кес ке се?¹ — дернул в окно подбородком. — Такси вызвала?

У подъезда тормозила машина.

Ворон перевел на нее взгляд и улыбнулся — легко и как-то мертвяще; будто ему в носогубные складки наркомоз вкололи и привычные ямочки при улыбке никак, никак не проступают. Будто это вообще — старая фотография, на которой все нюансы и штриховые линии стерты, и всего-то отчетливо — глаза, волосы, линия плеч. Погоны с нелепыми советскими звездочками — как знак чего-то, ухнувшего в небытие всем весом, но по-прежнему увлекающего за собой живых.

— Подождут, — пробормотала Яна. Смотрела недобро и потерянно. Опустила глаза; взгляд цеплялся за предметы. Ложка. Чашка в блюдечке. Часы-будильник. Часы наручные. Его. Снял и на стол бросил.

Ворон молча наливал себе кофе. Аккуратно, чуть не по капельке, чтобы не пролить. Попросил — осталась бы, наверное. Но Данька молчал, потом начал что-то насвистывать. Не томи, мол.

¹ Qu'est-ce que c'est? — Что это? (фр.)

Яна поднялась. Кофе так и не выпила; пригубила только. И без того все внутри натянуто.

— Присядем на дорожку? — усмехнулся.

Примостился напротив. Бедром на стол — что за поганая привычка; на столе сидеть.

Яна тяжело опустилась обратно. Влипла, будто к табуретке приклеилась. Издевается, козлина, — без злобы подумала она. Из комнаты трезвонил телефон.

— Побыстрее никак не получалось? — Данька шел впереди с чемоданом и чуть не угодил шоферу дверью в лоб. Тот уже у подъезда околачивался. Злой испитой мужик. Ему никто не ответил. Чингис закинул чемодан в багажник. Давай, легкой дороги. Осчастливь там кого-нибудь.

— Ты приедешь? — остановила за рукав.

— Нет, конечно. Сейчас никак.

Впервые у нее не получалось настаивать. Не получалось переступить через себя. Нелегко унижаться перед любимыми.

Таксист за баранкой закипал уже.

Закипало маленькое тесное небо в прямоугольном про свете сталинских пятиэтажек.

— Мы дольше собираемся, чем едем, — усмехнулся Чингис. Это ложносочиненное «мы» укололо ее больше, чем любая правда. Правда о том, что она не нужна ему больше и что с сантиментами опоздала. И что это за поганый закон такой, что подлость и даже равнодушие своего человека дороже, чем чужая собачья преданность. А милостивая ложь шпарит, как кипятком.

Он придерживал для нее дверь машины.

Ее колотило. Данька мотнул головой — мерно и равнодушно, как лошадь. Но желваки на скулах погуливали. Когда она это заметила, то ноги как одеревенели; тело налилось сладким ужасом. Яна застыла на пороге подъезда — смотрела и не подходила; будто ожидала, что машина сейчас рванет.

Данька раздраженно хлопнул ладонью по дверце и расхохотался:

— Слушай, кто тут уезжает, ты или я? Что за цирк вообще?!

Он в несколько шагов оказался рядом. Она вцепилась в его руку, попыталась поймать взгляд; в глазах лукавства не было, а вот шрам от рассеченной брови будет насмешливый, вроде как — ...и ну? Ворон обнял ее, ожег дыханием ухо. Она очень долго мечтала об этом; как она уезжает, а они остаются. Очень близко она увидела его глаза, запомнила темные, сизо-синие, будто графитом отсвечивающие радужки, а еще — что он смял ее, как шубку, и так затолкал в машину. Только отделенная от него стеклом, Яна нашла себя и улыбнулась. Данька стукнул в окно костяшками пальцев: ни пуха! — расслышала она. Ага, ни перышка. Таксист шумно выдохнул, матюгнулся и снял с места. Данька отшатнулся и исчез в накатившей темноте.

Голые ветки дворовой сирени скребли по стеклу; термометр падал к ночи. Яна сама ощущала себя замерзающей капелькой ртути, но тут клапан поддался, в голове зазвенело и ее вынесло на поверхность.

Борис еле успел отвернуть машину — из тихого дворика, который уже начали потихоньку огораживать, на бульвар, вспенивая ледяную крошку, выкатилось такси.

— Вот уебище, — покачал головой он, — здесь разрешенная скорость десять.

Борька зажал губами сигаретку и глянул на Алевтину. Он все не мог решить, поможет она ему или помешает в предстоящем разговоре. Дачку они отвезли, ничего хорошего не узнали и теперь ехали на поклон к Даниилу Андреевичу.

Будь Каркуша обычным нормальным парнем, Борька знал бы, как с ним следует вести речь. Хрен разберешь, с чего эта

училка в органы подалась — может, случай. Может, самоутверждается. Растит большой экзистенциальный хуй.

— Здесь, что ли? — Борис проскочил подъезд и начал сдавать назад. — Как наши дурни нашли его вообще? Он же раньше в Петергофе жил?

Алька пожала плечами. Нашли на свою голову.

— Посиди пока, — Борис подхватил с заднего сиденья пакет с водкой и ветчиной.

Алька остается в машине. Потихоньку переводит дыхание. Она не может представить, как Данька с Борисом разопьют по двести и придут к общему знаменателю.

Дверь старая; даже кода нет. Борька исчезает в парадной. Аллька оглядывает дом: все окна темные, только на третьем этаже светится чья-то кухня. И форточка не закрыта.

Чингис посмотрел вслед таксисту, развернулся и, как был, в легкой форменной куртке, зашагал в магазин за сигаретами. Маятник наконец качнулся в его сторону. А он отступил.

Сколько лет они барахтались в этом море; целая маленькая жизнь.

А что пенять теперь; любовь — такая сомнительная благодать, и Янке теперь тоже пришел черед побывать с нею наедине.

Фонари загорались через раз; в сумерках светилась поземка.

Он взял с прилавка пачку. Сдачу, сдачу забыли, — причитала вслед продавщица. Покорно вернулся, взял шекели и вышел в синий сумеречный город. Его дорога лежала через острова; летом здесь среди зелени резались камни бывших правительственных дач, белели домишки яхт-клубов и хлопали паруса однодневных шалманов. Вся эта сторона города ассоциировалась с Янкой, но ее больше не было ни здесь, ни вообще — только в другом конце стратосферы, а после нигде; как у опального при жизни и затертого после как по-смертный обол поэта Бродского. Направляясь к реке, Дань-

ка печатал стихи в такт; а что еще делать, если собственных мыслей — полторы, и те обсточены морозными тромбами, как крошево льда на реке скованы; а кровь гуляет внутри в закутке и бьется от стенки к стенке, перекачивается темными волнами, как в полынье вода.

В тот момент, когда самолет ложился на курс где-то над железнодорожной станцией «Аэропорт», Чингис переходил уже третий мост; не замечая холода и на бегу покачивая головой — будто сам с собой разговаривал; а сам себе никудышный собеседник: голова пустая и легкая, легкие разрывает морозный воздух. Мышцы ныли, будто сам этот самолет разгонял и в небо выталкивал.

Он пошел по набережной, метров через сто спустился на лед. Где-то в стороне моря небо еще светлело невесомой прозрачной зеленью; в зените ершилось мелкими, с края подсвеченными облаками: будто перышки у птицы на грудке. Восточное крыло окуналось в нелегкую густую темень; туда и свернул Чингис, решив заскочить к Саше Станишевскому. Его след еще некоторое время копошился в снегу колючей щеточкой, но вскоре небесное устье потемнело, а отсветы и тени на полотне реки сравнялись, разгладились, как мелкие морщины на лице покойника.

— Это не существенно, — Станишевский отмахнулся от извинений. Данька стряхивал с ботинок снег прямо в тесной прихожей. Под ковриком моментально образовалась талая лужа.

— Решил зайти, пока хоть кто-то в этом городе со мной здоровается.

— Ты, главное, предупреди, когда с тобой прекращать здороваться. Мало ли, не разберусь. Чай с водкой будешь?

Станишевский был странным кандидатом в исповедники — свои резкие и зачастую безжалостные соображения он облакал в симпатичную интеллигентную форму; проведя серию стремительных логических выпадов, сломав оборону

и разделив оппонента под орех, смущенно улыбался, будто приподнимая фехтовальную маску: извините, мол, туше. От этого достоверность сказанного только увеличивалась и становилось совсем тоскливо. Тем не менее, обняв ладонями чашку чая, щедро разведенного с водкой, Данька почувствовал, что воля его плывет и сейчас он может сделать совершенно ненужную и нелепую вещь — то есть начать вешать на замечательного, но все же далекого человека свои беды и горести.

— Ну, как дела у знатоков исторической механики? — Станишевский улыбнулся и поболтал ложечкой в чаше.

С Сашей они были знакомы по университету — Данька в свое время из любопытства захаживал на его спецкурс. Современная философия, которой занимался Станишевский, вполне могла питаться сором любых эпох и ситуаций, а вот наоборот обычно не получалось — одноклассники тихо посмеивались над Данькой и строили догадки, как Хайдеггер, Лакан и Ханна Арендт свяжутся у него в голове с куртуазным кодексом Андрея Капеллана и судами любви Марии Шампанской. Впрочем, Саша был замечательным рассказчиком, и слушать его можно было просто ради удовольствия и необходимой интеллектуальной гимнастики.

— Незачет по педагогической практике, — хмыкнул Чингис.

— О дела, — покачал головой Саша. — Швы накладывали? — со знанием дела уточнил он, толкая Даньку в скулу кончиками тонких узловатых пальцев. — Повернись-ка к свету. А, ничего, ерунда. В споре рождается истина.

— Si, je m'entends bien avec lui¹.

— Что-что?

— Фигура речи, — усмехнулся Чингис.

Станишевский пожал плечами.

¹ Да нет же, мы ладим (*фр.*).

— Если ты решился на интеллектуальную дерзость, то теперь не ной. Твои революционеры у Петренко заседают?

Данька убито кивнул.

— Один приходил ко мне. Как его... Медведев. Хороший парень, но пока дурак.

— Дурак сидит в предварилровке.

Станишевский поставил чашку и включил настольную лампу. Выключил. Пощелкал. Комнатенка и без того приятно светилась неброским уютом: в углу громоздились книжки, на этажерке рядом с диваном слоились конверты грампластинок. Даже пыль, казалось, была живая и светящаяся, как планктон.

— Та-ак... — протянул Саша. — А что там новый рескрипт за хулиганство? Не брехня? — Станишевский взял книжку со стола, полистал.

Чингис помотал головой и полил чай водкой. Жадно отхлебнул — водка плавала сверху и обжигала нёбо.

— Давай-ка я тебе рюмку принесу. — задумчиво сказал Саша.

Станишевский принес рюмку. Данька тянул водку и опускаясь в себя слой за слоем. Все, что было связано с Яной и вообще со вчера, осталось где-то у поверхности, где прогретая солнцем кромка, как расплавленное стекло. Сине-зеленая толща смыкалась над головой, и от балласта было не откупиться; его утягивало все глубже в скользкую шевелящуюся под ногами глубь, в груди было тесно и холодно.

— Ты дрожишь. Промерз, наверное. На вот, перцовки хлопни... — суетился рядом Саша. Чингис с ужасом понял, что тот, очевидно, тоже не знает, как себя с ним вести, и потому попросту проявляет положенное сочувствие. Сочувствия вот только не хватало, — со злобой на себя и на Сашу подумал он. Давай, расплзись соплей по дивану, — бесился Данька. Он резко бросил руку к лицу, чтобы по привычке поправить очки. Очков не было, была только серая перекошенная

морда. Станишевский смотрел из кресла напротив и часто трепетал ресницами.

— Не брехня ни фига, Саша. — Чингис недобро улыбнулся. Его голос звучал глухо и холодно. Он уже понял, что Станишевский не осмелится выставить его за дверь, что бы он сейчас ни сказал, и наслаждался безнаказанностью. — Завтра первое представление. И ты прикинь, какая незадача — у меня в этот день как раз штрафной наряд. Так что добро пожаловать, впервые на арене. Человек-сюжет... знаешь, откуда взялось?

— Что?

— Сюжет. Сюжет откуда взялся. От французского слова — обозначает актера в незначительной роли, которая тем не менее движет действие.

Саша катал в ладонях сигарету. Мягко улыбнулся, пожал плечами.

— Да, тебе не позавидуешь, — наконец сказал он. — Но ты знаешь, для твоего Медведева это не худший вариант. Данька обалдело посмотрел на Станишевского.

— Срок не придется мотать, вот почему. Ему следовало понимать, на что шел. А тебя вообще к школе было нельзя за километр подпускать. Ты слишком хороший рассказчик, зажигательный. Гораздо лучший рассказчик, чем думатель... Не обижайся. Тебе бы романы писать, остросюжетные... Извини мой французский, — усмехнулся. — Что, впрочем, тоже обоюдоостро. Но тут каждый должен делать выбор — либо ты идешь на дерзость и смущаешь малых сего мира, но тогда, тогда — не ной! А боишься ответственности — молчи. Что в тебе хорошо: что ты сознаешь ответственность. Что плохо? Не готов ее принять. И еще. Твоих сопляков надо было смущать не меньше, как ты сейчас думаешь, а больше. Урыть их интеллектуальными ковравыми бомбардировками, чтобы только сильные поднялись, а такие, как Медведев, приникли и хранили страх неопита перед открывшейся бездной

мысли. А ты им кончик показал, кукишем этаким поманил и обнадежил, что так легко, что каждый может... Не-ет, брат... Принимать решения на уровне мысли — это задача немногих. Об этом обязательно следовало сказать, а не оболящать фикциями о всеобщем равенстве в философии. Равенства нет и быть не может; поле мысли аристократично по определению.

— Не согласен, — с хмельным упрямством пробормотал Ворон, — что это за масонская позиция? Каждый волен выбирать, быть ему биологической единицей или все же человеком, но...

— Так я о том же...

— Не, подожди... Никому нельзя отказывать в шансе. Шансе осознания. Они были слепые кутята, я не хотел им диктовать никакую картину мира. Я просто хотел, чтобы они научились видеть.

— Они и научились. По-своему. Очень хорошая позиция — разодрать веки, отпустить делать ошибки, а после плакать о том, что они их совершают.

— Я и не плачу, я хотел помочь.

Саша расхохотался.

— Знаешь, как на стене в неисправном лифте: поздняк метаться? Пилатовская такая позиция — сначала руки умыть, а потом сокрушаться, что все равно грязные. Невозможно жить в мире и быть свободным от него; все это пуританская иллюзия. Квакер ты, Даня; вот скажи — свет — он здесь? — Станишевский звучно хлопнул себя по костлявой груди.

— Да.

— И после того, как твой дурак расхерачил тебе морду в подворотне и теперь сидит в предварилровке, а ты завтра идешь дирижировать публичной экзекуцией — все равно там же?

— Да.

— Замечательно. Поздравляю. Ты не исправим. — Станишевский улыбнулся и хмыкнул. Кажется, даже с удовольствием, будто Данька только что послужил доказательством какой-нибудь очередной блестящей теории.

Провожая до двери, Саша снял с вешалки потертую кожаную куртку, набросил Даньке на плечи и небрежным жестом отклонил возражения.

— А ты-то как? — спохватился Ворон.

— Книжку пишу... — Саша снова был задумчив и отвечал на какой-то совершенно другой вопрос. — Знаешь, с реальностью я наэкспериментировался еще при Совдепии. — Он грустно улыбнулся. — Тоже листовки клеил. Куртка, да. Занесешь, когда получится. Про трубадуров поговорим.

Данька остановился на продуваемой всеми ветрами набережной адмирала Макарова. Машины не шли. Свежо; да что там, адски холодно. Ветер сквозь одежду мокрой простыней прилипал к телу. На каком психе надо было, чтобы выскочить и в такую погоду полуодетым добрести до Станишевского. Человек, как фильтр для небесного ветра; треплет его и трет, и уносит золотые песчинки, оставляя на обмелевшем берегу сгусток пустой породы. С каждым порывом все меньше остается и веры, и воли, и благородной дерзости. В темных особняках этой части города до сих пор витают тени людей, которые, если верить расхожему представлению, умели жить и умирать, будто в танце. Эй, молодые генералы минувших лет; и кудри дев ласкать, и гривы; *qu'est-ce qu'il y a*¹, как же это у вас получалось? Меж зданиями щеточками топорщатся тополиные гривы; сверху сыплет и сыплет снег; и гривы тополей, и башка лейтенанта Ворона черно-седые, пегие, но все больше мело, и белело с каждой минутой. Стиральный порошок зимы неумолимо выводит всякий цвет.

¹Что это такое (*фр.*).

Чересполосица метели поверх черного асфальта; мостовая похожа на озябшую зебру. Тяжелая ледяная темень гнет носом в оледеневшую шкуру; вальсировать по жизни с мертвяще-бесстрашной улыбкой никак не получается, никак. Гадко и страшно от одной только мысли, на что готов пойти ради того, чтобы завтрашним утром оказаться подальше от этого города; без имени, паспорта, достоинства; сжавшимся, жалким, но живым и ни к чему не причастным комочком. Выглядывать из какой-нибудь укромной норки и только блестеть глазками, как зверек.

Неместный, нерадостный хмель путал мысли, намерения, как оперативные карты; Чингис блуждал пограничем отчаяния; вслед за метелью. Хватался то за одну ниточку, то за другую, но ни одна не заканчивалась гладко — все путались и махрились, и в пустоту. Обрывались. Он шел очень долго и добрал до сада со статуями, по зиме укрытыми в дощатые забрала. Он помнил, как когда-то любая из этих античных девушек напоминала ему Янку, как от одной визуальной рифмы диафрагма пружинилась и поджимала. Данька цеплялся за отлетевшее чувство, ворошил воспоминания, будто изо всех сил пытался доказать себе, что жив и не совсем еще стреножен страхом, безысходностью, беспомощностью. Юность отваливала, как ледяной корабль; в метели и вьюге, от моста лейтенанта Шмидта, на снежных, пушистых, молочных парусах. Он не заметил, как остановилась машина, и договорился, как в полусне. Свет — он здесь? — спросил водителя и полез в нагрудный карман за бумажником.

Борис выскочил пару минут спустя. Что-то быстро он, — подумала Алька.

Борька открыл дверь и раздраженно хлопнулся на сиденье.

— Не открывает никто.

Он шумно дышал. Борис не привык, когда что-то в мире вещей отказывалось повиноваться его кавалерийскому наскоку, пусть это была просто запертая дверь. Он опустил стекло и с ненавистью посмотрел на зловредный дом, спрятавший в себе логово Даниила Андреевича.

— А это не его окна светятся? — Борис аж высунулся из машины и начал что-то подсчитывать; та-ак, этаж совпадает... какая у нас квартира?

— Точно! — радостно воскликнул он. — Смотри... Раз, два, третье. Все правильно.

Борька снова откинулся на спинку, зажег сигарету и бешено выпустил дым из ноздрей.

— Шифруется, гад, — заключил он, выкручивая ключ зажигания.

Поутру Борис берет пацанов и снова едет к дому на Черной речке. Он еще не уверен, что будет делать, но, возможно, что разговором дело не ограничится. На въезде во двор они нос к носу сталкиваются с ментовским «уазиком». Пока разъезжаются, Боря замечает Ворона. Тот сидит, выставив локоть в открытое окно. Курит, не снимая перчаток. Перчатка белая, от парадной формы.

Водила «уазика» выруливает боком, забирается на поребрик. Выводит машину в проезд.

Джип разворачивается следом, мнет клумбу. Из-под тонкого снега выступает пушистая черная земля и торчат сухие остья цветов. Растворяется окно на первом этаже: какая-то старушка сообразила поразоряться.

Мимо трамвайной остановки, где копошились люди, пересекли реку — там, где она разваливается на рукава. Вышли на проспект. Боря держался в ста метрах и все пытался на всякий пожарный высмотреть номер «уазика», но тот еще на выезде из двора залило грязью.

Зимние улицы, как траншеи, простреливаются резким морским ветром. Ветер мчит колючий снег; с подветренной

стороны улицы белы, с наветренной — черно-буры. Тополя на бульварах еще держат скукоженные бумажные листья.

Помимо ширины, у страны моей родной, как у любой империи, есть глубина. Машина, как иголка, пронизывает жерло прямого, как стрела, проспекта, минует поперечные нити улиц, и Даньке кажется, что они летят не вперед, а вниз, по бесконечному колодцу, в ту же страну на другом конце земли, где антиподы шевелят в воздухе беспомощными вверхногами, лошади говорят и служат в гвардии, а за малейшую провинность людей переворачивают головой вверх и подставляют их беззащитные шеи холодному антиветру.

В обреченном городе Монсегюр улицы ходят по кругу, а по ним бродят люди, которым не нашлось места в реальности. Люди одеты в аляповатую национальную одежду: кожаные куртки, тренировочные штаны или камуфляжные галифе. Все тупиковые ветви человеческой эволюции обретаются в этой офшорной зоне истории, в этом городе, который, как мелкая матрешка в большей, скрывается в каждом городе антиподной страны, а стоит верхнему слою истончиться, проступает сквозь, как фотографический оттиск через тонкую пленку культурной эмульсии.

Над антигородом грохочет пушечный залп; отдается, уха-ет в каждое сердце. Звук гуляет по каменным полостям, будто в иссохший колодец уронили камень. Наступает холодный декабрьский полдень. Данька опаздывает, и Лева молча выжимает обороты из мотора, но Борису кажется, что передняя машина тащится еле-еле. Кажется, он уже начинает догадываться, куда правит «уазик» с Даниилом Андреевичем в белых перчатках.

Через остров просвистели; вот брусчатый переулочек. Горят зеленые огоньки подвального кафе, за дешевизну и простенький, но стиль — под фронтную землянку — облюбованного истфаковцами. Борька сжимается. Здесь

они с Мишанькой пили пиво; кажется, только вчера. Кафе называлось «Бруствер»; когда сегодня — спрашивал Мишку по утрам Борис. Поучусь, — смеялся тот. Потом прогуляюсь за бруствер — и пальцами щелкал под подбородок. К десяти буду.

Данька в «Бруствере» торчал уже аспирантом.

Прогрохотав последний мост, выскочили в центр. Милицейский «уазик» накрутил на колеса несколько улиц и вырулил к закрытой на ремонт станции метро. Город был велик, на окраинах еще стояла перезрелая осень, а здесь уже неделю лежал снег. В городе был свой Арбат, свой Крещатик и Привоз, был Васильевский остров и своя Красная площадь, но секли, разумеется, на Сенной.

К ступенькам метро пристроили помост; внизу шумели люди. Продавцы по краям площади сворачивали лотки и торопились на зрелище; замешкавшихся подгоняли парни в знакомой форме.

Людей становилось все больше, Лев Николаевич оставался, так и не добравшись до стоянки. Сзади его теснил неуклюжий черный джип, впереди громоздилась ограда какого-то долгостроя. Лева приткнулся к забору и встал. Лейтенант вышел, вскоре после этого толпа обступила машину. Из-за бетонного ограждения Леве не было видно того места, куда ушел Чингис. Белое небо снова начинает крошиться снегом. Толпа молчит. Голоса где-то там, за бетоном. Леве не по себе. Он опускает стекло и свешивается локтем на свежий воздух. Закуривает. Все равно ничего не видно.

— Что напряжинился, лейтенант? Будто рожать собрался. Крестным у твоих цыпят буду!

Капитан расхохотался, осекся, бросил и затоптал сигарету. Ткнул Чингиса кулаком в бок.

— Значит, так. Объясняю тактическую задачу. Сейчас привезут этих двоих...

Капитан повел Чингиса в сторону. Варька подмигнула из оцепления. Лошади отгораживали толпу от помоста. Рядком, голова к голове, выстраивалась дюжина верховых курсантов. Косились на лейтенанта, с которым в углу помоста что-то тер толстый капитан. Ворон стоял чуть не навтыжку, уронив руки в нелепых белых перчатках, смотрел вниз, на площадь. Двоих... Двоих, да. Горло сжалось. Дружинник в бронежилете бежал к помосту, размахивая рукой. За ним волочилась арестантская машина. Данька видел, как медленно, очень медленно, открываются двери. Из машины под руки выволакивают грузного Мишку и тоненького, вертлявого Артура.

После экзамена он отвел его на черный ход; был зол, собирался даже повалять сопляка слегка. Рука не поднялась. Не поднялась..., а губы занемели, Данька потянул перчатку к носу, поправить очки.

— Так ты понял, эй? — капитан толкнул его в плечо. Рука дернулась, очки съехали косо. Чингис смотрел на Петровича в немой оторопи. Глаза лейтенанта потемнели и казались почти черными, только временами взблескивали бешено.

Из машины выпрыгивали арестанты; двос — толстый мерин лет за сорок и худенький прыщавый парнишка. Чингис следил за ними сумасшедшим взглядом. Рот безвольно поехал вбок в кривой усмешке.

— Понял, да, — голос лейтенанта треснул, он весь сник, будто хребет из него выдернули.

Тетья-судья в учительской юбке и на туфлях прочитала бумажку.

Данька вместе с караулом стал на помост. Толстый вырывался и голосил; его повалили на скамью.

— Считаю. Громко, чтоб слышали, — ткнул Петрович Даньке в спину. Сказал, плюнул и ушел.

Площадь внизу волновалась; на лицо ложился мелкий снег.

Бледная спина дрожит. Трясется складками старого жира. Раз! Красная полоса поперек.

— Считай!

— Два!

— Три! — Ворон вздрогнул. — Три!

...Никак ничего не видно. Только крики. Толпа молчит. Лева вышел, закрыл машину и тихо, как-то стыдливо начал пробираться сквозь людей. Расступались. Откуда-то из-за спин. — Шесть!.. — Лева вытянул шею. Лейтенантик, навывтяжку, на помосте. Считает, морда бледная. Боров какой-то, глаза — как очки наружу, валяется на скамейке. Кричать забыл, урчит только и плачет. Лев Николаевич резко затягивается и бросает окурочок под ноги. Холодно. Слишком холодно для этого времени года, не правда ли? У людей каменеют лица. Белое небо, плотнее, пропускает все меньше света. Короткий день тает, начинает темнеть. Извините. Разрешите пройти.

— Десять!

Лева хлопает дверцей «уазика».

Метель. Урчат машины, люди смутными тенями заполняют переулки, ветровое стекло расцветает снежинками, Лева включает дворники, дворники скребут по необычно темному небу, лейтенант Ворон стоит, тяжело привалившись к капоту. Курит. Тихий взгляд внимательного сумасшедшего, единственное живое в этом лице — дрожащий в уголке рта огонек сигареты. Не меняя выражения, лейтенант тянется и открывает дверь. Вместе с ним в машину врывается ветер. Чингис, путаясь в ногах, пробирается на заднее сиденье, прячет мятое лицо в белых перчатках. Лева отворачивает зеркальце так, чтобы не видеть его склоненной головы, но скоро становится совсем темно, совсем тихо, только смыкаются стены переулков и город обрастает снегом и листовками. За

ними тащится громоздкий джип. На Юго-Западную дорогу. Лейтенант просит, негромко, после в голос, почти кричит; Лев Николаевич меланхолично подчиняется.

Тонкие японские кисточки веток медленно плывут в лиловом небе. Город сжался до размеров нескольких освещенных кварталов. Ветви растут все темнее, гуще разливается небо. Предместья. Промзоны. Машина выскакивает на шоссе, небо по обочинам стаями рыхлых туч, нервно дрожит бегущее от колес светлое пятно фар. Между серыми зубами зданий светлеет последний отблеск зимнего вечера. Данька дремлет и в полусне торопится домой, в Петергоф. Как мышь в нору. Каждый метр приближает его к покою; кажется, стоит ему добраться до городка на южном берегу залива, и все волшебным образом перемелется. Он ввалится домой с промозглого вечера, запалит конфорку. Будет крепкий кофе; такой, как отец готовил, утверждая, что это по-кубински; такой, который Янка, смеясь, называла морилкой. Он откинет занавески; в окно мохнатыми льдинками засверкают крупные зимние звезды. Завтра у Даньки день рождения; в честь этого он откроет ноутбук и перепишет сюжет с самого начала, а то, что происходило именно с ним, запрет в весомые, но не более чем слова. Дружина, лошади, листовки, оружие, милиционеры с именами русских писателей, цыгане, кавказские шалманы, бесконечная зима, бляди, бандиты и позор на площади: все это окажется литературным трепом; или трипом; или как кому угодно, но только не с ним. Весь этот топкий бред он вытолкнет из себя на поверхность, в тонкую мерцающую пленку на лице ноутбука. Скупой зимний рассвет он встретит, как всегда, на диване, с ноутбуком. Тусклое солнце — смерть нечисти! — высушит историю в то, чем ей и положено быть — в маркированные черным пиксели, в отпечатки, в опечатки. В буквы. В одну серьезную жизненную опечатку.

Возможно, весной ему снова пришлют повестку, и он поедет в Хабаровск командиром мотострелкового взвода,

но, во-первых, это будет уже весной и потому легче, во-вторых, это будет чужая и совершенно новая история, которую он сможет прожить без всякой за нее ответственности. Иншалла.

Машину уютно потряхивает. Данька с прямой спиной раскачивается на сиденье, а когда на мгновение размыкает ресницы, то видит все то же — летящее под колеса шоссе и профиль водителя по левую руку. Лева недобро поглядывает на пассажира. Щенок; сопля в белых перчатках. Может только драть глотку в знак солидарности, когда другим спины. Даньку болтает, голова клонится ниже. Что он сделал не так, что пошло неправильно; Господи, а все было неправильно. Столько злости и обиды на мир вполне достаточно для того, чтобы привычный его слой разошелся под ногами, как прогнившая ветошь.

Волосы лезут под стекла очков. Не спи, Чингис, замерзнешь носом в бардачок.

Лева сворачивает с шоссе на вспомогательную дорогу.

— Куда? — просыпается лейтенант.

— Здесь проедем, — коротко отвечает шофер и ведет «уазик» на раздолбанный проселок, гордо именующийся проспектом Буденного. По обочинам громоздятся заброшенные дачи. Дорога разбита грузовиками; Лева, сцепив зубы, с силой удерживает баранку. Мотор рычит, потом хлюпает.

— Застряли.

Совсем смерклось.

— Застряли.

— Простите?

— Приехали, говорю.

Надо подтолкнуть? Надо.

Чингис хлопает дверью, окунает полы шинели в грязь, в революционную декабрьскую оттепель все тает за одну ночь. Кладет ладони на капот, упирается ногами. Лев Николаевич поворачивает ключ зажигания. Дурак в зеркале зад-

него вида исчезает. В фонтане брызг. Шут гороховый. И при шпорах. Медаль тебе за глупость. Хватит. Пупок развяжется. «Узник» вздрагивает и затихает.

Чингис вылетает на дорогу, размахивая руками. Чьи-то чужие фары. Такой же «козел», жметесь к обочине, где посуше.

— Стойте! Стойте...

Мимо. Лева выходит из машины. Смотрит угрюмо, но ухмыляться не забывает.

— Техпомощь вызвать надо.

— Рация есть в машине?

— Сломалась.

А что не сломалось?! Нах. Машет рукой.

— Пойду пешком. Может, машину поймаю.

Иди, иди... Уходит. Нырять в розоватый сумрак. В древних берегах моря плещется ветер, свистит в прозрачном кустарнике и через пустырь летит к настоящему заливу. Рябинник у дороги стучит мертвыми гроздьями, запекшиеся ягоды падают под ноги, когда наступаешь на них, получают сочные пятна, будто новогодняя ночь и кому-то разбили нос. Еще шуршащий движением след шин рассеивается в темноте, Чингис иногда попадает ботинками в рубчатые колеи. Останавливается, стягивает перчатку и смотрит на часы. Цифр почти не видно, что-то вроде с четвертью.

Дима-Пуля звучно зевает с заднего сиденья.

— Борь, долго еще кататься?

— Чего? — хмуро спрашивает Борис.

— Жрать охота, чего...

Пулю прозвали пулей за то, что он умеет колоть фундук передними зубами и хвастается, что и пулю может сплющить таким макаром. Пуля не дурак, но адски ленив, потому и ходит у Бори на подхвате. Пуля местный: родился в совхозе «Красная Заря», подался в город на заработки. В шестна-

дцать он купил первый ствол, в семнадцать — машину и со-
товый. Держал три ларька у метро и автосервис. Все потерял
в одночасье и с тех пор относится к жизни философски, лишь
бы жрать вовремя.

— Кушать, говорю, хочется, — с издевкой повторяет
Пуля.

Третий пацан, Мишкин одноклассник, хранит сдержанное
молчание, но тоже недоволен.

— Сейчас, — сквозь зубы цедит Борис. «Уазик» свернул
на боковую дорогу, и с тех пор его не видно. Куда подевались;
злитесь Борька. Кругом сплошные проселки, дачки-разва-
люшки. С полей воняет оттаявшим навозом.

— Во, огни! — кричит Пуля. Глазастый.

Верткий милицейский «козел», подсакивая на ухабах,
проносится мимо. Борька разворачивает и надаёт газу, что-
бы догнать и зайти наперез.

Ветер живой и свежий, все одержимо предстоящей отте-
пелью. Над головой скользят по невидимым склонам воздуха
тяжелые чайки. Проспект Буденного завершился; Данька вы-
греб на шоссе по колено в грязи. Грязь даже на стеклах очков
запеклась, Чингис трет их перчаткой, но только размазывает.
Шоссе забирает вверх, след шин уходит из-под ног, птицы
взвываются с деревьев навстречу огушительным коротким
выстрелам. Данька останавливается и слушает. Оборачива-
ется, но позади только заброшенный дачный поселок, и он
идет вперед. Метров триста он видит только дорогу, ивняк
у дороги; а вот и «уазик» в кювете.

Машина лежит, завалившись набок; около нее люди, чуть
поодаль — черный джип. Кто-то стонет, кричат, снова гро-
хает выстрел. И тихо. Данька пятится в тень деревьев. Те,
у машины, все еще не замечают его, но шаги раздаются сзади.
А ну, стой! Стой! Да я и не бегу никуда. Небритый щербатый
парень тычет стволом Чингису в ребра, а другой рукой
пытается застегнуть ширинку. Хлопает Чингиса по бокам.

Пистолета нет, не выдали еще по новой. А вот у тебя есть, молодец, хоть и по такому делу.

Парень наконец справился с пуговицами и ведет его к обочине. На обочине стоит Борис Медведев и медитирует над трупами. Один висит из машины; выстрелом в голову. Второй, в стороне, искромсан короткой очередью. На обоих убитых — форма Дружины. Боря оборачивается и смотрит на Чингиса, как будто тот тоже труп; встал и разгуливает.

— Ты что тут делаешь? — наконец спрашивает он.

Данька молчит. Странный вопрос.

— Машину. Ловлю.

Данька кивает. Борис кивает тоже.

— Хорошо. Подвезем.

У дружинников лица еще пунцовые, только чуть припорошенные бледностью. Тот, что из машины висит, скалится; похоже на улыбку.

— Поговорить хотели, — объясняет Борис.

— С ними?

— С тобой.

Борис резко замахивается и бьет Чингиса в скулу рукоятку пистолета. Данька оступается и падает назад; парень с пистолетом подхватывает его и кидает на Бориса. Тот толкает в грудь; обратно. Опускает руку и так же спокойно говорит:

— А они, — кивает на убитых, — стрелять начали.

Данька трет скулу и ждет дальнейших объяснений. Но Борис только коротко матерится. Третий пацан потрошит машину.

— Что там у них? — устало спрашивает Борька.

— Картошка, — смеется тот.

— Вытряхивай, нам мешки понадобятся, — кивает Борис. Убитых оттаскивают в сторону и быстро упаковывают в мешки из-под картошки. Кривясь, собирают кровавый снег. Борис распоряжается. Данька лезет в карман за сига-

ретами. Табак из замерзших пальцев сыплется ему под ноги. Быстро, быстро, — горячится Борис. — Поедешь с нами, — кивает Чингису. Его заталкивают в джип; рядом, на заднее сиденье, кладут один из мешков. Борис садится на водительское место; двое остальных выталкивают «уазик» с обочины. Обе машины снимаются и быстро уходят по проселку в сторону свалки. Данька трясется в машине, смотрит Борьке в жирный затылок.

— Не истери, — кивает Борис в зеркало заднего вида. Данька начинает слышать, как у него клацают зубы. Вообще начинает слышать: рычит мотор, ветер врывается в окно: в машине стекло опущено. Он смотрит на часы и видит, что уже утро; тринадцатое число декабря. Ворону двадцать шесть.

Машина останавливается у заброшенной промзоны. Борис выходит, щелкает дверь и начинает вытаскивать мешок за ноги.

— Помоги, что ли, — хрипит он.

Данька подталкивает изнутри.

Над заводской свалкой орут чайки; грудями торчат отвалы. Пацаны тащат мешки к карьере, сталкивают вниз и саперной лопаткой накидывают сверху землю вперемешку со снегом. Простите, парни, коли че не так. Пуля торопливо крестится и смотрит на Бориса.

— А с этим чего?

Кивает на Даньку.

Все молчат. Борька тянет шею и смотрит за отвал; на город. В утренних сумерках над грудой зданий мерцает морковный отблеск. Ледяной плитой лежит залив.

— Ну что, училка? — усмехается Борька и смотрит на Чингиса теплыми карими глазами умной дворняги. — Положить тебя... за компанию?

Данька греет кулаки в карманах шинели и молчит. Ему хочется то ли ссать, то ли плакать; короче, исторгать из себя

какую-нибудь жидкость. У него дрожит челюсть, но он стискивает зубы плотнее и говорит:

— Н-не знаю.

Вот жизнь. Ресторанный критик Батманов, ты попал; с говорящей фамилией за компанию. В камышах на краю карьера свистит ветер. Какой, блядь, неожиданный и печальный конец.

— Гляди, опять зубами стучит, — смеется Борька.

Не губи, молодец. Я тебе еще пригожусь.

Данька резко вздыхает и внезапно тоже начинает смеяться. Пуля тоже поддерживает. Не смеется только маленький коренастый парубок; молод еще потому что. Они ржут с минуту, потом Чингис начинает икать. Борька бьет его между лопаток и сквозь слезы машет рукой:

— Все, пошли. Хули тут... могила все-таки.

Пуля сгибается от хохота; враскоряку.

Данька проснулся в пустой и практически вертикальной комнате старого доходного дома. Затянутый паутиной потолок терялся метрах в четырех над ним; под ним была трескучая панцирная кровать. В доме жил Дима-Пуля, они притащились сюда накануне, перед этим схоронив экспроприированный ментовский «уазик» в пустующий гараж Димона. После заехали на рынок, купили мяса и водки. Сели за стол в полдень и жрали до вечера. Борька наебенился в хлам, буянил и выдвигал идеи по спасению брата — одна фантастичнее другой. Пуля флегматично жевал мясо и вяло поддакивал — он знал, что с пьяным Борисом лучше не спорить. Третий молодец, которого все звали Юниором, водки не пил, зато постоянно предлагал съездить и взять покурить. Данька забыл бояться; клонило в сон.

— Не спать! — заорал Борис, уставив на Чингиса толстый и кривой указательный палец. — Не спать, мусор, учителька! Убью!

Данька вздрогнул и проснулся. Под ухом ржал Юниор.

— Не-ет, — Борис расслабил руку и улыбнулся. — Он жить будет. Он пойдет к начальнику и скажет, что мы меняем этих... двоих. На Мишаньку и того второго, которого он засадил. Гад.

Борька зло сощурился. Даньке стало не по себе.

— Каких двоих? — спросил он.

— Каких, каких, — Борька довольно жевал мясо. Лицо его обмякло. — Этих... мертвые души. Никто же не знает, что мы их случайно... того. Вот он пойдет и скажет, что он вместе с ними попал к нам в плен. Мы их всех посадили в тайную яму, а лейтенанта отпустили парламентаром. Здорово придумано, — похвастался он.

— А с чего ты взял, что он все правильно скажет? Попадет к своим и расскажет, как было. И карьер покажет, где трупы. — Пуля пожал плечами и весело посмотрел на Даньку. — Верно, Чингис?

Данька молча смотрел на Димона. Его больше всего удивило, что Пуля назвал его по прозвищу. Откуда знает? Сам он не говорил вроде.

Пуля улыбался. Даньку замутило.

— Пойду проветрюсь.

Он дернул плечами и вышел, не оборачиваясь. Борис поднялся из-за стола и вышел за ним. Лестничная клетка пропахла мочой, мышами, табаком.

— ...Донесешь, зараза?.. Только попробуй мне. Только попробуй!

Ах ты, да не дергайся, отпусти, я сказал. Отпусти мой воротник. Данька оттолкнул Бориса и повернул защелку окна, чтобы впустить свежего воздуха.

— ...обратно на паек захотелось? Донесешь — из-под земли выебу!

Данька придерживал Бориса за тяжелое плечо, отодвигал от себя. Борис валился всем весом и сжимал Даньке шею. Еще немного — сломает; жеребец.

— Отпусти, я сказал! — заорал Чингис и с силой оттолкнул Борьку. Тот потерял равновесие, шлепнулся спиной о стенку и начал по ней сползать. Данька, кривясь, удержал его за ворот куртки. Чуть не задушил, урод. Захочу и донесу, понял? Ну, что, что? Ну?! Убьешь теперь? Да успокойся ты, я тебя слушаю. Борька хмыкнул и принялся пьяно лепетать что-то про своего Мишаньку. Чуть не задушил ведь; ну да кому суждено быть повешенным, как в Мишкиной листовке... то есть не знаешь? Ну, вверх ногами... того вниз ногами Борька не задушит. Но пуговицу оторвет. Это запросто. Он такой. Простой парень, донецкий шахтер, из-под земли трахаться умеет. Да будет тебе ржать, нам надо еще договориться про убиенных... убиенных тобою... убиенных.

Проспавшись, Борис угрюмо собрал стволы и вместе с Юниором повез их в какое-то тайное место; из разговоров за стенкой Данька понял, что Борькин оружейный склад находится на одной из недостроенных станций городского метрополитена. Они с Димонем остались вдвоем в огромной пустой коммуналке, которую Пуля расселил еще года два назад, а до ремонта руки так и не дошли. Димон сосредоточенно боролся с похмельем; сидел на кухне и дул чай с коньяком. Данька гулял по бесконечным коридорам и от нечего делать считал комнаты. Все были почти одинаковые — высокие, темные, полупустые. Дом был ветераном довоенных уплотнений, когда из просторных чиновничьих квартир делали рабоче-крестьянские соты. Открыв одну из дверей, Данька аж обомлел: к стене был придвинут огромный белый рояль девятнадцатого века. Рояль занимал полкомнаты, и владельцы, видимо, просто не смогли вытащить его ни в узкую дверь, ни в окно. Рояль так и не стронулся с насиженного места — последним могиканином старого уклада. Чингис прошел в комнату, бережно приподнял крышку и взял несколько нот. Само собой, инструмент был адски расстроен. Из кухни тут же послышался хриплый мат Димона, которому с похмелья

эти звуки били, как по обнаженным мозгам. Данька не знал, стоит ли ему дожидаться Борьку: была суббота, и вообще, кажется, следовало пойти домой, выспаться как следует и постараться забыть все то, что он видел ночью. Разминулись, и все. Шел по шоссе, слышал выстрелы. Все. Законопослушностью он никогда особо не страдал. Двоим из «узика» по-любому лежать в карьере, а добавлять к ним Борьку, Димона и Юниора никак не соответствовало его представлениям о высшей справедливости.

Возвращаться вот только не хотелось; до скрежета зубового, до скрипа под ложечкой. Хватит, накомандовался.

— Чингис!.. — заорал с кухни Пуля. Вот ведь, музыка ему мешает, а самому поголосить — так ничего. Данька аккуратно прикрыл крышку рояля, прошептал — иду. И вышел из комнаты.

С неба — не то снег, не то дождь. Декабрь. Оттепель. Капитан Петрович грузно переваливается в седле. Плохо его Чингис научил. Варька мнет зубами старую, чуть не летнюю еще жвачку и смотрит между ушей лошади. Подковки цокают по брусчатке. Вот ее пост. Так точно. Опять забыла козырнуть. Но ничего. Исправлюсь на практической работе.

— Все на своих местах, Александр Петрович!

— Опергруппа готова?

— Так точно!

Петрович, кряхтя, слезает с коня и садится в машину. Греется водкой. За победу! А, ты за рулем... Водитель молча кивает. Накануне пропали два прапорщика из Центрального округа, отправленные в деревню за картошкой. Их бы и не хватились — мало ли, забухали где-нибудь по дороге, но владелец небольшого гаражного кооператива на Юго-Западном шоссе слышал выстрелы, а потом просигналил о том, что его охранник видел, как ближе к утру несколько

мужиков заводили в гараж милицейский «уазик». Гараж принадлежал Дмитрию К., временно не работающему, владельцу обширной квартиры в историческом центре города. Гараж вскрыли с понятыми и обнаружили ту самую машину со следами крови на переднем сиденье. Дело вырисовывалось серьезное, и опергруппа была уже на третьем этаже. Чингис на четвертом, в выхоленной квартире. За столом сидит Димон, дует чай с коньяком.

— Ты тут не гуляй особо, — хмуро говорит он Даньке. — Борька мне наказал тебя сторожить вообще-то.

Данька независимо жмет плечами и ернически спрашивает: можно отойти? Куда? — ровным роботоподобным голосом спрашивает Пуля. Дует в чашку.

Полюбоваться открывающимся из окна видом, блин! Отлить. Вали. Чингис выходит в полутемный коридор. Зачем я сдался этому чокнутому, — думает про себя. Принято считать, что у людей интеллектуального труда от книжек с головой нелады; как бы не так. Мертвые души в заложниках — что вы на это скажете? На лестнице ему слышатся шаги, но он отгоняет едва забрезжившую мысль и направляется в сторону запущенного санузла. Высокая дверь старой коммуналки. Переплет окна. Туалет здесь странный — видимо, тоже созданный революционными перепланировками на месте комнаты или даже зала: часть окна в туалете, покрашена, другая — уже в кухне и слегка прикрыта выцветшими бледно-желтыми занавесками.

Трещит звонок. Димон в комнате потягивается, недовольно косится на дверной проем. Со вздохом отрывает задницу от стула и идет к дверям.

— Кто? — спрашивает он с некоторого расстояния.

— Водопроводчик! — глухой голос.

— Не вызывали. — Димон чувствует неладное и начинает пятиться.

— Милиция!

Димон разворачивается и мчится по коридору.

Дверь вылетает. На паркет шлепается граната, струится газ. Дружинники в камуфляже лезут, кажется, изо всех щелей. Димон чихает, падает, вскакивает и рефлекторно лезет за пи-столетом. Дружинник в ответ на резкое движение разряжает всю обойму, так и не поняв в кого.

Тоже коридор. Топот. Данька курит над унитазом. В дверь всаживают очередь, но он маленький и только что нагнулся — пули проходят над головой и бьют в окно. За окном комната — вот те на. Старая печка в разбитых и покореженных изразцах, хлам, ветошь, черный ход. Лестница кубарем вниз. Успел. Выстрел. Сто-о-ой! Да вы и так уже стреляете. Подножка блин кубарем, а если смотреть под ноги, то выставленную ножку можно запросто заметить и перешагнуть.

Да не ждали они здесь никого, просто тусовались! Ну, глядь — бежит, блядь. Такая. Один. Валентина по приколу и принялась ногами где ни попадя размахивать.

Коротышка, конечно, покатился, тут Леха его слегка ускорил. Тот, падая, зацепил Пашку. Сверху посыпались выстрелы.

Дружинник взвыл от ужаса и рванулся встать изо всех сил. Валька тоже заорала, никто сначала не понял, она не пужливая вроде, но так выстрелы же! И тут почти сразу Пашка как заорет истошно, брызнуло что-то, и все мы оттуда как брызнули в разные стороны. И коротышка тот недобитый тоже, ему вслед потом еще выстрелили пару раз.

Квартира почти пустая была. Одного грохнули, остальные ушли через черный ход. Мы стреляли вслед, я даже видел последнего из них — небольшой такой парень в камуфляже. Слышали крики, но, в общем, уже поняли, что упустили. Вниз спустились, там лежал убитый ребенок. Светленький такой русачок, вся куртка в крови, наповал. И рядом девчачья

курточка. Подружка испугалась и убегла. Они, может, так и целовались бы здесь, если бы этому уроду не понадобилось здесь бегать. Ну да ничего, есть еще надежда на оцепление. Петрович верховых поставил. Спецподразделение «Стрелец». Фиг уйдет, гадина.

А Варька на своем месте. У капитана Петровича любимая тема теперь про конников — привлекает их по любому поводу. Сегодня в оцепление поставил. Подворотни сочатся оттепелью. Дома оттаивают и тяжелеют. Тяжелееет ровное светлое небо. Ветер резким порывом отодвигает его, как штору. Варька отворачивает лицо, поднимает воротник шинели, ветер прижимает сукно к щеке, где-то в соседнем дворе глухие удары и гул звука в колодце меж лестничных пролетов просыпались на улицу сухими щелчками выстрелов и захлебывающимся цокотом шагов. Лошадь переступает ногами по скользкому булыжнику. Варька привстает в седле. Ветер в лицо захлопывает глаза ресницами. Шаги эхом метнулись под арку. Он увидел всадника раньше. Варька пришпоривает коня и через подворотню вылетает в соседний двор проходной прямо напротив — выход на линию, но человек в камуфляже бежит по маленькому брусчатому переулочку, сворачивает, кажется, в тупик. Варька поворачивает лошадь, подковы скрежещут по камню, гул и грохот, коротышка в камуфляже падает под ударами копыт, резко всхлипывает, почти кричит от страха, вскакивает и бросается в подъезд. Стоп, лошади по лестницам не бегают. Варька спешивается, нащупывая кобуру. Осторожность берет свое — она тихо отворяет дверь, чуть дальше маячит светлый проем. Подъезд проходной. Она толкает ногу в стремя, через подворотню, где, где выход на эту чертову линию? Цокот копыт плещется в тупиках колодцев. Наконец впереди свет, под арку, вот он!!! Спиной почувствовал, бежит, поджимает лопатки, Варька выковыривает из кобуры пистолет сто-о-о-ой! Кишку улицы насквозь прошивает гул и скрежет трамвая. Сто-о-ой! Запрыгнул почти на ходу.

Варька привстает на стременах и пускает лошадь вслед за трамваем, вскоре догоняет и вместе с ним въезжает на мост. Проклятый остров остается позади. Сжимается в комок отражением стекла на заднем сиденье трамвая, тонет между небом и водой, дождь размазывает по стеклу его лицо и битой брусчаткой стучат колеса об рельсы. Кондуктор смотрит очень внимательно, но ничего не спрашивает, а когда Чингис поднимает голову, быстро отводит глаза. Каждый новый пассажир, поднимаясь в вагон, упирается в него испуганным взглядом. Кондуктор идет и останавливается около каждого, долго вспоминает его лицо, время от времени очень тихо спрашивает билет. Билеты есть у всех, кроме Чингиса, но ему и не надо. На каждой остановке бумажной гармошкой мнутся двери, на каждой остановке в вагон просится ветер, на пол падает то дождь, то снег.

Чингису становится холодно, он постепенно успокаивается. Трамвай вылетает из города, мокрые ветки на поворотах царапают стекла. Вагон с грохотом застывает у деревянного дома. Входит женщина с ребенком.

— Следующая остановка...

Чингис поднимает голову. На ладонях кровь. Кровь на холодных плитах подъезда. Ступеньки старые, скользкие, словно обмыленные. В дальнем конце вагона плачет, постепенно затихая, ребенок.

Тот крик тоже, едва вспыхнув, начал затихать. В темном омуте парадной лежит кто-то молодой и совершенно мертвый.

Данька зажимает рот ладонью и смотрит в окно. Волосы над левым виском слиплись намертво, да запах еще очень сильный. Железный. Даже в носу зашипало. Думать не о чем, необходимо переписать этот эпизод, отмотать назад время. Как так. Как так. Ему кажется, он сейчас задохнется. Что он — черная коробка, ящичек с ужасом внутри, и ужас звенит на такой высокой ноте, что в трамвае должны разлетаться стекла.

Вагон остановился, все встали. Чингис сидел, а кондуктор все не осмеливался подойти к нему, поэтому трамвай стоял с открытыми дверьми, внутри гулял ветер. Наконец дружинник поднялся и вышел.

Трамвай Варьке пришлось проводить до кольца. Она точно знала, что своего не упустила, она хорошо его запомнила — маленький, темноволосый, в камуфляже. На конечной из вагона выскочил лейтенант Ворон. Слегка пошатываясь, пересек шоссе. Варька тронула лошадь и медленно поехала за ним. Данька шел по краю шоссе, потом перегнулся через полосатое дорожное ограждение. Остановив коня, Варька сверху смотрела, как лейтенанта выворачивает наизнанку. Наконец он, все еще сухо содрогаясь, повернул к ней лицо и сказал: привет. У вас кровь, — сказала Варька. Это чужая.

Чингис прошел немного дальше, перелез через ограждение и долго мылся свинцовым придорожным снегом. Спотыкаясь в жестких подтаявших сугробах, вернулся к дороге. Поглядел на Варьку, зачем-то кивнул и зашагал дальше по шоссе. Варька озадаченно смотрела ему вслед, лошадь размеренно помахивала хвостом.

— Не говори никому, что меня видела, хорошо? — оглянувшись шагов за десять, крикнул Чингис. И снова зашагал быстро, не дожидаясь ответа.

— Товарищ лейтенант, — сипло, под нос сказала Варька, — вы далеко? — и тронула лошадь шенкелями. — Далеко собрались? — спросила она, наклонившись к Чингису. — А капитан сказал, что вас на шоссе положили... — у Варьки появляется жалобное выражение. Данька смотрит на нее с непониманием, потом его лицо неожиданно светлеет. На шоссе? — говорит он. Эт-то чертовски интересно... Кивает.

— Я дальше. Пока, Варь. Не видела меня, да?

— Да, — шепчет Варька и улыбается. — Коня возьми-те. — Сказала и спешила.

— А ты как?

— Я на трамвае. А вам дальше; не ходит же ничего.

Чингис машинально погладил теплый лошадиный бок. Встряхнул головой, будто просыпаясь. Камуфляжными пятнышками в монохромный декабрьский день.

— Ага... значит, надо будет потом как-нибудь его домой вернуть. Варь, я приведу коня вечером на задний двор.

В ответ на внимательно оживающий взгляд лейтенанта Варька только кивнула и пошла на трамвай.

Дряхлый год расплзался по швам. Прямо в середине декабря сошел снег и обнажился хребет дороги. Проталины стекали с вытянутого гребня старого берега, пересекали густо поросшую кустарником равнину, сливались с обнажившимся чуть не до горизонта морем. Копыта коня ступали посуху, как весной. Позади со звоном отвалил трамвай. Потянулись холмы и особняки. На башне музыкальной школы дрожал флаг Дружины. По обеим сторонам шоссе развалился знакомый из детства поселок. Конь пошел крупной рысью. Чингис отпустил поводья, небо над ним побежало в разные стороны, ветер усилился. Поселок он пролетел под зарождавшийся где-то в коленях очень быстрый ритм, чуть не гикая, клонясь в стороны на поворотах. За Стрельной начиналась фильтрационная зона; отсюда шли электрички на юго-запад, на юг. От трамвайного кольца до вокзала не ходил никакой транспорт. Сегодня дорога вовсе пустынна: ни одного транспортного средства прогрессивнее цыганской телеги. Люди, что тихо топали в город вдоль шоссе, прижимались ближе к пешеходному краешку от маленького ладного всадника с темным, искаженным лицом. На звонкой рыжей лошади. Запрокидывающего голову к небу. Кричащего в него, в быстрое, в приближающееся к земле с каждой секундой, разные беззвучные и пронзительные слова. Наконец рыжий конь

одновременно с зарей мелькнул на разбитом проселке. От соломенного пустыря, с болота за ним поднялись тяжелые зимние утки (большие деревья на горизонте уже горели), вскоре снялись и загалдели вороны в самом начале старого парка. Всадника больше не было, и хорошее новое шоссе казалось свободным до первого городского светофора, а дальше не видно — потому что очень далеко.

Чингис свернул к лесопарку. Ветки сходились где-то очень высоко над головой, и то не сходились, не до конца. Оставляли просвет, в который дышала гладкая рыжая лошадь. Снег растворился в воздухе до следующих холодов, лошадь ступала по мягким пружинящим листьям. Данька чуял эти шаги, уходящие глубоко в землю. Ему становилось все тяжелее держать спину прямо, выше голову! И небо, запрокинувшись, полилось, хлынуло, стекало в горло и белым холодом в живот. Задыхаясь, Данька высвободил ноги из стремян и лег на спину. Лошадь переступила ногами, и он медленно поехал вниз, а ветки далеко вверху прогнулись назад, и заколыхался в них ветер. А Данька скользнул пальцами по седлу, чтобы уцепиться и не упасть, но голова тоже скользнула вниз растрепанным комом черных волос, упала в листья, и раскисшая земля обдала холодом и светом. Данька лежал на земле, и небо плакало ему в глаза.

Он вспомнил себя скорчившимся вокруг спокойной лошадиной ноги, ледяные пальцы рвали ворот куртки, не чувствуя сами себя, из земли и листьев вокруг него и лошади выступили вода и снег. Данька подождал, пока утихнет боль в груди, забрался в седло и медленно поехал сквозь белесый свет и большие деревья, которые за обилие птиц в вершинах их крон прозывали Врангородом.

Деревья в сквере имени Коммуны облетали позднее других — то ли была у них какая-то необычная порода, то ли местоположение странное — узел подземных тепловых коммуникаций, как авторитетно предположил Миша.

— Сейчас, я только пару листовок наклею на остановке.

— А потом? — меланхолично спросила Алька. Эта поездка в Петергоф планировалась ею давно. Миша, как всегда, подхватил идею, и само собой получилось, что они едут вместе.

— Потом я тебя поцелую, — ошалев от собственной наглости, Миша быстро расстегнул карман, вытащил флакончик суперклея и почти бегом бросился к остановке. Возился долго, прыгал вокруг столба, нервно оглядывался. В середине сквера торчал памятник — этой самой Коммуне. Алька подошла к постаменту с пламенеющей вазой. Постамент был мокрый, надпись гласила что-то вроде «под камнем суровым покой обрели».

— Достопримечательностями любуюсь? — Миша тихо подошел сзади, а может, Алька просто задумалась и не слышала, как хрустел гравий. А может, мокрый гравий не хрустит. А может...

— Миш, смотри. На памятнике. Мне кажется, или рядом с надписью женское лицо проступает?

Миша пригляделся.

— Да, есть что-то... Знаешь, ведь многие советские памятники делали из старых могильных плит. Да что там, даже поребрики из них иногда делали. А знаешь, ведь этот кинотеатр — тоже своего рода памятник, — Миша кивнул Альке на кирпично-красное здание, к которому из сквера вела узенькая дорожка. — До революции в Петергофе тоже был кинотеатр «Аврора», он принадлежал одной купеческой семье, фамилию не помню. Тогда он был там, где, знаешь, Даниил Андреевич живет.

— В Английском парке, что ли? — хихикнула Алька. Тема про Даниила Андреевича, чувствовалось, ее по-прежнему занимала.

— Поблизости, — терпеливо сказал Миша, обнимая Альку за талию. — Потом там устроили клуб революционной

молодежи, а в войну сожгли — эта часть Петергофа находилась почти на границе Ораниенбаумского пятачка, который наши всю войну держали. И когда Петергоф отстраивался, то новый кинотеатр назвали в честь старого. Так вот, — довольный собой Миша осмелился наконец и неловко коснулся губами алькиного уха.

— Откуда ты все это знаешь? — обернулась к нему она. Глаза у Альки зелено-карие и кажутся особенно теплыми в невидимом солнце. Солнце пробивает пасмурную пелену, и все предметы пейзажа подсвечены, будто изнутри.

— Каркуша рассказывал, — неохотно признается Миша.

— Почему же мне не рассказывал, — Алька грустно смотрит на памятник. Женское лицо видно уже совершенно четко.

— Потому что ты не спрашивала. О чем вообще с тобой говорить, такой красивой и глупой?

— Хорошо хоть красивой, — смиренно говорит Алька. — О, а пойдём, Дани... Каркушу навестим?! — Идея очень нравится Альке, а Мише не очень.

— Думаешь, ему до нас?

— Ну почему нет? — резонно возражает Алеватина. — Представляешь, такая приятная неожиданность!

— Ну, идем, — Миша ощутило сникает, но в который раз с Алькой не ощущает в себе сил противоречить.

Маленький, темный городок. Цокот подков оглушительен. Всадник крупной рысью пересекает площадь. Тяжело и ритмично врываясь в тишину улиц, из которых вырос, Чингис кажется себе насильником.

Черная земля обступает ледяное бельмо пруда. Православная церковь пламенеет то готической химерой, то драконьей пагодой. Силуэт очень темен, темнее неба и все-таки огонь. Копыта хрустят подмороженным асфальтом, через маленький дворик на бульвар, и вот дома. Дома. Данька тя-

жело сваливается с седла. Я ненадолго. Привязывает коня. Честно. Мне просто холодно очень. Я тебе морковки какой-нибудь вынесу. Ну, вот уже... теперь последний этаж, но не высоко, хрущевка. У самой двери Чингис останавливается, чтобы истерично рассмеяться. Ключа нет. Дома! Отсмеявшись, он кулаком утирает слезы и опирается на дверь. Дверь открывается. Данька падает вовнутрь. Ничего не видно. В ванной идет вода. Закрывает за собой дверь и дальше по коридору. В комнатах тоже никого нет. В ванной вода горячая. Он еще раз закрывает дверь, оставляя только щелку для прохлады, чтобы не стало плохо от жара и духоты. Потом быстро стягивает одежду. В груди еще поднывает. Надо ж так; хлопнуться в обморок прямо с лошади. Дальше обморока Чингис запрещает себе думать; иначе, ему кажется, он просто сойдет с ума.

Голову под кран. Снова пахнет кровью. Так можно сидеть и дрожать бесконечно — руки и живот в тепле, спиной ежась от холода, но ванну надо все-таки набрать. Стоп, — приходит ему в голову. А почему дверь-то открыта? Но сил думать и об этом даже нет; после, — решает он. После. Данька закрывает сток и тянется за мылом. Скребет твердым и скользким куском взъерошенные волосы. Шум воды постепенно успокаивает его, незаметно сливается с шумом тающей крови. Комками продираясь сквозь вены, она иногда причиняет боль, но струится все мягче, и Чингис чувствует себя гладким и раскаленным, плавящимся в одну температуру с окружающей средой. Пар, который он вдыхал, легче и легче кружится в его голове. Он только хотел привстать, чтобы открыть дверь и впустить немного холода, когда она заскрипела и отворилась сама.

— Привет, — сказал он человеку, замершему на пороге.

Алька быстро идет по ступенькам, тащит Мишу за руку. Тот не то чтобы упирается, но идет неохотно. Подъезд чи-

стый, и оттого присутствует ощущение заброшенности, законсервированности, что ли.

Алевтина жмет звонок. За дверью тишина.

— Пойдем, я говорил же... — ноет Медведев. Алька делает ему знак замолчать и прислушивается. Шаги. Медленные, чуть подшаркивающие. Дверь открывается неожиданно гостеприимно, даже без обычного вопроса — кто?

— Здравствуйте... — удивленно говорит Алька. На пороге стоит невысокая строгая старуха. Прямая спина, прическа из седых волос. Алька про себя отмечает, что темные волосы седеют удивительно красиво.

— И вам не хворать, молодые люди. Революционеры, никак? Агитировать пришли? — старуха улыбается с живым лукавством, умные темные глаза смеются под очками. Миша незаметно опускает взгляд — листовки вроде из кармана не торчат.

— Мы... А, извините, Даниил Андреевич... — Алька тоже удивлена и поэтому даже запинается.

— Даниил Андреевич в городе давно. Я, правду сказать, даже его нынешнего адреса не знаю. Вы его... друзья? — видно, что она пытается на глаз прикинуть их возраст.

— Мы учились у него, — говорит Миша.

— Так заходите. Меня Екатериной Игоревной зовут.

Алька с Мишей неуверенно переглядываются, затем Миша неожиданно делает шаг на коврик и начинает старательно вытирать ноги.

Екатерина Игоревна молча прошла на кухню, поставила в угол мусорное ведро. Зажгла огонь под чайником и призадумалась. Не каждый день, вернувшись после пятиминутной отлучки в давно и безусловно пустую квартиру, обнаруживаешь у подъезда рыжую лошадь, а в ванной голого внука. Под эти мысли на плите зашипела сковородка. Еды было мало. Жаль, потому что Данька казался осунувшимся. В коридоре

зашлепали мокрые шаги. В комнату. За одеждой. Обратно. В сковородке подрумянился старый хлеб.

— Здравствуйте, Екатерина Игоревна.

— Привет.

Данька по привычке улыбнулся. Полез за чашками.

— А ты чего здесь делаешь?

— Уборку. А ты где... и что у тебя с лицом?

Отвернувшись вполоборота, Данька морщится. Жмет плечами. Как объяснить то, что у самого в голове не укладывается?

— Служу. Дружина. Конногвардейский эскадрон внутренних войск. Ни фиги себе поворот, да?

И опустил голову. Екатерина Игоревна истолковала по-своему.

— Ну и что тебя, не кормить теперь? — раздался в тишине ее насмешливый голос. — Садись. — Сказала она и подвинула к нему табуретку. Данька послушно сел. — Ешь.

Он взял гренку и начал ее грызть. Вокруг было тепло и спокойно. Внутри — просто тихо. Как после взрыва. Допив чай, Чингис опустил голову на руки и впервые подумал, что делать дальше. Его погладили. Он почесал нос о тыльную сторону ладони и предположил:

— Я поживу здесь немного? — что-то прикинул про себя. — Один день. Завтра.

— Дальше нельзя оставаться.

— Только вот коня верну.

Вскочил и вышел в коридор. Накинул свой старый учительский плащ, грохнул ключами.

— Я эти возьму? У тебя есть запасные?

Екатерина Игоревна молчала. Данька, уже одетый, показался в дверях. Она кивнула.

— Есть. Дома.

Данька смотрел в сторону, в окно. Сумерки. Еще один день.

— Сегодня вернешься?

Он пожал плечами, в два шага пересек кухню, поцеловал ее в щеку и вышел.

— У тебя голова мокрая. — сказала ему вслед Екатерина Игоревна.

В гостиной было свежо и пусто. Все вроде оставалось на местах, но нет, — постепенно Алька замечала и будто подсчитывала потери. Со стены исчез выжженный на дереве лик Че Гевары, стол чистый — ни бумаг, ни книжек. И ноутбук делся куда-то. Екатерина Игоревна принесла из кухни чайник, подсохший, чуть живой мармелад, расставила на журнальном столике чашки. Алька вскочила было помогать, но хозяйка усадила ее коротким смешком:

— Будет вам, барышня. Набегаетесь еще. Я справлюсь.

Миша рассеянно бродил по комнате, осматривая достопримечательности. Книжек, действительно, поубавилось, всюду царил нежилой порядок.

— Вам повезло, я тут не живу, только приезжаю раз или два в месяц. Далековато все-таки.

— А вы Даниилу Андреевичу...

— А я не сказала? — Екатерина Игоревна выпрямилась. Казалось, эта женщина все время слегка посмеивается. — Как это ни удивительно, но у вашего Даниила Андреевича есть бабушка.

— Вы похожи, — Миша отвлекается от книжных полок.

— Да нет, — Екатерина Игоревна машет рукой, лицо ее светлеет. — Данька на деда похож больше всего, от меня так, ужимки и прыжки. А вас не Алей зовут? А вы садитесь, молодой человек.

— Да, — Алька заинтересованно кивает.

— Я так и подумала. Он о вас рассказывал.

— И что говорил? — с легкой ревностью спрашивает Медведев, присаживаясь на диван рядом с Алькой.

— Да, говорил не знает, как справиться с этой пигалицей, — смеется Екатерина Игоревна. — У него и ваша карикатура сохранилась... Кажется, я даже сегодня где-то на нее натыкалась.

Чингис остановился на ступеньках подъезда. В темноте хлестались ветки и шел дождь. Рыжей гладкой с длинным пышным хвостом Варькиной не было. — Где лошадь?! Куда, сука, кобылу дела?!

Обрушился на Варьку Петрович, едва успела она войти в кабинет. Варька слушала его с кажущейся невозмутимостью. Только жвачку закатала в рот поглубже. Если челюсти двигаются слишком откровенно, начальство начинает нервничать.

— На конюшне оставила. Товарищ капитан.

— Тамбовский волк тебе товарищ!

Господин хороший этот товарищ капитан, сам лоханул, а она теперь кругом марш! Виноватая. Между прочим, никто из его архаровцев Чингиса не засек, но лейтенант наш правда тоже хорош. Такой маленький и шустрый загадочный зверек. Еще и молчать просил.

Лошадь ему! Полцарства за коня. Господи, если он ее не привел, Боженька, сделай, чтоб привел. Не то этот клоп-черепашка меня тут заживо с дерьмом съест. Убежал по поводу машины. Хоть бы на подольше. Но нет — вот, уже вернулся. Приперся.

Рядовой Варвара! Шагом марш в служебное авто! Если сейчас еще приставать будет, мерин ряженный. Интересно, кому такая дура сивая может понравиться, хотя вот задница у нее что надо. Боженька, сделай, чтобы лейтенант привел, но едем очень быстро, ни тебе светофоров, ни гаишников, вечер еще не поздний, но кажется — ночь, тучки рваные по небу, и что-то дымит на горизонте. Ох, не успеет лейтенант! Заложу? Летит машина, зверь машина, не гони так, во-

дила! Какой-то знакомый, но не Петровича. Все. Конюшня. Приехали. Ну, здравствуйте, девочки.

Первым вываливается капитан. За ним Варька уныло пощелкает в грязи длиннополую шинель. Водила невозмутимо курит. Гнида-чемпион. Тоже, нашелся автогонщик. Чингисовский водила, между прочим, Лев, мать его, Николаевич.

— Идем в стойла! — радостно восклицает Петрович. — Ну и задам тебе, Варвара! — рокошет капитан. — Признавайся по дороге. Ну? Куда кобылу дела?

Время — семь, надежды никакой, но Варька насупленно молчит.

— Как лошадь зовут? — спрашивает Петрович, оглядываясь по сторонам. Варьке даже в голову не приходит назвать любую другую лошадь, она молча идет к стойлу и припадает к рыжей морде, высунутой между прутьями решетки. Эта? Эта, эта. Петрович не верит, зовет сторожа, приходит Фомич.

Варька, да будет вам лизаться, пошли чай пить, а дальше — ты в ночь сегодня, твое дежурство. Капитан ушел давно, и милиционеры тоже, бери дробовик, пошли на вахте, говорю, чай попьем. А кобыла сама пришла, она животная умная, не хуже твоего лейтенанта. Выхожу — стоит, во дворе. При седле и при всех делах, — и где только, думаю, Варька ее потеряла?

Бесшумные шаги по опилкам отмеряют ночь. Фомич еще некоторое время кряхтит на скрипучем стуле, потом идет в конюшню спать. Так хорошо, так лучше всего, так совсем как раньше, когда нет милиционеров и только теплые, мягкие, большие беззащитные лошади. И Варька с дробовиком. Кто идет?! Я...

Лейтенант. Варька чуть приотворяет ворота. Чингис мокр и глубоко несчастен. Говорит осипшим шепотом. Варька, я лошадь потерял... Варька опирается на дробовик и тихо, с посвистом, смеется. Чингис молча терпит издевательство, только измученно опускает голову. Идем, — говорит Варь-

ка. У меня есть кипяток и сахар. Лошадь животная умная, не пропадет без вашего, товарищ лейтенант, чуткого руководства. Лошадь пришла сама еще в пять часов пополудни и этим спасла меня от жуткой расправы. Идемте пить чай, товарищ лейтенант Данька. Вы выглядите очень жалобно, вы, наверное, замерзли. У меня есть кипяток и сахар рафинад. Милицанеры удалились по квартирам, здесь все свои. Вы можете быть спокойны, я хотела вас заложить, когда очень испугалась, но нас спасла лошадь. Нас обоих спасла лошадь, поэтому, я думаю, вы хороший человек. Пойдемте, вы расскажете мне, как вас брали в заложники. Это мне жуть как интересно. Садитесь, товарищ лейтенант. Осторожно, стакан горячий. Сахар вот.

Чингис пил кипяток, дул на пальцы и сосредоточенно засыпал. На все Варькины вопросы он отвечал одним: так пришла лошадь-то? Глупо хихикал, пьяный теплом и временной безответственностью. Господи! глаза его округлились. Как я эту кобыленцию искал! Данька снова засмеялся и начал стягивать мокрый плащ. Варька, это целый анекдот был. Весь город обегал: лошадь не видели? Через парк, там развалины, вышел к двадцать третьему кварталу. Пустыри, новостройки, тут как кино: гляжу — повозки. Вверх по Троицкой горе. Тянутся хвостом таким длинным, пока догнал, весь по уши в грязи. Цыганы, чтоб их... Эй, кричу, коня рыжего не видели? Они не услышали сначала — дождь, ветер. Коня, ору, не видели?!! Обиделись. Оглядываются: нет, не видели. Пойдем, говорят, с нами. Здесь теперь плохое место. За своего приняла. Чингис затихает, вспомнил о чем-то. Нервно скалит белые зубы. Черный, лицо темное. Они дальше двинули, а я коня искать, вниз, под гору, потом к тебе. Каяться. А можно теперь засну?..

Темным утром Варька растолкала Чингиса. Он очнулся быстро, посмотрел на нее умными раскосыми глазами, выпил стакан горячей воды и вышел за ворота. На прощанье

кивнул и сжал ее пальцы в спокойной крепкой ладони. Ты меня не видела, — предупредил. Варька ткнулась ему в плечо. Данька погладил ее нечесаную голову. Увидимся — пообещал, что по-французски звучало бы как *au revoir*.

Данька шел вдоль путей. Новостройки показались на рассвете — огромными грудями битого кирпича они лежали вдоль берега, трамвайные пути огибали дома и мимо свалки уходили в закрытую припортовую зону. Подойдя ближе, он подумал, что большинство корпусов вызывают смутные ассоциации с крепостью или, по меньшей мере, с укрепленным лагерем — замкнутые со всех сторон дворы, угловые корпуса-башни, господствующие над остальными крышами двумя-тремя дополнительными этажами. Впечатление усиливали небольшие прямоугольные арки. Монсегюр; и подступы охранялись. На виадуке стоял блокпост. Заметил его слишком поздно и попытался пройти с видом непринужденным и легкомысленным. Стой. Привет. Ты наш. (Насмешливый взгляд на замызганный плащ и ботинки со шпорами.) Идиот. Вот идиот. Удостоверение с собой? Нет? Поворачивай оглобли. Чингис пожал плечами и пошел назад. Виадук вполне можно было обойти снизу, по путям. Пространство внизу было заставлено киосками, из земли густо росли трубы вперемешку с гибким серым кустарником — так что даже железнодорожные пути и заржавевшие на них вагоны не сразу можно было разглядеть. Чингис прошел между ларьками. Сержант с блокпоста стоял у окошечка и пил пиво. Благожелательно кивнув, он заплатил за вторую кружку.

— Тоже пивка захотелось?

Чингис отхлебнул. Пиво было неважное; впрочем, не знаток.

— А что случилось-то? — отважился спросить он.

— Ты что, приятель, со вчера не просыхал? — поразился сержант. — Вот, читай, еще содрать не успели.

На стене киоска белел листок формата А-4 с объявлением войны.

— Клоуны, а? Трех наших, между прочим, в пятницу на шоссе положили. Машину случайно нашли, и юшка застывшая на сиденье, — добавил он после непродолжительного молчания. В углу листовки красовалось перечеркнутое изображение мелкого дружинника. Травить дустом, революционный комитет.

Они допили пиво, и каждый пошел своей дорогой.

Река вздувалась и шипела, выползая из берегов, рассыпалась, заполняя собой город, то оттаивая, то схватываясь по краям. По гибкому, чуть вибрирующему среди дождя мосту шагал темный и мокрый человечек с полными цветочными губами.

Он смотрел сначала вниз — вздыбленная шерсть реки волновалась под порывами тяжелого ветра, обкипала серые зубья льда. Тростинки зимнего дождя колыхались, дрожали, уходили все выше, встали в небо.

Он оглянулся — на берегу дождь постепенно редел, ближе к острову, наоборот, темнел и клубился. Мост выгибался между двумя дождями и постепенно подходил к концу. Человек шел все дальше, и вскоре исчез вместе с островом, который оброс дождем так сильно, что стал частью реки.

Чингис процокал подковками ботинок по брусчатке аккумуляторного переулка и вместе с облаком пара ввалился в подвальное кафе. Пар моментально смешался с густым табачным дымом. Он помахал от себя рукой, пытаясь разглядеть очертания предметов.

Столики в три ряда. Грубоструганное дерево, бревенчатые стены. Защитная сетка под потолком. Кафе «Бруствер». Он прошел к стойке и взял соточку. Обернулся.

Они с Сержем сразу узнали друг друга. Тот смотрел на Даньку неотрывно; не улыбаясь. Чингис кивнул ему и пошел к столику.

— Здорово, — сказал он, опуская водку на край стола. И встал, убрал руки в карманы.

Парень с некрасивым, но вдохновенным лицом отвел глаза и кивнул товарищу. Тот послушно поднялся и ушел за соседний столик. Данька сел.

— Ну и чего ты здесь делаешь, лейтенант?

Чингис молчал. Нащупывал в кармане сигареты. Парень поднял на него яростные глаза цвета зеленого бутылочного стекла.

— Нарываешься? Мало тогда навешали? Вашим сюда нельзя.

— Мне можно.

— Во как? — парень насмешливо повел бровью.

— Я дэдмэн, — кивнул Данька.

Парень некоторое время смотрел на него с естествоиспытательским интересом. Потом неожиданно улыбнулся. Улыбка у него была страшенькая, но теплая.

— Интере-есно... — протянул он. — Ладно. Меня Серж зовут.

И отхлебнул пива.

Серж допил пиво, а Данька освоил еще сто грамм. Они перекидывались необязательными репликами; сравнивали воспоминания. Серж тоже начинал на истфаке, потом перевелся на философский. Дэдмэн, — время от времени показывал головой Серж. Усмехался. — А я думал, Генсбур. Жена моя тебя... твой голос... сравнила.

Ты ведь поговорить пришел? Пойдем в штаб. Там удобнее.

— А не боишься... тащить в штаб пособника кровавой гэбни? — усмехнулся Чингис.

— Ты же дэдмэн, — успокоил его Серж. — А коли не настоящий — так пеняй на себя. Расслабься, — хлопнул по плечу. — Про этот подвал все равно каждая собака знает.

Сквозь ветер и дождь они пошагали по маленькой косо́й улочке, выходящей к университетским корпусам. По дороге Чингиса как прорвало — он неожиданно легко рассказал Сержу и про то, как его убили понарошку, и про Борькины постмодернистские идеи обмена мертвых душ на живых Мишу с Лажевским. И про то, что непременно надо найти пистолет — потому что разбой табельного оружия есть самое тяжкое и легкодоказуемое из сотворенных зол. Они шли рядом, стучаясь плечами в лиловом зимнем сумраке, оба маленькие, широкоплечие. Как братья. Серж кивал в ответ на отрывочные, нервные реплики Чингиса и изредка задавал наводящие вопросы. Наконец подошли к галерее истфака. В плитах пола темнел массивный железный люк; в зазор между крышкой и камнем пробивался теплый желтоватый свет. Серж махнул Даньке рукой и остановился.

— Покурим здесь... Не возражаешь?

Нет...

— А пистолет... черт его. Я думаю, Мишка скинул его где-то по дороге. И потом, — Серж выпустил через нос аппетитное дымное колечко. Даньке внезапно тоже захотелось курить. — Чтобы остальные обвинения снять, ты, так понимаю, должен отозвать рапорт.

— Я должен вообще написать, что мне все с пьяных глаз приоблазилось.

— Допустим, — кивнул Серж. — Но в любом случае ты должен что-то написать.

Данька смотрел себе под ноги. Послышался ржавый лязг; кто-то принялся открывать люк снизу. Серж мягко взял его за локоть.

— Ты, насколько я понимаю, не прочь воспользоваться ситуацией. Слиться на все четыре стороны. — Серж усмехнулся. — Вон, плащик уже передел...

С последней затяжкой Чингис сломал сигарету и зло отбросил ее в сторону. Все так. И что?!

— Да ты не нервничай, — тихо сказал ему Серж. Лицо лейтенанта двигалось, будто кто-то мял его изнутри. Он посмотрел на Сержа мрачными темными глазами и хрипло сказал:

— Черт с ним... Пиво есть там у вас? Пошли вниз.

Люк грохнул и отвалился. Из проема, гогоча и отбиваясь от нижестоящих, вылезал Казбек. Он округлил глаза на Даньку и истошно заорал, будто увидел привидение.

— Серр-еежа! Кого ты приволок, нах?

Казбек был пьян.

Данька Ворон, коего Станишевский шутя называл знатоком исторической механики, современной ему политикой — как-то так вышло — не интересовался никогда. О разнообразном социальном горении и клубах по интересам слышал краем уха; революционного доцента Петренко помнил странноватым нестриженным аспирантиком с нервным, будто в вечном тике, лицом.

В подвале зажигали молодые партийцы. На столе разложена колбаса; по углам — ящики с пивом. Вокруг первым снегом летают листовки. Казбек, забыв все обиды, чуть не на руках спустил Чингиса в подвал. Принес кружку с подогретым пивом.

— Вот! — орал он. — Сделали товарищу коротенькое внушение — и он с нами! За тебя.

Он чокнулся с Данькой тяжелой граненой кружкой и сочно отхлебнул. На тонких губах Казбека под породистым восточным носом висела пена. Где Серж? — спросил Данька.

— Позвонить пошел, — весело объяснил Казбек, — товарищ, я на тебя зла не держу. И поешь ты красиво, — он подмигнул Чингису. В голове у Казбека путался слышанный у Сержа Генсбур и голос в телефонном автоответчике.

— Честь — превыше всего! — кричал, надсаживаясь, молоденький студентик. Взгромоздившись на поставленные

на попа ящики, он зачитывал проект нового воззвания. Доцента сегодня не было, и молодежь отрывался вовсю.

В углу, наблюдая за происходящим задумчивыми зелеными глазами, стоял Серж. Маленький и строгий; дух подполья. Данька взял со стола кружку и начал проталкиваться к нему.

— Видишь? — спросил у него Серж. Его лицо было матово-смуглым; короткая стрижка подчеркивала высокий, чуть скошенный назад лоб и делала его похожим на инопланетянина. — Какие замечательные дети. Где еще слово «честь» произносят без малейшей иронии?

И, посмотрев на сумрачного, с грустным скептицизмом улыбающегося Чингиса, добавил:

— Жаль, что ты не с нами.

Серж прихлопнул его плечо крепкой ладонью и повел к столику в дальней нише; там было тише и прохладней.

— И почему ты думаешь, что менять наших ребят на дружинников — такая уж утопическая идея? — говорил Серж. — На войне как на войне; и потом, после Отечественной менты меняли своих на... — Серж уловил на лице Чингиса ироническую улыбку профессионального историка и нахмурился. — Правда, это были банальные уголовники, — закончил он.

Сквозь веселый гомон слышался скрежет железа; отодвигался люк. Серж проследил взгляд Чингиса — остановившийся, тоскливый. Но, что его поразило всерьез, — лейтенант продолжал улыбаться. С той же грустной иронией; и Серж засомневался на секунду, не успела ли она выветриться после его предыдущей реплики, или это уже была ирония по отношению к ситуации. По отношению к себе. По хрупкой пожарной лесенке в подвал спускались Борис с Юниором.

— Прости, дэдмэн, — негромко сказал Сережа.

Чингис медленно перевел на него глаза. Его крупный, весело очерченный рот разъезжался в усмешке. Лейтенант поскалился еще немного, потом забросил голову навзничь и неудержимо захохотал. Борька приближался к их столику,

профессионально покачивая плечами. Застав за столом обомлевшего Сержа и до слез веселого Чингиса, он остановился в недоумении.

— Серез, вам что... Вам что... — Данька мокрым рукавом тер глаза. — Вам что, партбилет взамен чувства юмора выдают? Прости, дэдмэн... Это надо же. Привет, Боря, — кивнул он новоприбывшим.

Борис помялся и сел на скамью рядом.

— Не обращай внимания, — он кивнул Сержу и ткнул Чингиса в бок. — Это у него обычная реакция на стресс. Что, золотопогонник, рад меня видеть?

Данька покачал головой и наклонился к пиву.

— Не думай, — сказал Борис, — мы тоже в школе учились.

Серж обалдело наблюдал. Юниор мялся рядом. К нему уже спешил гостеприимный Казбек с кружкой.

Серж вызвался быть парламентаром. Тогда же, в подвале, он в пух и прах разнес Борькину блажь про мертвые души; сошлись на том, что Чингис будет молчать про трупы в карьере, когда попадет к своим. К его задумке утечь в Ингерманландию Борька отнесся с пониманием. Ладно, не огорчайся, — Боря снова прихлопнул Данькино плечо тяжелой лапой. Все равно в деревне не сезон — ни грибов, ни ягод, мокротень одна. И дачку твою, гришь, разорили. Потом выпили за Пулю, которого грохнули в собственной квартире.

Как же ты-то вылез, — недоумевал Борька. Ну ладно, дурням всегда везет. Дэдмэн, — смеялся Серж. Он неожиданно оттаял в Борькиной компании. А знаешь, — говорил Борис, выкатывая глаза. Когда я лавочку держал, компьютерную... Надо мной все мои программеры потешались. Почему? — озадачился Серж. Я на письма отвечал. На все, — Борька долил себе пива и вяло улыбнулся. Ну, знаешь, приходят иногда — какой-нибудь Виссисуарий Иванович на курорт зовет, или Аделаида Марковна прибор от крыс сватает. Так

я и пишу: спасибо, Аделаида Марковна, но прибор от крыс не нужен. Он спамерам отвечал, — поясняет Данька.

Суровое лицо Сержа морщится в усмешке. Он дергает плечами — сначала левым, потом правым, и начинает хрипло смеяться — будто трещит по швам.

Ой, Аделаида Марковна... Я не могу...

— Ну так и я тоже не могу, — резонно говорит Борька. — Они же едят, стараются.

— Борь, так это же робот... робот письма рассылает, — Юниор явно слышал историю уже не раз, но все равно рассыпается мелким хохотом. Только Чингис молчит и вертит в ладонях кружку.

Три дня Данька торчал в уютном Борькином гараже. Борька оставил еду, воду и пиво. Есть не хотелось, думать тоже. Ворон валялся на продавленном диване и вдыхал смазку. К концу срока его непрерывно мутило; он представлял Мишу в предварилровке и все больше проникался прелестями заточения. Когда приехал Борис, сразу попросился на воздух. Отлить? — спросил Боря. Там же биотуалет, в углу. Подышать, — прохрипел Чингис. Борька кивнул на ворота — иди, конечно. Но сейчас поедем уже.

С пустыря, где стоял гараж, просматривался берег залива. Неподалеку шумела сосновая рощица и торчали камни. Данька присмотрелся. Камни и кресты. Край кладбища.

Борька подошел к Чингису, равнодушно окинул взглядом мерзлый декабрьский пейзаж. Садись давай, — буркнул. И достал из кармана наручники.

— Для антуражу, — стыдливо объяснил Даньке.

— Можно, я не прямо сейчас... приоденусь? — усмехнулся лейтенант.

Борька суетливо полез в джип. Крупный, но ловкий, как кот-переросток.

По шоссе подъезжали к виадуку. Трамвайные пути, железнодорожные. Недостроенная ветка метро. На виадуке

торчал блокпост; у подножия толпились машины и Борькины пацаны. Во нагнал, — подивился Чингис. Роту, не иначе. Борька остановил машину.

— Давай, что ли...

— Что?

— Что, что! — разозлился Борис. — Руки.

Артура вытолкнули из машины. Стало холодно; в обезьяннике у него бомжи отобрали куртку. Он пытался пожаловаться ментам и получил дубинкой по уху. Он хотел все рассказать, но его не слушали. Лажевский томился и надеялся на маму, но мама не приходила. Сегодня утром его вызвали к следователю: толстая грубая баба пресекла его откровения одним движением щедро окольцованной руки и принялась задавать вопросы. Сколько вас было? Четверо. Имена, фамилии. Я, Миша, Серж и Казбек. Это что — клички? Не знаю. Адреса, телефоны. Н-не помню... Может, Миша знает. Он меня туда привел. Мы в подвале собирались, где Университет. Я Даниила Андреевича не бил и им говорил. Почему не бил? Испугался. Ствол кто взял? Н-не видел. Миша, кажется. Медведев? Да, Медведев. С Борисом Медведевым знаком? В полчаса составили протокол, потом отвезли в суд, где дали задним числом какие-то сутки за хулиганство с листовками, по делу о пистолете написали свидетелем, но почему-то не отпустили, а повели в наручниках по длительным коридорам, потом посадили в машину. Господи, — думал Артур и клялся себе больше никогда не участвовать в революции. Декабрьский день хлынул под веки отчаянным белесым светом. Артур зажмурился. Отсчитал про себя еще раз десять, но тут его тряхнули и пришлось открыть глаза. Он стоял на дороге, дорога уходила вверх. Мама, роди меня обратно. Это Автоковский виадук, — вспомнил Артур. С него сняли наручники; дружинник ткнул в спину, и он пошел по мосту.

Данька стоял сверху, на горбу моста. Трасса была перекрыта перед самым виадуком; там уже успела образоваться

небольшая пробка. Чуть дальше по проспекту люди вливались в темный зев станции метро «Автово»; той самой, сталинский ампир. У подножия моста стояла армейская машина и несколько ментовских. До последнего момента Чингис не верил, что фантастическая Борькина идея с обменом совместима с реальностью — и вот те на. Видимо, он что-то недопонимал, а вот Борька и капитан Петрович находились на одной волне. Он видел, как внизу суетятся дружинники, как Петрович разгуливает с независимым видом. Видел, как привезли и вывели из машины Лажевского.

— Это Артур, — грустно сказал Борька за его спиной.

— Вижу, — не оборачиваясь, кивнул Ворон. Дружинник на том конце трамвайного виадука взмахнул рукой.

— Иди, что ли, — тоскливо сказал Борис.

Ветер задувал под плащ, вообще оттепель кончалась. Резко похолодало, летел колючий снег, лужи замерзли — Чингис пару раз чуть не поскользнулся. Ворон близоруко щурился и различал на том конце детали: как, например, обескураженное лицо Петровича. С каждым метром на него будто громоздился весь атмосферный столб, давил к земле. Низкое небо вибрировало, как натянутый лист пористого ватмана. На нем мокли тяжелые силуэты сталинских домов и короткими всплесками чернели гуляющие по воздушным потокам птицы. А под всем этим — серая асфальтовая шкура широкого проспекта, таблетка метро и жанровая сценка на виадуке. Сцепив зубы, он ускорял шаг.

Страх постепенно отпускал Артура, и он наконец смог сосредоточиться на человеке, который шел по виадуку ему навстречу. Даниил Андреевич казался стремительным и легким, шел очень быстро, слегка запрокинув голову и резко вздернув подбородок. Артур едва удержался, чтобы не побежать к нему — за последние две недели он не видел рядом ни одного знакомого, живого лица. Ветер сек щеки, просились слезы.

Ворон был в старом плаще, который Лажевский помнил еще по школе.

Артур показался Даньке маленьким и сморщенным; юный старичок. Лажевский смотрел в его лицо прямо, в глазах еще читалась тень испуга, но рот плотно сжат, даже губы вроде покусывает. Тяжесть отпускала, отлетала, более того — Ворон внезапно ощутил необычную, даже неправильную легкость и вспомнил Сержа: какие хорошие дети. Поравнявшись с Артуром, он кивнул и отвернулся. Лажевский укусил губы и отвернулся тоже. Наравне с виадуком скользили тяжелые помочные чайки.

На столе мигает портативная лампочка. Работает от батареек. Электричества нет, нынешняя Борькина штаб-квартира — в недостроенном и заброшенном аппендиксе Кировской линии государственного метрополитена имени, ордена, и прочая, и проч. Борька прохаживается по комнатке, курит и бычки кидает в пасть печке-буржуйке, от чего в тесном помещении стоит невыносимый запах. Пару дней поживешь здесь, потом Ворон обещал пропуск сделать. Уедешь отсюда. Лажевский усмехается. Пропуск, значит.

— Че смешного? — устало спрашивает Борис, — Или хочешь остаться еще чуть-чуть погеройствовать? Один догеройствовался уже. Как там Славка, кстати? — будто вскользь спрашивает Борис. Ясно, конечно, что этот вопрос вовсю его занимает.

— Я не видел его. Нас сразу в разные камеры... определили.

— Ясно, — мрачнеет Борис. — Данила сказал, рапорт нельзя отозвать пока. А у нас заложников нет больше... Одни мертвые души.

— Данила, — болезненно усмехается Артур. Смотрит в сторону. — Данила тебе чего угодно скажет. Язык без костей, знаешь ли. Ты знаешь, как этот козел нам в школе лапшу

на уши накручивал? Честь, блядь, достоинство! Главное — это неравнодушие и живой блеск в глазах! — Артур хлопает ладонью по столу, привстает. Губы прыгают, прям расплачется сейчас. — Это ж его слова! А сам? Машина служебная, баба в норковой шубке, ананасы в консервах! Диссер провалил — не вопрос, найдем себе место в жизни! Завсегда устроимся! Уж лучше бы в Нью-Йорк свалил, чесслово!

Голос Артура срывается, он то басит, то рычит, то орет фальцетом. Борис кидает на него короткий резкий взгляд.

— Во придурок. Ньюни подбери, — спокойно говорит он. Кидает на стол пачку «Примы»; Лажевский хлопается на продавленный стул, прячет лицо в ладонях. Его трясет, но он не плачет, то есть не всхлипывает. Слезы, правда, текут.

— А чего ты хотел? — жмет плечами Борис. — Чтобы он под статью за вас пошел — мол, посеял табельное, извиняйте, но я Иисус Христос, и бейте меня по морде всегда пожалуйста, а утереться я успею?

Лажевский трет длинный замерзший нос, тянется к «Приме» и успокаивается постепенно.

— Не прошу все равно.

Борис смотрит на него внимательно и заливается сочным мужицким хохотом.

— Надо ему твое прощение, — говорит он, отсмеявшись. — Баба ты свонная, что ли?

Энто у нас что? Грибки. Не, энто? Энто у нас предрождественское веселье. А почему так рано? Чтобы не было слишком поздно. Опять же, освободили лейтенанта Даньку Ворона от бомбистов — повод! Проведав о новых стратегических инициативах, они захватили в свои подлые лапы командира конногвардейского эскадрона «Стрелец». Благодаря удачно проведенной операции он снова с нами. Ур-ра!! Дрогнули. Налегли. Вообще не пью, но водочку употребляю. Друзья! Сегодня положительно настроенные

представители женского населения города изъявили желание разделить с нами праздничный стол. За это их отвезут домой на служебной, а к следующему празднику можно и новых нарушительниц набрать. Ур-ра!!! Ах ты б, ласковая какая. Лопай, ровняй.

Девки сидят, боятся. Буйный Петрович празднует поражение. Из обезьянника дружественные менты девиц подогнали — тех, что бляди или там с регистрацией не в порядке.

— Так, — говорит Петрович. — Ну, рассказывай.

Чингис, как заведенный, повторяет историю про то, как сломался Лева, как он остановил сослуживцев с картошкой, и их всех сбросили на обочину и повязали.

— А парни как? Живы-здоровы? — недоверчиво спрашивает Петрович.

— Не уверен, — без пяти минут честно отвечает Чингис.

Петрович: ладно. Завтра под протокол расскажешь. Плохо, конечно, что из-за тебя пришлось одного сопляка отпустить. Херово. Но мы его все равно свидетелем зачислили, и он все, что надо, показал — про бандита этого, Медведева малолетнего. Вот так, Данила, надо уметь извлекать из тактических неудач стратегическую выгоду.

В стекло стучается лбом серый вечер, волчьими огоньками блестят окна. До первой звезды, блин, нельзя... Ах ты, все жрать прекратили, быстррро! До первой звезды только водку. Дрогнули. Ур-рра! Только водку. А не спать тем более. Бдить! Громко хлопнула дверь, и вниз по ступенькам. Чингис вывалился в пьяную слякоть. Снег мазал по живому. Мороз хрустел рубчатыми следами. Где-то наверху сорвали занавеску — снег впереди засветился. Девицы визжат на тех частотах, на которых сверлят зубы. Вываливаются вслед; одна плачет. Другие две вяло матерятся и успокаивают: Маш, да чего! С тебя не убудет. А потом домой. Домой хочешь ведь? Хочу-у-у... — воет маленькая. У Чингиса что-то внутри дергается. Он смотрит на полупьяных, расхристанных

женщин — то ли проститутки, то ли гастарбайтерши, сразу не понять. Маленькая поднимает глаза; Чингис помнит, что когда-то был сносным человеком, только вот в последнее время что-то ни дня без трупа. Друзья мои мертвые души; точно, дэдмэн. Он кидает в грязь так и не раскуренную сигарету и подходит к девкам.

— В машину.

Те пятаются. Маленькая смотрит.

— В машину; да мы ж по нужде только. Боятся. — Домой хотите? В машину! Лев Николаевич, поехали.

— Где Чингис? — Ушел. — Где бабы? — Целых троих увел. — Зачем столько-то? — Больно девиц люблю. — Зачем же больно? Нас надо не-ежно... одна совсем пьяная. — Ой! остановите. Остановите, Лев Николаевич. — Ой! не успела. — А машину потом я мой? — Нет, Лев Николаевич, я сам вымою. Лева жмет плечами и старается дышать боковым стеклом. — Эй, лейтенант, огоньку не найдется? — Приехали. — Что?

— Приехали, Даниил Андреевич.

Лева выскочил из машины. С тряпкой в руках — Вылезайте!

Вылезли.

— Я сейчас, Лев Николаевич. Вот только девушек отведу. Да без разницы. Лева расстроен, всю машину обгадили.

В небе — мутная луна дымится в квадрате между крышами. Тонкий лед иглами из луж. Лева курит. Чингис моет в салоне. Грохочет ведром. Спокойной ночи, Лев Николаевич.

До свидания, заводится Лева. Машина вздрагивает, уезжает. Наверху девицы и Лева пьяный.

Три девицы мылись. Все вместе в ванной. Данька поставил чайник. Кто хочет чаю? Я. Села за стол. А они? — они еще моются. Печенья? Спасибо. Бледные руки с синими венками, тыльной стороной над вазочкой. Я еще хочу. Кушай, конечно. Тебя Маша? Очень приятно. Не бойся, переночуете здесь

спокойно, и завтра по домам. О. Вымылись уже. И пьяный Леха пожаловал, вот и попили чайку. Весело вам? Не, вам весело? Мне не очень. Леша, не приставай, шел бы ты спать. Девушки, и вы тоже. Ну вот, блин, какой ты, у-у-у — черненький, очкастенький. Зануда. Вот Лешенька не такой красивый, зато добрый. Леша, унеси свой пузырь, им уже хватит. Я сказал — хватит! Спать! Нет! Не со мной! С Лешей! Хрен с вами, спите с Лешей, да с кем хотите. Со мной хотите? Не вредно, да я не хочу.

Нет, Маша, я не буду пить. Спокойной ночи, я сказал. Да, я закрыл дверь. Да, спокойной ночи. Чингис повалился на диван и накрыл голову подушкой. Стоило эту пьянь отсюда вытаскивать, чтобы здесь повеселить Леху. Полночи, ночь к концу, вопли, визги, спать хочу. Просто спать. Тише, тише... угомонились, только на кухне (слышно) — шумит вода... Наконец тепло, внутри согрелось. Забыть, все забыть. Спать.

Девчата, милые, опять явились... зачем же свет в лицо у-у-уу? Данечка, выпей с нами, у нас голова болит. Черный, взъерошенный Чингис, каменея от холода и злости, сбрасывает с плеча мягкую Машкину руку и вылезает из-под одеяла. Куда? Не важно, а вообще на кухню, курить. Форточка дышит свежим воздухом, стекло чуть дрожит — зябко. Данька долго трет спичку о коробок деревянными пальцами.

Опускается на табуретку — внутри снова холодно и нехорошо. Сегодня в Управление; под протокол говорить. Что будет дальше? Господи, что будет? Сигарета дымит сама по себе, пальцы забыли и выпустили, на кухню зашел Леха. Чингис, ты че такой зеленый? Дотрахался? Вчера трех баб приволок, да еще делиться не хотел — во дает! Да я все помню, ты их в свою комнату затащил и дверь хлопнул, они и теперь еще там. Да вот одна идет, сейчас спросим. Данечка, ты обиделся, да отвалите все... Чингис с усилием поднялся,

цепляясь за столешницу, повернулся, сел на пол и принялся отползать в угол. Эй, Дань, тебе плохо, что ли? Мне хорошо... колени подтянуть к груди, вот так, вот уже легче, о-оой, блин, неужели откидываюсь. Какой здесь адрес? Какой мне сказать адрес, скорая спрашивает?..

Чингис валяется на кухонном полу; спиной к рубчатой батарее. Адмиральская квартира безнадежно засрана; пока его не было, — меньше недели, — Леха оторвался. Быдло. Ненавижу. Тускло думает Чингис в высокий беленый потолок. Тупая, давящая боль за грудиной постепенно отступала. Наконец дышать. Все холодно и четко. Предметы обретают грани. Когда же я наконец выплуюсь; выпимся, когда подохнем — всплывает строчка из забытой книжки. Вот так автор и становится персонажем; перестает думать; строчки из самого себя наполняют пустоты, как вялый летний ботинок шуршащей зимней газетой. Данька прикрывает глаза и видит себя летом или в самом начале осени; вечернее солнце заливает комнату теплым оранжевым маслом. Ему десять или одиннадцать; отец возвращается со службы, кидает в угол дипломат, наряжается в рабочий халат. Идет на лоджию. Вскоре оттуда густо тянет масляной краской. Дань! — кричит отец. Вали сюда.

Данька срывается с дивана, откидывает распахнутую на самом интересном книжку. Моделью поработаешь, — объясняет Андрей Данилович. Данька смущенно улыбается и садится на табуретку. Нет, ты не напрягайся, — смеется папа. Смотри, как смотришь. Как объяснить отцу, что он никогда не смотрит ни на что больше полуминуты? Что все вокруг так играет, конкурирует за его мальчишеское внимание. Внизу, на бульваре, тусуются курсанты морского училища: в синих робах с номерами; бритые; караси, первогодки. Высыпают девушки с дискотеки в маленьком местном клубе. Вокруг вьются старшекурсники, белые наверхия фуражек бугрятся посередине, как шляпки у опят. Данька смотрит

на отца. У папы тоже есть форма, но он ее не любит. В его кругу не принято; по вечерам дома иногда собираются друзья и весело ругают тупую военщину. Слушают Виктора Хара.

— Батманов, — с удовольствием говорит отец, подлавливая на кисть неожиданный поворот мальчишеского профиля. Данька знает, что такое Батманов — это легенда и слегка запрещенная тема. У бабушки на стене висит портрет; дедовский сводный брат, морской офицер, расстрелянный во время кронштадтского мятежа и сброшенный в ров.

Даньке становится стыдно. Он — не то; он тряпка. Он вчера побоялся заступиться за Витьку Ливонина. У Витьки старшие пацаны украли портфель и играли им в футбол. Так что никакой он не Батманов; неловко за отцовские незаслуженные авансы.

Чингис вытягивает ноги по полу. Ноги босые и мерзнут; соберись, тряпка.

— Привет, — сказал высокий румяный врач, похожий на цветок георгин. Совсем помираем, да? — спросил он, окидывая взглядом батарею бутылок под столом. — В комнату его, а? — обратился к Лехе, пытаясь вытащить из-за табуретки тихого одеревеневшего Чингиса. Из комнаты молча выплывает полуодетая девица.

Где болит? Данька молча прошел в спальню и сел на разтерзанную кровать. Врач поддерживал его под локоть. Леха шел следом. Дотрахался... шепотом покачал головой он. Ложись — доктор толкнул Чингиса в грудь. Уже почти не болит, — помотал головой Данька и вытянулся на диване. Вторая девица проснулась в кресле и запахла халат. Кардиограмма ничего не показала. Доктор удрученно повертел головой над Чингисом и достал из чемоданчика упаковку нитроглицерина. Когда снова заболит — под язык одну таблетку. Поможет — значит, стенокардийка. Усталая медсестра собрала аппаратуру, и они уехали. Чингис остался лежать

в распахнутой настежь комнате, откуда постепенно ушел и Леха, и девицы; наслаждался первыми минутами без боли. Внутри было спокойно до тех пор, пока не раздался звонок в дверь. С точностью до минуты пришел Лева. Надо было ехать к следователю на протокол. Лейтенант вышел из комнаты чистый и бледный, без всяких следов ночного разгула. Лева отошел к стене. Чингис молча шел мимо, вещи сами просились в его пустые руки. Он не взял даже куртки, но, когда они вышли на улицу, Лева заметил — и вправду. Тепло.

— Юго-Западная дорога, — сказал Чингис.

Они быстро проехали город и снова оказались на тяжелом вибрирующем виадукe. Впереди в беспрерывных зимних сумерках громоздятся каменные дома, между ними струится ветер. Залив зарос соленой травой, поземка уползает по льду к горизонту, камыш безропотно ложится под снегом серыми клоками, холодает. На берегу лежит подземный язык электрички. Метрополитен — краса и гордость нашего города.

— Лев Николаевич, все, — говорит лейтенант. — Здесь остановите.

Машина встает у трамвайной станции. Здесь заканчиваются рельсы — причем не только на поверхности, но и под землей.

Лева вертит головой — захлопнутая на замок будка автосервиса: развал-схождение. Трамвайная остановка. Рельсы уходят вглубь садово-парковой зоны, кое-где темнеют забытыми окнами дачные домики. В садах с осени висят неприбранные яблоки.

— Ждать не надо, — говорит Чингис, нащупывая под ногами упавшую борсетку, — Отдыхайте сегодня; и так я вас заездил.

Лев Николаевич согласно жмет плечами и смотрит на лейтенанта. Лева большой, сухой, уютный в серой милицейской куртке с искусственной опушкой. Достает сигарету.

— Долго будешь гулять? Могу и подождать... в принципе.

— Простите? — Данька поднимает глаза. Лева молчит. Ему неловко за свою внезапную заботливость. Не дождав-шись ответа, Чингис продевает руку в ремешок борсетки, выходит из машины и идет назад по ходу трамвая.

Сверху это выглядит как обычное депо: огромные крытые ангары, пыльные поезда. Все обесточено, но на всякий случай Чингис бодрым воробьем прыгает над рельсами по хлипким деревянным мосткам.

Сплоченными рядами. В подземные переходы. Бегом по эскалаторам. Оставьте дружинникам отравленную поверхность. Лишь под землей мы свободны! И буквы плывут у Чингиса перед глазами. Не дочитав листовку, он успевает вскочить в распахнутые двери ожившего поезда. Скрипит железо; вагон за вагоном втягивается в тоннель. Сдвигающиеся стены комкают замерзший берег и бледное небо в одно ослепительное пятнышко. Света больше нет, они мчатся в кромешной темноте. Долго. Дверь вагона приоткрыта. Так долго, что становится страшно. Наконец поезд останавливается, но, пока Данька пытается что-то решить, снова трогается и стремительно набирает скорость. Сквозь гул и скрежет он слышит шаги и как кто-то садится рядом. Вагон колеблется и дрожит, как в штопоре, идет все тише и тише, замирает. Чингис некоторое время старается не дышать, затем человек рядом матерится и встает. Опять, блядь, ебать. По шпалам. Выходит. Данька по боковой дорожке следом. Впереди негромко светится перрон. Человек карабкается вверх по железной лесенке. Слышны голоса. Данька выходит и после темноты хлопает глазами. На перроне стоят люди, все смотрят на Чингиса. Среди них Борис.

Привет. Я искал тебя. Лажевский здесь? — говорит Данька. Борис опять смотрит на него, как на привидение.

— Пошли.

Они снова спускаются в тоннель. Как мы представляем себе конец света? Двое идут по тоннелю, и в голове у од-

ного из них никак не открывается это паршивое приложение. Но все, свет кончился совсем, в темноте легче думать. Что делать, Данил Андрейч? Совсем отвык. Борис спотыкается. Я с Донбасса приехал, тоже сначала метро строил. Бригадиром был, вот. Нам недоплачивали все время; даже украсть ничего нормально не получалось — все до нас разворовано. Они поднимаются на перрон. Горит аварийное освещение. Своды теряются в темноте. Борис скрипит кодовыми кнопками, открывает маленькую дверку в стене. Зброшенная станция, пара мастеров и сторож. Про них забыли, но зарплату платят пока. Строили, строили, потом вода пошла... Расползается все. И я, ты знаешь, здесь как-то думать начал — до этого все времени не было, а может, думать при свете неприлично. Серж вот говорит, что все вокруг мертвечина. И сапрофаги. Мир трупоедов. А мы с ним хищники; нам нехорошо, тошнит. А я кто? А ты, Данила, дэдмэн; сам же сказал. Вот тебя сапрофаги и подъедают по кусочку. Можно надеяться, что я еще не совсем провонял? Нет, не совсем, — успокаивает его Борис. Не успеешь. Они идут по маленькому коридорчику. Снова темно, Борис берет с полки фонарик. Ничего, ты парень хороший, когда-нибудь мы тебя к себе насовсем заберем. Привыкай заранее. Только здесь истинная свобода.

В маленькой комнатенке светится печка-буржуйка и кто-то спит на топчане в углу. Борис шарит фонариком по скорчившейся фигурке и бесцеремонно стягивает со спящего одеяло. Трубит, изображая сигнал пробудки:

— Подъем! Взвейтесь кострами. Синие ночи!

Лажевский рывком поднимается и по-совиному хлопает глазами.

— Утро выплюнуло солнце! Пионервожатый будит свой отряд и ведет на зарядку! Ура!

— Замолчи, пожалуйста... — просит Артур и зажимает уши.

— Дефицит витамина D оттого, что солнечного света не видит, — поясняет Борис. — Анемичный весь, громкие звуки не переносит.

Борис ставит чайник и присаживается в облезлое кресло.

— Забирай его, командир, — кивает Даньке. — Совсем достал. Спит круглые сутки и даже не думает развлекать меня беседой.

Всю дорогу до станции Артур продолжает зевать в окно с видимой покорностью судьбе. У платформы Даниил Андреевич выскакивает из машины и стучит в стекло — выходи.

Лажевский неуклюже выпрыгивает и озирается. Неприглядный полустанок, трубы заводика. Сквозь деревья проглядывает берег залива, среди деревьев — маленькое поселковое кладбище

— Где... куда мы? — наконец спрашивает Лажевский.

— Надо еды купить, — сообщает Данька.

— «Продукты, напитки, цветы, венки», — читает Борис вывеску на лабазе. Смеется:

— Обслуживаем живых и мертвых. Дэдмэн, тебе туда.

Чингис плюется и идет в магазин. Издалека грохочет электричка. Данька вылетает обратно, так и не успев ничего приобрести. Прощается с Борисом за руку; через окно. Пошли, — кивает Лажевскому. Подталкивает его в спину, они бегом поднимаются на перрон.

В вагоне по середине дня пустовато; недоросли в куртках-пилотах и их девчонки, пергидрольные блондиночки с нарисованными поверх детских ярмарочными мордашками; валят домой из школы или местного ПТУ. Чингис садится против хода и кивком указывает Артуру место на встречной скамье.

— Куда мы едем? — спрашивает Лажевский. Даниил Андреевич вместо ответа кидает ему на колени борсетку.

— Деньги. Зубная щетка. Бритва, — коротко объясняет он и прикрывает глаза.

— Я не бреюсь... — бормочет Артур.

— Откуда я знаю, сколько ты там просидишь, — Данька сплетает на груди руки, собираясь задремать, — смотри еще, чтобы не заржавела.

Улыбается, не открывая глаз. Зевает в кулак. Лицо расслабляется; подбородок падает на грудь. Электричка на половинной скорости пересекает последние городские районы: типовые коробки зданий, бурлящие стихийные развалы. Бабульки с квашеной капустой и горкой выложенными редьками и свеколками сидят на ящиках, смотрят снизу-вверх на исходящих пассажиров. Вагон пустеет и заполняется снова — бабами и мужиками, торопящимися домой с городских промыслов. Рядом хлопается усталый клерк средних лет, напротив — пара работяг. Таджичка в платке; стоя нависает клетчатými сумками. Артур косится на невозмутимо дремлющего Каркушу, покрепче стискивает борсетку и тоже прикрывает глаза.

Сон не идет. Трудяги постепенно рассасываются. Через пару остановок в вагоне остается только середь бела дня подгулявшая компания, да дедок какой-то трясется на скамье, поглядывает на них любопытными глазками. Парни ржут, сплевывают прямо на пол труху от семечек. Пьют пиво из полторалитровой пластиковой бутылки, передавая по кругу. Электричка тормозит на какие-то полминуты, машинист, как кашу во рту, пробалтывает названия полустанков: Красные Зори, Ясные Зори, какие-то двузначные километры. Потом вовсе немеет, и каждый раз поезд только стремительнее разгоняется. Грохот колес нервирует Артура; будто и впрямь он громких звуков не переносит теперь. Он хочет разбудить Даниила Андреевича и добиться ответа, куда его везут, но никак не решается. Каркуша дремлет, припав виском к стеклу; стекло вокруг его головы запотело. Парни с пивом выходят на последней, кажется, большой станции. В окне — громоздкое здание вокзала, выкрашенное в грязно-розовый цвет. Из насыпи глядят камни. Город Ломоносов на въезде, словно его бомбили: дома зевают выбитыми

окнами в сторону грязно-серого, подернутого льдом залива. Дальше — заброшенный порт и ржавые корабли, и паром на остров Котлин.

— Любуешься последними приметам цивилизации?

Артур вздрагивает. Даниил Андреевич очнулся и смотрит на него с нехорошей улыбкой. За то время, что они миновали, все вокруг несколько раз преобразилось, и Артуру кажется, что и Каркуша уже другой. Лицо ясное и недоброе. Темные раскосые глаза играют неуловимым выражением, как те выбитые окошки, за которыми — невесть что, и невесть о чем он думает, и непонятно чему сейчас усмехается. В тот момент, когда Артуру уже кажется, он готов что-то его спросить или просто ответить, Даниил Андреевич откидывается на спинку и снова погружается в свою подорожную медитацию. На соседних скамейках суетливо шуршат бабушки с рюкзаками, рассаживаются и достают снедь. Электричка резко берет с места; вдоль путей тянутся вереницы вагонов: лес, нефть, бензин. По маркировке — чуть не со всех необъятных концов страны.

С грохотом разъезжаются двери вагона. Данька резко открывает глаза. Наряд. Два контролера и дружинник. Лейтенант выпрямляется, быстро смотрит на Артура. Электричка вылетает из тесного коридора товарных составов; в окна врывается белесый пасмурный свет; кривятся отпечатки сосен. По стеклам с внешней стороны змеится морось; воздух хлупает, как раскисший гриб, сочится влагой. Дружинник подходит к ним. Козыряет Даньке. Лейтенант кивает и привстает. Они обмениваются рукопожатием.

— С вами? — дружинник указывает на Артура.

— Сопровождаю задержанного, — объясняет лейтенант. У Лажевского сердце ухает вниз: задержанного.

— Что натворил?

— Так, по мелочи, — улыбается Даниил Андреевич и смотрит на Артура. От глаз у лейтенанта разлетаются легкие

смешливые морщинки. — Листовки расклеивал. — Дружинник кивает.

Наряд уходит. Артур отворачивается к окну — там мокрые сосны, закисшие поля, водокачка на горизонте, но он ничего не видит.

— Меня обратно, да? — говорит он в сторону. — Не того обменяли?

— В смысле? — Каркуша улыбается.

— Мишу теперь выпустят, а меня — назад, да? Так вы с Борисом договорились?

Голос у Артура садится. Даньке был интересен ход мысли, но тут становится жалко. Лейтенант подается вперед, берет мальчишку за плечо и слегка встряхивает. Лажевский сбрасывает его руку.

— Извиняться не надо, — сипит он, уже и впрямь готовый расплакаться.

— Ар-тур, — с расстановкой говорит Каркуша. — Сейчас мы едем до станции Котлы, где ты будешь жить, пока все не уляжется. Ты понял? Завтра я позвоню твоей маме, и, как только будет можно, она привезет тебе вещи. Ну? Уловил?

Артур кивнул, но ничего не понял. Постепенно он оттаивал и соображал. Напротив маячило осунувшееся лицо Каркуши. Резкий красный шрам приподнимал бровь и придавал физиономии ироничное и даже высокомерное выражение, но нет, Даниил Андреевич не шутил и не издевался. Продолжал что-то говорить.

— Там, знаешь, очень красиво. Там четыре аиста живут на водонапорной башне, ястребы летают над лесом...

— Я не орнитолог... — сквозь слезы улыбнулся Артур.

— Ну... хорошо. — Каркуша растерялся, всплеснул руками. — Еще там странный домик с надписью «Ах-тунг», красивая церковь... Ну, что еще... Лес, березовый сок по весне.

— Мне что, до весны там торчать? — испугался Артур.

— Ну, я ж принес тебе бритву. На всякий пожарный, если до весны подрастешь, — улыбнулся Даниил Андреевич. Бредовый разговор получался, но надо ж как-то его успокоить. Лес за окнами заканчивался, сходил на нет. Пошли вырубки, карьеры, потом промышленные корпуса.

— Приехали, — сказал Даниил Андреевич. — Сосновый Бор, атомная станция. Отсюда только подкидьш.

Они выскочили из электрички; подкидьш — смешной поезд из двух вагонов с локомотивом во главе — уже стоял под парами. Данька спрыгнул с перрона прямо на пути, помог Артуру. Взял пива, и они вскочили в вагон. Артур принялся открывать зубами.

— Прекрати, зубы только попортишь, — засмеялся Каркуша и отобрал у него бутылку, открыл о ручку кресла. Подкидьш тронулся. За окнами поплыл перрон, потом — мокрые елки. Лес густел и смыкался. Даниил Андреевич смотрел в окно, и глаза его светлели.

— Знаешь, железнодорожная станция, от которой мы только что отъехали, называется Калище. Город — Сосновый Бор, а станция — Калище. Так вот, у меня была подруга, а у подруги — друзья на свеженьком «бумере». Как-то раз я зазвал их к себе на дачу... у нас дача здесь неподалеку. Была. Они затарились едой и выпивкой, выехали с утра. Доехали до Калища и свернули не на ту дорогу. И так раза три подряд, хоть здесь и напрямки вроде... Я уж по мобиле раз десять объяснял, но такие люди — прямо не ездят. Когда они часиков в одиннадцать вечера снова выехали к станции, «бумер» так наебался по проселочным дорогам, что у него в хлам села подвеска. Им пришлось оставить машину на вокзале, а самим рвануть в город на последней электричке. Пока они назавтра искали автомастера, чтобы согласился отправиться в такую даль, пока ехали... Короче, когда они вернулись к своей машине, от «бумера» остался только корпус; и то не в полном варианте. Ты подожди смеяться... Да, мест-

ные разобрали — как же, такое диво. С тех пор Яна называла станцию Кáлище... видишь, са dépend¹.

Прошла кондукторша; Каркуша заплатил за билеты. В вагоне было тепло и сумрачно; подкидыш стремительно гротхотал по одноколейке.

— Это я к тому, что места здесь заколдованные и прятаться в самый раз. И, кстати, она угадала — правильно именно Кáлище, но не от того слова, что она решила, а от перека́ливать, в Средние века здесь калением в ямах добывали железо из болотной руды.

Данька забыл пить пиво, смотрел в окно и улыбался. С одной стороны, ему было грустно, что он не едет в свои зачарованные места сам, а просто везет Артура. Но с каждым километром вглубь ингерманландских лесов и болот он чувствовал, как возвращается к себе. Возвращаются силы, кровь начинает сладко поигрывать.

Подкидыш затормозил посреди чистого поля. За далекими холмами разгорался зимний закат; пурпурово-брусничный. Стало тихо и слышно, как с болот орут птицы. В вагон ввалилась тихо гомонящая семейка — бабка, мать и дети. Как на подбор, низкорослые, большеголовые и светлоглазые. Тараторили что-то на непонятном курлыкающем языке.

— Что они говорят? — шепотом спросил Артур. Ему было и интересно, и не по себе — надо же, всего три часа от города — и странный, неизвестный мир.

— Местное наречие, ижора. Пойдем, покурим?

Артур встал и послушно направился за Данькой в тамбур. Одна створка двери была открыта, в просвет врывался ветер. Пейзаж раздваивался: один, мокрый и настоящий, мчался назад, навстречу ему летел гладкий фотографический отпечаток в стекле дверной створки. Где-то посередине они едва не сходились, разделенные тонкой металлической трещиной,

¹Это зависит (*фр.*).

хрупким зазором меж. В какой-то момент Даньке показалось, что они сошлись совершенно; от зеркального подобия, а может, от первой за день сигареты легко и безудержно закружилась голова.

Локомотив постепенно замедлял ход. В дверце вагона отразилась водонапорная башня, станционный домик. Выходим, — сказал Данька. Котлы, Кеттеле по-местному. Артур метнулся в вагон за вещами.

Длинный приземистый дом с каменной кладкой у изножья. Службы. Курятник. Голые, беленые по колена яблони. Заросли малины. Пройшли мимо колонки, по раскисшей деревенской улице. Данька приотворил калитку и остановился. От дома залаяла собака. Вскоре на выложенной камешками дорожке показалась крупная рыхлая бабка в ватнике и домашних тапочках.

— Елен-Викторовна, — окликнул ее лейтенант.

— Да, да, — хмуро бормотала она. — Иду.

Пригляделась. Плоское лицо с крепкими туземными надбровьями осветилось улыбкой.

— Ой, Данилушка... За молоком, что ли? Так не сезон...

— Постояльца возьмете? — спросил Даниил Андреевич.

— Тебя, что ли? — усмехнулась, — Тебя задаром возьму...

Дрова колоть.

Подмигнула. Они вошли во двор. Из курятника выглянула любопытная пеструшка.

— Как товарища-то твоего зовут? — медленно переваливаясь, Елена Викторовна шла к дому. У ног вился озорной черный пес с рыжими подпалинами.

— Артур, — подал голос Лажевский.

— Вот еб твою мать, — подивилась Елена Викторовна. —

А попроще никак?

Даниил Андреевич обернулся к Артуру; с улыбкой.

В доме пахло грибами, старыми тряпками и дымом. Елена Викторовна толкнула дверь в комнату:

— Вон там будешь жить. Иди-иди, глянь.

Артур без особого любопытства пошел смотреть. Стол, полка с журналами, скромная кровать. Телевизор на тумбочке. Артур воткнул вилку — работает. Обрадовался: чем будет заниматься в этом медвежьем углу, он совершенно не представлял. С кухни доносились голоса — Елена Викторовна сочно хохотала, Данька спрашивал что-то про корову. Еще и корова. Ах, да, молоко же... Артур присел на кровать, обхватил голову руками. Господи, вот попал.

Даниил Андреевич сидел у крашеного деревянного стола, дул на чай. Улыбался, лицо окончательно просветлело.

— Жрать-то хочешь? — спрашивала его от плиты Елена Викторовна. — Ты ж солдат теперь, солдату положено...

— Что положено? — смеялся Данька.

— Все время хотеть жрать, — объяснила Елена Викторовна.

— Парнишку накормите, — сказал Даниил Андреевич, завидев показавшегося из комнаты Артура. Бабка обернулась, смерила Лажевского смешливыми глазками.

— Рыбку копченую, а?

Лажевский кивнул, ощущая во рту поплывшую слюну. Действительно, он не ел с утра. Данька с сожалением посмотрел на часы и отодвинул кружку.

— Все, пора.

— Ночевать оставайся, — буркнула Елена Викторовна.

Даниил Андреевич покачал головой. Протиснулся мимо грузной бабки к выходу.

— Парнишку не обижайте, — усмехнулся.

— Такого обидишь... Артур! — хмыкнула бабка.

— Лажевский, на пару слов.

Они бодро вымелись из дома на холод. Стемнело, неподалеку мерцали огни станции. Даниил Андреевич закурил.

— В борсетке деньги, но я заплатил вперед... За месяц. Она пятьсот рублей всего берет, так что там, если что, хватит.

Если помочь надо будет что по хозяйству — входи, пожалуйста, в положение.

— Дрова наколоть? — усмехнулся Артур, — Я не умею.

— Ну, извини, мне тебе мастер-класс давать некогда.

Даниил Андреевич торопился и раздражался; а может, раздражался потому, что надо было торопиться. Он стремительно затянулся и толкнул Артуру ладонь. Все, будь.

— Даниил Андреевич...

— Что?

— Вы Мишку тоже... как-нибудь?

— Как-нибудь! — зло усмехнулся Чингис. — Как-нибудь...

Когда едешь на поезде, земля несется быстро-быстро, а темное небо молчит, и кажется, что поля, дома, дороги и деревья стремительно перематывают назад. Улетая в ночь на подкидыше, Даньке очень хотелось, чтобы все перемоталось обратно на станцию Котлы и даже дальше; в лето. Но история, тем паче личная, тем и отличается от антиутопии, что ей никто не властен придумать благостную развязку — эту банальность очень просто осознать, но лучше уж ее никогда не чувствовать. Данька Ворон, экспериментатор и коллекционер эмпирических ощущений, сейчас бы очень охотно от этого опыта отказался. Как-нибудь; как-нибудь так. Почему вы не стреляли? — спросил его у калитки Артур. Я еще и этим прощтрафился? — усмехнулся Данька. Нет, — сказал Артур. Нет, но если бы вы выстрелили в воздух, то мы бы разбежались. Если бы да кабы... Извините нас, — сказал Артур. Они обнялись. Извиняю. Легко. А где аисты? — спросил Лажевский. Их нет сейчас. Подожди до весны, — и рассмеялся. Да уж.

К ночи улицы подмерзли. Ледяной ветер рвал облака, с изнанки подсвеченные фосфоресцирующим небесным электричеством. От Кеттеле до города подкидыш чесал мимо всех остановок, и через два с половиной часа Данька уже

подходил к дому. Это получалось сверхскоростное всплывтие; Чингис открывал дверь парадной, а в ушах еще плескался ритмичный гул, перестук колес, пронзительный свист локомотива, пролетающего очередную стрелку.

Встретил выходной Леха. Дань, Петрович с утра тебя названивает. Он на меня орет — где ты; на месте нет, дома тоже. Да, вот суп; девки сварили. Чингис прошел в кухню, зачерпнул поварешкой суп и оглянулся. Девушки выстроились в дверях. Слушали, что еще Леха скажет. Леха тоже заметил — а вы что здесь столпились?

— Что они все здесь делают? — задумчиво спрашивает Чингис.

— Ну, не все... — мнетя Леха. — Одна домой ушла.

— Маша, — голос из коридора. В дверях возникает женское существо — высокая, худая, шатенка. Глаза зеленоватые, мутные. — Мы ей говорим — чего ты, действительно. Оставайся; нормальные ведь парни.

— Какие парни? — Из лесу Данька вернулся умиротворенным, слегка неадекватным. Смотрит, и не то что не соображает; не видит будто. Девушка проскальзывает в кухню, трется поближе к Лехе. Усмехается.

— Слышь, у него глаза — как штормовое предупреждение.

— Командир, телефон я взял у нее.

Смеются. Голоса звучат, как через вату. Девка вякает, что они тут поживут. Лешка толкает ее увесистым бедром, лапает и хихикает. Вот ведь; моментально освоились.

— Хочешь — завтра обратно ее арестуем, Машу эту.

Даньку охватывает тихое бешенство. Он роняет поварешку в раковину, и ему кажется, что она летит очень долго, а потом оглушительно брякает. Все звуки оживают и врываются в уши. Гул ветра за окном, треск огня на плите, Лехин неопрятный простуженный хлюп, когда он смеется.

— Да, хочу. Только сегодня. Прямо сейчас. Давай, вали. Разрешаю выполнять.

Леха очумело стряхивает с себя девицу.

— Вы серьезно?

— Куда как.

Чингис двигает к себе ногой табуретку, садится, грохает локтями о столешницу. Появляется вторая — ладная пергидрольная блондинка; густобровая; брови срастаются на переносице и даже лохматятся слегка.

— Привет. Меня Катя зовут, — протягивает руку. — Если ты забыл.

Блядь, да я и не помнил.

— Лешка сказал, у вас вписаться можно. Мы жратву стоговим, отдыхать с вами будем всегда.

— Катя, давай без эвфемизмов. Отдыхать я умею сам. Помощь не нужна. А что у тебя посуда не вымыта? Какого хера тут свинарник?

Девицы включают, как торкнутые тамагочи; наперегонки бросаются к раковине. Леха суетится, лезет в шкаф за штофом. Протирает рюмочку, выставляет на стол. Кухня гостеприимно оживает.

— На, лейтенант. Ебни с дороги. Сейчас Катюха котлеток с пюррой нажарит. Ужинать будем. Маше позвоню сейчас.

Чингис невозмутимо наблюдает вынужденную активность.

— Оксана, — высокая в полуприседе тащит на стол колбасу. Улыбается. На зубах — железные фиксы. — Но лучше — Саша. Мне имя мое не нравится, — почти по-родственному сообщает она.

— Да мне пофиг, — доверительно кивает Чингис. — Как хотите, девочки.

Поднимает на нее тяжелый взгляд.

— Чего стоим, кого ждем?

Саша-Оксана спотыкается и бежит к плите. Данька следит за суетой и все ждет, когда она начнет радовать глаз. Ни

фига. Резко отодвинув табурет, он встает. Все замирают. Он выходит в коридор.

— Вольно. Расслабьтесь. Я пошутил. Думал, будет весело, но что-то не прет.

Засыпая, Чингис слышал с кухни нерешительный шум и шепот — чисто мыши шевелятся. Под занавес опускающейся дремоты он с тревогой отметил, что места обитания в последнее время повадились незаметно захлопывать перед ним двери, заводит новых жителей, будто сокращая пространство вокруг. Если так пойдет, вяло подумал, вскоре совсем будет некуда деться, и он точно станет, как незахороненный покойник — кругом опасаются, нигде не рады.

— Я Маше звонил, у нее телефон не отвечает, — извинялся утром Леха. Выполз в то время, когда Чингис, стоя у плиты, глотает безвкусный чай. Время восемь; за окнами тьма непроглядная. Солнце катится по обратной стороне земли, приближая к городу самый короткий день, а за ним — самую бесконечную ночь. Не надо, — отмахивается лейтенант. Не надо звонить никому; сказано же — пошутил я. Берет со стола планшетку, заматывается в шарф, руки — в жестяные рукава шинели. С бумажкой от скорой едет в общевойсковой госпиталь, к которому прикреплены юго-западные дружинники — выправить больничные и задним числом оправдать прогул. Госпиталь в Петергофе; по дороге можно и домой. Наведаться.

Вдвоем слевой поднимаются на пятый этаж, Данька открывает дверь. Проходит на кухню в ботинках, ставит воду для обеда. Лев Николаевич заглядывает в комнату, смотрит на самодеятельный женский портрет над столом. Рядом — карта Нью-Йорка.

Красивая... Карта или женщина? Жена твоя. Это мама! — смеется лейтенант. — Отец писал.

Нью-Йорк отозвался из трубки длительными гудками. Мама взяла трубку только на пятый-десятый; по-англий-

ски. Не узнала, потом обрадовалась, потом выговорила — Дань, ты соображаешь, который у нас час? Да, как на другой планете. Поздравил со скорым Рождеством. А тебя с прошедшим! Днем рождения! Приезжай, а? — это мама. Что, можно уже? Мистер Робсон разрешает? — не удержавшись, усмехнулся Данька. Даня, не начинай, — устало попросила мать. Ладно, прости, — ему стало неловко. К Рождеству не успеешь, но к Новому году, ага? — обрадовалась. — У тебя виза до лета, зачем сделали, если ты так и... У-у, мам, — что мам? Да нет конечно, не могу я, пойми. Нет, представь, — жалобно, — будем гулять по Манхэттену, Централ-парк заснеженный, холодный ветер с Атлантики. Санта-Клаусы на каждом шагу. Потом на юг поедем, у нас там усадьба среди магнолий, в Йокнапатофе практически, ты же любил Фолкнера. Данька засмеялся. Мам, у меня хорошее воображение, ты вот рассказываешь, а я будто уже там. Давай пока этим ограничимся. У-у-у, Гамлет-машина, — передразнила его мать. Голос вот только у тебя какой-то взвинченный, я, помнишь ли, музыкантша и отлично чувствую обертона.

Тренькнул рычаг. На экране телефона мигает два непрочитанных сообщения. Он нажимает на «прослушать».

— Батманов, здорово. Это Соколова из «Планов на вечер». Не хочешь ли ты написать для нас о...

Здравствуйте из прошлого. До свидания.

— Даниил Андреевич, это Аля Смирнова. Хотела похвастаться. Я работаю в студенческой мастерской. Делаю батики. И если вам понадобится репродукция средневековой миниатюры на стенку, то обращайтесь. Еще я хотела спросить, как у вас дела. И, на всякий случай, мы располагаемся по адресу — Остров, переулок Репина, Академия художеств. А там через вахту на этаж...

Данька рассеянно улыбается и поднимает блокнот. По памяти записывает: Остров, Академия, этаж.

Аудитория; нет, зал. Окна в потолок. Переплет смыкается чуть не под ступнями полнотелых ангелов, похожих на куртизанок. Ангелы рвутся из плафона, пухлыми кистями отбрасывают от себя яичный желток божественного света над головами студиозусов. Внизу рядами стоят мольберты. За ними прячутся от препода; под их прикрытием перебрасываются карандашными записками. Бумага, карандаш, живая натура.

Натурщик — изящный худой парень с профилем, как у Гоши Куценко, и бешеными водяными глазами. Меж выпирающих кострецов на причинной точке — мешочек на веревочках. Руки за спину. Святой Себастьян. Смотрит в потолок; одна нога босиком упирается в дощатую подставку, другая изображает согнутое колено.

В аудитории холодно, но у подружки по левую сторону голые ноги под гетрами. Клетчатая юбка живописно топорщится на коленях. Наташа слюнит карандаш. Грифеля тихо шуршат по плотной бумаге. Наташе не холодно; не холодно и этому берсерку посреди зала. Алька натывается на его маленький тайный взгляд; будто он знает про нее что-то, но никому не скажет.

Перезрелый мальчик лет двадцати девяти, с ранними залысинами и кудрями по пояс, передает через Альку карандашную записку Наташе. Наташа читает, бесшумно смеется, сгибаясь к коленям. Сверкает через Альку задорными масляными глазами; темно-карими, но зеленоватыми в то же время — как капельки нефти. Не девушка, а золото, — шепотом подтверждает Алька соседу. Тот — вольнослушатель; богема. По вечерам водит Наташу по артистическим кабакам. Наташка — сногшибательная сибирская барышня. Дочь туземной учительницы и нефтяника. Там, за Уралом, у них сплошные вышки, нефть и огненно-ледяные девушки. На мольбертах Наташи и этого волосатого — одна фигня; силуэт и слегка проработанные ноги и бедра. Мужские бедра получают у Наташки особенно хорошо. У остроносого

натурщика дрожат мышцы на ноге — очень трудно стоять битый академический час в одной позе. Как и всем, Альке неудобно смотреть ему в глаза.

— Антон! — Час закончился, к натурщику пробирается верткий парень в куртке с бесчисленными карманами — из карманов вываливаются баночки из-под фотопленки. — Хочет Антона в модели.

— Извини, — ровно говорит Антон, деловито пристегивая протез к красивому колену. — Ты мне как человек не нравишься.

Алька складывает мольберт. Выскакивает в коридор. Наташа шепчется с очередным; Антон бодро ковыляет к выходу:

— Аль! — зовет он. Алька проталкивается к нему. Антон служил на какой-то из региональных войнушек, теперь работает диспетчером в аэропорту, а в Академии художеств избывает комплексы — часами голым торчит перед сопляками, позволяя себя рисовать.

— Алевтинка, там тебя перец какой-то искал на втором этаже. Заказчик вроде.

— То есть? — оживляется Алька.

— У тебя что, море заказчиков? — усмехается Антон. — Нет? Тогда — пулей.

Смеется вслед. Этот — кричит — в форме. Глядишь, патриотическое закажет панно. Святой Егорий душит чеченского змия.

Антошка улыбается. В свитере и джинсах он теряется среди студентов; только пронзительные глаза светят, как у кошки.

Мастерская пропахла тряпками и краской. Профессор графики Владимир Викторович по прозвищу Ягдашка катает на линотипном станке гравюру. ВладВик маленький и заросший; улыбчивый, как лукавый лесовик. У окна, руки в карманы, торчит темная точеная фигурка — чуть выше Ягдашки. Спиной; на воду смотрит. Нева громоздится си-

зыми ледяными отвалами. Только под мостом лейтенанта Шмидта — ухаает в глубь черными окошками. Прямо по курсу — два сфинкса с отбитыми бородками. Мы, знаешь. На истфаке, на первом курсе. Напившись, ходили к сфинксам. Угощали сфинксов шампанским. Традиция такая... Чингис оборачивается к Альке; ловит ее взглядом на входе. Смирнова влетает в мастерскую, развеваясь расписными рукавами, как яростная жар-птичка. Ягдашка скрипит ботинкой по полу, разворачиваясь к ней. Останавливает ее взмахом руки. Алька рассеянно улыбается в сторону Даниила Андреевича. Белый сумеречный свет лепит ему резкие монголоидные скулы, подчеркивает крупный — не по самурайскому канону — нос.

— Я знаю. Мне Миша рассказывал. — ВладВик наконец отпускает Альку.

— О чем? — На Смирновой свободные брюки с тяжелой бисерной пряжкой у пуза и мягкая, собственноручно разризованная рубашка. Она стоит, развернув круглые плечи, и с внимательным недоумением смотрит на Даниила Андреевича сверху вниз — он неожиданно оказывается ниже ее ростом, и вообще похож на игрушечного солдата: геометрически выверенная линия плеч, перечеркнутая талия, крепкие ноги в сапогах для верховой езды.

— Про шампанское. У сфинксов, — со значением объясняет Смирнова.

Чингис ловит себя на том, что исподволь разглядывает Альку и подмечает, как она будто светится сквозь тонкую радужную рубашку — плавные балетные плечи, нежная юношеская шея из ворота, грудь. Рыжие завитушки небрежно собранных в узел волос; совершенное, незнакомое, безудержно поэтичное юное существо. Даниил Андреевич внезапно вспыхивает. Алька следит, как его смуглые щеки заливают нервным оранжевым румянцем, и взгляд ее смягчается. Его неловкость она истолковывает как запоздалое

раскаяние, вызванное напоминанием о Мишке. Чингис отводит глаза и смотрит вниз, на улицу. В окне светится синим вечерний город; словно возвращаясь в Данькино детство, где гудящие лиловые фонари и темные переулки. Прошлое всегда кажется лучше, чем есть; каждый прожитый год, в который вступаешь, будто в лужу, постфактум бережит нереализованным счастьем, бодрящим озоном. Данька вспоминает глупого двадцатилетнего парня на том самом Васильевском острове, где сфинксы, шампанское, Румянцевский садик и колонная Биржа, как все белоснежные призраки Эллады разом. Где сейчас такая же глупая, летучая первой молодостью Алька. Ему становится почти так же легко и очень горько, поэтому он не говорит ничего, но только кивает ей головой в сторону двери и выходит на площадку. Алька выплывает следом.

По лестнице, чуть раскачиваясь, идет Антон.

— Аль! — кричит. — Вам посидеть негде?

— Слушай, правда... — встряхивается Каркуша. — У тебя есть полчаса? Может, пойдём отсюда?

Алька милостиво кивает. Они втроем спускаются в гардероб. Даниил Андреевич молчит и сосредоточенно смотрит под ноги. Антон безудержно моросит о чем-то веселом. Алька чувствует легкую двусмысленность. От этого ей смешно и сладко. Она и Антон берут куртки в гардеробе; Даниил Андреевич ждет.

— Антон.

— Даниил. Вы тоже художник?

— Художник, — смеется Антон. — Натурщик. Позирую. Товарищ лейтенант?

Чингис отмахивается.

— В «Бруствер»? — Антон перехватывает у Альки куртку; помогает надеть. Данька тоже пытается, но оставляет. У Антона лицо серьезное, будто в этой курточке вся его жизнь замкнулась. Втроем они выходят на заснеженную

набережную. Лева дремлет, уронив за рулем голову между острых плеч. Антон и Алька садятся сзади. Машина идет вдоль береговой линии, сворачивает на Съездовскую.

По лобовому стеклу мажет снег. Декабрь, сумерки. Напротив, через реку, Сенатская площадь — как пустая ладонь в сторону Невы. Резной медный всадник — шахматная фигурка, набрякшая следующим ходом. Дрогнули и ползут облака. Алька следит легкую треугольную спину Даниила Андреевича на переднем сиденье. «Козел» грохочет по брусчатке. Алька наклоняется к Антону; тот толкает дверь плечом и выходит из машины. Кидает ей руку.

В «Бруствере» сумеречно и пустынно. Они заказывают салат, пельмени, графинчик водки. Даниил Андреевич косится на Альку и просит сок. Ей не верится. Она сидит с двумя взрослыми парнями, один из которых — Даниил Андреевич. Оба переглядываются.

— Ебнем, лейтенант? — веселится Антошка. — Давно дружите?

Алька морщит нос и вся лучится нечаянным кокетством. Даниил Андреевич смотрит на нее тепло и весело; закидывает руку на скамейку за алькиной спиной; будто обнимает ее, не касаясь.

— Давно? — спрашивает Алька, прищурившись.

— Три с половиной года, — не сморгнув, выдает Каркуша.

Заводят Сальваторе Адамо — вальс — «Les filles du bord de mer». Кабак наполняется посетителями, и вскоре в маленьком зальчике уже тесно. Рядом косматые историки брызжут пеной насчет выдуманных империй.

— Имперский дискурс — единственное, что может спасти Западную цивилизацию от затопления, увядания, тотального краха.

— Что ты думаешь об этом? — спрашивает Антон. В «Бруствере» принято бродить от стола к столу, но от их компании держатся подальше — во всем виновата Дань-

кина форма. Лейтенант в грубой своей камуфляжной куртке, с сумеречными глазами. Барменша расставляет масляные печки — те неистово жарят в спину. Чингис ничего не думает; его рука лежит на спинке скамьи, Алька откидывается назад и неожиданно уютно помещается на его плече. Вздрагивает и отстраняется, снова опираясь локтями о стол. Даньке тепло, сердце прыгает от алкоголя и волнения. Смирнова оборачивается и требовательно смотрит на Даниила Андреевича; Чингис понимает, что она ждет, как он сейчас покажет Антону интеллектуальный класс и чьи в лесу шишки. Облизав губы, он произносит:

— Имперский дискурс... бордэль дё мэрд¹...

И тихо смеется. Эти двое, художница и ее остроносовая модель, воззрились на него с явным непониманием. Дым в потолок; смех; выкрики; два взгляда в унисон. Клубы дыма над головами кружат, как будто привидения вальсируют. У Альки лицо разочарованное — былой ее кумир выглядит по-идиотски. Антон жмет плечами и уходит в туалет. Оставшись вдвоем с Алькой, Чингис окончательно теряется. Ему тоскливо и завидно чужому празднику.

— Аль... ты не хотела бы встретиться со Славой... Медведевым? — спрашивает Данька. Алькин взгляд становится напряженным и даже упрямым. Чингис уверен, что неодобрение адресовано точно ему, но ей-то просто неловко — при встрече уколов Каркушу напоминанием о Мишке, она и думать забыла, чего они здесь вообще.

— Да, — говорит она. — А это возможно?

Даниил Андреевич собирается, снова становится сосредоточенным и взрослым.

— Можно устроить вам свидание, — поясняет он. В конце зала хлопает дверь; Чингис замечает возвращающегося Антона и быстро говорит: — Я хочу, чтобы ты спросила его,

¹ Bordel de merde — сраный бардак (*фр.*).

куда он слил мой пистолет. Если мы его вернем, это поможет. Ясно?

— Да. Хорошо, — соглашается Алька. Даниил Андреевич кивает, закрывая тему. Ему не хочется говорить о деле при постороннем, но еще — он зачем-то бережет иллюзию дружеского вечера. Впрочем, она, кажется, уже рассеялась и так: Алька насупилась, Антон вернулся и молчит. Приносят пельмени. Данька отдает подавальщице сто рублей и начинает застегивать пуговицы. Пальцы неловкие и соскальзывают; он сосредоточенно пытается протолкнуть жестяной кругляшок в прорезь. Разреши, — говорит Альке. Та вскакивает, чтобы выпустить его из-за стола.

Историки заводят арабские напевы и пускаются в пляс — после того как в городе ужесточили регистрационный режим, культура шавермы резко вошла в моду.

— Уже уходите? Музыка не кошерная, а? Товарищ лейтенант? — Антон снова оживился и задорно приподнимает брови. Алька ему смеется; скучать без Чингиса они, понятно, не станут.

— Господь с тобой, — Каркуша морщится, как от зубной боли. — Какой я тебе товарищ. — Морда злая и высокомерная. — А бьенту, мез ами¹.

Алька хлопает глазами. Чингис целует ее в щеку и выходит, издевательски улыбаясь. Антон с Алькой переглядываются.

— Сам понял, что сказал? — усмехается Антон. — Вообще за такое и в табло можно. Что это за хлыщ вообще? Три с половиной года и на «вы»?

Схоронив нос в кольца шарфа, Чингис выходит на Средний проспект. От дыхания шарф стремительно набрякает влагой и вскоре застывает у лица ледяным колом. Данька поворачивает к метро. Что на него нашло; устроил этим

¹ A bientôt, mes amis — до скорого, друзья мои (*фр.*).

двоим комическую миниатюру, театр одного актера. Чингис топает по проезжей части и бормочет про себя ласковые французские слова. Редкие прохожие шастают, как тени. У китайского ресторана торчит иномарка и белый микроавтобус; деловитые маленькие человечки выгружают ящики к служебному входу. В ресторане раньше была самая красочная в городе чайная церемония. Вскоре после открытия Даньку отправили туда на разведку с тем, чтобы написать рецензию для первого местного ситигайда. Было неинтересно идти в одиночку, и он позвал знакомого поэта и культуролога, до того два семестра преподававшего в Пекинском университете. Обедать? — рассмеялся Дима. Это не круто. Там же не будет никого в это время; какой смысл; никто не увидит, что мы туда ходим. Как так сложилось, что Дима снова в Пекине, а Данька, которому все предвещало пополнить ряды полунищих, заносчивых властителей дум; полмира объездить на гранты, а по утрам завтракать десятирублевыми круассанами в ближайшей кондитерской; тоном ленивого всезнайки разбирать достоинства гадкого жирного фуа гра, впервые отведенного по редакционному бартеру; годами собирать бабло на подержанную иномарку; невозмутимо входить в сэкондхэндовских джинсах в очередной кокаиновый гадюшник, отряхивать ироничные взгляды пидороватых официантов, чующих своего, то бишь обслугу, пусть с кандидатской степенью и звонким журнальным именем; вбить несколько лет жизни в первую книжку; радоваться ей, как ребенок; после первой продажи прав отбелить зубы, чуть не спиться на презентациях; бросить пить, курить, писать; начать вести вечернюю передачу по местному каналу; стать умеренно популярным; судорожно жениться, потому что как-никак тридцатник; бросить наконец все, вбухать оставшиеся деньги в дачный домик и уехать сначала туда, а потом и вовсе не знаю куда, на край света, потому что сил никаких больше нет.

К метро подвезли елки и прямо на снегу разбивали новогодний базар. Было двадцать второе декабря, полвосьмого вечера. На ступенях метро колыхалась поникшая человеческая масса. Час пик; Данька последней резкой затяжкой прикончил сигарету и начал протискиваться вдоль поручня ко входу на станцию «Василеостровская».

Чингис промерил шагами участок шоссе от выезда на проспект Буденного; метров триста в сторону города. — Кажется, здесь.

Следователь, утомленная молодая тетка с первыми признаками беременности, посмотрела на придорожные кусты и принялась листать протокол. Рядом шарахался астеничный оперативник; Петрович курил, свесив ноги из машины.

— Вас вытащили из машины и ударили по голове? — уточнила тетка.

— Да.

— Спереди или сзади? Кулаком или каким-то предметом?

— Не помню, — честно ответил Чингис.

— Вы потеряли сознание и очнулись уже в гараже?

— Да.

— Почему не применили оружие?

— У меня не было оружия. Пистолет еще не выдали.

Следователь кивнула.

— Ольга, — окликнул ее опер. Он стоял на обочине и плевал в канаву. — Глянь, там мешок какой-то.

Данька похолодел. В тростнике за канавой валялся полупустой холщовый мешок. Мокрый, слегка присыпанный снегом. Вокруг горкой рассыпана промерзшая картошка. Крупная, чистенькая. «Синеглазка».

Опер одним махом перескочил канаву.

— Оль, они ж за картошкой в совхоз мотались. Значит, точно тут было.

— А зачем эти ее повыкидывали? — задумчиво спросила Ольга.

— Мало ли для чего им мешки понадобились, — нехорошо усмехнулся опер. Петрович выскочил из машины и тоже подошел к обочине. Приехали, — подумал Чингис.

— Попытайся что-нибудь вспомнить, — услышал он снизу и со стороны голос Ольги. Он машинально посмотрел на нее — барышня-следователь была маленькая и совершенно круглая в пухлой курточке с заячьим воротником. Ольга смотрела со сдержанным сочувствием, и Данька кивнул.

— Ты сидел сзади.

— Да.

— Сколько было мешков, помнишь?

Здесь врать не имело смысла — за одним мешком в деревню не ездят.

— Несколько, — округло ответил Данька.

— Значит, двух или трех не хватает, — заключил Петрович.

— Здесь натоптано, много... И еще картошка рассыпана! — с энтузиазмом подал голос оперативник.

— Больше недели назад, — покачала головой Ольга. — Тогда оттепель была, сейчас снег. Это не те следы. Но вот кто картошку высыпал...

— Этого я не помню, — неожиданно четко заявил Чингис.

— Не помню, не помню! — разозлился капитан. — Память у тебя, что ли, девичья?

— Его вырубил сразу, — напомнила Оля.

— Может, потырили? — опер, усмехаясь, вылезал из тростников. Отряхивал с себя травяную труху, сухие метелочки соцветий. — Мешок на полцентнера, его не утащить целиком.

Данька чуть не посмотрел на него с благодарностью.

— Темнеет, — сказала Оля, поежившись. — Поехали отсюда.

Милицейская машина ушла в город, а Данька с Петрови-
чем отправились в конюшню. Капитан решил проведать свою
любимую конную гвардию и на лошадке заодно покататься.
Он так и сказал — покататься на лошадке.

— Тебя к награде представили, — сообщил он Чингису
по дороге.

— За что? — не понял Ворон. После очной ставки с ме-
стом происшествия он чувствовал себя как в невесомости.
Кровь затаилась где-то за грудиной, руки и ноги ледяные.
Борька все одно в бегах, и врать про убиенных едоков кар-
тофеля уже не имело особого смысла, но раз уж начал, то на
полпути не прекратить никак. Данька медленно размышлял
о том, чем эта история может обернуться лично для него.
Да чем угодно. Лучше даже не думать.

— Это... — капитан озадачился. — За лишения. За муже-
ство в чрезвычайных обстоятельствах. Как-то так.

Данька кивнул. Ага. Вспомнил про лишения, которые
претерпевал за столом у Димы-Пули, и ему стало стыдно
и смешно.

— В гараже сидел? Сидел. По балде получил? Было
дело, — перечислял Петрович. Страна мазохистов. Даже
по версии Петровича представлять его было не за что; так,
по крайней мере, казалось Даньке.

— К Новому году вряд ли нарисуют, хотя... — радовался
за него капитан. — А ребята, скорее всего, по весне всплывут.
Ты, Данила, в рубашке родился. Я это сразу понял.

Кто отпустил его? Кто — отпустил?! Ур-рроды! Конь под
лейтенантом угрожающе качнулся вперед. Пьяный дружин-
ник лениво рычал в руках патрульных. Потерпевший капал
кровью на синеватый снег. Небольшая круглая площадь была
освещена единственным фонарем. По периметру тепло ко-
лебались конские тени.

— Мы задерживали его полчаса назад. Я сказал — доставить в изолятор.

Какой изолятор, товарищ лейтенант? Он же наш, дружинник.

— Наш?! Чей, я спрашиваю? Твой, мой?! Ой, дур-рак... Сержант, вы отпустили?

Сеня Иванов хрипел. Простужен.

— Он удостоверение показал.

— И что?!

У Чингиса на козырьке кепи громоздится маленький сугроб. В густых тнях не видно взгляда, только крепкий рот кривится, зубы сверкают. Голос звенит на морозе, как ебнутая битая сосулька. Внезапно сосулька дает окончательную трещину, а голос — петуха; и пропадает. Чингис хрипит, кашляет, ведет по лицу перчаткой.

Дурак! Теперь этого — на коня и в больницу. Да не тяни! Парень на снегу закричал и снова потек кровью. Сержант испугался и отпустил. Нет. Ладно. Так не довезешь. Ладно, давай его сюда. Соловый почуял и резко дрожал. Сеня спешил; втроем они подняли раненого и посадили лейтенанту чуть не на колени. Парень и в седле продолжал плакать. Ворон осторожно тронул Ваську с места, руки путались в липких поводах. Сержант — со мной, Шуляк, Васильев — скотину пьяную в изолятор, остальным — продолжать патрулирование. Выдалась ночка; здравствуй, жопа, Новый год.

Густое, плотное пятно света теплой соловой масти постепенно окунулось в темноту и некоторое время напоминало о себе стонами раненого и неровным цокотом копыт. Сеня виновато пнул дружинника, быстро залез в седло и поехал вслед за Вороном. Темнота хлопьями валилась на головы и плечи. Лейтенант ехал пригнувшись, словно чувствовал эти хлопья и сети, и обвисшие провода чуть выше, но все же иногда заденешь, и иногда обсточены, а иногда и нет.

Тогда черная полоса поперек горла. Кто-то всерьез ополчился на спецподразделение всадников апокалипсиса, как называют конных гвардейцев в народовольческих листовках. Позавчера, в Варькино дежурство, был первый труп: провод висел как раз на уровне — так, что пеший не заденет, а конному в самый раз.

Раненый стонет, тело все мягче, потом начинает дергаться. Вот тоже история. Пьяного дружинника задержали полчаса назад; Сеню отрядили сопроводить его в обезьянник, а он отпустил с полдороги и даже оружие отобрать побоялся. Полчаса, и прохожему две пули в живот.

Что ж ты бьешься так, тихо. Соловьи боится, косит глазом, всем телом кидается к стене, хочет выскользнуть из-под полумертвого, кровоточащего мяса. Невесомая, теплая, много теплее воздуха кровь, ползет по бокам солового, по шерсти, Чингис чувствует ее на своих руках и на одежде, и плотнее жмет колени к конским бокам — своей трепещущей, ненадежной, единственной реальности в этой ночи. За спиной — призрачный цокот и стук, и звон трензеля. Время от времени его догоняет сержант.

В приемный покой ломились долго. Сеня соскочил с лошади и стучал в обитую железом дверь подкованным шпорой ботинком. Забылся и стал стучать пяткой — шпора сломалась, а дверь все равно грохотала и гудела. Наконец им открыл охранник в похожей форме. Кто такие? Из темноты ткнулась испуганная конская морда. Охранник не успел снова захлопнуть дверь — Чингис спешился прямо в коридор. Набежали медсестрички и молодая врачиха, образовали гаремную суету. Он умер, — сказала докторша с грустной безапелляционностью. Чингиса повели отмывать от крови.

...Всех пьяных сволочей задерживать, — лейтенант выржался лаконично и несколько туманно.

Как, простите, определить, что именно эта пьяная — сволочь? Всех буйных сволочей, — поправился лейтенант.

Дружинников в особенности... mon tabarnac!¹ Все одно отмажутся, но в обезьяннике все же посидят. Палят в белый свет, как в копеечку; форменная паранойя. Чингис весь мокрый, и голос сел; в приемном покое тревожно пахнет лекарствами и отвратительно — хлоркой. В женской смотровой кудлатый доктор допрашивает опухшую бомжиху. Тетка дергается в колицах и воет.

— Цирроз есть?

— Что это такое? — воет та.

— Допьешься — узнаешь, — равнодушно говорит врач.

Во дворе больнички стоит Сеня, держит в поводу Бовивара. В Управлении сегодня пьянка; Петрович приказал уважить. С Новым годом. Поздравил Чингис и уехал. Огромный зал, люстры дрожат в вышине. Длинные столы, капитана не видно. Чингис с мороза; щеки немеют. Распорядитель с невозмутимым стертым лицом ведет его на свободное место. Что будете на вторую перемену? Рыбу? Мясо? Данька хрипло смеется. Сейчас бы рюмку и с копыт. Он пьет, не чувствуя вкуса. Обжигает где-то ближе к желудку; будто на диафрагму село горячее мягкое солнышко. Огненная змейка внутри подышает; шипит в ушах, оседает в горле поганым вкусом. Смерть летит на страх, как на лакомый запах, как жирная муха на дерьмо или падаль. Почему вы не стреляли? — спрашивал его Лажевский. А потому, милый мой мальчик, что после деревни Санино я носил пистолет незаряженным.

За окнами стонет метель, но Даньке кажется, что это небесное электричество скопилось в таком количестве, так питало город, что он гудит теперь, как огромный перенапрягшийся трансформатор. Боль, горечь, ужас — это неизбежные составляющие человеческого вещества, но насколько они тяжелее всего остального, настолько они тя-

¹Ебанный придурок, букв. «ящик для Святых даров» (*фр.-канадск.*).

нутся спуститься вниз, все ниже и ниже, и, набрякнув ими в достаточной степени, так легко продавить землю собственной тяжестью и ухнуть из каких-нибудь «Пяти звезд» в подноготный слой, в густой экзистенциальный перегиб, где бродят сирые и убогие, и точат их черви, и каждое ружье непременно стреляет в свой срок. Ветер усиливается, люстра под потолком мигает, будто опять где-то сорвало провода. Провода; да. Парнишку позавчерашнего завтра хоронят; Даньке даже не вспомнить, как его зовут, но Варька вчера плакала. Почти при ней все было: ехал впереди, заземленный вместе с лошадью. Коня зачем? — ревела Варька. Во, лошадь ей жалко; дура. Данька вспоминает Сержа, и ему не верится — не их это стиль; те ребята дурные, громкие. Шумят, памфлеты пишут. Если и убивают, то окна. Бьет двенадцать. Дружинники вскакивают и начинают палить в потолок. Чингис замирает над остывшей второй переменной. И пойду я долиною смертной тени и да не убоюсь я зла. Рядом пьет длиннохвостый черный поп, пьет и плачет, день на день, и никак не отпускают, льют пойло, ругаются, освященное свинство. Патроны скончались, официанты попрятались по углам. Десерт!! — орет с конца стола толстый усатый дружинник. Знаки отличия плывут у Чингиса в глазах, потом все меркнет, будто в телевизоре села трубка, и он только помнит, что, кажется, это Александр Петрович, а усы, потому что от соуса.

Дом большой, изнутри белый, четырехэтажный. Лепнина тяжеловата — барокко, ослепительные тела колонн, золотые шишки на перилах. Каблуки — цок-цок! Тонко звенят шпоры, шуршат пласты напомаженного воздуха, в пламени свечей колышется тяжелый аромат, сквозь чахоточные румяна — жар, жар, разгоряченные, блестящие глаза, полные руки безвольно-могущественны, о-ой, да это девушка, плюх, помой с черного хода. Чингис третий час лежит под лестницей, нажравшись водки до состояния просветления. Ему чудится

подобающий антураж, дамы и кавалерственные дамы, он говорит дону Хуану — куда тебе с твоим кактусом! Он видит черноризца, свисающего с прелестных витых с некоторым излишеством перил — куда тебе с твоим молохом и лунной астартой достигнуть носом паркета! Суть твоя — вечное стремление, идеал неуловим, неуловим лунный свет, а мне, как последовательному соляру, смешно наблюдать твои вялые поползновения, вниз, о-о-опаньки, да куда же ты, к недостижимому! Дурно пахнущая груда тряпок и бороды шевелилась в его объятьях.

— Домой... а?

— Петрович разрешил? — задумчиво осведомляется Чингис.

— Н-нет, — грустно соглашается поп.

— Ну и не надо, — кивает лейтенант. — Лежи здесь, я пойду позвоню.

Чингис сказал неправду. Сначала он пошел мыться. Потом действительно позвонил с вахты Льву Николаевичу, поздравил с праздником. Попросил приехать. Встретил его у парадного подъезда, несмотря на мороз, без верхней одежды, в форменных брюках и старой ковбойке сидел на ступеньках, в остальном пьяным не казался. Снова поздравил, попросил подождать, пять минут спустя появился уже в шинели и со товарищем. Товарищ был в рясе, накушавшись изрядно, висел у Чингиса через плечо и ничего не говорил. Кроме адреса, по которому Лева и повез их сквозь заснеженный город. Отец Иероним — представил наконец лейтенант беспмятного друга, пригладив на нем пегие от седины космы. Лева молча кивнул, не отворачиваясь от дороги.

Приехали скоро — было недалеко. Лев Николаевич остался в машине, ветер усиливался, темнело. Чингис пропал в двух шагах.

Этажи здесь не то что в новых домах — долгие, но почему-то даже не очень тяжело. Отец Иероним длинный, бо-

тинками стучит его по коленям, ворчит иногда, стонет или извиняется. Дверь большая красивая, прошу стучать. Открывает женщина — не туда попали? Мама! Всклипывает отец Иероним и падает внутрь. Хлебосольный черт Петрович: намертво.

Женщина тащит отца Иеронима под мышки по длинному коридору (поперек не помещается), ботинки его цепляются, стучают о порожки. Чингис цепляется за ботинки — помочь? Да, на коврик. А теперь я все. Сама. Выпроваживает. Неудобно как-то. Спасибо. Неудобно. Извините. До свидания. Данька хочет было сказать, что отцу Иерониму на коврике вроде тоже неудобно, но дверь водружается перед его носом внушительной преградой. Вскоре он слышит, как гремят вниз по лестнице его расслабленные шаги.

Снилась метель, и что Лев Николаевич скромно просил в долг на ходу, я полез под сиденье искать борсетку. Тихо ты! испугался Лев Николаевич. Лева, не благодари, это же совершенно естественная человеческая взаимопомощь. Лев Николаевич, поверни, мне в церковь, во имя Св. Егория Победоносца, между прочим, тоже римский офицер и мученик за веру, а к чему там дракон, убей, придумали, не знаю, древний, понимаешь, архетип. Рождественская служба, и все обязаны. А я ихнего попа пьяного домой провожал. Только тс-с, не говори никому, а то получится — казус... Там и Петрович, и все, с постными минами, а далее — что? За столы пугать ихтиандра. Кормить ихтиандра. Пугать унитаз. Ггадость! Древний, понимаешь, архетип.

Свечечки, вертеп, ангелочки сверху лезут румяной пеной... Благолепие! Вертеп. Поверни, Лев Николаевич, мне на службу. Вон и купола — видно... Нет? Метель? Вечер сквозь снег светит — синий! Как будто весна скоро — прошептал так мечтательно, прямо нежно, прямо барышня. Какая служба! Ночь. Не вечер. Машину остановить? Не останавливать? Что

я здесь подделаю — метель, на полпути, никого, рот бледный и глаза закатываются, голова то вниз, то на плечо. Чингис, черт, да что с тобой. Совсем вроде был трезвый, а вот. Кончается.

Машина подлетела к крыльцу, вильнула снежным хвостом. Чингис, как обычно не пристегнутый, треснулся лбом в бардачок и неожиданно пришел в себя. Лева из машины споткнулся о чью-то обувь. О! Сказал Чингис. Башмачок, сняв с ноги, бросали. На колени, под ноги ему, и ну ползать, искать — ха-ха! Не могу! Лева! Это Лешкин ботинка! Суженый, *calvaire*¹! Ой-хи-хи...

Я ударил ему в лицо, и он повалился на снег. Не обиделся, только лежал и всхлипывал. Идем. Идем домой, сказал. Послушный — поднялся, пошел. Лев Николаевич вернулся, закрыл машину. Этот лбом в дверь уперся, стоит, пошатывается. Ключ? Ключ! Вынул из кармана, лицо сосредоточенное, в волосах снег стекает слезно за воротник. Дань... Данька! Услышал и отошел. Открыли дверь. Девиц не было. Лехи не было. Ушел без ботинки. Мы пошли в коридор. Шел сам, твердо переступал ногами. Что за чудеса с этим Данькой? То пьяный, то тронутый. Чаёк будешь? Морда бледная, спрашивает: Лев Николаевич, будете чай? Вы голодны, наверное. У нас есть колбаса и хлеб. Если Лешка все не уничтожил. А если уничтожил, есть тушенка. Ботинки можете снять в прихожей. Вот, я уже снял. (Идет на кухню.) Ставит на плиту чайник и грохается об пол. Лева облокачивает его о стенку и бьет по бледным колючим щекам. Чай придется заваривать самому. Но сначала ты у меня нашатырь выпьешь. Выпьешь, выпьешь. Во, поехало. Мученик за веру. Выгнулся, головой о стенку стучит, ты ничего, это ничего, сейчас я тебе тазик. В уборную пройдешь? Ишь он как — в уборную. Стоп,

¹ Муки Христовы (*фр.-канадск.*), используется в значении матерного междометия.

не падай. Подошвами за землю, здесь иначе нельзя. Вот ведь ты как — сначала ничего, а потом долбануло в голову, и абзац (красная строка).

Алька потянулась и спустила ноги с диванчика. В квартире холодно; в постели уютно. Вечер; даже к ночи. Полумрак. На Вероничкином столе горит ночник — сестры нет, она отмечает у хахаля своего и явится через пару дней: зеленая, но довольная. Из большой комнаты раздаются дебильные голоса юмористов — мама вернулась с ночного дежурства и смотрит телевизор. За Новый год платят двойную ставку; мама работает санитаркой в той же больнице, где Вероничка медсестрой, и считает, что это хороший бизнес.

Альку в семье любят, но терзают непрерывно. С одной стороны — подрастающий талант, с другой — лучше бы шла работать и не выделялась. Сестра еще ничего — иногда даже денег на карман кинет. Помимо больницы, Вероничка ходит по домам: уколы, массаж, за бабушкой последить какой-нибудь. В общем, на ее деньги и живут — Алькины батики это смешное, конечно, подспорье.

Алька надевает старую рубаху и, голоногая, шлепает на кухню. В холодильнике — настроганный сестрой впрок салат оливье (б-р-р!!), нетронутая курица и выдохшееся шампанское. Алка отрывает от курицы ножку, пьет золотистую кислятину из горла. Она вернулась домой в пять утра — взвинченная, задорная, с нежными невыспатыми глазами. Праздновали в центре, у Наташки на съемной квартире. Поутру поехали кататься на метро: прыгали в первые поезда, хохотали и приставали к унылым пьяным жителям, поздравляли с новым счастьем. Счастье не бывает ни новым, ни старым — оно либо есть, либо нет, — заявил им на ломаном русском последний чурка в городе, марокканский студент, отважно возвращающийся в общагу с бутылкой безалкогольного шампанского — в силу вероисповедания.

Алька с аппетитом обсасывает куриную косточку, через всю кухню швыряет ее в ведро, встает и открывает холодильник: чего бы еще сточить. В комнате беспрерывно трезвонит телефон: родственники и знакомые поздравляют с Новым годом, мама поднимает трубку, желает того же и важно рассказывает, как дела. Алька прислушивается: сейчас мама как раз хвастается ее успехами, как она сама, без блага, поступила в Академию, как помогает семье, «продавая свои работы». Альке приятно, неловко, немножко обидно — перед поступлением ей пришлось выдержать скандалы и дружный семейный бойкот, да и до сих пор мама вечно жмется на краски. Хотя это понятно — деньги ей достаются несладко. Год назад Алька иногда приходила в больницу помогать: подметала захарканную лестницу, терла пол в туалете. А мама подкладывала судна, мыла безнадёжных старух.

Телефон угомонился; юмористы стали погромче. Алька вынимает из холодильника курицу, решает ее разогреть и сочинить что-то вроде ужина. Вспоминает, что от Наташки она принесла банку оливок и конфеты: вскладчину снеди наташили столько, что избытки пришлось разбирать обратно. Она идет по коридору за сумкой и опять слышит телефон.

— Аля! — зовет ее мать.

— Что? — Алька заглядывает в комнату и спохватывается: — Мам, с Новым годом!

— Тебя, — говорит мать. — Тебя тоже.

Алька скачет к телефону.

— Алло, — голос в трубке хриплый и полужнакомый. Смех, кашель.

— Але, Алька? Привет. С Новым годом. Это Даниил... Андреевич. Каркушей вы еще звали.

Снова смеется.

— Прости, я голос сорвал.

С Новым годом, пытается сказать Алька. Что-то екает под ложечкой — очень уж неожиданно. Каркуша, как сам и пред-

ставился, говорить ей не дает. Продолжает легко и болтливо, глотая окончания слов — словно опаздывает:

— Прости, что ни слуху ни духу так долго, просто сейчас праздники и в делах некоторый вакуум. Про нашего мальчика я узнавал, у него все более-менее... Насколько это может быть. — Каркуша заминается, но моментально снова начинает журчать: — То, о чем мы с тобой говорили, — после Рождества. Еще я хотел... прости мой французский, это дурацкая была выходка перед тобой и Антоном, просто я тогда не совсем в себе.

Кажется, тогда был просто разогрев, — думается Альке. Чудны дела твои; раньше за Каркушей не водилось привычки первого января прозванивать телефонную книжку от А до Я, чтобы к вечеру как раз до Смирновой добраться. Мама обеспокоенно следит за ее лицом. Алевтина недоуменно улыбается. Голос Ворона звучит издалека, будто из старого фильма, который мама переключила взамен новогоднего шоу уродов.

— Вечер такой хороший, настоящая сказка. Видела, за окном снова снег зарядил? Пушистый, снежинки огромные, на листопад похоже. Представляешь, если где-то далеко в стратосфере есть облачная тайга, а на деревьях — огромные резные снежинки вместо листьев? И когда у нас зима, у них там осень и листопад, а если воздух достаточно разрежен, вот как сейчас, то они долетают до земли целиком. Такие огромные, небесные листья, — мечтательно говорит Данька. Алька прикусывает губы, чтобы не рассмеяться. Ее затопляет неловкая нежность, она хочет что-то сказать, но теперь боится взять неверную ноту и сбить настроение, развеять ему ледяную сказку, такую хрупкую, что она может треснуть от бестактного движения голоса.

— А летом? — осторожно спрашивает она.

— Что летом?

— Что летом происходит с небесной тайгой?

— Летом она тает, — грустно говорит Даниил Андреевич. — Так что с Новым годом! — смеется он.

В телевизоре тоже Новый год; военный журналист Тихонов присаживается за фортепиано и что-то брэнчит, и хоть мама сделала звук потише и подошла к экрану, чтобы не мешать разговаривать, на том конце провода все равно, наверное, слышно, как падает аккорд за аккордом.

— А кто у вас играет?

— Это не у нас, — качает головой Алька и присаживается на подлокотник дивана. — Это фильм про много лет назад.

— О. А хочешь я тебе Бликсу Баргельда поставлю?

— Хочу. Что это?

Чем дальше, тем интереснее.

— Сейчас...

В динамике сухо щелкает — на том конце провода отложили трубку. Алька ждет. Чингис пересекает обширный холл и идет в гостиную. В холле стоит елка; огромная, в потолок. Пустая, без игрушек, будто ее забыли. Так и есть. В гостиной хлопает распахнутое окно, на пол намело снега. Ушли и не закрыли. Чингис останавливается посреди комнаты, вспоминая, зачем пришел. Холодно и в то же время душно; Данька замирает, шагает к окну, опрокидывает со стола блюдо с мандаринами. Мандарины катятся на пол, а на полу — снег. Рыжие, в снегу, красиво. Чингис ищет музыку, уже позабыв, кому обещал ее завести. На всю комнату вспыхивает французский вальс, но тут Данька падает плашмя, выдергивает штекер, и музыка затихает так же внезапно, как началась.

Лева возвращается из аптеки. Деревянные отзвуки цокают о небо коридора. Пустая квартира, трубка сорвана, у аппарата на полу. Лева машинально возвращает ее на рычаг. Дверь в гостиную прихлопнута, все остальное нараспашку. Лев Николаевич закрывает входную дверь и стучит в гостиную; безответно. Чингис, зар-раза! Открой... Дверь высажу! Тихо. Высадил. Чингис спал, калачиком обернувшись вокруг

ножки стола, маленькие точеные руки были уже холодные. Рядом валялась CD-магнитола и мандарины веером по всей комнате. Пахло цитрусом, елкой, перегаром: форменный Новый год. Лева приподнял Чингиса за шкуру. Свинья; в мандаринах. Поволок в кухню; по дороге тот вяло отбивался и настаивал, что его ждет неведомая девушка. Где, блядь? Где здесь девушка? И хорошо, что нет! На себя посмотри! В трубке... Лева со всего маху шлепнул его по лицу.

— Чайку, Дань, — сообщает Лева на кухне. Чингис раскачивается на табурете, как сомнамбула. За окнами режется блесклый зимний день. Лева ночь напролет откачивал лейтенанта и теперь знает все о Новгородской федерации, а по альбигойским войнам может писать диссертацию.

— Грохнешься, — предупреждает Лев Николаевич. Чингис начинает икать и вскоре действительно грохается на пол. Лева с жалостливой брезгливостью наблюдает, как лейтенант шебуршится на полу, скрюченными пальцами цепляется за столешницу.

— Здесь очень холодно, — заявляет он. — Где спички?

Лева одну за другой вытряхивает в чашку таблеточки активированного угля.

— Тебе проблеваться надо, — говорит он.

— Не хочу, — упрямится Чингис. — Это неприятно.

— Ну, тогда еще накати, — невозмутимо советует Лев Николаевич.

Данька слушает очень внимательно, потом снова начинает раскачиваться на табуретке. Кухня кажется ему очень тесной, а сам он напоминает себе Янкину кошку, пристрастившуюся к сподам. Кошка часами сидела, глядя в одну точку, потом с ней что-то происходило, она всплескивала всеми лапами и очумело срывалась с места. Лева ставит перед ним кружку крепкого чая; от одного вида жидкости в горле у Чингиса начинает булькать. Опрокидывая табуретку, он мчится в уборную.

— О-ба. Как тебя. А говорил — неприятно. — Лева принес ему банку марганцовки и не смог удержаться от легкого злорадства.

Чингис согнулся над унитазом и дергает лапками, как потревоженный шмель — уйди, мол.

Трещит звонок. Это приехал Петрович за своим молодым генералом. Протрезветь Даньке так и не успеть.

— Соскучились мы по тебе, Данила, — усмехается капитан, уверенно проходя по коридору. Чингис только что покинул сортир и следует за ним бледной тенью. Петрович вертит шей и замечает Льва Николаевича, который сидит в углу и ложечкой мешает чай.

— Ко мне жена приехала. Празднуем по-семейному. Я друзей назвал... все, правда, с бабами будут, — капитан смотрит на Даньку. — А ты — с милиционером.

Хохочет, на Леву кивает. Тот невозмутимо дует чай, будто это к нему ни фига не относится. Чингис вяло морщится.

— Не благодари, — кивает Петрович. — Собирайся только побыстрей.

Чингис принял душ, побрился, почистил зубы. Один болел и нехорошо шатался — наверное, грохнулся вчера неудачно. Алкоголь все еще бродил в крови, голова звенела, и было ощущение, что мысли живут не в ней, но летают вокруг, как невидимые в лесу птицы. Наполняют все жизнью и гомоном.

Лейтенант появился из ванной ладным и посвежевшим. Во, молодость, — грустно подумал Лева, опрокинув в раковину чашку с недопитым чаем. От Даньки едва заметно разлетался парфюм с характерной воздушно-телесной нотой.

— Почистил перышки? — с удовольствием заметил Петрович. — Дочка, кстати, тоже приехала. Я как чукча — мне для гостя ничего не жалко.

— Чукчи жен подкладывают, — с неожиданной прямолинейностью прояснил Лев Николаевич. Петрович на мгнове-

ние осовел, потом оттолкнул в коридор Чингиса и заржал: — Ну, жену я тебе предложу... если захочешь.

Жена Петровича была крепкая хриплоголодая блондинка с неровным носом и квадратными коровьими бедрами. Она широко смеялась, показывая серые истончившиеся зубы. Даньку хлопнула по спине, Леве кивнула. Петрович взял себе хату в новостройках — так привычнее. Три комнаты, вид на заснеженные зеленые насаждения.

— Валентина, — представилась капитанша и исчезла на пищеблоке. Оттуда донеслись жуткие звуки; грохот и звон. Капитанша отбивала мясо.

— Рановато мы, — пожаловался Петрович, топая ногами, стряхивая с ботинок снег. Из ванной с предупредительным писком выскочило маленькое пухлое существо, пронеслось в комнату, развевая махровые хвосты полотенца.

— Светка, чертовка!

Капитан теплым взглядом проследил траекторию движения. Пигалица, — бормоча, стягивал ботинки. Разогнулся, отдуваясь — живот мешает.

— К столу, — помахал рукой.

Хрустящая скатерть, блестящие оконца тарелок. Ёлочка.

— Коньячку для разгона? — предлагает капитан. Лев Николаевич с усмешкой смотрит на зеленеющего Чингиса.

Из прихожей шумят — подтягиваются гости. Светка таскает на стол миски с салатами. Мужики приходят кто с кем, но жен сразу можно отличить от недавних симпатий. Тетки здороваются и исчезают на кухне, у бара постепенно образуется мужской клуб.

— Начальник конницы? — щербатый рыжий клоун, с Данькой здоровается. Чингис даже не сразу понимает, что это к нему, но улыбается на всякий случай.

— Доктор я, — объясняет тот. — Помнишь, смотрел тебя на виадуке?

От сочетания «виадук» и «начальник конницы» у Даньки начинается измена. Тогда уж не доктор. Тогда — эскулап. В комнату величественно вливается Валентина с блюдом дымящихся отбивных. Следом Светка, сосредоточенно прикусив губку, тащит супницу. В супнице — картошка, за версту благоухающая чесноком. Рассаживаются. Светка помещается между Данькой и елкой, косится в приглушенный телевизор. Она похожа на персидскую кошку — лицо кругленькое, лупоглазая, вместо носа розетка. Чингис вспоминает старый анекдот про розетку; о том, как свинью замуровали. Едва удерживается от дурацкого смеха, а Светке как раз в этот момент начинает казаться, что парень слева ничего, веселый.

— Берите шубу, — советует она. — Шуба удалась.

Петрович с грохотом встает из-за стола: запоздавшие гости. Желчный юноша при полном параде и его суетливая старшая жена. Прыгает вокруг стола с банкой; Валентина тоже вскакивает, вдвоем они исполняют ритуальный танец новогоднего подношения.

— Грибочки! — возглашает гостя, демонстрируя банку с сероватым субстратом. — Жареные! Мокруха еловая!

— Мокруха еловая — это, наверное, убийство под Новый год, — тяжеломерно шутит Данька. Светка заливается смехом.

— Мокруха еловая! — кричит Петрович, выкладывая грибы в опустевшую салатницу.

— Мокруха еловая — это убийство под Новый год! — радостно верещит Светка и оглядывается на Чингиса — ничего, мол, шутку-то присвоила. У мокрухи неаппетитный вид и обиженные хозяева — в смысле, гости, которые мокруху принесли. Петрович гневно зыркает на дочь.

— Да! У нас под Новый год такая была... история. У Данилы... как всегда. Эти уроды, которые листовки клеят, спустили высоковольтный провод. Боец патрулировал на лошади и обуглился; до смерти. Хоть и мент бывший, а все равно

жалко. А ты при этом присутствовал? Нет, я тренировал отделение к рождественскому параду. Может, ветром сорвало, провод этот? Вон метель какая... Кушайте мясо! Вы телевизор смотрите? Провода — они провисают от холода. Нет, эту шелупонь давно надо к ногтю. Время сколько? Данька машинально смотрит на часы. Время есть. Они в подвале собираются, где Университет, — вспоминает хозяин мокрухи. Доктор взвывает руками, опрокидывает рюмку: Саш, это же не наш район! Плевать, один звонок, и будет наряд. Чингис в тихом ужасе; трезвеет моментально, аж привстает. Куда рвешь? — осаживает его Петрович. Давай хоть по последней; карбонарии не убегут никуда.

В Левин «уазик» загружаются четверо: капитан впереди, Чингиса толстые стиснули с двух сторон. Летят в центр, в маленький каменный сердечник старого города. Рокот мотора превращается в грохот; звуки колышутся, как в каменной банке. Небо в мягком облачном тумане. У истфака уже стоит машина: менты. Люк приоткрыт, но света нет. У Даньки аж отлегло; милиционеры ругаются. Университетская территория, в принципе можно, но не совсем. Че встал, конармия? Открывай! Чингис мешкает, и Петрович сам откидывает ногой железную крышку. Из провала вырывается музыка: Трики. Чингиса сталкивают вниз по вертикальной лестнице. Дохнуло сыростью, камнем. Фонарик есть у кого? В подвале пусто. Только музыка: тяжелый, обреченный, черный кач. Wash My Soul¹, — твердит Трики, и под рефрен из-под скамейки вытаскивают парня; в пыли и паутине. Ставят его перед Вороном, светят в лицо. Тот щурится — лицо белое, как у замогильного червя.

— Узнаешь? — спрашивает Петрович.

— Совершенно нет, — говорит Данька и тут понимает, что это Казбек. Стоит, еле на ногах держится: кривой в дугу.

¹Отмой мою душу (англ.). Цитата из одноименной песни Трики.

Восточное лицо округлым блином; мокрое — то ли в поту, то ли в слезах. Нос неловко нависает над верхней губой.

— Дэдмэн! — Казбек всхлипывает, рот разъезжается в мятой похмельной улыбке. Он падает вперед и роняет руки Даньке на плечи. — Перед тобой я тоже виноват, — уверяет он. — И перед товарищами виноват. И перед вами, товарищи, я тоже виноват!

Казбек плачет.

— Какого хера ты здесь делаешь?! — напускается на него оперативник. Он зол на всех — на Казбека, на дружинников, на мокрую, бесконечную зиму.

— Пиво сторожу, — безыскусно отвечает Казбек.

— Что-нибудь осталось, интересно, или он все уже уберет?

— Там где-то еще... — Казбек лезет в темноту, опрокидывая ящики. Из ящиков высыпаются листовки; грохочут, раскатываясь, пустые жестяные банки. — Давайте помянем бойцов! Ваших и наших! — рыдает из темноты Казбек. Дурдом.

— Вытащи его оттуда, — говорит капитан Чингису. Лейтенант неуверенно переступает и идет за Казбеком.

— Нет, ты дай мне сказать! Дэдмэн! Душа болит!

Тихо ты. Не-ет... Казбека облакачивают о стенку. Провода вы подрезали? — спрашивает Петрович. Нет, — всхлипывает Казбек. Мы... мы их тырили просто. Вы знаете, их неплохо берут... Товарищи мне агитацию наглядную поручили развесить. А я... решил — делу время, потехе час. Я высотник; фаза, противофаза.

Чингис опускается на ящик, отчаявшись воспрепятствовать чистосердечному признанию. Казбек стоит перед Петровичем, но говорит Даньке.

— Тачку подогнали; все приспособы у меня есть. Сначала кабель снимаем. Потом листовочку вешаем. А тут эти; как там написано... — Казбек наклоняется за листовкой: всад-

ники апокалипсиса. Мы разрезали и слились по-быстрому, а хвост от провода болтался. Ну и лошадка — тю-тю. А через день товарищ новый пошел листовки клеить тоже. И тоже — тю-тю... У столба увидели его — и две пули в живот, без разговоров. Товарищ дэдмэн! Я не специально. На статью я, как видишь, тебе наговорил, но совесть теперь чиста.

— Ах ты погань черножопая! — Петровича как подкидывает; он лепит Казбеку по уху.

— Не надо! — Данька вскакивает. Капитан, даже не оглянувшись на него, продолжает мутузить Казбека. Тот пьяным мешком оседает на пол, хлюпает разбитым носом:

— А тебе, толстый, я не скажу ничего!

Дань, мы все пьяные. Но Бога надо почитать. Благословенна в женах, Машенька. Дань, на колени. В образах бродит, заблудился длинный священник. Кивает тяжелой головой, важно тянут певчие, Петрович благоухает ладаном. Чингису неудобно за всех. День рождения Господа Бога. Даниил Андреевич будет нашим парламентаром. — сказал капитан и выплюнул на снег сигарету. Сигарета не выплюнулась, прилипла к нижней губе. Пьяного Даньку чуть не стошнило.

Еле отбив Казбека у взбесившегося Петровича, он вынужден был вместе с ментами везти его в участок. Долго оформляли; капитан коршуном кружил вокруг, брызгал злобной пьяной слюной и норовил наподдать еще. Данька попросил у ментов кипяtilьник и пытался отпоить Казбека крепким чаем. У того прилив откровенности сменился угрюмым стоицизмом: хрипел, потел и запирался. Его повели в обезьянник. Казбек приник к решетке и смотрел на Даньку: вишь как, дэдмэн. Что мне пришьют, как думаешь? Чингис покачал головой; его чуть не мутило от острой жалости. В клетке шебуршался бомж; жадно посматривал на казбековы ботинки. Сам знаешь, выдавил Данька. Пятнадцать лет и пятнадцать суток. Казбек грустно пожевал

губами, вздохнул: все не без греха. Слышь, а что за кликуха такая — Дэдмэн?

— А, Данила? Дэдмэн — кто это? — допытывался Петрович. Во, дошло наконец. Капитан подозрительно сощурился; они вышли на мороз и курили, пока Лева прогревал мотор.

— Мертвец — по-английски, — коротко ответил Чингис.

— А что он тебя так называл? Угрожал, типа? — догадался капитан.

— Не думаю.

— Мертвец, значит... Надо было его насчет тех двоих попытать... как думаешь, они теперь тоже дэдманы?

Лева наконец прогрелся и подрулил ко входу в участок. Петрович постепенно трезвел и чувствовал необходимость восстановить градус: прямо от отделения приказал в ресторацию.

— Я не видел их мертвыми, — упрямылся Чингис над пятой горилкой.

— А дэдманами?

— Дэдманами тоже не видел... Никакими не видел.

— А этот? В обезьяннике? Его ты видел?

— Нет, его там не было.

— Но в обезьяннике-то ты был?

— В обезьяннике — был.

— Менты — сволочи! Какие они сволочи, Дань... Я с ними работал, у себя, знаешь? Хлебом не корми, дай подловить военного человека! И — в обезьянник, вместе со всякой поганью. А офицеру знаешь что за это бывает? Особенно если он выпил немного и потерял табельное оружие? Ну, не потерял, но найти не успел...

Перед глазами плыли горшки, рушники, подсолнухи в кадках. Веселье продолжалось в матрешечном украинском ресторане; сводный хор перезрелых девиц и усталых парубков тянул «Ой, то не вечер» и «Йихали козаки». Чингис тяжелым взглядом смотрел на солистку; она сбивалась и с

каждым поворотом мелодии оголтело фальшивила. Данька наконец вздрогнул и отвернулся: он все пытался вспомнить, когда спал последний раз и который день назад был трезвым.

— За Данилу! — зарокотал Петрович, вскакивая и проливая на соседей горилку. — Он был в заложниках, знает врага в лицо. Он единственный среди нас говорит на иностранных языках. Он будет парламентаром. Нет, пойдешь. Будешь говорить с самым главным карбонарием. Именем Господа Бога потребуешь освободить наших ребят Христа ради. Не освободит — я весь этот чертов город обрушу им на головы.

Вывалили на улицу. Данька прислонился к стене, судорожно глотая воздух. Пытался восстановить цепь событий. Петрович долго ходил вокруг машины, потом забрался на водительское место и возмущался, почему не едем. Затем стал требовать секретный адрес карбонариев. Я сказал от фонаря адрес, поскольку становилось страшно.

— Чингис, морда, соврал — убью!

— Соврал, — сказал Чингис с заднего сиденья.

— Соврал? — удивился Петрович.

— Ну.

— Зачем? — капитан болтался на спинке сиденья, обернувшись и обхватив ее руками, а ты, Лева, постепенно сбавлял скорость.

— Это слишком опасно. Вы можете поссориться и убивать друг друга в Рождество. Грех получится, капитан Петрович.

— Да-а. Как ты, Данила, верно все подметил. Иди тогда один, а мы за тобой тихонько на машине поедем. Это чтобы тебе не было так страшно.

— А я все равно боюсь. К тому же самый главный карбонарий, скорее всего, ушел в гости. Поздравить друзей с праздником. Следовательно, сейчас его нет дома. И я не смогу попросить его за наших ребят.

— Черт, это было бы обидно. Возможно, сейчас он пьян и милосерден. Дань, тебе все равно следует попробовать. Вылезай из машины и иди. Это ведь недалеко?

Это было очень далеко, но Чингис кивнул и открыл дверцу. Спрыгнул на ходу и скрылся в клубях снега. Шел он очень долго, петлял, ему все казалось, что Петрович, чертыхаясь, катится вслед на милицейском «уазике». Вскоре его нагнал глухой топот. Он понял, что надо бояться, и побежал. Поднялся ветер, где-то в освещенном окне разбилась на счастье посуда, стало жарко, небо под Рождество было синим и глубоким, звезды клонились все ниже к задыхающемуся Чингису. Вдоль улицы потянулись промышленные корпуса без дверей и почти без окон — сворачивать надо было раньше, теперь некуда. Из темноты с хрипом вырвались две лошадиные морды. Всадники подхватили Чингиса за руки поволокли по снегу.

Его бросили лицом вниз, лошади дышали, похрапывали и теснее сдвигали над ним морды, пока он поднимался.

— Морда?

Сказал сверху насмешливый, с хрипотцой голос.

— Морда, — ответили ему из темноты.

— Пьяная?

— Ну.

— А что дружинник, так Даниил Андреевич велели — ничего.

— В обезьянник.

— Давай его на лошадь, пускай поболтается.

Чингису освободили лошадь. Вслед за ним хотел забраться сержант, но Данька тихо дал шенкеля, и конь мягко вошел в темноту и снег. Патрульные поехали за ним. Сержант поспевал пешком, некоторое время все двигалось в неясном молчании. Потом Данька обернулся к патрульным смуглой маской с заснеженными ресницами и ровно сказал:

— Двенадцать. Сочельник.

Чингис хлопнул мокрой перчаткой по лошадиному крупу, конь взбросил задними копытами снег и скрылся в переулке. Лейтенантская шинель взлетела, а затем обрушилась всаднику на ноги под тяжестью метели и темноты.

Ступеньки холодны как лед, ноги били по ним бессильно и гулко. Лежа на спине, он вдыхал ад собственных внутренностей, перегоревший алкоголь поднимался к потолку, тело — одеревеневшие конечности, сведенный желудок и пересохшие, грубые губы — все медленно падало вниз, кто-то бил по щекам, звал, потом лязгнула решетка.

Даниил Андреевич поднялся, цепляясь за прутья. Он уходился в обезьяннике. Дружинники смотрели, среди них он помнил знакомые лица. Его ткнули плетью в живот, он согнулся и медленно упал. Дружинники смеялись. Его тошнило прямо на пол камеры. Потом он упал и заснул — и снилось ему, что он нукер Темуджина, ведет отряд на приступ степной крепости, и колышется трава, и он соскакивает с крепкого мохнатого коня, а заскочить обратно никак не может, а лошадь бежит, и он держит руку на холке, а лошадь начинает засекаться: то есть ранит себя копытами, сбиваясь с ходу. И никак ему не заскочить на проклятую лошадь, и нукеры смеются, и вот уже привязали его к конскому хвосту и разметали по степи за профнепригодность.

Так долго грезилось заснуть; слой за слоем сбросить с себя напластования последних дней, недель, месяцев. Совершив это, Чингис прозрел и увидел над собой бескрайнее выцветшее небо на самой высокой ноте ясного июльского дня. Прекрасное, доброе, щедрое лето. Он лежал среди травы, дразнящей густым и вкусным горьковатым запахом. Лежал и не мог подняться, словно в панике оказаться у самого себя на ладони, услышать чужое имя и на него отозваться. Он услышал мягкие шаги по траве и увидел, как солнце медленно заслоняет длинная ползучая тень. В груди теснота и прохла-

да, вокруг — наичистейший, клейкий, беспримесный страх. Обманули; предали. Обещали покой, тепло и лето. Чингис... Вставай. Пошли. Он приподнялся рывком: раннее темное утро. Пришел Лева.

— Который... какое число?

— Седьмое. Гуляния. Парад, — односложно напомнил Лева.

— О Боже. Ничего не помню.

— Бывает. Некоторые только к тринадцатому в себя придут. А бывает, что и к двадцать третьему февралю — и то ненадолго, потому что восьмое марта скоро.

Ворон вылез из ванной черный и злой. Какие же люди изнутри вонючие, сказал он, заглянув в уборную, и поднял трубку телефона. Лев Николаевич раздражительно звенел ключами в прихожей, пока лейтенант давился молоком из бумажного пакета. Наконец собрался, навел парадный марафет. Они спустились к занесенной снегом машине: валит так, что в полуметре не разобрать ничего. Дворники пашут, как очумелые. В часть. Конюшню, то есть, — поправил про себя Лева. Ну да, — согласился Данька и улыбнулся чему-то про себя. Радоваться было нечему, но солнце из чудесно яркого сна продолжало светить в спину.

— Что, опять пьянка сегодня? — спросил шофер. — Учти, я в семью сегодня и откачивать тебя не согласен.

— А у тебя семья есть? — поразился Чингис. Действительно; Лева как-то не производил впечатления домашнего человека.

— Есть, — односложно ответил шофер. — В гости друг к другу ходим.

Ворота конюшни распахнуты; в каморке вахтенного пусто. Во дворе грудой свален дымящийся навоз. Чингис, ожидавший жизни и суеты, даже забеспокоился. Выскочил, через сени прошел к денникам. Лев Николаевич закрыл машину и последовал за ним. Лошади, лошади, лошади; Пашка-тыква

заметил лейтенанта и суетливо, как потревоженная мышь, спрятался в подсобку. С манежа доносилось конское ржание, крики и хриплый мат Петровича. Какого хера он здесь, — Чингис передернул плечами и заторопился на шум. После темного прохода между денниками в глаза хлынул яркий электрический свет. Лева еле увернулся от лошади. Курсанты, строем, в дальнем конце. По манежу мечется Помеха, самая нервная лошадиная блядь в конюшне. Ржет, чуть не роняет от испуга. У седла болтается сержант Сеня Иванов; вот именно что у седла, а не в седле. За запястья пристегнут наручниками к подпруге. Петрович оборачивает к Чингису набухшую гневом морду, машет хлыстом и орет:

— Этот? Этот?!

Данька отступает назад и видит, как в медленном кино: Сеня бежит за лошадью. Как джигит, который собирается вскочить в седло и показать восхищенной публике пару упражнений: руки врозь, ногами помахать над лошадиной шеей или как-нибудь там еще. Помеха шарахается к центру манежа, где столбы и полуразобранные барьеры для конкурса. Сеня спотыкается и теряет опору. Седло соскальзывает лошади под живот, Сеня падает под копыта. Варька визжит и пытается вырваться; кто-то из курсантов ее держит. Чингис летит наперерез лошади.

Хватает под уздцы, ботинки упираются, потом бьют, скользят, взметают опилки. Сеня истошно орет снизу; господи, мамачки; Помеха тащит и его, и легкого лейтенанта в придачу еще с полкруга, подпруга наконец не выдерживает и лопается, сержант сваливается где-то позади, Данька молча мажется о барьер, но продолжает висеть, вцепившись в повод, как бультерьер. Петрович орет; Дань, отпусти, отцепись же ты наконец... — Помеха стоит, шатается, бока ходуном. Варька разжимает Чингису пальцы. Наконец он отпускает повод и с жалким вздохом садится на пол, в опилки. Варька успокаивает лошадь, капитан поднимает Чингиса: Данила,

ты не расшибся? Курсанты без команды отцепляют стонущего Сеню от седла. Сержант воет: руки в кровь рассажены наручниками. Что ты? Сенька, где болит? Сержант подтягивает к животу колени. В живот тебя? Не-ет, — плачет сержант. Сты-ыдно... Уйдите все, обоссался.

Чингис пытается встать; он тоже весь мокрый, только от пота. Обоссаться не успел. Мы что здесь все, белены объелись? — спрашивает он капитана. Зуб на зуб не попадает; будто в ознобе. Привязали за хвост дикому жеребцу и пустили во чистое поле, жеребец стрелой полетел и размыкал белое тело по крутым оврагам. Ворон охувевший, ты что, жалостливый больно? Пока праздники, эта твоя конармия половину наших офицеров через обезьянник пропустила! Ментовские выкорыши! Ни в чем им нельзя доверять! Они и тебя не в обезьянник в следующий раз, а в зубы! Пулю в зубы! Дурак! Вот бы я им устроил! А этот дурак жалостливый, ноги у меня будете ему целовать, сволочи позорные!

— Отставить! — заорал лейтенант. — Это я приказал.

— Что приказал? — Петрович моментально переключается на лейтенанта. — В обезьянник себя приказал? Ты ж сам мне жаловался, что в обезьяннике был! Ноги целовать!

Капитана замкнуло.

— Давайте не будем целоваться, — мягко говорит Чингис. — Лева, вызови пожалуйста скорую. Что там с у нас с сержантом?

— Херзнает... — капитан сникает. — Вишь, я не хотел так. Попугать собирался.

Данька кивает, отстраняет Петровича и идет к выходу из манежа.

— Но если думаешь, они тебе теперь спасибо скажут, то ты мечтатель, едрена фень! Вольно! (Курсантам.)

Петрович укатился, приехала скорая. Сеню Иванова отнесли в машину; помимо детской неприятности, у сержанта обнаружился закрытый перелом голени, вывихнуты запястья,

ну и так, по мелочи. Ворон, не глядя на застывающих сусликами молоденьких ментов, вышел к «уазу». Лева курил и смотрелся в боковое зеркало. Он был небрит.

— Лев Николаевич... Домой езжайте. У нас еще парад сегодня, конный... — тихо поясняет Чингис. — Гулянья.

— Да-а... — тянет Лева. — Живем — не скучаем. Дань... ну вот почему у тебя фантазия такая богатая? Положим, съездил я тебя пару раз по морде для твоего же блага, когда ты по унитазу тонким слоем, от белочки привет. А эти тебя вообще с Нового года не видели, как вы с другом Петровичем без просыпу. Какой, к бесу, обезьянник?! Когда тебе это приблазниться успело?

Лев Николаевич отвернулся, выкинул сигарету и полез в машину.

— Херня какая-то начинается... — пробормотал ему в спину Данька.

— Это она для тебя, Дань, начинается. А нам так ничего нового; родился мальчиком — терпи... и за слова отвечать. Приучайся.

Лева хлопнул дверью и резко завелся. Снег закончился, развиднелось. Красное зимнее солнце упрямо карабкалось вверх, цепляясь за деревья. Заснеженная Стрелка казалась нежно-розовой, как пушистый зефир.

И снилось ему, что он нукер Темуджина. Ведет отряд на приступ степной крепости, и колышется трава, и алое солнце режет, как по трафарету, длинные тени. А в зените — бескрайнее густое небо, отец наш Тенгри, на самой высокой июльской ноте. И первые вечерние звезды; или последние утренние. Пашка ведет Боливару на двор; он упрямится — кому хочется на мороз?

Накануне Даниил Андреевич снова позвонил в первом часу и деловито заявил, что завтра заедет и повезет ее в СИЗО, на свидание со Славой Медведевым.

Утром оделась, побросала в сумку сигарет, яблоки и конфеты. Затем пошла к зеркалу и сосредоточенно наредила ресницы. Подумала, залезла в трюмо, отыскала старую Вероничкину косметичку, замазала тональником стойкий юношеский румянец. Сделала серьезное лицо. Так лучше; взрослее. Улыбнулась. Так хуже; рот большой, улыбка дурацкая. Плюнула, стерла почти все; затрещал звонок — так и пришлось идти, с остатками туши вокруг глаз похожей на лемура.

Ворон на лестнице кивнул и побежал вниз, каблуками выстукивая эхо. Алька на длинных ногах едва успевает. Дверь придержал. Дверь приоткрыл. «Узик», то бишь «козел», заднее сиденье, в зеркальце посередине виден сосредоточенный глаз Чингиса — веко дергается слегка. Или: круглый, серый, холодный и кажется чуть навывкате глаз шофера. Иногда — Алькины глаза, оба, один — чуть зеленее, второй — почти чисто карий, торфяного оттенка, и светятся они каким-то неактуальным торжественным лукавством. Даниил Андреевич вертит ручку автомагнитолы.

— Музыка не мешает? — спрашивает Льва Николаевича. — А тебе?

— Мне очень понравилась музыка Бликсы Баргельда, — сообщает Алька.

— Серьезно? — оживляется Каркуша. — Мне тоже... один из моих любимых.

— Я так и подумала, — кивает Алька, — что вы бросили трубку и слились с ним в экстазе. Если, конечно, у него не задумано сорок четыре минуты тридцать три секунды тишины... А потом гудки. И занавес. Концерт, мол, закончен.

— Ты о чем? — недоумевает Ворон. — 4`33 — это у Джона Кейджа...

— Я в курсе. Но ваш Баргельд его переплюнул. И действует, вы знаете? Я ведь ждала, слушала с неослабевающим интересом!

Лев Николаевич начинает следить за дорогой с едкой улыбочкой; Чингис вспоминает мандарины и разбитый дома CD-плеер.

— А-а, — говорит он. — У меня, знаешь, плеер дома разбился.

— Бликса Баргельд погиб?

— Нет, — лихорадочно соображает Данька — гостиная, окно. Стол, мандарины. — Там был Жак Брель. Тоже, знаешь, красивая музыка... Французский шансонье.

— Что-то слышала... Вы были так потрясены утратой, что сорок минут рыдали, а потом бросили трубку?

— Да, Аль, прости. Я... очень сентиментален.

— Где похоронили несчастного?

— Слушай, Смирнова! — взрывается Чингис. — Не думал, что из тебя такая мырма вырастет!

— Вот и поговорили... — печально говорит Алька и отворачивается к окну.

Даниил Андреевич, весь красный, что-то бормочет по инерции:

— Я завертелся... Друзья пришли... (будет врать-то).

Чингис постепенно затихает. Алька мерзко улыбается в окно. Лева пыхтит, потом не выдерживает:

— Барышня, это был я. Я его отвлек.

Алька с интересом поворачивается и смотрит в зеркальце заднего вида. Лева одним глазом косит туда же.

— Понимаете... Пришел в гости, пьяный уже. Вырубился прямо в коридоре.

— А кто трубку повесил?

— Ну... я упал на телефон.

— Как точно упали! А сорок минут до этого Даниил Андреевич ждал вас в гости? Стол накрывал?

— Хватит, Лева. Смирнова, завянь. Ты, кажется, неправильно профессию выбрала. Тебе надо в прокуратуре работать. Или в гестапо... Муха не пролетит! Ням — и Смирнова уже ее допрашивает! С пристрастием!

— Да вы не нервничайте...

— А я и не нервничаю! У Мишки про пистолет не забудь...

Ну, да я в тебе уверен.

«Уазик» тормозит у ворот казенного дома. Даниил Андреевич выскакивает, Алька тоже вылезает и украдкой смотрит ему в лицо. Каркуша прячет глаза и бешено раздувает ноздри. И жалуется Льву Николаевичу: вот пошла молодежь. Не говори, — молча соглашается милиционер, и от глаз у него бегут веселые сухие морщинки.

Они идут через проходную; Даниил Андреевич чуть впереди. Холод, гладкие зеленые стены и запах такой... Специальный. Данька ежится.

— Ты невеста его, — вполголоса. — Я так сказал. Вам хоть поговорить дадут.

Алька понимает, что всю дорогу ни секунды не думала о Мишке, а вот сейчас его увидит. Даниил Андреевич резко кашляет в кулак и стыдливо затихает; Алька держится за его стриженным затылком. Они углубляются в недра казенного царства; ей страшно, тоскливо, бесприютно. Идут по коридору, вдоль окон. За окнами — внутренний дворик, уныло монохромный, отделенный от улицы стеной. Поверху стены — колючая проволока, над ней летают вороны; и орут, наверное, но через стекло не слышно. Внутри здания не разобрать ни одного звука, но и тишины тоже нет: будто где-то на фоновую дорожку записали непрерывный, но еле различимый гул. Бликса Баргельд. Клацает решетка.

— Эта? — спрашивает у Чингиса охранник. Даниил Андреевич кивает. Охранник открывает, Алька проходит дальше, Чингис остается. Взгляд беспокойный.

— Возвращайся к машине, — почти бесшумно; читай по губам.

Алька торопливо — ага. Дверь закрывается между ними. Охранник рассказывает — чего можно, чего нельзя. Выходит.

Гул отступает и — обступает одновременно. Когда ты у чудовища в желудке, уже не замечаешь содроганий, бурчания: все это как бы явления атмосферы. Обстановочка — стол, два стула, кушетка в углу: как в медкабинете. У Альки есть пара минут осмотреться. Занавески зеленые, выцветшие. Окно — сизое от пыли, полупрозрачное. Она опускает сумку на стул и замечает рисунок линолеума — как пчелиные соты.

Скрипит замок; Мишка входит слегка вразвалочку. Она смотрит на него и сомневается мгновение — он, нет? Дело даже не в одежде, не в куцей стрижке — в этот момент он кажется ей похожим на так многих, что она какое-то время сомневается. Ей страшно; с легким усилием она ступает на пчелиный пол. Дождавшись, пока выйдет охранник, торопливо обнимает его поверх рук и отступает.

— Привет. — Миша не то что кажется старше, но эти полтора-два месяца стерли с него приметы какого угодно возраста, будто он провел их где-то вне времени.

— Ты все хорошеешь, — говорит он, неловко произнося каждый звук, как будто и говорить тоже слегка отучился. Фраза, и без того отдающая формальностью, в его исполнении, в их ситуации звучит совсем никак.

Чингис выходит во двор и останавливается у машины покурить. Двор этот тюремный виноват или вообще, но он чувствует себя как в детстве, когда ради потехи согласился, чтобы его закрыли в диване, куда кладут обычно белье или старые шмотки. Он провел там минут семь и отдаленно слышал голоса и смех детей, собравшихся на день рождения. Он изо всех сил держал характер, но по прошествии этих самых семи минут не совладал и начал молча, отчаянно биться в фанерную крышку.

— Ты знаешь, все... путем, — говорит Мишка. Он сидит на кушетке, расставив колени и свесив между них руки, басит в пол. — Хату правильную определили, братва знала уже. Борис через пацанов подсуетился. На сборке вот было — да! Раздели и даже жопу раздвигать заставили — не спря-

тал ли там чего, — Миша задорно кривится. — Ну, да тебе об этом знать нефиг. Как сама?

— Хорошо, — Алька говорит, как дышит — еле слышно. — Мишка, сейчас-то нормально все?

Облизывает губы — сладковатый, прилипчивый вкус страха за то, что могло произойти или произошло уже. Черный, как лакрица.

— Гнали, будто баранов... ага! Баранов в стаканы! Стаканы — это боксы, на одного, не сесть даже считай! Заводят, и кукуй, башней помахивай! А потом — транзит, двое суток там торчал, не спал почти, стерег шмотки. Все переполнено, ткнуться негде, и беспредельщики быкуют. Зато теперь кенты у меня — во! — Миша горд собой. — А ты — тряпочки продаешь? — Миша смотрит на нее исподлобья, улыбается. Нежно, хорошо, но весь какой-то чужой. — Батик, — смеется Миша. Резко перекидывает руку поверх ее плеч, целует в ухо, шуршит: баа-атих..

— Каркуша про пистолет спрашивал.

Алька поворачивает лицо и видит Мишкин висок, щетинку волос чуть выше. Крепкую бледную шкурку там, где подбриты волосы.

— Кто-о? Данилка? Ну и что он тебе назвенел? — Мишка ухмыляется вниз, не снимая с нее тяжелой своей лапы.

— Пистолет надо вернуть, сказал. Будет легче помочь. Тебе. Просил спросить, как найти.

— Че-го? Помочь? А больше он ничего не хочет? Раскрутить меня хочет, мусор? Не, я в отказ пошел. А ты, Аль, что — автоматчику поверила? Ему же сейчас один интерес — засадить меня покрепче, чтоб ни гу-гу.

Миша наклоняется и сухо, резко, не по-джентльменски целует Алькины щеки, вбирает в себя обмякшие губы. Сукой у меня не будешь! Держит ее плечи; большими пальцами чувствует палочки ключиц и вмятинки между ними и остальной Алькой. Та болтается в его руках, порывисто отклоняется, сбрасывает его с себя, дрожит.

— Так; тихо, тихо. — Медведев пытается ее удержать. — Прости, осатанел я, — извиняется.

— Ты думаешь, он... посадить тебя хочет? — шепотом спрашивает Смирнова.

— А как же? — смеется Мишка. — Алевтинка, ну ты наивная! Он же мент; нет, хуже — дружинник. Он меня поимел под арест, и если теперь что не так, обвинение липовое или что, — с него первого спросят! Ну, не плачь, не плачь, моя милая...

Мишка обнимает, она как в теплом коконе себе чувствует. Как же ты... как же ты... — шепчет Алька. Ее обдирает мурашками, как морковку теркой, вся она болит и думает про бесконечные боксы, сборки, стаканы, — про эту непонятную ей тошнотворную механику, обладающую при том для Мишки неизъяснимым очарованием. Все растекается, будто на акварели по-мокрому: Алькин Новый год, и грохочущие поезда утреннего метро, и уютный, заснеженный город — против этого абсолютного, продуманного и ничейного зла, — ни-что. Что же теперь, — это она говорит; а пофиг, — отвечает Мишка и стягивает с нее свитер. Ты же со мной, да? Да... Он опрокидывает ее на кушетку — оба длинные, не помещаются, ноги висят на полуметр над полом. Алька подмечает тепло, поднимающееся от бедер к горлу, и когда оно докатывается, то в связках происходит спазм и она тихо скрипит, как задыхается. Миша скручивает на ней липкие джинсы, как кожицу на сосиске, падает между и чертыхается: больно? Нет... — улыбается Смирнова. Я — как кошка, наверное. А что плачешь? А что, действительно? Мишка дергается и охает. Она стискивает зубы и закрывает глаза: как же?... Ее перехватывает; еще чуть — и истерика, но она перебирает руками выше, выше, и — упирается ими в кушетку. Подтягивается, выскальзывает из-под Миши. Тело у него стало тяжелым и неповоротливым, он ворочается, как жесткая заблудившаяся сороконожка, суетливо облизывает ее грудь: Алёк-мотылек.

— Петренко, — говорит он, подкидывая ей спущенные на пол джинсы. Алька незаметно трется мокрым задом о клеенку; ей нестерпимо равнодушно, глухо, тупо — будто зуб заморозили. — Ствол я слил партагеноссе, сразу. Это — к сведению, а подписывать я ничего не буду. Сама понимаешь.

Мишка подмигивает, Алька отворачивается.

Она идет по длинным коридорам. В коробочке проходной пытается трансформироваться в прежнюю Альку — взмахом руки пересекает лицо, вздергивает плечи. Ласковый пасмурный вечер смыкается над улицами. Каналами, замерзшими водами протягивает над городом ветер, небесный сквозняк: где-то наверху не заперли двери, и он тянет, гуляет, тоскует, тащит густые соцветья снега. Аля оглядывается: машины нет. У ворот полутенью вырисовывается фигура: темный, белое лицо провалено и только ресницы шуршат.

Чингис выступает из-под деревьев и сметает с плеч крошечные сугробики: Леву я отпустил. Долго очень. Как?

Данька в сумерках вырезан, как мишень. Лицо — маской, и извилистая, улыбчивая загогулина рта. Даже не улыбается, а все равно противно.

— Он сказал — не скажет ничего. И не подпишет.

Ворон кивает.

— Ну и дурак. Ему это уже без разницы; Лажевский еще месяц назад все, что надо, подписал.

Алька как мертвая; лицо провисло. Яна — вспоминает про себя Чингис. Небо тоже провисло, набрякло; рвется посередине и бухает на них новый снежный залп. Данька отставляет локоть и говорит: пошли. Она обхватывает его руку и, сцепившись, как альпинисты, они удаляются по заснеженной улице.

Чингис вваливается домой весь мокрый и исхлестанный снегом — щеки горят. Он влетает на кухню, тянется к чайнику — холодный; передумывает, идет в комнату, на ходу

скидывая шинель, ремни — в угол. Его колотит злость и на себя, и на эту долбаную Альку, которая чуть не расплакалась у метро. Стоит, губы жмет и — молчит. Спрашиваю — молчит. За руку беру — молчит. Бросил, развернулся, пошел. Оборачиваюсь — стоит на месте, ремень сумки вертит. Плюнул, вернулся. Провел мимо турникетов, толкнул на эскалатор: домой езжай, некогда мне с тобой. Дежурство. Блин, наташаростова, внезапная вся.

У парадной обернулся — и вот тебе на. Смирнова. Чешет вслед. Вот упертый ребенок. Чего тебе? Ну что случилось? Молчит. Сейчас — стоит в холле, где осыпается пустая зеленая елка.

— Курткуними, что ли, — Чингис возвращается и начинает расстегивать на ней пуховик. С полдороги, устранившись чего-то, отдергивает руки.

Звонит Серж. Здорова, дэдмэн. Подхвати меня через час у Автово. Дело есть. Смирнова мнетя: будто раз и навсегда подавилась едким своим остроумием. Лев Николаевич приехал везти лейтенанта на дежурство, проталкивается мимо нее — из машины до парадной всего лишь шел, и вот уже — лицо мокрое, снежок тает на стриженных волосах и холодными тропками спускается за шиворот. Лева трясет головой. Девчонку заморозил — ругается. Чингис кивает в сторону кухни. Алька идет по коридору, походя касается пальцами павлиньих перьев в вазе — не к добру, говорит.

— Перья павлиньи дома не держат. Дурная примета.

— Это ты зря сказала, — Левин суховатый баритон раздается уже с кухни: — Он суеверен, как боцман. Завтра же на помойку снесет.

Алька останавливается на пороге. Обширная кухня, из которой вынесены почти все тумбочки, полочки и столики — громоздится только старый буфет, не проходящий в дверь, замызганная плита и деревянный стол-новодел. Она шагает

внутри, оставляя на линолеуме мокрые следы — сапоги худые, протекают. Лева заваривает чай и сливает его в термос. Снова заваривает и на этот раз ставит на стол.

— Прошу, пани, — Данька отодвигает для нее табуретку. — Согреться и поедем.

Присаживается бедром на стол, постукивает сигаретой о пачку. Покачивает ногой в шнурованном ботинке.

А когда придет бразильский крейсер, лейтенант расскажет вам про гейзер. Выстукивает по столешнице разудалый мотивчик. Срывается, гремит посудой, наливает ей чай — крепкий, танинный, аж сворачивающийся на языке.

Алька уже почти готова сказать про Петренко, но ее не спрашивают: перекидывается с шофером о чем-то своем.

— Прекрати дрожать! — раздражается. Альке становится тепло даже и от такой неожиданной формы внимания.

Чингис достает из буфета коньяк, наливает в пузатую рюмку. Давай, приходи в себя и поедем. После коньяка становится всюду тепло, даже жарко. Электрический свет, как топленое масло; незаметно она оказывается в прихожей, Чингис кидает ей на плечи пуховик, Лева ставит рядом сапоги. Ба! — причитает он. Совсем промокли. У меня нет ее размера, — сокрушается лейтенант. Пра-авильно, смеется мент. У тебя сороковой от силы, а здесь все сорок два. Извини, детка, на правду не обижаемся, да? Алька краснеет; ща, мы стельки пожертвуем, — говорит Лева. Скоро ее начинает потихоньку качать — «уазик» по колено в снегу долго фыркает, потом трогается, и, рассекая белую взвесь, отчаливает в сторону станции метро «Автово», финской деревни Ауттава или как там называл ее в прошлой жизни Даниил Андреевич.

Машину потряхивает; едут почему-то уже на север. Дорога разбита, Лева стойчески сжимает зубы, остервенело крутит баранку: та до болезненных мозолей руки отбивает. На заднем сиденье рядом с Алькой покачивается карлик:

в темноте и спросонья ей именно так и кажется. У карлика все как полагается: большая голова, широкие плечи, маленькие руки и незаметные ноги.

— Проснулась? — спрашивает карлик и улыбается тепло и страшненько. Редкие зубы взблескивают.

— Ты проспала все, а мы не стали тебя будить, — с переднего сиденья оборачивается Чингис. Алька зачарованно смотрит на него: в сумраке лицо с резким носом, скулами; щеки запали. Черный рот хищно кривится:

— Время детское. Мы едем к доценту Петренко и вернемся до первой стражи.

— Петренко?

— Да, Петренко, — лейтенант отвернулся, вполоборота следит дорогу. «Узик» быстро пробегает под железнодорожным мостом. — Серж сказал, у него мой пистолет. Познакомься с Сержем, Аля.

Они едут по обширной снежной равнине, вдалеке чернеют груды неподключенных к электросети новостроек. Алька откидывается на спинку и снова проваливается в сон; да не в сон даже, а в болезненную дремоту, когда сначала вдоль сетчатки начинают ползать снежные мухи, а чуть дальше видишь уже нечто совсем другое, с реальностью состоящее в запутанных отношениях. Лето и дерево вверх ногами — в пруду, отражается. А она лежит в траве, и рядом вроде никого, но в то же время не одиночество — будто кошка рядом или еще какая тварь, или просто весь мир — как одна теплая лошадь; языческое такое чувство. Данька прислоняется лбом к холодному стеклу; стекло моментально запотеваает. Он чувствует, что простыл и начинает болеть, но как-то аскетично — без соплей, без бреда. Голова сухая и ясная. Он вспоминает, как возвращался с Янкиных вечеринок, по дороге домой заворачивал в парк. Было лето, он ложился в траву на берегу пруда и наблюдал деревья вверх ногами. Наутро, если не спать всю ночь, и не есть, и нюхать, и выяснять отношения, иногда по-

является ощущение святости — не как-нибудь. Солнце встает и высвечивает в тебе нудную раковую боль — как волшебный кристалл, артефакт неудачника. Очень явной тогда становится смерть на закорках, но смерть в такие моменты — та же вечность, и верую, ибо абсурдно. Не объяснить никому ни на пальцах, ни пользуясь силлогизмами, этой холодноватой, как корень солодки, сладости: утро, мы все погибнем, прекрасен божий мир, и ты весь, как у него на ладони.

— Даниил Андреевич, коньяк есть? — подает голос Алевтина. Тебе не хватит еще? — интересуется за него Лева. Данька уже покорно протягивает фляжку. Сам глотни — советует Лева. А то барышня сейчас высосет все, а вам типа самому надо. Не надо, — морщится Ворон. Ничего не надо.

Останавливаются у темной парадной. Лифт наверх.

В замызанной кабине карлик стоит, утопив руки в карманы, и оказывается с Даниилом Андреевичем одного роста и приблизительной комплекции. Данька пялится в потолок. Алевтина елозит взглядом по стенкам, кнопкам, по лейтенанту Ворону, такому собранному, что кажется, сейчас уплотнится в черную дыру. Чингис одет не по форме, и Алька удивляется, когда это трансформироваться успел.

— Заседем домой... Форму переодеть надо, — сказал Чингис, когда от Сержа услышал про революционного доцента Петренко. — Оне ведь разговаривать не станут с пособником режима... есть такое подозрение.

В голосе у Чингиса прозвучала недвусмысленная ирония. Серж обиженно усмехнулся.

— А как дежурство? Не влетит? — поинтересовался Лева, когда лейтенант вернулся в машину с Сержем и приказом вернуть назад.

— Устав помнишь? — поинтересовался Ворон. — Я посты только проверить должен; это моя прямая обязанность, а остальное — личная инициатива.

— Добро, — сказал Лева и порулил на Черную речку.

Лифт дернулся и встал. Прошли коридором, оказались у двери. Это? Здесь? Да, — кивком головы подтвердил Серж. Даниил Андреевич потянулся к звонку.

Сначала глазок потемнел.

— А. Сережа. Проходите.

Вопросительный взгляд на высокую девушку и аккуратного человека, который шагает через порог, едва дождавшись приглашения. Петренко изменился — бритый, твердые очки в темной оправе. Похож на чухонского диджея. В квартире играет музыка; сборник какой-то. Только что была украинская майданная плясовая, теперь поехал «Мумий Тролль».

— Даниил, — кивает нахальный парень. — Вы не помните, да и неважно.

Проходят в комнату. Петренко слегка прикручивает громкость.

Данька и Серж стоят на пороге. Алька — почти в дверях.

— Располагайтесь, — Петренко разводит руками. — Вещи сюда...

— Спасибо, — кивает Ворон. — У нас разговор вообще-то короткий.

Петренко уже полез в бар за вискарем и так полуобернулся: с Джеком Дэниэлсом и недоуменной улыбкой. Рассмеялся.

— Вы как революционная тройка прямо. Сереж, давай я хоть чаю налью нашему комиссару от женсовета. Замерзли? — к Альке.

Алька отрицательно мотает головой, но Петренко уже носится с электрочайником. Квартира занимательная, — думает Алька. Две комнатенки и кухня порублены в одно, получилась студия. Мягкий хай-тек, стенные шкафчики белоснежные, ниши темного дерева. Кровать подвешена на рояльных струнах, состаренного темного же дерева бар. Элегантная плитка, вытяжка в углу — перчики висят сушеные на веревочке, яркими пятнами разнообразят гамму.

Данька с Сержем так и стоят в дверях, как ночной дозор — Серж вообще в старенькой кожанке и длиннохвостом шарфе. Вид имеет очень инфернальный. Данька в джинсах дачных и блейзере; из V-образного выреза торчит смуглая шея; будто из лета спустился. Серж откидывает полы кожанки и присаживается на банкетку мягкого сливочного оттенка. Подмигивает Чингису. Видно, он не был никогда у своего партагеноссе и сейчас удивлен. Данька стоит и смотрит, как Петренко ухаживает за Алькой: принимает у нее пуховик и ведет к плавному полукруглому столику в кухонном углу.

— Ну-с? — Паша возвращается и судорожно хватается за горлышко Джека. Алька жмет за столиком. Петренко смотрит на Сержа, на Даньку, хлопает себя по лбу и возвращается за стаканами. Раскладывает журнальный столик на колесиках, подкатывает его поближе к Сержу. В несколько ловких движений организует пространство: кровать подвешена на крепких стальных карнизах, Паша двигает ее на середину комнаты. Столик — напротив. Каркуша смотрит на Альку; кажется, сейчас у них одна мысль на двоих: про несоответствие утренних впечатлений этому изящному гнездышку. Чингис присаживается верхом на вертящееся офисное кресло: единственный тривиальный предмет в комнате. — Мы насчет политзаключенного вашего... Медведев, помнишь?

Петренко машинально делает «Мумий Тролля» чуть громче. А сам — говорит тише.

— Да помню, конечно... Что я, ребята, совсем урод? Как по-вашему? — Паша жмет плечами. — Колбасу-то будете? Нет? А я съем...

Петренко выносит из спрятанного в стене холодильника нарезку, разливает виски. Улыбается застенчиво.

— Вы что ж, думаете, я граф Дракула какой-нибудь? Подпитываюсь кровью несмышленных младенцев? У меня тоже сердце не на месте. Я сам бы вместо него посидел, да...

— А что, не получается никак? — Чингис едко щурится. Алька его таким не помнит. — Могу подсобить.

Петренко качает головой и грустно усмехается.

— Понимаю тебя, Дань. Но — не можешь. Не получится. У меня папа в администрации президента. Я и на собрания потому ходить перестал; нет, Сереж. Ты тоже не думай...

Петренко одним махом дергает сто граммов Джека. Выдыхает, снимает очки. Протирает. Без очков он кажется моложе; с белым, мучным каким-то лицом. Тонкие прожилки у крыльев носа моментально наполняются кровью, розовеют.

— Меня перед Новым годом вызвали, сами понимаете куда. Сказали: будешь далее воду мутить, малыш, вся твоя пацанва посядет, а тебе не будет ничего. И будешь ты для них — сукой. Так-то. — Паша отправляет в рот кусок колбасы и долго давит его зубами; с отвращением. Вытирает руки полотенцем.

— Дрянь какую-то продают... Евросоюз гребанный.

Серж молчит и смотрит на Даньку — пойдём, мол? Все понятно?

Чингис игнорирует, двигает ногами кресло и подъезжает к столику. Берет вискарь.

— Льда нет у тебя, а? Чегевара?

Петренко проглатывает колбасу, кивает и мчит к холодильнику: а вы, барышня, тоже... Что вы как не со всеми... Алька встает и перемещается поближе к парням. Серж тупит, Данька пьет виски и издевается:

— У тебя, команданте, тоже есть вариант. Я же не зря про Че Гевару толкую. Мотай к соседям — на майдан какой-нибудь или к бабьке Лукашенко... В Киргизии вот тоже, говорят, революционную юрту разбили на площади. Там-то у тебя никого нет в администрации? Вот там и огребешь. Искупишь экзистенциальную ошибку. Либертад о муэртэ. С самого начала надо было так сделать. А? Ты не додумал.

— Слушай! — Петренко обиженно высыпает Даньке в стакан целую гору льда. Джек выходит из берегов и заливает столик. — Ведь ты же учитель его? Да! Да, и не отпирайся! Я тебя сразу не узнал, думал, Сережка нового активиста приволок... И вот! — Петренко машет руками и начинает заикаться. — Т-ты первый, между прочим, начал! Медведев ко мне на семинар приперся — умница, но неадекват полный! Новгородской федерацией пацан грезил! А что она б-была, твоя Новгородская федерация? Это историк из тебя хреновый, а мозги п-п-пудрить ты п-почище меня мастер!

Глухой б/п получается у Петренко, как залп. Аж слюна разлетается. Данька побледнел, привстал; еще чуть — и подерутся. Серж вскакивает с банкетки.

— Все, парни, все! Брейк! И ты, Паша, и ты, дэдмэн! Водители, блин, душ человеческих!

Чингис успокаивается первым, но все равно не совсем согласен.

— Лады, — наконец говорит он. — Оба с гусями.

Алька меланхолично раскачивается на кровати. При всех слюнях и воплях ей хорошо с этими большими глупыми парнями.

— Можно мне виски? — спрашивает она. Чингис и Петренко, чуть не сталкиваясь лбами, бросаются поухаживать.

— Детский алкоголизм — это страшно! Пистолет куда дел? — интересуется Чингис, наливая Альке законные пятьдесят. Петренко стоит рядом наготове; с ледницей и полотенцем через локоть.

— К-к-какой пистолет? — белесыми ресницами машет.

— К-к-который стреляет, — объясняет Данька. — Который Миша тебе принес.

— А, — говорит Петренко. — Отдал почти сразу, что я — идиот, пушку паленую у себя держать?

— Ты ж говорил — папа? — подначивает его Чингис.

— Береженого Бог бережет.

— Кому? — спрашивает Серж с банкетки.

— Брательнику его. Борису.

По дороге слушали кассетный сборник El Che Vive — Петренко Альке подарил на прощание. Непьющий доцент почти в умат убрался своим Джеком; провожая их, плакал и ныл, что завтра же отправится воевать с каким-нибудь Туркменбаши. Серж попросил выключить чегевару, но Данька тихо сказал: не надо. Музыка не виновата. Лучшие песни рождены революцией, но мы, Сережа, сами по себе уроды. Гибриды ненормальные. Никак определиться не можем — то айда на баррикады, то птичку жалко и помереть хочется дома на диване. Я, прикинь, одно время носился с идеей сделать вечеринку El Che в каком-то кокаиновом гадюшнике. Представь: Виктор Хара для мебельных королей, криминальных авторитетов и их блядей. На такое, поверь, способен только человек из пьяного десятилетия, семьдесят-какого-то года рождения: природный романтизм встречается с реальностью и аккуратно ложится под. И что? — спросил Сережа. О чем ты? Вечеринка удалась? Бог миловал, — Данька закашлялся. У меня воображение хорошее. Представил, как они будут наливать мохито, и удавил идею в зародыше.

Серж выскакивает у метро. Время, действительно, детское — поддвенадцатого. Алька успевает домой, а Чингис — проверить первую стражу.

В окна разбиваются снежинки: огромные, разлапистые. Действительно; будто листья. Отсыревший ветер гудит, сдвигает с крыш пласты снега. Рушит их вниз, они ломаются, как плитки — по продольным осям. Дорога вдоль свалки; за ней — берег и порт. Краны. Адрес, — требует Данька. Они сворачивают на проспект, перпендикулярный береговой линии. «Уазик» с лету берет барьер из слежавшегося снега; мимо детской площадки с раздолбанной горкой и вертящейся каруселью проскальзывает к угловому подъезду. Чингис

выскакивает и открывает Альке дверь. Смирнова с тоской понимает, что это не простая любезность: что-то от нее опять надо. Ей хочется взвыть, чтобы все они отвалились, отстали: с путешествиями в СИЗО, доцентами Петренко и песенками на латиноамериканском спэнише. За истекший, как можно надеяться, день, ее протащило по нескольким параллельным мирам, будто мягким животом — по гравию. Внутри все стиснуто и болит; она грязна, издергана. С утра не ела: чай, коньяк и виски. Небо — похмельно-морковное, как блевотная лужа. Снег становится серым, еще не достигая земли.

— Аленька, — говорит Чингис, и внутри очень сильно дергает. У нее за сегодня целая коллекция нежных набралась имен: Аленька, Алёк-мотылек. Отвалите, Даниил Андреевич — надо сказать, но вместо этого она хихикает хрипло, как простуженная шлюха, и спрашивает: что? Вам Борис нужен? Он мне позвонить обещал после свидания — сегодня или завтра, что вероятнее. Что еще?

— Скажи ему, чтобы нашел меня. Про пистолет не говори по телефону: скажи просто, чтобы позвонил мне домой, забьемся где-нибудь. Скажи, что важно; намекни, что Миши касается. Поняла?

— С лету, — хвастается Смирнова. — С лету поняла.

— Вот и умница, — вздыхает Данька. — Давай, покедова.

Алька отступает на шаг; чуть не падая, прислоняется к двери парадной. Лейтенант, перескакивая сугробы, в джинсах из-под короткого винтажного пальто, «уазик» греется, в кабине — огонек сигареты, Лев Николаевич курит, что же они все курят, мама сказала, после двенадцати будет приходить — не пустит, Вероничка на дежурстве, минутки истекают. А пусть бы ничего не было — решает Алька, глядя в живую, юркую Каркушину спину; пусть не было зимы, Миши, Каркуши этого — зловещего дурака; пусть ничего не было, решает Алька, открывая кодовую дверь. Подыграем ей, а? Пусть ничего не было.

Смирнова идет по лестнице, звенит ключами. Лицо серое, шатает, лифт вызвать не догадалась, и ниточки внутри нес натянуты и рвутся по одной.

Патрульный подходит и представляется проверяющему. Например: «Товарищ лейтенант! Патрульный сержант Варвара». По требованию проверяющего старший патруля докладывает об обстановке на территории маршрута, отвечает на заданные вопросы.

— Как?

— Да тихо... После праздников утомонились все и обратно еще не проснулись.

Чингис стоит пешком, Варька рапортует с лошади:

— Боливар ваш заболел. Простудился. И скучает. Сеню как — комиссуют?

Алька стоит у своей двери и плачет. Ей бы кинуться за Каркушей, да уже сотня минут минуло, наверное. И домой не пустят. Она торчит лбом в обивку; вонючий дерьмантин с цифрой наверху: квартира 244. Квартира, квартирант; однокоренные. А вот дома-то по-настоящему у них никогда и не было: три самки несчастливые, каждая по-своему — мама, она и медсестричка Вероника. Наконец она достает ключ, проворачивает его в замке и прислушивается. Мать, очевидно, заснула. Алька проскальзывает в комнату: как была, в пуховике, мокрых сапогах, с забытыми в сумке яблоками. День прошел, но лучше бы его не было. Не было.

Как скажем, так и будет.

Оттаявший город застывал к ночи. Поземка лизала по-мокрому, рисовала на снежном полотне набивные узоры. Темные окна смотрели человеку в затылок. Притаившись, притворившись неживыми. Ловили стук шагов. Чингис шел домой, а добравшись, распахнул ноутбук и глаза закрыл. Воздух шевелился в комнате, словно налитая до краев вода, водяная темень. Все сильнее и громче пахло чем-то мертвым и весной. Облизанный холодом асфальт скользит из-под ног;

ветер. Небо бежит между туч темными пятнами. Уже ведь весна, ему кажется, или она незаметно вышла навстречу. Она похожа на всех остальных, но голос у нее знакомый — Алькин, когда она тихо, звеняще посмеивается, обдумывая очередную веселую колкость. В конце января — начале февраля, когда морозы как раз крепчают, время упрямо поворачивает к весне. А земля — к солнышку подмерзшим сверкающим боком. И на одной шестой части начинает прибывать день, и вода подо льдом просыпается и гремит.

Человек шел по сверкающему городу, который только что обдало потоками первого, еще ледяного, но праздничного уже дождя. Зачистило щетками, до блеска отскребло первым солнцем. По небу ездили утренние облака-поливалки — сбрызнув южные улицы, катились к северным. В голове по-хорошему звенело: как во время первого тайма счастливой влюбленности, когда девушку до дому проводил и откланялся — не потому, что не зовут, но потому, что хочется потянуть за хвост эту первую нежную неоднозначность — все ясно, ничего не сказано. Холодный, ласковый город; лукавый и эфемерный, как призрак на болоте: топни — и разойдутся хляби, которые хоронят все — и плохое, и хорошее. По прямым, будто линии компаса, перспективам, блуждать можно бесконечно: так как логика здесь не земная, а так — ни рыба ни мясо, ни море ни суша; двойной имперский стандарт. Над Адмиралтейством сверкает золотом корабль; как сверхзвуковой солнечный выстрел. Следом раскатывается густой, махровый пушечный залп. В порту за свалкой тяжело ворочаются краны. Город покрывается зеленой пеной, потом белой пеной — пухом тополиным; но наша весна чужда аллергиям, и первые утренние золотисто-розовые топлёные облака мчатся на запад, и солнце прибывает неумолимо, а Чингис так и стоит в сугробе, дожидаясь, пока Алька дойдет до парадной. Щелкает кодовый замок.

— Не пропадай, — говорит он.

И тут как понесло: Алька сиганула через сугроб, налетела, Чингис аж попятился. Догадался подхватить.

— Даниил Андреевич, вы ведь не нарочно, да?

Данька совсем не ожидал от себя, но обнял. Усмехнулся в ее волосы — отпустить не хотелось.

— Почти не считается.

Хлопнул Альку по спине и подсевшим голосом приказал:

— Домой. Быстро. Мама заругает.

Проверив посты, Чингис вернулся домой, достал ноутбук и написал то, о чем сказано выше. Алька у себя в конурке скинула пуховик, проскользнула по коридору, не зажигая света. Долго сидела в темной ванной и плескала себе ладошкой горячую воду на лицо, живот и плечи. Согревшись, вернулась к себе, поплакала немножко и заснула глухим бездумным сном, как спят, в первый раз намучившись, только очень молодые люди.

Собаки орали по всему городу, кричали люди и шарили желтыми кончиками пальцев карманные фонарики. Дружинники оклемались после бесконечного Рождества и с удвоенным рвением вытряхивают бомжиков у города из-за пазухи — реализуют план по зачистке культурной столицы. В права вступает февраль. Руки мерзнут даже в двойных перчатках. Навалились морозы, и лед на реке встал как будто навсегда.

Холода грянули той ночью, когда Чингис вернулся домой и сочинял весну. За стенкой погуливал Леха, только что сменившийся с вечернего дежурства — во дворе наконец поставили пост с будкой и полосатым шлагбаумом. Обе веселые девицы исчезли давно и незаметно; теперь каждый вечер приходили новые. Не зная, чего ждать от странноватого лейтенанта, Лешка завел себе собственную тумбочку с едой и настоял на отдельной полке в холодильнике. Все эти инновации

тоже прошли мимо Даньки. Сейчас он тихо сидел в гостиной и ждал, пока Леха освободит телефон. Наконец сержант прекратил трещать и переключился на очередного женского гостя: слышно было, как томно закурлыкала девица. Данька торопливо запустил соединение, выбрал окошко «интернет в кредит». Старый номер пула работал; на удивление. Два месяца в сети не гулял. В интернете — тишь да гладь; самая громкая новость — что карбонариев доцента Петренко запретили. В ящике — поздравления. С днем рождения и Новым годом. От мамы, Витьки и почтовой службы. И письмо от какого-то Медведя — в сомнительных. Датировано вчерашним.

От: «Медведь Медведь» <medved_74@mail.ru>

Кому: «Даниил Ворон» <varren@mail.ru>

...Здорово, дэдмэн. Гранмерси тебе, во-первых, зато что свел наших зайчиков повидатся. А еще давненько мы с пацанами культурно не отдыхали. Как тебе вариант снять на вечер баньку на островах и оттянутся как следует? Ты мой гость, поэтому бабла не надо, а приезжай просто вечерком в следующую среду в «Посадские», адрес есть в любом справочнике. Поговорим косточки погреем и вообще. Жду тебя, короче.

Большой Медведь

Борька отреагировал оперативно; предварил, можно сказать. Чингис отодвинул ноутбук, встал и прошел на кухню: сварить кофе. Банька с гражданами бандитами — такого в нашей практике еще не было. Можно мне надеяться, что там, где не помогло Алькино обаяние, поможет Борькин авторитет? Иначе совсем грустно раскладывается; политикой сейчас Мишкину задницу никак не прикрыть — карбонариев отменили. Единственный выход с минимальными обоюдными жертвами — свести дело к личным разборкам и мелкому хулиганству — мол, пистолет потырили в силу молодецкой

дури и тотчас рады вернуть. А на мордобой, так и быть, я сам нарывался — пьян был и неадекватен.

Кофе сбежал... всегда у меня сбегает. Не мой напиток. Недружественный. Данька расстроился окончательно, прочесал пятерней челку и с туркой вернулся к ноутбуку. Плеснул морилки в чашечку и застрекотал по клавишам:

От: «Даниил Ворон» <varren@mail.ru>

Кому: «Медведь Медведь» <medved_74@mail.ru>

Превед, медвед. Не вопрос. Буду.

Д. В.

Потом быстренько отписал маме. Витьке и серверу Мэйл.Ру отвечать не стал, врубил через ноутбук на полную громкость бравурную увертюру Россини (Лешка с девками за стенкой совсем оборзели, вопят, как доброе кошачье семейство), запустил поисковик и почтил вниманием последнюю редакцию УК РФ — раздел десятый, глава тридцать первая — «преступления против правосудия»; статья триста первая: незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Так, на всякий пожарный.

— Под трибунал у меня пойдешь! Где лошади? Лошади где? Где вся красота? Почему ты пешком и в обмотках, как революционный солдат у Смольного?

Варька с курсантами стояла на Старокалинкином мосту, где госпиталь военный, там этот змейгорыныч на нее и напустился. Из военного джипа как выскочу, как выпрыгну; перегаром дышит. У Варьки губы замерзли, хочет что-то сказать, но рот ватный, и получается: мм, ммм.

— Товарищ капитан Александр Петрович! — вступился курсантик. В меховой куртке, как беременный пингвин, и по бокам себя для тепла похлопывает.

— Мороз у нас тридцать, лошадки даже в конюшне простужаются. Нам лейтенант разрешил пешком патрулировать.

За время дежурства ничего чрезвычайного не произошло; только сдохли две вороны и голубь — на лету. Вон, посмотрите, до сих пор на льду валяются.

— Где?

— А вон, смотрите.

Курсант подошел к парпету. Вон, там, пятно темное. Смотрите, сейчас я туда плюну... и плевков тоже, на лету. Замерзнет.

Капитан проследил траекторию. Под мостом торчал вмерзший в лед ялик и какой-то хлам; за зиму уже набросать успели. Птичек Петрович не увидел, но погодные условия осознал.

— Ладно, убедил. Даниле скажи — пусть заявку в часть напишет, на термобелье для человеческого состава. Чингисхан херов; только о конях и думает.

Луна в морозном ореоле выходит из-за обрывков туч, зажигает их радужным инопланетным сиянием. Через все небо ползут бесцветные ледяные занавеси.

— Смирнова, ну че ты киснешь! Вернется твой Медведь, дадут год условно или полгода так; а два месяца он уже отсидел. К весне выйдет. Мне Стас сказал, что и не такие вопросы люди решают. Стасик меня в такой клубец на прошлой неделе водил! Зашатаешься. Шампанское самое дешевое сто баксов стоит.

Новая Ларкина страсть; Стасик. Квадратный сорокалетний мужик с мордой, покрытой горнолыжным загаром. Спортсмен какой-то, как со значением говорит Антоненка.

— Я показала тамошним ребятам шарфик твоей работы; ну, тот, что ты мне на Новый год подарила, расписной и с кисточками из стразиков. Всем ужасно понравилось! Ужасно! Спрашивали, не можешь ли ты сделать такие же занавески. А? Как ты, сможешь? Они денег заплатят, ты не думай. А даже если и нет — с такими людьми просто дружить тоже здорово.

— Ларка, одна занавеска — это мне на месяц работы. Ты понимаешь вообще? У нас долг за квартиру, Вероничка не справляется.

— Фу-у! Какая ты нудная. Ты пойми, пока ты молодая, надо делать себе капитал на будущее.

Алька стоит у окна и кутается в одеяло. За окном смертельно красиво и холодно.

— Ладно, — говорит она. — Сделаю я им... северное сияние.

— Чего? — не понимает Лариска. — Короче, идем, да? Ты до меня тогда сейчас добеги, мы тебе костюмчик подберем... а то в хиппозном виде туда не пускают. Тебе, знаешь... давно хотела посоветовать, ты не обижайся только. Тебе немножко похудеть надо и волосы покрасить... Перышками. Знаешь, как делают?

— Извини, — смеется Алька. — До вечера не успеваю.

Часть фуража теперь хранится на манеже: мешки подтащили к стенам, они, как могут, предохраняют от сквозняков. Чингис со вторым отделением тренирует конную карусель: к масленичному губернаторскому балу приказано подготовиться и показать высоким гостям класс.

— Выезжаем шеренгой, перестраиваемся... — командует Данька, подлетая на трясучей Помехе. Соловый Васька все еще хандрит, а этой стерве хоть бы что — бегают, бодрая, еще и левофлангового жеребца за плечо укусить пытается.

— Спину держать! Ребята, да что же вы!

Чингис привстает в седле, оглядывает шеренгу. Взмахивает ладонью; Пашка, который за берейтора, бичом — щелк! На щелчок кони обязаны красиво поднимать передние ноги, но они большая часть не кони, а клячи, поэтому не поднимают, а волочат. Курсанты стараются, но выходит все равно криво; в шеренге не выдерживают дистанцию, а цепь виляет змейкой, ровного строя не получается.

— Товарищ лейтенант! Вы сами нас сбиваете — мы строевой рысью выходим, а вы прибавленной! — осмеливаются из строя.

— В седло присядьте, — подсказывает Сережа Васильев на кабардинском Абреке.

— Стоп, стоп. Сначала, — злится Чингис. — Давайте музыку, что ли, включим... Пашка, включи музыку. Идем по кругу, потом поворот... Через левое плечо... Сережа, держи дистанцию! Елки, вашу мать!

Пашка врубает радио. Чингис поглядывает на часы. Уже семь вечера, а ему еще в баню к Борису. Это другой конец города, Лева с минуты на минуту подъедет, а здесь еще конь не валялся. Во-о... валится!.. Васильев на кабардинском трехлетке; не справляется. Конь пытается выскочить из строя и грохнуться боком о стену — хитрец, зараза!

— Сережа, merde! Колено береги! Это он тебе показывает, кто здесь главный. А ты ему в ответ покажи! Да собери ж ты его наконец!

Город молчит; торчат круглые липки по набережной, усеяны постновогодними светляками: иллюминация. Капитанский джип катится на острова; набережная пустынна и простреливается взглядом на несколько километров. Морозный воздух прозрачен.

Чингис выскакивает из общего душа — обычно он в конюшне слегка брезгует и ждет до дома, но сегодня еще в баню, а от него потом — и своим, и конским, как от кентавра.

— Товарищ лейтенант, у вас что-то на ногу прилипло.

— Где? А! — смеется. — Не, это не прилипло. Это татуировка.

Чингис бодро прыгает на одной ноге. На стопе у основания большого пальца — солнышко с улыбающейся рожницей. Зачем? Лейтенант присаживается на скамейку, бинтует колено: не заметил, увлекся и потянул.

— Ее ж не видно ни фиги, — парни обступают; всем неудобно, но интересно.

— Так и задумано, — объясняет Чингис. — Чтоб секрет. Длинная раздевалка, на скамейке свалены шмотки. Потом разит — да; аж воздух солон. Чингис закидывает ногу на ногу.

— Больно вообще колоть?

— А бабам нравится?

— Пищ-щат просто, — Чингис натягивает галифе; в душ загружается следующая партия. Свитер через горло; шарф, куртка. — Все, покедова. Сереж, попроси Варвару, пусть она вас с Абреком отдельно завтра потренирует.

— А можно без Абрека? Только я, Варвара и шамбарьер.

— Да мне-то пофиг, но губер хочет, чтобы лошади тоже были.

— А может, я на Жору пересяду? Абрек не умеет ничего, и как человек он мне тоже не нравится.

— Жора старенький, у него колени болят и вид не товарный. Будешь ныть — пересажу на Помеху. Всё — гудбай, конармия.

Лев Николаевич стоит в коридоре и кормит Боливара морковкой. Даже неловко прерывать такую идиллию, но время уже полвосьмого.

— На Крестовский довезешь? — спрашивает Чингис. — Погнали, по дороге нужно еще патрули проверить.

Вывернули со двора.

— Лева, смотри, что это? Северное сияние?

Дальше по шоссе, над городом, в полнейшей тишине. Через все темно-синее небо серебряные занавеси; и колышутся, как тюль.

— Это марлю повесили. Небесные жители от небесных же комаров и мух.

— То есть?

— Если есть небесная тайга, то в ней должен водиться небесный гнус.

— Логично.

— А небесный гнус можно увидеть, если задремлешь с открытыми глазами. Взгляд рассеивается, и через все поле зрения ползут такие странные призрачные твари.

— Если задремлешь с открытыми глазами, вообще можно много чего увидеть. *Qui bien beurra, Dieu voira. Qui beurra tout d'une, baleine, voira Dieu et la Madeleine*¹.

— Да, а еще есть темные мрази, которые начинают шмыгать туда-сюда; и только ты пытаешься уловить их очертания, как они сразу пропадают.

— А представляешь, если целый огромный город только и делает, что дремлет? С открытыми глазами?

— Что они все, спички себе повставляли, что ли?

— Нет, они — как статуи. Глаза вроде открыты, но зрачков нет. Расплылись и следят тварей; периферическим зрением. А повседневная жизнь и все остальные функции — на автопилоте.

— Это как у сфинксов с набережной?

— Точно. Они тоже — так увлеклись, что и не заметили, как у них бородки поотбивали; знак мужества и царственного величия.

— Засмотрелись.

— Стой, стой! Тихо! Сбавь скорость. Трасса заледенела.

— Помнишь, ты по пьяни что-то нес, а я запомнил.

Не следует разбрасываться словами.

— Сбавь скорость!

— Да кто нас по жизни остановит; с такими-то номерами.

— Еще чуть-чуть, и этот номер на большой палец получишь.

— Семь-семь: твое счастье! На тот, где у тебя солнышко?

¹ Кто хорошо выпьет, узрит Бога. Кто выпьет все одним глотком, узрит Бога и Магдалину (*фр.*). Надпись на кубке Рене Анжуйского.

За то время, пока они петляли по городу, луна оказывалась впереди; слева; по правую руку. Теперь она была снизу. Варька с курсантами за отчетное время догуляла по речке до того места, где чернел проем воды. От воды поднимался пар, в водяном окне шебуршались утки и стояла ослепительная луна. Пахло сулом: пивной завод сливал отходы.

— О, товарищ лейтенант, — сипит Варька. — А нас уже проверяли.

— Капитан возмутился, почему мы пешком стоим.

— И что?

— Да ничего. Покричал и в баньку покатился.

Блядь!

Орет Петрович.

Мы все пришли, а вы пьяные уже.

Петрович хлопает рюмку и с холода падает на доски. Распахивается дверь из парной — на пороге Боря Медведев и прочие мужчины в полотенцах. От них прет березовым листом и кислятиной.

— ...Ну, если по делу... — Петрович закусывает. — Цифра твоя нам нравится. Нормальная цифра. Поддерживаешь?

Борис берет со стола салфетку и шумно сморкается. Берет стопку. Выпивают.

— Вот и ладненько, — капитан шлепает себя по мокрым коленкам. — Вот и договорились почти. Дельце закроем, Владимир Алексеич уже все придумал. Золотая голова Володька. — Петрович оглядывается на тощего распаренного следака, цветом и фактурой похожего на свежеччищенную селедку. Тот аккуратно, по глотку тянет водку и смущенно улыбается. — Нам как раз разнарядку спустили, чтоб со злоупотреблениями бороться. История будет такая: пусть Мишанька пишет на нашего лейтенанта, что они выпивали вместе, потом Чингис ушел, пистолет, по вероятности, посеял. И на ребят ваших свалил. Злоупотребление, превышение, все дела.

— Обратная рокировка, — поясняет Владимир Алексеевич. — Закрываем всадника.

— Какого всадника? — не понимает Борька.

— Апокалипсиса... — заливается Петрович. — Всадника закрываем, и апокалипсису конец.

— А бил его кто? — соображает кто-то из Борькиных пацанов.

— Да мало ли... — машет Петрович. — Нарисуем... у нас, знаешь, тоже фантазия имеется.

Борька со своей стороны елозит глазами по этим двоим и еще на мобилу поглядывает. Часики тикают; всадник апокалипсиса, надо думать, уже скачет по заснеженным улицам. Телефон звонит. Боря тянет мобилу к уху; в лице его что-то меняется.

— Слышь, командир, — говорит он Петровичу и задумчиво смотрит на него темными глазами. — Мишки-то нет в СИЗО.

— Как нет? — недоумевает капитан.

— Правильно, — следак на капитана, дергает жидкой бровью. — Я его к вам в изолятор перевел, поближе. Все продумано, не волнуйтесь, — обращается он к Борису.

— Странно, — говорит Борис. — Не сходится. Вы бы хоть между собой договорились, что врать, — он напряженно вглядывается в лица.

— Мозга с мозгой у тебя не сходится, вот что, — взвизгивается капитан. — Мне, образно говоря, гораздо приятнее всю вашу семейку отправить махать кайлом, а я своего человека отдаю.

— Это меня тоже смущает.

— Ишь, застенчивый какой. Видишь ли, из-за некоторых несвоевременных инициатив промысел господень потерпел ущерб, в тонких сферах образовалась дырка. Что-то подобное произошло с одним парнем, который был предназначен в священный орден доминиканцев. От

рождения он был урод — вместо мужского органа имел женский. Молитвами святого Доминика этот недостаток был устранен.

— Может, он попросту был бабой? А ваш Доминик только хорошую бабу испортил. — находится Юниор.

— Дырку надо заткнуть, чтоб не сквозило, — настаивает Петрович и кутается в полотенце. — Кто-нибудь, прикройте дверь. И тут — либо мой всадник конь бл... черт, забыл какого он у него цвета. А это важно. Ладно — либо твой королек. Хотя он, конечно, скорее пешечка. Маленькая такая, с пимпочкой. А ты мало того, что служишь маммоне, сидишь на уворованном бабле и жадничаешь, так еще и еретик. Думаешь, позволено все и ни за что не надо платить. Сидишь, аки волчара, в конце пищевой цепочки, и думаешь, что последний. Нет, дорогой, — как сказал классик, — и последние станут первыми, аминь. Давай, либо башли на стол, либо твоему сопляку истинная свобода.

— Что за хвост, Лева?

— Открытие ресторана. Бутербродники в очередь выстроились.

— Классные тачки у бутербродников.

— Тачки особенные, а мозги — как у всех.

— Да, и на осетрине тоже приходится экономить.

— Ничего, сейчас их по аллейке пообедем.

Пушистая снежная хмарь. Из-за деревьев неба не видно. «Узик» на тихой скорости пробирается по занесенной аллее; выходит на береговую дорогу. Ее не чистят: замерзшие яхт-клубы в феврале никому не нужны. Через речку стоит лес; дальше, за излучиной, — город, подвешенный над рекой мерцающими огнями. Подвеска высокая, но Лева все равно старается попадать в проезженную колею — по краям сугробы в полтора метра.

Мороз прохватывает поверху, будто прижимает к коже мелкий наждак.

— Слей у них бензин из машины.

«Уазик», загазовав, взбирается на пригорочек и набирает скорость вниз. Из-за поворота поднимаются клубы темного дыма: во втопили! — радуется продрогший Чингис.

Пламени не видно, только окна полыхают изнутри. Бревенчатый домик весь сочится дымом, как придавленный гриб-трутовик; «уазик», разогнавшись с пригорка, влетает на стоянку между двух джипов: военного и черненького, как лаковый жук, «чероки». Тормози... — голос лейтенанта попадает на удар двери, Лева топит педаль тормоза, Данька вываливается на ходу под скрежет.

Борька стоит на снегу босиком; в банном халате. Из-под халата торчат толстые белые ноги, в руке — пистолет. На фоне тлеющей бани в нем есть что-то барственное — будто он философически наблюдает гибель родового гнезда.

— Ща пыхнет, — обещает Боря Чингису. — Дань, а какого цвета у тебя лошадь?

— Чего?

— А это важно.

Юниор мечется поперек пейзажа с канистрой. Другие двое тащат из джипа ящик с пивом, открывают бутылки и с пеной вытряхивают пиво на снег. Снег испоганен следами, копотью, шевелящимися человечками. Кто-то распутывает с себя полотенце и рвет его вдоль. Тряпками затыкают бутылки. Из бани стреляют.

— Боря, что?! Там люди?

— Свинтусов коптим! — смеется Борька. Капитана твоего и следака свонного, тварь продажную. Чингис бросается; Борька ленивым тычком откидывает его, отечески грозит пистолетом. Не заводись! К воплям и одиночным выстрелам добавляется рокот мотора и тоскливое Борькино бля-адь! «Уазик» журчит, пытаясь сдать назад; побоище накрывает

визг милицейской сирены. Выключи голосилку нах! — орет Борис, вскидывает руку и стреляет по машине. Чингис виснет у Борьки на руке: не стрелять! «Узик» виляет и вписывается в корму черного джипа; лобовое стекло, за мгновение до этого прошитое мелкими трещинами, лениво ложится на капот. Попаримся, мужики! — визжит Юниор; молотов-коктейль летит в оконце под самой крышей, из которого валит дым и человеческий вой. Оттуда пытаются вылезти; по ним тоже стреляют. Данька бежит к дому. Его догоняет Борис, с размаху рукояткой пистолета между лопаток. А ну придержи, — хрипит Борис и хватает Чингиса за руки. Над крышей бани показывается пламя; дверь дрожит и бухает; она железная, и ей ничего. Пальцы у Борьки скользкие, лейтенант выдергивает руки и летит к дверям. Боря, они кричат! Живые! Это временное явление, — пыхтит в спину Борис. Ах ты!.. Куда лезешь, мусор? Данька кулаком выбивает засов. Зачем, блядь, в бане засов? Кованый завитушками... Борька кидается на дверь и задвигает засов обратно. Дэдман, вали отсюда, и ты ничего не видел. Вали, пожалуйста. Убью! — орет из бани Петрович. А-а-у-и, — пропевает кто-то из бани поочередно все гласные — и — на визг. В окошке на мгновение показывается вислая розовая морда, Юниор лепит по карнизу бутылкой, бензин растекается по стене, сзади летит голловешка, пламя скользит по бензиновой сопле и застилает окно рыжим всполохом. Чингис молча бросается на Борьку, прилепывает его к двери и виснет на горле. Сука! — орет Юниор и молотит его сзади кулаком по голове. Борь, ты не зверь, уезжайте отсюда, я сам открою. Хрен тебе, а не откроешь. Они же сгорят! Точно!! — ржет Борис.

Сцепившись, они выворачивают друг другу пальцы, Юниору Чингис угодил локтем в лицо, тот мычит и льет на снег. Нос сломал. Борис хватается Ворона за волосы и бьет его башкой в дверь — навстречу колотятся дружинники. Бьет и отбрасывает, сам — спиной к двери, и ПМ в мягкой лапе.

— Я смерти твоей, Дань, не хочу.

Ворон встает и, пошатываясь, смотрит мимо ствола. Огонь рвется из окон, Борька взводит курок.

— Боря, хуже будет, — Чингис делает шаг к нему — а ты этим ничего не дождешься, и Мишке не поможешь, а я тебе обещаю. Что ты мне обещаешь; что ты вообще можешь; нет, не обещай лучше, а будь другом — отойди. Борька ведет стволом, как указательным грозит. Женский вопль они слышат одновременно — старуха, банщица или какая блядь — не слышно, но Борис вздрагивает и дергает головой в сторону.

— Боря, за каким?! Зачем ты его сюда позвал? Почему ты меня не дождался?

Чингис делает свои полшага и опускает пистолет в Борькиной руке. Губы прыгают. Зенки раскрыты и застыли; и не моргают на дым. Черт с тобой, — ломается Борис и двигает Чингиса плечом. — Все равно теперь...

Борис качается над Данькой, большой и мягкий, как припущенный аэролат.

— Мой пистолет у тебя? — хрипло спрашивает лейтенант.

— Этот?

Борька взмывает рукой, и Чингис видит, как на защелке магазина дрожит колечко. — Две минуты повремени, — просит он. — Я позвоню завтра. Борис бросает ствол под ноги и бежит к машине.

Дверь отлетает и бухает в стену. Первым из горящей бани с воплем выскакивает капитан. Падает на колени, загребает в рот целый сугроб. Суки, бляди, гады! Сучонка завтра же... Не жить ему... Не жить, выродок, выводок гадский. Вскикивает на ноги. Куда они поехали? Выблядки, уроды! Рядом по снегу катается и воеет костлявый мужичонка. Чингис узнает следователя, который после выдачи Лажевского взял их с Мишей общее дело. Петрович пинками пытается поднять того на ноги: слово и дело.

— Ты здесь откуда? — Ворону. Чингис без ответа кидается внутрь; видит, как на кого-то из угоревших валяются потолочные балки. Кто-то ласточкой выбрасывается в снег. С треском рвутся бутылки — закрываясь руками от осколков, Данька едва уворачивается наружу. Там женщина была, — хрипит лейтенант. Банщица, — отвечает Петрович, отплевываясь от пепла, — в подсобке сгорела, наверное. Он стоит над ноющим следаком: голый, живот куполом, член петушком торчит из-под. Подъезжает скорая, а у пожарных дел полно — карты, шашки, домино. Данька смотрит вверх; крыша проваливается, с искрой. Загребая ботинками снег, бежит к «уазу». Машина стоит прямо, левое крыло чуть подмято. — Сюда! — кричит Данька и машет рукой врачам. Дергает дверцу; она не закрыта. Лева полулежит на сиденье и курит.

— Разобрались? — интересуется он. — Стекло мне сам вставлять будешь или друзей позовешь?

— Левушка...

Чингис хихикает, — о Боже. В проеме открытой двери садится прямо на пол. Пострадавшие? — спрашивает медсестричка. Лева отсылает.

— Вернись в себя, — советует Лева. — Сюда этот идет... погорелец.

Чингис поднимает голову.

— Данила, я твой должник. Куртку давай, холодно.

Петрович мимо Даньки залезает в машину. Чингис послушно стягивает с плеч куртку. — Как вы здесь нарисовались вообще? Толстый, белесый, голый и очень жалкий. Сигарету давай. Все ему давай.

— В рестик ехали. — Лева прикуривает капитану, отворачивается в окно и плюет на снег. — Командир на свиданку торопился. А тут — пожар. Подъехали с сиреной; как раз черный джип отваливал.

— Это брат его; Медведев. Мы парились. А они напали. Бандитское нападение. Баню подожгли и закрыли. Я, Дань,

тебе не совсем верил: думал, по пьяни сцепился, а ствол самостоятельно потерял. Но теперь... не-ет, этот сучонок Медведев теперь не отмажется. Куда эти поехали, видел? Дань, а ты?

Пожарные протащили шланг и залили все пеной; у них, оказывается, машина метрах в ста по берегу застряла. Капитан в Данькиной куртке: на пузе не сходится. Носится по пепелищу. Вскоре джип Петровича отваливает. Приезжает наряд. Джип тормозит на выезде, и капитан что-то орет ментам из полуоткрытого окна. Лева заводится.

— Дверь прикрой.

— ?

— Хочешь отвечать на вопросы?

Чингис неопределенно мычит. Они пристраиваются за джипом. До дороги доберемся, там аварийку... Здесь на галстук все равно не проехать.

Стекло плавно ссыпается с капота; в машину задувает снегом. Джип капитана выезжает вперед них на проспект и, моментально добрав скорость, уносится в сторону города. Лева рулит на обочину и останавливается.

— Тебе на метро отсюда.

Лейтенант засобирался; рассовал по карманам сигареты, зажигалку. Пистолет только некуда деть. На, — говорит Лева, — заверни в тряпочку.

— Слушай, а почему ты номера не перебил просто?

— В смысле?

— Достать другой ствол и номера перебить.

— А где ты раньше был со своими советами?

— Только сейчас подумалось.

Да что ты; Данька привстает на сиденье. Во, — говорит Лева. Вот и дырочка. Трогает пальцем: в спинке пассажирского сидения ровное пулевое гнездышко. А я все прикидывал, куда он засандалил, — задумчиво говорит шофер, ощупывая подпорченную обивку. Замечательные у тебя

кореша, — усмехается Лев Николаевич. Как-то ты, Дань, подозрительно всем симпатичен. Мимо потянулись машины: рестик открыли, публика разъезжается. Данька был бы среди них, но это раньше, а сейчас — другое время года, и он торчит на траченом бандитской пулей сиденье милицейского «козла». Сияние над городом потухло, но мороз прибывает. У Чингиса зуб на зуб не попадает, он медлит. В машине относительно теплее от работающего мотора, но на приборной доске лежит снег. Когда действуешь, дергаться и переживать некогда; когда думаешь, то — со стороны. Грязное, корячащееся, скребущее земную поверхность тельце — уже как бы не совсем ты. Но сейчас его властно вбрасывает обратно; руки и ноги гудят от холода, а живот крутит крепким страхом; это чувство не умеет говорить, только мычит в горле и сводит челюсть. У Чингиса аж затылок вспотел; он оглядывается на Леву бешеными звериными глазами и понимает, что не возьмет трубку на утренний Борькин звонок. А его все тащит и тащит; глубже и глубже, на самое дно персонального ада. Там уже извивается что-то живое и страшное: чужие невезучие люди вроде Казбека, Славки Медведева и прочая и проч.

— Что ты так на меня смотришь? — усмехается Лева.

— Как? — губами пошевелил.

— Будто тапочки забыл на подоконнике.

Теперь на меня не рассчитывай, я пару дней чиниться буду, — предупреждает Лева. А потом? Потом видно будет. Слишком много с тобой приключений. Лев Николаевич обращивается: Дань, там такси. Выскакивает и машет. До метро без куртки удовольствие сомнительное.

Чингис подсаживается в рядную белую «Волгу». На заднем сиденье — подружки в полосатых неаполитанских шляпках, коленки в тонких колготках вздернуты, торчат у носа. Парень в форме лезет в машину, паром дышит, красивый. Девчонки смеются. Замерзли, товарищ милицио-

нер? Я не милиционер, — простуженно. Милиционер — там. Лева машет рукой и забирается обратно в «уазик». А, это внутренние войска. Спецназ какой-нибудь. А пистолет у вас есть? Да вот он, в тряпочке. Шеф, у метро какого-нибудь остановишь по дороге. А в клуб с нами не хотите? Девчонки хихикают, заливаются. Подначивают. В «Пять звезд», что ли? Да-а... А вы откуда знаете? Ой, йо! Барышни, это же не клуб — это метафора клуба. Все, кто в этом городе хочет собраться в клуб, рано или поздно туда попадают. Шеф, передумали. Останавливайся сразу у «Звезд».

— Вы что, серьезно? — удивляется одна, огненно-рыженькая и с личиком, нарисованным под манга-анимашку. Чингис смотрит на нее, потом на вторую. Замечает, что похожи.

— Сестры, что ли?

— Не-ет... — кокетливо говорит вторая. — У нас стилист один.

— О Боже.

— Вас не пустят туда, — извиняющимся тоном говорит рыжая. — Там дресс-код и фэйс-контроль.

— Давай поспорим. — Данька жмет плечами и смотрит в окно. Флирт как-то слишком быстро начинает его утомлять.

— На что?

— На твою шляпку. Ты ничего не потеряешь — если проиграешь, то хоть чем-то будешь от подружки отличаться.

— Я отличаюсь! — обиженно говорит девица.

— Ага...

Улицы пустынные; кажется, в этом городе совсем никого, кроме таких вот людей-декораций — фанерные и передвигаются по легко узнаваемым траекториям. Потемкинская страна, которая схлопывается, как фигурка из папье-маше, стоит наступить в ее степь копытом. Манга-девушка приоткрывает окно, чтобы выбросить сигаретку — сквозняк воет в неприспособленных к жизни динамических трубах улиц. А вот и дворец светлейшего; такси едет мимо Таврического

сада, в небе над темными деревьями сияет злое зимнее созвездие Орион. Небесный охотник никуда не бежит, но размеренно следует, передвигая три четкие равноудаленные звезды по следу зверя. Даньке вспоминаются отец, Яна, прочие отметины короткой и до поры удивительно внятной жизни. Только мама почему-то не вспоминается, может, потому что она — Америка, которая далеко. Они едут по Фурштадтской, которая Петра Лаврова, где роддом, откуда Даньку забирал отец в ладной морской форме. Ему не раз замечалось, что жизнь происходит в кочевьях от места к месту: ты попадаешь в плен к улице, району, городу; место вертит тебя и дурманит какое-то время, потом отпускает, но очень быстро ты попадаешь в новое поле и снова из раза в раз оказываешься на Фурштадтской, Васильевском или в Сокольниках. Даже если не хочешь — тянет, как магнитом, сложатся скорости тайных устремлений — и вот ты снова тут. Сначала тебе интересно, потом занимательно, потом не очень, потом все входит в колею, у кого-то растет счет в банке, у любимой девушки накапливается полдесятка адвокатов в мобильном телефоне. У всех что-то меняется, только у тебя — пустые руки, обременительные привязанности и день ото дня нарастает критическая масса недовольства, скуки и неверия в божий мир, где люди устроены как мельтешащие муравьишки, вроде бы занятые собственными делами, но на самом деледвигающиеся по одной, раз заведенной программе, и при простейшей операции упрощения алгебраического высказывания сводящиеся к внятной единице.

— Мы приехали, — говорит девочка-мультик.

Они выходят. Сообща платят таксисту, идут мимо елочек: ничего себе... До сих пор стоят. Два месяца прошло — напоминает себе Чингис. Всего-то. Дверь излучает свет — матовый, зеленоватый.

— У нас приглашения! — говорят девушки охраннику. Чингис прячется позади.

— У всех? — охранник окидывает взглядом странную компанию. — Это не приглашение, это флаер, — поясняет он. — Извините.

И встает в дверях. Данька смотрит на телочек не без удовольствия. Очень уж они обескуражены.

— Позовите Грищенка, — говорит он охраннику.

— Макса? — охранник недоуменно переспрашивает. — Вы уверены?

Макс взмывает пухлыми ладонями, в пальцах вертится треугольный бокал мартини. Он оборачивается куда-то внутрь и говорит сразу с кем-то и еще — с мобильным телефоном, прижимая его плечом к уху. Испуганно смотрит на Даньку. Кивает охраннику.

— Эти с тобой?

— Ну... — Чингис смотрит на подружек. — Да, со мной.

— Костян, пропусти. А это что у тебя? — Грищенко с ужасом смотрит на обмотанный тряпкой пистолет.

— Бомба, — успокаивает его Данька.

— А, ну тогда... Я думал, ты опять с пушкой. Ковбой Мальборо. Ой, а форма у вас ничего... Штанцы отличные. С этим свитерком особенно, — Грищенка кокетливо оттягивает на Даньке высокий ворот. — Ты все еще по девочкам?

— Обмякни. Мне поговорить с тобой... Уделишь минутку?

— Через час, не раньше. Сейчас самый поток.

Макс переключается на другую линию и снова горячо что-то объясняет в телефон. Девочки из такси мнутя рядом. Чингис манит рукой гардеробщика. Это — в камеру хранения. И отдает ему пистолет. В тряпочке.

На танцполе — сплошь девицы. Играет полудохлый хаус, известный диджей наблюдает, как охранники спроваживают от вертушек обдолбанных блондинок. Данька делает шаг назад и попадает в пухлый диван. Над ним склоняется Смирнова. Стоит, прямая и смешная в нелепом неоновом свете.

Лучится детской самоуверенностью. Чингис привстает с дивана. Алька для него сюрприз.

— Что ты делаешь здесь? — прямо спрашивает Каркуша. Сдвигает строгие учительские брови.

— Мне Лариска сочинила заказ. Занавески.

— Занавески?! — переспрашивает Каркуша и начинает хохотать. Алька смотрит в его резкое, обветренное лицо и совершенно не понимает, чего тут веселого.

— Ничего, — качает головой Данька. — Велкам ту машин. Прогуляйся в бар, а?

Достаёт деньги.

— Возьми мне вискаря. И себе чего-нибудь. Сок.

— Я хочу шампанского.

— Возьми шампанского, — покорно соглашается Каркуша. Добавляет денег. Кажется, это последнее. Алька уходит. Чингис провожает ее взглядом: на Смирновой короткое легкое платьице, которое выглядит на ней, как комбинация; бельевого стиль. Из-под платья торчат бриджи и туфельки на завязочках вокруг щиколоток. Данька подмечает, что, несмотря на рост и сорок второй размер обуви, у Смирновой невозможно изящные щиколотки — летящие, хрупкие, переламывающиеся под игрой светотени. Как она на них ходит? — недоумевает Данька, а Смирнова уже торопится назад — с официантом. Прижимает к бедру сумочку и щебечет о чем-то с этим парнем в фирменной арабской хламиде. Бесплезно, девочка, — думает Данька. Они все здесь гламурные пидары, что вовсе не означает ориентацию, но — состояние души.

— От вас дымом пахнет, — говорит Смирнова, присаживаясь рядом.

— Да, я уже зажег.

— Когда? Вы ж пришли только что.

Подлетает Макс Грищенко.

— Я весь твой, — декларирует.

— Пойду Лариску поищу, — Смирнова ждет, чтобы ее остановили. Не дождавшись, удаляется, расплескивая шампанское. А девочка пьяна, — думает Чингис.

— Я тебя слушаю, — мягко напоминает Грищенка. Данька следит за Алькой; она пробирается сквозь танцующих осторожно, колеблясь, будто меня очертания. Красивая выросла, — с удовольствием думает он. И ни фига не смешная; девчонка.

— Твоя знакомая? — спрашивает Макс. Данька переводит на него тяжелый темный взгляд. — А что? — Ничего... Милая, молоденькая. Одобряю.

— Ты помнишь, я до Нового года заходил? Сможешь это ментам подтвердить, если что? Про пушку, понятно, говорить не обязательно. У вас же с пушками не пускают обычно? — усмехается Чингис.

— Да, конечно... Я тогда перетрухнул просто, испугался — мало ли ты теперь крутой. Но под протокол говорить не буду. Мне это, сам понимаешь, лишний опыт. Не, Дань.

— Ты можешь просто сказать, что я заходил? По гражданке заходил? Весь красивый и пистолета со мной не было?

— Ну... обсудим. Слышь, а что мы здесь торчим? Тут же только пидовки да бляди. Пошли к нам наверх.

— Хорошо. — Данька привстает и машет рукой Алевтине. Та стоит посреди танцпола, вокруг пляшет очевидно гейская компания. Красивый плечистый парень одалживает у Альки шампанское и пьет его, как минералку. Данька узнает Толяна. Данечка!! — Толян с воплем вешается ему на плечи; смеется, как плачет. Как нам тебя не хватало. Ох уж эти случайные нежности, — Чингис резко отцепляет его от себя. Еще полгода не зашел бы, ты бы и не вспомнил. Чингис озирает зал; все четко, как в клипе Chemical Brothers со скелетами; или как на операционном столе. Фигурки изгибаются в адском огне танцпола, все ищут, судорожно ищут счастья и радости. Даньке приходит в голову единственное слово:

глагол «алкать». Он стоит посреди старого города, в клубе «Пять звезд», на нижнем танцполе. Земля дергается у него под ногами; плывет и снова дергается, будто сбиваясь с ходу.

— Алевтина, а ты знаешь, что скоро Земля начнет вращаться обратно? — спрашивает Грищенко, раскуривая сигару. Они снова сверху; через террасу смотрят на колышущийся внизу танцпол. Толян скидывает футболку и танцует голым по пояс, и воздевает крепкие руки к ночному солнцу.

— Это зафиксировано в древних хрониках, — подтверждает Даниил Андреевич. — Пять тысяч лет назад планета уже меняла направление; но сначала она остановилась, и на одной стороне Земли была вечная ночь, а на другой — вечный день.

— А посередине — вечное утро, — мечтательно говорит Алька. — Мне надо найти друзей, — вспоминает.

— Успокойся, они свинтили небось давно. Здесь планы у всех меняются каждые полчаса, — объясняет ей Грищенко.

С потолка начинает валить пенопластовый снег. В клубе отличный кондиционер, Альке холодно. Они сидят в местной вип-кладовке, Смирнова — поджав коленки в цветных колготках. Максик приобнимает Альку и поджигает абсент. За место на его коленях соперничают юноша и девушка — худенький, плечистый, в брючках с подтяжками; высокая, с выпирающими ключицами и широкой лошадиной улыбкой. Блондинки, оба. Чингис равнодушно наблюдает сцену из-под упавших на лоб волос. Альке смешно и жалко, какой он маленький и насупленный. Ворону неуютно под ее взглядом, он встает и перемещается к окну. За окном — густая малиновая темень; небо затянуло.

— Дань... помнишь, ты мне толкал про горизонтальную историю?

— Да, — меланхолично отзывается Ворон. Сейчас ему уже кажется, что история не бывает ни горизонтальной, ни вертикальной: она дискретна и всепроникающа, как радиация. Смертельна, как лучевая болезнь. Все они на этой благосло-

венной территории облучены до белокровия; до стагнации воли. — А! Вот, ты говорил как-то, обкурившись, правда, первосортного гашиша... — Макс хихикает, — что оправдание твоему бесцельному времяпрепровождению с гламурными поблядушками вроде меня — только в том, что можно понимать его, время... прохождение — как полевые исследования в области горизонтальной истории.

— Мало ли что я нес по обкурке, — устало замечает Ворон.

— Ты еще нес, что настоящая журналистика — это горизонтальная история. Макс с удовольствием хихикает.

— Так и есть. Только эта живая летопись настолько цензурирована множеством мелких интересов, что разобраться в ней сложнее, чем в самой герметичной теологии. Для строителей Нотр-Дам-де-Пари заказчиком был суверен земной плюс суверен небесный, а для нас — разноголосое болото. Только успевай кидаться; на голос или блуждающие огни.

Макс отлипает от Чингиса, который так и торчит у окна шахматной статуэткой, лезет в карман и говорит:

— Перебрал я что-то. Надо прийти в норму.

Из кармана сыплются деньги, потом появляется порошок. Макс рассыпает порошок на поднос, нагибает Альку над столиком:

— Сейчас, дэвочка, я буду тебя учить, — говорит он, коверкая кавказский акцент. Алька высвобождается из-под его руки и испуганно смотрит на Даньку. Тот молча, не отходя от окна, протягивает ей раскрытую ладонь. Алька взлетает с дивана и оказывается рядом с Чингисом.

— Пойдем? — спрашивает Даниил Андреевич. — Замерзла? Пальцы холодные.

Окно затянуто бисерной моросью: снег тает на подогретой поверхности. Хочется выйти на воздух; это прямо-таки необходимо. Как бы то ни было, человек всегда остается ребенком; это из главных его от животного отличий. Чингис

смотрит на ломкую, дрожащую в интимном свете вип-кладовки Алевтину, и чувствует, что она для него — как вредный реагент-провокатор — зажигает мир своей юностью и в то же время — напоминает ему о собственной. Между собой и этой девочкой, или между собой и Мишкой Чингис впервые не чувствует принципиальной разницы, но отсюда полшага до вопроса — почему я, а не он; и лучше, да, не думать.

Слившись от Грищенка, ползающего по инкрустированному столику в поисках последнего грамма волшебного порошка, которым феи посыпают и посыпают крылышки — чтобы летать, Чингис и Алька скользят по прозрачной, призрачной лесенке: мимо блондинок, и блондинок, и Толяна, растанцовывающего последний драйв, мимо престарелых тусовщиков, экономящих на такси и с рассветом уволокивающих тельца в свои кротовые норы упакованными — в Дольче, и Габбана, и Донну, и Каран, и во все прочие магические атрибуты одинокой и неприбранной жизни.

Они выходят в погасшем мире без фонарей и сотовой связи, ветер бьет в лицо хвостом метели, у Альки щеки как в слезах. Время от времени Смирнова норовит поскользнуться на каблуках — Данька угадывает эти моменты и придерживает ее за рукав. Над ними гудит низкий самолет. Чингис поднимает голову, закуривает, закашливается, несимпатично сплевывает в снег. Простудились? Чингис не удостоивает ее ответом. Вам надо было в Америку уехать. Ну-ну. Тебя не спросили. Вот Розенберг уехал, и... И? Даниил Андреевич насмешливо вскидывает глаза. Ты про Розенберга начала — уже сам подталкивает к разговору. Да не знаю я про него ничего, — соглашается Алька. Но вы в форме, Миша в тюрьме, а Розенберг в Америке. Как вам такое? Дурища, — ласково говорит Данька. Все правильно говоришь, а дурища все равно. Старые фасады, парадные. Угол Литейного. Куда мы идем? Внезапно останавливается Даниил Андреевич. Смотрит ей на ноги; щиколотки, забавные.

— Господи... Да ты в туфлях!

Алька хлопает глазами. Он тоже стоит без куртки. Их обдувает ледяными волнами ветер. Они смеются хором, и Алька объясняет:

— Мы собирались так быстро... спешили. Я не успела переодеться.

Чингис смотрит на эту Альку, которая так повелась, что забыла переодеться. Точно, мешок на локте болгается; словно в школу — со сменной обувью.

— Так. Держись. — Данька подставляет локоть и забирает у нее пакет. — Переодевай. Быстро.

Алька смущенно достает из мешка сапог, распутывает завязочки, скидывает в снег туфлю. Балансирует на одной ноге. Вдевает ногу в голенище: легкую, узкую, с высоким подъемом. Так и хочется взять ее и задержать в ладони. Жужжит молния. Второй. Данька отпускает ее руку, опускается на корточки и подбирает туфли в пакет.

— Сумасшедшая, — бормочет он. — Совсем без башки. У тебя хоть сто рублей есть? Надо мотор поймать, а я пуст почти. Я верну... завтра.

— Холод собачий, — пожаловался Петрович, когда шли через двор Управления. Пропустили машину. Железные шторы захлопнулись с морозным треском. Чингис кивнул, дыша тихо и медленно.

Они поднялись в кабинет. Петрович курил и шуршал бумаги.

Борис, как и обещал, позвонил Даньке утром, и теперь ждет его за углом через полтора часа. Так договорились.

— Дань, а чем ты до призыва-то занимался? — давя бычок, капитан озадаченно тер толстую переносицу.

Чингис жмется. Легкое, четкое лицо — смуглый, желтый почти. Как китаец. Глаза темные, но мутные сейчас, вернее — не мутные, а матовые. Отражают небо за полчаса до рассвета.

— Жил. Как люди.

— Да? — удивился Петрович, — а вот тут написано, что детей учил.

Данька пожал плечами.

— Так что за дело-то у тебя? — спросил наконец капитан.

— Вот, — сказал лейтенант Данька.

Брякнул на стол пистолет. Обычный табельный ПМ.

— Вот, товарищ капитан. Ствол здесь, и совесть заела. Я его дома в шифоньер запрятал; потом забыл и подумал, что потерял. У меня свидетели есть, — Данькин баритон сходит на жалкое нет, на что-то хрипловатое и вынужденное.

Александр Петрович долго смотрит на лейтенанта.

— Ну ни фига себе, — хмыкает. — Удивил, Данила. По-радовал. Не ожидал, — он кряхтит, будто собака поперхнулась. — Повар пеночку слизал и на котика сказал?

— Да, решил отмазаться. А теперь совесть заела.

— А она имется у тебя? А, Данила? Брата-бандоса напугался, а?

Капитан перегнулся через стол. Подмигнул.

— А ты не бойся. Поздно потому что бояться. У нас теперь — вендетта, кровная месть. А? Слышал про такое?

Освещенный кабинет висел в утренней морозной темноте тающим кубом фруктового сахара. Секретарь принес личное дело. На стол. Кивнул Петрович. Как муха в густом янтаре, ползал по столу пузатый капитан. Под его ногтями скрипели хрупкие бумажные листочки чингисовой жизни, книжка у него, ишь, за границей! — хихикал Петрович.

— Не книжка, статья. В сборнике, университет Тулузы номер... номер не помню.

— Ты, Дань, небось и по-французски справляешься?

Молчит.

— А ты знаешь, что тебе за ложную тревогу полагается?

— Приблизительно...

— От двух до четырех. Военных в тюрюге зовут автоматчиками. Популярны не хуже бывших ментов. Кто характер показывает, сажают в общую камеру. А ты покажешь. Усек? Ладно, иди. — На стол легла маленькая бесцветная бумажка, комариными перепоночками светились прозрачные графы. Данька смотрит в светящееся окно; во рту сухо. — Иди, — говорит капитан. Подгалкивает глазами. Обветренные губы разъезжаются. — А? Не хочешь? Понимаю. Ладно, стой у меня... когти рвать.

Чингис опускается обратно, чуть не скрипя коленками. Ему кажется, что все происходит очень медленно; медленно-медленно капитан подвигает к нему документ, смотрит хитрыми глазками исподлобья. Он смотрит на свою руку; тянется через стол забрать бумажку; на тыльной стороне мерцают испуганные вѣнки. Ладонь будто чужая; он себя как-то совсем с ней не ассоциирует — смотрит и повторяет: это я, я, я, но смысл местоимения «я» потерян, в глазах мутно и плывет; вне фокуса.

— Вот, бери, — капитан подбрасывает бумажку. — Заполнишь — ко мне. Будем с тобой до конца разбираться. Сучонка я записал завтра на девять ноль-ноль; на следственные мероприятия. Его надо грохнуть; достало меня это святое семейство. Сделаем на свалке у порта «Петролес», а потом запишем его в розыск, и потеряется парнишка до окончания века. Мало ли что в жизни бывает, да? На Кавказ наемником убег или через границу в ценнометаллическом трейлере. А там урановую руду перевозили из-под полы, он облучился, стал идиотом, забыл папу, маму, домашний адрес. И как зовут его, тоже запомнил. Да, и детишек у него теперь тоже не будет; у выроodka блядского, а все наши, Данила, проблемы — рассеются. Как дым. Я твой должник и поэтому помогаю. Иначе — под статью пойдешь. Это, — двигает пистолет через стол, — спрячь и считай, что я тебе подарил. Ствол и лишние три года молодой жизни.

Петрович грузно осел в кресле, вытянул носы ботинок так, что они торчали с чингисовой стороны стола. Чужой кабинет — снова пожаловался он. Мебель маленькая, неудобная. Окно слишком большое. Ну, давай, шкандыбай.

Данька взял незаполненную справку в звенящий зеленоватым светом коридор. Голова кругом; часы в конце тоннеля показывают девять утра. Запахнув шинель, он спустился по темной лестнице через черный ход. Мороз сорок, Левы нет — как не было. Лицо постепенно стягивалось холодной бледностью. Он прикурил от зажигалки, рассмотрел буквы на документе. Квитанция. На отрывном корешке, кроме цифр и названий организаций, было выведено крупной вязью: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ.

Чингис шел по набережной. Призрачный утренний ветер приподнимал полы шинели. На другом конце города Альке с ночи не заснуть; она сидит с коленками на своем подростковом диванчике; на таком же напротив посапывает теплая сестренка. У Альки на коленях лежит фанерка, на фанерке — криво обрезанный плотный лист. Алька водит карандашом над бумагой и никак не решается прикоснуться. Если бесконечно наводить воздушные линии, то рано или поздно на листе начинают проступать лица. Алька гладит карандашом бумагу, как морок наводит: Артур и Миша, Лариска и я. И Каркуша — куда же без него. Персонажи располагаются произвольно, но если представить карандашные контуры налитыми цветом, то получится рисунок на сюжет *hortus conclusus* — «сад запертый». Где полянка за высокой стеной; на непременно зеленом фоне — Мария с Христом и св. Егорий с маленьким побежденным дракончиком. Алька вспоминает, откуда знает Бликсу Баргельда — пересказывая им этот сюжет на средневековом семинаре, Д. А. ставил песню — «The Garden» или как-то так. Минималистский ритм — как метроном, как перед взрывом отсчитывает вре-

менные отрезки. Падают гулкими тупыми ударами — как яблоки о землю. You will find me if you want me in the Garden... unless it's pouring down with rain¹. Д. А. ходит по классу, ступает тихо, чтобы не заглушать шероховатый голос с немецким акцентом. Альке хорошо и страшно. Нервы — даже не как ниточки, а как натянутые, свистящие провода. Юношеская память крепка и восприимчива; Алька водит карандашом, и фоном всплывают слова: You will find me waiting for spring and summer; you will find me waiting for the Fall... You will find me waiting for the apples to ripen; you will find me waiting for them to fall. You will find me by the banks of all four rivers; you will find me at the spring of consciousness; you will find me if you want me in the Garden².

Нарисованные фигурки рассыпаются, связанные только ветром невесомых линий, Алька скользит от одного к другой, к другому, и все пытается объединить их в одну историю, но Миша в тюрьме, Розенберг в Америке, Лажевский в неизвестном направлении, а Чингиса в переулке ждет машина.

Данька докуривал на углу. По левую руку растекалась набережная; безлюдное морозное утро. Прикрыв глаза, думал. Минуты две думать оставалось: дольше Борька ждать не будет. Он выбросил и притоптал сигарету; поежился острыми плечами. В полутемном проеме светлый «жигуленок». За рулем сидел Борис.

— Здорово, — Борька распахнул дверь.

Чингис сел в машину, Борька крутанул ключ зажигания.

— Какие новости?

— Пацанов своих собирай.

¹ Если захочешь, ты найдешь меня в саду... если не пойдет дождь (англ.).

² Ты найдешь меня в ожидании весны, затем лета, я буду ждать листопада. Ты найдешь меня в ожидании яблок, которые спеют, яблок, когда они упадут. Ты найдешь меня на берегах каждой из четырех Рек, найдешь меня в зените весны. Ты сможешь найти меня, если захочешь, в Запертом Саду. (Авт. перевод композиции «The Garden», группы Einsturzende Neubauten.)

— Что? — насторожился Борис.

— Мишку грохнут завтра. На свалке.

Борис притормозил.

— Что ты? Езжай. Поджигатель.

Машина вильнула к поребрику. Борька отпустил баранку и с хрипом придавил Чингиса локтем к спинке сиденья. Ах ты, — с тоской сказал он. Знал бы — не то что этих бы не открыл, но и тебя затолкал сверху. Чингис даже не двинулся; сидел, спрятав руки в карманах и смотрел утопшим каким-то взглядом; непробиваемым. Езжай, — повторил он, и Борис отстранился, обмяк вокруг баранки. Езжай, — сказал Данька, а потом со стороны услышал: дело очень подсудное, многих капитан на это никак не подпишет. И место глухое. Вы справитесь, я думаю.

Блеклое утро сквозняком просачивалось в комнату. Алька отложила фанерку, встала, прогулялась. Ее лихорадило. Даниила Андреевича она про себя не называла ни по имени-отчеству, ни Каркушей. Ей ужасно нравилась его говорящая фамилия, и она катала ее под языком, как голый камешек с побережья — такая для нее была в этом имени фактура, а вкус — чуть солоноватый. Ворррон, — сказала она шепотом и сама себе улыбнулась. Ей хотелось растолкать Вероничку и все ей рассказать: как она с Мишкой, и какое было отчаяние, но вчера столкнулась с Вороном в «Звездах». Вместо этого она подошла на цыпочках, осторожно погладила сестру по волосам, достала из папки чистый листок и принялась рисовать: лето, солнце и физиономию, которую не то что рисовать, а поглядеть на нее — и то останавливается сердце.

Вылетели на Сенатскую: метель ледяным наждаком скоблила асфальт. Царский памятник очерчен, будто белым восковым мелком — и светится в утренних сумерках. На крупе коня, на плечах всадника покоится зимняя крупа. Борька пришел в себя, остервенело крутит баранку и лихорадочно соображает:

— Две машины, да? С ментами и тюремная. Обычно так происходит, — у Борьки губы, как подушки. Мягкие и слегка вывернутые — прямо кукленок. Он отрывает руку от баранки и колышет рукавом кончик легкого, пористого носа. — Тебе куда сейчас?

— Довези меня до Троицкого собора. Завтра назначено на девять ноль-ноль; но вам следует пораньше там оказаться. Карту посмотри; мне кажется, на свалку только один въезд.

— Кто-нибудь их еще и от сизо поведет; а на свалке ментовскую тачку ебнем из граника. А? Как тебе?

— Не от сизо. Его на днях в наш изолятор перевели.

— Так, да? — Борька осекается, молчит. — А ты откуда знаешь? Уверен?

— Да, уверен, — покосился на Бориса.

Борька сосредоточенно смотрит на дорогу, но на перекрестке еле успевает вывернуть из-под грузовика. Чингис машинально цепляется за бардачок.

— У тебя с бабами как вообще? — Борис.

Данька медленно поворачивает к нему скуластое лицо. Веки у него красные от недосыпа, и левый глаз слегка прищурен, будто прицеливается.

— А что? Проблемы какие-то? — еле шевеля губами, беспокоится Чингис. Кажется, Борис шутит. Есть такая вероятность. Лейтенант пытается поддержать, на потухшем лице появляется мимика — по крайней мере, он приподнимает брови, — хочешь поговорить об этом?

— Да не, я думал, ты хочешь. Должно же тебе, — короткий смешок, — не везти хоть в чем-то.

Данька отвернулся к окну.

— Дальше что?

— Дальше? — Борис встряхивается, припоминая. — Что будет дальше... — отворачивается на дорогу. — А дальше, товарищ дэдмэн, будет полный ахтунг. Навряд ли у них тачка

бронированная. Так что, если с первого раза ляжет удачно, даже обоссаться не успеют. Ух-ха-ха! — закашливается.

Они едут по Измайловскому. Останавливаются у собора. Мимо несутся машины; Борька пригибается, целует лбом баранку и тихо ноет.

— Господи, Данила... Что же это делается? Я, знаешь, с Мишкой все уроки готовил. Сам учебники читал и смотрел канал «Discovery» по кабельному. И старую «Химию и жизнь» в библиотеке брал. Думал — если у меня не сложилось, это же не повод братишке жизнь калечить. Когда он на кружок к тебе записался, заказал «Жизнеописания трубадуров» через интернет — знаешь, такая книжка толстенная. Со стрелки вернусь, все в кабаке, а я домой. И на ночь читаю: сирвенты, канцоны... Разо первое, разо второе. Думал — во, какой брательник у меня умный будет. Мечтал — денег подзаработаю, и на третьем курсе у меня Славка на стажировку за границу поедет...

У Чингиса слушать это нет сил; он толкает дверь. Подожди, — просит Борька. Я с тобой зайду.

В притворе темно. Борис покупает свечки.

— Иеронима Васильевича где я могу найти? — у киоска с церковно-прикладными товарами. Ладный темноволосый парень в шинели и кепке с лаковым козырьком, в очках на гордом правильном носе, с раскосыми и жадными глазами убежденного язычника.

— В храме, — неласково и односложно отвечает сорокалетняя девица. Вертит в пальцах Борькину пятисотку. Сдачи не надо, — машет Борис.

Вдвоем потерянно бродят под нежносводчатым куполом. Борька слоняется от иконы к иконе; Чингис закидывает голову и смотрит на золотое негреющее солнце в зените. Каблуки остро цокают, дерзко клацают шпоры; лепечет эхо, разбегаются старушки. Даньке кажется, что он сейчас полетит,

а Борису — что сейчас заплачет. Из алтаря выходит длинный священник.

— Иероним Васильевич, — мягко говорят навстречу. Голос гулко отдает под сводом.

С негромким душевным трепетом отец Иероним узнает своего новогоднего спасителя.

— Мне кажется, это к вам... — достает серую полупрозрачную квитанцию.

Иероним Васильевич внимательно смотрит на лейтенанта.

— Пройдемте.

Борис нашел наконец своего Михаила Архангела; стоит и раскачивается перед иконой. У Архангела безмятежно-грозное лицо; воин блеска, чуждый страху и горестям. У такого и не попросишь ничего вовсе. Борис уходит, катает в пальцах свечечку и останавливается перед темным ликом распятого. Это за упокой, — шепчут ему из-за плеча. Борька вздрагивает.

В канцелярском закутке отче послуныявил пересохшую печать, руку приложил, оторвал от документа квиток и отдал лейтенанту. Корочку оставил себе. Посетитель внимательно изучал квитанцию, медлил. Желаете исповедаться... по-настоящему? — не веря в сказанное, уточнил отец Иероним. Чингис покачал головой.

— Я некрещеный, — с грубой искренностью.

Священник деликатно молчал. В закутке пахло свежей побелкой и воском. Сам факт казался странным — некрещеному лейтенанту запрещено было быть по уставу.

— И крестика нательного, наверное, нет, — задумчивый Иероним машинально выдвинул ящик стола и теперь силился задвинуть его обратно.

— Нет, — покачал головой лейтенант.

— Так возьмите. Там раздеваться придется. Будет глупость — отпущение есть, а креста нет.

И выложил на стол из ящика — дешевый крестик на веревочке. Чингис вскинул голову: так удивленный умными глазами, что собственный поступок показался Иерониму Васильевичу таким же странным, как если бы он вздумал предлагать нательный крест — лошади.

За спиной ледяное солнце на куполах отделанной с иголочки церкви; Борька уехал. Люди вообще последнее время повадились исчезать, не прощаясь. Будто на другой уровень проваливаются. Широкое полотнище проспекта по белому изгажено шинами; посреди тянутся рельсы, а за ними — трамвай. Выворачивает по пути, а другой — навстречу. Сходятся напротив: как ладони из рукавов перекрещиваются, встречаются.

Данька грохочет в вагоне через замерзший город. Мир состоит из острых углов. Тело даже под одеждой холодное; Чингис стягивает перчатки и дышит на пальцы. Он хочет поговорить с самим собой на милом получужом языке, но в голову приходят только ломаные фразы из устной темы: *Je m'appelle Daniel... Je suis l'étudiant de l'Université...*¹

Трамвай приземлился на перерытой площади; по улочкам и с набережной он вышел в первый парадный этаж Управления. На стенах пылились вожди и рескрипты. Вождей не снимали — пускай повисят; рескрипты регулярно. На стенах уже мало места. Последние новости — приказ. Начальника Первого Отдельного Полка Гвардии Дружины и бла-бла-бла поощрениях и наказаниях лейтенанта Ворона за. Неосторожное обращение с оружием приведшее и повлекшее. Сечь перед строем. Лейтенант молча хрустнул кожаными перчатками в правой руке, и в кабинет Александра Петровича.

— Н-ну! — встретили иеронимову квитанцию на свободу. С чистой совестью, урок и утешение. Видишь, обо-

¹ Меня зовут Даниэль... Я студент университета... (*фр.*)

шлись без трибунала. Цени мою доброту. Завтра очищаем следственный изолятор, и совсем хорошо. А сейчас к тебе в Стрельну поедем — расслабься и не бери в голову, а я туда уже позвонил.

Чингис мерно поеживался под капитанской ладонью, и они прошли по коридору и спустились в личный джип Петровича, стоявший под парами. Солнце хрустело о капот морозным светом. Хлопнула дверь, запотели очки, Петрович предложил водки. Данька покачал головой, снял очки и спрятал в карман шинели.

Они ехали мимо заледеневших рек в полузастроенные новые районы; кварталы торчали по берегам шоссе, как поселения древних славян вдоль рек. Все остальное было отдано обширным снежным пространствам; день солнечный, ветреный. Поэтому — еще и ветру.

Район, куда Данька ходил в школу, назывался Аэродром. Ограниченный железнодорожной линией — с одной стороны; заросшим Английским парком — с другой. В войну рядом проходила линия обороны; в городе стояли немцы, а через километр к юго-западу начинался Ораниенбаумский пятачок. На бывшей немецкой стороне были дома, часть парка с развалинами дворца; на нашей, за обвалившейся и дырявой, как сыр, стеной — тоже парк, новостройки и дурдом. Бульвар Разведчика, на котором жил Ворон, до войны назывался улицей Сумасшедших. В конце войны там был аэродром, а после начали строить дома для младшего комсомола. По бокам прижатое хрущевской застройкой, лежало поле; пустырь. На поле росли мелкие послевоенные деревья, железная горка и несколько детских каруселей. Пионерские дружины двух окрестных школ соперничали за право носить имя когда-то стоявшего здесь истребительного батальона. Все произошло той осенью, когда их должны были принимать в пионеры. Был самый конец восьмидесятых, и честь

эта уже потихоньку ставилась под сомнение, но сам факт некоей инициации волновал. Данька возвращался домой мимо того самого Аэродрома и увидел издали: отличник Витька Ливонин болтается на качели и ждет бабушку. Бабушка всегда приходила за Витькой на детскую площадку, потому что встречать ее у школы он стеснялся. Вокруг горки носились другие пацаны, правильные. Бежали друг за другом и плевались — это была игра такая, засалить плевком. Витька нервничал. Наконец он встал с качели и пошел по аллею в сторону скамеек — подальше от лишних свидетелей его одомашненной несамостоятельности. Кое-то из пацанов обратил на него внимание и засвистел вслед. Витька поежился, оглянулся: бежать ему было некуда, он бабушку ждал. Витька ускорил шаг и направился к скамейке. На скамейке сидел грузный бородавчатый дед с палочкой; выгуливал предраковое состояние. Только не садись, про себя подумал Данька и замедлил шаг. Но Витька не послушался. Как всякий домашний ребенок, он наивно искал защиты у взрослого. Бодрым шагом догуляв до скамейки, он присел рядом с дедом. Сифа! — тут же радостно заорал другой Витька, Фещук. Из-за неприглядного вида дед считался грязным объектом; когда никого не было поблизости, Фещук с компашкой кидали в него собачьим дерьмом и дразнили издали. Теперь собачье дерьмо полетело в Витьку; потом его стащили со скамейки и отобрали портфель. Дед встал и медленно поковылял прочь; неприкасаемый неприкасаемому не помощник. Данька все видел и шел медленнее; по собственному внутреннему кодексу он не должен был проходить мимо — Витька давал ему списывать домашку по математике и вообще был невредный чувак, а с Фещуком они уже несколько раз дрались. Но одно дело — драться с Фещуком один на один, а здесь — здесь совсем другая ситуация. Понимая это, он малодушно рассчитывал так, чтобы дойти до скамейки, когда все уже закончится.

Витька не плакал, а только икал, размазывая грязь по лицу. Подошел Данька Ворон, молча поднял его портфель. Спасибо, — сказал Витька. Ты идиот, — сказал Ворон с жалостливым презрением. Скажи бабушке, чтобы больше за тобой не приходила.

На следующий день отец дежурил, и Даньке пришлось остаться на продленке. Был дождь, и вместо прогулки их выпустили в спортзал. Они гоняли в мячик, и уже тогда Ворон почуял неладное — никто не хотел быть с ним в одной команде. После футбика в раздевалке на него уронили стелы с наглядной агитацией, которые вечно были свалены у стены и никому не мешали. Пока он пытался выбраться из-под них, Фещук прижал его тяжелой фанерой к полу — так, что у Ворона на свободе осталась только голова и ноги до колен; босые — кеды он уже снял. Его отстегали по икрам скакалкой, а на голову вылили кефир из треугольного пакета, который оставался от полдника. Данька ненавидел себя, а еще больше — Витьку, который с того дня действительно отказался от бабушки, а вместо этого преданно поджидал его у школы, чтобы вместе идти домой. Ворон сначала пытался его гонять, но потом смирился со статус кво, а после Нового года записался в стрелковый кружок.

Ближе к вечеру Петрович привез лейтенанта. Без очков. С полуприкрытыми сосредоточенными глазами Ворон казался грустней и моложе. Принял рапорт дежурного. Выстроил своих. Сержант, который при Петровиче, зачитал приказ. Равняйся, смирно. Петрович: лейтенант Ворон, выйти из строя. Без очков манеж казался больше, стены плыли. Старался смотреть поверх голов — Сережа Васильев выше всех, его внимательный взгляд стыдливым комком в горле. Из раздевалки притащили скамейку.

Куртку Чингис бросил на пол, в опилки. Сержант щелкнул стеклом по лаковой скамеечной спинке. Раздетый до пояса лейтенант, распахнув плечи, ждал команды. Петрович кивнул

ему в закрытые глаза, Ворон молча лег на скамью. Начинайте, — падающий свист. Лейтенант прячет лицо за вытянутой рукой, ноги дергаются.

Удары, и поскрипывает на стуле, ножки в мягких опилках, Петрович. После десятого сержант смотрит на Петровича — я скажу, когда хватит. Строй молчит, их лейтенант тоже, но дышит все дольше. Кулаки, сжимаясь, комкают смуглые пальцы. Стек уже падает в кровь. У Чингиса в голове плавает чей-то смущенный взгляд, щеки пылают, он жмурит глаза. Жарко пахнет лошадьми, железом, солью. Все кругом молчит и обмякает. Плеть свистнула еще раз. Все! Хватит!! — заорал капитан Петрович. Сержант отложил хлыст и поднял Чингиса — говори. Ворон с усилием остановил запрокидывающуюся голову, зубы споткнулись друг об друга, рот треснула в усмешке.

— Спасибо за науку, — заплетая язык, прошептал разочившийся говорить лейтенант.

— На здоровье, — буркнул капитан. — Какого хера крест на веревке? — заорал Чингису в обессиленно потемневшее лицо.

Равняйсь-смирно, Ворона увели в раздевалку, курсантов распустили. Все лошади в денниках печалились о Чингисе, по коридорам бесшумной волчьей тенью раскачивалась Варвара.

Убедительно, да? Милый, что же происходит с нами такое; Данька пересказывал соловому Петровича, хрипя и нервничая; конь вдыхал хозяйскую кровь вперемешку с вонючим стрептоцидом и вежливо ел предложенный хлеб. Подошла Варька — ну да, где еще может быть этот лейтенант, ему лишь бы кого потискать, можно даже лошадь, если она теплая и не возражает. Вы едете? Поздно. Вас там этот... клоп-черепашка у машины дожидается. Проявляет отеческую заботу. Чингис криво смеется; с Варькой за руку. Пока. Спокойной ночи. Ты сторожишь сегодня? Да, вы последний. Звенит ключами

мороз, машина заводится долго-долго, на небе яркие звезды. Машина дребезжит и грохочет, вороны трещат на лету, падают в темноту назад и навзничь придорожные деревья. Новый год прошел, все носы уже разбили, недалекий залив кажется северным полюсом, все дороги и реки к нему и даже ветры замерзли. У Чингиса тоже озноб, он вполголоса ругается, капитан внимательно его выслушивает и кивает, соглашается.

— За тобой завтра машина придет; в полвосьмого.

По окнам тянет изморозью.

— По дороге Владимира Алексеевича заберете, следователя. Щенка отвезете туда, куда его братальник наших двоих положил... это ведь там где-то случилось?

Данька разлепляет губы и дышит в стекло. Там; точно. Прямо сейчас проезжаем. Поворот на свалку.

— Ты же был там, когда... Я это почти сразу понял. Но что сделано — то сделано. Улавливаешь логику?

— Да.

Тошнит от страха, но это ничего. Логику он все равно улавливает. Рот немеет, под языком скользко шевелится слюна.

— Здесь!! — внезапно машет Чингис и чуть в дверь не стучается.

— лейтенант, ты очумел? — интересуется Петрович. — Сереж, притормози (шоферу).

Дергают за плечо.

— Эй, ты понял?

Понял, понял. Данька выворачивается, бьется в дверь, выскальзывает на поребрик. Подбери сопли, — вслед рекомендует Петрович. Сделаешь завтра — и свободен. В отпуск пойдешь. Эй, ты слышишь? Без глупостей!

Слышу.

Данька прикрывает дверь; джип отваливает. Он наклоняется и выплевывает на снег. Слюна розовая — об дверь трахнулся и губу прикусил; или еще раньше.

— ...А потом он...

— А потом что?

— Помогал мне сапоги надевать!

— Боже, я щас расплачусь.

— Верка, я тебя побью сейчас.

— От умиления. В последнее время я так часто слышу это имя... что Даниил Андреевич уже практически стал членом нашей семьи.

— Прекрати!

— Не, нормально... Хоть один мужик в доме. Пусть и виртуальный... Удивительно только, как он до сих пор не материализовался, прямо посреди комнаты. Слушай, там звонок... кажется.

Алька прислушивается и, вся пунцовая, вскакивает с дивана.

— Колготки подтяни! — смеется Вероничка вслед. — Вдруг там твой рыцарь... в сверкающих доспехах.

Поскольку психанул и вывалился на полдороги; и в голове одна билась мысль, как бы позвонить срочно. И пока выбрел на нужную улицу, чуть не позабыл адрес. Нашел как кошка — по магнитным линиям. У парадной раскачивался фонарь; гудел под ветром. И мерцал, и перегореть собирался... вспыхнул и погас наконец, но код набрать успел. Стертые кнопки; вот зачем, скажите, эти кодовые нужны замки — если кнопки употребительные вытираются пальцами и блестят, и любой дурак... Ой, дура-ак... Неужели не сообразить было, что капитан зазря утром звенеть не стал бы? Теперь бы хоть найти этого гранатометчика... Снизить, так сказать, вероятность... Мимо лифта, через три ступеньки, на седьмой этаж. Пальцы — к звонку; дребезжит. Не открывают целую вечность — поумирали они там, что ли? Наконец зашевелились... Здравствуйте; приготовился сказать. Вот какая-нибудь мама сейчас откроет, и вот будет цирк. Потеха. Чингис сверху вниз стер лицо перчаткой, но только

размазал по морде потерянное свое выражение... Привет, Аля.

— Ну, кто там? — из комнаты, болтая чай в кружке, нарисовалась Вероника. Фыркнула в дверях. Аля, давай я меняю профессию... Снимаю, порчу, приворачиваю гайки. И любовников.

— Можно от вас позвонить?

Каркуша в перчатках, но без шапки и без очков. Трет лицо; мокрое.

— Снег там? — спрашивает Вероника. — Чаю хотите? Проходите, пожалуйста...

Сестренки столпились в прихожей, Аля прикрывает дверь; а телефон там, — говорит Вероника. Случилось что-то?

Данька смотрит на обеих и будто не понимает, как они могут не понимать, не понимать то... а что? а они же и не знают; ничего. Ничего не случилось, говорит он и, не снимая обуви, шагает к телефону. Да у нас тапочки есть вообще-то, — советует Вероника. Ее не слышат. Вероника смотрит на Альку, пожимает плечами и уходит обратно в комнату. Чингис поднимает трубку телефона и тычет в кнопки, не снимая перчаток. Спыхватывается, пытается сдернуть, тянет за пальцы, роняет трубку. Руку к лицу и смахивает; пот над верхней губой. Бориса Медведева мобильный подскажи? Аля подбирает трубку и вкладывает ему в руку, диктует по памяти; Данька кивает, молча — мерси. И набирает номер.

В коридоре горит лампочка; свет резкий, без плафона.

Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Даниил Андреевич резко шмыгает носом и опускает трубку на рычаг. Нет, это невозможное что-то... Попробуйте позвонить попозже, — тихо говорит Аля. Он смотрит на нее; моргает, будто какую-то мысль улавливает.

— Он ведь дома уже давно не живет?

— Может, в гараже?

— В гараже.

Каркуша весь вспыхивает.

— Ты знаешь где? Я дороги не помню.

— Я... приблизительно.

Альке очень хочется помнить дорогу.

— Я могу попробовать...

— Давай, — соглашается Даниил Андреевич. — Далеко здесь? А, неважно...

Поймав троллейбус, они доехали до последних прибрежных домов. Дальше — пустырь, свалка, порт. Там, — Алька неопределенно махнула рукой к заливу. Они прошли мимо заправки, свернули к гаражному кооперативу. Здесь? — озадачился Даниил Андреевич. Мне кажется, что дальше... Мне тоже, — призналась Алька. Номер КАС не помнишь? Нет...

Свернув к заливу по разбитой дороге, все глубже в темноту и снег. Заборы, вышки какие-то, псы бродячие. Что там темнеет? — задал Данька риторический вопрос. Отвалы. На свалку пришли.

Поднялся ветер и сухая метель. Который час? Данька отодвигает рукав шинели. Цифры мерцают. Уже полтора часа здесь шляемся. У Чингиса дрожат ресницы. Усмехнувшись, он качает головой и разворачивает Альку обратно. Все. Пошли. Хватит... погуляли.

Данька быстро идет вперед, загребая снег шинелью. Алька, уныло, позади. Смотрит ему в спину. Она понимает, как что-то неприятное сейчас происходит, ей муторно, неудобно и почти жутко.

— Здесь! Дань, здесь!

— Чего? — Чингис оборачивается.

— Вон... там, — спохватившись имени, краснеет, но Данька и не об этом вовсе. Он тоже видит ряд гаражных спин и вышку невдалеке, хватается за рукав и тащит по дороге. Слава, Господи.

Спотыкаясь в снежных провалах, завивается метель вокруг ног, совсем темно, а вблизи света, разрезающего темень, и вовсе ничего не видно. Он стучается в ворота; орет шавка. Охранник пытается рассмотреть их сквозь стекло; хлопает дверь; мат.

— Открывай, говорю! — хрипит Чингис и лезет в карман за удостоверением. Тот уже рассмотрел, что форма. Волочит-ся вниз по железной лесенке. Они проскальзывают в ворота.

— Номер, — требует Даниил Андреевич. Алька мотает головой влево. Она не помнит. Ладно, — они идут вдоль гаражей. Этот? Этот? За ними тянется гаражный бобик, то гавкает, а то хвостом повиливает: непонятно ему.

— Там кессон стоял около! — радостно вспоминает Алька уже на третьем повороте.

— Отлично, — замечает Даниил Андреевич. — Ищем кессон... Бобик, ищи кессон.

Бобик останавливается и нюхает Алькины ноги. Убегает к сторожке.

— Сменим тактику, — говорит Данька, когда они доходят до последнего вроде бы ряда. — Ты налево, я направо; если что — зови.

Он уходит в темноту и пропадает как-то стремительно быстро, будто не успеть сказать ах. Смирнова всплескивается вся и бежит, как сказали, направо. Пробегает буквально шаги какие-то, или ей так кажется — и вот он, проклятый кессон. Около большого гаража, с надстроечкой. Точно, и надстроечка там точно — была! Даниил Андреевич! — прямо-таки визжит она, бросается к гаражу. Дергает; закрыто, конечно. На замке — пластиковая бутылка обрезанная; чтобы не заржавел.

Появляется Данька. А, ну да, — останавливается около, ногой в дверь — для верности. Все равно дурацкая была затея. Нет, это, блядь, что такое... Чао, бамбино.

Пошли?

Они быстро возвращаются к воротам, но там еще подождать приходится — пока мужик с ключами подтянется. Неподалеку — то ли лесок, то ли край парка; слышно, как в деревьях шебуршатся птицы, а то — крапом темным перемещаются по лиловому небу. В начале февраля так бывает — посреди морозных дней выдается такая неопределенная ночка, когда то холодно, а то теплом потянет и весной почти что.

— Я понял, — говорит Данька и раздувает длинные ноздри. Смотрит на Альку, как отличник, который позабыл таблицу умножения. — Они в метро. Поэтому и телефон вне зоны.

— Метро... закрыто, — робко напоминает Смирнова.

— Какая разница, — машет Чингис, берет ее за руку и вытаскивает за ворота. — В любом случае...дохлый номер... не летают самолеты... и не ходят поезда.

Он чуть не бежит; так что Алька даже на длинных своих ногах не успевает — болтается, как кукла. В спину лупит фонарь с КАС, потом за поворотом скрывается, потом из-за деревьев выходит еще один. Нет. Два. Чингис оборачивается и выпускает Алькину ладонь. Они торчат посреди снежного поля, подсвеченные темные фигурки; будто на фоне взрыва. Ветер в лицо; снег из-под ног роем фосфоресцирующих искр относил назад, а тени становились все короче. Следом шла машина.

Темная «восьмерка», переваливаясь по колеям, остановилась рядом. Стекло поехало вниз.

— Подвести? — спросил водила.

Чингис кивнул. Открыл дверь, шофер откинул переднее сиденье. Тепло, бензином воняет, щеки оттаивают. А вы чего здесь позабыли, на своих-то двоих? — посмеивается водила. Гуляли, — отвечает Алька, улавливая, что Даниил Андреевич не намерен поддерживать коммуникацию. Ну, даете! Челюскинцы!

Жизнерадостный попался мужик.

На попутке они доезжают до поворота. Мне туда, — объясняет шофер и машет в сторону пригорода.

— А туда разве можно? — озадачивается Чингис. — Движение же перекрыто...

— Ты что, командир, с луны свалился? — радуется водила. — Это ж когда было — осенью! Когда регистрацию вводили. Сейчас-то открыли все... Жизнь, короче, налаживается.

Кому как.

Перевалив гребешок обочины, машина вываливается с грунтовки, через правое крыло устремляется дальше на юго-запад. На перекрестке пойдет? — спрашивает водитель. Данька смотрит ему в затылок: да. Между вопросом и ответом он успевает сговориться с водилой за пару сотен, доехать до Петергофа, взлететь по лестнице на пятый этаж, переодеться и собрать вещи. Соскрести в ночном банкомате остатки денег с карточки, выйти на трассу, поймать попутку и сгнуться в сторону Ингерманландии. В полвосьмого шофер будет до опупения трезвонить в дверь; наконец, Леха откроет. Позвонят Петровичу. Подтянется его ручной следок. В комнате найдут творческий беспорядок и ноутбук с описанием грядущей весны. Вроде той, в которую они с Янкой спускались мимо рыбхоза «Ручьи», что на Сойкинском полуострове, к переменчивому майскому заливу; туда, где торчат проржавевшие остовы рыбацких корабликов, а к воде ведут стертые пирсы второго Кронштадта, Солнечногорска, полузатопленные грядки так и не выросшего города солнца, очередная утопия, не доехать тебе сегодня туда. Они стояли на пирсе, и тут принесло дождь; пошли обратно — канючила Янка. Он здесь не задержится, — убеждал Чингис. Ветер в нашу сторону, скоро на континент унесет. Море под дождем ошетинилось, пошло дрожью, будто перебирало встревоженной серой шкурой. Смотри, — задумчиво сказал Данька, — царь Ксеркс бредил высечь

море, а дождь это делает каждый раз. Некоторые вещи... Не меняются! — подхватила Янка. Они стоят на берегу и бредят сгнившими царями! Шут с ними! — развеселился он, сцапал Янку и закружил, она вырвалась. Данька раскинул руки, задрал подбородок и продолжил свою шаманскую пляску. Смотри, я сейчас тучи разгоню! — орал Данька, — тоже мне Алла Пугачева! — вопила Грабовская. Два местных паренька, рыбачивших в сторонке, совершенно офигевшие, наблюдали эту картину. Наконец Ворон утомился, а тучу действительно отнесло вглубь полуострова, и дождь рушился уже над лесом.

Поутру Борис будет сидеть в отвалах юго-западной свалки со своей «мухой» хоть до второго пришествия. Мишу повезут в противоположную сторону и положат где-нибудь у северных ворот большого безмолвного города, где тоже песок и сосны, и где когда-то похоронили отца. И Данька стоял весь белый, а потом они с матерью зашли в сторожку погреться, и она угощала могильщиков водкой, удивленно сокрушаясь за мужа, что, мол, молодой еще. А сторож показал им журнал, в котором на одного старика приходилось как минимум двое двадцати-тридцатилетних, и усмехнулся, и сказал, что сороковник — это еще вполне себе ничего, пожил. Радушный попался сторож — заходите, говорил, еще. И тут у матери сухая истерика — спасибо, не надо, лучше уж вы к нам: и смеялась, как кашляла. Данька подхватил ее за рукав и увел, пока не началось.

Чингис и Алька стоят на пустынном проспекте. «Восьмерка» заворачивает и уходит в сторону Стрельны. Чингис смотрит вслед, обиженно прикусив губы.

— Что такое? — беспокоится Алька.

— Ничего, — отмахивается. Через дорогу ночной бар; хлопает дверь, кто-то вышел. Из бара мурлычет песенка, Брижит Бардо — опознает галломан Данька. Эти недомерки, единственные, до кого получилось в этой жизни достучаться,

являют для него своего рода альбигойское *consolamentum*, credo и утешение, которое можно скрывать, и лгать, и проносить поверх чужие молитвы, но никак нельзя отречься по-настоящему. Как же после этого жить-то; безутешным. Составишь компанию? — спрашивает Даниил Андреевич, и перемахивает через сугроб, и так ему приятна легкость и ладность собственного тела, так он ей поражается, как никогда раньше. Они переходят на ту сторону; через предбанник с игровыми автоматами, и оказываются в маленькой распивочной — узкая стойка, столики по стенке, низкая полукруглая сцена с пилоном. В углу над баром мерцает телевизор.

Играет музыка, люди танцуют. Девочки. Парни сидят за столиками и дуют пиво. Свободных мест нет. Центр ночной жизни микрорайона. Они проходят к стойке, Чингис отодвигает для Альки высокий стул и сам карабкается рядом.

— Водку и... Что ты пьешь?

— Кофе.

— Хорошо. Кофе. Два.

Чингис закуривает, у него дрожат пальцы. Хлопнув водки, он сразу оседает на стойку. Смотрит в пепельницу, а Алька — на него.

— Что-то с Мишей? — наконец решается она.

— С Мишей? — Данька поднимает голову. В его глазах постепенно оседает хоть какая-то осмысленность. — *Ça dépend*¹... —

— От чего?

— От его поведения! — злится Даниил Андреевич. — От меня, конечно. Уже надоело порядком; взрослые уже, а все зависают и зависают... Не дети, а майкрософт какой-то.

— Я могу уйти.

— Ути-пуси. Сиди уже. Девушка, дайте водки...

¹ Это зависит (*фр.*).

Из подсобки выходит худенькая танцовщица в перьях, будто содранных с метелки для уборки пыли. Она и сама похожа на метелку: ручки-ножки астенично взмахивают. Не девочка, а умирающий страусенок, — с умилением говорит Данька. У парней с пивом взгляды, наоборот, тяжелеют. Может, ты тоже выпьешь чего-нибудь? — спрашивает Чингис. А то у меня ощущение, что я надираюсь в одиночестве. Так и есть, — сообщает наглая Алевтина.

— Так, да? — усмехается Данька.

По телевизору в углу бара Яна рассказывает о погоде:

— В Санкт-Петербурге завтра — до минус двадцати, по области — до минус двадцати пяти. Ночью ожидается понижение температуры до минус двадцати восьми — тридцати.

Улыбается телезрителям и продолжает чего-то желать, но мы ее не слышим, а вместе с Алькой смотрим на Чингиса, у которого удивленно и пьяно отвисает челюсть.

— Я помню эту девушку, — заявляет Алька. — Она к нам в школу приходила... То есть к вам, Даниил Андреевич.

Данька слегка краснеет.

— Да... Наверное.

— То есть не помните наверное? — продолжает допытываться Алька.

— Нет, помню, только забыл. — Данька опускает взгляд в стакан.

— Здорово. Как же ее забыть, если почти каждый день по телевизору показывают?

— А я телевизор почти каждый день не смотрю.

— Ну да, если она вам и так про погоду рассказывает...

— Аля, прекращай, — тихо сердится Д. А. — Я сам поражаюсь, откуда они в Дахабе так хорошо про нашу погоду знают...

— А она что у вас, коренная дахабка?

— Херзнает... Засранка она и врушка.

Данька снова грустнеет, Аля молчит.

— Ну, до свидания, Даниил Андреевич.

— Аля, сегодня холодно.

— Ну вот видите, какая полезная девушка, — говорит она, заматывая шарф. — Только вы плохо слушали. Она сказала, что завтра.

— Остайся, пожалуйста, — просит. — Или нет... А что, поехали ко мне? Тебя же все равно мама домой уже не пустит?

— Интересный поворот...

Алька присаживается на табурет обратно.

— Тогда поехали сейчас, а то вам еще чуть-чуть, и начнете приставать к персоналу.

— К страусяткам? — Данька любопытно оглядывается на пилон. Танцовщица на последнем издыхании перебирает лапками. — А ты что, хочешь взять удар на себя?

— Да, страус вороне не товарищ...

— А Смирнова — товарищ? Смирнова, у тебя очень интригующая манера хамить на «вы».

— То есть вы предлагаете мне хамить на «ты»?

— Для разнообразия...

У Алевтины губы двигаются весело, а глаза — серьезные. Звенят стаканы, в баре нарастает гомон, музыка грохочет, и ее тоже увлекает этот хлопочущий, шумный, помешанный поезд — посреди ночи, и мороза, с ухающим между шпал сердцем. Даниил Андреевич расплачивается; а я ведь тебе стольник должен. Алька отмахивается, он настаивает. Они выходят из бара, останавливаются в предбанничке с однорукими, Данька меняет деньги для джекпота. Альке кажется, что все так складывается, что он должен выиграть сейчас невозможное количество денег. Я никогда раньше не играл, — объясняет он. А сейчас — черт пляшет...

Черт пляшет настолько мощно, что Альке приходится оттаскивать его, пока не просадил все деньги. На кой мне этот презренный металл! А до дома доехать?

Машина ловится быстро. По виадуку; красиво, — шепчет Ворон, наблюдая уходящие в фиолетовую мглу железнодорожные пути. Сколько раз здесь, а все равно красиво. Мокрая шинель вязко пахнет шерстью. Как валенки, — смеется Алевтина. Это я-то валенок? Нет, ну ты стерва, мать... Он смотрит на нее так, будто в первый раз видит. Мне это нравится, — заявляет. Хорошо, когда в девушке есть интрига.

— Чай будешь?

Даниил Андреевич ставит чай и закрывается в ванной. В тишине шипит огонь. Алька гуляет по кухне, внутри сладко ноет, она грустит и радуется, как жить дальше. Любимый учитель под горячей водой с неслышным матом отдирает от исхлестанной спины сорочку и свитер. Появляется обратно в джинсах и старой мятой ковбойке, невозможно дачно-домашний, босиком. А что чайник не сняла? Выкипает. Алька бросается к плите; заварка — там. Командует Даниил Андреевич. Пока она волчком вертится по кухне, он на табуретке, закуривает. Качает ногой, на ступне татушка — задиростое этническое солнышко.

...С чего там все начиналось? А, над крышами домов. Возвращаются птицы. Солнце встает на востоке, а садится на западе. В Париже происходят волнения мусульманской молодежи, но Латинский квартал тоже оцеплен. Мир разъехался по живому, а мы и не заметили — только замороженно наблюдали рисунок трещин.

Итак, мне четыре, бабушка учит говорить по-французски, а отец — по-русски, но читать. Первый опыт несправедливости — про лягушку, которая съела зеленого, как огуречик, кузнечика. Зло должно быть наказуемо, и я придумываю продолжение, как лягушку задавил грузовик. Бабушка рассказывает историю про то, как дед взял ее фамилию, потому что у него сводный брат был контра, участвовал в кронштадтском мятеже и в ров был сброшен. Или по льду ушел в Финляндию,

как Шкловский, по непроверенным данным. Про Шкловского? Нет, про Шкловского на самом деле... Нельзя детям такие вещи; но про кузнечика разве лучше?

— А как фамилия у деда?

— Батманов. Татарва, офицеры. Громкое такое, пассионарное семейство. В гражданскую всех повыбило; дед остался, потому что ребенком в другой семье приютили... Они с бабушкой росли вместе.

Чингис дует чай и от чайнок отплевывается; в зубах застревают.

— А мне Ворон больше нравится.

— Ворон — это бабушкина.

— Я помню твою бабушку.

У Чингиса глаза теплеют, но огонек прихлопывается, как ладонью по столу.

— Они не Вороны никакие, а Варрен, обрусевшие французы. То есть спасибо советской паспортистке. Ей, наверное, так эффективнее показалось. Надеюсь, я не очень тебя разочаровал?

— Нет.

— Вот и ладно.

Алька улыбается и смотрит во все глаза. Чингис клацает ногтем меж передних зубов: Алька, это не чай, а компот. Такое ощущение, что я траву ем. И еще, знаешь, такое чувство... будто где-то наверху времена года сменяются, вальсируют, кружатся по-быстрому, уже весна не раз, а мы сидим в таком ледяном морозном колодце...

— И это навсегда?

— Кому как, — мрачно смотрит Чингис. Вид недобрый. Его лихорадит, эмоции проскакивают, как на ускоренной перемотке. Он уже не понимает, какого черта притащил в свой колодец-ледник живую теплую девчонку, похожую на Арлекина и Брижит Бардо — только смотреть тягостно; взгляд тяжело липнет, грудь под растянутым свитером

кажется мягкой и разбухшей, будто их... по приколу прилепили к бледной тонкой шее и клоунскому личику; мать моя женщина, ведь если ее раздеть, так это, наверное, вообще какой-то хёнтай получится. Отличные тебе в голову мысли полезли; аж сладко подташнивает от мерзости — как солодки объелся.

— Слушай. Шла бы ты спать.

Данька тяжело поднимается с табуретки: на самоотчет его уже не хватает; снаружи скользко, внутри сухо — и пот меж лопаток, спина ноет, на языке налет наждачный, и страхом от него несет за версту, наверное. Вот как ударится завтра Славка Медведев в последний раз о землю, и выйдет из него окончательный добрый молодец, и купит ему брат новый паспорт да отправит на стажировку в Париж, изучать шестьдесят восьмой год и остальную историю революционных движений, и практику, за которой дело не станет... А Миша уже сам там подсуется, выпишет к себе боевую подругу, и она, в Париже, будет делать им батики и расписывать кумачовые флаги. И еще ебстись будут, как кролики в Аризоне. А он в этом «уазике» завтра — как балтийская шпрота в консервной банке. Ох, мамочки...

Он идет, шатается по коридору: прислониться, припасть, забиться; сдохнуть молча и самостоятельно — готов уже. Сучка эта вскакивает следом: Даниил Андреевич, можно, мы подумаем вместе, вас нельзя так оставить. В покое! — цедит Данька, но шаги за спиной не отстают. Голосок мерещится, отвлекает. Он оборачивается в темноту Чингисом с разгневанными раскосыми глазами, прижимает Альку к стене. Жесткий локоть и грязные грубые губы; спекшимся табаком. Хочешь? — усмехается. Отчаянно распластывает ее по стене; всем телом. Сухо припечатывает губами; она оживает мягким теплым ртом, тянется за ним бледным в темноте лицом. Пальцы слабеют и сами собой касаются тонкой горячей шеи, переливая жар из горла, Чингис за-

хлебывается и мнет ее рот. Закидывает ей голову. Алька впотьмах чувствует своей и чужой кожей, рот со сведенными зубами и железным запахом. Его волосы скользят и рассыпаются под руками, мокрый и скользкий, как в мыле; Данечка; какой, блядь, я тебе Данечка; коленом между ног, ляжки у нее литые, как резиновые, дрожит, аж охает — хорошо? Нравится? Отталкивает ее — о стену лопатками, больно и со всей дури; хочешь, дура? Перехватывает бедра и дергает на себя, вынимая пол из-под ног; раздвигай! Алька стучается затылком и вырывается. Потрахаться захотелось? Натрахаться еще! Не беспокойся, на твой век хватит! Ебля выпьем завтра...

На пол сплевывает; под носом блестит — рукавом чиркнул: пошла отсюда!

Алька метнулась, в прихожей каблуки грохнули. Чингис спиной о стену и воет.

И за ней.

Развиднелось, колеблются звезды. Выскочил со ступенек; она по колено в снег, он следом. За плечо развернул; чуть не упала: куда рванула?! Стой, сказал! Алька вывернулась; в ознобе барахтаясь, поднимая снежную пыль, клубами взбить, до самого неба, не видеть морды этой перекошенной, ничего не вспомнить — рраз! Наотмашь. Контроль-альт-делт! На хрен! И еще раз! И еще! Данька ловит за руки; чтоб не убила ненароком. Держит; на лбу закипает пот. Алька рычит, рыдает, извивается, сумка на локоть свалилась, метет по снегу: чтоб ты сдох, ненавижу! Он медленно выпускает ее пальцы, они, как вода, проскальзывают. Мягкой грудой складывается в сугроб.

Чингис наклоняется и поднимает ее за подмышки. Прости. Стоишь? Алька сломанной игрушкой болтается в его руках.

Пусти — скулит. Он обхватывает ее и крепче; сжимает, не вздохнуть. Раскачивается и что-то гудит. Мотив из рол-

лингвистических *paint it black* — будто колыбельную бормочет. А когда Алька пытается не сказать что, а просто пошевелиться, стискивает ее и смеется: молчи, это любимая песня моя... по-мол-чи. Очень прошу. Я так часто прошу? Хорошая песня, ее мычать удобно. Когда сказать нечего, когда слова — как проглоченный язык; так долго питался словами, что по-человечески говорить, да и жить не научился; да скот я, скот, но и это ненадолго. Отстраняется и большим пальцем неловко смахивает ей слезы. Морда сухая и жесткая, глаза посверкивают, как антрацит; а хочешь выцарапать? Не хочешь? Видишь, как мне с тобой повезло. Зато мне... Молчи. Целует — легко, невесомо, как в три вальсовых такта. Ее щеки касается ровный нос; пульс под языком вибрирует. Алька с сопротивлением, будто разнозаряженные электроды, отделяет себя — от него, от его губ. С мягким, мокрым пришепетыванием, шлепком. Упирается в грудь, отталкивает, и Данька отпускает; сумка упала — шепчет она. Он наклоняется поднять, а она выгребается из сугроба на дорожку. Он хватает сумку и открывает перед ней дверь. Боже — ее бьет, как током. Он босиком. Теперь бы не оттолкнула; они входят в парадную, и Данька двигает ее наверх, легонько касаясь — как боится, что сама не пойдет.

Позабывтая дверь распахнута. Алька останавливается в проеме и смотрит, как он по коридору идет в комнату: в теплом свете переламывающийся в талии силуэт. Он стелет ей на тахте, желает спокойной ночи и уходит. Алька засыпает обиженным послушным ребенком, вздрагивая на каждый шорох. Даньке не спится, и он до утра хлещет на кухне крепкий чай.

Стекло в бело-розовой изморози, густой и плотной, как пастила, но через форточку видно, как постепенно блекнет за окном темень. Стучит вода. Леха возвращается с дежурства и топчется в прихожей. Припрется щас. Мерде...

Чингис одевается и мимо Лехи в парадку. Спускается и жадно дышит, запаленный в груди дергается и скрипит морозный воздух; тонко мерцает звездный планктон. На ребре счастья и ужаса; Je suis; посреди распахнутого в небо ладошкой двора. Если долго смотреть вверх, запрокинув голову, то мир начинает вращаться, а ты застываешь в нем точкой перехода в ленте Мёбиуса, но куда же подевалась эта проклятая буква ё, и вот уже земля королевы Меб, и пляшут, и звенят, и смеются ледяные сиффы, перед которыми бессмысленны и нелепы человеческие слезы.

Тени на снегу все площе и прозрачней. Вернувшись в чужой и уснувший дом, Данька идет в ванную и скребется долго и тщательно, как кошка. Ему мучительно на все три стороны — за прошлое, настоящее и недалекое будущее; и при этом впервые жизнь приняла его так, как есть. Слопала, проглотила и выдохнула: со всем говном и потом, любовью и дикостью. В семь утра Алька чувствует руку на своем плече. Она просыпается и видит Даниила Андреевича — в рубашке и форменных брюках, задумчивого и с мокрыми волосами. Вставать пора, — говорит он. Полчаса всего осталось. В ванной зеленое полотенце.

В ванной все полотенца зеленые, кроме одного — грязного. Прозрачные разноцветные мыльца, все начатые слегка. Гедонист хренов, — думает Алька. Под каждое настроение — свое мыльце.

— Ты зеленый цвет любишь?

Данька спохватывается на голос; беглый взгляд. Он у стола, разбрасывает рыбную нарезку по бутербродам.

— Да (идет за чайником). Бутерброд будешь?

Алька усаживается и с удовольствием наблюдает процесс приготовления завтрака.

— Как Робин Гуд, — мягко улыбается. Не выпалась, конечно, но это только придает изящества ее живой полнокровной мордочке. Буря улеглась, и все ей как с гуся вода; она смотрит на Чингиса, и взгляд у нее почти оценивающий.

Неприлично красива; но в свои восемнадцать выглядит чуть не на четырнадцать; ноздри тонкие, точеные, яблочный румянец на щеках.

— Ага. Как тля. — Данька профессионально-небрежным жестом сбрызгивает бутерброды. Лимоном.

— Кто сказал, что тли любят зеленый цвет? У них просто нет выбора.

Чингис ведет бровью и усмехается.

— Слушай, Аль... С тобой невозможно... просто так разговаривать. Все моментально превращается в какую-то буффонаду. На все готов ответ; скажи слово — и понеслась плясать губерния.

— Это раздражает?

— Нет, почему... Ешь, пожалуйста.

Данька открывает форточку, вытряхивает на ладонь сигарету.

— А... ты?

— Уже.

Вид у него вполне мирный, но отстраненный.

— Ничего, что я на «ты»? — Алька настораживается. Исполдобья, как бычок.

Чингис аккуратно выдыхает дым в форточку:

— Ничего.

— Да, после всего, что нас теперь связывает... — глумится Алька.

— Смирно-ова... — морщится.

— Что?

— Запрещенный прием.

Чингис смотрит и медленно улыбается — сам не замечает как. Вкусно, — сообщает Алька, угощаясь рыбой. Вот ведь чертовка; думает Чингис. И по морде получила, а забрало не опускает. Просыпается вера в человечество; как доказательство бытия Божьего в отдельно взятой мастерице по расписным шарфикам.

Они переглядываются, и от этого обоих тепло наполняет. Алькины глаза пушисты первой нежностью, и у Чингиса брови ползут вверх, лицо оживает, и тут он разбуженно зевает в кулак, качает головой, нерасчесанные волосы, длинные улыбчивые губы, светлеет утро, орут вороны, неудержимо пахнет зарождающейся весной, но в форточку лезут белесые клубы — мороз все же под тридцать; и звонок в дверь. Выключите Селин Дион.

Они выходят вместе. Альку до метро. Владимир Алексеевич, злой, сухонький и быстрый, поглядывает на Альку и торопливо лезет в свою аккуратную «девяностодевятку». Корпоративная мода — тачка приличная, но и глаза никому не колет. Вы один? А что, толпу собирать? — усмехается следователь.

В зеркале заднего вида Чингис и Алька; ее руки смиренно лежат на коленках, пальцы подрагивают, под ногтем большого — вьезшийся графит. Данька смотрит вниз, чтобы не видеть, как за окном все ближе по Савушкина подступают к метро дома. У тебя ресницы, как у лошади. Вздергивает подбородок. Поближе не хочешь рассмотреть? Он облачивает ее на ладонь и тихо целует насмешливый Алькин рот грустного клоуна. Машина останавливается. Ворон откидывается назад и открывает дверцу. Он еще что-то говорит Альке, потом улыбаются, потом он ее выпускает. Утро цвета морозного конденсата, светофор сообщает зеленый, и Алька бежит через переход, бряцая в кармане мелочью, отыскивая жетон.

В поддесятого утра две машины вышли из тюремных ворот, направляясь на Юго-Запад. Через полчаса свернули в разбитую грузовиками колею с номером. На горизонте алюминиевым чайчьим блеском сверкали корпуса промзоны; залив, брызжет солнце и спит повсюду снег, облизан вчерашним морозным ветром. Сегодня тихо.

Чингис и боялся, и надеялся увидеть Мишку, но, когда они подъехали к изолятору Управления, «уазик» с зарешеченной дверцей уже выходил из ворот. Пристроился в хвост «девятиностодевятки», и двинулись. Здесь? — спросил Владимир Алексеевич, когда машина вкатила за отвалы. Данька подался вперед, чтобы рассмотреть дорогу; интересно, с этого отвала или из-за того — мелькнуло. Нет; птица? Люди? Откуда здесь люди; а вот и наша граната.

Гранаты не было; из-за ближайшего отвала автоматной очередью машину прошило спереди и наискосок; следак, даже не пискнув, завалился вперед. Сопли кровавые по всему стеклу, яркие дырочки, нога убитого ткнулась в педаль газа. «Девятиностодевятка» рванула с места, оглушительно гудя. Вильнула на ухабе, грохнулась, подскочила и врезалась в заледеневший мусорный холм. Даньку кинуло вперед, протатило между сиденьями, ткнуло головой в приборную доску рядом с осевшим кроваво поплывшим телом. Отовсюду орала, вопила «девятиностодевятка» — мертвый следак грудью упал и сигналил, на мгновение Данька перестал соображать, у основания черепа хрустнуло холодно и резко; все как через одеяло.

Джип встал позади, перегородив дорогу. Опер на полусогнутых наружу; срезали очередь. Водила из «уазика» заорал пожалеть; его выволокли и бросили лицом вниз. Ключи; Борька открыл заднюю дверцу.

Юниор и еще один побежали к «девятиностодевятке»; труп оставили, Чингиса вытащили через заднее сиденье и поволокли. Ноги заплетались, чиркали по снегу. Борис, выскочив из-за дверцы «уазика», с размахом бухнул ногой в голову на земле шофера. Тело подпрыгнуло, он заорал, но после второго удара замолк, и тут Борька разрядил в него обойму. Некоторое время тело шофера прыгало на земле, как резиновое. Борька поднял голову и увидел Чингиса: ты здесь что? Болгается, шатает, в чужой крови. Глазищи выкатыва-

ет — лейтенант. Борис схватил его за грудки, протащил и кинул внутрь «уазика»; бортник высокий, грудью затормозил и мордой во что-то холодное. Аж отбросило.

В машине — Миша. Ледяной весь, одеялом прикрыто, лицо — сплошной кровоподтек. Запыло, одного глаза как нет: темная кровь стоит в глазнице грязным комом. Пару дней уже в холодильнике пролежал. Чингиса медленно закидывает назад; ай, Петрович — вот куда они после бани сорвались... Кабинет следака, отряд погорельцев, и Славка Медведев один за всех. Отчитался.

Накрывает; уже вчера ведь было поздно. Кровь спускается из звенящей головы к одеревеневшим ногам — легко и больно, и ночь эта безудержная саднит на внутренней стороне горла, и Алька, которой ебаря выпишем завтра, а парнишка уже вчера как в холодильнике. Данька снова видит себя перед классом, в чистом углу, Смирнова рассказывает про диссидентов, потом он орет — навзрыд, ревом, и Алька с Мишей поднимаются и уходят, и не видно ничего больше, кроме этого запотевшего инеем тела в хмелеуборочном «уазике».

Беззвучный Чингис тихо отступал назад; Борис разворачивает за плечо лицом и глядится в него, как в зеркало. Чингис как в зрячем обмороке; юшка из носа по подбородку, в воздухе звенит, и даже чаек нет, лейтенант снег закапал, но кровь на землю чуть не льдинками.

Борис кивает: поедешь с нами.

Юниор по последней проверяет убитых; каждому в голову. Мишку в багажник; не влезает. Закоченел. Наверх прикрутим, — соображает Борис. Дань, пожертвуй шинель; она длинная. Труп упаковывают в одеяло, Данькину шинель — на голову. Перебинтовывают скотчем и закидывают на верхний багажник джипа. Ловкий Юниор закрепляет тросик; второй пацан помогает. Борис заводится: вперед садись. Данька следит за этой суетой, как в телевизор: как Мишку

в тряпки упаковывают, как укладывают на крышу джипа: подвиль, ноги торчат! Кажется, он сейчас бухнет оземь и зарорет, но вместо этого стоит и истекает паром, полураздетый. Ото всех идет пар, а от Мишки нет. Юниор подталкивает его к джипу; Данька подбирает ноги и залезает на переднее сиденье.

Минуты две Борис молчит и остервенело крутит баранку, джип идет в сторону города.

— Борь, ты куда? — спрашивает сзади Юниор.

— В ларек заскочим, за водярой. — отвечает Борька.

Приехали. Думает Чингис. По главной улице с оркестром; и с трупом на багажнике. Пацаны молчат; их это не особо смущает.

— Не дрейфь, — говорит Борис, — он же у нас одетый.

И тянет носом.

— Завтра место надо будет прикупить по-быстрому... Где лучше, а, дэдмэн? Не знаешь? Не хочется брата в глину класть. И отпеть. Как в том соборе поп, нормальный мужик? А, нет. Он же ваш, прирученный. Тоже, значит, гнида. А я, знаешь, когда мы с тобой зашли, к иконе метнулся, и мне бабка какая-то из-за плеча: это за упокой. Неспроста, значит. Курево есть? В шинели осталось? Значит, тоже купим.

Останавливаются у ларька на проспекте. Где вчера с Алькой. У Чингиса ноги леденеют; снова начинает мутить.

— Юшку подотри, — советует Борис. — А то едешь, как зарезанный.

Данька кидает взгляд в боковое зеркало: действительно, вся морда кровавой дрянью заляпана; и из носа течет. Он зажимает ноздри и голову запрокидывает. Тянет носом. Кровь медленно возвращается обратно, стекает в горло.

Борька возвращается с ящиком и чекушкой; кидает Даньке на колени блок «Мальборо». Раскупоривает бутылку, отхлебывает, передает Чингису: помяни. С проспекта они сворачивают обратно; в сторону залива. Подъезжают к КАС,

вахтер поднимает шлагбаум. Борька ведет джип к двоянному гаражу, тому самому. Сдергивает пластиковую бутылку, снимает замок. Заводит машину. Все, быстро. Заваливайте. Нечего тут светить.

— Борь, того... Надо Мишку в морг отвезти. Я знаю куда, — советует Юниор.

— Нет, — говорит Борис, — пусть здесь пока... Со мной.

— Борь, он же отгадет скоро.

Борис поворачивается к Юниору; лицо звериное. Это мой брат отгадет? Я тебе сам сейчас отгаю, козел!

Юниор пугается и замолкает.

Гараж большой, двоянный; Данька его помнит — три дня здесь провел как-никак. Место для машины, дальше — стол, диванчик. Лесенка наверх — в надстроечку. Борька, не расставаясь с чекушкой, командует: так, мужики... Водку на стол, в холодильнике нарезка, хлебушек. Дэдмэн, че встал? Кирпичик давай, поруби. Данька идет и прислоняется к столу; колени вибрируют, как развинченные. Борька выхватывает у него из-под ножа хлеб, наливает в стакан водки. Идет к машине. Ставит стакан Мишке на живот, поверх — кусок хлеба. Облокачивается о машину и трясется. Плачет.

Молодой поджарый пацан — Сережа, кажется, зовут — толкает Чингиса в грудь — сядь, не отсвечивай. Юниор распаковывает сигареты, оба угощаются и сосредоточенно дымят. У Юниора фингал на оба глаза и нос заклеен пластырем.

— Если бы ты уродов этих не открыл тогда, — напоминает он.

Борис оборачивается: у всех налито?

Все пьют, Данька зубами клацает о стакан.

— Дань, скажи что-нибудь, — просит Борис.

Чингис смотрит на него, как чокнутый — глаза яркие, со сжатыми точечками зрачков.

— Про Мишку скажи, — подбадривает Борис. — Какой он был у меня талантливый, — икает, — и все такое.

У Борьки лицо от водки порозовело; пятнами. В гараже пахнет бензином и выхлопами; а ведь он действительно сейчас оттаивать начнет, — некстати думает Чингис. Само собой, сверток на багажнике пока никак не связывается у него с Мишкой — иначе просто двинуться можно.

— Он... жаловался мне. На тебя. Что говоришь ему учиться... и девок по углам не жать.

Собственный голос звучит, как со стороны. Слабо, как шелест.

— Девок? — смеется Борис. — Девок не жать... ой, ха-ха.

Он падает на табуретку и ревет, и рассказывает, как застукал их со Смирновой и этой... блядинкой такой малолетней, и как они машу курили. А он отобрал.

— А что, нравился Мишка девчонкам! Наша порода.

— Да, — говорит Чингис и вспоминает вчерашнее. Обыденное прошедшее, которым легко оперирует Борис, каждый раз бьет его, как ударной волной. И внутрь отбрасывает; в себя.

Борька выпил и наливает по новой; Данька со своими граммами никак не может справиться — от каждого глотка в голове вспыхивает и будто рвется что-то.

— Мне хватит, — просит он.

— Не-ет, — Борис льет до краев. — Пей! Пей, а я смотреть буду. За Мишку, ты же первый из нас виноват; с тебя началось все.

Даньку продирает, он думает, что да, наверное, так лучше, поделом, и наклоняет стакан. Пьет, как воду, рука дрожит, и Сережа поддерживает ему стакан за доньшко. Дохлебав, он оседает на диван, а Борька сует под нос мясо — на, закуси. Чингис мотает головой, а носом норовит в стол, Юниор поднимает его за шкирку.

— Теперь — тост, — заявляет Борис. — Про то, что хорошие люди умирают, а всякие гады живут. Даня, дай пистолет.

— Зачем?

— Чтобы так больше не было...

— Кончай душить! — орет Сергей. Борька бросается к Чингису и выдирает у него из кобуры ПМ. Стакан — ко рту, дуло — к виску. Всем пить, — командует; и улыбается. Русская рулетка: все равно мне без Мишки не жить, я человек конченный, столько трупов на мне, что ма...

Данька бьет его по пальцам, пистолет падает на пол и стреляет. Сергей подскакивает; пуля грохает куда-то в глубину гаража.

— Какая тебе русская рулетка, идиот? — бормочет Чингис. — Это же не револьвер!

— Это НОВАЯ русская рулетка, — объясняет Борис. — Вариантов — нет. А теперь пей, дэдмэн.

— Не буду. Я и так уже на ногах не стою.

— Нет, будешь! — взвизгивается Борис. — Пацаны, на стол его!

Борька хватает из ящика бутылку, откупоривает. Сергей с Юниором валят Даньку спиной на стол. Чингис пытается вырваться, но по-настоящему его ни на что не хватает, и он только дергается — каждое резкое движение отдается болью; блядь, да у меня сотряс, — догадывается он; какой, интересно, за последнее время; скоро совсем дебилом стану, и гадить по углам, а Борис разжимает ему зубы и льет в горло водку.

Чингис захлебывается, его рвет Борьке на руки.

— Блядь! — орет Борис и отскакивает. — Обгадил меня всего, сука, мент! На ногах он не стоит, сопля! И из-за такого гнилья, как этот, Мишку сгубили! Он небось и с бабой не сможет, только за шкуру свою! Где здесь веревка?

Данька падает под стол и на четвереньки; его дико, всухую тошнит. Борька выбивает его ногами из-под стола, Чингис пытается подняться, но его поднимает кто-то из пацанов и валит на диван. Борька крутит ему руки за спину.

Еще веревку, — командует. Щас проверим, как он на ногах не стоит.

Борис складывает веревку надвое, наскоро получается петля. Петлю накидывают Ворону на шею, ставят его на скамейку, веревку перебрасывают через металлическую балку под потолком. Юниор карабкается на стол и закрепляет на балке узел. Поскальзывается на пролитой водке и блевотине; матерится.

— Во! — радуется Борис. — Стоит — как миленький!

Даньку шатает, реальность разъезжается по швам: Борис, тачка с трупом на багажнике, стакан у Миши на животе. Его ведет отчаянно; и кажется, что водка в стакане колышется — будто Мишка дышит. Петля висит вокруг шеи; Боря, я не хотел, — шепчет. Борис не слышит.

— Еще по одной! — командует он. — За Славку на зеленых пастбищах, в стране удачной охоты! Потому что он умер как герой! А не как этот... всадник апокалипсиса. Без головы.

Мужчины выпили; Данька плавает и поскальзывается, мотает головой, пытаясь сбросить петлю; руки дергаются за спиной. Еба-ать...

— Борька, кончай!

— Кончай, да? — вспыхивает Борис. — Ишь, сам попросился. Сейчас, мужики, мы будем инсценировать историю про поэта Державина, который вешал татарву. Мишка, смотри! — орет Борис и выбивает из-под ног скамейку. Веревка натягивается, Чингис выгибается натянутым луком, лицо стремительно заплывает краской, он хрипит — скамейка низкая, до пола сантиметров двадцать, но именно их и не хватает. Мир вокруг него складывается, сжимается в маленькую точку и гаснет ударом об пол.

Веревка соскальзывает с балки. Юниор схалтурил; спьяну.

Чингис бешеной рыбкой бьется на полу.

Корчится, хрипит и кашляет; синтетическая веревка скользит и слабеет.

— Ты не дэдмэн, ты Кощей Бессмертный! — смеется Борис и бьет его ногой под зад.

— Сука, — отвечает, как из трубы, Чингис — хрипло и низко, — сам наворотил, козел, а теперь виноватых ищешь.

Борька резко успокаивается и смотрит на дикого маленького человечка под ногами — в крови и блевотине, с провалами вместо глаз и клювастым романским носом.

— В машину его.

Очнулся — темнота. Снова куда-то трясет. Выплывая из озноба, мозг прореживает фонари и звезды, их все меньше. Окно не закрыто, в машину рвется холодный ветер; бьется и шипит в ушах, как сбитая радиоволна.

Сверху видно, как режет черное перо машины надвое ледяные поля — одной стремительной, восклицательной линией.

— Шинам каюк, — сообщает Борьке Серега. Под колесами хрустят маленькие злые торосы. Джип уходит по заливу все дальше от берега, и цепочка огней сзади — с востока, а также с юга и с севера, охватывает его, как вражеская армия пытается, но не может забрать в кольцо.

— Хорош гнать, — говорит Серый. — Ща на Котлин приедем.

— Миновали уже, — Борис.

Данька болтается на заднем сиденье, скорчившийся, звонкий, как ледышка; наверху Миша; ему же невозможно холодно, — ужасается Чингис. На ветру.

Еще он думает о том, что никогда не видел Альку в летнем каком-нибудь платице — вернее, видел, но не обращал внимания. Прозрачное зеленое время, когда все это можно было подсмотреть и запомнить, скрылось за столькими подскоками — рраз, рраз — на ухабах, что легче пробуравить шарик и вынырнуть на земле антиподов, чем, оставаясь на месте,

дождаться тепла или хотя бы солнца — верно, земля уже остановилась, и в этом раунде нам не повезло; колеса совершили очередной виток и замерли. Салон наполнился мягким табачным смрадом — Борька закурил.

— Сними с него ботинки, — приказал.

Серый вылез и открыл заднюю дверь. Чингис заворочался; Серый толкнул его на сиденье и дернул за ногу. Данька вырвался.

— Лягается, — посмеиваясь, заметил. — Ножик есть? Шнурки срезать.

Вдвоем они вытащили из машины и повалили на снег. Борька навалился, прижал, Серый стащил ботинки. Чингис бился — молча, но добросовестно. Не поможет, — заверил Борис. Отпускает, отскакивает. Данька копошится в снегу. Борис смотрит внимательно, он потемнел и не орет, ему больно. Зачем ты обманул нас? Ворон мотает головой, в которой поселился упрямый демон: ведь не так умирают люди. А секрет в том, что мертвых не надо убивать, смерть внутри и она — холод. Развяжи его, — просит Борис. Серый сдергивает с запястий веревку и ставит его на ноги. Лед жжет подошвы.

Проси, чего хочешь, — обиженным шепотом говорит Борис. Он просит умыться. Борис ставит его на колени и льет на голову коньяк. Бутылка плоская, такие еще называют «плечиками». Борис трет шерстяной перчаткой разбитое лицо, под ним — Даниил Ворон.

Борька сует ему пачку «Мальборо» в карман брюк.

— Немного табаку, — кивает. — Пока, дэдмэн. Бон вояж, — хлопает его по плечу, поднимает с колен и разворачивает спиной к машине. Данька смотрит на дальние огни Сойкинского полуострова и ждет своей акколады в затылок. Урчит мотор. Ворон оборачивается на уходящую машину. Небо клонится поцеловать его в лоб, где-то за южным краем уже подтягивается весна, лето, осень, и по-новой; Орион-

ЛЕТО ПО ДАНИИЛУ АНДРЕЕВИЧУ

охотник падает в небытие вместе со всеми своими зверями, тает, скрывается, дезертирует. Солнце на подошве прибывает, греет, жжется, щекочет. С каждым шагом ему становится теплее.

Fine.

Курчагова и Венглинская

*Санкт-Петербург — Сойкинский полуостров — Санкт-Петербург
1996–1999*

Март—ноябрь 2005

Сад запертый

ОБОРОТ ТИТУЛА

Памяти ушедших друзей

Интро

1

Нortus conclusus, или «Запертый сад» — сюжет, распространенный в живописи позднего Средневековья. Райский сад за высокой стеной, где персонажи Священного Писания, а также святые и некоторые книжники, властители и герои, удостоенные подобного соседства, ожидают, пока на земле придет время Страшного суда. Мы видим лазурное небо, зеленый луг — гладкий, как футбольное поле. По берегам ручья бугрится цветущий кустарник, и в этой части сад напоминает уже чью-то заброшенную дачу. Мадонна с младенцем в компании отцов церкви и святых отдыхает у ручья. Неподалеку — Георгий с маленьким дракончиком. Дракончика тоже взяли в рай как обязательного спутника, без которого подвиг был бы невозможен. Когда меня охватывает тоска по людям, с которыми мы больше никогда не сойдемся на этой земле, я вспоминаю этот сюжет. Пожалуй, именно так я представляю себе возможность рая.

По горизонту выстроились в очередь белые корабли. Закипает весна. Высокий осыпающийся дом, крытый черепицей, веранда со стороны моря. На дворе лают две собаки. Легкая вишня колышет ветви над узкой полосой пляжа. На ней узелками набухают почки.

— Девчонка, у которой мы дом купили, продала его после смерти матери. Это их родовое было гнездо. Поселок называется Лоцманская слободка, здесь еще при Екатерине лоцмана жили. Вдоль канала лодочные сараи, видел? Лоцман встречал на ялике корабль и вел его в порт. Мать Алены вышла замуж рано, за молодого капитана и по большой любви. Очень красиво. Но пока муж был в плаваниях, она то ли не соблюла

себя, то ли наговорили на нее. Здесь все свои, и отцу тотчас по возвращении нашептали. Простить тот не смог и из семьи ушел. Мать начала пить и сторела, не дожив даже до сорока. Перед смертью она бредила, что он ушел в море и не вернулся. Такие вот алые паруса.

— Мне кажется или, о чем бы ты ни говорила, на самом деле — об одном?

— Тебе кажется. Просто это море, северное море, оно такие навевает мысли. Невозможно сидеть на берегу и не воображать, будто ждешь кого-то.

— Очнись! Очнись же! Выходи!

— Я... здесь.

— Что ты видел?

Молчание.

— Я же вела тебя, это обычный тест. Ты шел по тропинке в лесу, потом должен был увидеть сад за оградой. Как выглядела ограда?

— Не было ограды.

— А сад? Как выглядел сад?

— Я не видел сада, Гвен. Там было только море.

То, что жители Нью-Йорка называют Hudson River, на самом деле уже океанский эстуарий, затопленное водами Лоуэр Бэй устье. Атлантика у северо-восточных берегов Америки круглый год колышется серой шкурой, тяжелые волны движутся с тупой неумолимостью вскрывшихся тектонических плит — как будто океан мрачно поигрывает желваками. Подводные течения так сильны, что, когда несколько лет назад затонул паром, шедший на Стейтен-Айленд, пассажиров в сотне метров от берега разметало; никто не сумел добраться до суши. Спасательный катер подобрал нескольких оставшихся на плаву, и даже многих трупов не нашли — их стремительно утащило в открытое море. Вряд ли на этом берегу

могла родиться легенда о человеке, гулявшем по воде, — во-первых, потому что океан не замерзает, во-вторых — вид у него такой, что сразу ясно: это море не позволит себя топтать. Но в любом случае в настолько далекой чужой стране не следует побывать хотя бы потому, что именно здесь тебя обволакивает ностальгическая иллюзия того, как по другую сторону большой воды кто-то ожидает тебя, как чуда.

2

Мальчишки стремительно надрались, и Розенберг предложил «пойти к Мишке».

— Успеешь еще, — мрачно икнул Лажевский в бокал из-под шампанского.

Розенберг недобро сощурился:

— Барабанщика не спросили.

Давние противоречия обострились. Мкртчян облапил за плечи обоих и шуточно возгласил:

— Пацаны, я поражаюсь изысканной лексике нашего за-океанского друга Александра Розенберга. Дорогой, неужто тебе феню в эМ-Ай-Ти преподают?

Для встреч выпускников в четыреста** школе, ныне гимназии, был предусмотрен специальный красный день календаря, который все по обыкновению игнорировали. Забивались, кто где, небольшими компаниями. Лажевский, Мкртчян и Алька облюбовали маленький кабачок неподалеку от станции метро «Автово». Место в любое время года было отмечено тесным рождественским уютом: хрустящие скатерти, свечи и туя на подоконнике. Кабачок звался «Райским уголком»; пошловато, но трогательно. В этот раз здесь присутствовал еще и Розенберг, прилетевший на побывку из Бостона, вскоре должна была подойти Лариска.

— Здравствуйте, мальчишки и девочки!

Ларка поместилась в дверной проем бочком, как крабик: мешал обширный, чемоданом, животище. Над животом в сложенных ручках помещался огромный торт.

— Птичка моя! — взвился Розенберг. Последовали пьяные объятия.

— Ф-фу, Сашка, около тебя закусывать можно... — отбивалась Лариска.

— А где автор? — хихикнул Лажевский, кивая на живот.

— Автору недосуг. С вами, разгильдяями.

— Присаживайся, — внимательный Мкртчян освободил Ларке кресло. — Как самочувствие?

— Руслик, она к тебе на прием пришла или повидаться со старыми друзьями? — обиделся Розенберг. — Ты уж проясни по-быстрому, если что. Мы уйдем и не будем беспокоить...

— Руслан вообще-то на кардиолога учится. — Тихо пояснила Аля Смирнова. Мкртчян улыбнулся ей и махнул рукой. Розенберг уже отвлекся.

— Вы как хотите, а я должен еще с одним старым другом повидаться, — заявил он, во весь рост воспряв из-за стола. — Женщин и не рожденных пока детей оставим на полкового доктора, а пан меня проводит. Лажевский, не правда ли?

— Легко, — Лажевский улыбкой подобрал злые ноздри.

— Почему это оставим? — возмутилась Лариска. — Я только пришла, а вы торопитесь меня покинуть?

— Антоненка, он на кладбище собрался. В твоём положении это неправильные впечатления, верно?

— Лажевский, молчать. Не бойсь, не рожу скоропостижно. Вас сейчас ни один бомбила не возьмет, а у меня личный транспорт.

Понукаемая буйным Розенбергом, компания расплатилась и полезла в Ларискин джип.

— Ну ни фига себе танк, — поразился Сашка. — Лар, а тебе баранка не жмет?

— Пристегнись, земля. — Скомандовала Антоненка, выжимая сцепление.

У ворот Южного кладбища возвышалась часовенка-новодел, торговли к вечеру сворачивали нехитрую погребальную бижутерию: пластиковые венки, искусственные цветочки. Розенберг вывалился из машины и долго шастал в поисках чего-то живого, задумчиво раскуривая дудку. Ласточка моя, — спросил он Альку, — это у вас по принципу кесарю кесарево? Что ты имешь в виду? — не поняла Смирнова. То, что мертвым — живых цветов не положено... Лажевский пропал, а сейчас бодро вышагивал от метро со снопом белых гвоздик. Кладбище закрывалось, сторож не хотел пускать. Мы ненадолго, — заверил его Сашка, толкая в жесткую ладонь купюру. Мкртчян поболтал ополовиненной бутылкой красного вина. — Беленькой надо было, — с сомнением сказал он, отхлебнув. — Я взял, — кивнул ему Артур Лажевский. Гляди, предусмотрительный какой, — скривился Розенберг. Пошли по аллее. Розенберг с Русликом Мкртчяном впереди, дальше — Лажевский с беленькой. Лариска под руку с Алевиной — шли медленно, отдыхая. Хорошо здесь, наверное, гулять, — мечтательно заявила Антоненка. Высокие деревья в сумерках вставали угольными стволами; где-то высоко над головой взметались бисерными брызгами свежей листвы. Жирная земля щедро выкидывала побеги молодой крапивы, инопланетные свечки хвощей и папоротника. Ау! — разнеслось дальше по аллее. Мишка, друг, где ты?!

— Мамма мия, — пробормотала Лариска. — Он же пьян в дупель, да еще и накурился. Щас будет.

Розенберг умчался вперед, а Мкртчян, наоборот, приотстал.

Когда свернули на нужную дорожку, в ее конце уже друг против друга стояли Лажевский и Сашка. Торчали у помпезной плиты с надписью вязью: «Вячеслав Медведев». Плита была сделана в виде листа старинной летописи, пояснение:

недолго жил ты среди нас, ужасен был твой смертный час. Розенберг, по-хозяйски воткнув ступню в легкой кроссовке меж ячейками ограды, сотрясался от мелкого смеха: кто это, как это? Причитал он. Кто, блядь, автор?

Из мрамора на плите выступает молодое лицо.

— Проходите, — говорит Лажевский: отодвигая дверцу, он морщится. Саш, ты бы поприличней, — попытался урезонить Розенберга Мкртчян. Входя в оградку, Руслик торопливо крестится. Девчонки стоят в некотором отдалении, Лариска плотнее запахивает курточку — апрельские сумерки, стремительно холодает. Лажевский расставляет на столике водку, пластиковые стаканчики, закуску — хлеб и твердую колбасу. Рядом с Мишкой громоздится пустая плита, а по другую сторону, ближе к растущей прямо в ограде сосенке, — обмыленный дождями деревянный крест. Розенберг шатается внутри с риском обрушить хлипкий столик и резную скамейку: Братва, да здесь прямо некрополь! Угомонись, — осаживает Лажевский. Это его брат делал, Борис — вот здесь, — для себя оставил место. Практично! — соглашается Саша. А это что? — Розенберг остановил свой сумасшедший танец около креста. В сумерках светится прибитая фотка; нечеткая веселая физиономия. Фотка вроде как старая, — бормочет Розенберг. Это никак папаша их? Я думал, они не местные...

Лажевский молча делит букет напополам; вторую горсть отдает Альке, свои гвоздики бросает поровну. Розенберг присаживается к кресту, вглядывается в фотографию.

— Вы что здесь, совсем очумели? — после недолгого молчания говорит он. — Я слышал, он к матери в Штаты уехал — а это, как ни крути, еще не повод хоронить насмерть, — голос Сашки звучит почти жалобно.

— Присядь, Саш, — советует Артур. — Это все Бориса идея была, тела-то так и не нашли.

Алька тянется к водке; рядом с Артуром на скамейку. Ну, не чокаясь, — кивает Лажевский.

— Фотка-то, — никак не может уgomониться Сашка, — из выпускного альбома. У меня тоже такая есть. Я помню, он вас как раз год не довел... Потом в аспирантуру пошел, но что-то не получилось, и он к матери в Нью-Йорк уехал. Она музыкантша, на аккордеоне играет, замужем за штатником.

— Он нас год не довел, а из аспирантуры вылетел, — говорит Мкртчян. — Его призвали в армию, во внутренние войска. Мишка с ним по этому поводу и сцепился. Медведева и Артура, они вместе были, арестовали за нападение на офицера при исполнении. Лажевский вон отмазался, а про Мишку нам потом сказали, что он в тюрьме умер. В общем, дело темное. Что с Андреевичем после этого стало, я не знаю — кто говорит, что уехал, кто — что перевели его служить куда подальше. А Борис крест поставил и фотку прибил со смыслом, что мол, все равно рано или поздно до него доберется и рядом с братом положит.

— Я не отмазался, — тихо возражает Артур. — Меня эти, — он кивает на крест с фотографией, — Даниил Андреевич и Борис, они меня вытащили. Я действительно слабину дал и протокол подписал, но автоматчики и так все без меня знали. А Мишка у Андреевича пистолет подрезал, когда мы били его. И Ворон был не при исполнении, и не ругался он с нами вовсе, просто домой шел, а мы тогда политблудием увлекались и решили его подкараулить и вломить за поруганные идеалы. Потом он меня к бабке в деревню Кеттеле увез прятаться, и дальше все без меня было... Про Мишку я только через полгода узнал.

— Мишку в ИВС забили. — Из темноты выступает беременная Лариска. — На похоронах только мы с Алькой были, нас Боря позвал. До этих не дозвониться было, слились все разом. У Мишки на лице был во-от такой слой грима, и глаз закрыт повязкой. Ему глаз выбили на допросе. А Даниил Андреевич помочь обещал, клялся Боре, что вытащит Мишку,

рубашку на груди рвал... гимнастерку, то есть. Боря поверил. А ведь сразу было понятно, что у Каркуши кишка тонка. Он только болтать у нас был мастер... Вот захер он в реальные полез дела? Сидел бы в библиотечке над своими стишками трубадурскими — всем бы спокойнее было... Когда Боря ему предъявил, Андреевич язык распустил, по обыкновению. Начал оправдываться — не виноват, мол, даже на Бориса валить начал. А Борька тогда сумасшедший был от горя, ну Данила и огреб... За компанию. Боря потом так переживал, что крест ему рядом с братом поставил. А что делать было? Вон, Алька до сих пор ему Мишку простить не может — как не приходим, Мишке цветы положит, а Каркуше — никогда. А вот Боря простил.

— Ага, — усмехается Лажевский. — Кто кого прощать должен — вот вопрос! Андреевич из кожи вон помочь хотел, просил всего только, чтобы пистолет отдали... А Борис следака по нашему делу чуть в бане не сжег, после этого они там вконец озверели. Начальник Дани нашего проговорился, что за Борькин беспредел собирается грохнуть Мишу на свалке, вроде как при побеге. Андреевич побежал к Борису, навел его на конвой. Время сказал и место. А Мишка уже мертвый. Его в тюрьме... Ну, и Борис нашел виноватого... Избили и вывезли на залив. Ночью, в феврале-то месяце. Просто убить у этого гада рука не поднялась, они его раздели и на льду помирать бросили. Так вот Данила и огреб... так ты сказала, верно? За чужую дурость. А если бы положил на нас обоих тогда и не рыпался, то действительно до сих пор бы... Ларочка, «трубадурские стишки» — это куртуазная поэзия называется. Как тебя ни учил Каркуша, а все без толку. — Артур усмехнулся, встал и потянул за собой Альку. — А Смирнова цветов сюда не носит, потому что не верит до сих пор. Тела-то не нашли. А как его найдешь? Был да сплыл Данилушка. В Америку, как Розенберг грит... Своим ходом.

3

Море выпустит холодный серый язык меж двумя слипшимися льдами и, шипя, увлечет зимнюю добычу. Мертвый стукнется коленками о дробящуюся кромку, пузырьки и льдинки блуждают в воде. Первое настоящее тепло и первые шторма, пьяные чайки уносятся в сторону берега, грязь безумствует по-весеннему. Если случится чудо, рожденный в день святого Андрея отправится по воде и среди больших кораблей тихо всплывет в город на загривках волн. Бледное солнце зеленеет в запотевшую медь, облака проносятся большими составами с разных сторон света, из островной и континентальной Европы, из Востока и обеих Америк, даже из наших теплых низовьев, где Волга и на бахчах тренируются половцы резать саблями кровожадные арбузы. Льдина уйдет по реке к восточным предместьям, но в узком горле залива першит, застревает, кто-то изрежет вмерзшие в кровь босые ноги, пока по тающему мелководью доберется-таки до берега, берега.

Разо¹ первое

Пятнадцать шагов по белому чистому снегу

О если бы птицы пели а облака скучали
и око могло различать, становясь синей
звонкую трель преследуя, дверь с ключами
и тех, кого больше нету нигде, за ней

И. Б.

1. Фрактал

Легкий, звонкий автобус влечет ее вдоль берега. Будний день, и нет даже этих оригиналов, редких безлошадных дачников, что почему-то прикипели к холмисто-болотистому захолустью. А местных здесь вообще немного. Линия дороги неверна — рушится обрывами, стелется легкими песчаными пляжами. Дорога от Петербурга до Ивангорода и Усть-Нарвы, южный берег Маркизовой лужи. Шведский королевский тракт, еще раньше — старая новгородская дорога; нынешнее шоссе повторяет их линию с точностью, какую редко увидишь в чертах потомка. Алька выйдет на полпути, в окрестностях деревни Вистино, что на Сойкинском полуострове. Там стоит археологическая экспедиция Петербургского университета. Копают жальники, шведскую часовню и древние захоронения ижор — автохтонного населения южной Ингерманлан-

¹ Razo (*окситанский*) — буквально: «причина», прозаический комментарий к стихам трубадура, содержащий, как правило, версию его жизнеописания.

дии. В кресле напротив дремлет Артур Лажевский — друг и проводник. Он и устроил Альку в экспедицию техником, зарисовывать найденные артефакты. У Артура там друзья, Алька никого не знает, но Лажевский сказал, что это хорошо — новые люди и новые красивые места. Артур считает, что ей давно следует проветрить голову и начать жить как сначала. Если человека не вернуть, — заявил он, — то можно побывать в местах, которые он любил, и сблизиться с людьми, которыми движут похожие устремления. Раз ты все равно не забудешь, не забываешь никак, то можно попытаться войти в его мир. Там тебе будет лучше, поскольку его мир — часть его души. А часть, как известно, подобна общему.

— Ты знаешь что-нибудь о теории фракталов? — Артур отвлек Альку от созерцания пробегающего за окнами автобуса пейзажа. Они спускались с горки, и панорама залива постепенно сменялась лесистым тоннелем. Артур смотрел на нее легким, чуточку грустным взглядом.

— Слышала что-то.

— Ты стала нелюбопытной. Фрактальная симметрия — это подобие не зеркальное, но на основе структуры, общих принципов устройства. Вот, например, посмотри на это большое дерево... — Артур кивнул в окно. — На что оно похоже?

— Оно похоже на дерево. Кажется, на ясень.

— А еще?

— На рябину, но это не рябина. Это ясень.

— О чем тебе напоминают его ветви?

— Они напоминают о том, что уже весна.

Артур засмеялся.

— Они напоминают твою кровеносную систему. Они напоминают систему бассейна любой реки с малыми и большими притоками. Они напоминают сетку дорог. Они напоминают сеть лиственных прожилок, и это при том, что каждый лист является частью дерева. Экспедиция, в которую я тебя устроил, люди, с которыми ты встретишься там, моти-

вы, которые движут ими в жизни, — это часть того, чем жил твой Даниил Андреевич. Это часть его мира, его личности, которая подобна человеку, так же как лист подобен всему дереву. Подобен сетке дорог и рек — наземных и подземных, подобен твоей кровеносной системе и кровеносной системе Земли, так же, как любое творение подобно Богу. Иначе и быть не может.

Алька слабо улыбнулась и снова посмотрела в окно.

— Ты еще скажи, что смерти нет.

— Смерть подобна жизни, поскольку является ее частью.

— Умница. Достойных софистов учат на твоём философском.

Лажевский только пожал плечами.

Старый дом; бурые потеки вдоль стены, каменный остов строения запотел мхом. Дальше — цельные бревна, внутри — русская печь и две избы — летняя и зимняя. Стропила крест-накрест, почерневшие, резные птичьи головы громоздятся над крышей.

— Вот здесь у нас девичья, — хозяйка провела Альку и Артура в обширную выхоленную спальню и замерла в дверях. — Молодые люди в соседнем доме стоят, наискосок через улицу.

— Вишь, и с нравственностью здесь все в порядке, — подмигнул хозяйке Лажевский. Та молча закинула на плечо полотенце и ушла на свою половину. Артур хрустнул пальцами и повел носом в стороны — начал осматриваться. Ну-с, — суетился он, — вот и печка масляная... счас врубим, будет тепло. Девчонки появятся, определяют тебе кроватку.

Панцирные кровати стояли в два этажа и все казались занятыми. Алка остановилась посреди комнаты и рассеянно спустила с плеч лямки рюкзака. Лажевский бегал вокруг и деловито обживал пространство. С улицы потянулись голоса. Дверь распахнулась; разговаривали уже в коридоре. Галин

Иванна, ну что вы, зачем. У нас своей жратвы знаете сколько? Да и девки мои все равно к мальчикам ужинать пойдут. Опять полночи песни орать... Ольга Николаевна! — возвысил голос Артур. Кто это там? Ни фига себе, кавалеры сами приперлись. В комнату заглянула кругленькая тетя, пропела высоким голосом: О, Лаже-евский... Здравсте-приехали, с корабля и по бабам. Не, ну как вам это нравится? Ему наших не хватает, он с собой притащил.

Она куриным жестом хлопнула себя по бедрам.

— Ольга Николаевна, я вам художницу привез. Помните, мы с вами на факультете говорили?

— Помню, — Ольга Николаевна сощурила внимательные глазки, вскинула ладонь поздороваться и тут же убрала, машинально вытерла о штаны — грязная. — Виноходова, Ольга Николаевна. Главная тут вроде, — она будто виновато развела руками и улыбнулась.

— Алевтина Смирнова, — высокая девушка с бледным лицом, густые волосы рыже-золотисты, острижены чуть выше плеч.

— По-моему, ей у нас не нравится, — моментально за ключила Ольга Николаевна. — Только приехала, и уже пригорюнилась.

— Мне нравится. Очень, — произнесла Аля и вздрогнула, смутившись своего голоса — так определенно, почти резко это прозвучало.

У времени есть своя биохимия. Настроение, которое поутру дремлет, к вечеру, скорее всего, обострится и неизвестно еще куда заведет. Развинченная трудами дня логика поступит в распоряжение чувства и с радостью оформит самые фантастические идеи. Перебродив и истомившись долгим дорожным днем, Аля не просто готова была признать, но кожей ощущала правоту Лажевского — чуда не будет, потому что оно уже здесь. Пока соседки — маленькая аспирантка Оля Бондаренко, громкая грубоватая журналистка Шура

и рыжая эстонка Тесса — копошились в комнате, вытряхиваясь из заляпанной рабочей одежды, прихорашивались и переодевались к ужину; пока Лажевский подлизывался к Виноходовой, напрашиваясь на позволение потусовать пару дней в расположении экспедиции; пока суетилась хозяйка, пахло печеной пшёнкой, а западные окна подергивались желто-розовой закатной корочкой, Аля выскользнула из дома и присела на белесую от времени деревянную скамейку. С карандашом и блокнотом. С течением времени бумага и карандаш все больше были необходимы ей для элементарного контакта с миром; как эстетическое чувство делало вооруженным глаз, сообщая происходящей дурной нелепице осмысленность художественного произведения, так грифель или кисть укрепляли, усиливали любой жест, и одновременно — защищали его необходимой опосредованностью. По природе открытая и яркая, почти задира, Алька с детства испытывала проблемы в общении из-за своей глубокой и сильной, точнее сказать даже — яростной, эмоциональности. История, случившаяся три года назад, которую они неделю назад в лицах разыграли на кладбище на манер античной трагедии, перепахала ее сильнее прочих. Никто из их маленького кружка не удивлялся этому — для Лары, Руслика и Розенберга она оставалась подружкой Славы Медведева, или Мишки, как его прозвали еще в школе. Лажевский долго и терпеливо догадывался о чем-то, пока она не сдулась терпеть это молчаливое понимание и не рассказала ему историю, услышанную от пьяно кающегося Бориса на Мишкиных похоронах. Артур отреагировал спокойно — только прикрыл рот ладонью и посидел так с минуту. Да, сожрали мы Каркушу. Выходит, так, — резюмировал он. Эта интерпретация их и сблизила. Если переживание Мишиной смерти лишь подтверждало ей угрожающую природу мира, то страшная и нелепая роль того, второго, указывала на слепую несправедливость этой природы, на опасность,

от которой принципиально не существует защиты. Живи как угодно по своим законам; умирать все одно придется по одному общему беззаконию: *urbi et orbi*, городу и миру, которые присвоят тебя и сожрут.

Небо волновалось перед закатом, сизо-синие облака мягко вспыхивали персиковым исподом, нежились на излете апреля. Между ними лучилась гордая безвоздушная лазурь, и высокие ингерманландские сосны, как лапки крошечных насекомых, затлевали на солнечной свечке, что ухала, чуть не шипя, в залив. Как бы ни было, что-то в пейзаже властно противилось страху и безысходности, словно признавая их — целиком, до дна, но с какой-то веселой неумолимостью, как целое признает часть — и не по соображениям подобия даже, но по признаку непреложного свойства, сродства, как дерево признает жучка, что живет внутри и точит его корни, и когда-нибудь непременно убьет, но существование которого не отрицает ни коры, ни листьев, ни семян, ни сердцевины.

— Аленька, познакомься с Оленькой, — Артур выскочил на крыльцо, насвистывая что-то бравурное. При виде меланхоличной Альки интонация изменилась, и он заголосил неожиданно тоненько: Все подружки по па-арам... Разбрелись, ой, разбрелись... Только я в этот ве-ечер засиделась одна.

— По селу разбрелись, — поправила его Оленька.

— По селу. Разбрелись по селу, — легко согласился Артур. — Как вам будет угодно — по селу так по селу, по деревне, райцентру, поселку городского типа, по нашему микрорайону.

Оля смеялась. Артур чувствовал себя в своей тарелке и радостно вертелся юлой.

— Эх, яблочко, да куда ка-атишься... — пропел он и расхлябанной походкой направился через улицу. — Простите, девочки, я должен подготовить кабальерос к вашему визиту. Сегодня в клубе будут та-анцы... Шманцы.

— Смешной, да? — кивнула Альке аспирантка Бондаренко и быстро улыбнулась. Олю действительно так и хотелось назвать Оленькой — крошечная, как ребенок, веселые зелено-голубые глаза, нежные щеки.

— Ага, обхохочешься, — тихо согласилась Смирнова, и у Оли улыбка исчезла, лицо стало непонятливо-растерянным. Аля захлопнула блокнот и ушла в дом.

Три года назад Алька всю весну просидела, запершись в комнате. Натурщик Антон привез ей голову Давида, и она с каким-то исступлением рисовала ее, строила и уводила в тон. Ловила себя на том, что ей все время хочется положить эту голову набок, как мертвую — она ведь и так напоминала мертвую, со слепыми глазами без зрачков. Давным-давно, в детстве, смерть уверенно связывалась у нее с опущенными, как шторы, веками — потому она боялась закрывать глаза, когда засыпала, и пугала этим маму и воспитателей в детском садике. Как-то от нее забыли выключить взрослый фильм, и она увидела на экране человека, горящего заживо, и долго не могла поверить, что он погиб, утверждая: мамочка, он жив, жив, потому что глаза открыты. От эскиза к эскизу Давид все больше напоминал Даниила Андреевича; устав бороться, Алька так его и завершила — энергичное скуластое лицо татарского конника на нежной и гордой семитской шее. Только к глазам не притронулась, оставила открытыми, словно вопрос, но — без зрачков. Они смотрели сквозь, ни живые, ни мертвые, с какой-то волшебной всевидящей насмешкой. Летняя сессия и пленэры прошли, как во сне; осенью мать устроила скандал, и Альке пришлось притвориться, что она в себе. Стала аккуратной и внимательной. Почему-то только в ноябре месяце, перелистывая альбом, она внезапно вспомнила, что у настоящего флорентийского Давида есть зрачки. Статуя смотрела куда-то в сторону с легкой полуулыбкой, и ее как подбросило. Тогда она по обыкновению ушла на залив, подумать. Зарядил слепой снег, снегопад окунул все проис-

ходящее в молочную мглу, когда в двух шагах ничего... Алька вышла на тонкий, пухом укрытый лед и шла долго, не видя перед собой ничего, кроме этой мягкой, матовой, такой ласковой мглы. Потом обернулась — берега не было видно, и не было видно даже ее следов; она висела в бесконечной мягкой белизне, которая изнутри еще и лучилась безмолвным вечерним светом. Где-то впереди заходило слепое солнце светлого и пасмурного осеннего дня, и белая муть светилась, светилась, светилась.

Невесомый восторг приподнял ее — это чувство тем более соответствовало, что и ступней, которые касались занесенного льда, уже не было видно; хлопья снежной взвеси не жили, обволакивали, касаясь щек; она казалась сама себе мягкой меховой варежкой, вывернутой наизнанку, — так вот какая я внутри! Из этого не хотелось возвращаться, но она вспомнила мать, пугавшуюся даже ее бессмысленно распахнутых глаз, и повернула к берегу.

В мальчишеской избушке гудела гитара — тощий бородастый парень отстраивал басы; звенела и грохотала посуда. Кругом плясал веселый полумрак; заросшие парни сидели кто где, девчонки — с ногами на кроватях. Оленька расставляла чашки, опрокинула крышку с дымящейся кастрюли. Запахло вкусно. Артур затакивал в разъявленное горлышко печки полено. Обернувшись на шаги, он закрыл дверцу, отряхнул руки о колени и весело дернул подбородком в ее сторону.

— О! Вот и наша бука пришла.

Высокий тощий парень с кукольным лицом императора Павла вскочил и принялся помогать Альке снять куртку. Проходите, пожалуйста, — галантно и неловко суетясь, император опрокинул стул с наваленной на него одеждой. Растерялся и стал подбирать вещи, роняя то одно, то другое. Задел черенок лопаты, на пол повалились инструменты, щиты и доспехи. Парень в дредах поднял голову от гитары и заорал поставленным голосом:

— Бэрримор!

— Что? — откликнулся огромный бородатый детина.

— Железо, сволочь! Железо твое упало...

— Генрих, — высокий выпрямился и вновь склонился, прикладывая руку к груди. Алька очумело вертела головой. Бородатый мягко отодвинул ее и собрал амуницию, вынес в сени.

— Это вы здесь все... раскопали? — спросила Смирнова. Лажевский рассмеялся.

— Ага, щас. Реконструкторы... — кивнул на Генриха, — всюду со своим барахлом. Подожди, утром еще показательный махач в твою честь устроят.

— Тренировку, — поправил бородатый, — Бэрримор. Можно Леша.

Гитарист поднял руку.

— Ридли. Иначе нельзя.

Все засмеялись.

— А я Генрих. Иначе никак, — повторил высокий. — Папа с мамой назвали.

— Он же сэр Генри, — пояснил Ридли. — Бэрримор! — вновь заорал он.

— Слушай, ты потише можешь? Не на плацу, — пробасил из дальнего угла крепкий хлопец в застиранной гимнастерке.

— Я голос разрабатываю, — извинился Ридли и замолчал над гитарой. Та вновь загудела — дзынн!

— Вот погоди, приедет Андреич, он вас, клоунов, построит, — не унимался парень.

— Как? — весело спросил Ридли.

— Шеренгой по два. И на счет раз-два-три — вальс!

— А вот это — поисковый отряд «Ингерманландия», — пояснил Артур. Парень в гимнастерке откозырял, проходя мимо с чайником. К пустой голове не прикладывают! — оборзел ему вслед Ридли.

— Что призадумалась? — приобнял Альку Артур.

— Слушай, а у вас здесь нормальные археологи есть? Ну, которые копают...

— А мы копаем! — донеслось из разных концов комнаты. И где ты видела нормальных археологов?

После еды — картошки с сельдереевым корнем и сушеным укропом, все томленное в печке, поверху жирная китайская тушенка, подтекающая железной смазкой, после душного тепла и курева, впитывающегося сквозь поры, — сидевший по левую руку поисковик Сережа смолил махоркой, справа Бэрримор подумал и раскошегарил трубку, — после кислотоватого глинтвейна типа компот, с вялеными яблоками за неимением цедры, Альку тихо и благостно повело. Ридли посматривал на нее из-под шапки дредов, весело; Оленька с Генрихом и Тессой тихо шептались, с их стороны то и дело доносились странные слова, вроде вышедшего из употребления английского обращения *thee*. Лажевский сидел на тканом половичке у ее ног, возился и бурчал, как кошка, норовил пристроить голову на колени. Алька не сопротивлялась; сквозь сумрак и туман в голове эти новые люди мелькали, как череда стоп-кадров: шелковые белесые волосы Лажевского, веером рассыпанные по ее обтянутому вытертым денимом коленкам; астеничный профиль парня по имени Ридли; танцующие в бешеной жестикуляции паучьи пальцы Генриха. Генрих, окруженный девушками, хорохорился, как это делают книжные мальчишки, совершенно непривычные к вниманию. Время от времени кидал на Сережу в гимнастерке гордый и неуверенный взгляд; подбрасывал заковыристую английскую фразу, смешно коверкая произношение, и повторял — ву компране? Компране, — наконец сподобился Сережа, — ты же знаешь, я на таком английском не говорю... Только читаю. Генрих был доволен. Он обернулся к Оленьке и щелкнул пальцами. Включился Бэрримор, продул трубку, и, набивая по-новой, принялся разговаривать стихами. Му

heart in the highlands, my heart is not hear. Wherever I wonder, wherever I rove... Ридли дернул струны и провыл неожиданно низким голосом: — Вспомни мезозойскую культуру — у костра сидели мы с тобой. Ты мою изодранную шкуру зашивала каменной иглой.

Алька тихонько засмеялась. Эта занятная какофония, когда цель высказывания одна и та же, но каждый говорит сам за себя и тщится соригинальничать; настолько ей это показалось мило, смешно и плоско. Ничего бы не изменилось, говори они хором и в унисон одну-единственную фразу с различными интонациями. Но тут в ответ на гитару Ридли пошел хор. Кажется, он набрал какой-то код —

В дымной сталактитовой пещере,
Где со стенок капала вода,
Анекдот времен архейской эры
Я тебе рассказывал тогда.
Ты иглой орудовала рьяно,
Не сводя с меня мохнатых век.
Ты была уже не обезьяна,
Но, увы, еще не человек.

Без слуха и голоса басил Бэрримор; резко, будто подлаивая, выкрикивал Генрих; пели девочки, и густо вел свою линию Ридли. Сережа молчал и вертел в пальцах скрученный в папиросную бумагу табачок.

— Это истфаковский фольклор, — махнул он русыми ресницами, когда они закончили. И добавил, будто пытаясь оправдаться: — По-моему, довольно забавно.

— По-моему, тоже, — согласилась Алька. Вместе с тем, никогда она не чувствовала себя дальше от себя, чем в компании этих ласковых, пьяных от тепла, еды, любимой работы, ничтожных градусов и друг друга бессмысленных людей. Как Артур мог подумать, что это то, по чему она скучала? Лажев-

ский сосал глинтвейн из железной кружки и выглядел как дома. Сережа запалил сигарку; потек горьковатый дымок.

— Прости, я не выделяюсь, здесь просто нормальных сигарет нет, — объяснялся он.

— Ничего страшного.

— Знаешь, у меня был случай... Я заканчивал учиться и подрабатывал охранником в кабаке. Просто — деньги нужны были. Это был настоящий грошовый шалман, туда даже бомжики иногда заходили взять соточку. В один прекрасный день мой университетский приятель, который мог позволить себе изображать золотую молодежь, завел ко мне товарища-иностранца. Товарищ был из Корка; после двухсот мы заговорили о Джойсе. У ирландца был культурный шок — представь, охранник в шалмане поддерживает разговор об «Улиссе». Мне кажется, ты сейчас напоминаешь этого алиена — тебе кажется, что Генрих, например, пытается произвести впечатление на Оленьку, а Лажевский — понравиться тебе. Это не так. Вернее, не совсем так. Они взаправду этим живут. Вот этот их ломаный староанглийский, мелодекламация пьяная — это такой нераспространенный культурный код. Таким образом узнают своих. Я не то чтобы разделяю, но сильно сочувствую. Еще я помню, как мне тогда было несколько неудобно — перед этим ирландцем, который искренне, наверное, полагал, что есть люди, предназначенные пасти овец, а совсем другие — разговаривать о Джойсе. Замечательность нашей страны в том, что овцы и Джойс вполне могут сочетаться. Не исключено, что это единственное по-настоящему стоящее завоевание коммунизма.

Ридли дергал гитару; на середину горницы вышла Оленька с Бэрримором-Лешей. Они медленно и нежно танцевали.

— Пусть говорят о чем угодно. Я неуч и мне интересно. Только я не уверена, что им на самом деле есть что сказать.

— Принято, — кивнул Сережа и распечатал водку.

— А кто такой Андреич?

— Мой заместитель. Политрук отряда «Ингерманландия». Пишет диссер по вассальным племенам Новгорода Великого и потому в фаворе у Виноходовой.

Танец закончился; сводный хор археологов захохотал теперь «Дойче зольдатен унд официрен». Сергей поморщился: никак не могу отучить остолопов от этой неразборчивости. Всё шутки им. Встал, поддернул гимнастерку и снял голоса одним жестом, в тишине пощелкал пальцами, запел точным хрипловатым тенором: Не для меня придет весна... — уже пришла! — отклик. — Не для меня Дон разольются. — Ура! — Там сердце девичье забьются... С восторгом чувств, ура, ура.

— Эй, кто в поле, отзовися! Эй, кто в лисе, откликнися! Иде з мени вечеряти, мое сердце звеселяти!

Алька вздрогнула и для верности еще раз плеснула себе в лицо студеной, отдающей железом водой из рукомойника в саду. Нет, морок не пропал. В утреннем тумане по брусчатой деревенской улице продвигался всадник на богатырской стати лохматом битюге, в намокшей советской плащ-палатке, с буйной черной копной на голове. Копыта коня железно клацали по булыжнику, за плечами у всадника — охотничье ружье, к седлу приторочен вещмешок и какие-то длинные штуки, обернутые брезентом и также напоминающие стрелковое оружие.

— Над буджацкими степами идут наши с бунчуками... а я с плугом и сохой, по-над нивою сухой!

Из мужской избы показался Сергей.

— Андреич, кончай горланить, девочки спят еще. Что у тебя там? Давай соху...

Всадник легким движением шенкеля остановил коня, отстегнул ремни и осторожно передал Сергею брезент с седла.

— Что это?

— «Гочкис», прикинь. По частям, конечно, но сам факт...

Сережа присвистнул.

— Еще наших целое отделение нашли, с сорок первого.

— Кадровые?

— Похоже да. Восьмая ударная. Две гильзы в полной сохранности, хоть сейчас родственникам сообщай.

— Спать будешь?

— Да хотелось бы.

— Ну давай, там с вечера еще что-то похавать осталось вроде.

— Не, я сейчас чисто о подушке мечтаю... А что похавать?

— Картошка.

— Норм! Поставь греться, я сейчас животное Власия обихожу и приду.

Прибывший с некоторой даже молодцеватостью, перебросив ногу через переднюю луку, соскочил с битюга; плащ-палатка с тяжелым шелестом скользнула следом. Взял Власия в повод, стянул с головы мохнатую овечью шапку. Морок рассеялся — у парня были светлые волосы. Медово-русые и явно давно не мытые.

— Рот-фронт! — внезапно отсалютовал парень Альке через улицу.

— Но, — улыбнулась Алька. — Но пасаран.

— Это уж точно! — засмеялся он. — Ворота открой-от, не хочу хозяйку беспокоить.

Алька метнулась к воротам, некоторое время возилась с закрученной ржавой цепочкой. Парень уже подвел битюга и с необидной усмешкой наблюдал за ее усилиями. Цепочка поддалась, скрипнули створки. Крутой конский бок проплыл мимо, обдавая тепло-едким живым духом.

Парень завел коня в сарай, кивнул Але:

— Ты новенькая? Я Андреич. Можно — Вадик. Воды ведро сгоняй принеси, а?

...Мне, знаешь, как на роду было написано Новгородом заняться. Читала ведь у Княжнина про Вадима Новгородского, храброго князя словен? Ну вот. У нас ведь беда с восприятием региональной истории. А Новгород — это не просто региональная, это самое начало начал. Откуда есть пошла русская земля — вообще-то отсюда. В советское время были сделаны удивительные открытия — Янин, Кирпичников, но какой-то обобщающей научно-популярной работы никто так и не написал. Я хоть и коммунист, но приходится признать данное упущение. Надо наверстывать... А ты сальца-от в картошечку добавь... Там у ребят есть шматок, в тряпочке.

Алька послушно достала сало, где сказал, взяла доску, нож, настрогала. В кухоньке мужской избы было тепло, пахло едой и почему-то портянками.

...А я тебе скажу, почему — потому что наши реконструкторы носков не признают!

Вадик звучно захохотал, осекся. Время было раннее — начало седьмого, общая побудка в восемь. Вадим приехал из дальнего поискового лагеря еще в утренних сумерках; теперь всю светало, хозяйка Галина Ивановна в усадьбе через улицу уже проверила состояние арендованного археологами Власия, подоила козу Валентину и теперь сновала по двору: вешний день год кормит. Вадик снял свои берцы, поставил сушить, рядом бросил носки (не реконструктор; впрочем, носки вполне могли дать фору портянкам) и присел поближе к Альке и к приоткрытому окну с выставленной зимней рамой, втягивая носом и запах шкворчащей на сале картошки, и апрельский дух приморской деревни — хвойно-йодистый, с нижними нотами дыма и навоза.

...Знаешь, я так люблю этот народ. Вот этих тетенок северных, заботливых без пошлости, суровых без грубости. Приеду, вдохну эти водоросли со смолой и гаром — и чую — мое!

— Твое, — усмехнулась Алька, шлепая перед ним сковородку на старый чугунный кружочек подставки.

— Ох! Картошка, сальцо, яйки! Фриц любит яйки.

...Ты знаешь, кстати, что вот эта приморская Ингрия, ижорские земли, они же фрицев не приняли. Как и шведов до этого. Шведы их в лютеранство крестить надумали, так ижоры в московские земли бежали. Под проклятущее иго, только подальше от свейского барона. Какая преданность — ну, вряд ли русским, себе. А вроде индейцы-индейцами, какая им вроде разница, русский или швед. Но нет. Новгородцы-то с ижорами ласковы были... А фрицы им тут главную деревню спалили, Сойкино. Сойка у них — вещая птица. Пересмешница. Чайки, сойки, гуси-лебеди... утки еще и журавли. Птичье племя. И еще морское — салака там, тюлень — тевяк. А селедочки нету?..

Алька смотрела на Вадима, будто постепенно просыпаясь в реальность и поражаясь тому, что и ей в этой реальности может быть приятно. Как мало надо для этого — человек, который говорит на понятном и правильном для тебя языке.

...А мы еще тут Кингисеппский укрепрайон копаем. Здесь же до войны целый комплекс начали строить — военный порт, город, базу военную на месте урочища Купля и аэродром. Там дачники сейчас, мы к ним пошли, говорим — если что в земле найдете — кости там, звездочку красноармейскую, гильзы тем более или оружие — сразу свистите. Это такие малоизвестные бои и неизвестные герои. Да и вообще этот берег, южный берег залива — берег царский, так до революции называли, и берег воинский, тоже еще при Империи пошло — Военно-Ижорская дорога, форты, закрытое все, главный калибр фигачит с берега... После развала советской родины посыпалось все, что сейчас в этих вэче за колючкой творится — даже главкому не ведомо. Пару лет назад солдатыка рыбачки со льда сняли — наверное, сиганул от дедовщины, побег по заливу в Финку, как Шкловский. Привезли с обморожениями третьей степени в местный лазарет, потом в Сосняк на буханке отправили. Страна моя родная...

Андреич клевал носом над сковородкой, Алька стояла у плиты и трогала закипающий чайник ладонью — пока не почувствовала, что ладонь начинает прилипать.

2. Адам

...Сначала мы это делали с помощью лошадей. Потом, понятно, уже тракторная тяга пришла. Ну а затем рыбхоз гикнулся, и мы уже как-то по-свойски собирались артелями небольшими и выезжали на лед. В тот раз дяди Коли Печника «Нива» у нас была, и мой вагончик поставили на санки, да на прицепе вывезли — там буржучка у нас, то-се. Как раз под утро завели машину и зачали вытягивать сеть. То есть даже толком не успели ничего вытащить, потому что в свете фар Петька, дядь-Колин пацан, он за рулем был, разглядел солдатика этого...

Человек небольшого роста показался из-за гряды взломанного льда, он не шел, а скорее передвигался, опираясь то на одну, то на другую руку, на локти, падая на колени и на четвереньки, порой даже просто вниз лицом.

— Бухой, что ли? — поразился Петя.

— До ближайшей выпивки километров с десятков.

— Братцы, да он по форме два! — присвистнул дядя Коля.

— Полуголый, бля... — подтвердил неслуживший пока Петя.

— Харе звиздеть, — сообразил Саня Горец. — Петя, не глушись; Витек, отцепи сеть; похоже, закончилась наша рыбалка на сегодня.

— Так и что, сеточку бросить? — возмутился дядя Коля.

— Потом за ней вернемся. Айда, пока этот морж в майну не ушел.

...Падал легкий снег — и то не снег, а скорее отдельные искры вспыхивали на сетчатке. Данька шел через белое поле, не ощущая холода. Фонари выстилали снег синим. По снеж-

ной равнине тихо ползла поземка, ветер дул в лицо, а фонари светили в спину. Откуда этот свет? С далекого острова, маяка, с небесных островов? Снег из-под ног роем фосфоресцирующих искр относил назад. Он светился все ярче, а тень, что бежала впереди, становилась короче и четче. Донесся рокот мотора. За ним шла машина. На бегу он оглянулся через плечо. Почему-то он знал, что машина именно за ним. Он упал и поднялся. На щеки налип снег, жесткий ветер высек слезы — без очков глаза стали совсем беззащитными. Неподвижные донине звезды замигали неровно и испуганно. Рокот мотора нарастал. Машина внезапно оказалась и встала прямо по курсу. Свет фар бил в глаза. Он еще пытался убежать, когда из автомобиля выскочили двое, подхватили под локти и потащили по снегу. Крохотные лезвия взъерошенного льда пропороли кожу выше линии омертвения, но и тут он почувствовал не столько боль, сколько нарушение целостности покровов: они расходились с еле ощутимыми хлопками.

Ампутацию при необходимости в Сосняке проведут... Да, а что вы хотели? У него на пальцах уже четвертая степень, да ноги еще изрезаны, как он вообще на льду в таком виде босиком оказался?.. А у нас и ванны нет, не знаете, кто баню топит сегодня? Надо его в тепло, пока скорая едет. Ну и дух. Вы его что, водкой обтирали?

— А чем еще, бензином?

Мила Степанна, а спирту не плеснете? У нас вся водка ушла на пострадавшего.

...Маленькое помещение поселкового лазарета: кабинет, смотровая. Фельдшерница Мила Степановна, чуть полноватая молодая женщина с ямочками на щеках, заспанная. В лазарет солдатика завели, опустили на топчан, застеленный клеенкой; поверх, наполовину — простыней с казенным штампом. Мила хлопочет над ним, дядя Коля звонит в скорую, остальные держат совет.

У Семена Механика ванна в бане есть. У него ж Надька городская, он для нее в бане ванну поставил... Мужики, прикинь? Ха-ха! И котел там еще спецом от сети, даже топить не обязательно. Поехали к Семену!

Пострадавший в тепле отключился. Теперь только тащить. В машину на руках.

Мила Степанна, давайте вы назад с моржом. Вишь как: тюлени ушли, зато моржи появились.

Жалко солдатика, молодой совсем. И откуда он нарисовался здесь, среди ледяного февральского залива, вот тебе и день советской армии, и ведь чудом в майну нашу не ухнул, мужики, да? А то лови его потом, человека, когда у дяди Коли сеть на салаку.

...Ватник дяди Коли, в который его обернули, пахнет рыбой, табаком и котами. Дядя Коля спит с котами, рыжим и пегим, летом и зимой на обшитой, но все равно холодной веранде, и поверх одеяла набрасывает ватник. С женой Валентиной они не в ладу уже который год, жена спит отдельно, иногда в отсутствие дяди Коли к ней приходит этот самый Виктор, Витя Косой, который рассказывал про лошадиную тягу. Он знает это потому, что голову поверх марли ему обмотали шарфом Косого, и от шарфа пахнет теми же котами, пегим и рыжим. Коты любят вылеживаться на одежде новопришедших. Дядя Коля знает об этом, и Виктор знает, что он знает, только Петя не знает, да Мила Степанна, потому что ее недавно перевели в рыбацкий поселок, а Сане Горцу неинтересно — он из деревни Горки, чуть восточнее и выше по побережью; Санино одеяло, которым ему укутали ноги, ему дала его мать из Горок, а Санина жена, которая из Вистино и с еванной матерью не в ладах, все время сует ему это одеяло с собой, когда он идет на промысел — авось забудет в бытовке или хотя бы прожжет. Мила Степанна в лазарете наложила найденьшу повязки на отмороженные ступни, кисти рук и даже уши; также она промыла ему рану на разбитой

голове и перебинтовала грудь по случаю перелома одного или нескольких ребер. Повязки должны бы пахнуть только лазаретом — стрептоцидом, марганцовкой, но они также пахнут духами Минг Шу, которые подарил Миле ее ухажер из города Луга, то ли бандит, то ли мелкий лавочник. Даниил Андреевич не видел Милу; все, что он воспринимает сейчас, — это свет или тень, а также запахи. Голоса — отдаленно. Он в том состоянии ватного забытья, когда не надо уже ни за что бороться, никуда идти, и все происходит помимо него; даже если он умрет сейчас, это произойдет, он надеется, так же незаметно. Впрочем, может, он уже умер. Может, он так никогда и не узнает — Мила — это Людмила, Тамила, Милена? Может быть, Камилла, полноправный соавтор поцелуя; на льду ему начинало мерещиться, что вздыбленные глыбы льда — это мраморные изваяния, он полз будто по музейным залам.

Машина останавливается, открывается дверь, впуская пугающий холод; его снова куда-то несут, снимают свежие повязки, срезают брюки вместе с бельем и окунают в кипяток; над ним наклоняется белая фигура, но раньше, чем он успевает вообразить роденовский поцелуй, приходит зрение и вместе с ним боль. Над ним потолок предбанника, темный от березового дегтя, какие-то трубки, бак, полотенца на вешалке и родные мятые рожи северо-западных поселян. Кажется, он даже знает из них кого-то. И молодое женское лицо в обрамлении обесцвеченных, чуть вьющихся волос.

— Эй, мужики, а у его встал или так замерз просто?.. — мужской голос.

— Ш-шш, — женский. — Семен Иванович, или вы, дядь Коля... подите на двор, скорая будет, покажете, как лучше подъехать.

Прозрачная ночь уже к рассвету. Мороз, кажется, понемногу ослабевает; скоро повернет на оттепель. Дядя Коля

и Витя Косой курят на дворе у Семена. Молчат. Подъезжает буханка областной скорой, фырчит в проезде. Мужики кидаются к воротам, со скрежетом отодвигают створки, схваченные льдом понизу. Косой выскакивает в проезд, дирижирует, как вырулить. Машина въезжает задом. Хлопает дверь, выскакивает молодой фельдшер.

— Там он, — сообщает дядя Коля, указывая на баньку Семена.

Фельдшер заходит в баню, мужики теснятся следом, всем нужно принять участие в спасении, не упустить ни одной детали.

Фельдшер и Саня Горец вынимают солдатика из ванны; вода окрасилась в красновато-бурый цвет от порезов на ногах и рассеченной раны на голове, которые по теплу снова начали кровоточить. На шее у солдата виден след от веревки, средняя часть грудной клетки — сплошной кровоподтек. Витя со значением смотрит на дядю Колю, шепчет: вешался, вишь... Допекли!

Солдата кладут на простыню, расстеленную на скамье, промокают воду и кровь на теле.

— Но-шпу ввели? — фельдшер, считая пульс. — Нет? Да что же вы!

Копается в сумке с крестом, вкальвает препарат.

Солдат мотает головой; над коротко стриженным затылком темная копна спутанных кудрей. Мерде, — говорит внезапно отчетливо. Потом: вотжеблядь; для соотечественников. Живой, — улыбаются мужики, будто до этого были сомнения. Раненый туго, низко, не стонет даже — мычит. Подержите его, — командует фельдшер Миле. Наскоро, заново бинтует пораженные участки (неплотно). Затем командует мужикам растянуть одеяло. Вдвоем с Милой они споро сдвигают солдата на одеяло, все вместе его заворачивают. Дядя Коля незаметно пихает ногой под лавку лохмотья форменных брюк, из заднего кармана которых вываливается мятая пачка

«Мальборо». Сигареты дядя Коля забирает. Фельдшер и Горец выносят тело в одеяле из бани, кладут на носилки, уже спущенные водителем из машины. Пристегивают ремнями, вталкивают носилки в скорую.

— Как фамилия пострадавшего?

— Да мы не спросили как-то, не до того было.

Косой наклоняется, заглядывая в буханку: эй, парень! Зовут тебя как? Служивый!

— Да какая разница! — толкает его в бок дядя Коля. — Там разберутся.

Парень не отвечает; его трясет. Мужики прислушиваются.

— Д... Дн.., — это у него просто зубы стучат: предполагает Косой. Да так и пишите — Джон Доу; кивает Саня Горец (его так прозывают не только за Горки, но и за любовь к импортным фильмам).

— Остряки, — качает головой фельдшер и машет водителю: заводись.

Когда скорая отъезжает, дядя Коля, Витя и Саня недолго смотрят ей вслед, потом Косой говорит — ну, что... а дядя Коля, даже не дослушав, разворачивается и дает Вите в глаз. За что?.. — орет Косой. Сам знаешь, — отвечает дядя Коля и выходит со двора по свежей искрящейся колее.

Внутренности этого железного гроба Даньке знакомы. Отцовский сослуживец, флотский доктор, пару раз подвозил их из Питера в Петергоф; после Нового года или Рождества, которое справляли обычно у бабушки на Фонтанке — старорежимные привычки Екатерины Игоревны в восьмидесятые совпали с новыми веяниями в офицерской среде. Приходили гости, отцовские друзья. Кому-то (отцу) за полночь приспичивало ехать в Петергоф. Доктор звонил и просил госпитальную машину. Даньку оставляли обычно, но один или два раза за чем-то укутали, как куклу, и, сонного, погрузили в этот железный, защитного цвета ящик с красным

крестом в белом круге на бортах. Внутри все дребезжало, отец с матерью сидели на металлических же сиденьях вдоль стенок, посреди стоял крепеж для носилок. Иногда и сами носилки. В кабине — матрос-срочник; видна черная ушанка, покачивается. Температура в салоне немногим отличается от уличной. Пахнет бензином, смазкой. Чья-то рука на запястье. Теперь на горле. Укола он не чувствует. Боль сильная, но настолько распространена, что плывешь в ней, как в естественной среде. Больше травмируют тряска и звуки — как из детских кошмаров. Железный скрежет. Лязг. Как в старом бусике, что ходил от школы до дома на бульваре Разведчика, подвеска никуда, бусик сильно подбрасывало. Зимой мы забирались на заднюю площадку и принимались прыгать — шубы и шапки неплохо амортизировали, такой аттракцион. Нас было пятеро, октябрятская звездочка. Как-то автобус разогнался и звездочку разметало по салону, толстенький Петя приземлился на отличницу Настю, Серый долбанулся костлявым задом о сиденье, а мы с мелкой Наташкой, два очкарика, столкнулись лбами и сломали друг дружке оправы. Наташкины очки я заклеил липкой лентой, а мои починке не подлежали. Вечером ждал разнос от отца, а затем резкий жар с бредом — накатила подхваченная в школе свинка, эпидемический паротит, в бреду мне казалось, что я все еду и еду в бусике с товарищами, нас кидает по салону, а вот особенно мощно, товарищей уже практически размотало, во рту вкус крови, кожа горит. Похоже, я уже в аду, на железной сковородке, только вместо плюса черти включили минус.

Фельдшер курит. Раненый двигает губами. Медик дает ему сигарету. Рефлекторно затягиваюсь.

Взгляд на мгновение проясняется.

Назови мне имя, а больше никому не называй. На всякий случай.

— Я Днм...

— Денис? Дмитрий?

Ну, ладно.

Я тоже Дима.

Лязг, лязг — ледяной и железный. Утро конца февраля, город атомщиков, медсанчасть номер тридцать восемь. Небо посветлело и прояснилось окончательно, между тем.

— Михаил Павлович, что с п-подснежником этим, которого утром доставили?

— Подснежником он бы все-таки стал, если б не доставили... Да и то. Скорее подледником... или подводником.

Младший ординатор, тридцатилетний армянин с плечами борца, хрипловато усмехнулся, оценив остроумие начальства. Завотделением продолжал рассматривать на просвет рентгеновские снимки. Кивнул ординатору, ткнул пальцем в один, приглашая высказаться.

— Дв-вусторонние переломы ребер с шестого по восьмое слева, шестое-седьмое справа, левая шестерка и п-правая семерка со смещением отломков, — с готовностью откликнулся младший коллега. — Пункцию сделали, но все равно возможен п-пневмоторакс. Ну и обморожения — на н-ногах, похоже, четвертая степень.

Михаил Павлович, крупный краснолицый доктор с признаками военной выправки, одобрительно погладил короткую седеющую бороду.

— Одно ребро вынем бедолаге. Словно Господь наш Адаму.

— С-совсем?

— Совсем дурачок, что ли, Аванесян? Вынем, но не с-савсэм. Не совсем! — со смешком покачал головой — ой, темнота. — Отломочек вот этот свободный вынем, — снова потыкал пальцем. — Нам его не зафиксировать с наличным ресурсом, я, во всяком случае, не возьмусь. А на ступнях посмотрим, как некроз пойдет, может, и пальцами обойдется. Меня больше интересует, что у него... с головой.

Ординатор тоже присмотрелся к снимку, присвистнул.

— Н-ну, если б здесь перелом основания был...

— Тогда и разговаривать было бы не о чем, мда. Но все же картина странная. Первый раз такое вижу. — Михаил Павлович посыпал профессиональными терминами. Аванесян следил за его мыслью, чуть не взмокнув от внимания. Наконец в дверь постучали, вошла старшая медсестра. Завотделением прервал педагогический монолог и снова погрузился в задумчивость.

— Галина Владимировна, готовьте неизвестного к резекции шестерки. Операцию проведет доктор Аванесян, ну и я на подхвате...

— Ну что, проснулся? П-проснулся-встрепенулся... Лерочка, давайте я сам, — медсестричке. — Разомнусь хоть.

Каталка двинулась по коридору. Говорят, умирающие видят тоннель. Я прямо сейчас его вижу — только он почему-то квадратный и выкрашен наполовину в грязно-зеленый, наполовину в глухой белый цвет. Меня убили или это я кого-то погубил? Ничего не помню, кроме чувства непоправимого... Остановка. Свет. Обжигающе-холодные прикосновения, резкая боль в груди на остальном фоне кажется почти приятной. Блин, он так дышит — ах!.. и обрывается, — слышите, Рафаэль Леонидович? Сим-мптом прерванного вдоха. Эт-то-то понятно. Мне не нравится, что он п-присвистывает. Весельчак фигов. Кольцов с задранными кистями следит поверх маски, ждет. Лерочка, вызовите анестезиолога, — нервно командует Аванесян, — тут помимо новокаиновой нужна паравертебральная, может, и что-то еще, боюсь, мы не справимся, б-без обид. Т-ты не ссы, парень, я вот тоже повоевать успел. Фигово, что вы сами друг друга в-выпиливаете, родные-то люди. Вот кто тебя так, а? Гайтан я у ты срежу аккуратно, рядом положу, не бойся, Он всегда с тобой. Крестик тренькнул в кювете.

«Травма» тридцать восьмой медсанчасти, как и вся больница, была на хорошем счету — все-таки она обслуживала не просто город областного подчинения, но целую атомную станцию. Сюда же привозили подстреленных бандитов, обмороженных рыбаков, дачников, по пьяному делу отхвативших себе бензухой пальцы, и вот таких беглецов от произвола офицеров и старослужащих — их тоже было порядком — благо, в/ч понатыкано по царскому-военному южному берегу — чуть не каждый второй лесок обнесен забором с колючкой и часовыми... После операции доктор Аванесян любил расслабиться коньячком в ординаторской и записать впечатления. Как половина врачей нашей страны, доктор Аванесян хотел когда-нибудь стать еще и писателем.

— Рафаэль Леонидович... позвольте вас на минуточку.

В помещение заглянул заведующим, уже одетый для улицы: в плотной дубленке с глухим серым воротником короткой гладкой овчины. Подобная его подчеркнуто-вежливая манера не предвещала ничего хорошего. Аванесян спрятал коньяк и вымелся в коридор.

— Вы за адамом своим смотрите вообще? Думаете, если имени нет, то и концов не сыщут?

— Чт-то такое, Михаил Павлович?

— Температурный лист посмотрите.

Заведующим резко развернулся и пошел по коридору, бормоча что-то про безмозглых чурок. Легко можно было бы осудить доктора Кольцова за подобное поведение, противоречащее корпоративной врачебной, да и общечеловеческой этике, если не знать, что во время его работы в военном госпитале он как-то потерял пациента, вешавшегося после издевательств старослужащих, спасенного им и затем выписанного его начальником — по дурацкому совпадению, уроженцем одной из закавказских республик — обратно в ту же часть. Там парень повторил свое

предприятие, и на этот раз наверняка. Несмотря на то, что неизвестного привезли в медсанчасть в костюме именно что Адама, Михаил Павлович по неуловимым признакам опознал в нем служивого человека, и взять этого пациента самому ему не позволило разве что странное суеверие. Теперь, спускаясь по больничной лестнице, он, сам не желая того, прикидывал прогноз: на фоне переохлаждения и травмы грудной клетки, конечно же, двусторонняя пневмония. Но, если перевалит кризис и Аванесян не залечит, воякам так просто не отдам. Да и случай ЧМТ интересный. Может и дурачком стать, ну или те, иные нарушения. Посмотрим, посмотрим. К заснеженной остановке подваливал поздний автобус. Доктор Кольцов шагнул на подножку, нащупывая в кармане мелочь.

Обычно врачи избегают слишком интенсивного общения с пациентами — на это, в конце концов, есть средний и младший медперсонал. Не из вредности; при многочисленных профессиональных рисках проще работать не с человеком, а со случаем. Доктор Рафаэль Аванесян вредным и вовсе не был; он даже не делал намеков на поборы, которые давно стали обычными для местного здравоохранения, брал лишь в тех случаях, когда сами благодарили. Он также знал за собою склонность слишком эмоционального отношения, поэтому сторонился своих подопечных даже с некоторой чрезмерностью. Впрочем, с неизвестным Адамом, доставленным голым со льда, словно какая-нибудь треска, общение было затруднено изначально — покамест пациент радовал разве что проблесками сознания, обеспокоенных родственников в ближней перспективе тоже не предвиделось, поэтому в ночь своего дежурства пристыженный заведующим Рафаэль Леонидович проведаль солдатика аж дважды, с тревогой следил за развитием осложнений, а наутро даже распорядился перевести Адама из коридора в палату,

отгородив ширмой, которую обычно предоставляли умирающим. Неудивительно, что новые соседи — инженер-атомщик Валерий, добрый семьянин и хороший работник, попавший в медсанчасть с ЧМТ по гололеду, пенсионер Иван Карпович с переломом шейки бедра по такому же случаю, а также рыбак и алкоголик Семен, обмерзший до ампутации стопы, назвали нового соседа попросту — Мертвяком. А вот среди сестер, заметивших такую заботу старших сотрудников о неизвестном, быстро разлетелся слух о том, что битый-перебитый и обмороженный Адам — на самом деле и не Адам вовсе, а отморозок по кличке Жмур, отвоёвавший первую Чеченскую, а после кошмаривший весь район в составе ОПГ — и вот, когда с ним наконец разобрались конкуренты, доставленный в больницу братьями вместе с щедрой котлетой — засланной Аванесяну или же самому заведующему.

— Ой! — только и пискнула на своем посту медсестра Лерочка, когда ранним утром (в маленьком городке новости ходят быстро) мимо нее прошли трое мужчин в характерно оттопыренных кожаных куртках. — Туда нельзя!

Засеменила на каблучках в палату.

Валерий, Иван Карпович и Семен спали прерывистым сном человека в казенном доме. Первым очнулся Иван Карпович, приоткрыл воспаленные веки и увидел мужика, который отодвинул ширму одновременно с полою куртки, нащупывая там что-то, а следующим движением поднес руку к лицу предостерегающим жестом молчания; почему-то не указательным, а большим пальцем коснувшись губ. К этому моменту проснулись уже и Семен, и Валерий. Мужчины молча смотрели на троицу в кожаных куртках, застывшую у ложа нового соседа. Один из бойцов для верности посветил фонариком телефона Даньке в лицо.

— Не Жмур, нет.

— Но и не наш.

— Хотя досталось крепко.

Старший вынул из бумажника пару американских купюр и положил на тумбочку Ивану Карповичу: пацану на лечение; ну и апельсинов там на общак купи, отец, сока там всякого. Поправляйся. Все, мужики — поправляйтесь.

Хлопнул Ивана Карповича по плечу.

Так же быстро, как появились, они исчезли.

Но это был еще не конец.

Пару часов спустя на отделение попыталась зайти еще одна бригада — ее остановил не охранник, а скорее доктор Аванесян, невыспанный и злой после дежурства, а также вовремя прибывший на подмогу заведующим Михаил Павлович, который, будучи не в духе (то есть почти всегда), обладал загадочной сверхспособностью наводить страх на все пока еще живое.

— Куда направляемся? Без бахил, спрашиваю, куда направляемся?.. Кругом марш, лестница налево.

В середине дня явились милиционеры. Зашли к заведующему.

— Почему не доложили? Огнестрела нет, в сводках по медсанчасти все есть. Хотите взглянуть на хлопца? Пройдемте. Лера, дайте карту... Вот, все зафиксировано... Криминальный характер травм? Не исключаю. Но, быть может, просто упал неудачно или ДТП, что скорее. Почему на льду? Откуда мне знать? Придет в себя — опросите. У нас знаете сколько таких загадочных травм по району? Мужик на спор по пьяни взял бензуху в левую руку и отхерачил себе хозяйство. Жена откусила мужу нос в порыве страсти. Или, вот, недавно — вдова из урочища Яппиля после смерти супруга сожительствовала с цепным псом, в результате ссоры влюбленных получила покусывания спины и плеч, а также травматическую ампутацию левого уха. Предлагаю расследовать.

Милиционеры, похохатывая, удалились.

Михаил Павлович зашел в ординаторскую, где переодевался сменившийся Аванесян, и предложил ему достать назначенный коньяк.

А температура у недавно горящего, словно в адском пламени, Адама — пошла на спад.

— Антибиотики, небось, литрами льете? — пожурил доктора Аванесяна доктор Кольцов за третьей рюмкой.

— Льем, а что делать-то! — заверил Рафаэль Леонидович.

— Ну и правильно, — согласился Кольцов и покатал коньяк во рту, отчего его недлинная густая борода встопорщилась сначала на одной щеке, затем и на другой.

— Лимончиком закусите, — посоветовал ему Аванесян. И нарезал лимон — не тот, что в магазинах, а присланный из далекого южного края и благоухающий, подобно снежному цветку.

Сложнейшая система боролась за существование массой способов: нагреваясь и регулируя теплообмен, атакуя недружественных агентов, штопая существенные детали и отторгая фрагменты, которые уже невозможно спасти; процессы заживления и омертвения шли одновременно, и на сторонний взгляд все это пока выглядело ужасающе. Взгляда же изнутри пока не было, да и быть не могло; химическая фабрика гормонов и нейромедиаторов пригасила сознание, оттягивая неизбежный момент принятия новых условий до момента хотя бы относительной стабильности, когда культура сможет наконец ощутить как свою невозвратную искалеченность, так и необходимость дальнейшего развития с оставленной данностью; и не гикнуться, не сбрендить в самоубийственных конвульсиях, а только медленно и не всегда верно избывать понесенный ущерб.

А пока сползала крепкая приграничная кожа, обнажая дикое мясо, слезали ногти оборонительных систем, отмирали пальчики приморских провинций, тут и там вспыхивали вос-

палительные процессы; хрен вам, а не Кавказ; за Севастополь ответите, — я тоже смотрела этот фильм, — подтвердила медсестра Лерочка. Я тебе, братишка, сейчас укол поставлю, и ты заснешь. Тебе надо спать пока, во сне мы выздоравливаем — если не умираем, конечно. Но ты, я думаю, не умрешь. Не время еще. Не время.

Пациент неожиданно дернулся от иглы, посмотрел осмысленно и подтвердил — у спящего невод ловит. Еводо — расслышала сестра сквозь обметанные коростой губы. Еще и ругается! — фыркнула, зафиксировала горячее предплечье маленькой крепкой кистью, вколола препарат и ушла, бормоча и позвякивая шприцами в контейнере.

3. Там, куда я ухожу

Над дорогой в полуметре от них пронесся стриж, устремляясь к разливам едва опушившейся цветами сныти, где танцевал видимый даже глазом прозрачный рой мошканы.

— О. Полубочка, — засмеялся Андреич.

— Интересно, — Алька. — Облака высокие, гидрометцентр тоже не обещал дождя, а стриж летит низко. Кому верить — птице или облакам?

— Уж точно не гидрометцентру! Ставлю на стрижа.

— А я вот читала, что ерунда это все... ну, что птицы за комарами и мошкой спускаются. Потому что у этих насекомых крылья так вращаются...

— Как у вертолетов?..

— ...что стряхивают любую влагу. Они даже способны пролететь сквозь дождевую каплю, не намочив. Поэтому их перемещения — и комаров, и птиц — не зависят от приближения дождя.

— Ну да... Иначе один большой ливень — и половине кровососов околотка кирдык. Вот бы было классно!

— Им тоже надо жить. Все хотят жить.

Вадим заметил, что Алька пристально смотрит на жирного комара, пристраивающегося на кожу чуть повыше локтя. Смотрит и ничего не делает. Рефлекторно, даже не успев подумать о приличиях, хлопнул ее по руке. То есть по комару, конечно. Она подняла на него глаза, их лица оказались на близкой, совершенно не светской и даже уже, наверное, не на обычной дружеской дистанции. Заметил, что у нее, как у большинства белокожих людей, с первым солнцем уже стали проступать веснушки на скулах, спинке носа и даже одна, крупная, на нижнем веке. Золотистые крапинки, нежная рыжина волос, в ресницах сверкает солнце... и пронзает глубину радужек, будто омут одной из здешних торфяных речек. И еще он с удивлением подметил, что они совершенно одного роста. Надо было как-то выйти из этой неловкости, ну вот он и нашелся спросить:

— А сколько в тебе... сантиметров?

— Метр семьдесят девять, — с полной серьезностью ответила она. — Хорошо смотрится со стороны, но для жизни не очень.

И добавила:

— Теперь мне, наверное, надо спросить про твои?

Без пяти минут кандидат наук Вадим Андреевич Терешонок приоткрыл рот в замешательстве. И только по сверкнувшей из-под обычной холодноватой задумчивости искре в торфяных глазах понял, что над ним стебуются. Прикалываются. Забавляются, как кошка с мышкой.

Густо захохотал, скрадывая неловкость, и заверил:

— У меня всегда будет на сантиметр больше, чем у тебя. Метр восемьдесят.

В ответ на это тяжеловатое остроумие в ней что-то погасло. Вильнула собранным медовым хвостом — коротким, как косица гренадера осьмнадцатого столетия, да и ростом вышла — с внезапно подступившей неприязнью подумал

он, и тут же что-то нежно дернулось внутри — когда прядки скользнули по высокой и легкой шее.

— Ну, я пошла... рисовать древность.

— Подожди, — спохватился Андреич, не желая отпускать ее на этой ноте, — дам тебе какого-нибудь волосатика в сопровождающие, все ж национальное достояние... и она, и ты.

Алька, не покупаясь на прямую лесть, взвесила на ладони убранныю в пластик редкость.

— И кто же здесь нас похитит? Серый волк — зубами щелк? До деревни два шага, — кивнула в сторону шоссе, куда вливалась грунтовка. Оно уходило вверх на горку, где уже виднелись первые дома, заборы и сараи с каменными основаниями, и туда же уходила Алька; Вадиму показалась, что уходит она, как иногда показывают в кино, перемещаясь рывками: вот только что была рядом, вот мелькнула на плавном повороте, а вот уже виднеется у околицы. Он еле слышно перевел дух и, перемахнув шоссейку, направился к раскопу.

Заканчивался очередной рабочий день. Виноходова дня три как уехала в город, Андреич становился за старшего. Раскоп за околицей уже оброс стихийными приметамы быта — в пасхальную неделю потеплело и кое-кто перебрался с деревенской базы на волю, в старинные брезентовые палатки; теперь вокруг костров сидели космато-бородатые люди, брэнча на гитарах и распивая водку и купленное у местных домашнее ягодное вино. Сегодня в слое поздней Водской пятинны обнаружили новгородскую церу — табличку для письма в кожаном чехле. Поначалу Шура (журналист меняет профессию) приняла ее за старый чехол от мобильника и собиралась выкинуть в отвал. Андреича до сих пор аж в пот кидало от возможной дикости поворота. Церу он отобрал и отдал Альке, чтобы та зарисовала. А сейчас пытался урезонить коллег, что принялись отмечать невиданную находку.

— Товарищи, вы пейте, конечно, я и сам с вами попозже... Но давайте без экстремизма, — распорядился он. — Послезавтра рабочие подтянутся. Завтра с утраца Виноходова придет с каким-нибудь телеканалом. И что им тут снимать? Рожи ваши опухшие? Вид с горки и мелькающие тени облаков? Вы, дурачье, находку если не века, то сезона чуть в отвал не выкинули. Имейте совесть, давайте поприличнее. — Ан-дреич перехватил у Бэрримора флягу с ягодной бражкой и от души хлебнул. — А героиня наша где, с лейкой и блокнотом которая?

— Шурка-то? В город уехала.

— Обиделась, что ли?

Вадим смутно помнил — кажется, немного наорал на журналистку в запале. Возможно, даже матом. Впрочем, Шура тоже за словом в карман не полезла.

— Не, она в редакцию помчалась, — криво усмехнулся Генрих. — Ты ее не знаешь еще... Завтра не будет ни тебя, ни Виноходовой, ни тем более нас, одна Шура, Индиана Джонс в юбке, и ковчег... то есть, цера Завета.

У Генриха и Шуры были давние и непростые отношения.

— Ну, это мы еще посмотрим, — пожал плечами сам не чуждый тщеславия Терешонок.

— Текст получилось разобрать? — поинтересовался Ридли.

— Пока не пытался, оттягиваю удовольствие.

— Ну-ну.

Шел по деревне, сладко потряхивало. Сегодня он держал на ладони эту легчайшую, но на самом деле — очень тяжелую и твердую вещь: под покоробленной и будто смерзшейся кожей лежали древние слова на его родном языке. Что там могло быть сказано? Наверное, что-нибудь про кади зерна и хвосты мягкой рухляди, какие-то бытовые подсчеты, но теперь ни один визитер из Европы или остальной России не скажет

ему — а откуда вообще здесь Новгород? Где Новгород и где вы, дремучая Ленобласть, шведская окраина? В такие моменты ему хотелось надавать гостю в лицо, но теперь он просто покажет рисунок, а может, ткнет в иллюстрацию к своей публикации: дощечка, чехол с ушком и слова про каких-то стреляных ижорцами белок и битого тевяка.

— Я зарисовала общий вид, а вынимать боюсь... вдруг она рассыплется.

— Отлично, — похвалил Андреич, разглядывая рисунок. — Я к тебе сейчас Генриха пришлю, ежели он не накидался еще. Он не только рекон, но еще и реставратор замечательный, обучен вежливому обращению с подобными вещами. Зарисуешь тогда еще и дощечку... И сделай мне, пожалуйста, копию, — попросил он Альку.

Генриха он встретил сразу за деревней — слегка подвыпивший и грустный, тот брел ночевать в избу. Предложение поработать над находкой мигом его взбодрило, — сейчас схожу за стафом и к Алевтине, — закивал он. Но тут же какая-то очередная меланхолическая мысль овевала его лицо. Генрих поймал товарища за пуговицу на кармане гимнастерки и, покручивая ее, спросил:

— Как ты думаешь, она настоящая?

— Кто? — не понял Андреич.

— Цера! Ну не Смирнова же.

— А с чего ей не быть настоящей? — рассердился Андреич.

— Да просто как-то не верится...

— А что ты вдруг про Смирнову?

— Да девки там все трещат про нее и про тебя... У нас же тут две примадонны — ты и Серега, но он кремень, жена в городе...

— А я — нет, — закатил глаза Терешонок. — Что ты сам как баба, ей-богу. На Шурку твою не покушаюсь, не боись.

Генрих густо покраснел.

— Да она сама бы рада, курва, — с внезапной злостью сказал он.

Вадим не нашелся что ответить, махнул рукой и зашагал к берегу.

Над заливом тлел весенний закат, с деревенской горки виден был заросший коротким витым сосняком берег. Прошел мимо армянского магазина до заброшенной заправки, сбрел по легкой ветвистой дороге к рыбацкой пристани. Молчали ржавые траулеры, пирс растрескался, дальше был предусмотрен причал. Причал обрушился в медно-серую волну, и рыба на самом деле кишела, но жрали ее только чайки цвета подмокшего асфальта, с белым исподом, злые и жадные птицы. От ближнего грузового порта плыли нефтяные пятна. Порт начали строить несколько лет назад, поговаривали, что значительную долю инвестиций обеспечил крупный питерский авторитет; с каждым годом его щупальца перекидывались ближе к дорогим ему местам. Росли промышленные корпуса, возникали поселки строителей, говорящих на чужих языках. Люди жили в коробках и работали за еду; это была история, которая никак не могла вдохновить его... ну а что бы ты здесь построил? — будто услышал он закономерный вопрос, заданный почему-то Алькиным голосом.

Ладно, пусть будет порт — уже почти построили, не ломать же, — мысленно отвечал он ей. Но пусть бы оттуда отчаливали не суда, нагруженные цветниной, и не толстобрюхие танкеры приползали насосаться нефтепродуктов... ну, по крайней мере, не только они. А шли бы к нам белые паромы из соседних стран и даже лайнеры из стран далеких. Пусть бы залив ожил, побежали по нему корабли и парусные лодки, пусть бы люди с лайнеров пересаживались на небольшие красивые суда класса река-море, а может быть, и в отстроенные реконструкторами ладьи и драккары, и отправлялись смотреть Кронштадт, Петербург и дальше, через

Неву к крепости Орешек, затем по Ладоге в устье Волхова к Староладожской крепости-городищу и самому Великому Новгороду... В Ладогу класс река-море не выпустят, — ехидно замечала ему внутренняя Алька. — А к Новгороду по Волхову они, скорее всего, шлюзование не пройдут, там ведь Волховская ГЭС, первенец электрификации и машиностроения.

Да что ты цепляешься-то?.. Ну хорошо, проведем скоростную ждэ-линию пассажирскую из порта на Петербург, остановки — Копорье, Сосновый Бор, форты, Ораниенбаум, Петергоф... ну и сюда можно веточку, чтоб местным удобнее добираться. — Прекрасно, только на этом вся твоя любимая здешняя дикость и закончится, — вредничает Алевтина. — Понаедут сюда дачники из Питера, кто-то и жить останется, отгрохают особняков на высоком берегу, откроется пара торговых центров с фитнесом и кино, ижорцы твои любимые устроятся туда работать кассирами и администраторами зала, окончательно забудут и рыболовство, и свой язык, будут ходить в униформе и кричать — свободная касса! А, это в Макдоналдсе. Но и Макдоналдс тоже откроют, будь уверен.

Вадим в сердцах прихлопнул нахалку, внутренний диалог прервался, осталось только смотреть. Солнце скрылось, последний свет сумерек оседал на иных предметах — светлых камнях, ракушках, бетоне, а другие, наоборот, стремительно наливались мглой. Теперь заговорил уже сам пейзаж: на пасмурном ижорском берегу сложены груды камня; поверх камней сохнут сети. Не весна, а мокрая, мрачная осень, тринадцатый век. Отряд выбранного новгородцами полководца, Александра Ярославича рода Рюриковичей, впоследствии известного под позывным «Невский», договаривается на территории укрепрайона Копорье со старшинами ижорских земель. Набрякшей свинцовой плитой лежит залив, а над ним мерцает беспардонная северная лазурь, проблесками

отражаясь в изгибах ленивых волн. Густым и гибким ворсом топорщатся ельники; на север стремятся утки, журавли, гуси, а с севера — предприимчивая и жадная свейская родня, которой надобно наконец показать, чьи в лесу шишки... А вот годы накануне другой войны — и на этих волнах кипит работа, воздвигаются пирсы, грузовые баржи тащат щебень, песок, металлические опоры, а лес валят прямо на берегу, где должен встать Солнечногорск, новая база Краснознаменного Балтийского флота, вот уже построен аэродром и птички морской авиации закружили над вечно шумящей под ветрами темной хвойной братвой, а кое-где из кабины видны просветы березняков и пятна ольшаника, и долгие верховые болота, где следы от тяжелых танков останутся еще и в будущем веке, сам недавно набрел... А вот на макушке тяжелого лета горит-полыхает Кингисеппский укрепрайон, и, цепляясь за берег, отползает на восток наша восьмая ударная, и редкому самолету удастся взлететь с бетонной полосы посреди леса, лежат вбитые в землю крылатые машины, полыхают ангары: их остовы тоже сохранятся далеким приветом аж до развала СССР, когда предприимчивый председатель военно-морского садоводства, обживая разбитый аэродром, разместит на ладонях бетонных полос и внутри ангаров дорожную технику.

Но снова весна, черно-серебряные вороны танцуют в тумане над лесом. На полуобрушенном пирсе хочется закурить; из сторожки у проходной остановленного рыбзавода рвется ропот Михея и Джуманджи — «Это война», — говорит Михей. Опять война? Да нет же никакой войны, — сопротивляется этой мысли Вадим. — Нет и не будет.

— Просто у нас она всегда рядом, — снова просыпается Алька, на этот раз ее голос тих и печален. Вадим не заметил, как истаяла короткая майская ночь; утренний воздух заливает беспокойство; свежими шрамами бугрятся волны, становится холоднее. Поднимается, вскипает ледяной ветер;

неужто мы — последнее поколение, что чувствует нечто подобное? Солидарность с этой землей почти биологического характера — как у лося или волчьей стаи, — спрашивает он у Алевины, но она не отвечает на этот раз.

Вытряхнув из отросшей полевой бородки росистую взвесь, он пошагал вверх, в дом старосты местной общины. Галина Ивановна как раз достает из печи запекшуюся с вечера кашу. Цера лежит на столе, брошенная. Вадим не успевает возмутиться небрежностью.

— Это что ж получается? — спрашивает Галина Ивановна. — Моему дому сто пятьдесят лет. А этой штуке, значит, полтысящи? Или больше? И почто там написано?

Вытирает руки полотенцем, наклоняется, разбирает буквы.

— Что-то понимаю, — смеется. — Про вас и написано, Галина Иванна, про вас и про нас.

— Вот ведь.

Присаживается за дощатый стол. И начинает — как поет, как вместо радио. — Дому, значица, сто пятьдесят годов. Это значит, что он был построен хорошо. Вот на этих крюках висели сети. Вот с этого берега мы выходили на промысел. Вот здесь в сарае дойная коза Валентина, а в стойле — конь по имени Власий. В бочках — капуста и салака. А вот в эти сосны клали рыбу, чтобы птицы небесные ее съели и передали нашим мертвым. До кладбища далеко, да и не ухаживают особо ижорки-толопанки за могилами — не принято, разве что поесть им принесем на родительскую субботу. Богу — богово, кесарю — кесарево, живым — живое, а мертвым — остальное все, их мир куда больше нашего — так ведь? Вот каша, да и сто грамм тебе, Андреич, на опохмел найдется; а не был пьян — так просто так выпей. Было нас в семье пять сестер; одна уже умерла.

Вадим, соглашаясь, пьет водку, ожидая, что после бессонной ночи потянет на боковую — покемарить бы пару часи-

ков. Заседает душистой пшенкой с домашним маслом, чуть подсоленной и пахнущей дымком. А хозяйка все продолжает гутарить, он не особо вслушивается, но...

— А цера-то эта, Андреич, точно про вас написана. Так и ваш товарищ сказал.

— Какой-такой товарищ?

— Да вот этот бледненький, нерусский.

— Да русский он, Галин-Иванна, назвали так родители зачем-то. Что сказал-то Генрих? Не хочу его будить сейчас.

— Так а вот он даже написал тебе на бумажке, я прибрала бумажку-то, а вещь трогать не стала, не ровен час рассыплется такая старинная старина.

Вадим берет из ее рук блокнот Генриха, в котором на первой странице написано: «аля лубит мертвеца сосет вадимого конца». И в скобочках: акростих.

— Что это, блядь, такое? — шепотом спрашивает Вадим.

— А вот пес его знает, Андреич. — Так же шепотом отвечает хозяйка. — Но все, как ты говорил. Про вас.

— ...Вангую, что это Шурка, стервозина, провернула. Не одна, конечно, у ней ни ремесла, ни мозгов не хватит новгородскую мову подделать... А тут не идеальная, конечно, но довольно мастеровитая стилизация: Ардежи 5 белок — Лопинков белку задолжал — Ястребинц куницы и пшено — Лентий там 10 кадий пшеницы — У Жидилы куница — Бобр 2 куницы — Игучка кадец солоду — Твердыта должен — Муж Пелгусий пороучилса... Я даже помню, из каких примерно грамот эти фрагменты понадерганы. А «муж Пелгусий» — это еще один тебе приветик, если не догадался, как фану мужа Александра позывной «Невский». Признавайся, трахался с нею?

— С Александрой?

— Ну не с Александром же. Хотя...

— Ген, давай уже мимо шуток.

Вадим запустил пальцы в волосы и покачал головой. Они сидели в опустевшей девичьей спальне, где после трудов праведных прикорнул было Генрих. Шура свинтила, Оленька и Тесса зависали в полевом лагере, Алька...

— Алевтина, кстати, уехала еще вечером. Вернее, ушла.

— Ладно, не до нее сейчас... Я вот думаю, какой мы сегодня будем иметь вид вместе с Виногодовой, когда журналисты явятся.

— А Шуренция уж постарается, чтобы сюда целая делегация прикатила, будь уверен.

— Одно утешает — Ольга Николаевна это безобразие своими глазами не видела, поверила мне на слово, так что мне и отвечать.

— Ты прям верный рыцарь Виногодовой. Ей, между нами, тоже надо бы пиариться с меньшим энтузиазмом, несолидно как-то.

— Это тут причем?

— При том же, что ты ни одной дырки не пропускаешь. Шурку трахнул, с Оленькой мутил, к Смирновой подбираешься, Тесса тоже небось прошла, так сказать, инициацию...

— Блядь, Генри, мы тут мой моральный облик обсуждаем или придумываем, как выбраться из этого говнища? С Оленькой на втором курсе было, а Смирнову я и пальцем не трогал.

— Да потому что она с припиздью изрядной, только это и...

...Катающихся по полу и раздающих друг дружке тумачки молодых археологов разлила водой подоспевшая Галина Ивановна. После чего, выпив по мировой чарке, товарищи отправились в лагерь расследовать фальсификацию века.

За холмами торчат острыми бородатými клинышками елки. Дальше, — фоном, — брусничный закат. Алькины ботинки цокают по старой брусчатке. Когда они с Генрихом расшифровали эту, как он выразился, срань Господню, она ка-

кое-то время тупо смотрела на бумагу, потом встала и пошла в спальню. Быстро собрала вещи — было бы что, и попросила у Галины Ивановны расписание. Ты куда намылилась? — сумрачно хмыкнул ей Гена. На автобус, — просто ответила Алька. Наш-то ушел уже, — озабоченно покачала головой хозяйка, — есть еще котельский через Нежново, он попозже идет, но дотуда напрямки километров пятнадцать...

— Смирнова, не дури, — повысил голос Генрих.

Но она не дурила. Она просто вспомнила кое о чем и поняла, что загостилась.

Теперь она постепенно поднималась от высокой деревни еще выше, на восток и юг, в сторону соседних Горок, за которыми ей нужно было перевалить береговую гряду холмов и спуститься в лесистую низину. Примерно так она помнила по карте. Пока же по левую руку расстился тихий сегодня ввечеру и какой-то даже нежный залив с дремавшими у старых пристаней рыбацкими суденышками. А наверху ветерок носил дурманящий аромат рано зацветающей черемухи. Значит, скоро похолодает — отметила про себя Алька.

На дороге в Горки было пустынно, только раз мимо прогрохотал фургончик из местного лабаза. Море с каждой сотней метров разворачивалось все шире, а запах черемухи сменялся духом сосновой хвои и поднимавшейся вместе с ветром от залива легкой солоновато-гнилостной нотой. На очередном повороте пейзажа она не выдержала — остановилась, всматриваясь в даль, не омраченную здесь даже темной ниткой противоположного берега. Хоть и говорят, что в этой части Балтики приливы практически неощутимы, но ей явственно казалось, что море постепенно поднимается, будто наполняясь энергией вдоха. А ведь это ты его забрала, — подумала она, обращаясь к набегающей далеко внизу волне, как к сопернице. — Тебе отдали, но ты-то взяла. И не отпустила.

И не отпустила, и не отпущу, не отпущу, — слышала она долгий и тихий шепот. Разве что наиграюсь, натешусь, отшлифую по-новому, так что и не узнаешь. Косточки белые, ласковой шершавости, не отличишь от кусочка плавника... проденешь в дырочку ремешок, будет тебе оберег, будешь на счастье-удачу носить — ха-ха! А помнишь, как тебя взяли на тайные похороны возлюбленного? Любимого, да не того! Взяли два бойца, одинаковы с лица. Посадили в джип и повезли на Красненькое кладбище. А там уже могила свежая, домовина закрытая наглухо заколоченная, крест на первое время железный, венки зелено-пунцовые, братки пунцовые тож, и сам Борис с испытаным за три дня лицом. Похоронили, выпили на месте, потом еще в кабак собрались, да ты не поехала. Тогда он подошел к тебе и сказал — Аля, чтоб ты знала, за Мишку я посчитался. Помолчал. Правда, не с тем. А ты и так уже знала с кем.

Позвонила тогда, когда все еще были живы — в ее, понятно, дурной голове, в тюрьме или с сумою, за накрытой родней поляной или в снежном поле в обледенелой шинели — но живые. Чужой взрослый голос в трубке — нет его. Сами ищем. Пропал при исполнении. А вы, кстати, кто?

Она медленно нажала отбой соединения.

Оделась, не сразу попадая в рукава, и пошла к сестре. Вероника была в больнице на дежурстве. А почему ты думаешь, именно к нам? Город большой... Не знаю, — зуб на зуб не попадает, — но мы позавчера где-то здесь были. Вероника внимательно посмотрела в лицо сестры, у которой губы двигались медленно, не совпадая с произносимыми словами. По спискам надо проверить... Пойдем в справочное. Они посмотрели сначала реанимацию, потом журнал всех поступивших. Алька все время возвращала себя к мысли, что смотреть надо двоих. Обоих. Чувства избирательны до эгоизма — кто-то становится частью тебя, а кому-то не свезло... Не свезло вчера молодой женщине после бытовой пьянки, дедушке с инфарк-

том, парню Данькиных лет в автомобильной аварии. Но все они были с именами и фамилиями, хоть и в холодильнике теперь.

— А ты себя не накручиваешь? Что с ним могло случиться-то? С коня разве грохнулся... — не вовремя влезла Вероника, пролистывая уже гинекологические страницы. Алька посмотрела на нее, как на чужую, аккуратно сняла бахилы и опустила в мусорное ведро. Хлопнула дверь справочной будки.

— Что ж ты так с девкой-то, — с укором посмотрела на Веронику старенькая Порфирьевна, бывшая операционная медсестра, теперь осевшая в справочном.

— Да ну, выдумала себе что-то из головы, теперь страдает. Творческая натура. — Вероника раздраженно захлопнула журнал.

— Все мы что-то из головы... Кроме головы-то и нету ничего.

Порфирьевна поднялась с легким кряхтением, пошла за Алькой.

— Желтые страницы справочник взяла и пошла по справочным всех больниц, — наставляла ее. — Может, и найдешь. Возраст примерный говори, это иногда непросто определить. А если военный он, то на службу еще ему позвони, они обычно своих ищут. Ну-ну, девонька... мужик он всегда так — вяпается в дело, а нам потом...

...А потом увезли его на залив. И на льду оставили. Ой, меня что-то до сих пор колотит, — пожаловалась ей Лариска, вернувшаяся с похорон лишь пару дней спустя. В отличие от Альки, она не упустила возможности зависнуть со взрослыми парнями. Позвонила, попросила принести ей пива и от головы чего-нибудь.

— Нету меня! — крикнула в коридор. Мать в очередной раз звала Ларочку к телефону. Скрипнула дверь — в комнату просочился раскормленный пегий кот, прыгнул на диван к Лариске, она отогнала его локтем. — И этот... Юниор, блин.

Названивает теперь. А он мне, честно, вообще не понравился. Тупой какой-то. Вот Боря — другое дело, конкретный парень. Только он все пил и на меня даже не смотрел. Пришлось с Юниором замутить. Потом из кабака еще в бильярд поехали, там тоже бухали, потом на хату, там мне Юниор все и рассказал... Алька, может, тебе тоже выпить? — наконец встрепенулась Лариска, протянула подруге бутылку с «молотов-коктейлем», бормотухой такой сладенькой — Алька в своем анабиозе не разобралась и приперла вместе с пивасом.

— А мне Борис денег дал, — задумчиво сказала она, — хочешь, возьми...

— Много? — оживилась Ларка. — Я же говорю, конкретный мужик! Да убери ты, с ума сошла! Это тебе грев, как подруге Мишкиной, у них так положено.

Алька разжала ладонь, и мятые баксы упали на пол.

— Пойду я, Лар.

— Да что ты, посиди еще! А может, в город съездим, пиццу съедим где-нибудь? Ну как хочешь. Только ты это... про Каркушу не говори никому!

— А если его ищет кто-то?

— Ищут — поищут, да не найдут, был да сплыл, как мамонтенок на льдине. Ты не думай, мне его тоже жалко по-своему, просто нехер ему было в полицаи идти, хотя столько дров наломать за пару месяцев — это, конечно, тоже талант нужен... Деньги-то забери! Во чумовая. Ладно, нам тоже пригодятся. Да, Барсик? (гладит кота)

Алька бежала по Зорге в сторону Десантников, ветер гудел в опорах ЛЭП; кажется, уже и не бежала, а попросту летела вместе с ним прямо на высоковольтные провода, и они не задевали ее, просто проходили электрическими разрядами, тугими волнами разрывая материю на все более легкие лохмотья, и в этих клочках тонули и проблески неба, и бледное солнце конца зимы. Странно, но вместе с ужасом

я чувствовала род захлебывающегося восторга от того, что твоя жизнь улетела в бескрайнюю тьму и холод будто от моего касания — ведь ты же знал, все знал уже в ту ночь, но чего нельзя себе простить — так этого беспечного сна после ссоры, и того утра, когда казалось, что все впереди, только начинается головокружительная вечность счастья, мокрые весенние ветра впереди, нега долгого лета, холодное и ясное пламя осени, но было-то времени всего на пару шагов, да и те — по белому чистому снегу нескончаемой, навсегда наставшей для нас зимы, в которой нет ничего, кроме того, чего нельзя простить тебе — твоего последнего поцелуя, которым ты, оказывается, пообещал вовсе не эту жизнь, а лишь другую, несбывшуюся.

Вернувшись домой, она упала в горячку скоротечной и бурной инфлюэнцы, а выплыв из нее пару дней спустя, позвонила сначала в часть (ничего), а затем достала справочник, рекомендованный Порфирьевной, и начала обзванивать по карте все медицинские учреждения, расположенные вдоль южного берега.

Вторую операцию он помнил еще хуже, чем первую; вернее, не помнил почти совсем, потому что накануне резко скакнула температура, сознание истаяло в горячечном мареве, снились какие-то огромные серые корабли, раскаленные стволы бортовых орудий, удушающий дым, подземелья берегового форта: из проема хода сообщения внезапно открылся вид на море с невесомо качающимися на переднем плане прозрачными метелками иван-чая и плотными гроздьями пижмы, внизу билась о камни мелкая волна и резными лодочками дрожали фигурки чаек. Он соскочил на камни, в несколько легких прыжков спустился к воде, скинул ботинки и вошел в море. На втором шаге ступню пронзила резкая боль. Даниил Андреевич неуклюже взмахнул руками и прошипел русское народное.

— Вы здесь осторожнее, вашбродь, каменюки сплошняком! — донесся сверху голос матроса. — Подальше пляжик есть с песочком, мы там всегда окунаемся.

...Чего ругаешься? Нога болит? Поболит и перестанет, все уже, все закончилось. Полноватое лицо доктора с характерным носом-сливой смутно знакомо. Пациент пытается приподняться на подушках, опираясь на локти.

— А что у меня... Что у меня с ногой?

— С ногой твоей по Пирогову пришлось поступить. Вернее, даже с обеими. Некроз далеко пошел, угроза сепсиса. Главное, сам жив остался, а ноги — ну, бывает, и не так еще бывает...

Доктор говорит торопливо и, кажется, сам не особо веря своим увещаниям. Пациент приподнимается, несмотря на сопротивление сильных рук врача, и видит задранные подушкой выше уровня сердца собственные ноги и складки простыни, опадающие в районе щиколоток. Ну, посмотрел? Может, и к лучшему... Теперь так, привыкай потихоньку. Это не конец, не... да что ж ты! Лерочка, дайте ему успокоительное. Да не дергайся ты!

Врач держит за предплечья, пока медсестра ставит капельницу. Больной постепенно обмякает. Аванесян выпрямляется, поправляет халат. Вот силушка молодецкая! — комментирует медсестре.

— Там девушка в приемном покое спрашивала, не поступали неизвестные его, — кивает на пациента, — примерно возраста. Ищет кого-то своего.

— Ну так пусти взглянуть, мало ли... все равно этот герой не помнит ни хера. Даже если и не тот — парень симпатичный, хоть и облез слегка, и укорочен, может, влюбятся еще и детей заведут... я всегда за хеппи-энд.

Доброе расположение духа быстро возвращается к доктору Аванесяну; удаляясь по коридору, он даже начинает что-то насвистывать.

Таким она его и увидела — в тяжелом медикаментозном сне, замotanного как человек-невидимка: перебинтованная голова, компрессы на щеках, руки будто в белых высоких варежках. Видны были только закрытые, обведенные черными кругами глаза, высокий облупленный нос, запекшийся коростой рот и часть клочками заросшего подбородка. Все очень красивое. Она смотрела и знала, что красивее человека не видела никогда.

— Ваш, — утвердительно сказала медсестра. Проследила ее взгляд.

— Ступни пришлось отнять. Михаил Павлович надеялся, что некроз дальше пальцев не пойдет, но общее состояние тяжелое, организм не справился, пошло воспаление... Это тяжело будет, но не страшно, есть такие протезы типа ботинок, знаете... Как его имя-фамилия, скажите, мы оформим.

— Даниил Андреевич, — с неожиданным спокойствием ответила она. — Ворон Даниил Андреевич, 13 декабря 1976 года рождения.

— Хорошо. Пойдемте, я вам стул дам.

Прикорнув на стуле, предоставленном Лерой вместе с одеялом и подушкой, она и не могла мечтать, что проснет-ся от звука этого голоса.

— Смирнова... — громче: — Смирнова!.. Ты что здесь делаешь? — тяжелый кашель. — Это уже не смешно. — И, уже глядя в ее проясняющееся лицо. — Только не говори, что сопровождаешь меня в Вальгаллу.

— Я...

— Дай, пожалуйста, воды. Раз уж все равно здесь сидишь.

Взяла стакан с тумбочки, набрала в кулере перед глазами мужиков из остальной палаты. Прошла обратно за ширму. Когда наклонила ему стакан, услышала, как лязгнули о крае-

шек зубы, и неожиданным для себя уверенным жестом завела руку ему за голову, поддерживав.

— Утку тоже мне подавать будешь? — спросил сумрачно, напившись. — Я бы не хотел... — прикрывая глаза. — А где ты живешь, кстати? Тебе на электричку не пора?

— Очень много вопросов. Дань, я разберусь. Я уже взрослая.

— Рослая ты, а не взрослая. Аля, без обид. Я не знаю, что ты там себе напридумывала, но я теперь инвалид. И ты еще и наверняка сообщила мои данные сестре. Их передадут ментам уже завтра. И, — вуаля, — я уже не просто инвалид, а инвалид под следствием. То есть съебаться поскорее — это наилучшее, что ты...

Пациент неожиданно взвыл.

— Ой, я нечаянно, — ровно сказала Аля, убирая руку с его замотанной кисти. — Думала просто тебя поддержать.

— Вижу в тебе недюжинный садистский потенциал, — отвернул искаженное лицо. — Раз уж все равно меня расшифровали, сделай милость... позвони, пожалуйста, Екатерине Игоревне. Бабушке моей.

— Сейчас... пишу номер.

— 274-25-54. Скажи просто — что я жив и позвоню, как сумею... И, пожалуйста, сделай это по дороге на электричку.

Перевел на нее взгляд.

— Аля, я серьезно. Мне сейчас лучше быть... с чужими людьми. Даже вот зрительный контакт, это... — произнес он со сдерживаемым бешенством, и больше ничего, всхрипнул коротко, губы дернулись, и из внешних уголков глаз потянулись блестящие дорожки. Аля тихо сползла со стула, устроилась рядом с кроватью, чтоб не смотреть, лишь позволила себе коснуться щекой оголенной кожи предплечья. Слышала эти сдавленные клокочущие звуки — будто выкипает чайник. Они постепенно затихали.

— Ты не захлебнулся там?

— Почти, — ответил он, будто в подушку. — Будь добра, вытри мне нос.

Быстро, как делаются все хорошие дела, она устроилась у тещи доктора Аванесяна, тоже врача, пожилой разведенной дамы, живущей в двушке по дороге на ЛАЭС.

— Ты будешь пропадать в больнице, я — в поликлинике, убираться опять некому, — грустно заметила Ольга Константиновна. — Но кота кормим в очередь, и, если будешь готовить еду, имей в виду и меня.

Алька и принялась готовить еду. Одни и те же куриные котлеты коту Асклепию, в просторечии Клепе, Ольге Константиновне, Даньке и себе.

С Вороном было непросто. Он едва не поругался с Екатериной Игоревной, когда она приехала (на следующий же день), не будь у него забинтованы руки — швырялся бы уткой, тумбочкой, чем попало. Буйный попался пациент. Тем не менее именно Екатерина Игоревна и стала основным фактором его вынужденной капитуляции. Если я не останусь, если ты меня отошлешь, останется она. Ты же понимаешь, что она не бросит тебя на санитарок, которых и так не хватает... будет сама поворачивать, мыть, что там еще надо. Сколько ей лет? Скоро восемьдесят?..

— Попрошу у матери денег, — сжав зубы, предположил он. — Найдем кого-нибудь.

— Ну вот когда наймешь, тогда я и исчезну. Нанял, сказал: Аля, спасибо, свободна... и на следующий день меня нет. Договорились?

Отвернулся.

— Ты есть и будешь. Но лучше бы тебе было быть где-то еще...

Как бы то ни было, после ампутации жизненные силы пациента начали прибывать, будто питание отсутствующих конечностей перекинули на центральную подстанцию. Аль-

ку его выходки не злили, скорее радовали как свидетельство восстановления. И он был невероятно очарователен даже в этом.

— Ну что ты смотришь на мои колени? Я не стриптизер. Дай, пожалуйста, наконец, штаны.

Алька молча подавала ему пижаму. Не спрашивая, куда он в ней собрался. Хотя бы даже и полежать. На колени она смотрела чтобы не видеть этих... забинтованных обрубков. По доктору Пирогову, разрезом в виде стремени.

Назавтра они с Екатериной Игоревной поехали выбирать ему кресло. В магазине медтехники уже Аля не сдюжила, разревелась. Ее била крупная дрожь за все эти дни, запах бинтов, багровые опухшие культы, облезшие ногти, беспомощные слезы и детский мат мужественного человека. Екатерина Игоревна не успокаивала ее, просто отвела в сторону, они присели на широкий подоконник. Когда Алка выплакалась, достала шоколадку.

— Съешь, подними сахар. Силы еще понадобятся. И расчитай сама — если не готова на... долго, то лучше отойди сейчас. Извини, я тебя не особо щажу сейчас, я о Даньке думаю.

— Я... не то чтобы готова, — призналась Аля. — Я просто не мыслю себя без него. Наверное, это плохо, нужно же быть... самодостаточной и сильной. Но я сильная только рядом — если не сейчас, то когда-нибудь, или хотя бы в мыслях. Я сильная, даже если он слабеет. Тогда я даже сильнее. Просто как будто мы сообщающиеся сосуды. Во мне от него всегда энергия. Я могу успокоить, но не способна сама успокоиться. Вот так.

— Милая, это все лирика, — засмеялась Екатерина Игоревна. — Напьется с тоски до безобразия — по морде надавать сможешь? Или выпить с ним вместе — по ситуации? А лечь в одну постель с калекой без отвращения? Я ведь верно понимаю направление твоих мыслей? Если да — все у вас будет хорошо.

За окном завывал ветер. Шквал налетел, когда она, еле передвигая ноги, возвращалась в свое временное прибежище. После целого дня в больнице так устала, что заснула в автобусе и проворонила свою остановку. Пришлось возвращаться, прикрываясь от ветра, дувшего в лицо, а улицы в городе атомщиков были длинные, с неожиданными изгибами вокруг пятен леса, оставленных в центре города в самых неожиданных конфигурациях.

Сегодня устроил истерику, отказавшись садиться в инвалидную коляску. Потом дежурная сестра (не Лерочка) случайно выдрала у него из вены катетер и никак не могла поставить новый, мазала, ругалась, что он не может «поработать рукой», забинтованной в одном положении, весь сгиб локтя исколола.

Когда отсоединили капельницу, отказался мыться, обозвал ее безумной Джозианой и повернулся лицом к стене — так буду лежать. Как бревно. Так и наблюдала его спину с сильными, резко очерченными лопатками, пока не засобиралась уходить в конце дня. На прощание буркнул — воды мне поставь на тумбочку. И все. Два стакана воды за весь день, утром и вечером, Аванесян уже угрожал кормлением через зонд.

Алька остановилась у киоска на углу дома. Там продавали что-то к чаю, лапшу доширак, можно было купить чайные пакетики и сигареты поштучно. Посчитала деньги, прикинула.

— Дайте пожалуйста четыре пакетика чая с принцессой, кусковой сахар маленькую пачку и сушек, — подумала немного, — и карточку на три часа интернета еще. Нет! Подождите. Лучше ночной пакет.

Сложила покупки в рюкзак, карточку с ночным пакетом в карман джинсов. Встала спиной к киоску. На секунду прикрыла глаза, слушая шум ветра, чувствуя первые капли мартовского дождя, студенистые еще, со снеговым основанием. Словно крошечные слизнячки падают на лицо.

...Ольга Константиновна, Вам телефон нужен? Я займу надолго линию.

— Да с кем же я в ночи буду общаться? Ночь для молодежи. Мы с Клепочкой скоро спать. Чего и тебе советую.

— Да, конечно. Вы правы. Но я все-таки телефон займу.

Приняла душ, разогрела утреннюю гречку. Положив ее в тарелку, тупо уставилась на белые маленькие кубики сахара.

Об ноги потерялся пушистый Асклепий.

— Дура я, Клепа. Купила сахар кусковой, чтобы кашу им посыпать. Представляешь? — Клепа представлял. Запрыгнул на подоконник, оттуда на холодильник. Посмотрел свысока. Зевнул, зажмурился, мякнул. Стёк пушистой каплей на разделочный столик, поставил лапку на плиту.

— Нет, так не годится, — осуждающе пробормотала Алька, выискивая, чем бы тихонько, не перепугав хозяйку, раздавить сахар. Клепа убрал лапку с плиты. Посидел на разделочном столике. Даже немного помурчал, глядя, как человек давит хрустящий кубик ложкой, завернув его в салфетку, налегая всем телом и сопя. Понял, что угощать его не собираются и, спрыгнув на пол, направился к выходу.

Посыпав кашу сахаром, Алька поставила чайник, включила над кухонным столиком светильник, выключила верхний свет, расстелила салфетку и поставила на нее черный, с резкими квадратными углами ноутбук IBM. Ноутбук ей подарила мама на школьный выпускной. Подержанный. Без русифицированной клавиатуры. Пришлось искать и покупать на Ютоне специальные наклейки. Там же умелец установил программы. А мышку к нему Алька потеряла. И поэтому красная резиновая кнопка, неприлично торчащая между клавиш, совсем излохматилась и натерла ей привычную мозоль на указательном пальце.

Подтянула телефонный провод. Подключила. Распаковала карту доступа, стерла защитное покрытие с кода. Диалап

уютно захрипел, пытаясь поймать соединение. Алька откинулась на спинку стула, наконец-то немного расслабляясь. Соединение оборвалось. Начался повторный дозвон. Она поднялась со стула выключить чайник. Расслабившееся было тело отозвалось ноющей болью в спине и коленях. Старею, что ли, так стремительно? Налила в чашку горячей воды, прополоскала там пакетик и выложила на тарелочку. Можно будет утром еще заварить. А может, попозже захочется. Насыпала в вазочку сухек и кускового сахара. Диалап зашипел — соединение пошло.

Алька еще на прошлой неделе, когда искала информацию про коляски, нашла в поисковике форум инвалидов-колясочников и ампутантов. Но в тот раз зайти туда не успела — закончилась карточка, а на новую не было ни денег, ни времени.

Открыла страницу форума. Пробежала глазами оглавления. Приметила тему «Советы юриста. Как получить высокофункциональный протез». Хотела открыть ее. Но внезапно кликнула по разделу «Отношения. Секс. Семья». Поймала себя на том, что краснеет и воровато оглядывается. Открыла тему «Интимные отношения». Спустя какое-то время потянулась к чашке с чаем и поняла, что он остыл.

алекс» Чт ноя 07, 200 6:52 pm*

Я инвалид 3 группы, познакомлюсь с девушкой для секса. Возможно потом поженимся.

тренчъ» Вс март 02, 200 4:47 pm*

Ищу партнёршу для секса! Пишите

обывалг» Пн март 03, 200 12:14 pm*

Предлагаю интимные услуги тем, кто не может найти себе партнера. Не коммерция. Важно, чтобы Вас не смущало, что я ампутант (ниже колена). Делу это не мешает, передвигаюсь свободно, вожу авто, абсолютно мобилен.

одинокий волк» Ср март 05, 200 6:55 pm*
Весна пришла всем секс нааадаааа)))

мария» Ср март 05, 200 10:25 pm*

Уважаемые коллеги! На нашем форуме неоднократно обсуждались темы секса для инвалидов. Давайте с уважением относиться к желаниям друг друга. Мы здесь собрались не для того, чтобы друг друга высмеивать. Этого нам и в реале хватает!

Кто-то не может найти партнера, но очень хочет секса, кто-то не в состоянии купить услуги профессионалки и опять же хочет секса, у кого-то бурные фантазии и он не может найти партнера, чтоб воплотить их в жизнь, кто-то не хочет с проституткой, а кто-то надеется найти любовь и тому подобное!

И вот, когда находится РЕАЛЬНЫЙ человек, который ГОТОВ и ПРЕДЛАГАЕТ услуги, что же мы видим: некоторые опять недовольны!

Тошка» Чт март 06, 200 3:07 pm*

Мне 27 лет, я не вижу и не хожу. Живу в городе Сланцы, Лен-области. Ищу девушку для серьезных отношений. Не против дружеского общения, да и потом, отношения не рождаются так вдруг, сразу. Так что пишите, будем общаться, дружить, а там может что и получится? А не получится, друзья лишними не бывают. Моя аська ***

Швед» Пт март 07, 200 4:16 pm*

Всем привет. Мечтаю найти женщину для которой секс в отношениях на последнем месте и вообще не нужен. Парализован ниже талии. Для серьезных отношений и брака.

обырвалг» Сб март 08, 200 9:20*

С праздником дорогие дамы!

Мария» Сб март 08, 200 11:08*

Спасибо!

Валькирия» Сб март 08, 200 11:20*

Пасиб)

Джун» Сб март 08, 200 14:17*

Хочется мимозки))

Антуанетта» Вс март 09, 200 6:54 pm*

Привет! Часто читаю на форуме, что девушке с инвалидностью проще, чем мужчине с ОФВ найти себе пару на всю жизнь, среди обычных, здоровых людей. Но у меня так не получается! Здоровые мужчины шарахаются от меня. А даже если что-то и получается в самом начале, они стесняются меня.

Тесла» Вс март 09, 200 7:33 pm*

Товарищи! Вот всегда, когда кто-то из нас пишет о такого рода отношениях, это всегда почему-то заканчивается грустно. Наверняка же у кого-то есть положительный опыт с человеком без ОФВ? Расскажите! Хочется верить, что это возможно.

Алька захлопнула ноутбук, прервав соединение, и пожалела, что не курит. Открыла буфет, нашла у Ольги Константиновны настойку на каких-то корешках и собиралась было отхлебнуть прямо из горла, но застеснялась в последний момент. Плеснула на дно чашки из-под чая, глотнула. Это оказалась хреновуха — продрало аж до солнечного сплетения; и еще раз, уже из горлышка. Вот Даниил Андреевич так ни за что бы не сделал, — представила она его в подробности точных движений, — чисто машинально взял бы рюмку из серванта, дунул, протер краешком салфетки, отпил аккуратным

глотком, улыбнулся — ух, норовистый напиток! Он ведь и до Даньки-то для тебя... укоротился, лишь попав в переплет. И кто тут человек с ОФВ? Ворон показался ей сказочным царевичем в плену у какой-то... жабы, воспользовавшейся его бедой. Неудивительно, что он стремится убежать от нее хоть куда, хоть в смерть, коль скоро остальные оперативные направления закрыты.

Тихо скрипнула дверь комнаты, в кухню вошла хозяйка.

— Давай-ка и я с тобой.

Достала рюмки. Вот оно.

— Шпроты есть. Будешь? Ну и я так. Больше люблю настоящей, чем чистую водку. Да она и не бывает химически чистой, в природе это нереально, да и в производстве почти никогда, всегда какие-то примеси. Так что лучше пусть будет такая примесь, отчетливая и интересная. И с людьми так же. Иной окунется целиком в говнище, ужаснется и отмоется, и станет в нем говна даже меньше, чем прежде, а появится какая-то... перчинка. А другой живет-поживает годами, десятилетиями, и налипает на него потихоньку всякая бытовая грязь, ну вот как на холодильник, если его не мыть, изнутри и снаружи. И незаметно окажется, что только из этой грязи он и состоит... Рафик мне рассказал твою историю, конечно. Это все ужас, конечно, но не ужас-ужасный-ужас. Тут ведь как — что-нибудь отрежут, зато ума прибавится. Причем, быть может, даже не у него. Что характерно...

Господи, о чем она, — думала Алька, глядя на эту пожилую женщину с первыми пигментными пятнами на руках, сухими щеками и обвисающей шеей.

— ...Человек ведь тоже не может быть... химически чист и неизменен, даже самый цельный. Каждая новая ситуация что-то в нем открывает, меняет. Ты тоже о своем солдате узнаешь много нового. Ну хоть по бабам-то бегать не будет, — усмехнулась, — хотя... Вот мой, например, свекр — герой войны на одной ноге, царствие ему небесное, так ни одной

молодке в округе спуску не давал, жена его, третья уже по счету, всегда мне жаловалась.

Посмотрела на Альку.

— Что-то ты совсем поплыла, душа моя. Давай-ка на горшок и в койку.

Алька послушно поднялась. Этот разговор уже начал ее утомлять.

Вытянуться на подростковой койке не получалось, она повернула ноги набок и смотрела на пробегающие по потолку отсветы фар. Вот так и он, наверное, лежит и в потолок смотрит, в своей палате, без сна. Странно, но, видя его каждый день в неловкой даже интимности, она как будто меньше стала его понимать. А может, просто сил не было озадачиваться, о чем он там себе думает, все свелось к простым действиям и непростым уговорам, ежеминутному преодолению всего того высокого и, казалось бы, неощутимого, что она надумала между ними.

Далеко внизу шуршали шины, расплескивая мартовскую слякоть, рамы дрожали от резких порывов ветра, и незаметно из удручающей яви она вступила в высокий прибрежный лес, в котором лишь вчера наступило лето. Остро пахло едва распустившейся листвой, лес был по-летнему зелен и по-весеннему прозрачен. Выше листвы подлеска шумели кроны сосен с золотисто-салатными почками на кончиках ветвей, и сквозь черемуховые заросли у тропы слышался шум недалекого моря. Голова слегка кружилась от пьянящей свежести воздуха и предчувствия чего-то очень хорошего. Из-за поворота тропы показалась собака — крупная овчарка в плотной шубе ухоженного меха, с розовым, вываленным набок языком. Пес остановился, глядя на нее и не выказывая ни дружелюбия, ни вражды. Плонт, ко мне! — раздался знакомый голос. Собака повела ухом, чуть помедлила и кинулась на зов. Вскоре они показали уже вдвоем — хозяин и пес, идущий стелющейся рысью по обочине.

Даниил Андреевич шел, слегка прихрамывая, но по виду на совершенно своих ногах. На нем была форма, но не знакомая ей по его службе в Дружине, а другая, похожая на морскую — только неведомого государства, а над верхней губой красовалась гладкая полоска усов, делавшая лицо странным образом моложе, и у бедра покачивался кортик. К ноге, — скомандовал он собаке, а затем обратился к ней:

— Здравствуйте. Вы, наверное, заблудились?

— А-добрый вечер, — от удивления слегка запнулась она. — Да, вероятно. Мне надо выйти к деревне Нежново.

— Нежново? Или Лебяжье, не перепутали? И все равно далековато завернули! В любом случае здесь вы не пройдете.

— Почему?

— Плант, свои, — сообщил псу и направился к ней. Подошел, указал на просвет меж деревьев, — сами посмотрите.

«Осторожно, мины» — разглядела она табличку у натянутой проволочной изгороди.

— А вы, наверное, дачница? — он смотрел на нее с доброжелательным, но совершенно нейтральным интересом. — Позвольте, я вас провожу немного. — Старорезжимным жестом приложил руку к фуражке: — Батманов, Даниил Андреевич. Плантагенета не опасайтесь, он воспитанный.

— Алевтина... Викторовна.

— Весьма рад знакомству.

— Вам не трудно идти? Вы хромаете, — подлаживаясь под его тон, спросила она.

— О, ничего серьезного, спасибо. На камень наступил неудачно. А до Лебяжьего вам здесь все-таки далеко пешком будет, лучше нанять кого-нибудь в Черной Лахте. Вы откуда путь держите, извините за любопытство?

— Из Соснового Бора.

— Не знаю такой деревни... Наверное, где-то у Горовалдайского озера?

— Да, примерно.

— У меня супруга там дачу снимает. Правда, бывать получается нечасто. Знаете, я вынужден вас проводить к командиру, ничего особенного, просто формальность. Здесь ведь закрытая территория, здесь гражданским нельзя вообще-то. Вы не волнуйтесь только, это к лучшему. Быстрее попадете в свое Лебяжье, возможно, даже прокатитесь по новой железной дороге.

— Новой?

— Да, Военно-Ижорской, наверняка ведь слышали. Идет от Ораниенбаума досюда. Вот я и выболтал вам военный секрет!

Он улыбнулся так, что в старых книгах написали бы — обворожительно. В темно-серых глазах плясали веселые искорки. Одним сильным движением перемахнул лужу после недавнего дождя, затем подал ей руку... Она на мгновение почувствовала близость стройного гибкого тела и легкий запах одеколона.

— А нельзя ли мне еще немного здесь задержаться? Тут очень красиво.

Лицо Даниила Андреевича моментально посуровело.

— К сожалению, это совершенно исключено. Вам следует уехать сегодня же. Давайте прибавим шагу, чтобы вы не опоздали на последний состав к Ораниенбауму.

...Утренняя больница пахнет смесью хлорки и страха, и эту ноту не спутаешь ни с чем, она улавливается так же, как феромоны — на животном уровне. Стараясь бодриться, Алька убрала куртку в пакет, сунула ноги в сменные туфли и побежала на травму по лестнице, чтобы разогнать кровь. Лифт, впрочем, все равно не работал, там кверху задом стояла уборщица и мыла пол. Здесь хлоркой пахло отчетливее.

— Доброе утро, тетя Люся!

— А, доброе! — женщина, не разгибаясь, извернулась, чтобы глянуть на Альку. — К своему герою опять?

— Ну да, к кому же еще.

— Ну и как там у вас продвигается?

Алька пожалала плечами, неуверенно улыбнулась и промурлыкала:

— We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day...

Уборщица выпрямилась во весь свой недюжинный рост, бросила тряпку в ведро, сняла перчатки, поправила косынку на пергидрольно-белых волосах.

— Ну и правильно. Но пасаран. Мы, бабы, такие. Усрамся, но не сдамся.

В отделение Алька вошла, все еще напевая.

— О, ты вовремя, — поймала ее у островка дежурной медсестры санитарка Маша. — Там твоего очередь мыться. Воняет уже на всю палату, соседи жалуются. Где санузел, знаешь. Там в тазик теплой водички возьмешь. Полотенце есть? Или казенное давать?

Вот тебе и оверкам, подумала Алька, покорно принимая в руки тазик и кусок мыла. И ничего он не воняет, хотя... Заставить Даниила Андреевича помыться ей еще ни разу не удавалось. Пока они продвинулись не дальше подачи судна и помощи во внутрикроватьных перемещениях.

— Это еще зачем тебе? — Ворон встретил ее, недоверчиво косясь на тазик с водой. В ответ на его взгляд только пожалала плечами и улыбнулась. Побоявшись выронить тазик из задрожавших рук, быстро поставила его на тумбочку. Раздвинула ширму, отгородив Данькину кровать от остальной палаты. Заглянула в тумбочку, достала нормальное мыло, с легким жасминовым ароматом, а не это, больничное, всегда напоминавшее ей запахом замученных бродячих собак, коих отлавливали по весне по всему городу и отправляли на живодерни. На Ворона старалась не смотреть, старалась сосредоточиться

на простых сиюминутных действиях, но волнение выдавали руки. Они дрожали так сильно, что ей казалось, будто вся она вибрирует.

Губки для умывания не оказалось. Не подумала об этом. Зато в тумбочке лежало несколько чистых вафельных полотенец. Не больничных. Достала полотенца. Одно повесила на спинку стула, второе сложила вчетверо и угол обмакнула в тазик. Намылила.

— Ты что, мыть меня придумала? — Данька почти сорвался на фальцет.

— Да. А что тут такого? Тебя в детстве не учили, что чистота — залог здоровья?

— Какое уж тут здоровье?

Он приподнялся и усталился на нее. Алька сунулась с полотенцем, он довольно резко отмахнул ее руку. Только тут поняла, что не раздела его. Он полусидел в кровати, в больничной пижаме, а из-под нее выглядывала футболка.

— Если бы я мог пуговицы расстегнуть, то и мыть бы меня не было нужды, ты не находишь?

Алька вздрогнула, сообразив, что смотрит, как дура, в ямку у основания шеи. Там пульсировала вена, часто и неровно. Она резко втянула носом воздух и быстро расстегнула пижамную рубашку, стараясь не задевать тело. Сняла ее, как с куклы. Приподнимаясь, он сгибал ноги в коленях и неуклюже заваливался на бок, забывая, что не может упереться ступнями в кровать для равновесия. Неловко придерживая сбоку, стянула футболку, покраснев от вида густо волосатых подмышек, короткая рыжеватая шерсть — как у зверя.

— Да, пахну я не розами.

— Стрептоцидом. В основном. — Как-то отстраненно соврала она. Отвернулась к тазу, снова намывая полотенце. — Вода остыла почти, давай сбегая принесу теплой, подождешь?

— Похеру. Давай уже поскорее закончим. — Ворон неловко подался вперед, упираясь локтями в колени, представляя в ее распоряжение спину. Прижав к его коже влажное полотенце, увидела, что и он покраснел так сильно, что даже плечи стали темно-розовыми. Алька начала мыть его, стараясь избежать прикосновения кожи к коже. Только через влажное полотенце. Всё в нем заставляло ее вибрировать, как задетый нечаянно камертон. И неровно обстриженные завитки волос, прилипшие к шее в самом трогательном ее месте у основания черепа, и родинка под левой лопаткой, тяжелый запах несвежего пота, смешавшийся с запахом стрептоцида. Забывшись, захотела подвинуть его поудобнее и прижала ладонь к груди, задев сосок. Замерла испуганно, ощущая, как ладонь щекочут жесткие волоски, какая у него неожиданно горячая кожа. В горле встал комок, она отдернула было руку, но его забинтованная ладонь легла на ее, успокаивая дрожь, прижимая обратно, к часто стучащему сердцу.

— Так, труселя я как-нибудь сам стяну, уж мыться так мыться. И давай ты просто дашь мне тряпку эту и меня придержишь, и я там как-нибудь сам, все равно сегодня на перевязку, что их беречь, бинты эти. Но жопу уж тебе потом придется, не обессудь, я не дотянусь просто...

Она послушно свернула полотенце так, чтобы сверху оставалась сухая часть и вложила в его забинтованную варежкой руку. Присела и обняла спереди за торс. Его небритая щека касалась ее шеи, пока он там возился.

— Мы, мужики, вообще очень вонючие, конечно... не замечала раньше? А, где тебе... Полежишь так денька три, и уже несет, как от козла.

— От тебя скорее лошадью пахнет...

— Навозом, в смысле?.. Ну, мать, не настолько я все же засрался. Дай сухое полотенце теперь... Таак, теперь подъем с переворотом. Да, это не те постельные упражнения, о ко-

торых стоило бы помечтать... Что ты хихикаешь, я сейчас ебнусь вместе с тобой с кровати...

Иван Карпович и Семен переглянулись на раздававшиеся из-за ширмы голоса — приглушенный баритон «солдатика» и хихиканье этой его рыженькой дылды. Карпович хмыкнул, Семен усмехнулся даже с легкой завистью, и оба уткнулись обратно в свои кроссворды.

...Я назову этого коня в твою честь, — ерничал Ворон, когда она в очередной раз прикатила ему коляску, — Смирный: холощенный жеребец-трехлеток.

— Ну и сам на него взбирайся тогда, — невозмутимо ответствовала Алька. — А мы посмотрим.

Ширмы у кровати уже не было, и Алька, кивком испросив разрешения, присела на койку Ивана Карповича.

Ворон корячился минут десять; на большее не хватило.

— Сдаюсь, призываю оруженосца, — сообщил он.

Алька с Карповичем уже разложили маленькую шашечную доску и резали вторую партию. Алька покорно кивнула Карповичу и встала из-за шашек.

— Слышь, дочка, — остановил ее Карпович. — Не тягала бы ты сама, он хоть и мелкий, — кивок не глядя в сторону Даньки, — но весу в ём порядочно... а тебе еще рожать, может быть, даже и от него. Сегодня Рафик дежурит, попроси его, он мужик ровный, если сам занят, то санитара пошлет.

— Весу уже чуть поменьше, папаша, — прошипел Ворон, покрасневший до черноты, — копыта у меня все ж на сорок второй размер тянули, и пятки были толстые.

А Смирнова, едва не сшибив названного в ее честь железного россинанта, выскочила в коридор.

Вернулась она только минут через десять, и не с санитаром, и даже не с Аванесяном, а с Михаилом Павловичем. Он присел на край кровати и заговорил вполголоса.

— Доктор Кольцов, завотделения, — представился он, и зачем-то добавил: — Подполковник запаса.

Оглядел Даньку, покачал головой.

— Восстанавливайтесь быстро, молодцом, товарищ лейтенант. Тут вот какая петрушка выяснилась... Давайте-ка я вам помогу, и поговорим у меня в кабинете.

Кольцов решительно отстранил Альку и, подхватив Даньку под мышки, без особых усилий помог ему сесть в коляску. Покатил к выходу, жестом распорядившись Альке отворить пошире дверь.

Карпович поймал изменившееся выражение лица солдата, — так переименовали Даньку, после того как миновала угроза его скорого переселения в мертвецкую, — оно будто закаменело, из нервного став взрослым и бесконечно усталым. Покачал головой и принялся убирать шашки.

— Подождите здесь, — распорядился завотделением, закатив Данькино кресло в кабинет. Смирнова кивнула закрывшейся перед ее носом двери и отошла к окну. Перед тем, как забрать Ворона, Кольцов коротко сообщил ей, что на его счет пришло распоряжение из части. Она вряд ли могла предположить в подробностях, о каком распоряжении шла речь, но общее направление угадывала вековым бабьим чувством, не ждавшим от солдатчины ничего хорошего. Смотрела в обширное окно больницы, за которым молча стояли сосны небольшого внутреннего парка, и видела, что уже начался март, снег устал и посерел, но больше, как будто, ничего и не менялось — тепла как нет, так и не было, замерзшие мокрые вороны хрипло перекрикиваются в ветвях, к подъезду приемного покоя подваливает буханка областной скорой, через парк по тропинке идет из магазина Лерочка с еще одной сестрой и парнишкой-санитаром в наброшенных прямо на халатики зимних куртках. Отсюда не было

слышно, но по их движениям она поняла, что они говорят о чем-то веселом, даже смеются, и такая тоска взяла ее при виде этого непринужденного веселья, что всем существом захотелось перенестись хотя бы на полгода назад, когда — это же уму непостижимо! — все были живы, здоровы, молоды, глупы.

Лера с коллегами уже пропали в тени здания, вскоре каблучки сестры зацокали на отделении, она прошла мимо Альки, улыбнулась ей, следом санитар прокатил в перевязочную каталку с недавно прооперированным пациентом, мимо Альки скользнуло утомленное болью немолодое лицо. Время тянулось с мучительной протяженностью.

Неужели теперь так будет... всегда? Или сколько это будет?... — подумалось ей. Она поймала себя на преступной мысли вырваться из этого беспросветно печального казенного мира с вечными запахами хлорки, хозяйственного мыла и серой столовской еды, накинуть пальто, не сразу попадая в рукава, сбежать по лестнице в больничный вестибюль, выскочить под эти суровые сосны, мимо морга, мимо проходной, не заходя за нехитрым своим скарбом к Ольге Константиновне — на первую же электричку на восток, и после пограничного стояния в Лебязьем на нее привычно дохнет большой город с его шумом, теплом, жизненным разнообразием, и когда она выйдет на Ленинском, под ногами наконец-то жирно захлопает мартовская слякоть и потянет весной, втоптанном в асфальт крошечном мимоз от недельной давности праздника восьмого марта, с которым Данька ее, кстати, даже и не поздравил.

Она представила также его лицо, когда отворятся двери кабинета заведующего и он не увидит ее у окна — возможно, поняла она, поначалу оно будет растерянным, но очень быстро примет знакомое ей замкнуто-упрямое выражение, означающее примерно — чем хуже, тем лучше, иначе и быть не могло, и даже усмехнулась такому привычному повороту.

Нет уж, — сказала она себе. На этот раз не оправдаем мы ваших ожиданий. И тут скрипнула дверь. Данька сам выкатился на холощеном жеребце Смирном, вращая колеса замотанными руками, вполоборота кивая каким-то прощально-напутственным словам Михаила Павловича. Дверь кабинета закрылась.

— Давай я, — шагнула Алька к нему.

— Хорошо, спасибо, — неожиданно ровно ответил он. — Давай на лестницу, там у них вроде курят.

Они приехали в курилку, Данька стрельнул пару папирос у мужиков и молча дымил, о чем-то думая, пока площадка не опустела.

— Короче, меня переводят в госпиталь военный. Посещения, скорее всего, будут ограничены, по крайней мере, поначалу.

— Далеко?

— Через улицу. Так что с квартиры можешь не съезжать, — усмехнулся, — хотя я в этом вообще-то большого смысла не вижу... Ну не заводись только. Я тебе на самом деле очень признателен за заботу, хоть она меня и несколько расхолаживает.

Прикурил вторую от первой.

— Существеннее другое. По нашему делу начато следствие. Будут какие-то допросы-расспросы, будь они неладны. Кольцов написал в карте, что у меня после ЧМТ проблемы с кратковременной памятью, спасибо ему. Буду упираться на это. Хорошо бы у тебя тоже оказались проблемы с памятью... а вернее, если выдернут, говори, что не знаешь ничего, особенно про мои контакты с Борисом ни гу-гу. Скажешь, что в последнюю ночь с тобой виделись, я был пьян и нес всякую херню, — быстрый взгляд, — что, в общем-то, недалеко от истины.

Помолчал.

— Надеюсь, проскочим.

Пепел с горящей папиросы упал ему на колено, Алька инстинктивно потянулась стряхнуть, но тут же отпрянула, ожидая очередного отлупа.

— Да вижу я, — спокойно сказал он. Дунул на колено, указал подбородком на нагрудный кармашек пижамы.

— Возьми у меня из кармана, там листочек с телефоном... замотали руки, хоть сейчас на ринг. Это номер кольцовского знакомого в военной прокуратуре, на всякий пожарный. У меня не факт, что будет возможность позвонить из госпиталья, если дело начнет оборачиваться погано, попроси Екатерину Игоревну набрать его. Сама не звони, мы все же не родственники официально, да и...

— Зеленая еще.

— Ну, в общем, да. Не обижайся.

Алька нагнулась и достала у него из кармана сложенный вчетверо листок. Он слегка придержал ее за плечо ладонью в боксерской перчатке бинта и коротко поцеловал в губы.

— Спасибо тебе за все, я серьезно.

И тем же легким движением отстранил, возвращая дистанцию.

— Хороший мужик Кольцов, я даже не ожидал. Говорит — думал, ты солдатик-срочник, тогда бы за тебя порубился... Но у нас уже другая ответственность. Так, в общем, оно и есть. Еще одна к тебе будет просьба.

— Какая? — тихо спросила она, губы дрожали и едва слушались.

— Голову мне побрешь. А то обстригли клоками, как овцу. Ну, поехали, надо еще собраться и бабушке позвонить.

К его переводу она опоздала, хоть и пришла по договоренности с Лерочкой в полвосьмого, к утреннему туалету больных.

— Я только дежурство приняла, явились от них врачаха и санитар с приказом. Собрали по-быстрому и перевезли.

Алька тупо смотрела на опустевшую койку, которую уже начали перестилать для следующего пациента.

— И что теперь?

— Пусть бабушка его подаст заявление на посещения, вряд ли ей откажут без повода... Тебя они вряд ли допустят, госпиталь-то не просто военный, а пограничный, а сейчас его и вовсе под управление безопасности переводят. Для таких случаев и имеет смысл жениться, — невесело усмехнулась сестра. — Пойдем, там какой-то мелкий скарб остался, мыло-кружка-полотенца, что они не взяли, отдам тебе.

Алька вышла из проходной больницы с небольшим пакетиком вещей, что они с Вороном нажили за эти несколько недель. Посмотрела на небольшое серое здание через улицу, окруженное невысоким забором, со звездой на сторожке КПП. Окна были все одинаковые, трудно понять, какое — его, а нижние еще и забраны решетками. Зачем решетки? — подумала про себя она, внутренне содрогнувшись. Неужели кто-то захочет залезть в военный госпиталь с целью воровства?

Она перешла улицу и медленно прошла мимо здания, опасливо вглядываясь в окна. По темному мартовскому утру там еще горел свет. Вернее, не горел, а тлел, как... гнилушки, которые светятся иногда в ночном лесу.

Пройдя по всей длине улицу Космонавтов, на которой располагались оба лечебных учреждения, она, не зная, куда себя деть, как распорядиться этой непрошенной свободой, встала на остановке автобуса и села в первый, что пришел. Местный час пик уже завершился, и в автобусе было много свободных мест. Она устроилась у окна и тупо смотрела на проплывающие в окне микрорайоны силикатного кирпича, пятна лесопарков с заколоченными летними эстрадами и небольшую быструю речушку, что извивалась под высоким мостом. Вспомнила, что в пакете, кажется, была бутылка с недопитым фруктово-молочным коктейлем — Данька любил

сладкое, и она постоянно таскала ему еду, что обычно считается детской. Коктейли эти, пряники, гематоген. Стало так жалко его, среди чужих людей, наверняка черствых и грубых, под угрозой разбирательства и даже без дурацкого гематогена, что в носу защипало. Она торопливо полезла в пакет, чтоб захлебнуть чем-нибудь подступающие слезы. Достала бутылку. Она была пуста — товарищ лейтенант на дорожку высосал весь коктейль для детей от года до пяти, зато в ней лежал свернутый в трубочку листок из блокнота. Вот как. Письмо в бутылке. Вытащила, развернула. Почерк был не его, ну еще бы, вряд ли он в этих варежках писать наострился... Знаки препинания стояли как попало, встречались даже орфографические ошибки, но интонация была настолько характерной, что она заулыбалась, будто услышав его голос.

...Что-то мне подсказывает, что вряд ли ты, как разумный человек, соберешь вещи и уедешь в Петербург, поэтому, если нам в скором времени не разрешат свидания, милая моя Джозиана, я постараюсь прикрепить на окно своего узилища пятиконечную звездочку из бумаги; вряд ли кто-то из персонала будет возражать против украшения в виде государственной символики, а даже если она и вызовет нарекания, то какое-то время, думаю, провисит. Если тебя не затруднит прогуляться под стенами монастыря Фонтевро завтра в час обеда (13.30–14.30), то я постараюсь подкатиться к окну на названном в твою честь скакуне, коего мне было разрешено оставить, и подать какой-нибудь веселый и ободряющий знак. Ну а если тебе будет нужно покинуть этот унылый городок и заняться делами более важными, нежели шатание под моими окнами, то я также приму это с радостью и пониманием.

С почтительным расположением,
твой Д.А.

С последними словами у нее закипело что-то внутри, и ледяной комок, давно замерший у солнечного сплетения,

принялся таять, причиняя и боль, и наслаждение. Все эти куртуазно-ернические изгибы его речи не могли заслонить короткого «твой», а еще более — того, что ему потребовалось перед лицом новой и грозной неизвестности написать ей чужою рукой это письмо. Она засмеялась, представляя напряженную от усилия физиономию Ивана Карповича, выводящего на бумаге столь редкие в обыденной жизни слова и выражения. Ой, а времени-то сколько? Ведь если письмо написано вечером, то завтра — это сегодня! Она отдернула рукав, глянула на часы. Было всего лишь начало одиннадцатого. Она прикинула, что успеет еще забежать к Ольге Константиновне и позвонить бабушке, чтобы сообщить ей о неприятной перемене. А затем — вперед, под стены Фонтевро!

...Со дня перевода Даниила Андреевича в госпиталь уже прошло больше трех недель. Двор с тыльной стороны здания, куда выходило окно его палаты, стал Альке знакомым не менее, чем двор ее детства: замыкавшие с двух сторон пятиэтажки, выход к гаражам, в центре — странная ложбинка, в которой обитали два десятка сосен, пара кустов сирени и теннисный стол. На этот стол, пустовавший по холодной еще весне, она и присаживалась с рюкзаком и термосом чая, ожидая, пока в пятом справа окне третьего этажа покажется знакомый силуэт. Звездочку бдительные санитары соскребли уже на второй день, но в ней и не было больше нужды — окно это она запомнила с первого раза. Екатерине Игоревне разрешили посещения два раза в неделю в приемные часы, она регулярно приезжала, несколько раз Даниил Андреевич передавал через нее, чтобы Алька прекращала маяться дурью и ехала в город, угрожал даже, что больше не будет подходить... то есть, приезжать к заветному окну. Пару раз он действительно пропускал свидания, но больше чем на день-два его не хватало, а Алька спокойно выдерживала характер, по-

чему-то уверенная, что ничего пока не изменится. В конце первой недели, правда, пришлось понервничать — Ворон был особенно не в духе и передал через бабушку записку без обычных его куртуазных реверансов, жестко и в лоб — «если меня закроют, не вздумай дожидаться». Алька так психанула, что Екатерина Игоревна быстро ее расколола насчет содержания письма. Добившись ответа, пожала плечами — все они так говорят, это проявление благородства в их понимании. Ждать или нет и сколько — решать только тебе. Она тогда рассказала о знакомом доктора Кольцова из военной прокуратуры и предложила ему позвонить, но Екатерина Игоревна ответила — что-то ей подсказывает, что для этого звонка сейчас не лучший момент. И действительно, хотя о ходе следствия им не говорили, но Екатерина Игоревна подметила, что вскоре от Данькиной палаты (кстати, отдельной) пропал дежуривший там с первых дней военнотружаший из Дружины, а Ворона перевели в палату уже общую. Они обе согласились с тем, что это, безусловно, очень хороший знак. Пришли деньги от Данькиной американской мамы, и Екатерина Игоревна сунула из них какой-то сестричке, показавшейся ей подороже, чтобы она ходила за товарищем лейтенантом. Обе они сомневались, что сестра выполнит обещание, но так было немного спокойнее. Мама тоже грозилась прилететь с недели на неделю, но все время что-то ее задерживало. Екатерина Игоревна предположила, что Любочка, как она ее называла, просто боится столкнуться со столь удручающей реальностью, ведь пока она не видит этого своими глазами, у нее где-то в Петербурге есть молодой, здоровый, подающий надежды сын, а не беспомощный калека с неопределенным и не слишком радужным будущим. Жила Алька так же у Ольги Константиновны, иногда Екатерина Игоревна тоже оставалась там ночевать, тогда Алька переселялась на раскладушку. Они немного заплатили хозяйке из присланных Любочкой денег, та была довольна.

К исходу первого месяца пребывания Ворона в госпитале Екатерина Игоревна подхватила какую-то нетяжелую инфлюэнцу, и они решили, что лучше ей пока полежать дома в городе и не появляться у Даниила Андреевича, которому в его состоянии инфекция совершенно без надобности. И все бы ничего, но Данька безо всяких на этот раз угроз и возмущенно воздетых рук в окне не появлялся уже четвертый день. Алька попросила бабушку позвонить в госпиталь и справиться о нем, и в справочном ей сказали, что состояние больного удовлетворительное, а когда настойчивая Екатерина Игоревна добилась, чтобы ей дали номер отделения, и попала наконец на прикормленную медсестру, та вполголоса сказала, что приезжал какой-то ввэшный капитан из Данькиной части, с ним военная полиция, и еще привозили кого-то на очную ставку. Алька так встревожилась, что провела под стенами Фонтверо весь день с утра до темноты, но заветное окно оставалось пустым и молчаливым. И тогда она решила все же позвонить по телефону, который дал когда-то Ворону доктор Кольцов.

По номеру ответил голос из тех, что сразу хочется назвать прокуренными.

— От Михаила Павловича по поводу лейтенанта Ворона? Да-да, что-то припоминаю. Хорошо, я разузнаю, что смогу. Подъезжай завтра на Шпалерную и набери меня по трубе часика в два. Пиши номер.

Назавтра Алька собралась с утра, почему-то подумала, не стоит ли сразу забрать вещи. Эй, а он? Он же все еще там, в здании с лесистым двориком. Или уже в другом месте?.. Об этом повороте не хотелось и думать. Алька пожалела, что никак не успевает сбегать в обед к госпиталю, а уже потом на электричку — вдруг именно в этот день он наконец подойдет к окну? И что подумает, не увидев ее на привычном месте?

Но встреча с прокурорским — на листочке он был записан как Олег Владимирович — казалась все-таки куда важнее.

Город встретил ее почти настоящей весной. Если по обочинам Военно-Ижорской железной дороги еще лежал снег, то в центре мегаполиса его уже сожрало тепло людей и машин вместе с первыми горячими лучами солнца. Ботинки непривычно касались голого и сухого асфальта после пригородной распутицы. Шпалерная была, как обычно, безлюдной и пыльной. Алька свернула к Таврическому саду и присела попить кофе в пирожковой, дожидаясь назначенного часа. Только когда до двух дня оставалось каких-то пятнадцать минут, ее как ударило — а как же она наберет этого Олега Владимировича по его трубе, своей-то у нее нет! Она вскочила, в панике оглядывая посетителей заведения — парочка пенсионеров, компания гомонящей школоты... Никто из них не похож на людей, у которых есть труба. Подошла к стойке. Извините, нельзя ли от вас позвонить (почти заискивая). Не положено, — хмуро сообщила буфетчица средних лет. Пожалуйста, мне очень надо. Да нет у нас телефона, заблокировал хозяин, чтоб не трепались попусту, — рывкнула женщина. Алька схватила рюкзак и выскочила на улицу. Было без пяти минут два.

У арки неподалеку парковался длинный черный джип — вроде, такой был у Бориса Медведева. И труба у него тоже — была. Алька набрала в грудь воздуха и решительно направилась к худощавому, коротко стриженному мужчине, который как раз вылезал из машины. На втором-третьем шаге ей пришло в голову, что посыл неверный; она постаралась расслабить колени, улыбнуться поприветливее и слегка повилить задом. Мужик уже заметил ее и с долей непонимания наблюдал подобное преобразование.

— Чем-то могу помочь? — хмуро спросил он, когда стало недвусмысленно ясно, что все эти пассы предназначались все-таки ему.

— Извините великодушно... Нельзя ли у вас попросить телефон... трубу. Позвонить.

— Ну ясно, что не подудеть. Не в Казахстан хоть, надеюсь?

Достал из кармана тяжелую «нокию» устаревшей уже модели, протянул ей, внимательно наблюдая. Вдруг убегу с этой трубой, — подумала про себя Алька. Набрала номер, выученный на всякий случай наизусть. Короткие гудки.

— Занято, — сокрушенно сообщила хозяйину телефона. — А вы очень торопитесь?

— Да уж, тороплюсь, наверное, я ж не телефон-автомат здесь торчать! — рассердился мужик. Взглянул на маленький экранчик трубы: — Эй, а ты это мне звонила, что ли?

— То есть? — не сразу поняла Алька.

— Ну, это мой вообще-то номер.

— Да? Ну, значит, вам... Олег Владимирович. По поводу лейтенанта Ворона. Алевтина. — Она окончательно смешалась под насмешливым взглядом.

— Ну, здравствуй, Алевтина по поводу лейтенанта Ворона... Пойдем, что ли, пирожков потрескаем, — кивнул он на кафе, откуда она только что выскочила.

— ...Что у вас тут? С рыбой, с морковкой, с мясом... Гавкало или мяукало? Знаешь анекдот?

— Какой?

— Гавкало или мяукало? Дурацкие вопросы задавало. Давай-ка с рыбой, она-то по крайней мере молчала. Девушка, насыпьте нам пирожков с рыбой и два кофе. Хороший хоть парень, этот твой лейтенант Ворон? — быстрый взгляд в ее лицо. — Ну, понятно. Ох, девки, девки... Садись вон в угол, что застыла.

...В общем, так — на Ворона твоего нет ничего, он проходит потерпевшим и еще свидетелем по другому делу. Не очень хороший замес там с этой Дружиной клоунской, которую за каким-то хером допустили к серьезным вопросам, она уже решена к расформированию и там по начальству открыта пара производств. Ну да это ни тебя, ни твоего Ворона не касается. Пока.

Улыбнулся длинным неровным ртом.

— Что еще интересует?

— А что с ним дальше?..

— Дальше комиссуют, кому он нужен без ножек. Разве что тебе, — хохотнул. — Ну извини, профдеформация. — Из упырей, что его пытали, одного взяли уже, ну так, мелкую сошку. Остальные в розыске пока. Твоему, может, что-то дадут за так сказать геройство и ущерб здоровью, и чтоб не вякал нигде об истории этой. Жилплощадь скромненькую, скорее всего, в каких-нибудь ебеньях. Так что он у тебя теперь мужчина с приданым.

Усмехнулся, заел пирожком.

— Вот такая вот, сестренка, конфигурация. Пирожки говно какое-то, лучше бы с морковкой взял. Но котам сойдет. Есть у вас кот? Нету? Заведите. С котом веселее, и они, говорят, стресс снимают.

Допил одним глотком кофе, достал сигарету, постучал об пачку, распределяя табак поудобнее.

— Ну все, если вопросов нет больше, побежал я, служба не ждет. Михал Пальчу привет, мировой мужик, лечил меня, когда я из южной командировки с осколком в башке приехал. Бывай, молодец, что парня не бросила. Побольше бы баб таких.

Алька осталась сидеть за столиком с недопитым кофе и молчаливыми пирожками с глупой улыбкой на физиономии, хотя улыбаться ей вообще-то совершенно не хотелось. Та часть Данькиного мира, что до поры была не то чтобы скрыта от нее, но как-то затемнена, вдруг предстала с огушительной и жестокой простотой. Она пока не знала, что с этим делать, но она непременно придумает. Они вместе придумают.

Ворона выписали из госпиталя через три дня. Забирала его Алька, Екатерину Игоревну она отговорила от этого предприятия, памятуя ее состояние при последнем посеще-

нии — когда забежала к ней после Шпалерной, ведь та жила поблизости, бабушка еще вовсю хлюпала и сморкалась. Тогда же Екатерина Игоревна дала ей денег на всякий пожарный — ну вот он и пришел пожарный, Даньку выписывают. Вместе они погрузились в буханку военной скорой помощи, которая шла в Питер и везла еще двух больных на какие-то исследования, для которых в госпитале не было аппаратуры. Один боец лежал посреди машины на носилках, другой, с костылями, сидел напротив нее, а Данька на крепко принайтованной коляске устроился рядом. Он выглядел истощенным и уставшим, будто погасшим на исходе последних недель, проведенных в монастыре Фонтевро. На свидания к окну не приходил, потому что протезы пытались пригнать и повредили ноги... то, что от них осталось. Пришлось несколько дней лежать в лежку.

— Сейчас получше?

— Заросло, как на собаке. Даже обидно, никакой романтической томности во мне.

Помолчали. Машина довольно скоро шла по нижней приморской дороге, в маленьких пыльных окошках мелькал распускающийся лес и иногда — берег моря, уже почти освободившегося ото льда.

— Мне квартиру подарили, представь. — Нарушил он наконец молчание. — В какой-то жопе мира, но сам факт... Родина не забыла. — В голосе послышались характерные ернические нотки.

— Ну, все же квартиру, не самокат, — поддержала она тон. — Вот тогда было бы обидно, да?

— Да я даже самоката не заслужил, по чесноку-то.

Покатал слюну под языком так, будто готовился сплюнуть, но воспитание не позволило харкать на пол.

— Наверное, туда поеду, как оклемаюсь чуть.

Алька взглянула на резкий профиль с запавшими щеками и заостренным ухом, словно объеденным по краям — последствия обморожения. Не спросила почему, просто кивнула.

— Тебя там никто не знает.

— Да. Если хочешь, поехали со мной. Только потом. Позже.

Постучал костяшками пальцев в окно водителя. Они как раз вышли на Ораниенбаумский спуск, впереди маячила башня Петергофского часового завода, а по правую руку растянулся со своими оврагами, прихотливым прудом с разбитым дворцом Кваренги на берегу и вечным огнем воинского мемориала у шоссе дикий Английский парк.

— Остановите, мне здесь.

Машина затормозила перед светофором у памятника защитникам ленинградского неба.

Ворон кивнул ей и поднялся с коляски.

— Все, Алевтина, пора заканчивать эту инвалидную комедию. Спасибо за участие. Во всех смыслах.

Гибко склонился, запечатлев на ее губах свой фирменный, ничего не означающий поцелуй. Открыл со скрипом тяжелую дверь и выскочил на обочину.

— Мы встретимся. Мы обязательно встретимся, — отсалютовав, сказал в закрывающуюся дверь буханки; или ей так показалось, потому что очень хотелось чего-то подобного. Скорая тут же тронулась с тяжелым урчанием, будто не заметив его отсутствия.

...Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости. Там, куда я уйду — весна. Я знаю, ты сможешь меня найти, не оставайся одна¹.

Она проснулась на остановке в деревне Нежново от того, что в плеере закончился альбом, под который она заснула, или от утреннего холода, или от урчания мотора отходящего автобуса на Сосновый Бор. Лицо ее было в слезах или в расцветной росе, от которой люди, как известно, возвращают-

¹ Дельфин «Весна».

ся к себе на несколько лет моложе. Она схватила сползший во сне под скамейку рюкзак и, не вынимая наушников, рванула за уходящим бусиком.

4. Невеста

Автобус от деревни Нежново, где, рассказывал ей Даниил Андреевич, — а может, уже и Вадим, — родился байстрюком художник Кипренский, записан в семью крепостного Адама Швальбе, а фамилию взял по иван-чаю, иначе — кипрею, который в оное время не цветет, только лишь начинает выбрасывать свои побеги на гарах и старых развалинах, а их в этом давно освоенном и не раз и не два военном крае — до жопы, а в период цветения, пожалуй что, и до плеч, вместо того чтобы выйти на побережье, пошел через Копорье на Глобицы.

Лето уже всюду вступало в свои права, у рачительных хозяев в палисадниках всю перли тюльпаны, нарциссы, низкорослые темно-синие ирисы и маленькие синие же цветочки мышиноного гиацинта, так и называемые в просторечии — мышатами. Утренняя дорога стремительно бежала от деревни к деревне между колоннами высоких тонких сосен и веселыми пятнами березнячков, бусик постепенно наполнялся ранними пташками в основном пенсионного возраста. Азиатский водила попался из продвинутых, и в салоне играл не Таркан, а итальянская песня, трагический мужской голос ритмично причитал о какой-то Айше. Станный в своей натуралистичности сон будто и от нее тоже отсек какую-то воспаленную часть, а затем прошелся жестким полотенцем по закоулкам памяти, причиняя боль и освежая одновременно. В первый раз за последние два года ее накрыл беспричинный, казалось, восторг от созерцания розовеющего в первых лучах сосняка, грозной и в то же время полной функционального изящества громады

крепости с высоким арочным мостом к ней, что проплывала по правую руку, и даже забавно подергивающегося темного затылка водилы, подпевающего грустной песне про неведомую Айшу. После Глобиц автобус резко взял влево и вскоре, покачиваясь на поворотах всхолмленного берега, миновал оставшиеся чуть западнее блоки ЛАЭС и въехал на зеленые и чистенькие, как в социалистической утопии, улицы города атомщиков.

...Сдержанно раздраженный взгляд поверх очков-хамелеонов. Густо покрашенная жгучая брюнетка в белом халате и шапочке, приколотой к волосам черными штрихами невидимок, досадливо поджимает яркие тонкие губы. Справочное медсанчасти на улице Космонавтов, которая оказалась почти такой же, что и в ее мысленном фильме, только еще обширнее — не больница, а целый город в городе. Маленькое окошко, пробитое в фанерной стенке. Стенка обклеена объявлениями и расписаниями. Как бы ни было, все справочные во всех больницах города похожи друг на друга. Равно, как и густо покрашенные брюнетки в белых, накрахмаленных колпаках.

— Так и что вы от меня хотите, девушка?

— Человека найти хочу.

— Вы родственница?

— Нет.

— Так и что вы от меня хотите?

— Человека найти хочу, — терпеливо и по слогам.

— Посторонним не сообщаем.

— Я не посторонняя.

— Жена? Сестра? Дочь?..

— Нет.

— Так и что вы от меня хотите?

Алька выходит на улицу. Дышит свежим, влажным воздухом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вышел зайчик погулять.

Уравнение с одним неизвестным только на уроках математики решается проще простого. А в больнице небольшого города это практически неразрешимая задача. Слишком много неизвестных. И непонятно, который из них твой.

Сзади хлопает дверь. Брюнетка из справочной кабинки характерным мужским жестом вытряхивает сигарету из мятой пачки на ладонь. Закуривает.

— Девушка. Не мать-не дочь. В приемный иди. Скажи, что родственница. Невеста. Скажи, что невеста. Там бабы нормальные сегодня на смене.

В приемном покое и правда попались две женщины. Она сказала им, что невеста. Ищет его и не может найти. Давно пропал. Давно ищет. Несколько лет как. В феврале, на исходе зимы. Сказала и сама расплакалась.

Женщина, которая постарше, тяжело вздохнула.

— Если больше трех лет — это долгий срок. Все данные, истории болезни и так далее, сдаются в архив. Только вот, пойми ты, архивов, как таковых, в больницах нет. Почему? Потому что архитекторы у нас уроды безмозглые. Ни в одной больнице страны не предусмотрены помещения для архивных документов. Да даже если бы был у нас чердак, а крышу нашу ты видела? Плоская крыша. Но и будь крыша как крыша — нельзя там бумаги складировать. Пожарные не разрешают. Храним в подвале. В подвале документы хорошо если три-четыре года живут из-за сырости. Да и должности архивариуса в больницах нет. А после сокращений массовых и не будет. И кому прикажешь там рыться?

— Но документы-то где-то есть?

— В принципе есть. Архивы не уничтожаются в течение десятилетий. Смотря что за документ... но после трех лет их передают в общий архив больницы. Да. В подвал. Ну ты же понимаешь, какой это бардак? — женщине постарше явно очень хотелось рассказать про бардак в родной больнице.

— Вообще, надо писать заявление на имя главврача. — Вставила свои пять копеек сотрудница помоложе. Старшая посмотрела на нее, как на сумасшедшую.

— И как думаешь, куда ее главврач пошлет? Невесту нашу... Спустя три года надумавшую жениха найти?

— Я не внезапно. Мне недавно только рассказали, что в то время сюда поступал неизвестный. Его рыбаки нашли на Финском заливе. Босого.

— Деточка, у нас таких каждый год. И босые, и обутые, и молодые, и старые.

Таким образом Алька и сменила профессиональный профиль — вместо художницы в университетской археологической экспедиции оказалась уборщицей в медсанчасти города атомщиков. Впрочем, в жизни бывают и не такие повороты. Ход этот ей подсказала та самая немолодая медсестра из приемного покоя, Светлана Сергеевна: убираться там будешь потихоньку, никто тебя дергать не будет, заодно сможешь и бумажки эти посмотреть. Так же быстро Светлана Сергеевна решила вопрос с жильем — у нее была дачка в садоводстве в пятнадцати минутах езды от городка, сама она наезжала туда только на выходные: посмотришь там за хозяйством, цветочки пополиваешь, да и лучше, когда кто-то постоянно находится в сезон на участке, тогда не залезут. А кто может залезть? — озадачилась Алька, не очень воспринимавшая себя в роли грозного сторожа. Ничего серьезного, — успокоила ее сестра, — бомжи иногда лазят да цыгане ищут цветнину на пустующих дачах, могут бак с летнего душа, например, спереть. Но они пугливые все, если кто в дому есть, то не суются.

Рабочий день начинался в восемь утра — надо было помыть лестницу, ведущую в подвал; это был, вообще говоря, основной ее фронт работ, самим подвалом никто особенно не интересовался, и она возилась там весь день, пару раз забе-

гая поест в больничную столовку или же вовсе довольствуясь водой, сникерсом и чипсами, купленными в ларьке. Вечером нужно было после отбоя в двадцать два ноль ноль еще раз намыть лестницу и успеть на последний автобус до садоводства. Дневные часы с десяти до десяти, вообще говоря, ей никто не оплачивал, устроена она была на полставки, но заняться в Сосновом Бору ей особенно было нечем — ни друзей, ни знакомых, поэтому она поначалу довольно редко покидала медсанчасть ради небольших прогулок, все остальное время посвящая своей задаче.

На второй неделе ее миссии Альку отыскал Лажевский — справился о ней по телефону у матери, принявшей очередную придурь дочери с привычным смирением, и доехал в один из своих вояжей на Сойкинский полуостров. В Алькино подземелье молодого человека проводила ее коллега, пенсионерка Анна–Степанна, которая тоже подрабатывала в больнице уборщицей, но большую часть времени посвящала столь недостающему ей общению. Алька была уверена, что, проводив Артура в подвал, та еще минут пятнадцать торчала у приоткрытой двери с целью сбора оперативных данных.

— ...Не, ну ты даешь! — без предисловий начал Лажевский. — Решила похоронить себя за плитусом?

— Я тебя тоже очень рада видеть, — отозвалась Смирнова, не поднимаясь от бумаг.

Артур прошелся по подвалу, который представлял из себя широкий и довольно высокий ход, конец которого терялся где-то в темноте. По центру хода кое-где лежали металлические крышки люков, ведущие к техническим коммуникациям; когда кто-то на них наступал, крышки издавали низкий и даже немного зловещий гул.

— Не, ну я тебя даже понимаю отчасти. Готичненькое местечко. Не то что с этими бородатými. И что ты думаешь, найти здесь... его следы?

— Есть вероятность, хоть и не очень большая, — честно ответила Алька. — В поселке сказали, что в конце той зимы рыбаки сняли со льда солдата какого-то... ну, военнослужащего, на нем только штаны были. И отправили по скорой в эту медсанчасть. А я два года назад только до Рамбова больницы обзвонила, мне и в голову не пришло, что они его так далеко могли завезти.

— С такой же вероятностью можно было больницы с той стороны залива обзванивать... — буркнул Артур. — В Финке, то есть. Не, во дела! Нет предела человеческим возможностям. Давай, что ли, я тоже тут с тобой покопаюсь, не чужой человек все же.

Артур присел на корточки и взял со стеллажа старый журнал с сырыми потеками и пятнами плесени, кое-где уже съевшей целые страницы.

— Антипова А. П. 38 гинекология уд... Смирнов Г. С. 27 а/р смерть 02.04.200*... — прочитал наугад. — У тебя еще мозга за мозгу не заходит от обыденности людского страдания?..

— Нет, здесь это как раз философски воспринимается, примерно как читаешь списки пострадавших в какой-то столетия назад отгремевшей битве. К тому же я напрямую не сталкиваюсь почти, разве что перекинут иногда на другой участок, на травму там или хирургию лестницу мыть, палаты мне не дают... там иногда выходят люди без ног-рук или без глаза, или вообще практически без лица. А бумажки они и есть бумажки. Расскажи лучше, что там у археологов, — Терешонку Нобелевскую премию дали уже за церу эту или что у них там положено?

— Язва ты, — довольно хмыкнул Артур. — Ну, слушай...

К приезду телевизионщиков неяркая природа юго-запада Ленобласти словно специально принарядилась. Выглянуло солнце, сильный ветер накануне разогнал плотный серый

покров, и в синем небе закурчавились величественные бело-голубые тучи, похожие на паруса сказочных кораблей. Где-то вдалеке шумело море, и немного успокоившийся с ночи ветер гнал белые барашки по яркой сизо-голубой воде.

— Сейчас бы на берег. Посидеть бы на песочке с баклажкой пива, а не вот это вот все, — вздохнул вышедший на крыльцо вслед за Андреичем Генрих.

К лагерю подкатил кортеж из пары джипов «УАЗ-патриот» и «газели» с логотипом крупной местной телекомпании со спутниковой тарелкой на крыше; из первого джипа выскочил Лажевский, галантно подал руку Виноходовой и яркой, миниатюрной девице. Из второго вылезло какое-то местное начальство. Из «газели» показалась Шурочка в компании двух видеооператоров с характерно мускулистыми предплечьями. Руку ей никто не подал. Мускулистые видеооператоры сразу занялись своей аппаратурой, что-то деловито обсуждая на одном им понятном сленге. В другое время Вадик бы с удовольствием поглазел на них. Он любил наблюдать за профессионалами за работой. Но только не сегодня. Сегодня это был бы чистой воды мазохизм. До сих пор, стоило вспомнить, что натворили Шура с разревевшейся в процессе дознания Тессой при вдохновенном соучастии друга Ридли, — у него начинали ныть зубы от желания кому-нибудь врезать.

— Я же говорил тебе, что преступника всегда тянет на место преступления. Классика, — ткнул напрягшегося Андреича локтем в бок Генрих, кивая в сторону Шурочки. Вадим кивнул.

Пока Виноходова обихаживала журналистскую братию, к ним подрулил сияющий Лажевский.

— Ну что, мои поздравления Ларе Крофт... или как там? Индиане Джонсу? — захихикал он и полез обниматься и хлопнуть Вадика по спине. Тот поморщился.

— Что не так, брат?

— А то, что мы в полной жопе, брат, — буркнул Вадик и, неожиданно зубасто заулыбавшись, пошел к Виноходовой, машущей им руками. Лажевский вопросительно приподнял брови, которые у него в такие моменты по-клоунски вставали домиком, и посмотрел Генриху в глаза.

— Не спрашивай, — вздохнул тот.

— Нет уж, я-таки спрошу. Во-первых, куда спрятали мою Алевтину? Где мой цветочек аленький?

— Твой? — хмыкнул Генрих.

— Конечно, мой. Знал ли ты, о Генри, что я Алевтинин фамильяр? — вынул из пальцев Генриха дымящуюся сигарету и затянулся.

— Конфидент, хочешь сказать?

— Нет. Именно фамильяр.

— Алевтина твоя уехала в неизвестном направлении, фамильяр ты наш. Кстати, фамильяру об этом вообще-то полагается знать лучше, чем кому бы то ни было.

Лажевский притушил окурок о подошву модного кроссовка:

— Так. А теперь серьезно. Что вы тут натворили?

В бессмысленной попытке оттянуть неизбежное, аспирант Терешонок пригласил журналистов в избу, оставив проштрафившуюся Тессу с Оленькой и Галиной Ивановной демонстрировать городским местный колорит. Изначально в его планы входило как-то отвести Виноходову в сторону и посвятить в ситуацию, но он никак не находил в себе храбрости для этого. В итоге, угостившись запеченной пшеничкой, вяленой рыбой и, те, кто мог, дернув по стопке водочки, журналисты начали снимать. Повернулись в избе, сделали проход по улице. А потом и на раскоп — хотелось бы отснять вас за работой! Заодно и находку века нам покажете! — щебетала молоденькая яркая корреспондентка, которая представилась Светочкой.

Шурка всюду следовала за ними, цепко вглядываясь в лица.

В лагере прошла по палаткам.

— А где Ридли? — спросила как бы между прочим.

— Не знаю, — Вадим дернул плечом.

— А что ты такой нервный?

— Я? Да нет. Просто устал.

Теперь уже Шурочка задергалась.

— Ну, показалось, значит. Я, кстати, не против, если ты скажешь, что церу сам нашел.

— Да. Бывает, и не такое покажется, — кивнул Андреич.

— ...И наконец-то давайте познакомимся с героем дня! — Светочка подтолкнула Вадима в поле зрения объ-ектива.

— Подождите! — вставил Генрих. — У нас, рыцарей науки, все по-честному, — камера дернулась в его сторону — Мы не присваиваем чужие заслуги. Вот, познакомьтесь — восходящая звезда археологии Александра Волкова! Именно ей мы обязаны этой замечательной находкой!

Виноходова из-за камеры сделала страшное лицо. Рыцари науки на деле довольно ревниво относятся к осененным удачей профанам. Генрих же продолжал заливаться соловьем.

— Вспомним моего тезку Шлимана, коммерсанта и вдохновенного авантюриста, который много лет шел к открытию Трои и в итоге посрамил скептически настроенных профессионалов! Примерно так случилось и с нашей Александрой — с той разницей, что уже первая ее экспедиция увенчалась впечатляющим открытием!

Одновременно Генрих положил Шуре на плечи свои тонкие паучьи пальцы и не выпускал ее из кадра, не давая вставить слова ни ей, ни даже Светочке. Кто бы подумал, что в бледном ботанике скрывается столь недюжинный артистизм. Наконец он кивнул Вадиму и подвел к коде:

— А сейчас наша героиня продемонстрирует находку, из-за которой мы сегодня и собрались.

Терешонок с усмешкой подал Шуру церу в чехольчике.

— Достань, не бойся, мы пропитали материал специальным антивандальным составом. Теперь с ней можно делать что угодно, даже на зуб попробовать, и сокровищу ничего не будет.

— Предлагаю нашей героине прочитать то, что написал наш неизвестный прародич. Ведь только на первый взгляд здесь простое перечисление налогов и сборов, на самом деле дощечка скрывает зашифрованное послание!

До Шурки наконец дошла вся мера коварства ее бывших товарищей. Страхнув с плеч ладони Генриха, она рявкнула:

— Не буду я ничего читать. Я и по древнерусски-то не знаю. Толян, выключай камеру.

...Дальнейшее выяснение подробностей дела заняло не так уж много времени. Виноходова, конечно, вся кипела изнутри, но виду старалась не показывать. Плакала теперь моя аспирантура, — вполголоса сказал Артуру Терешонок. Ничего, отойдет, — в тон ему ответил Лажевский. Журналисты немного поржали над незадавшимся розыгрышем, только Светочка была недовольна — с подачи Шуры она выдернула группу на целый день в область, и теперь прикидывала, во что ей встанет эта авантюра. Шурка после сцены с табличкой пропала — видимо, избегала гнева обманутых вкладчиков своего предприятия. Операторская группа, упаковав камеры, в полчаса высосала литр самогонки под копченую рыбу Галины Ивановны. Деревенские были воодушевлены неожиданной движухой и всю потчевали гостей из северной столицы. А мы с Генри и Андреичем ушли на берег и накинулись там втроем под разговорчики о том, что все зло от баб. Да, Терешонок тебе передавал привет и всякие куртуазные сожаления в том, что ты пострадала от ревности его гарема.

— ...Он вообще ничего так парень, да? — задумчиво спросила Алька, возвращая на стеллаж очередную просмотренную кипу.

— Да, он клевый. Бабник, конечно, но это уж мы все по мере возможностей, — усмехнулся Артур.

Несколько дней спустя Алька вышла в обед из своего добровольного заточения купить чего-нибудь на зуб и прогуляться. Было самое начало июня, свежий солнечный день с легким ветром с моря. Больничный киоск она не любила, ближе всего из общечеловеческого был ларек на остановке, где помимо сигарет, алкоголя, газировки и шоколадок недавно начали торговать пирожками. К пирожкам она и направилась, миновав проходную медсанчасти. Внезапно ее окликнули, и Алька даже не сразу узнала в припарковавшемся на той стороне улицы мотоциклисте аспиранта Терешонка. Она остановилась и увидела, как тот, убедившись в столь неожиданном и удачном совпадении, развернулся против правил и подрулил к тому самому ларьку на фырчащем стареньком «Урале» с коляской.

— Ничего себе! — радостно приветствовал ее он. — А я-то думал, фамильяр твой заливаает про больницу.

— Кто заливаает?

— Неважно. Мы тут закупаться поехали, и вот, думаю, проеду мимо больницы, посмотрю хоть, на что ты нас променяла, — он засмеялся, скрывая неловкость.

Как ни странно, побыв некоторое время без людей, начинаешь легче считать их реакции, — подметила про себя Алька.

— А ты на обед вышла? Хочешь, проедемся до пекарни, мы там всегда вкуснящий местный хлеб берем. И мелкая выпечка у них есть, уж получше, чем здесь. — Он кивнул на пирожковый ларек.

— Поехали, — неожиданно легко согласилась она. —
А мы — это кто, ты и мотоцикл? — уже залезая в коляску.

Терешонок густо захохотал.

— Ридли еще, он за бухлом поехал. Держи шлем.

— Вы помирились уже?

— Ты уже в курсе, ну и ну! Действительно, фамильяр.

Мотоцикл заревел, трогаясь с места, и дальше разговаривать уже стало неудобно.

— ...И сделал кузнец-молодец красной девице семь пар железных сапог, взяла еще она семь железных хлебов, поклонилась родимому батюшке и старшим сестрам своим, братьев своих любимых повидала, курган матери навестила, требы Роду и Ладе принесла и отправилась в путь-дорогу искать своего суженого Ясна Сокола или, в нашем случае, как там? Черна Ворона? Но Ворон Воронович — это уже другая сказка.

После пекарни они приехали на берег местной речки Коваши и устроились в зеленке у Старого кладбища со свежим хлебом и двухлитровой коробкой сангрии, и теперь Вадим пытался показать Альке абсурдность ее решения, как оно выглядит со стороны. С его стороны, разумеется.

— Мне надо выяснить, он это или не он. Ты же понимаешь? — Алька прихлебнула разбавленного винца из железной кружки, что была у пацанов с собою для такого случая.

— Я, Аленька, вообще очень понимающий парень.

— Подтверждаю! — подал голос Ридли, увлеченный более куском пружинистого белого хлеба с дешевым адыгейским сыром, нежели беседой.

— Мне дают ключи от подвала. Там тоже надо прибраться.

— А вот тут мы ступаем на темную территорию европейских сказок. Но и про Синюю Бороду мне есть что рассказать. Знаешь ли ты, что исторический Синяя Борода был

соратником Орлеанской Девы, тоже весьма самоотверженной девицы?

— Перестань глумиться. Я очень прошу воспринимать меня всерьез.

— Да куда уж серьезнее, — вздохнул Вадик, с долей зависти и еще какого-то едва уловимого чувства глядя, как у Альки, слишком резко прихлебнувшей вина, потекла по подбородку розовая струйка. Сам он не пил — за рулем.

В тот раз они просидели до сумерек — это был первый день, когда Алька разрешила себе подобную вольность. После сырого подвала голова у нее кружилась даже и без сангрии: нежная зелень склона в солнечных зайчиках одуванов, сень недалекого кладбища и переплетающая внизу тугие струи небольшая и стремительная здесь река — все ловило ее в свои сети. Раскрасневшись, она что-то доказывала Терешонку; кажется, даже сдала ему часть своего внутреннего фильма, увиденного на остановке в Нежново. Говоришь, он книжки у тебя писал? — с легким необидным смешком заметил Вадим. — По-моему, это тебе стоит, такая фантазия пропадает. Ты не понимаешь, — горячилась Алька, — тем, что я есть — я в значительной степени обязана этому человеку. Вот я тебе нравлюсь, да? Не гримасничай, я знаю, что это так. Значит, тебе в каком-то смысле нравится он. Андреич заржал, ему пьяненько подхихикивал Ридли.

Слушай, Смирнова... мне Лажевский говорил, что ты странная, но такой роскошной шизы я не ожидал. Еще немного, и ты меня со своим пропавшим трубадуром в койку уложишь, при этом исключительно из возвышенных чувств! Впрочем, я даже склонен рассмотреть предложение, если ты тоже будешь участвовать...

Алька, даже не ощущая в себе особой злости, пнула его ногой, а затем еще слегка наподдала для верности — и поскольку она сидела чуть выше, то аспирант Терешонок покатился по склону прямо в веселую речушку Коваши. Она дернулась

было спасать, но Ридли остановил ее жестом: не ссы, он трезвый, сам выберется. Давно мечтал посмотреть на что-то подобное.

Андреич, действительно, выбрался быстро и довольно ловко, поднялся по склону, на ходу выжимая куртку, выглядел при этом слегка надутым.

— Такие знаки внимания мне принимать еще не приходилось, — недовольно заметил он. — По справедливости надо было бы тебя тоже макнуть, но тебе ж еще на боевой пост.

Обогнув Альку, завоzilся около мотоцикла. Чувствуя себя слегка неловко за происшедшее, она обернулась, чтобы предложить помощь, и увидела маячащую в сумерках голую мужскую задницу: Терешонок, приплясывая на одной ноге, переодевал штаны.

— Он у нас запасливый, — подтвердил Ридли. — Всегда возит с собой сменные портки, майку и еще там, по мелочи.

Потом они с Ридли допили сангрию, помирились с Вадимом и уже вместе сажали окосевшего Ридли в коляску, затем Алька устроилась в седле сзади Андреича, и они покатали по вечерней столице мирного атома — мимо пушистых сосен, садика Андерсена, новенькой церкви иконы Неопалимая Купина, издали напоминающей ракету на старте. На Космонавтов Вадим притормозил — было как раз без пяти десять.

— Ты как, к себе на подвал? Или, может, все-таки махнем с нами? Ну, как знаешь, — уже принимая из ее рук шлем.

В следующий раз Андреич заехал к ней дней через десять, уже без обиняков. В подвал его, так же как и Артура, проводила Анна Степанна, на этот раз ворча, что к Алевтине прям в очередь пацаны прут.

— Ты как в монастырь от нас ушла, — отметил Вадим, ежась под сырыми сводами после жаркого летнего дня. — Виногодова закрывает экспедицию, после этой фейковой церы

как-то все наперекосяк пошло. Да и находок кот заплакал, все как обычно в этом районе. Еще недельку покопаемся и домой, — быстрый взгляд в ее сторону.

— Мы с пацанами, правда, думаем еще как минимум до середины июля позависать, по поисковой части. С Галиной Ивановной я договорился, ей с нами даже веселее, да и можем иногда по хозяйству... поднять-перенести-наколоть. Без мужика в деревне трудно.

— Вы — это кто?

— Я и Генка, Серега будет приезжать окказионально, у него же семья в городе. Ты, если тоска возьмет, давай тоже в гости наведывайся. Ну или как там тебе удобно.

Вадим стоял на гулком люке посреди подвала: стройный, с сильными худыми плечами и высокой талией, на длинных ногах — наколенники мотоциклетной защиты. Копна русых волос над стриженными висками, мягкий прямой русский нос из тех, что в юности кажутся неопределенными, а позже приобретают почти классические очертания. Как она могла принять его за Даниила Андреевича? Он же совсем другой.

— Ладно, на свет божий ты, видимо, не собираешься, а я сегодня купаться тоже не намерен. Запиши на всякий пожарный трубу мою, прикупил тут по случаю.

Продиктовал номер и вышел, погудев ботинками по цепочке железных крышек.

Дни шли один за другим, Алька втянулась в нехитрый график, и после первых недель полного погружения стала чаще покидать подвал, почти всегда позволяла себе прогулку в середине дня, иногда даже уезжала с Андреевичем и Генкой куда-нибудь по окрестностям — к устью реки Систы, где было красивое побережье и чистый сосновый лес, или на Горвалдайское озеро; один раз они завернули оттуда в замечательное, по словам Вадима, место — к заброшенному береговому форту. Ехать туда надо было через поселок Черная

Лахта, дальше дорога шла через лес, а посреди него внезапно стоял запретительный знак и над раскисшей грунтовкой висел ржавый шлагбаум, который они объехали по обочине. Минут через десять тряски по лужам и ухабам пейзаж начал меняться, и вскоре вместо темного леса с обилием мусорной черной ольхи перед ними раскинулся участок ветреного побережья, на котором помимо привычных здесь сосен росли высаженные в произвольном порядке березы с сильными тугими стволами, мощные сероватые дубы и веселые ясени. А на самом берегу стояла вышка наблюдательного пункта, дальномерный павильон и, чуть дальше, — комплекс морской батареи с сетью подземных сооружений. Пацаны полезли на НП по ржавым трапам, их смех и невинный матерок доносились из недр полой башенки. Они, наверное, представляли себя офицерами форта: не извольте сверзнуться, господин капитан-лейтенант! — кричал Генка; подтяните жопу, товарищ мичман! — отвечивал ему Вадим. А ей все казалось, что она уже видела этот каменистый берег, деревья и серый бетон оборонительных сооружений, частую, серо-золотистую на мелководе волну, и стремительно проходящее по линии горизонта соединение небольших боевых кораблей.

— В Кронштадт идут, на день Флота! — раздался сверху голос Андреича. Он уже взобрался на последнюю площадку наблюдательного пункта и, перегнувшись через остатки заграждения, указывал Альке на далекие корпуса эсминцев.

День Флота. Конец июля уже. Вам следует уехать сегодня же.

— Спускайтесь уже! — крикнула она Вадиму. — Мне нужно успеть до десяти в медсанчасть.

Тем вечером ей в дополнение к лестнице в подвал задали мыть два пролета между хирургией и травмой. Было уже начало двенадцатого, и она торопливо размахивала шваброй, опасаясь не успеть на автобус. Парни предлагали дожидаться

ее и подвезти, но она почему-то отказалась. Ей и так было все время неловко, что они возятся с нею, развлекают, а Генка еще и то и дело пропадает куда-то, будто норовя оставить их с Андреичем наедине. На площадке у травмы курили двое выздоравливающих — дяденька средних лет с загипсованной ногой и парень помоложе, с тем типом повреждений, которые обычно остаются после доброй потасовки. Скрипнула дверь на отделение, и на лестницу вышел третий — совсем еще пацан с забинтованной башкой и характерными темными очками вокруг глаз.

— Эй, мужики, — тихо произнес он. — А это какой город?

— В смысле? — не понял драчун.

— Ну, город... где мы находимся.

— Планета Шелезяка, населена роботами, — съязвил дяденька.

— Ты подожди, — прервал его парень, — ты откуда такой красивый нарисовался вообще?

— Не помню, — сдавленно произнес тот. — Кажется, мы с пацанами в увал пошли...

— Ты служивый, что ли?

— Да вроде...

— Имя помнишь? Номер части?

Парнишка присел на корточках и обхватил голову руками.

— Ничего не помню. Бля, да что ж такое-то... Решат, что я съебался.

— Подожди до утра и попроси сестру твоей шмот принести, — наставлял его дяденька. — Хоть что-то там у тебя должно быть с собою.

Пацан сидел на корточках и качал забинтованной головой, повторяя — не помню, не помню.

Когда они ушли, Алька домыла площадку, выкинула окурки из консервной банки, служившей пепельницей, и решила не рисковать, бегая за автобусом, а провести эту ночь в своем

подвале. Должно же наконец найтись хоть что-то — думала она, и перед глазами у нее все стоял человек, заброшенный в незнакомый город без близких, без прошлого, без имени и даже без штанов.

...Где-то в верхнем мире просыпалась жизнь. Чтобы узнать, сколько времени, сидя в темном, душном брюхе этого четко настроенного организма, Альке даже не надо было смотреть на часы. И так понятно, что уже восемь утра. Достаточно прислушаться — вот прогрохотала тележка из кухни в сторону лифтов, ее нижний ярус нагружен эмалированными кастрюлями с небрежными надписями масляной краской на желтых боках. Тр — обозначало «Травма», Нрв — «Неврология», Гин — «Гинекология» и так далее. В кастрюлях плещется отмеренная по количеству пациентов пшеничная каша. Рядом с кастрюлями каши приютилась кастрюля с чаем, она почему-то всегда одна на всех. Наличие заварки в том чае только угадывается. И то больше по гордой надписи на боку кастрюли. Чай перегрет и сладок, пить его мучительно. А вот каша отменная. Дома такую не сварить — всегда с особой гордостью заявляет повариха Люся. На верхнем ярусе тележки позвякивают друг о друга тарелки и алюминиевые ложки. Сливочное масло, нарезанное на порционные кусочки, подтаивает на отдельном блюде. Этим маслом сдобряют пшеничную кашу, и тогда ее можно будет называть пищей богов. Или амброзией. Несколько раз Люся пыталась втиснуть Альке эту кашу с собой, домой. Каша была упакована в желтую, огромную, литра на два, вскрытую жестяную банку из-под немецкого сухого молока. «Оккупационное... то есть, гуманитарное», — басовито хмыкала Люся, длинная тощая баба с редкими желтыми зубами и огромными синими глазами, опушенными густыми темными ресницами.

— Бери, бери. Мы все так делаем. А что, выкидывать?

Поправив на волосах косынку — стала носить ее, когда поняла, что совершенно невозможно ежедневно отмывать

голову от старой больничной пыли — Алька усмехнулась, вспомнив, как тащила в тот раз эти два литра каши до садоводства. А потом, через пару дней, частично скормила начавшую портиться пшенку приبلудившейся на участок белой кошке Принцессе — так было написано на ее резиновом противоблошином ошейнике.

Домыв в этот раз свою лестницу еще до подъема, Алька стогнала в ларек за перекусом и вернулась в подвал. Устроилась на продавленном стуле, взяла очередную папку и открыла пакетик чипсов. В первое время она всегда выходила поесть на улицу. Душный, тяжелый, с нотой подвальной гнильцы воздух, чужие трагедии в бурых картонных папках, все это напрочь перебивало любой намек на аппетит. Но теперь, спустя время, Алька поймала себя на том, что и подвальный запах уже не ощущается, и чужие истории, за редким исключением, перестали трогать. Она больше не вчитывается в каждое имя, не разбирает напряженно докторские каракули. Сразу методично откладывает в сторону всё, что не касается травм. По диагонали просматривает большинство дел. А если документы настолько сильно повреждены плесенью, что и не разобрать написанное, то она попросту не тратит на них время. Отряхнув руки от чипсовых крошек, она стряхнула толстый слой пыли с немного рыхлого и влажного картона, повозилась с завязочками — это была самая нелюбимая часть. Отсыревшие веревочки редко поддавались сразу. Пытаясь подцепить узелок, она подняла голову, глядя на стеллажи с не разобранными еще делами. На мгновение ей подумалось, что так и должен выглядеть труд не очень чистой души, попавшей в чистилище. Которую и в ад-то не отправить, потому что не за что, но и в рай пускать не положено. Вот и мается она, искупая какую-то позорную мелочь бессмысленным и безнадежным трудом. Ты же понимаешь, насколько это была иллюзорная идея? — спросила она себя голосом Вадима, наконец развязав папку. — Насколько

мала вероятность, что его в принципе довезли до какой-то больницы? Почему ты вообще решила, что было кого довозить? Сколько еще больниц в этом городе, обнявшем своими рукавами залив. В какую больницу устроишься уборщицей после того, как перелопатишь этот архив? Дура наивная.

Папка раскрылась, подшитые листочки слегка трепыхнулись от подвального сквозняка. На первой странице среди поступивших значилось «Неизвестный. Травматология. Предп. 20-30 лет. Сост. тяжелое. Комб. травм., ЧМТ, обморожение конечностей. Ампутация». Гулко ухнуло в груди и заложило уши. Дрожащей рукой отогнула подклеенный листочек. Больше пока ничего. Дальше надо смотреть журнал отделения.

Алька подскочила с табуретки, уронив с колен пару не просмотренных еще папок. Досадливо цыкнула, подобрала. Слава запекшимся завязочкам, страницы не разлетелись по полу. Глянула мельком — на одной стояла совсем старая дата, на другой — пометка неврологии. Где, с какого стеллажа была папка с этим неизвестным? Лихорадочно просмотрела соседние папки, резко остановилась.

— Вовсе не значит, что журнал отделения и истории будут лежать здесь же, — вздрогнула от звука собственного голоса. Оглядела длинный ряд стеллажей с тоскливой обреченностью. Стоп.

Подхватила пакет с вещами, сваленный в углу, в пакет сунула заветную папку, чтобы не вызвать ни у кого лишних вопросов. Выскочила из архива и, только добрав до верха лестницы, спохватилась, что забыла запереть дверь. Пришлось возвращаться. Заперла хлипкую дверь, суеверно порылась в пакете, достав купленное недели две назад, в порыве странного для нее желания прихорошиться, карманное зеркальце. Показала ему язык, на всякий случай, чтобы внезапная и своенравная удача не отвернулась, и побежала в приемный покой.

Светлана Сергеевна как раз включила модный электрический чайник.

За столиком, спрятанным от чужих глаз за шкафом с документами, качала оранжевой туфелькой на кончиках пальцев молоденькая медсестра Марина. Она только что закончила сервировать столик для их со Светланой Сергеевной традиционного файвоклок. Случался файвоклок в любое время дня и ночи, как только появлялось свободное время. Про то, что чаепитие называется файвоклоком, Марине рассказал ухажер, работавший в сезон гидом-переводчиком в туристическом автобусе. Летом он жил где-то на окраине Санкт-Петербурга, а на зимовье возвращался на историческую родину, в Сосновый Бор. Одно только гид-переводчик упомянуть забыл — что файвоклок случается строго в пять вечера. Поэтому в приемном отделении городской больницы файвоклок не был ограничен временными рамками. Чтобы все было красиво, Марина стелила на обшарпанный столик кружевную клеенку, расставляла вазочки с печеньем, зефиром и пирожками из ближайшего ларька. Вскоре к ним присоединилась Танюша, та самая жгучая брюнетка из справочного.

— Ох, хоть чаю нормально попью... Сплошная нерво-трепка, а не работа. — Танюша в такие моменты вешала табличку «Перерыв 15 минут» и исчезала на час. Достав спрятанную между папками с делами книжку в мягкой обложке, она откинулась на спинку неудобного казенного стула:

— Ох, девоньки, я а-ба-жа-ю романы. Отчего же в жизни так не бывает?

— Оно тебе надо? Страсти-мордасти эти? — усмехнулась Марина.

Татьяна отвлеклась от поиска загнутаой вместо закладки страницы. Задумчиво хмыкнула, но ответить не успела, в закуток заглянула взволнованная Алевтина.

— Светлана Сергеевна...

— О, и ты к нам на файвоклок? Печеньки принесла? — Светлана Сергеевна как раз сняла закипевший электрочайник с платформы.

— Что? — ословело моргнула Алька, уже начавшая было рыться в своем пакете. — Ой, простите! Я, наверное, помешала, я попозже зайду.

— Ой, помешала она. Пошутила я про печеньки. Что с тебя взять, кроме анализов — ха-ха! Заходи, садись. Сейчас чаю налью, расскажешь, что там у тебя за новости из подземелья.

Алька, не в силах усидеть на стуле, вытащила наконец разваливающуюся папку.

— Светлана Сергеевна, мне кажется, я нашла... Его.

Небольшой женский коллектив взбудоражено зажужжал. Строгая Танюша бросила роман на чайный столик и подалась вперед. На обложке в розовых цветущих кустах обнимались красавица брюнетка в приспущенном с плеча алом платье и длинноволосый викинг по форме голый торс. Мариночка закашлялась, подавившись от восторга зефиркой. Алька стояла с блестящими глазами и папкой в подрагивающих руках. И только Светлана Сергеевна сохраняла спокойствие.

— Только это вот журнал приемного. А историю я так и не нашла.

После короткого военного совета, на котором Алька чувствовала себя новобранцем на ниве женской изобретательности, Светлана Сергеевна набрала телефон травмы.

— Але, из приемного беспокоят. А Лера или Галечка сегодня дежурят? Галина? Да. Позовите. Галечка, алло. Представляешь, наша-то Невеста нашла своего, кажется! Ай нид хелп, как говорил наш любимый Бодров Данила, светлая ему память. Да, ждем.

Минут через десять в отгороженный шкафом уголок набилось человек десять женского медперсонала. Из чего

Алька поняла, что трагическую историю «Невесты» знает по меньшей мере полбольницы. И историю эту, так же как и то, чем она занимается в архиве, эти полбольницы бережно охраняют от старшей медсестры и начмеда.

— Да, помню ту зиму. Очень тяжелая выдалась, такие морозы!

— В тот февраль обмороженных было до жопы.

— Да и разве же упомянешь всех?

— Помню, был неизвестный Адам. Ребро ему вынули.

— Как в Писании прямо!

— Солдатик же, ампутация ног ниже колена? Ох и громкое было дело.

— Квартиру ему дали, чтоб дело замять.

— Да нет же. В дурку отправили. Ему память отшибло.

— Да ты путаешь. В дурку горе-рыбака отправили. По пьяни заснул над лункой и отморозил себе хер и ногу.

— Мужикииии, — всеобщий тяжелый вздох. Коллективный женский разум не то не одобрял мужскую беспечность, не то взгрустнул об утерянном хере.

— А солдатика же в госпиталь напротив перевели.

— Всем стоять! Я обронила сережку! — заорала внезапно Мариночка — Мне Костик всю печень съест. Как Зевс Прометею, бя.

На минуту коллективный разум переключился на поиски сережки. Алька, которую повело от звона множества голосов, украдкой плеснула себе кипятку в чью-то чашку.

— Девы, я вспомнила. У меня же есть подружка из госпиталя напротив. Надежда. Ну помните?

— Надежда — как символично! — вздохнула Татьяна.

— Девочки, щас я ее наберу. У нее мобильник есть. — И затем, шепотом: — И у меня есть. Мой на годовщину подарил! (одобрительное жужжание).

— Нашла. Сережку твою наша! Светлана Сергевна, замите, а то затопчете! — полненькая медсестра с гинеколо-

гии (она-то тут зачем? — мелькнуло у Альки) нырнула под столик за пропажей.

— Девочки, Надежда с нами! Как звать-то жениха нашего?

— Ворон, Ворон Даниил Андреевич.

— Вот как. Данила, — мечтательно вздохнула Галина Владимировна и со значением переглянулась со Светланой Сергеевной. Остальные сестрички понимающе захихикали. И какофония их голосов наполнила Альку невыносимой, болезненной почти что радостью.

— Ну все, Невеста, вечная преданность Галечки и Светочки твоему Даниле обеспечена, — хохотнула брюнетка Татьяна.

Светлана Сергеевна меж тем продолжала вводить Надежду в курс дела.

— Да, видимо, это та громкая история, где заподозрили дедовщину страшную в вэчэ... Помнишь, корреспондент даже приезжал из города.

Городом в Сосновом Бору, как и по всей области, называли бывший Ленинград — а остальные были как бы не догорода, даже если они и старше столицы, как недалекий Кингисепп-Ям, поставленный новгородцами в четырнадцатом веке по милости Святой Софии и с помощью великого Архангела Михаила только за тридцать дней и три дня. Алька сидела на своем стульчике в центре гомонящего женского общества; на глазах и при публике ее греза рождалась в реальность, будто каменный Ям на реке Луге перед лицом шведов и Ливонской конфедерации. От этого ей было головокружительно и немного страшно — в первый раз она подумала о том, как явится, так сказать, пред светлы очи, и как он ее встретит — ведь если два года не давал о себе знать, то, наверное, неспроста...

— Сейчас в архив пойдет, выписку посмотрит, — сообщила ей Светлана Сергеевна, прижав телефон к груди. — У них там не то что у нас, у них порядок. Военные!

Общество замерло. Медсестра с гинекологии лихорадочно кусала пирожок, Галина Владимировна открыла форточку и закурила в окно, Танюша в волнении попробовала сгрызть модный акриловый ноготь.

Минут через семь наконец раздался звонок. Светлана Сергеевна с тревогой поднесла трубку к уху. Некоторое время внимательно слушала, иногда кивая. С каждым кивком сердце у Альки обрывалось. Не тот. Или не наша.

— Ну, пиши, — наконец обратилась к ней медсестра с долей торжественности. — Воронов Д. А., выписан 27.05.200* по месту прописки в Псковскую область, город Остров, улица Комсомольская...

Конец адреса Алька не услышала, потому что сестринская взорвалась восторженными кликами. Возможно, даже моряки Михайлы Голицына не встречали победу при Гренгаме с таким энтузиазмом. На шум к ним даже сунулась дежурный доктор Мурзенко Вера Николаевна, строго свела брови — что за гвалт? Ой, тут такая история, такая история... Веру Николаевну тут же взяли в оборот и усадили пить чай с алькиной историей.

— Что фамилия перевернута — не смотри, они хоть и военные, но иной раз ошибочка вкрадется, — объясняла ей Танюша. — Вот я, когда в справочное получаю данные, то бывает, человек поступает Сергеем, а лечится уже Федором — ну, с чего-то сестре этот Федор в ум пришел, и все... А Ворон-Воронов-Воронин — это даже и не считается!

— Ну что, доработасшь недельку или прям сейчас поедешь? — Светлана Сергеевна приступила к решению практических вопросов.

— Наверное, сейчас, — ответила Алька. Она была очень бледна, в глазах что-то похожее на испуг.

— Ну и правильно! — ободрила ее сестра. — Давай тогда дуй в кадры, потом в бухгалтерию расчет получи, а потом сюда, мы тебе соберем что-нибудь на дорожку.

И, уже когда за Алькой закрылась дверь:

— Вот история, да, бабоньки? Закачасься!

— Да, вот только приедет она, и вместо того парня, которого знала, найдет там грязного опустившегося калеку на второй-третьей стадии алкоголизма, — резко заключила Вера Николаевна. — А что вы хотите? Без ног, без работы, скорее всего, в городе, блядь, Остров! Какие тут еще варианты?

Сестринская притихла.

— Но все же... бывают, конечно же, и другие случаи, — упрямо сказала Марина.

Сквозняк из открытой форточки приподнял тонкую обложку романа с викингом и красавицей и негромко зашелестел страницами.

Алька не совсем представляла, как ей из Соснового Бора скорее добраться до Острова — через город было ехать глупо, это крюк в обратную сторону, а со станции Калище в соседнюю область ничего не ходило. Подумала про Андреича с его мотоциклом, но что-то внутри нее сопротивлялось такому подходу. Она было уже совсем остановилась на версии автостопа: а что, многие же так делают — выйду на трассу, подниму руку, и... Дальше она себе не очень представляла, но как-нибудь образуется. Но Светлана Сергеевна решительно отвергла эту идею: ты девочка молодая, — оглядев ее с ног до головы, — видная собою... лучше не рисковать, кто знает еще, на кого попадешь на трассе этой. У сеструхи моей муж экспедитором работает на фирме, отправит тебя сегодня же с шофером каким-нибудь до Луги или Кингисеппа, а там сядешь на автобус на Псков, а от Луги вроде еще и дизель ходит.

Теперь она ехала с шофером Димой по трассе на Лугу, в кабине играла группа «Кино», а парень попался молчаливый, поэтому все ее мысли были в Острове.

Что за город на материке может называться Остров? На карте город был похож на желтое пятно среди пестрых чер-

точек, которыми в школе на контурных картах они отмечали болота. Она так и представила его себе — как оторванное от цивилизации чистилище пятиэтажек, воинских частей, котельная и больница еще, школа и детсад с грибочками и качелями на территории, несколько магазинов, рынок, парикмахерская, почта, маленький краеведческий музей. Еще должна быть старинная церковь — заброшенная или целая, но очень древняя. Быть может, еще монастырь на отшибе и тихое кладбище. Что будет там делать Ворон с его старофранцузским и неоконченной книжкой? Пить, сочинять, маяться дурью и самоедством? Или и то, и другое, и третье?

Как они могли бы жить, не скройся он два года назад от всех, и от нее тоже? Пенсии по инвалидности им бы не хватало. Наверное, что-то бы присылала его американская мама. Но она, чтобы не сидеть на шее, все равно устроилась бы на работу. Например, в тот самый маленький краеведческий музей, расположенный прямо на острове — на настоящем острове, посреди протекающий сквозь городок реки. Утром она бы уходила в музей, оставив ему завтрак и какую-нибудь заготовку обеда. Заготовку — потому что в обед она бы прибежала, конечно, какие тут расстояния, и быстро жарила бы котлеты, разогревала суп. Данька у нее соня, пока проснется часам к десяти, а то и к полудню, пока покатается на коляске по маленькой квартирке, подаренной Министерством обороны... может, напишет пару страниц на старой печатной машинке или, если захочет гулять, постучит в стенку соседям — и дальнобойщик дядя Петя, если не в рейсе, или его сын Ленька, если Петра дома нет, помогут ему спуститься по половинной лестнице на первый этаж в их зеленый двор. А тут уж и Алька подоспеет — главное, чтобы милый Данечка с дядь Петей не начали пить пиво в середине дня, иначе всем попадет от Катерины, дядь-Петинной строгой супруги. Попадет даже Альке за то, что она за своим убогиньким не смотрит. А если дядя Петя в рейсе, то все хорошо — Данька будет

рассказывать Лёне про Крестовые походы и осаду Монсеюра, вскоре вокруг него соберется почти все детское население двора. Рано или поздно кто-нибудь из детей спросит — дядь Дань, а расскажите, как вам на войне ножки оторвало?.. И тут пойдут истории, одна невероятнее другой — про засаду «чехов», что подкрадываются по горной зеленке, как змеи — и даже густые бороды не шуршат по слою опавших листьев, или про арабских наемников с огромными ножами, не знающих ни слова по-русски.

На лужский вокзал прибыли уже в сумерках. Станционное здание мерцало белыми колоннами, и светились обступаящие привокзальную площадь серо-зеленые тополя. Дима подрулил к стоянке, остановил «газель», выскочил. Алька вылезла следом. Шофер щелкнул зажигалкой, закурил — будешь? Алька взяла из протянутой пачки сигарету, Дима дал ей огня прикурить, но пламя дрожало, гасло, табак никак не занимался. Она взяла у него одноразовый крикет и прикурила сама. Закашлялась с непривычки. Шофер засмеялся.

— Не куришь — лучше и не начинай.

— Спасибо, — кивнула она.

— Спасибо на хлеб не намажешь, — ощерился Дима. Жилистый такой, с редкими зубами, парень. — Дизель твой, кстати, уже ушел. Теперь до утра тут куковать. Можем в баньку закатиться, шашлычок там, по пивку... я знаю здесь хорошую.

— Спасибо, я мылась вчера у Светланы Сергеевны.

— Не, ты правда такая блаженная или глаза отводишь? Просто интересно. За всю дорогу две фразы — здрасте и...

Попытался поймать ее за руку.

Алька, не задумываясь, щелкнула его же крикетом и ткнула в тыльную сторону ладони. Водила матюгнулся и разжал пальцы. Она отскочила.

— Не, ну точно ку-ку, — повертел головой, дернулся к ней: — У! Брысь отсюда. Ночуй вон в кустах, авось

отыщешь на жопу приключений, раз по-хорошему не хочешь.

Залез в машину.

Перед нею была целая ночь, и надо было как-то ею распорядиться.

Казалось, после всех треволений Алька должна была действительно упасть где-нибудь на скамейке, но ей даже в зале ожидания не сиделось — тем более что, как предупредила ее служительница, он закрывался через полтора часа. Покинув привокзальную площадь, она шла длинными проспектами имени революционеров, один революционер встречался с другим, они обменивались крепким партийным рукопожатием и вместе двигались на юг, где виделась ржавеющая кирпичом из-под осыпавшейся штукатурки колокольня Воскресенского собора. Город был пуст и просторен, ночь зелена, тепла и по-южному загадочна, будто в заштатном райцентре Ленобласти, хуже этого городка только мой Новоржев, неожиданно высадившись кусочек Крыма.

...А вечерами мы будем в нашем домике с видом на небо и кусочек реки в кудрявых соснах пить вино и смотреть filmy, взятые в видеопрокате, некоторые даже по несколько раз. Ты будешь все время ругаться, что нет твоего любимого Годара и еще этого китайца, который про любовь. И мы их выпишем для тебя из Питера. А вот с нашей любовью будет все непросто. Она будто то будет, то нет; словно блуждающая река Луга, она постоянно будет менять свое русло, ускользать из моих рук, хлестать по пальцам холодными плетями твоего отчуждения. Я буду уходить, оставляя тебя с китайским фильмом — кажется, только это размытое по экрану изображение, словно смотришь сквозь стекло в дождь, будет возвращать мне тебя, кого я знала и люблю, и еще эта песенка, под которую ты, забывшись, начинаешь качать ногой — может быть, может быть... Она, да еще вино, что я тебе принесла, будет менять твое настроение, и ты, схватив меня за талию

и приподняв, попробуешь покрутиться на коляске по нашей маленькой комнате — и спальне, и гостиной, и кабинету одновременно. Первый раз, и второй — ничего не получится, но постепенно мы освоим этот трюк, и вместо того чтобы переворачиваться вместе с креслом, будем завершать танец, соскользнув на ортопедический матрац, который подарит нам моя сестра, закажет вместе с доставкой из Пскова.

А на выходных я буду ходить на этюды, и ты со мною, хоть иногда и придется преодолевать твое сопротивление, но я буду убеждать тебя, что прогулки необходимы и полезны. Я прикачу твою коляску на высокий речной берег, откуда виден и островок с тяжелым цепным мостом, на открытие которого приезжал государь император, и белая Николо-Преображенская церковь шестнадцатого века, и наш краеведческий музей. Как-нибудь я попробую из головы нарисовать старинную крепость на островке, которую жег еще Стефан Баторий, а разобрали до основания уже немцы на дороги для своих моторизированных соединений во времена оккупации, а ты высмеешь мой рисунок, указывая на ошибки в средневековой фортификации. Я немного обижусь, но постараюсь не подать вида — это твой новый характер, и с ним придется считаться. А потом ты допишешь свою диссертацию про альбигойцев и еще роман, и сборник стихов в подражание трубадурам, но к последнему ты будешь относиться как к безделке, и все это опубликуют, и к тебе будут приезжать внезапно вспомнившие о тебе друзья и журналисты, и предложат работу в Петербургском университете, а может, даже и в Московском, но ты откажешься покидать наш Остров, потому что к этому времени увлечешься историей края, ты же не можешь без чего-то нового, пищи для ума, и Остров с его героической историей вполне стодится в пищу, поэтому мы останемся здесь, только, может быть, переедем в частный дом, нам уже будет хватать его оплачивать, и еще сделаем тебе ноги как у терминатора и купим машину с ручным газом-

тормозом, и объездим всю губернию, и к Генке с Вадимом приедем в гости...

— Герда, проснись, — Вадим потрепал ее по плечу. Путь, оказавшийся таким длинным, наконец доконал ее, и она заснула прямо на автостанции города Остров.

Алька подняла голову с коленей, обтянутых вытертым де-нимом. Лицо у нее было потерянным и светлым, как у людей, вернувшихся с Тир Тарнгири, Островов Блаженных.

— Ты позвонила мне и попросила приехать, — напомнил он ей.

Она кивнула, соглашаясь с очевидным.

— Он мертв.

— ...Я гуляла всю ночь по Луге, в пять утра села на этот дизель до Пскова. В поезде проспала немного, но в основном думала, как он меня встретит. Не прогонит ли и так далее. Во Пскове, слава Богу, оказалось, что маршрутки до Острова в первой половине дня ходят часто — и наши, и белорусские. Я довольно быстро доехала. Маленький городок, несколько воинских частей и районов при них, и открытых, и закрытых — Остров-2, 3, 5... Ему дали квартиру в Острове-2, пришлось попутать немного, город сильно разбросан — центр одно, а кварталы эти как бы отдельно. В остальном все именно так, как я и представляла, — больничка с буханками этими, старая церковь на островке посреди Великой, екатерининский собор на берегу. Мне открыла женщина... ну, или девушка, моих лет или чуть постарше, но такая, обабистая уже. Она сразу же начала на меня кричать.

Алька замолчала, передыхая.

— Говорит — и мне, и куда-то вглубь квартиры — ты меня достал уже со своими невестами без места, женишок без сапог! Что он тебе рассказал — что на чеченской растяжке подорвался или что поинтереснее? Так все не так было! Себя поставить не смог, пиздили его в казарме, караулы стоял один

за другим, а сапоги снять, портянки на сухие переменить не догадался... Доктор так и сказал — во пиздец, в мирное якобы время пишу диагноз «окопная стопа». Вот и оттяпали ему копыта-то. Не, ну ты покажись, покажись, герой всех империалистических и отечественных!

Их кухни выехал парень на инвалидной коляске, на вид примерно Данькиных лет, даже и в лице что-то общее — правильный нос, черные брови вразлет, только волос не темный, а русый, и подбородок мягковат.

— Вы Воронов Даниил?

— Воронов, Воронов! — подтвердила женщина. — Только не Даня, а Деня — Денис, значит. А вы что, не его искали разве?

Нет, говорю, не его. Тут бы, конечно, впору разрешиться, но у меня не получилось. Отдала им бутылку «мукузани», что купила во Пскове на остатки больничной зарплаты, говорю — выпейте за... что-нибудь. За помин души, например. Они были рады, по ним видно уже, что пьют, — закончила Алька.

Помолчали.

— Ну а потом выяснилось, что маршрутка белорусская мимо прошла, а на псковские все опоздала я. Вот тебе и позвонила.

— Правильно сделала.

Вадим приобнял ее, приподнимая с поребрика.

— Выпить хочешь? У меня ижорская самогонка есть.

Алька с благодарностью приняла фляжку, отхлебнула.

— Ну как, в норме? — Она кивнула. — Поехали, нам до Сойкинского еще часа три лету, если не больше, хоть я коляску и отстегнул.

Дороги висели в воздухе и дымились солнцем. Мотоцикл пыхтел и подрагивал, но вот они взобрались на горку, с которой трасса разбежалась грунтовыми, над дорогами висела

и горела нежным золотистым пеплом пылюка. Он сбросил обороты, залюбовавшись.

— Закипели? — спросила она, склоняясь над плечом. Он ткнулся колесом в колею и придержал байк ногой. Густая древесная зелень перемежалась золотистыми проплешинами выгоревших лугов. У взгорка обочин звенел сиреневый иванчай; то есть его разливы колыхались тихо, но цвет был так чист и насыщен, что не мог ограничиться зрением и раздражал все возможные органы чувств. Ниже на уровне глаз над полями кружился, пища́, ястреб. Алька пожевала застывшую катышками во рту пыль.

— Заблудились, — стянул шлем. На загорелой коже отпечаталась пыльная маска. Волосы слипшимися колечками пахли резко и горьковато, как раздавленная между пальцами трава.

— Ты чумазый весь.

— На себя посмотри, — кивнул. — Ну, что? Налево пойти — коня потерять...

— Почему?

— Колдобины, почему.

— Направо?

— Налево пойти — богатым быть... Направо пойти — женатым быть...

— Слушай, а почему тогда герой все время выбирает прямо? Если и налево, и направо так много хороших вещей.

— Давай проверим? — обернулся он. Алька молчала. Вадим улыбнулся, опустил шлем и повернул на боковую дорогу.

Разо второе

Дам ему белый камень

O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

William Blake

1. Обитель

— ...Это было промозглое февральское утро. До того недели три морозы, а тут холод спал, екнулся, и я внезапно оказался среди мокнущей ни-деревни-ни-города. Я очнулся в огромной квартире с арочными окнами во двор моего детства — двор с «гигантскими шагами», вкопанными покрывками цветочных клумб и скамеечками для старушенций... Дом был одинок, а его двор был чудесен, вместе они помещались у излучины шоссе, на отшибе, за спиной по шоссе была старинная промзона, в лицо — военное кладбище, пустырь, обелиск в середине поля. Ниже тянулось море, а к морю тянулись деревья. И там, за деревьями, тоже было кладбище — очень мертвое кладбище, с развороченной, вздыбленной землей, с раззявленными могилами и об-

битыми статуями. И с крестами. И со звездами на конических командирских надгробиях. И с черными пластиковыми мешками, торчащими из земли, как рукава покойников. Я вышел туда по дороге, по засохшей аллее благородных львиных дубов. Я перешел мостик через вечношкворчащий ручей. И с моря пополз туман. С моря меня захватил язык тумана, — а у меня было жуткое похмелье, и я ловил падающий снег губами, и он таял на них. Из тумана медленно выдвигалась лодка — именно выдвигалась, будто она не браконьерская была пелла, а лоцманский ялик непобедимой армады... или командора Беринга. И я увидел, как он, тот, кого я убил, как он сходит на берег, касается заиндевелого песка высоким армейским ботинком, как полы шинели взлетают над плавником и мерзлой, слежавшейся листвой, а на голове у него морская фуражка с имперской кокардой в виде овального солнышка. И вот он легким своим командирским шагом преодолевает кладбище, взвивается над могилами... Туман летит за ним хвостом, пороховой дымкой, его будто выслали на этот берег из пушки.

Трудник замолчал ненадолго, отпил воды из баклажки. Крепкие скулы, гладкие темные волосы, густая недлинная борода, карие глаза умной дворняги.

— Это с чего тебе такое привиделось? — нарушил всеобщее молчание вопрос мужичка, что называл себя Кузьмой.

— Пил человек, сказано же... Ну, а дальше что?

— И пил, и прочие совершал непотребства, — с некоторой даже важностью, будто сознавая назидательный эффект своей истории, произнес рассказчик. — Разбойником я был, православные. Как брата потерял, так и вовсе резьбу сорвало, хотя и до той поры кротостию не отличался. А после того, как увидел на берегу того капитана — причем в жизни земной он выше лейтехи так и не поднялся, ну да, может, там уже — повысили, так пришел на хату эту в доме с гигантскими шагами, гряд, в нем конюшня княжеская была раньше,

собрал барахло свое зачем-то, залез на крышу и приготовился сигануть, чтобы, значит, все беды разом с плеч долой... А в доме том хоть и четыре этажа в самом высоком месте, но каждый просторен, как раньше делали. Так что вполне мог улететь грешным делом, и тут уж душе христианской полная и окончательная погибель... Спасибо соседям, вызвали мне бригаду из сумасшедшего дома, а дурка там в десяти минутах езды помещалась, так что недолго. Пока я там на крыше зеленых чертей ловил и с капитаном разговаривал, они как раз и домчали. Скрутили меня два дюжих санитаря, определили в карету, ремнями примотали, чтобы не выпался...

— А что капитан этот на крыше тебе сказал?

— Ээ, вот тут интереснее. На крыше он увещевал меня не прыгать, что твой переговорщик от МЧС. Ну, правду сказать, у него и при жизни язык был хорошо подвешен. А вот когда меня в дурку привезли и феназепамчиком сдобрили, тут и чертям конец пришел, а капитан этот не уходит и не уходит. Не то чтобы сидит у изголовья, как сестра милосердия, но нет-нет да заходил проведать. Тоже в пижаме больничной, стриженный коротко от насекомых, худой и на пальцах вместо ногтей багровые лунки. И вот он так ходил, ходил, а потом я будто его глазами начал видеть. Сначала больничные коридоры, палаты с бесноватыми всех сортов и блаженными, и юродивыми, и такими же, как я, алкашами, и просто от жизни уставшими людьми. А затем накинуд он как-то ватничек и вышел через проходную в лес, интернат-то прямо посреди леса стоял, справа еще была речка, перегороденная плотиной, и красивый пруд, а прямо через рощицу по лязгу и гулу угадывалась линия железной дороги. И никто его не заметил будто — прошел мимо окошка сторожа, ни слова не сказав, и тот его ни о чем не спросил. Ну, это понятно, дух — он и есть дух. И вот вижу я, как он идет лесом, его глазами вижу — а лес весенний, звонкий: вода капает, птицы щебечут, деревья мокрыми ветвями ерзают. Состав

прогрохотал товарный направлением на запад, уже видно сквозь деревья, как тянутся один за другим вагоны, цистерны. Он подождал, пока пройдет, даром что дух, перешел пути и направился через автомобильную дорогу, что за железкой, к микрорайончику пятиэтажек таких уютных с эркерами, не первой серии хрущевской, а какой-то из следующих. И я почему-то знаю, что угловое окно крайнего дома — его, и оно пыльное и закопченное, будто там давно не живет никто, и в то же время существует нечто. Он открывает дверь парадной, поднимается по лестнице, трогает знакомую дверь, она легко уходит внутрь. В квартире пахнет дымом, несвежими телами и перегаром, девки какие-то пьяные по углам валяются, а в комнате прямо на полу бомжи жгут костер. Я жду про себя, что он скажет — изыди, и они выскочат в двери или попрыгают прямо в окно, но он вместо этого присаживается на корточки и греет руки у их костерка. А в костре горят книги, бумаги, письма — в общем, вся его жизнь. И он молча на это смотрит. Затем поднимается, подходит к окну, за ним береза и дубок прямо на глазах разворачивают почки, и комната вместо вони наполняется их горьким и свежим запахом. А его силуэт медленно тает и в конце концов остается только прозрачной промоиной на стекле, и в нее хлещет апрельское солнце.

Рассказчик тряхнул головой, его взгляд собрался на фигуре, выросшей в аккурат против солнца, но такой тонкой и невесомой, будто змеиный зрачок, что она не заслонила его, а лишь акцентировала. Над Свято-Успенским девичьим монастырем спускался вечер, а к ним на берег Волхова спустилась молодая женщина в скромном мирском платье, с бледным лицом и нежными травянистыми глазами.

— Матушка просила передать — пожалуйста к трапезе.

Обернулась и тихо пошла обратно, совершенно не сомневаясь в том, что вся мужская бригада потянется за нею. И они действительно встали и пошли, покачивая головами

об истории кареглазого трудника, а тот вскочил первым и постарался догнать женщину, но, как ни тихо она шла, он все равно оставался на несколько шагов позади.

Дом они присмотрели все же не на Сойкинском, а поближе к городу. Эта красивая, крепкая деревня, по летописям — старше стольного Питербурха, уже вот как столетие медленно превращалась в гибрид дачного поселка и закрытого городка с морским арсеналом в роли градообразующего предприятия. Из-за военно-морского характера территории на дачи сюда выезжал тоже люд специальный: военморы, корабли или ученые; у садоводств, окруживших деревню плотным полукольцом, и названия были соответствующие — Парус, Якорь, Орбита, Химик-1, 2, 3... много химиков! Садоводства, а не прибрежный городок с арсеналом, и были стеной цивилизации, отделяющей деревню от леса, озера, ягодных болот и прочих приятных вещей, но об этом Алька, Вадим и Генрих узнали чуть позже. Пока же они приехали в эту очередную Ижору, до того посмотрев десяток домов в разных местах, и увидели старенькую, но еще крепкую избу на взгорке — сзади участок открывался прямо на маленькую луговину, сбегавшую к норовистому торфяному ручью, который здесь назывался речкой Черной и еще как-то по-местному, хорошо устроенные службы — дровник, баньку, колодец и, что особенно их очаровало, — благоухающий, обильно плодоносящий в конце августа, порхающий бражниками старый сад. Отходил белый налив — под деревом стояла большая плетеная корзина, полная крупными белесыми, в зелень и золото, плодами, рядом наливалась пунцовая цыганочка, огромная антоновская яблоня осеняла своим библейским шатром получастка, у дальнего забора пламенели брусничными боками зоревых яблок гибкие аборигенки, на тропинках под ногами хлюпала осыпающаяся венгерка, и высоко над головою мерцали в темно-зеленых листьях янтарные мирабели.

Терешонок осмотрелся, вздохнул, ударил ногой в утопанную тропку и посмотрел на товарищей так, что те сразу поняли — увести его из этого места, отговорить от него получится вряд ли.

С хозяйкой, белорусской родом, вышедшей замуж за местного и год как овдовевшей, Андреич нашел общий язык быстро, причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле — они смешно собачились на какой-то западнорусской мове, выясняя цену обстановки, идущей вместе с домом, а отдельно — почем пойдет почти новый (десятилетний) холодильник, а также главное достояние хозяйства — настоящая циркулярная пила, обитающая в маленьком сарайчике на сваях, что прислонился к дровнику и выбросил хвост провода к электрическому столбу. Алька и Генрих чувствовали себя совершенно приبلудными в этой пасторали; набрав миски в миску, предоставленную хозяйкой, они устроились на терраске над склоном, как Малыш и Карлсон, — наблюдать вечеряющий лесной простор и кидать косточки в высокую траву. Наконец Терешонок отстрелялся и спустился к ним — раскрасневшийся и довольный.

— Ну, все. Сговорились на семь косарей за весь скарб. Если принципиальных возражений нет, ударим по рукам и послезавтра с юристом оформим бумаги, передадим деньжата, ну и... — он с удовольствием потянулся, представляя себе новую жизнь и поле деятельности. — В избе спальня, горница и кухня, наша пока будет дальняя, Генка, в горнице поспишь?... — Подмигнул Алевтине. — Попозже еще один домик отгрохаем на месте этой циркулярной мастерской, для тебя, Генка, или для нас, как решим. Мне лично изба нравится. Аль, ты видела, какие там рога?!

Вся изба была увешана охотничьими трофеями покойного хозяина — рога огромного лосиного самца украшали двери из кухни в залу; из тех, что поменьше, были сделаны вешалки для одежды и стенные светильники. И у каждого из трех

входов — с юга, севера и с востока, помещались подковы на счастье. С запада же была глухая стена — сосед-хозяин пару лет назад снес свою часть общего дома и стал потихоньку строить отдельный.

— А что это за говор, Вады? Вы прям как в одной деревне с этой баб Зиной родились.

— Не в одной, даже в соседних... странах, теперь. Она бульбашка, я скобарь. Самые прижимистые русские народности, хе-хе. И говор похож, да. Ну и у меня еще фамилия белорусская, разве не слышно? Это не удивительно, там довольно активная была миграция.

— Не, мы знали, что ты из захолустья, но эти этнографические подробности внове.

— Не из захолустья, пан, из Зáхолустья мы.

Вадим слегка двинул Альку бедром и присел рядом, стрельнул у Генриха папиросу. Вскочил.

— Ой, сейчас винца сливового у бабы Зины подрежу, ничего-ничего, она сама предлагала. А как заселимся, в первую же весну поставлю уже нашей бражки, пскопской, березовой!

Над луговиной летал серебристый пух иван-чая, где-то за рекой гоготали гуси.

...Вадим родился во Пскове в семье инженеров, в самую что ни на есть застойную зиму начала восьмидесятых. Отец обслуживал ракеты стратегического назначения, мама работала в ящике, жизнь была немного скучна, но при этом комфортна. Так продолжалось года до девяностого, когда он уехал на каникулы к деду Николаю и бабке Ольге в деревню Захолустье, по-местному, по-пскопски — с ударением на первый слог. Название это в давние времена означало всего лишь местоположение за мелколесьем, но к концу двадцатого века уже полноправно имело оба значения — в старинной деревне, окруженной, как многоголосьем, такими же чистыми и древними именами: Палицы, Шерёги, Заплюсье, Заполье,

Большие Лъзи, Староверский Луг, урочище Могилки и деревня Мышка, остались жилыми лишь два дома — изба Миколая Васильевича Терешонка и его хозяйки и еще одна, куда соседская семья наезжала на лето. Захолустье стояло на речке Мшанке, через которую был перекинут легкий деревянный мостик, с другой стороны к нему подступало огромное болото, полное ягод, грибов и птиц; все лето оно распространяло свежий, резковато-аптечный запах мхов и багульника. В советские времена на болоте — самом обширном в Европе — велись торфяные разработки, отгрохали несколько промышленных корпусов и узкоколейку. Километрах в пятнадцати ветшал поселок комсомольских строителей — пятиэтажки посреди леса, котельная, жилкомбинат. Большинство квартир были необитаемы, батареи в них спилили на металл, потом дошла очередь до драг, торчащих посреди торфяников, словно эхо постапокалипсиса. Неприкосновенность была признана только за узкоколейкой, которую местные ценили и берегли по возможности — по ней бегали самодельные дрезины. Они, да еще каракаты — гражданские автомобили от «запора» до «газели», поставленные на шасси с огромными колесами, были главным средством передвижения в этих заповедных краях.

У деда тоже был каракат, а еще у него было старое охотничье ружье, два бобика — ленивый цепной кобель и промысловая лаечка, а также целый чердак рыбо- и звероловной снасти. Дед был на одной ноге, как капитан Сильвер из мультика, — джентльмены, мы идем на поиски клада!.. И так же, как пираты Карибского моря, они иной раз выдвигались на болото за сокровищами — спилить газовой горелкой какую железяку, оставшуюся от недавно рухнувшего советского Рима. Реваншизмом дед не особенно страдал, разве что его сместило, что у соседей-белорусов теперь зайчики вместо рублей, да еще обидно за армию, в которой он, пошед добровольцем, оттрубил десять лет шофером и механиком — сначала

по дорогам войны, затем где-то в Хабаровском крае в чине старшины, где и потерял ногу в аварии — посмеивался все, что вот, мол, судьба — огонь и воду прошел, выжил там, где мало было такой вероятности, ранен был лишь раз — легко и, значит, счастливо, а вот в мирное уже время с сопочки кувыркнулся, колено раздробил и копыто долой. Поэтому он время от времени кидался в радиоточку валенком, когда передавали президента, а затем аккуратно отстегивал деревянную ногу и прислонял к их с бабкой кровати. Это значило, что день закончен и Вадиму пора идти спать к себе, на диванчик в горнице.

План жизни Миколая Васильевича был прост: перекопав слегонца по весне огород, уже заранее перевернутый под зиму, почистив печки и подрезав деревья, он все лето шастал по лесам и болоту, отвлекаясь лишь на дровяные заготовки и сенокос — в хозяйстве имелись еще две дойных козы, Пушинка и Лапушка, а также строгий козел Пиночет, десяток курей-кувякушек с голосистым пеуном во главе и утино-гусиная стая, белым облаком дрейфующая по Мшанке. С собою он брал и молодого Терешонка — учил ставить силки, бить болотную и луговую дичь, добывать зайца и ловить рыбу. У деда были красивые и густые не по возрасту волосы, которые бабка Ольга стригла ему в кружок, и аккуратная борода — ее он подравнивал сам, устроившись перед зеркалом у рукомойника. Вадим и не заметил, как каникулы закончились, а жизнь с дедом и бабкой все продолжалась. Родители приехали только на Покров, привезли городских сладостей и сказали, что у них трудности — отцу пришлось уйти со службы, матери в ее институте не платили зарплату уже более полугода. Поэтому пусть пока Вадичек поживет в Захолустье. Вадичек не возражал. С дедом они стали лучшими друзьями. В отличие от отца, Миколай Васильевич никогда не поднимал на него руку. Если Вадим делал что-то не так, дед только простанывал — эх-ма-а!.. — и дальше еще

что-то, неразборчиво. Вадим сразу понимал, что им недовольны, и ему хотелось скорее сделать что-то противоположное. Вскоре после визита родителей дед устроил его в школу в соседней обитаемой деревне, — чтоб малец не болтался, — но по осенней распутице дедовская инвалидка, пусть и тюнингованная, не всякий раз могла туда доехать, а каракат, переделанный из такой же инвалидки постарше, не годился для дорог общего пользования, поэтому договорились, что они будут иногда приезжать к учителю, сдавать параграфы и брать задания. В третьем классе, кроме Вадима, учились еще две девочки — Настя и Надя. А больше и не было никого.

В усадьбе, где изба на курьих ножках заглядывала задними окнами в болотистую чашу, яблоки с высоких старых деревьев осенними ночами стучали по крыше, и к баньке по-черному у речной заводи вела бревенчатая гать, а на взгорке — там поскотина отсекала луговину от картофельного поля, торчал шест с колесом для бусела — и аистиное семейство никогда не пренебрегало этой любезностью, Вадим прожил четыре года. Да и уехав доучиваться в Псков, наезжал к старикам почти каждые каникулы. Родители немного опасались, каково будет сыну в хорошей городской школе после деревенской воли, и отец, к тому времени немного приподнявшийся на маленьком бизнесе по перепродаже первых компьютеров, нанял ему репетиторов по всем основным предметам. Каково же было удивление, когда оказалось, что парень не только не плавает в программе, но чувствует себя вполне уверенно, а некоторые неизбежные пробелы проскакивает, будто по наитию. Единственное — проведя один из ключевых периодов взросления отдельно от отца и матери, уже не мальчик, а крепкий самостоятельный парень совершенно не воспринимал родительский авторитет: приходил и уходил, когда вздумается, сам готовил себе подкروشку по дедовскому рецепту, записывался на кружки и в походы,

а однажды отпустил хлесткое замечание насчет маминого друга из турагентства, где она теперь работала, и тем нарушил хрупкий семейный статус-кво.

Вскоре после Вадим услышал разговор родителей: это известное дело, — важно вещала мать, — деревенские дети первое время значительно обгоняют городских в развитии, но затем идет неизбежный откат, попросту в силу дефицита отвлеченного знания и недостатка постоянного интеллектуального тренинга... Так что неплохо было бы найти ему на старшие классы какой-нибудь хороший интернат, при некоторых вузах в Ленинграде или Москве есть такие.

Ни в какой интернат Вадим не поехал — вот еще. Не дослушав родительский разговор, он отправился к себе в комнату. Комната, надо сказать, к его возвращению от стариков была наново отремонтирована и сделана, как он про себя это назвал, «для мальчика». Родители поставили там модную акустическую систему и стойку с кассетами с молодежной музыкой (Вадик иногда снисходил и слушал на ней радио), игровую приставку, которую Вадик игнорировал; компьютер — к нему он привык довольно быстро. На одной из стен комнаты висели постеры музыкальных групп, о которых Вадим тоже ничего не знал. Впрочем — пусть висят. Достав из шкафа добротный рюкзак, подаренный отцом после первого трехдневного похода, Вадим покидал в него теплый свитер, смену носков и трусов, толстенную книжку «Властелин колец» (одно из немногих достижений цивилизации, по которым он мог бы скучать у деда), из шкафчика в туалете взял по банке сардинеллы и морской капусты, не забыл и консервный нож, потому что хороший охотничий ножик остался у деда, в город ему не разрешили его забрать, немного заработанных по осени денег, еще один камень преткновения и папин страшный позор — как же, сын приторговывает клюквой на выезде из города — какой же был скандал. Ложка, до половины сточенная под вилку — «ложилка», болталась

в рюкзаке всегда. Вышел в коридор, прислушался к разговору в родительской комнате за прикрытой дверью. Родители вполголоса все еще обсуждали варианты интернатов, мама приводила в пример своего дорогого друга из турагентства, который отправил дочек получать правильное образование в отрыве от семьи — и ничего страшного. Прошел мимо, снял с крючка в прихожей куртку и, застегивая на ходу, выскочил из парадной.

Захолустье, встречай!

Спустя сутки с лишним он оказался перед дедовским домом, проехав с ветерком по трассе на малолитражке в компании многодетной женщины-челнока, везущей огромные клетчатые баулы из европейских секунд-хендов на рынки Пскова, Новгорода и северной столицы. Поужинав сардинеллой и морской капустой, переночевав на скамейке железнодорожной платформы в райцентре, пока его не разбудил затемно дедов знакомец Денис-Зуб, получивший свое прозвище за железную челюсть — когда Союз развалился, он выдрал оставшиеся редкие зубы и поставил себе полный рот железа на случай апокалипсиса. Он как раз прикатил на попутке в райцентр на завтрак. Продать какой-то нарытый металл, закупить крупы, табака и дешевой заварки, если повезет. С Денисом они покантовались по городку до полудня, удачно разжились и крупой, и заваркой, и даже странными, прилипшими друг к другу фантиками конфетами «К чаю». Зуб щедро насыпал Вадику пригоршню этих конфет в карман куртки. Понимаю, что взрослый, но в дороге похрустеть завсегда подойдет.

Потом они доехали до 24* километра, откуда напрямки через болото всего-то час до дома.

— Ты как, до Старика доберешься сам-то? — спросил Зуб, ему было на следующей станции, а потом тоже пешкодралом до Больших Жезлов, потому что автобус не был согласован с электричкой. Вадик поправил рюкзак. Дорогу через

лес и болото от станции до дедовского дома он знал хорошо и ничего не боялся. Правда, бабушка всегда пугала его волками да кабанями, — некстати вспомнил он.

— Доберусь.

Зуб напутственно хлопнул его по рюкзаку.

— Ну и славно. А то меня моя тетенька заждалась. Порадую ее карамельками, слышь. Любят тетеньки сладкое, запомни, парень. — Подмигнул выскочившему из электрички Вадику. Двери с шипением закрылись.

Болота ранней весной унылы только для чужака. Младший Терешонок весенние болота любил если не больше, то уж всяко не меньше летних. Это в городе конец марта, да и начало апреля — время авитаминоза и выплывающего из-под снега говнеца, а на малой родине в высоких уже небесах движутся птичьи стаи, сверкают лазурью промоины переполнившихся снеговой водой и застенчиво выглянувших подземных речушек, а среди мха всех расцветок — от нежно-зеленого до серебристого — с красными маковками кукушкина льна рдеют гроздочки прозрачной весенней клюквы, бодрящей и напитавшейся сладости за долгую северную зиму.

И вот он стоит перед дедом, сидящим на ступенях высокого крыльца, и катает за щекой приторную карамельную конфету. Дед, тяжело опираясь о перила, встает ему навстречу. В тот раз Вадик в первый и последний раз получил от деда Миколая подзатыльник. Не сильный, строго в воспитательных целях. Увидел, как по лесенке сбегают бабушка и заплаканная мама. Родители приехали в ночи на машине маминого друга из турагентства, потому что папина машина в ремонте. Отец и мамин друг выходят из бани. У бани, среди пригретых на взгорке пушистых култышек мать-и-мачехи, накрыт дощатый стол. Культурная программа для гостя: баня, погреб, дегустация березового кваса, березовой браги и копченой гусятины. Мама и папа робеют и заискивают перед гостем. Бабка Ольга мечет на стол деревенские яства.

Дед наблюдает за столом с почетного места, потом встает, побряхтывая, говорит сыну — пойдём, Андрейка, скажу что. Возвращаются минут десять спустя, Андрей Николаевич весь красный, будто снова в баню сгонял. Вадим чувствует дедовскую ладонь на спине — Миколай Васильевич проводит его по острым лопаткам. Сгоняй в избежку, Андреич, будь ласка... папирос принеси мне. С той поры это «Андреич» ко мне и пристало, — заканчивает Вадим.

— А дальше что? — нарушает молчание Генка. Они коротают свою первую ночь в собственном доме, за вкопанным во внутреннем дворике столом, на котором — щедрая миска слив, массандровский херес и копченая дедовским способом местная рыба — подлещики и балтийский судачок.

— Дальше тоже была жизнь, — будто нехотя, говорит Андреич.

Оставшиеся пару лет до окончания школы он провел, практически не разговаривая с родителями. Утром уходил в школу, до вечера торчал в библиотеке или же в своей комнате. После школьного выпускного, на который он также не пошел из странного стремления побольнее уязвить отца и мать, уехал к деду и почти месяц проторчал там, готовясь к поступлению на ленинградский истфак. Поступил — конкурс был относительно невысок, в эпоху первоначального накопления другие знания и навыки котировались. Дед был доволен, прислал телеграмму поздравительную и немного денег почтовым переводом.

— Он по всем детям пенсию рассылал. Она у него неплохая была, ветеранская. Когда я с ними жил, помню — как получит, так и пошел отправлять: Андрюше во Псков, Васятке в Николаев, Валюше в Караганду... А мы с ним и с бабкой Олей лисички продавали на станции или на шоссе, клюкву, брусницу и железяки эти с торфоразработок сбывали. Птицмолоко-яйцо свое, закаток полный погреб, да и много ли нам надо? А в городе дорого все... И вот той же осенью сходили

они за грибом, набрали и красненьких, и белых, и лисок тож, и повез он бабу на станцию на инвалидке своей, и какой-то пьяный мудень подрезал их на трассе, они и кувыркнулись. Дед-то ничего, а бабуля переломалась вся и несколько дней спустя умерла в больнице во Пскове. Деда уговаривали остаться, но он упрямый как черт, повез ее в Захолустье хоронить, ну а потом говорит — и куда я теперя от ее могилки? Думаю, это такая у него была еще военная хитрость, чтоб отец его в город не перетасил. Я тоже пробовал уговаривать, но бесполку все... Ну и после этого долго он не прожил, конечно. У нас уговор был, что он раз в неделю звонит с почты отцу или мне, все в порядке, мол. И вот он раз пропустил звонок, отец примчался — все нормально вроде, каракат сломался только. И на другой раз папа уже поспокойнее воспринял, да и распутица была, ну и только дней через десять он по первозимью поехал деда проведать. А там... дом холодный уже, и дед окоченевший лежит в собственноручно сколоченной домовине. Перед этим, что характерно, животину забил, чтоб не мучилась, и мясо закоптил даже, куркуль эдакий. Только на бобиков рука не поднялась, они так и бегали вокруг усадьбы, тощие, как стиральная доска, и выли жалостно.

— Да он у тебя варяг прямо, — невесело усмехнулся Генка.

— А с бобиками что сделали? — Алька.

— Серого, кобеля цепного, отдали в соседнюю деревню. А Егозу пришлось пристрелить, она злая была как черт, никому кроме деда не давалась, а когда его выносили, принялась на мужиков кидаться, за ноги хватать. Отец взял дедовское ружьишко, ну и...

Генрих разлил по кружкам остатки хереса, Андреичу — больше всех. Тот кивнул благодарно и выпил одним глотком.

...С того Успения все у нас и началось. Трудники и трудницы жили в монастыре по отдельности, да и работы совместной нам старались не давать; мужчины и женщины — что

огонь и пакля, как матушка любила приговаривать. Но огня поначалу не было меж нами. Трудница Ирinya, или Ирочка, как я сразу ее про себя называл, она не этим меня трогала вовсе. И огня, и пакли-шмакли в моей жизни, прости Господи, до этого было предостаточно. А в ней была хрупкость такая нежная, будто у маленького светло-лазурного мотылька, каких много по концу лета в высокой траве, и вроде неяркие у него крылышки на первый взгляд, но всмотришься — и аж обволакивает благостью от бархатного, молочно-голубого света невесомых узоров на них. И еще смиренность была и тихая отвага — помню, как-то начал к ней цепляться Серунька Дрыщ, наркот и недавний сиделец, подавшийся в обитель для исправления жизни якобы, но я-то подозревал, что ему попросту перекантоваться было негде. И вот он ей дорогу заступил, с ноги на ногу переминается и брешет что-то, явно какую-то гнусь, ну а может, просто денег так шакалит. А она стоит, улыбается слегка, и еще плечиком так дернула — дай, мол, пройти. Серунька не отстает, ну тут уже у меня кровь закипела, я к ним ринулся с берега, где мы лодку разгружали... Он не дождался, правда, как меня завидел, так сразу сдристнул, одно слово — Дрыщ. Ну, я подошел уж, говорю — если пристаёт кто, вы скажите только, быстро в ум приведу, уж чему-чему, а этому жизнью обучен. Она посмотрела так грустно и светло и говорит — не волнуйтесь, Борис Алексеевич, ваш Серунька мне вовсе не страшен. И я понял — и правда, не боится она, хоть и весу в ней — дунь-улетит, и шейку этот же Дрыщ одной своей граблей обхватить может. А от того, что она меня по батюшке назвала — тоже, значит, выделила слегка, все обмерло. Что сказать дальше, я не нашелся, отступил просто, не стал мешать — и она пошла, куда направлялась... кажется, в трапезной послушание ей определили. Старался потом даже немного избегать ее, ну, чтобы не отвлекать от мыслей, не для того же мы все здесь, чтобы куры друг дружке строить. А Дрыщу, конечно, сделал

внушение, и с сестрой Варварой поговорил на его счет, это боевая такая была там сестрица, по безопасности у них, местными ЧОПовцами рулила — плат завязан вечно, что у твоей Анки-пулеметчицы, запястья широкие, крепкие и кулачки загорелые, все время в царапках. Она сказала, что давно он у нее на карандаше, — постучала карандашом, обкусанным, как в школе, — и до первого косяка его здесь держат, а это его приставание к Ирочке она за полкосяка засчитает.

В трапезной мы встретились на следующий раз. Был обед, по Успенскому посту накрытый — огурчики свежие, капуста квашеная, фасоль из банки, пирожки с луком. Прочли «Отче наш», принесли зеленые щи. Ирочка с еще одной трудницей подала миски и удалилась. Монахиня читала в тот раз житие святых Улиты и Кирика, что жили в Малой Азии в Ликаонской волости. Будучи богатой вдовой, та покинула город во время гонений на христиан с двумя верными рабынями и трехлетним сыном Кирюшей. Скрывалась под видом нищей — но, надо думать, с двумя рабынями и скарбом это было непросто. Я бы на ее месте другую выбрал легенду. В итоге задержали ее менты языческие и начали кошмарить. Пустили дубинки в ход... Ну, это вряд ли, от них следы остаются, а вот пустыми пластиковыми бутылками могли бить вполне. Но, что меня поразило, они мальчика Кирюшку на камни сбросили... то есть совершенно по беспределу уже. И тут чтница говорит — после этого святая Улита возблагодарила Господа, что удостоил Он сына ея мученического венца. Нет, думаю я, дохлебывая монастырский щавель... не видел в жизни я и не воображу ни одной тетеньки, чтоб поступила так, ибо противно это человеческой природе. То есть червь сомнения во мне зародился — что это за вера, если мать радуется смерти своего маленького Кирюши?

Но вот закончили, девочки посуду собрали, Ирочка тоже. И бригадир наш завел привычное — молитвами святых... Мы — аминь. Затем снова пошел гнусавить. И тут Ирина

моя голос возвысила — стоит с нашими мисками грязными в подоле фартука, и чисто так выводит: Благословен Бог! Милуй и питай нас от юности нашей, дай пищу всякой плоти, исполни веселия и радости сердца... А я смотрю на нее — и та самая радость наполняет мое сердце, и понимаю я, что вовсе не смерти Кирюши радуется мать и не за нее благодарит, а радуется она тому, что он у нее — был, в коротенькой их жизни, а от того, что видит она — сердце ее кровоточит, но знает она, что не Господь то сотворил, но люди, наделенные бесконечной радостью и свободной волей, и оттого ужасно ей, конечно, вдвойне, и только и остается возблагодарить Господа за то, что Он — дал, а люди — отняли.

После того, как она спела, все стало будто бы ясно между нами, хоть ничего и не сказано. И я совсем не удивился, когда на следующее утро мы встретились в соборной Успенской церкви — небольшом белом храме, про который наш бригадир говорил, что ему едва ли не тысяча лет. Меня отправили вытащить лестницу и еще какой-то скарб, что от косметического ремонта остался, так-то церква в хорошем состоянии была, едва ли не единственная в обители — памятник как-никак, при Советах еще отреставрировали. А Ирочка в то утро подметала там перед службой. Шур-шур — слышался тихий звук, и длинная юбка била не по щиколоткам даже — по невысоким каблукам ее ботинок, а хвосты плата, заброшенные на спину, подрагивали, будто крылышки, на острых лопатках.

— Это вот святой Кирик, Кирюша, — сказала она, дومتая до меня и показывая на поясное изображение со странным кругленьким ликом, лишь отдаленно напоминающее человека и выступающее из белоснежной стены, — художники Руси двенадцатого века не умели рисовать детей, кроме младенцев, поэтому он такой... уродец. Да и вообще, представление о детстве как об особенном времени в жизни человека родилось совершенно недавно... А вот здесь, на столбе — князь Борис, воин и мученик. Рядом должен быть его младший

брат Глеб, но эта часть росписи не сохранилась. А Бориса узнали по воинскому облачению и небольшой бородке — таких молодых святых относительно немного... у остальных, как правило, нормальная борода.

Я заметил, что она украдкой посмотрела на мою бороду и заволновался даже; не стриг давненько. Борис на фреске выглядел моложе меня, стройный, в кольчуге и алом плаще. Князь держал меч за ножны крестообразной рукоятью кверху.

— Воин, отказавшийся защищать себя, дабы не пролить братскую кровь. — Тихо пояснила Ирина. — Поэтому и меч — в ножнах.

— Понял я, что должен попросить у него прощения, — неожиданно признался ей. — Ношу его имя, а поступал в жизни совершенно... несообразно.

Она кивнула, подхватила метлу и вышла, оставив меня одного под сводами древней церкви. А я постоял-постоял, поговорил со своим князем, на плечи стремяночку закинул да и пошел в бригаду. Иду по обители, все кругом зеленеет последние дни, солнцу радуется, ветер тихонький с Волхова колелет листья, цветут поздние цветики: рыжие лилеи да георгины мохнатые, и гордые гладиолусы от латинского «меч» — так мне сестрица одна рассказала, — а в клумбах сидят зверюшки керамические: ёжики там, зайчата или белочки; тетеньки они есть тетеньки, даже в монастыре уют наведут. И вижу тут, что у фонтанчика с прудиком, что монашки также соорудили с помощью бригадира дядьки Егора, он на все руки у нас, толпа какая-то и шевеление происходит. Мужики наши стоят, сестрица Варвара их отгоняет, а сама из прудика черпает в бутылку пластиковую с обрезанным верхом и кого-то на земле обрызгивает, и бригадирша трудниц шагает по косогору от ихнего корпуса широким шагом, так что грубая юбка подлетает аж до колен. Я заторопился, подошел, стремянку наземь, и вижу — лежит на травке моя

Ирочка, и личико такое бледное — будто вот-вот отходит. Ну я из шахты помню еще кой-какие приبلуды по первой помощи, да и после... приходилось, растолкал народ, голову ей приподнял, плат снял и открыл шею, чтоб подышала. Она немножко в себя пришла и тихо так мне говорит — ничего, ничего. Шея тонкая, но видно — сильная, заметно, как горло ходит и жилы напряжены, дрожат. Тут уже меня Вера-бригадирша оттеснила, она медсестрой в миру была, а сейчас в Христовы невесты готовится, посмотрела, пульс тоже потрогала, и говорит — это при ее диагнозе вовсе не удивительное состояние, пусть полежит, авось получше станет. И правда, — полежала Ирочка, поднялась, Вера ее придержала чуть, и пошли они в корпус. А мне все в голову бьет — при каком-таком диагнозе? Жалко тетку, сил нет, — говорит мне Варвара, — немолодая уж, конечно, за тридцать, то есть пожила, но красавица еще, каких поискать. Я ее лет десять назад в кино видала, вся такая в белом платье, чисто голубка.

— А что с нею? — спрашиваю, как дурак.

— Да помирать она седа приехала, рак у нее. Ох, на все воля Господня.

Тут меня и проняло, откуда эта тихая отвага.

Андреич начал меня пугать. Все годы нашей дружбы я с восторгом, мешавшимся с возмущением, наблюдал за его похождениями; это был яркий провинциал с отзвуками просторечья в разговоре, с острым умом, практической сметкой и манерой брать где нахрапом, где обольщением.

Я вполне смирился с архетипической ролью соратника героя, доброго советника, иногда — брызги, мой остзейско-айдский темперамент — такая вот закавыка, впрочем, не слишком редкая в наших краях, — хорошо питался энергией его сверкающего пути. Единственным камнем преткновения между нами были девочки. Примерно на второй год дружбы я почти привык к тому, что каждая вторая моя

пассия не избегнет его нецеломудренных объятий, это стало даже своеобразным тестом. Впрочем, те, что миновали, быстро переставали мне нравиться, в них будто появлялась дополнительная пресная нота — а если ты сам суховат, как гуманитарная галета, то вряд ли ищешь подобного в других... Ссоры из-за очередной моей подружки, которую он затащил в постель, как будто даже освежали наше товарищество.

Все изменилось с появлением Алевтины. Поначалу я не совсем уловил глубину вспашки; когда Андреич поделился со мною своим замыслом — он хотел бы купить дом в деревне, но отложенных им доходов от продажи выкопанных из северных болот германских штыков и флажек хватит разве что на половину участка в часе-полтора езды от города, я легко предложил ему компаньонство — родители уже не раз намекали, что готовы спонсировать мне приобретение студии в приличном жилом комплексе на окраине. Правду сказать, я б с большим удовольствием вложил эти деньги в реконструкторскую снарягу, инструмент или съем квартиры в центре на пару с тем же Терешонком, но предки упирались насчет вложения именно в недвижимость. Ну, будет им недвижимость — с легким злорадством решил я. И мы поехали выбирать дом.

Смотрели долго и много. Андреичу не нравилось то местоположение, то перспективы развития территории, то, внимание, — грунт. Ты что здесь, ферму решил закладывать? Или господский парк? — недоумевал я.

Генри, в моем... в нашем, — поправлялся, — доме, должен быть роскошный сад. А может, Алька клумбы захочет.

Так я и понял, что он выбирает дом не для нас и не для себя даже. Для нее.

Но какие-то иллюзии теплились еще, да и что, в конце-то концов, я буду делать один со студией в Девяткино? Девочек водить раз в неделю, по расписанию, а остальное время корпеть над своими Гогенцоллернами? Ебануть очень быстро при та-

ком режиме. С Терешонком и — фиг с нею — Алевтиной его всяко веселее. В крайнем случае — дачка будет приятная.

Купили, вселились. Поначалу отлегло от сердца — летом и в сентябре устраивали вечеринки, дым стоял коромыслом, по холоду Алька уехала в город к матери, Андреич засел за диссер, я оборудовал под себя мастерскую и наезжал дня на три каждую неделю. Вечерами сидели у печки, потягивали настойку на сливах этих желтых, районированная мирабель. Духовитая получилась. Новый год справили вчетвером — я, Андреич, Аля и еще Тесса прикатила из своей Нарвы-Йыэсуу. А на их двойной день рождения в январе, — у Али и Терешонка они с разницей в неделю, — Алевтина подарила нам всем собаку, взяла из приюта молодую стерилизованную сучку русского спаниеля, серебристо-пегую и заливистую. Вадик возился с нею, подкидывал ее плотные, оладьями, уши и ржал, как школьник. После полуночи всем захотелось в город, вызвали было такси за невероятные деньги, но потом отменили — не из-за дороговизны, просто не решились оставить собаку. Андреич назвал сучку Тиной и сказал, что заведет ружье и будет с ней на охоту ходить. Потом они с Алевтиной ушли к себе, доносилась эротическая возня, и в какой-то момент я услышал, как мой друг долго, с отягогом, застонал — будто из него жилы тянули. Вслед за этим увидел, как Аля проскользнула через мою проходную комнату к душевой кабинке в кухне. Не очень удобно было все в этой избушке устроено, а Терешонок еще и менять ничего не хотел, даже портрет старого хозяина со стены не снял, всех нововведений — только вот кабинку эту и поставили.

А по весне Андреич перенес мою мастерскую в сарай и на ее месте начал строить их новый дом.

Алька приехала в Ижору во второй половине дня, с сестрой и ее маленькой дочкой. Вероника долго, красуясь, парковала новенький черный «опель» на широкой, частично

укрытой сероватой еще травкой улице — зимой упали старые ворота и образовавшуюся дырку парни затянули сеткой, так что рабочего въезда пока не было. Но зато вся улица видела, как к новым хозяевам старого командирского дома — как его называли в честь послевоенного еще владельца, водившего партизанский отряд из Таменгонтской республики через линию фронта, — приехала родня на неплохой машине. Звенел апрель, по всей деревне жгли старую траву, дым носился над стремительно подсыхающей землей, а по их участку ходил землемер со своей треногой. Соседнее владение было заброшено, а их низом выходило к реке, по новому закону нужно было отрезать кусок огорода, входящий в водоохранную зону, а на его место присоединить что-то соразмерное.

— Этот ничейный уже по кадастру, изба, вишь, рухнула, надо в вашем муниципии спросить, может, и согласуют. Отхватите тогда этот малинник вместо бережка вашего, — сказал геодезист.

— А кроме малинника какие еще варианты? — спросил Терешонок.

Землемер пожевал губами.

— Ну вот склон еще, что примыкает к вам с юга. Но что вы там постройте, на склоне? Разве что груши посадить.

— Там можно сделать террасу на сваях, на ней беседку. А у террасы развести шотландские розы и... да, груши. Они как раз выживут на солнечном склоне, — вступила Алька.

Раздался тихий и ржавый звук. Струна лебедки, скрывшейся в разрослой вишне, медленно поползла вниз, на будущий грушевый склон. На струне покачивался пустой пока крюк для корзины. Генрих медленно улыбался от столба с фазой.

— А, ну если у вас инженер в хозяйстве есть, то берите склон, конечно, — немного даже обиделся геодезист. — Там сад можно разбить... всем на зависть. У вас еще земля тут самый сок, Ижорская возвышенность, единственно в области

рекомендованная для земледелия. Вон у вас сливки какие, еще груши посадите. А дом если небольшой и на взгорке рядом с сараем станет, я видел, вы там освободили кусочек. А так и сарай можно убрать, места будет поболее. Только свай рядом со старой избой не бейте, если сносить вот-вот не планируете, иначе ее поведет с большой вероятностью. Сделайте по-дедовски, на бульниках. Тогда дом у вас будто танцевать будет.

— А на лебедку подвесим корзину, как у воздушного шара, будет у нас канатная дорога прямо к реке! — размечталась Алька. Терешонок с улыбкой смотрел на нее.

— Ага, и откроем горнолыжный курорт. Полтораста метров по склону к Черной речке и жопой в ельничек. А там — вау! — Дантес.

— Я бы кафе завел, — вдруг признался Генрих. — Кафе местной кухни, назвать можно «Иван да Карху». Карху по-местному «медведь», здесь у доброй половины коренных такая фамилия. А что, земляца у нас теперь есть!

— Предлагаю ребрендинг до «Медвежьего угла», товарищи фаланстерьяне. А если серьезно — Аля, у тебя скоро там рыба скукожится, и колбаски Тина сожрет прямо с костра.

— Там Вероника столом занялась, — отмахнулась было Алька.

— Вероника в гости приехала, а хозяйка кто? — Андреич строго сдвинул брови. — Что ты за баба такая?

— А я и не баба вовсе, — отрезала Алевтина, но к очагу пошла. Вероника уже нарезала салат, передвинула от самого жара решетку с колбасками и прилаживалась снять с очага коптилку. Двухлетняя племянница Марфа восседала в детском автокресле на завалинке и важно пускала пузыри.

— Классный у тебя этот Терешонок, аж завидки берут, — улыбнулась сестра. — Я вот своему Олегу говорю — давай участок возьмем и потихоньку начнем строиться, неужели

не хочется в собственном доме жить? А он — я тебе квартиру сделал по военному сертификату, машину в кредит взяли, что еще надо? Здоровый лоб тридцатилетний, со службы придет, ноги выше ушей задерет перед телевизором и размышляет, как достало его молокососам подчиняться и как он стал бы офицером, если бы захотел. Ну так стань, — говорю я. Что мешает?.. А он — мне достаточно знать, что я могу. Ну-ну. Очень у нас большая нехватка с мужиками, которые не только могут, но и хотят... Так-то они все ковбои диванные. А этот твой Андреич с напором парень, может далеко пойти, если фигни не случится.

— Мафуша хочет гошок, — со значением сообщила девочка.

— Я ее от памперсов отучаю. Сходи, пожалуйста, он в машине, — попросила Вероника.

— Занимайтесь, я принесу, — раздался голос Вадима. Он стоял метрах в пяти, осматривая морозобоину на стволе сливового дерева, на котором уже потихоньку наливались бутоны. Судя по лучику самодовольства на лице, он все слышал. Вероника залезла в карман джинсов и с понимающей улыбкой кинула ему ключи от машины.

Затем ели копченую форель и геодезиста угостили, а Терешонок выставил три бутылки фирменной березовой бражки, — пскопской, — и даже Вероника выпила стаканчик — часа за три разойдется, и еще они с Андреичем прокатились на «опеле» по деревне, гаишников тут отродясь никто не видел, и Вадим поделился с нею желанием взять недорогой джип, а она отговаривала его и советовала тоже «опель», только модель попросторнее, Алька с Генрихом в это время сидели с Марфой, а Марфа сидела с Тиной, гладила собаку по нерпичьей шерстке и высказала желание забрать ее себе, и тут Алька мне и говорит:

— Слушай, Ген... У тебя нет ощущения, что Андреич в этом доме стал каким-то другим? Я тут недавно барометр

этот старый, что в столовой, хотела перевесить, а он мне и говорит — не трожь! Мол, как хозяин определил, так пусть и висит. И эта его манера бабой меня называть. Дичь какая-то.

Потом осеклась.

— Наверное, я не совсем то хотела сказать.

Генрих кивнул.

— Да нет, все то. Я тоже заметил. Он и мне в старом доме запрещает что-то менять: старые инструменты хирургические, что, видать, еще от полевого госпиталя остались, он в этой избе и стоял, ружейный сейф без ружья, санки для подледного лова и охотничью снасть — я думал в местный краеведческий музей свезти, а он — ни в какую... Только до хозяйской кинофототехники и допустил. Мне кажется, он на себя этот дом пытается примерить, со всеми хозяйскими прибрлудами вместе. Я, знаешь, все жду, когда он с портретом этого Колоколова, командира партизанского отряда, разговаривать начнет... Не, не смейся. В любом случае, хорошо, что он новый дом затеял, может, хоть попустит слегка.

Гена усмехнулся и подцепил вилкой кусочек рыбы. За забором бибикнула машина, пришел грузовичок с брусом.

...Все лето Алька наблюдала, как растет новый дом — Терешонок заказал бригаду соседей-бульбашей, мужики вкрутили-таки винтовые сваи, затем поставили остов и возвели крышу, которую забрали терракотового цвета металлочерепицей. Оттенок он попросил выбрать Алевтину. А дальше возился уже сам — была активирована циркулярная пила, которая нарезала доски для обшивки — этим занялся Гена. А сам Андреич нанял двух узбеков да выписал какого-то земляка по отцовскому совету. Этим небольшим коллективом они укладывали брус, вставляли дверные и оконные рамы. Был предусмотрен газовый котел и теплый санузел. Кухня-гостиная, спальня, детская и небольшой кабинет в мансардном этаже. Там же позже предполагалась еще одна комната. На случай увеличения детей, — сообщил Терешонок с легкой

застенчивостью. А у Альки впереди был дипломный год, и на осень запланирована первая персоналка. Ее картины на ткани неожиданно стали популярны, блог в социальной сети — новое поветрие — перевалил за три тысячи подписчиков, а что касается детей, то ей пока вполне хватало Марфы, которую Вероника повадилась ей подкидывать время от времени. Девочка называла парней дядя Вадя и дядя Гена, а к ней обращалась просто по имени.

Время от времени Алеветина вывешивала в своем журнале фотографии работ — снимал их обычно Генка, они обнаружили на чердаке командирского дома целую фотокинолабораторию, а у Генриха обнаружился к этому делу природный талант. Алька развешивала свои, как выражался Терешонок, половички то на бревенчатой стене старой избы, то на ветвях яблонь или самой старинной сливы, — так, чтобы их слегка просвечивало солнце, а Гена фотографировал или снимал на старую пленочную камеру. Затем Алька сканировала изображения у друзей в городе, и даже пару кинопленок перевела на цифру — и вот скоро в интернете колебались на приморском ветру оммажи русской иконописи, только более, как выразился Генрих, наивные — несмотря на всю искусную проработку: там была Богородица с младенцем на коленях — только не с мальчиком, а с девочкой, и в ребенке угадывалась важная Марфуша, которая хочет горшка; там было два брата княжеской крови, но в руках у них вместо мечей — плотничьи топоры, там был пожилой уже Петр в лодке и с рыбами, срисованный с соседа, что продавал им судаков, а еще там были герои — Даниил и Георгий, иудей и грек, с похожими ликами — смуглыми и решительными, один уговаривал о чем-то волчью стаю среди зимы, другой же, оставив сантименты, крепкой рукой поднимал коня над хребтом пресмыкающегося ящера.

Ближе к концу лета на нее посыпались заказы — в основном из-за границы. Она продала Деву с девочкой за сто

баксов и гордо внесла эти деньги в бюджет коммуны. Генрих схватился за голову и предложил ей быть ее агентом. Но еще раньше ей написал человек из Москвы, со знанием нюансов похвалил Даниила и Георгия и заметил, что ей необходимо представить свою, как он выразился, коллекцию, в столице. Лучше всего — в каком-нибудь прогрессивном центре.

Терешонок этот ее успех не очень заметил, он был занят домом. Только на известие о продаже портрета Вероники в образе Марии заметил, что с такими вещами, по его мнению, не шутят.

...Я не то чтобы был против ее творчества. Совсем нет. Когда я увидел у нас в саду ее реплику Чуда Георгия о Змие — того самого, что наши правдолюб-диссиденты продали в Британский музей: на летучем вороном, взметнувшийся плащ очерчивает нимб, — я, конечно, понял моментально, что меня угораздило связаться с настоящим талантом. Но продать Богородицу за сто баксов и мне их принести — это было как-то слишком. Чем я так ее обидел? Хоть раз я упрекнул тебя в деньгах? И Генка туда же. Я был доволен, когда она рисовала; я был не рад, когда она начала продавать. Это как бы говорило мне — у тебя недостаточно денег. Да и то, что она могла и должна была делать, — это же вообще-то не коврики. Как она этого не понимала?

Хотя, надо признать, едва ли не большее удовольствие, чем от прочего, я испытывал не тогда, когда она, растянув ткань, наносила миру свои метафизические удары, но тогда, когда она стелила нам постель. Ее тонкие сильные руки доставали из комода одно за другим — тугую нижнюю простыню — взлетает над матрасом, затем нежные наволочки, которые она выворачивала одним уверенным движением, их натянутая ткань заглывала обе наши подушки, она взбивает резкими движениями кулака и отбрасывает в изголовье, потом самое трудное — затолкать тяжелое ватное одеяло в атласной обив-

ке в икеевский чехол, но и тут она справляется. Она берет новый пододеяльник, нюхает его (зачем?), отправляет в стирку, берет другой... Все белье в комод проложено травами в тканевых мешочках — мелиссой, мятой, даже крымскую лаванду достала откуда-то. Поверх одеяла ложится легкий полотняный покров, затем отброшено на уровень колен. Я забираюсь между всею этой чистотой и свежестью, она вскоре оказывается рядом, ее жаркое загорелое тело лучше любого одеяла, как хорошо, когда ваши ноги одной длины, я, как всегда, тороплюсь, она раньше уходила, теперь нет, это хороший признак, теперь просто раскатывает одеяло, укрывая им обоих, и затихает у меня в ямке плеча.

Так я узнал, что у моей Ирки миелоидный лейкоз, шансов мало, а денег вообще ни хрена. И сначала я устроил безобразный разнос всем матушкам и сестрам, потом долго говорил с нею, увещевал. Выяснилось, что можно попробовать химию в Ленинграде. И вот мы туда собрались.

Перед тем как отправиться, она говорит — а ведь главное-то в Ладоге ты не увидел.

Чего, грю, не видел я? Крепость, два монастыря — Успенский и Никольский? Курганы якобы Олега Вещего, из которых по весне вылетают шмели? Легкую золотисто-голубую ленту великой реки?

Она говорит: пойдем.

И вот мы выходим из ворот, за ними гладкое шоссе со склоненными тополями. Проходим в крепость, там тоже церковь, еще меньше нашей. Ирина, опираясь, держит мою руку у локтя. Хорошо, что она это сделала. Иначе я бы отлетел с этими ангелами, у которых еще лица такие, будто они на лучшую в мире вечеринку собрались. В барабане Христос возносится и эти крылатые диджеи колышут своими невесомыми одеяниями. Вот, еще... — говорит. Как добила. Всадник на светлом коне, стриженный и бритый, кудрявый слегка. Конь

закован в броню, в руке что-то, но не копые — командир катафрактариев на марше. И девочка волочит ящера на поводке.

— Чудо о змие — посмертный подвиг. Ты же знаешь?

— А что же он до того совершил?

— До того его просто убили.

Гуляет по белой церкви, как своя.

— Я тоже всадника убил.

— На войне?

— Нет.

— А как?

— Лошадь под ним застрелил, — лжет он, — какой же всадник без лошади? Главное в этом деле — выбить из седла.

И тут чувствую, что мне хочется прямо в этой церкви заорать, как умалишенному, и бить ногами в своды, и эти фрески древние ногтями царапать. И только ее медленные глаза останавливают меня от этого. Она смотрит на меня пристально, будто толстого змеюку держит на поводке, и я, изгибаясь слегка, прохожу меж нависшими конскими ногами.

А на стенке внизу нацарапан и наравне с Георгием сохранен — воин, который в свою очередь на поводке ведет медведя. Ирочка мне уже до этого рассказала, что они раньше ходили в церковь, вроде как мой батя на партсобрание — скучно, но надо отсидеть... Вернее, отстоять — в их случае. И царапали на стенах всякое просто от скуки. Ну, вчерашние язычники, что с них взять. Но теперь все эти корябалки надо сохранять, потому что тоже история.

И вот я смотрю на этого воина с медведем и понимаю, что я-то примерно на уровне языческого варяга сейчас, какого-нибудь Бера Вольговеца, что в церкви своего зверюгу накорябал, и мне не то что до Георгия, до коня его еще — срать и срать. И что мне надо сделать — так это не убежать от своего зверя, но взять его в ошейник, и тогда мы вместе пойдем куда-то за нашим князем Борисом, и комитом Георгием, и моею

принцессой, может быть, даже и в смерть, а может, и нет, я-то, конечно, пожил и нагрешил на много жизней, но Господь, как говорится, милостив. А даже если и нет.

Один старый по разным делам знакомец пригнал машину, которую был должен когда-то — даже моя репутация имеет свои плюсы, я погрузил туда Иришкин скарб, свой рюкзак, подошли мы под благословение и на Фрола и Лавра отчалили. По дороге назад летели золотые уже луга новгородчины в оправе изумрудных ельников, спали маленькие поселки, рушились, будто на глазах, придорожные серебристые избушки с узорными наличниками — непривычные для южанина вроде меня, у нас-то на Дону, на Доне в основном крошечные хатки, белые и с зеленой крышей, а тут была корневая деревянно-белокаменная Русь, и вот она умирала на моих глазах и не без моего, получается, непосредственного участия. Я вспоминал, как мы в Ленинграде уже помогали отжимать какие-то здания, предприятия, земли — и вот эти земли имеют хозяев, но на них ни коровки, ни овечки, ветер носит пух иван-чая, гнет побеги золотой розги — следы человеческого жилья, домики падают, и мужичок пьяненький идет по трассе зигзагами, будто дожидаясь, пока собьют.

С Иришкой тоже было неважно, несколько раз за полтора часа ее тошнило, каждый раз страх брал. Я звонил доктору, с которым мы договорились насчет консультации, заколебал его, вероятно, до крайности. Господь милостив, Господь милостив, — повторяла она. Но я столько раз видел, как Господь не то чтобы не милостив был, но как бы самоустранялся от человеческих бед, что очень у меня большие были на наш счет сомнения.

Так оно в итоге и получилось: по приезде в Питер мы прошли химию в хорошей клинике, чуда нам не обещали, но динамика вроде была неплохая. И в одно из посещений врача Ирина, может, маску сняла, может, просто умывалась в туалете и сняла, и подхватила вирус из тех, о котором мечтают

школьники в разгар длиннющей третьей четверти. Обыкновенная ОРВИ в ее ситуации моментально дала осложнение на легкие. Уже три дня, как я отвез ее в больницу, где поставили пневмонию. В ее состоянии это, скорее всего, конец.

...На похороны сам не трагся, распорядилась она, — у меня есть мама и сестра, они не бедствуют. В крайнем случае продадут мою квартиру. Уж это-то я заработала... Знаешь, мне тридцать пять, и о чем я сожалею? Что я пять лет прожила с мудаком и не родила от него ребенка. Знаешь, я всегда знала, что он мудака, хоть и влюблена была, как кошка, и думала — а ребенок-то ему зачем, такому самому у себя замечательному артисту больших и малых, и драматических?.. Ему-то незачем, а мне теплее бы было. Хотя — о чем я — вот помру, и куда тогда ребеночек, Ванечкой хотела его назвать. Ванечкой, блин...

И задышалась.

— А ты бы чего хотел?

Я бы много чего хотел. Чтобы Союз не рухнул, чтобы батя в шахте не погиб, чтобы мы со Славкой, которого все Мишей звали, сюда не приперлись.

— А почему Миша, а не Слава?

— Потому что Медведевы мы.

— Знаешь, это похоже, как при крещении вместо славянских имен — Владимир, Святослав — давали христианские. Михаил — это полководец Царя небесного. У него огромные крылья...

Ее же крылышки таяли, как лепестки иван-чая в августе. Про Мишу же я не хотел и думать. Больше не мог.

Какие сказки рассказывал я ей, пока она умирала?

Я ей рассказывал про человека во рве со львами, как он умирал их песней, и они ложились под его руку, как домашние кошки. И про другого, которого растерзали злые палачи, но он явился к принцессе на коне и в сверкающих доспехах. Про девушку, которой отсекали груди, руки и затем голову, но при этом с нею ничего не случилось. Про парня,

которого сожгли в топке паровоза. Про офицера, которого обливали водою на морозе, пока он не превратился в ледяную статую. Про целый отряд девчонок и парней, которых побросали в шахту еще живыми. Я уже путался во всех этих историях, но она просила — дальше, дальше. И тогда я рассказал ей еще и про тебя.

...Это был длинный день — вывезли брата из гаража, поехали в церковь, отпели, батюшка хороший попался, не спрашивал ничего. И на кладбище — холодная ленинградская земля, промерзшая, кажется, до самого сердца. Народу немного было — мои пацаны и девчонке его я позвонил еще, она зачем-то с подружкой притащилась, прям как приличная девица на блядки, срам один. Могильщики опустили в яму на брезентовых ремнях, она только тогда цветы бросила. Два темно-лиловых тюльпана, непонятно, где нашла в феврале-то месяце. Тюльпаны тяжело шмякнулись на крышку — видно, подмерзли уже. Начали закапывать. Мы стояли над могилой вдвоем, Юниор мой поднес кутью и водки два пластиковых стаканчика. Мы выпили, потянулись к кутье, и пальцы столкнулись в миске. Говорю тогда — я за него посчитался. Она кивнула. Мы, говорит, искали тебя накануне. Кто — мы? — заорал я. Не может быть так много нас. И с ним мы, и с братом, и со мною. С кем твое «мы»?.. Она спокойно так подняла на меня глаза и говорит — моего «мы», наверное, и вовсе нет. Му-му. Что это? Му-уу — рожки сделала, телочка. Я попятился и чуть было не свалился в яму, не до конца еще закопанную. А искал тебя Даниил, — голос дрогнул, — Андреевич, сказать хотел о чем-то. Повернулась и пошла от могилы, покачиваясь на длиннющих ногах, полупальто у нее было чуть выше колен и за ним эти ноги в темных колготках, а заканчивались они полосатыми такими полусапожками, еще и на каблуках. Ее подружка потом с нами поехала, трахнулась там с кем-то из пацанов, мне по фигу было уже.

А потом начал, конечно, думать, хоть и не сразу — что сказать-то хотел? Что ты хотел сказать, Данила, мать твою?

Виноватых ищешь, вот что он мне последнее сказал. Ну и правда, чем мы еще занимаемся по жизни? Вечно предъявы кидаем. То, что он в смерти брата моего не виноват — это я знал и так, иначе бы не было его там, на свалке; потому я и застрелить не смог, отпустил помучиться. А вот что он мне накануне сказать хотел? Зачем пришел на крышу конюшни усадьбы герцога Ольденбургского, пошто меня в Заячьем Ремизе беспокоил?

Иришка лежала в боксе специальном для таких дел. Куча аппаратуры и маленький человечек в проводах и трубочках. Говорила она сейчас, как шипела. И вот что она говорила.

— У меня есть желание, ты только не сердись, Борис Алексеевич... Женился бы ты на мне. Мне, знаешь, не нужно твое да на много лет вперед. Мне просто хотелось бы с тобою потом встретиться. Жаль, конечно, что раньше не получилось, но вот ведь парадокс — если бы встретились раньше, то не узнали. Ничего общего вроде бы... А между тем мы были бы с тобою прекрасными людьми. Так бы хотелось пожить.

Все это сказано было шепотом и с улыбкой. Если бы не эта улыбка, я бы как-то выдержал. Но тут просто встал и вышел. И тогда как раз понял, зачем он меня искал. Он же знал, что мы взорвем конвойную машину. Мы бы и взорвали, боеприпаса не нашли в последний момент. А он должен был ехать в этой тачке и просто хотел жить. Всего-то. Я аж расхохотался. Молодой пацан, двадцать пять ему было или около. Конечно. Жить хотел. Жить!

Во дворе больницы уже смеркалось, сыпался мелкий ленинградский снежок, искрился в свете рыжего фонаря. Качалось серовато-морковное, будто испортившееся, небо, я стрельнул у какого-то мужика сигарету и присел на скамейку. А последние слова его на самом деле не про виноватых были. Вовсе не про нас. Умыться он попросил. Вот как

Иришка. Не пощады, не исцеления чудесного просят такие люди перед смертью. Они просят умыться. Вся моя жизнь странным образом свелась к встрече с тобой — как-то так она сказала. Я достал мобильник и набрал попа из Троицкого собора, у них там какое-то общество существует потомков измайловцев, а мой прадед геройский был унтер в том лейб-гвардейском полку, так что они сами меня пригласили. Отец Иннокентий, говорю, могли бы вы?.. *Morituri te salutat.*

Назначили венчание на завтра. Близится Рождество — надеюсь, до этого времени никто не умрет.

2. Посад

— ...Мы вышли, потому что П<...>кин должен уйти. Знаете, как называют его у нас? Темнейший! Его Таврида нам не нужна вместе со всей этой показухой. В стране не работают вертикальные лифты, только горизонтальные. А горизонтальный лифт как называется? Труба! Стране — труба, если не сказать по-английски.

Asshole, — машинально перевел он про себя. Телевизор в плавучем баре показывал новости из российской столицы. Молодые рассерженные горожане митинговали против тирании. Наверное, ему следовало чувствовать с ними идейное родство, но он ощущал скорее несовпадение гормонального фона. Сидящий напротив немолодой датчанин, что битый час донимал его жалобами на какую-то русскую нимфу, которая тянула из него деньги, не хотела жениться, но тут вдруг согласилась — не иначе, чтобы свалить из страшной Рашки, застыл с приоткрытым ртом, глядя в экран — там о преступлениях режима докладывала студентка пединститута с внешностью изобретательной отличницы. Вот и викинг оценил. А он почему-то пытался прикинуть, как скоро Вера войдет в тот возраст, когда при взгляде на нее начнут ронять слюни такие вот вечно юные в самом себе дядьки. Нет, не скоро.

Лет пять еще, можно надеяться. Это было утешительно лишь отчасти. Чтоб встряхнуться и сбить себя с темы, он заказал виски.

С матерью Веры они познакомились вскоре после его бегства. Соседская вечеринка в старом конфедератском штате, откуда был родом мистер Робсон, конец долгого южного лета. На календаре сентябрь, а на градуснике, как в Питере в июле месяце — и то, если с погодой повезло. Маслянистый теплый вечер полон жизни и запахов. Общественная кабина среди зарослей, двери настежь, оттуда бьет свет и музыка зайдеко, которую играет ансамбль мистера Робсона, солирует мамин аккордеон. Парковка забита семейными минивэнами и древними пикапами, которые здесь гордо называют траками, — в мягком здешнем климате машины живут лет по сто. А люди — это уж как получится, зато воспроизводятся они с неутомимостью и непринужденностью греческих богов. Он в жизни не видел столько детей сразу, даже в его классе их, казалось, было меньше. Или они были потише и одновременно порезче, по-севернее, по сравнению с этими — будто и не совсем дети. У мистера Робсона — а он ненамного старше матери — их четверо, и еще трое внуков. И он очень жалеет, что они с Любачей — так здесь называют его мать — не завели еще парочку сразу, как поженились. Сейчас уже поздновато, конечно, — подмигнул он ему, — хотя... Мистер Робсон — крупный подвижный креол с выраженной негритянской кровью: мягкое блестящее лицо, лысеющая башка, короткие седоватые усы, довольная смешливая улыбка, — понравился ему сразу. Что-то ты долго до нас добирался, — сказал он ему в пустынном зале прибытия небольшого аэропорта на этом их кошачье-лягушачьем английском, который ему так трудно было понимать поначалу. И густо расхохотался тому, какую шутку сделал. Даже если бы Даниэль постарался найти в себе какую-то застарелую сыновнюю ревность к этому

непосредственному, как деревенская свадьба, простаку, она бы, вероятно, растаяла от одного вида того, как он приобнимает пухлой лапищей его мать, склоняясь ухом к ее лицу — мистер Робсон глуховат, такое часто случается с немолодыми музыкантами-ударниками. Впрочем, ревность эта пропала еще раньше — вместе со многими чувствами, терзавшими его в прошлой жизни. Если бы он по давней привычке задумался об этом, то поразился бы этой бесследности, но и сама эта привычка тоже пропала. Сейчас он просто сидел на серебристой от времени бревенчатой скамье напротив входа в хижину, где вся округа отплясывала по случаю юбилея бывшей скрипачки из ансамбля мистера Робсона и ее отъезда в кругосветное путешествие. Миз Ида ЛеБлан, 65, собиралась в последний раз прокатиться по миру, повидать бывших и завести новых — по собственному выражению. Когда их представили, он машинально поприветствовал ее на полуродном галльском наречии, видимо, среагировав на фамилию; миз Ида звонко рассмеялась и сказала, что не ожидала, что русский сын Любачи — такой симпатичный креольчик. У моей свекрови были французские корни, — объяснила мать, по давней привычке немного стесняясь (перед ним? Не перед ними же?); он про себя вяло возразил — почему же были, бабушка жива и здоровствует, но вслух ничего не сказал — их застарелому непониманию здесь, казалось, уже не было места.

В светлом проеме показался резкий женский силуэт. Она двигалась, немного раскачиваясь — то ли в ритме недавнего танца, то ли в ритме выпитого. Стройные мускулистые ноги переступали с грацией и норовом породистой лошади, коротенькое свободное платье ничего не скрывало, но и не демонстрировало с каким-то античным целомудренным бесстыдством. Приблизившись, она улыбнулась в знак приветствия — он тоже улыбнулся, что здесь должно было означать, что он ничего не имеет против компании, она присела

на скамью на дружеско-светской дистанции и протянула ему смуглую ладонь с длинными и неженски узловатыми пальцами.

— Гвен.

— Даниэль, — пожал ее пальцы, слегка привстав. — Nice to meet you. Very pleasant party, don't you think?

Она кивнула, сдув челку со вспотевшего лба.

— Твой английский не так хорош, как французский. По словам моей матери, у тебя хороший французский.

Ее английский был как раз хорош, не как здесь у всех, а настоящее received pronunciation. Он сообщил ей об этом, слегка замявшись. Я слышу, хоть и говорю не очень, — заверил. На этом светской беседе следовало бы и увянуть, но Гвен неожиданно добавила:

— С одесского кичмана бежали два уркана.

— Что?

Будь он в более восприимчивой фазе, мог бы свалиться со скамьи, но так просто решил, что ослышался.

— Товариш товариш, болят мои раны, болят мои раны убоке. Wtf, don't remember what fucking else. У меня был бойфренд в Нью-Йорке, африканец, который пел русские песни. Долбаный укурок. Кстати, не хочешь дунуть?..

Так он узнал, что ей нравится русский язык и стремные парни.

Паром из Ростoka пришел в Петербург утром четверга. Аккуратные веселые немцы и прочие германцы ссыпались в город, чтобы стремительно раствориться среди памятников и остальных туристов. Город переживал гостевой бум; наряду с белыми ночами активно разрабатывались тренды «поэтическая осень» и «ленинградская зима». Некоторые находили особое очарование в прогулках по Летнему саду среди фанерных коробок. Он уже слабо понимал, зачем было после Франкфурта тащиться через пол-Германии —

чтобы посмотреть пару витражей, по которым во время оно сдавал зачеты Грюнбергу, встретиться с Витасом, который вполне мог приехать и куда-то еще, весь вечер выслушивать его причитания: трудно, трудно в нашем возрасте встретить адекватного человека, все уже в своих коробочках, как раки-отшельники... Можно, конечно, завести себе араба или африканца, но с ними никогда не знаешь, чего ждать — то ли замкнет у него что-нибудь в голове, и он тебя зарежет после веселой ебли, то ли бомбу на кухне сделает, то ли обнесет апартамент; а ты неплохо восстановился, молодец. Витька, какой возраст, тебе тридцать один; мне тридцать два, это тебе тридцать один... А я, знаешь, уже немного скучаю по Рашке, с нашими я вот так спокойно не могу говорить, у них же через одного или чаще встроено это толерантное политбюро. Правда, в Рашке таких, как я, говорят, уже на улицах режут, так что пусть уж лучше политбюро. А как ты думаешь, скоро там у вас... то есть теперь — у них, ты же тоже свинтил, хе-хе, кто бы мог о тебе такое подумать, рванет все наконец и посыплется?.. Удивительная... территория; казалось бы — в год, когда ты уехал, все дошло уже до форменного, без шансов, пиздеца; ан вот как-то еще барахтаются. Под подобное сопровождение накидаться можно только в дым и без особой радости, затем еще найти в себе силы отправить Витаса в Копенгаген, куда он решил перебраться из Амстера, а самому оказаться на пьяном корабле — и продолжить, чего уж теперь-то. С его привычкой пить мрачно и помногу город, знакомый до слез, открылся для него и впрямь с припухшими железами, цепное железо на стояках набережной тоже казалось сырым и набрякшим, цепи лениво колебались, а может, это просто плыло в глазах. С небольшой сумкой через плечо он миновал таможенный контроль и оказался на Васильевском. Ветер с моря и в спину торопил. Заскочив в грохочущий пустой жестяной троллейбус, он доехал до угла Большого и Съездовской... Кадетской. Прошел мимо

Академии тыла и транспорта и свернул на брусчатку. Тепло поразился, что здесь ее до сих пор не расковыряли, даже дорогу не отремонтировали — ноги неприятно подворачивались, попадая в расщелки меж камнями.

В «Бруствере» его обычный столик был занят — обедали офицеры из той самой Академии. Впрочем, уже заканчивали — один перед уходом подошел к барменше и попросил нацедить в пластиковую бутылку дешевого пива. Темного и сладковатого, местного. Ожидая, пока вояки уйдут, он тоже взял кружку. Дунул в пену, отхлебнул и ощутил, как легче поплыли мысли в отяжелевшей после паромного пьянства голове, будто пиво было маслом, которое впрыснули в зачихавший мотор. Устроившись наконец на привычном месте у окна в углу, расчехлился — скинул куртку и прожужжал молнией плотного шерстяного кардигана. Оперся локтями о стол, сквозь прищуренные веки обвел доступную взгляду часть темного зала. Схватил обрывок студенческого разговора — посередь дня ребяшня с истфака, так же как и он, разговлялась пивом. Изнутри поднялась сладкая зевота, будто вернулся домой с холода и вот-вот предстоит откинуть голову на диванный валик и вытянуть ноги. От этого чувства почему-то было тепло и больно, и немножко жалко себя, поэтому он заказал еще кружку, закурил и, вынув из сумки ноутбук, стал прикидывать график на эту поездку.

Редакция журнала «Прочитать» находилась где-то на полпути от Сенной в Коломну. Нужно было пройти в обычную грязноватую парадку и спуститься по щербатым ступенькам в полуподвальную квартиру. Помещение завалено книжками, распечатками рукописей, среди которых, как трудолюбивые мышки, шуршала редколлегия. Завтра начинался Невский книжный фестиваль, потому рабочий процесс шел интенсивно. Дверь была приоткрыта, во дворе стояла машина. В машину таскали пачки журналов и разную

наглядную агитацию, призванную заново обучить жителей культурно-криминальной столицы читать, а по максимуму — еще немножко думать и понимать, что такое аллегория или там «глубина текста».

— Хей, Андреич! — обрадовался из комнаты высокий светленький Николай. — Проходи.

Вадим, изгибая туловище, ловко проскочил по коридору, заставленному стендами, тюками и готовыми обрушиться коробками, а то и просто стопками книг. Коля утрамбовывал свежие номера в пачку.

— Вот, распаковали... — пожаловался он. — Зачем-то. Думали, разберут. Теперь обратно приходится. Может, попрыгать?

— Давай помогу.

Терешонок скинул куртку, и вдвоем они привели печатную продукцию к покорности. Теперь — в машину, — распорядился Николай. А вот ты как думаешь, то, что мы столица культуры и бандитизма — это как-то связано? Ну, по контрасту... Или ведь культура тоже по определению маргинальна... — Коля мечтательно закурил, готовясь к наслаждению интеллектуальной беседы. Вадим взял тюк с журналами и потащил в машину. Об этом писали уже, — отозвался он. — Ги Дебора почитай. Жаль, — огорчился Николай, прикидывая оставшийся фронт работ.

Терешонок вернулся и прилип к кипе новых книжек.

— Вот эта забавная, — Коля прицелился сигаретой. — Тебе должно быть близко. Девушка какая-то, байкерша... Проехала на мотоцикле от Москвы до Владика и написала. Как там менты на трассе Чита—Иркутск смотрят на тех, кто с запада на восток едет: прощайте, ненормальные... смешно.

Коля утопил подбородок в горловину свитера и тихонько засмеялся.

— А наши лохи богатенькие — Непал, Камбоджа, экстремальный туризм... Алтай, Иссык-Куль, Приамурье — вот куда

надо ехать! Там у каждого мужика дробовик и лайки злющие, куда там Серджио Леоне!

— А это что? — Вадим вынул из-под низа стопки аккумулятивный свеженький томик, в целлофане еще.

— А, триллер какой-то, про Россию. Эмигрантский, манхэттенской выделки. Сочинитель пугает, как у нас тут жить страшно... Как страшно жить, — нараспев произнес Коля с интонациями Ренаты Литвиновой. — Напугал ежа голой жопой!..

— Я возьму?

— Бери, конечно. Рецку для нас напишешь... тысяч пять, о'кей? Не церемонься!

Днем город был суетлив и умеренно неряшлив — как человек, не успевающий по важному делу, не замечает обтерханного пиджака и капель слякоти на верхней одежде. К вечеру начинались странности. Откуда-то появлялись люди с блуждающим взглядом, лихорадочно веселые или, напротив, с мучительной гримасой мятых физиономий; еще вернее будет сказать, что это новое выражение попросту проступало на лицах горожан с приходом темноты. После долгого и показавшегося вполне бессмысленным визита в издательство Батманов прошел по проспекту мимо полусгоревшего в прошлом году собора. С ровно усеченным главным куполом и торчащими вокруг башенками уцелевших малых Троицкий напоминал провалившийся пень, по краям обсаженный мощными плодовыми телами гигантских опят. Мимо прогрохотал трамвай; он и не думал успевать, но вагон остановился прямо напротив. Ровным шагом преодолев улицу перед носами гневно сигнализирующих машин, он поднялся в трамвай и доехал до метро. В переходе узловой станции гул и толчея; Батманов поймал тяжелый, без выражения, взгляд черноволосой женщины с приколотой на грудь табличкой: дипломы, аттестаты, регистрация,

и чуть не наступил на бодро ползущего под ногами омовца с эсвэдэшкой. Чуть дальше пассажиропоток пересекал розовый заяц с огненными глазами и маленькая деловитая черепаха. Продавец игрушек стоял у стены и с пультом в руках направлял подопечных по максимально безопасным траекториям. Люди перешагивали омовца, зайцев и черепах, не замечая их присутствия. Игрушки ползли и ползли — омовец стрекотал по невидимой мишени, заяц издавал мелодичный писк. Чуть дальше толпа обтекала капсулу пустого пространства: на мраморной скамье сидел мужик и что-то хрипел в гобой; под едва различимую, всхлипывающую мелодию посреди подземного зала кружилась в танце немолодая женщина. У ног музыканта стояла пустая сумка; пока Батманов вместе со всеми огибал странную парочку, никто не кинул туда денег. Одновременно к обеим платформам подошли поезда; он втиснулся в вагон. Ехать нужно было всего пару остановок; уже на следующей от дальнего конца вагона раздался надтреснутый девичий голос. Одноногая продавщица в крепко повязанном платке тянула: православные календари... всех святых... поминовения, родительские субботы. И под конец, с каким-то благоговейным трепетом, надеждой и недоверием к чуду добавляла: на десять лет вперед... На целых десять лет! Что-то было в этой интонации такое, что не то чтобы впечатлительный Батманов почувствовал, как замерло внутри, будто он со сходной оторопью окидывал взглядом открывшееся состояние: целых десять лет. А девушка с православным календарем то ли смешалась, то ли сама испугалась чего-то, но через вагон она не пошла, а, постояв с полминуты, повернулась на костылях к той же двери, через которую появилась. Батманов встал, и, нащупывая в кармане двадцать рублей за календарь, а вернее было бы сказать — за нечаянный момент откровения чувств, заторопился следом за ней на выход — благо, это была и его остановка тоже. Что было

поразительно — он не один оказался такой; со всего вагона люди шли именно в эту, последнюю дверь; остальных будто не существовало. Всем очень хотелось этих десяти точных лет; будто не календарь предлагала одноногая девчушка в платке, но детальную карту маршрута, по которой верно пройти и нигде не заплутать, не споткнуться.

Выходившие оттерли его от подземной коробейницы, и он на уставших своих ногах не успел, — видел только, как девушка на костылях перекинула хрупкое тельце через зазор меж поездом и платформой в двери следующего вагона. Створки сошлись, и электричка ушла. Образовавшаяся было маленькая толпа быстро рассеялась.

Он вышел из метро на станции «Автово». Час пик подходил к концу, толпа редела, стремительно сгущалась мокрая темень, но виадук над путями и полотно дороги перед ним все еще тяжело вибрировали под тяжестью транспортного потока. Он полминутки следил взбирающуюся на гребень моста струю машин, как будто огромное пресмыкающееся перевалило виадук и следом втягивало бесконечный железный хвост. Потом вытащил телефон, набрал Альку, и, не дожидаясь ответа, заспешил на трамвай.

— Ну ты как, у меня пока? — Смирнова задумчиво макала в чашку чайный пакетик.

— Угу, — Вадим вытряхивал сумку на диван, оттуда сыпались в беспорядке журналы, блокноты, книжки. — Пока книжный фестиваль... Я аккредитовался, потусуюсь там... Может, издателя найду для наших «Дорог Северо-Запада». Ты как?

— Хорошо. Я рада.

Алька неслышно оказалась рядом, за спиной, обняла за плечи и ткнулась носом в плечо. Его волосы даже в городе пахли листвой и дымом. Андреич смущенно поежился от неожиданной ласки, обернулся, притянул ее к себе.

— В середине месяца сметаюсь в лес ненадолго, нужно старый дом к зиме прибрать, а недострой наш законсервировать. Если, конечно, ты все же не передумала...

В его голосе появилось напряжение. Аля мягко отстранилась.

— Слушай, ну у меня дипломный год. У меня выставки. Мы же сто раз это обсуждали. И надо уже что-то подыскивать... Комнатку в центре или квартиру на окраине.

— Думаешь, потянем?

— А что ж. Работать придется побольше, — улыбнулась она.

— Знаешь, я и так за все хватаюсь и в долги уже влез, все ради того, чтоб дом нам построить.

— Ничего, у меня неплохо вроде пошло сейчас с продажами. Завтра еще встречу с одним знакомым по интернету...

— Каким еще знакомым?

— Человек один из Москвы, довольно известный... обещал меня с заказчиками хорошими свести, а может, и с кем-то из галеристов. Ты же знаешь, как это делается.

— Да я уж знаю! — взвился Терешонок. — Через одно место обычно.

— Я в ванную, — ровно сказала она, будто не слыша последнего. Вадим попытался удержать ее за руку. Она высвободилась и потянулась к груде подрывной литературы на диване. Сверху лежала папка с распечатками.

— А, да! Как раз хотел показать. Материалы нашей экспедиции. Той еще, два года назад...

Алька равнодушно отодвинула папку в сторону и вытащила из-под нее томик агрессивной расцветки.

— В редакции взял. Триллер, говорят, какой-то... — сбивчиво объяснял он, уже жалея о своей горячности. Аля вертела в руках книжку, пальцы скользили по целлофану, она подцепила ногтем и содрала пленку. Вкусно пахло свежей типографской краской. На обложке был изображен пистолет

в натуральную величину, он выглядывал из мутного фона, будто со дна коробки.

— Макаров какой-то... — пробормотал Вадим. — Не знаю такого.

— «Макаров» — это пистолет, — четко и как-то отстраненно произнесла Смирнова. — Это пистолет и название.

Она будто машинально отчеркнула ногтем фамилию строчным шрифтом в нижнем углу.

— ...Даниил Батманов... — прочел Вадим.

Он вышел из метро на станции «Чернышевская». Народу все еще было навалом; Петербург вошел в моду пару лет назад, с тех пор в центре было не протолкнуться — в любой день и практически во всякое время суток кто спешил на работу, кто развлекаться, отличие от Москвы состояло в том, что финнов, голландцев, китайцев, пакистанцев и прочих настоящих форенеров в городской толпе в центре было поболее, чем кавказцев или молдаван. Он огляделся в поисках цветочного ларька, но все палатки от метро убрали; Батманов зафиксировал в память это новое положение дел и зашагал к Фонтанке.

Нью-Йорк он уже помнил лучше, чем Питер, потому в задумчивости забрал к Таврическому. Здесь теперь была пешеходная зона; стояли лавочки и так называемая городская скульптура — бронзовые чистильщики сапог, городской, коробейник с лотком на плече. Бронзовые люди были задумчивы и улыбались с пониманием. Батманов поймал себя на том, что ищет образ Светлейшего под ручку, например, с Екатериной — самое место было бы князю этого уютного мирка в подобной компании. Свеженькая плитка дорожного покрытия захрустела за спиной, знакомо зазвенело железо, и с ним поравнялся рослый молодец в кивере и усах на тяжелой задумчивой коняге.

— Are you lost in town? — ласково осведомился военный. — Tavrichesky palace... Prince Potemkin, — молодец

взмахом нагайки представил князя. Григорий Александрович находился чуть дальше; с солидного пузатого постамента принимал парад своей бронзовой гвардии. Батманов понял, что его приняли за иностранца.

— Все в порядке... — он поискал знаки различия, но с земли было не видно.

— Старший сержант гвардейской дружины Поздняков, — буркнул с высоты молодец, видимо, досадуя за оплошность. — Давно в Петербурге? — он все-таки не хотел сдаваться.

Батманов с понимающим смешком достал паспорт и протянул документы бывшему однополчанину.

— Где собираетесь остановиться? Сколько дней пробудете? — сержант Поздняков вертел вложенный в паспорт билет из Ростка, выглядывая дату, — Сегодня уже поздно, но завтра с утра — на регистрацию по месту...

— Прописку посмотри, — наконец разозлился Батманов. Сержант, пыхтя, пролистал паспорт.

— А в Германии по какому делу?

Уперся взглядом с высоты лошади, будто ждал, что Данька в ответ расплывется по плитке променада.

— Пиво пил, — ровно произнес Батманов и с набегающей тоскливостью посмотрел дальше по улице.

— Пиво? — оживился дружинник. — А вот это мы сейчас и проверим. Выхлоп от тебя качественный, коняга аж мордой вертит. — Ловко цапанул нагайку к седлу и достал рацию.

— ...Быть этого не может, — тихо упрямылся Вадик, пока Алька, утопнув в кресле и от этого сделавшись маленькой и особенно нежной, листала книжку про пистолет.

— Ну а почему на самом деле нет? — она поднимала на него посветлевшие глаза. — Хотя знаешь, мне тоже кажется, что я того... ну, с катушек потихоньку.

Она счастливо засмеялась.

Сержант Поздняков дождался двух серых братьев, издевательски козырнул и передал Даньку наряду. Батманов проводил его сумрачным взглядом, рисуя в уме зверские картины того, как бы он поглумился над сержантом в бытность лейтехой у этих клоунов. Что-то помешало ему открыть перед Поздняковым завесу истории, хотя на язык сама просилась скользкая развязная интонация — да ты че, мол, земля... Земля, бля, — они сошли с новенькой брусчатки, и Данька едва удержался сплюнуть, что в его случае выглядело бы сниженным парафразом поцелуя в бетонную полосу аэродрома.

Он был тихо, опущено зол на себя за потерю бдительности и пренебрежение элементарной защитной мимикрией — тоже мне, Чайльд Гарольд выискался; маленьким наполеоном прогуливайся среди дурацких истуканов где-нибудь в Гринвич-Виллэдж, а здесь будь добр и предусмотрителен — играешься в байроническую задумчивость — отвечай коротко и желательно по-английски. Или по-французски можно было бы ответить; зуб даю, этот полиглот верхами ничего бы не понял, не зашло еще так далеко милицанерское просвещение.

По пути в участок постовые время от времени пытались поддержать медлительного клиента под руки; когда Данька вежливо возразил, что он совершенно не, безусый местоблюститель ласково ткнул его демократизатором в бок: шагай, приятель. Сейчас разберемся, кто совершенно, а кто чуть. Батманов бесшумно пропустил меж зубов французское ругательство. Что ты там свиристишь? — засмеялся старший. Ты по-нашему давай, не придуривайся. Ну? Ты же умеешь. Фиг вам, — позабавился немудреной разводке Батманов. Чувство Родины стремительно возвращалось.

Ночь напролет Алька читала триллер про приключения табельного оружия; подзаголовок был — «Тринадцать новостей о насилии». Явно маркетинговый — заключил бы на

ее месте Терешонок, ей же он показался лишь слегка претенциозным. Пожалуй, единственное, что роднило эти новеллы с ее Батмановым, — отправная точка; потерянный милиционером пистолет отправлялся в свое жуткое путешествие по недавней эпохе первоначального накопления капитала. Истории были выполнены с драматургическим изяществом и таким отстраненным мрачным юмором, будто сочинивший их находился от своего материала на много лет и парсек вперед и вбок, где-то в соседнем рукаве галактики; так что отпечаток личности автора истаял где-то по дороге. Это озадачивало, если не сказать больше. Закончив, она посидела немножко над перевернутой последней страницей, поднялась и полезла в стенной шкаф, где были сложены старые рисунки. Вадим лежал на диване, отвернувшись от включенного ночника, и казался спящим. Она вздрогнула, когда услышала хрипловатый голос за спиной.

— Хочешь напомнить себе, как он выглядит? — поинтересовался Андреич. Щелкнула зажигалка; густой вздох — выпустил дым. Аля обернулась. Вадим разглядывал ее, будто только сейчас заметил нечто своеобразное — заячью губу или крупную бородавку на подбородке. Ни заячьей губы, ни бородавок на Алье не появилось — наоборот, она вся золотисто светилась в мутном полночном сумраке, будто квакша, которую застигли за превращением в царевну.

— Знаешь, я никогда не думал, что так... повернется. Я вначале был сильно впечатлен твоей историей, но потом проанализировал... Видишь ли, я историк, мне свойственно сопоставлять источники. Проанализировал, на чем основывается весь этот национального колорита триллер, который ты тут, — он подбросил распечатку почему-то собственной краеведческой рукописи, оказывается, лежавшую рядом, на ночном столике, — развернула. — Алька так зачиталась, что не заметила, как он на сон грядущий ворошил ту же сказку с другой стороны.

— А основывается он, — Вадим снова сочно выдохнул дым, — на догадках, пьяных недомолвках отставного бандита и девичьей пубертатной истерике. Я даже был склонен думать, что ты от начала до конца нафантазировала этого своего Ворона... кстати, а с чего вдруг Батманов?

Алька только усмехнулась, убрала рисунки обратно в шкаф и тихо переместилась обратно в кресло.

— Если его нет, какая тебе разница? — весело спросила она.

— Да нет, есть! — вполголоса взвился Вадик — мама уже начинала шуршать за стенкой. — Вот, круглый стол с его участием завтра на фестивале... на тему современной социальной сатиры, — он кивнул на программку, лежавшую на столе рядом с романом «Макаров». Алка тут же слизнула ее со стола ладошкой. Не обращая внимания на Вадима, погрузилась в изучение расписания. Он некоторое время наблюдал ее внимательно склоненную голову, потом потушил сигарету и жалко-сдавленным, как через силу, голосом произнес:

— Хочешь, пойдём? Хоть посмотрю на этого твоего... Мересьева.

Алька все не поднимала голову, потом медленно потянулась и прикрыла лоб ладонью.

— Ты так и будешь в кресле спать? — поинтересовался Вадим, ответа не дождался и с тяжелым шорохом отвернулся к стене.

В участке у него еще раз потребовали документы, обыскали и проверили на алкоголь. Дневное пиво даже с учетом вчерашних излишеств на пароме не дало нужных промилле. Дежурный быстро пробил по базе — Батманов аж умилился, как далеко продвинулось техническое обеспечение родной милиции, отмечая попутно, как пополз по спине холодок. Впрочем, отделение было центровое, так что... вполне может выскочить — в розыске по подозрению.

— Так ты в этой самой Дружине служил? — поразился дежурный. — А че он прикопался к тебе? Вы что, общий язык не смогли найти?

— Да нет, — устало в десятый раз принялся объяснять Батманов; холодок осел в желудке, аж затошнило, — лучше б и не искали. Он меня за иностранца принял. Ну и расстроился, видимо... что я не оправдал ожиданий.

Лейтенант со смешком вернул ему документы.

— Ладно. Заяву можешь на него написать, — подумав, немного напряженно добавил он. — Имеешь право.

Батманов кивнул и поддержал спектакль:

— Да не, на кой.

Дежурный обмяк и улыбнулся:

— Ну, тогда, как это... не смею задерживать.

Еще б ты посмел, — Данька зубасто усмехнулся в ответ. Бодрился.

— Э, а как ты в свой Петергоф добираться-то будешь? — дежурный нашел реакцию клиента чуть слишком уверенной. — А то смотри, можем обеспечить ночлегом.

— На такси, — буркнул Батманов, подобрал на плечо сумку и пошел к дверям.

Ни в какой Петергоф он, конечно, не собирался; петергофская квартира сдавалась, и до злосчастной прогулки по потемкинскому бульварчику он направлялся к бабушке на Фонтанку, даже цветы вот хотел купить. Теперь какие цветы...

Окна в утренних сумерках были темны, Екатерина Игоревна уже спала; открыл дверь ключом, предусмотрительно подsunутым под коврик, наощупь пробрался в гостиную, лег на кушетке, не раздеваясь, и вырубился до обеда.

В павильоне ЛЕНЭКСПО было светло и пока пустынно; первый день фестиваля выдался солнечным и рабочим, представители издательств подремывали на стендах, вокруг

прогуливались благообразные пенсионеры и мамы с дошкольниками. Зал заседаний располагался на отшибе, со стола для участников светились бутылочки с газировкой, девушка-секретарша раздавала пустующим стульям пресс-релизы. Вадим с Алькой сунулись было внутрь, получили по стопке бумажек. Терешонок поздоровался с веселым старичком, деловито обживавшим председательское место, наклонился к Алькиному уху, но не шепнул ничего, а потянул за рукав на выход.

— Ты куда?

Вадим сморщил нос, будто собирался чихнуть, и замахал рукой.

— Пошли в бар.

В кафе взял два коньяка и яблочный сок. Алька недоуменно наблюдала — Терешонок выглядел так, будто это он просидел ночь в кресле. Лицо зачерствело, вечный его пылкий румянец перелился в горячую смуглоту, брови сдвинуты, как в судороге, эспаньолка растрепана... и в то же время каким он кажется пацаном. Вадя... — тихо позвала она. Что, не будешь? — не глядя, откликнулся он. — Ну, а я приму.

Аля покачала головой, взяла рюмку и медленно выпила одним глотком. Вадим с недоверием следил, потом усмехнулся.

— Ну что, еще... по одной? И хва, а то явемся к твоему пред светлые очи... хорошенькими, — он засмеялся.

Когда они вернулись в зал заседаний, все стулья были заняты, и даже за ними образовалось маленькое столпотворение. Правда, как ехидно отметил про себя Вадим, подобным аншлагом в три часа пополудни мероприятие было обязано вовсе не таинственной Алькиной музе, а столичному медиа-разоблачителю, что ленивым барским тенорком заливал расплавленный свинец сатирической мысли в уши благодарной аудитории. Как говорили, вечера оный разоблачитель пред-

почитал проводить в более приятных, нежели книжные ярмарки, местах; именно поэтому круглый стол с его участием назначили на такое непубличное время. Кстати, крайнее место с карточкой Батманова до сих пор пустовало, так же как и место рядом, с именем некоего Максима Карабеева. Вадим быстро глянул на Альку — схватить реакцию, но Смирнова слушала, старательно вытянув шею, и только общее отстраненно-грустное выражение говорило о том, что нечто подобное она, конечно, подозревала; иначе и быть не могло. Вадим успокоился.

Звезда наконец замолкла и присосалась к водичке; председатель удовлетворенно обвел публику ласковым взглядом и предложил задавать вопросы. Батманов так и не появился, и Вадик тихо толкнул Альку под локоток, предлагая выбираться наружу. Он уже полуобернулся, когда почти физически ощутил на себе чей-то взгляд. Прямо за ними стоял суховатый широкоплечий мужчина, похожий на иностранца; только вот иностранцы никогда не смотрят так... конкретно. Мужик, кстати, смотрел не на него, а на Альку; и хотя глаза сохраняли пристальное, даже прицельное выражение, лицо выглядело скорее смятым, как в некой неопределенности эмоций; они наплывали, как тени от пробегающих облаков — растерянность, недоверие, смущение, а то вдруг просветлеет и тогда...

— Привет, — одними губами произнес тот, и Вадик понял, что Алька обернулась.

Она не ответила; Вадим только понял, что остановилась, застыла, понял по тому, как их начали обтекать люди — вопросы закончились, и публика расходилась. Вокруг них образовался маленький водоворот, и тогда мужчина сделал было движение; такое же, как Вадим, будто чтобы за локоть потянуть Альку к выходу, но, не закончив его, опустил руку и кивнул:

— Давайте-ка выбираться...

Голос у него был мягкой, но будто обманчивой глубиной; как прозрачная вода — подумал Вадим; собираешься по грудь, а ухнешь по самую маковку.

...Рядом с Алевтиной стоял красивый русоволосый парень, в модной небритости и толстом свитере похожий на молодого геолога постиндустриальной эры. Или на покорителя дальних миров из солнечной социалистической фантастики; про себя он обозвал его Дар Ветром. Алевтина с потешной внимательностью слушала разглагольствования популярного телегероя; выглядела она для богемной девушки, художницы удивительно свежо — не только в смысле молодости, но и какой-то пленительной неискренности. Она стояла практически прямо перед ним, иногда слегка склоняя голову на реплики своего Дар Ветра — и тогда от ее волос доносился теплый запах; а он все ждал, когда им надоест, и попутно приводил мысли в порядок после выпитого вчера.

Они с остатками толпы просачивались по коридору; высокий мужчина ткнулся в незаметную белую дверь.

— Ты куришь? — спросил он у Вадима.

— Да, — кивнул Дар Ветер. — Но здесь нигде...

— Что-то мне подсказывает... — повернул ручку; дверь вела на лестницу черного хода. На площадке у высокой урны уже скопилось изрядное количество рабов никотина. Они присоединились; мужчина полез за сигаретами, Вадим закурил первым и теперь машинально поигрывал зажигалкой. Тот зажег сигарету, прикрывая огонь ладонью, как от ветра; помотал головой, распространяя из ноздрей дым. Алька стояла бледная, будто ее сейчас стошнит. Мужчина снова дернулся, повел подбородком в сторону двери, будто хотел предложить ей подождать в коридоре, но что-то такое было обозначено для него в глазах у Смирновой, что он отвернулся, и некоторое время они с Вадимом просто дымили — молча и сообща.

— А что же вы... манкировали? — наконец произнес Дар Ветер. Тот пожал плечами и словно слегка обмяк на долгожданную реплику.

— Они вроде и без меня прекрасно справились... ты не находишь? — Снова наткнулся на внимательный взгляд Алевтины. — Проспал.

Он казался выше и как-то... резче в силуэте, чем на экране. Он, кажется, был смугловат от природы, но сейчас лицо смотрелось будто обугленным многолетним, постоянно обновляющимся загаром. От этого и глаза казались светлее; а может, еще из-за четких очков в невесомой оправе, посверкивавших на темной угловатой физиономии каким-то хирургическим блеском.

— Вчера я прибыл в город, — поразился он, в который раз замирая взглядом, который будто не достигал Алькиного лица, а зависал где-то в пространстве поблизости. Ухо резанула неловкая прямая конструкция. — И вот ничего себе... — недоверчиво покачал головой. Длинный столбик пепла с его сигареты свалился на пол. Спыхватился и зашаркал ногой, замечая следы оплошности. — И вы оба... литературой интересуетесь? Или политикой?

У Вадима нарастало ощущение какой-то нелепости. Остальные курильщики, как нарочно, переместились на пролет ниже; их троица стояла в жесткой сцепке равнобедренного треугольника; биссектриса — это крыса; биссектрисы взглядов рассекали пространство между, бежали по углам. Делили пополам — то одного, то другого, другую.

— А вот мы тоже... книжку сочинили. Историческое краеведение, в соавторстве. Я писал, Алевтина вдохновляла. Думаем, как издать. Не расскажете, как это происходит?

Алька дернулась, будто у нее рванули зуб, и в первый раз за время разговора посмотрела на Дар Ветра. Вспыхнула и качнулась назад.

Мужчина внимательно наблюдал, скользя потяжелевшим взглядом.

— Как происходит? — наконец небрежно, но будто позвякивающим голосом произнес он. — Ты знаешь, это как анальный секс. Сначала ты разгуливаешь по книжному супермаркету, смотришь на полки со всеми этими обложками и названиями — и думаешь: oh, no... never ever. С моей книжкой все будет совершенно по-другому. Ну, а далее... Одним пальцем — надо бы чуть-чуть доработать, потом двумя — и название поменять неплохо... И побольше лубриканта... — закашлялся, — красочная обложка... Невъебенная аннотация. Аванс. Потиражные. Не примете ли участие в нашей телепередаче? Круглом столе? — он явно кого-то передразнил. — Ну и все. Ты принят, welcome... Можно начинать получать удовольствие, — он как-то нерешительно вскинул глаза на Смирнову, но снова не довел взгляд; кто-то окликнул с нижней площадки. — Oh, pardon, — произнес в нос, ткнул в урну окурков и, не оборачиваясь, пошел вниз по лестнице.

Алька смотрела под ноги. Вадим покачался с пятки на носок, приоткрыл дверь и спросил:

— Идем?

Они выскользнули в коридор, Алька аккуратно прикрыла за собой дверь.

Он нагнал их на выходе в главный павильон, уже с сумкой через плечо. Вынул из внутреннего кармана блокнот и паркер, дернул листок и протянул Терешонку.

— Присылай книжку почитать... Если я вас не очень. Ну, или через Алевтину свяжемся.

Широкая американская улыбка.

Его снова окликнули; а может, Альке показалось. Рукав пиджака с электрическим стрекотом коснулся ее локтя, и Карабеев исчез в потоке посетителей, который уже образовался к вечеру.

Проснувшись ярким полднем, он прошлепал на кухню, налил себе воды из чайника; отхлебнул, прополоскал рот, сплюнул в раковину, мучая себя последними мгновениями сушняка, затем залпом выпил всю чашку. И только тогда озадачился отсутствием Екатерины Игоревны. В отличие от него, бабушка была ранней пташкой. На столе стоял завтрак для них обоих — остывший кофе для Екатерины Игоревны, чайник чая для него, гренки, сыр, варенье. Вышла в магазин, на почту? Данька пошарил в куртке, набрал ее номер. Ответила не сразу.

— Дань, я здесь. Зайди ко мне, нужно... немного помочь.

Влетел в гостиную, застекленная незамысловатым витражом дверь спальни хлопнула, задребезжав. В открывающийся проем увидел фигуру, сложившуюся у кровати: при падении Екатерина Игоревна полуоперлась о нее корпусом и лишь поэтому не захлебнулась произвольной рвотой. Бабушка была одета и даже подкрашена, лишь воротничок платья слегка загрязнен. Глаза живые.

— Принеси мне воды и салфеток почиститься... и вызови... а, ты уже. Нет, нет, трогать меня не надо, — Екатерина Игоревна вяло отбивалась от Даниила Андреевича с зажатым, плечом к уху, мобильником, который на руках поднял ее в кровать. — Впрочем, так тоже неплохо.

Речь нарушена, но не сильно, — убеждая себя и попутно сообщая в скорую, лет полных восемьдесят шесть, скорее всего, инсульт... Да не подозрение, вашу мать! Человек упал, рвота, нарушение речи! Дай мне телефон, я сама поговорю. Вот еще. Треснула свежезаклеенная рама. В комнату ворвался чад недалекой, через двор, улицы, а также влажный запах набережной — гранита, тяжелой воды, прелых листьев.

— Ну и вонь, — пожаловалась бабушка. — А ведь был такой приятный район.

Екатерине Игоревне поставили приходящий инсульт. Ни на какую презентацию он в тот день, естественно, не поехал.

...Терешонок на фесте подцепил знакомых, все вместе отравились в узбекскую чайхану на Первой линии. Там, несмотря на обильную закуску, Андреич начал стремительно хмелеть. Глядя на то, как пустеют одна за одной бутылки принесенной с собой водки — вот уже и не говорящий по-русски правоверный официант отправлен в магазин за харамом, Алька думала, что веселье несколько подзатянулось. В этот момент у нее завибрировал мобильный.

— Привет.

— Привет.

— Ты забыла, наверное, но у меня есть твой номер.

— Да нет, почему.

— Что почему?

— Не забыла.

Покашливание.

— Не хочешь встретиться, выпить... ээ...

— Ну, вряд ли кофе.

— Догадливая! Где ты находишься?..

Когда Алька встала и начала пробираться к Вадиму, чтобы чмокнуть в щечку и объяснить свой внезапный отъезд, он первым приподнялся и замахал рукой.

— Внимание, товарищи! Внимание.

Компания слегка притихла.

— Сегодня! Моя любимая женщина... Нашла свое счастье.

Одобрительный гул.

— Но не со мною!

Разочарованный.

— Ее любимый, практически по Проппу или Фрэзеру, был убит и теперь воскрес — словно Озирис, Бальдр или Думузи-рыбак из города Урук... Это все очень странно, учитывая время года и политическую обстановку, но нам остается только поверить.

— Кто этот мудень?

— Вадя, давай ему навалюем!

— Нет! — решительно заявил Вадим. — За ближнего нашего нужно радоваться. Поэтому мы споем Оду к радости, она же гимн Евросоюза. Он же оттуда прибыл, да, Аля? Ну, не суть...

Уходила она под громогласное пение из Бетховена. Мелькнувшая было мысль попробовать что-то ему объяснить разбилась о воспоминание множества подобных ситуаций; в определенном состоянии Андреич, словно токующий глухарь, был способен слышать только самого себя.

А Максим Карабеев, популярный публицист, блогер и правозащитник из Москвы, телеведущий, путешественник и ценитель искусства — в том числе ее батиков, — с которым она познакомилась в интернете несколько месяцев тому назад, ждал ее в ресторане на дебаркадере у Дворцового моста, где одна, — правда, очень большая, — оливка стояла столько же, сколько у узбеков — блюдо дымящейся баранины.

За столом, помимо Макса, присутствовала обещанная боевитая галеристка — изрядно захмелевшая, но не утратившая своеобразного остроумия, и двое мужиков, всем своим видом сообщающих, что у них есть деньги. С одним из них была подружка Алькиных лет.

— Позвольте представить, — галантно приподнялся Карабеев ей навстречу, — Алевтина Смирнова, талантливая молодая художница.

Его очки снова хирургически сверкнули.

— Лика... Дмитрий... Роман. Мы ждем еще... ээ... Дар Ветра? Не ждем?

Кивнул официанту и сделал жест, позволяющий унести лишние приборы.

— Аля, ты не против, мы продолжим разговор? Так вот, я летел сюда из Лондона через Гданьск, там тоже... были дела, и в очередной раз отметил, как расцветают страны Варшав-

ского договора в наше отсутствие. Да, да, следует это признать. Без нас им лучше.

— Да им самим по себе заебись, — резюмировала Лика.

— Вот, совершенно верно. Там отреставрированы старинные дома, там сделан акцент на местной культуре, а у нас, простите, что? Вот, собираются строить это... чудовище. В историческом центре города. И кто их схватит за руку? Ответ — никто.

— Да, с ними из здешних никто не пободается, — весомо заметил Роман, пожевывая зубочистку.

— Конкретно кто-то — нет. Но вместе надо что-то менять. — Максим помолчал и еще раз добавил: — Вместе.

И почему-то на Алевтину посмотрел. И подмигнул неожиданно и вроде бы незаметно для остальных. Его рельефное породистое лицо с ухоженными волосами оттенка графита и легкой тенью вечерней небритости приобрело веселое, какое-то мальчишеское выражение.

— Аля батики делает. В русско-европейском стиле, очень своеобразные. Просто супербатики. Лика, обрати внимание.

— Ну что, двинем дальше? — спросил Дмитрий.

— Двинем, — подтвердила Лика. И Альке: — Батики свои присылай. Только не завтра, у меня самолет. А то в почте потеряется. Ну или Макс пусть придет. Чао.

Они остались с Карабеевым в сверкающем белом зале, напоминающем скорее не ресторан, а какую-то супербольницу. На столе стояла миска огромных оливок, пара ополовиненных графинчиков вина, были раскиданы зубочистки, еще ей несли какое-то неприхотливое блюдо, которое она осмелилась заказать.

— Митболы с рукколой и перепелиным яйцом, отличный выбор, — одобрил Максим. Она съела тефтельки под его веселым, непринужденным взглядом. — Ну что, идем? Я еще рассчитываю на прогулку в твоём обществе.

Они шли по набережной, Макс рассказывал столичные истории. Она поймала себя на том, что они отправились в обратную сторону от чайханы, где Терешонок наверняка все еще пел свою Оду к радости. Впрочем, скорее всего, начались уже казачьи песни. Незаметно дошагали до моста. Скоро должна была начаться разводка — одна из последних в сезоне. Тебе на ту сторону? Мне — да! И они, ускоряясь, пошли на вздымающийся над рекою гребень. Стояли уже автомобильные заграждения, большинство пешеходов также поворачивали обратно, но кто-то и бежал. Послышался свисток гаишника. Максим схватил ее за руку, и они тоже помчались, уклоняясь от людей в форме. Мостовая под ними будто треснула по швам, крыло моста начало отходить в сторону южного берега, впереди зияли метр-полтора провала. Максим обернулся к ней на бегу, она уловила уже знакомое мальчишеское выражение, и в следующий момент он сиганул через открывшуюся внизу тугую бездну реки длинными ногами; а она взметнулась за ним, словно кукла.

На набережной, едва отдышавшись, он принялся шарить по карманам в поисках курева. Алька наблюдала, как длинные пальцы пробегаяют по складкам ткани, и поймала себя на том, что сейчас покраснеет. И чтобы отвлечь себя, спросила — а ты знаешь этого Батманова, с которым вы должны были выступить на круглом столе?

— Да, виделся как-то в Лондоне... Приятный парень. Жена то ли британка, то ли ньюйоркерша, дочка-подросток, очень на него похожа, даже мимикой. Такие граждане мира — шпарят на нескольких языках вперемешку, аж голова кругом идет. Знаешь его? Откуда?

— Думала, что знаю. Но нет, наверное.

— Да и пофиг. Книжка у него говно, кстати, из головы вся... Нет, ты посмотри!

На вздыбившемся крыле моста, откуда они только что соскочили, проступал в лучах подсветки огромный нарисо-

ванный хуй. Он рос постепенно и будто с полным чувством своего значения, он красовался над готовящимся ко сну городом, опоздавшие автомобили сигналили, приветствуя его; еще больше этому зрелищу пошла бы торжественная браурная музыка — какой-нибудь марш или даже что-то из Вагнера. Макс счастливо рассмеялся, изобразив сложную гримасу с шевелением бровей и западением этих резких черточек на щеках, под скулами, и она зачарованно поразила подвижности его лица.

— Молодцы какие! Вот это искусство! У тебя тоже искусство, не ревнуй.

И наклонился к ней, непринужденно клюнув рот в рот.

Его губы были холодными и клейкими, как тополиные почки. Мгновенно оторвавшись, он снова засмеялся и предложил — поехали ко мне?

В больницу Екатерина Игоревна отказалась ехать. Он понимал, поэтому попросту договорился с медсестрой еще и на завтра, а на ночь поставил раскладушку в бабушкиной спальне, под широкими, почти во всю стену, окнами с мелкой старинной расстекловкой. День прошел в атмосфере рассеивающейся, миновавшей на этот раз угрозы; он помог ей почиститься и переодеться в пижамное, притащив из ванной тазик с теплой водой и расставив ширму у кровати, принял от нее испачканную одежду, отнес в стиральную машину — цветное отдельно от белого, верхнее от нижнего. Приготовил легкий обед, они поели в комнате, перебрасываясь фразами, ничего особенного не значащими и одновременно предельно насыщенными. Лишь попивая чай с молоком вместо привычного кофе, Екатерина Игоревна виновато заметила: вот, все планы тебе нарушила... с читателями не встретился. Ничего страшного, — заверил ее он, — по правде говоря, не очень-то и хотелось туда идти, это я тебя не утешаю и тем более не интересничаю. За «Макарова» мне не стыдно, книжка полу-

чилась крепкая, но что-то ушло. Возможно, я просто больше не хочу быть писателем. Екатерина Игоревна помолчала. Не хотела говорить тебе, но раз уж ты сам... в книжке твоей нет непосредственности и как будто даже нет тебя. Подобным образом у меня в какой-то момент случилось с музыкой; то ли после войны, то ли когда Данечку... твоего деда, посадили. Играю, все вроде точно, но ничего не чувствую. Возможно, иные переживания выжигают в нас ребенка, который нужен, чтобы играть; иногда взамен образуются новые точки роста, которые могут дать уже настоящее величие, но, не буду тебя обнадеживать, такое бывает нечасто. Скорее человеку, узнавшему мир, да и себя, с таких сторон, не очень-то хочется делиться подобным. Впрочем, я вижу, что ты и сам себя не обманываешь на этот счет. Ты все еще работаешь в том ресторане? Нет, Ида вернулась из своей дальней Азии в креольское имение, а Гвен предложили место в крутой архитектурной фирме, и мы перебираемся в Нью-Йорк. Гвен хочет, чтобы я продолжал литературу или занялся академической карьерой. Но для этого у меня слишком жалкие достижения в своей области, нужно все начинать заново, скорее всего по другой теме. Например, стать специалистом по России. А это специфическая там роль. Профессиональный русский. Гвен говорит, что нужно грамотно распоряжаться своими ресурсами, один из моих ресурсов — происхождение из этой для них загадочной Гипербореи. Я бы, конечно, с большим удовольствием сидел в зарослях магнолий и возился с Верой, мы еще собаку завели, немецкую овчарку, я Вере показал фильм про Мухтара, и она захотела такого друга... Зовут Плантагенет, у него такая, знаешь, тяжелая бархатная морда, как бывает у немцев, и Вера ездит на нем верхом. Но Гвен права — никто не будет давать тебе деньги, если ты сидишь в лесу и при этом не Сэлинджер... Да и Сэлинджера в моем поколении уже не может случиться, мир изменился. Так что южный лес отменяется. Будем покупать апартамент в Нью-

Йорке или дом в окрестностях, Гвен еще не решила. Я приехал в том числе и для того, чтобы выставить петергофскую квартиру на продажу. Но ты устала, давай-ка спать.

Теперь сквозняк струился над его головой по подоконнику и тихо растворялся в совместном дыхании книг, нот, дерева, старых портьер и двух как никогда родных людей. На противоположной стене висела копия с классического портрета Байрона, но вспоминалась не милая Англия, впрочем, так и не ставшая родной, не Нью-Йоркский космопорт или, тем паче, конфедератская глубинка, и даже не ласковая Эллада с белоснежными колоннами и стремительными мачтами малых парусников, где иногда любила отдыхать Гвен, а вечер четыре года назад, когда его привезли сюда в старой отцовской форме поверх больничной пижамы.

Со справкой из дурдома в кармане.

У автобуса номер 353 кольцевой маршрут: Университет — Заячий Ремиз и обратно. Санитар посадил бабушку на подножку, но они проехали всего одну остановку. Оттуда зашли в лес — старинные охотничьи угодья императорской фамилии, минут десять по высокой насыпной дорожке среди весенней болотины к железке, пересекли и отправились через Английский парк, мимо стихийного кладбища домашних животных — к петергофскому дому. Такое было у него странное желание, и Екатерина Игоревна не стала протестовать. Только посматривала на него и губы подрагивали.

Они поднялись по лестнице; двери висели на одной петле. Квартира была разорена, внутри — пятна огня и сранье по углам. Молодой Батманов — тогда еще с другой фамилией, но это не суть, — облокотился о притолоку, и по его плечу побежал сенокосец, которого считают пауком, но на самом деле он ближе к скорпионам — пример параллельной эволюции, паутину не вьет, а миссия его в том, что приносит поворотные вести. Через неделю ему пришло приглашение от матери в Штаты. Потом они сидели уже в питерской

гостиной за круглым столом, он вертел в руках сделанный через какого-то решалу новый паспорт на прадедовскую фамилию — когда-то она могла помешать, а теперь помогала. Я вот все думал раньше, — сказал тогда он, — вдруг тот мой нынешний полный тезка, дедовский единокровный брат, боковой Даниил Андреевич, как я называл его про себя, не погиб во время кронштадтского мятежа, а и правда ушел по льду в Финляндию? И жил где-нибудь в Париже, водил такси, как Гайто Газданов. Или в Берлине зависал в одно время с Владимиром Владимировичем. Но теперь, после того как мне самому удалось подобный фокус, разве что направлением ошибся, я почему-то точно знаю, что он где-то там, посреди Финского залива, и остался... То есть направляюсь я с этого ледяного щита на ту сторону, а там кто-то по спискам смотрит — ээ, нет, такой у нас уже имеется. Свободен покамест, Батманов Дэ, так сказать, А. Только Вороном больше не прикидывайся. Милый мой фантазер, cher ami, — сказала тогда Екатерина Игоревна, — коньячку налить тебе? Нет уж. Если я сейчас начну, то и не прекращу вовсе.

Потом, правда, все равно начал. Уже в Америке, стране антиподов, метафоре загробного царства. Каждый вечер в саду по полтора литра, удобные у них там батлы есть для таких случаев. Иногда и за вторую принимался, чего уж там. Вскоре чуть не жил в этом саду — у Робсонов там стояла скамейка-качель в зарослях, на отшибе; валялся на ней целыми днями, чтобы добрым людям зря глаза не мозолить. Единственные, кто решался до него докапываться, — робсоновская детвора всех оттенков, от кофейного до крем-брюле: покойная миссис Робсон, та, что до Любачи еще, была типичная черная мама с густым нежным голосом, — подвыпив, тот иногда ставил ее записи, — так что в детях и внуках Робсонов упрочилась негритянская наследственность. Детвору Батманов называл своим маленьким чумазым народом или лимончиками, а те наградили его прозвищем Кэптен Лаш, легко понять, что

юмор с обеих сторон был специфический, *signifying*, как говорят блюзмены — лимончики то плед с него стянут, то ящерицу на пузо бросят, то из садового шланга обольют, а он, чтобы отделаться от них хоть на время, начал придумывать квесты — найти пиратский клад в цветнике или на кухне у Любачи или установить, кто из гостей очередной вечеринки у Робсонов — русский шпион; не я, здесь все и так прозрачно — я просто сильно пьющий ваше вино резидент, скучающий по своим морозам и водке. Взрослые поначалу дивились странным новым забавам, кто-то и возмущался, но постепенно начали сами принимать в них участие; так ему потихоньку пришлось слезть со скамейки, выйти из сумрака и начать хотя бы стричь газон; вскоре он стал своего рода локальной знаменитостью — хромым русский чудака с обьеденными морозом ушами и пальцами, грубиян, алкаш и задавака, любимец детей и домохозяек.

— ...Не жалко тебе квартиру продавать? — Екатерине Игоревне не спалось.

— А что еще делать с нею? Я там не живу, ты тем более не будешь, — немного резко ответил он со своей раскладушки. — К тому же я жене денег должен, она мне лечение оплатила. Не удивляйся, там так принято. Да и у нас — что за мужчина, который... А больше мне взять пока неоткуда. Доходы пока не соответствуют.

Зажегся ночник над бабушкиной кроватью.

— Достань мне коньячку из буфета.

— Тебе нельзя пока.

— Ну, себе налей. Я же слышу, как тебе беспокойно.

— Зачем ты поощряешь мое пьянство? — усмехнулся он. Проковылял в гостиную, где в буфете стоял ее любимый Remy Martin. Разлил, сразу хлопнул. Еще раз. Нарезал яблоко. Принес.

— Дай понюхаю, — Екатерина Игоревна. — Чуть-чуть, на язычок...

— Семья алкоголиков... — покачал головой.

Пригубила. Темные глаза заблестели.

— Очень хотелось бы посмотреть на твою жену, — просто, почти по-деревенски сказала бабушка.

— Я же тебе фотки показывал.

— Это не то. Какая она?

— Она... та, что мне нужна.

— Это замечательно, — с легкой грустью сказала Екатерина Игоревна.

— Курить хочется, — заметил он, — в Штатах бросил, а тут вот... Я выйду ненадолго?

— Разумеется. Я не убегу никуда.

Он спустился, прошел дворами на Пестеля, там у бродского неработающего фонтана и мемориала защитникам полуострова Ханко вчера заметил ночную лавку. На улице было довольнолюдно — кто-то еще ходил смотреть разводящиеся мосты, одно из последних представлений в сезоне. Купил пачку «мальборо» и зажигалку, разорвал целлофан, затаился с видом на старинную красную церковь аннинского барокко. От Преображенского собора как раз прозвонили час пополудни, а вот Пантелеймон молчал. В этом молчании ему почудилось что-то даже осуждающее. Он знал, что не был счастлив в Америке, не был счастлив и с Гвен, но ему было покойно; а требовать большего в его ситуации было бы вопиющей самонадеянностью.

...Гвендолин Лиза Холланд была соседкой его матери. Вернее, ее мать была соседкой его матери. И когда срок его уже раз продленной визы перевалил за половину, все креольские мамы в округе забеспокоились. Даже те, что были в кругосветке. Он не мог даже намечтать подобного к себе участия. Молодому человеку не раз предлагали хорошего лоера, чтобы подать на политическое убежище, но он почему-то тупил. Его быстро стали воспринимать как своего, такое вообще-то редко случается. Ему давали всякую несложную работу — из тех,

что обычно предназначается тинэйджерам. У Гвен он систематически стриг газон. Подравнивал деревья в саду. Даже стал читать в интернете паблики по садоводству. Сделай мне сад в русском вкусе, — смеялась она. Огурцы и картошку посадить? — отшучивался он. Вон под той, например, магнолией. В тот вечер она закинула дочку Веру к Робсонам — а у нас тогда гостила Жаклин со своей мелкой Моник; Жаклин и Гвен — подруги по юности, они расцеловались, а шестилетняя Вера хорошо ладит с трехлетней Моник. А можно украсть у вас Дэнни? — рассмеялась Гвен. Все называли его Даниэлем, только эта — как щенка. Мне нужно там всякий стаф стащить с чердака. Мама сделала глазами, но я уже и без того встал и пошел. Я теперь смиренный.

Они приехали к знакомому уже белому дому с запущенным садом и террасой не как у всех — на задний двор. Гвен резко притормозила, вышли. В доме, как и всегда, приятно пахло деревом и ребенком. Он отправился на чердак, стаскивал какие-то коробки, поскальзываясь на отполированной поколениями лестнице.

— Не хочешь выпить? — предложила Гвен, со звонким чпоком откупоривая бутылку.

— Я не против, если не задержу тебя, — механически ответил он.

— Не удержишь, — усмехнулась она. — Я все равно куда не собиралась. Нам надо поговорить. Take a seat.

Он присел на диван, Гвен принесла бокалы. Это уже начинает походить на чертовский романтический вечер, — про себя отметил он.

— Наши все беспокоятся, что у тебя закончится виза, — сообщила ему Гвен.

— И что?

— Гаспар очень волнуется.

Гаспаром звали мистера Робсона.

— Любача тоже, — конкретизировала Гвен.

Он сделал неопределенный жест рукой. Домой он пока не собирался, но какая блади разница. Можно жить как мексиканец, пока не выкинут или не надоест.

— У моей ма есть идея нам жениться. У нас уже есть совместные фото, ты стрижешь мне газон... ха-ха! Полагаю, у иммиграции особых вопросов не возникнет. Чин-чин.

Он на секунду задержал бокал, потом сделал резкий глоток. Рука с красными лунками вместо облесших ногтей выглядела чудовищно, но странным образом гармонировала с оттенком вина.

— Ты полагаешь, этого достаточно?

— Еще ты мне симпатичен. Ладишь с моей дочерью. Масса людей женится по гораздо более идиотским причинам.

— Спасибо.

— Что думаешь?

— И как мы будем жить в таком случае?

Гвен посмотрела на него с выражением, которое по-русски означало бы примерно — жопой об косяк.

— В одном случае — как соседи, пока тебе не дадут постоянную грин кард. Будешь помогать по дому, в следующем году надо будет возить Веру в школу. В другом, — она встала и сделала к нему нависшие полшага, — разве тебе не хотелось бы со мною трахнуть?

Он машинально поднялся ей навстречу. Лицо Гвен Лизы Холланд оказалось прямо напротив. Они, оказывается, были одного роста, хотя обычно она казалась ему выше. Это была по-настоящему, безо всяких скидок красивая женщина из тех, кого сразу хочется называть «мэм».

— Чертовски смахивает на мужскую проституцию, — пояснил он свои сомнения.

Гвен фыркнула.

— Very Dostoevsky.

Она уже разворачивалась, когда он отодвинул ногой столик, легко поставил на него — чуть ли не бросил — недопи-

тый бокал, еще заметив краем глаза неустойчивое колебание, схватил ее поперек торса и ткнул коленями на диван, направляя лицом в угол спинки и валика. Ее тело уложилось точно по форме, тогда он убедился в своей правоте и задрал платье, тем же движением закидывая волосы, обнажая шею. Она издала звук, который можно было истолковать как возмущенно-согласный; вот еще, не хватает сесть в американский джейл за изнасилование — тоже своего рода способ остаться. Сдвинув ее трусы и нажав на холку, он выгнул ее под себя, и с первым же толчком понял, что не только его можно повернуть в любом направлении.

У Алевтины не было близких друзей, а сестра фанатела от Тершонка, поэтому она ни с кем не смогла поделиться распиравшим ее ощущением обволакивающего тепла и полноты пробудившейся чувственности. Карабеевское «ко мне» обозначило офис небольшой правозащитной организации, по заданию которой он сейчас работал. Офис был квартирному типу, состоял из кабинета со стеллажами, компьютерным столом и парой кресел, а также крошечной смежной спальни. Удобства располагались прямо на лестнице. Апартаменты в английском стиле, — подмигнул он, приглашающим жестом распахивая дверь.

Максим прихватил в ночном магазине пару бутылок вина, сыра, хлеба. Они расположились. Первая неловкость была быстро сломана алкоголем и вниманием, с которым он слушал ее соображения о жизни и об искусстве. Не любительница длинных монологов, здесь она разговорилась — казалось, она может рассказать ему все и без малейшей утайки. Он тоже ничего не скрывал — родом из Саратова, учился на ленинградском юрфаке, — у будущего президента, — он со значением приподнял брови, в Москве у него есть жена, с которой они сепарейтед, и двое детей. Прописка московская, а живет уже пару лет на чемоданах. Работаю на прогрессивные ор-

ганизации, поручения тоже выполняю. Вот, книжку написал — практическое пособие по отношениям оппозиционера и власти: байки и полезные сведения, такой вот жанр. Одно время вел передачу... ну да это ты знаешь. А почему ее закрыли? — спросила она. А почему у нас все хорошее прикрывают? Вот поэтому. Мой образ жизни сейчас кажется, не смейся, наиболее адекватным. У нас же никто не знает своего будущего. Вот ты идешь по улице, на ногу наступил кому-то не тому или в аварию попал, или земельный участок твой приглянулся — и все, жизнь меняется кардинально и не в лучшую сторону. К чему тогда загадывать? Хотя... Что? Он некоторое время рассматривал ее с веселым хищническим интересом. Его красивые бледные губы слегка порозовели; как и у ее утраченной первой любви, у Карабеева была чуть коротковатая, выразительная верхняя губа; правда, общее впечатление от лица было совершенно, принципиально иное; если от веселой мужской дерзости, которой было исполнено лицо Ворона, веяло одновременно чем-то безопасным и даже нежным, то близкие к амбивалентному эстетическому канону капризные черты Макса — ястребиный нос, недлинные крупные губы, яркие миндалевидные глаза неопределенно-теплого оттенка — сейчас приобрели почти угрожающую жесткость. Сейчас бы я загадал, — продолжил Макс. Он стукнул кончиком пальца по тачпаду раскрытого уже ноута, на котором до этого показывал ей картинки из последнего европейского путешествия. Заиграл Элвис Пресли. Максим встал и вышел из-за стола, смешно подергивая очерченными, как в анатомическом атласе, худыми и немного широкватыми бедрами. Легкими тычками в грудь направил ее к спальне. Постель там оказалась убрана. Чертыхнувшись, он начал быстро доставать простыни и подушки. Она следила за его торопливыми движениями. Ситуация должна была вызвать в ней неловкость, но ее не было — скорее было забавно. Устроив ложе, он без предисловий повалил ее на

кровать, куда-то в полумрак полетели одни и другие джинсы, пиджак зацепился за ручку двери, зашуршала упаковка презерватива; словоохотливость его куда-то пропала, никогда она не чувствовала, что ею так искушенно и недву­смысленно наслаждаются. После первого захода он поднялся, качнулся расслабляющийся член в промежутке между стройными, даже несколько тонковатыми ногами, щелкнула зажигалка — он закурил. Стакан вина? — осведомился он деловито. — А потом можно и повторить.

И они повторяли до утра — правда, она так и не финишировала, но для него это явно не составляло проблемы, а ей с каждым разом хотелось все больше. К утру она ощущала свое тело полурасплавленным, и когда он вы­проводил ее, — галантно, но решительно, должен явиться коллега с клиентом, — то сил хватило только дойти до ближайшего спуска к речке, присесть на холодные ступеньки и закурить первую в жизни посткоитальную сигарету. Перед нею, маслянисто отблескивая, бежала тяжелая осенняя вода, изнутри — от паха до холки — гулял жар, и ей ужасно хотелось позвонить кому-нибудь — может, даже и Терешонку, чтобы сообщить, что она, как неожиданно верно говорил похабный подростковый штамп, стала, наконец, женщиной.

— ...Тут мой коллега немного... наследил.

Они зашли в небольшой офис на первом этаже, довольно удачно прикидывающийся квартирой. В помещении, несмотря на открытое настежь окно во двор, все еще витал характерный запах ночной пьянки, в корзине для бумаг лежало несколько пустых винных бутылок. Батманов махнул ладонью, что должно было означать — пофиг.

Адвокат открыл сейф, покопался там и присел за стол. Это был человек средних лет с неискоренимым отпечатком службы в органах.

— Претензий, по большому счету, к вам никаких нет. Комиссованы. Вот военник твой. Проблем не предвидится, разве что захочешь на госслужбу. Но это же не тот случай?

— Видимо, нет.

— Ну вот и все тогда, — адвокат при этом ощутило нервничал.

— Есть еще что-то, — догадался Батманов.

— Дело командира твоего было на контроле у ФСБ. Ему дослужить дали до пенсии, спокуха вроде, но не исключаю, что может всплыть рано или поздно.

— А чем он сейчас занимается?

— Охранную фирму открыл. Тоже бизнес интересный, хрен там чего поймешь.

— Ясно.

Батманов задумчиво повертел брошюру, лежавшую на столе: «Граждане против Башни».

— Это компаньон мой тут всякой херней занимается, — пояснил адвокат. — Слышал, может — хотят у нас небоскреб построить, народ негодует. Ну, не народ, а особо интересующиеся.

— Возьму почитать?

— Бери, конечно. Тут этого как говна за баней.

Они вышли через маленький переулочек к Неве. Адвокат спешил через мост в сторону Финбана.

— Ну, будь, — протянул ему крепкую короткопалую ладонь, — как там в Америке вообще? Стоило уезжать?

— Не было времени об этом подумать, — прямо ответил Батманов. — А так — страна большая, красивая. Чем-то похожа на нашу.

Тут лояр впервые за встречу улыбнулся.

— Первый раз слышу, чтобы человек, который свалил, говорил — наша страна. Тут не от всякого местного такое услышишь. Если вопросы еще будут, звони. Ну, или так, водочки попить. Я бы с тобой выпил.

— Я бы тоже, но в Штатах, например, считается что клиенту не следует пить с адвокатом. И что-то в этом есть. Ну, если мы не мафия и ты не мой консьильеро.

— Ты, может, и не мафия, но я наверняка она и есть, — адвокат на прощание примерил профессиональную улыбку, которая ему не шла совершенно.

Над Невою поднимался ветер; раскланявшись с адвокатом, Батманов привычно зашагал в сторону Васильевского. Если не гора, то небольшой холмик сполз с его плеч; в то же время было ощущение легкого разочарования незначительности — его преступление перестало интересовать Родину не за сроком давности, но, видимо, в силу тривиальности подобных раскладов. Впрочем, последние четыре года он только и делал, что учился быть одним из ряда, Гвен раз заметила даже — и где твоя обезьянья гибкость, где третьего мира стремность, обглоданные морозом уши — наверное, зря мы тебе их поправили. Наверное, я восстанавливаюсь вместе со своєю страной, — пошутил он. Твоя страна теперь — Америка, отрезала она, будто офицер на паспортном контроле.

Он скучал по ней, как бы то ни было, поэтому достал карманную мыльницу и щелкнул вид на Стрелку — отправить вечером в письмо. В кадре также обозначился листок, криво приклеенный на парапет: невская кардиограмма со всплесками Петропавловки и разведенного моста и лозунг: Мордор не пройдет. Листовку он сфотографировал тоже. Она призвала прийти завтра к ТЮЗу на демонстрацию и заступиться за Ленинград. Почему бы не заступиться, не чужой город все же, — подумал он. Паспорт чистый в конце-то концов, а пятнадцать суток ни одному русскому литератору в изгнании пока не вредили.

Андреич проснулся в каких-то непонятных гостях: он лежал на узком икеевском диванчике апельсиновой расцветки. Это он увидел первым, потому что в процессе сна

выкинул подушку и щека, вспотев, противно прилипла к искусственной коже обивки, источавшей смутно знакомый, нервирующий запах. Диванчик стоял в психоделической трубе очень длинного коридора. Оранжевые стены, черный потолок, черно-бело-оранжевые плитки на полу. Твин Пикс какой-то, подумал он. Не хватало только карлика в красном костюме. В этот момент — видимо, чтобы добить его окончательно, жалюзи, закрывавшие дверной проем, колыхнулись и из соседнего помещения выбежал карлик. Только никакого костюма на нем не было. Совершенно никакого. Вадим замер, как дикое животное, залезшее на чужую территорию, и уставился на неприлично длинный карликов хер, заканчивающийся где-то на уровне кривых узловатых коленок.

— Чо, нравлюсь? Привет! — добродушно поздоровалась с ним кошмарная галлюцинация. — Я Антон, если не помнишь. Сорян, поболтал бы, но мне готовиться надо, а то начальство заругает, — улыбнулся и скрылся за деревянной черной дверью, откуда вскоре зашумела вода и раздалось фальшивое пение.

Я брежу, — подумал Терешонок. — Надо же так допить.

Где-то в недрах помещения раздавались голоса, шум жарящейся еды, позвякивание тарелок, смех, шаги. Превозмогая тошноту и вертолеты, он попытался принять вертикаль. Ягодицы с громким шлепком отлепились от кожи диванчика. Блять! Вадик дернулся, нервно сунув руку под спальник, которым был укрыт наподобие обычного одеяла. Эта привычная по его полевой жизни знакомая деталь только добавляла общей картине сумасшедшинки. Получается, он был без трусов. Из-за жалюзей раздалось:

— Так, камрады! Время срать, а мы не ели! Нам еще на митинг надо, если кто забыл. Проявлять протестную активность.

В ответ громко заржали. Задорные, молодые голоса.

Раздались шаги, металлически зашуршали жалюзи, поехав в сторону и открывая дверной проем. Из комнаты вышла Шура Волкова. В руках у нее был розовый пластиковый тазик с покачивающимися разноцветными елдаками.

— Ну, доброе утро. Водички хочешь? — гостеприимно осведомилась она.

— Что? — прохрипел Терешонок, не в силах оторвать взгляд от винегрета из фаллоимитаторов.

— Помыть их надо. Чистота — залог здоровья, — подмигнула Шура, перехватив его взгляд.

— Что? — снова спросил Вадим. На какое-то мгновение ему показалось, что он рехнулся.

— Вадя, раньше с бодуна ты бывал остроумнее. Просыпайся давай. Надо быстренько тебя накормить, а то потом часа два до кухни будет не добраться. А затягивать не мораль. Ребята вторые сутки пашут.

— Где мы?

Шура закатила глаза и принялась стучать ногой в дверь, где скрылся карлик Антон.

— Ты разве еще не понял? — обернулась через плечо и потрясла тазиком для наглядности: — Это порностудия.

И, в ответ на его немой вопрос:

— Не дергайся, в съемках ты поучаствовать пока не успел. Не сказать, чтобы не пытался, но отрубился на полу, едва сняв трусы. Факеры тебя в коридор вынесли и на диванчике устроили. Что? Вообще ничего не помнишь?

Выяснилось, что позавчера после чайханы он, не дозволившись Алевтине, начал писать дурацкие эсэмэски девушкам, с которыми прежде состоял в отношениях той или иной степени близости. Первой откликнулась Шура, сообщила, что она на съемках, но это недалеко от центра, «и я всегда рада тебя видеть». Приехал, неожиданно быстро задружился со съемочной группой. Догонялся пивом, ночь уже переходила в утро. Потом решил раздеться, чтобы почувствовать еди-

нение с народом. Заодно агитировал идти на митинг, стоять против Башни. Жаль, не сняла этого на свой продвинутый фотоаппарат. Ютуб был бы твой. А ребята вот прониклись, собираются противостоять башням. Не хотят опоздать. Это ведь сегодня? Но сначала нужно отснять материал, а съемки — дело непростое. В сердцах грохнув тазик на пол, Шура прокричала в щелочку:

— Антон, ты заебал купаться! Тебе что, из ванны не выкарабкаться? Сам будешь инструментарий мыть. Пойдем, Вадь, — дернула его за руку, потянув на кухню. Вадик споткнулся о спальник и уперся, озираясь в поиске своих вещей.

— Да вон они, на пуфике. Твои... сверкающие доспехи.

— А ты здесь, прости?.. — Терешонок переодевался, как пионерка на пляже, спрятавшись в спальник, ежась под насмешливым Шуркиным взглядом, но не в силах сбросить его с себя.

Через дверной проем виднелась обширная прямоугольная комната, лучше даже сказать — зал. Она была выкрашена двумя неровными углами в лазурно-синий и бирюзовый цвета, с кронштейна в торце свисал экран, как для просмотра кинофильмов, в углу — камеры на штативах, отражатели и фонари. На полу, на ковре с крупным ворсом дремал видеоператор, даже во сне державший руку на видеокамере. Вадик смутно вспомнил его по вчерашней ночи. На вешалке-скобе над оператором висели костюмы, но не совсем те, что можно увидеть в театральной или киношной гримерке. Здесь были кожаные штаны с заклепками и дырками на причинных местах, ошейники и даже кожаные лифчики, а также комплекты кружевного белья разнообразных расцветок. Переведя взгляд, он увидел стеллаж, уставленный еще одной серией искусственных елдаков.

— Работаю я здесь.

Слегка насладившись произведенным впечатлением, Шура пояснила:

— Книжку про ребят пишу. Есть такая вещь — гонзо-журналистика, исследование через погружение в среду. Вот я так работаю. Поселилась на студии, тусуюсь с ними, работа какая-то здесь есть всегда — прибраться, моделей вызвонить, проверить документы, заполнить модел-релиз... это согласие на съемки и последующее использование материала.

— Камрады, яичница и кофе готовы! — знакомый уже хрипловатый женский голос откуда-то из-за бирюзовой стены: — Надо подкрепиться, пока артисты готовятся.

Из-за стены выскочили две девицы в нижнем белье и, подмигивая Вадиму, убежали в коридор. Вскоре оттуда раздался стук в дверь ванной и хохот.

— А, нет, Матвея не будите, — хрипловатый женский голос остановил Шуру, подошедшую было к оператору. — Его трогать нельзя, может конкретно прилететь по щам.

— А как же съемка?

— Пф! Он включит камеру, как только я зажгу софиты. Матвей может снимать даже во сне, — из-за тонкой стенки, отгораживавшей пространство очень домашней кухоньки от сине-бирюзового зала, выглянула брюнетка в джинсовом комбинезоне:

— Привет. Держи, — она протянула Вадиму стакан с пьющейся в воде таблеткой алкозельцера. Андреич чуть не расплакался от такого неожиданного участия.

— Мы будем снимать революционный рейп. Будет весело, — поедая яичницу и тосты, рассказывала хозяйка студии Кира, та самая заботливая брюнетка, бойкая девица примерно Алькиного возраста, только раза в полтора ниже в прыжке.

— Рейп?.. — севшим голосом спросил Терешонок.

— Ага. Имитация изнасилования. Менты будут трахать протестующих. Пока ты в отключке валялся, мы во втором зале повесили маскировочную сетку. Красиво в кадре будет.

Вадим скептически вздернул брови. Кира рассмеялась:

— Ну ты вчера и убрался, камрад. По твоему же сценарию будем снимать. Кстати — она пошуршала в кармане и протянула Вадику сложенный вчетверо конверт с логотипом одного коммерческого банка: — Твой гонорар, товарищ Лимонов.

В коридоре раздались басовитые мужские голоса:

— Ну а как еще массу набирать? Я в качалку хожу, курицу ем и яйца. Белковая пища — наше все. Кому интересно на тощие задницы смотреть?

— Кир! Зацени, я вот такую форму захватил. Максимально ментовское, что нашел в своем реконском реквизите, — из-за стенки показались два парня. Худощавый жилистый кавказец, стриженный под единичку, и крепкий парень, похожий на Ван Дамма. В руках второй держал два чехла с формой Дружины. — Нагайка еще есть. О! Привет, Вадим! Не ожидал тебя тут встретить.

— А уж я как рад, — пробормотал Терешонок. Ван Дамм был его соучеником по истфаку и товарищем по реконским тусовкам, недавно защитился и теперь преподавал. Вот ведь, на все человека хватает, — подумал Вадим, уплетая порнографическую яичницу и наконец обретая дзен.

...Она не стала звонить Терешонку с гранитного причала, не позвонила и на следующий день, даже эсэмэску не отправила. Было ли ей неловко? Наверное, да. Но то был не тягучий стыд предательства, который оседает хрипом в легких и который не отхаркнуть, разве что проглотить, скорее ощущение зашедшей слишком далеко шалости, баловства от вернувшейся полноты жизни и себя в ней. Она ничего не могла поделать с этой внезапной переполненностью стакана; ей казалось, что она любит их обоих, и весь мир вместе с ними, в то же время она была совершенно уверена в том, что Вадим ее не поймет, или же поймет, но точно не сейчас. Она была, как персонаж компьютерной игры, которому врубили ману и здоровье на максимум; ей хотелось прыгать и даже летать, казалось, она могла бы вскочить на крышу троллейбуса и так проехать по Невскому, пока

ее не заметят — и тогда уже из озорства перескочить на встречный автобус, словно какой-нибудь Человек-Паук.

В тот день, покинув гнездышко Карабеева, Алька со звонком домчалась на трамвае до площади Репина, там пересела на автобус до своего Юго-Запада, влетела домой, вытщила из-за занавески мольберт, на мгновение задумалась. Карандаш — сразу нет. И не акварель. Сейчас ей хотелось контакта. Потому она пришила на доску лист шершавой оберточной бумаги и достала коробочки с нежной сангиной, меланхолической сепией и дружком-углем, который она в деревне изготовила сама по старинному способу — затолкала ровные березовые веточки в жестяную банку, присыпала песком, плотно закрутила и прикопала в горячем очаге так же, как поступают с картошкой.

Выдернул ее — чумазую — звонок Макса. На митинг идешь завтра? Да, собиралась, — соврала она. Ни про какой митинг она, конечно, не помнила. Отлично! — обрадовался он. — Предлагаю встретиться чуть пораньше у метро, предлагаю поздний завтрак. Заметано, — улынулась в трубку Алевтина, возвращаясь к мольберту. — Какое метро?

А какое у вас там метро? — озадачился Карабеев. — Пушкинская, конечно! Во, даже в поисковик не заглядывал.

Договорились, — кивнула Алька, растушевывая линию, — давай, до свидания. Занята? — удивился Макс. С той интонацией, что девушка, которую он почтил своим вниманием, в принципе не может интересоваться ничем иным. Да, немного, — спокойно ответила Алевтина. Хорошо, до завтра, — с проснувшимся уважением согласился Карабеев. И зачем-то добавил — целую. Алька поморщилась. Это было, на ее взгляд, пока лишнее, ну да о'кей.

Спустя полчаса он перезвонил снова.

— Вот, появилось встречное предложение... Я сейчас в центре, заканчиваю одну встречу. Можно встретиться потом поужинать, и снова... у меня. А утром — на митинг.

Встречи стояли в его речи, как забор, ее это позабавило, но нисколько не смутило. Хорошо, — сказала она, — я заканчиваю работу и выезжаю, назови адрес. Он с готовностью продиктовал координаты центрального кафе. Она быстро заскочила в душ, переделалась — белье, колготки... нет, чулки. Свободная юбка чуть выше колен и тоненький зеленый свитерок, немного тривиально, но беспроеигрышно сочетавшийся с ее рыжеватыми волосами. Конечно, каблуки — Карабеев был повыше даже Терешонка, так что опасаться нечего. Крутнулась перед зеркалом и как никогда понравилась себе. Замерев на секунду, посмотрела в глаза отражению, с некоторой оторопью за то, что сейчас сделает. Ловко сняла и так невесомые трусы — одна нога, вторая, стринги скользнули по подъему закрытой туфли, сунула их в карман сумки и вымелась из квартиры, накинув коротенький дафлкот. На мольберте застыла зарисовка Невского — люди идут, обнимаются, касаются. Невероятная выдавалась осень.

Алька, как и многие позднесоветские дети из семей, по которым переломные времена проехали в том числе и родительским разводом, толком не помнила своего отца; вернее, помнила его смутно и символически. В ее случае символизм был лапидарен до крайности и свелся к походу к дощатой кабинке раздевалки на пляже в Петергофе. Ей было, наверное, года четыре или пять, родители оставили их с Вероникой на бабушку, та задремала под неярким северным солнышком. Они с десятилетней Вероникой сначала плескались на мелководье, потом сестра подговорила маленькую Альку проведать, как там мама и папа. Те ушли переодеваться, вдвоем. Дощатая кабинка была устроена в форме раковины, маленького лабиринта. Дети не любили подходить к ней; песок под кабинкой был влажен в самую сухую погоду, от него несло неприятным взрослым запахом, да и мочой припахивало — кое-кто, переодеваясь, не стеснялся пописать. Но Вероника втокнула Альку в эту раковинку, та и пошла, преодолевая

изгибы. И уперлась глазами в голую личинку, вроде тех, что они доставали из-под коры на даче, но много больше и с клочущими поверх волосами. Она подняла глаза — личинка принадлежала папе. Малая, брысь отсюда! — раздался сверху его густой голос, что так не вязался с этим неприятным и жалким отростком. Алька быстро вымелась на чистый песок, на ветреный простор; на вопросы старшей сестры — что они там делают — не отвечала, побежала к морю, проваливаясь пяточками. Отец ушел от них вскоре, так и вышло, что все, что она запомнила о нем, — эту вот стыдную складку плоти, которую подобает прятать.

Образ близкого мужчины, таким образом, долгое время был лишен в ее восприятии каких-то человеческих подробностей, зато вполне обладал приметами чуждого существа. Сама она не особенно задумывалась над природой этого чувства, лишь временами ловила себя на том, что рефлекторно относит каждого носителя игрек-хромосомы к этому загадочному племени, неприятному и, пожалуй, пугающему; а еще, взрослея, она то и дело начинала замечать за собою, как примеряет этот смутивший ее признак пола к персонам, как говорится, социально значимым — от мелькавших в телевизоре говорящих голов до поэта Пушкина, в которого была экзальтированно влюблена школьная литераторша средних лет; и когда Анна Ивановна с придыханием, ведя голос на повышение, как самолет по взлетке, повторяла — Пу-у-ушкин!..., Алька то и дело представляла себе солнце русской поэзии оголенным ниже пояса, с этой нелепой и одновременно пугающей мягкостью между ног, и принималась глумливо хихикать, за что была не раз выдворена с урока. Трудно сказать, куда бы ее привел в итоге этот душевный вывих, если бы не появление в школе Даниила Андреевича — такого очевидно взрослого, очевидно недалекого от нее по возрасту, очевидно мужественного и одновременно нечаянно своего; приняв молодого учителя как фигуру и романтическую, и человеческую,

она словно вновь обрела утраченную тайну пола, сложную и в то же время естественную; на смену пугающему различию пришло чувство различия интригующего и бодрящего обещанием чудесного совпадения, даже жуткий срыв Ворона накануне его исчезновения, — или, как она теперь понимала, смерти, — не смог перевести его в разряд чуждых ей существ, она до сих пор иногда ловила себя на ощущении теплого человеческого присутствия, будто он наблюдает за нею, сам оставаясь вне поля зрения. Это ощущение придавало ей сил и уверенности, и если бы она задумалась, то поймала бы себя на том, что, несмотря на очевидную вроде бы ошибку с его таинственным тезкой — заграничная биография, дочь-подросток, — фон его присутствия в ее жизни в последние дни уверенно усилился, как будто высвободив в ней дремавшую до поры волю к жизни и открытость ей.

Верно, разрешив себе понадеяться на чудо, она была уже не в силах от него отказаться — и теперь чудом выглядела встреча с Максимом, плясавший между ними веселый ветер страсти, неожиданная гармония тел и отсроченный, но все же наступивший расцвет ее женственности и потребности любить.

— ...И ты больше не видела своего отца? — спросил Карабеев, вроде бы с участием. После ужина в кафе они пошли еще по центровым барам, в каждом выпивали по паре шотов, Максим учил ее правильно пить текилу, лизать соль с его ладони. Город кипел, целые улочки были запружены веселой светской публикой, подгулявшими алиенами (откуда у нее это словечко?) и в дым пьяной молодежи ее возраста и ниже. Их тоже изрядно помотало; наконец, взяв за чем-то в ночном еще бутылку красного, они оказались на том самом спуске к речке напротив Карабеевского офиса, сидели на ступенях, ей под задницу он заботливо подложил сумку с документами. Было уже далеко за полночь, даже туристические кораблики в большинстве своем избавились от пассажиров

и пришвартовались у набережных, за все время, что они тусовались на спуске, лишь один маленький катерок воровато прошмыгнул мимо них в большую Неву, оттуда раздались приветственные клики и хлопнула бутылка шампанского. Альку, как брызгами, обдало этим бедовым безмысленным восторгом, свежестью осенней ночи; помигивая бортовыми огнями, кораблик скрылся в густой тени моста, а она услышала свой голос, будто со стороны.

— Нет, почему... Он нарисовался в то лето, когда я поступала. Сказал, что после нас занимался бизнесом, его сделали стрелочником по какому-то финансовому делу и посадили. Нет, закрыли. Он сказал — закрыли.

Она подумала немного, будто вспоминая детали.

— Он был какой-то обтерханный и почему-то ниже меня ростом. Мама и сестра его не приняли. А мне... мне было все равно.

Алька взяла у Карабеева почти полную еще бутылку вина и отхлебнула, слегка пролив на подбородок и горлышко зеленого свитерка. Он отобрал вино, достал салфетку. Безотцовщина ты моя. Вытер ей лицо, поставил бутылку на ступеньку, рука легла ей на колено. Легонько поползла под юбку. Коснувшись пальцами бедра выше линии чулка, рука дрогнула и дернулась дальше. Достигнув голого ежика подбритых волос, Макс тихо, с какой-то обреченностью вздохнул и тут же решительно запустил пальцы внутрь. Аллька сидела неподвижно и улыбалась, как ей виделось, необычайно глупо. Наконец Карабеев вынул руку, поднял Алевтину со ступенек и, развернув к себе задом, прижал к ледяной гранитной стене.

В городе практически не осталось друзей. Так выходило, что люди, которые звонили сами, уже первой интонацией предупреждали — незачем видеться. Раз не поверив ощущению, Данька повелся на предложение от однокурсника содвинуть бокалы субботним вечером. Однокурсник в се-

годняшней инкарнации был похож на барда Юрия Визбора в роли нацистского преступника Бормана. Образ Визбора не то что был сильно дорог Батманову; скорее он вызывал нежные и томительные ассоциации с семидесятилетним мирком родителей, но, как бы то ни было, бард не заслуживал, чтобы его сочетали со свиньей. Однокурсник тоже был прогрессивным литератором, помимо этого, у него был собственный бизнес средней или более успешности, посему бокалы пришлось содвигать в правильном месте.

Паб «Пост-Оффис» был всем хорош и похож более всего на излюбленный в Нью-Йорке ирландский кабачок на границе Гринвич-Виллэдж, где огненно-рыжий, как и следовало, хозяин, после двух ночи объявлял заведение прайват плаэйс и под этим соусом дымил за стойкой — ну и посетителям, понятно, тоже разрешал курить. Здесь, слава богу, Россия, и курить не возбранялось в принципе, зато на всех поверхностях лежал лоск новодела, а василеостровское темное пиво, которое Данька привык употреблять по полтиннику, называлось «локал стаут» и стоило, соответственно, в разы.

Сема опоздал минут на двадцать; по прибытии заказал «Гиннесс» и пообещал быстро прийти в кондицию. Выхлебав первую пинту, он заказал по-новой и только тогда уставился на Батманова густо-прозрачными, как студень, ничего не выражающими глазами.

Два несостоявшихся историка сидели напротив; взгляды бились, как в экран монитора, а на лицах, надо думать, — с гадливой прозорливостью предположил Батманов, — застыли синхронно предупредительные улыбки.

— Ну как? — наконец выдавил Семен. — Надолго?

— Что — надолго?

— Не что, а куда. К нам. В Рашн Федерашн. — Сема забулькал, засмеялся. — Вангую, что нет.

— Почему ты так думаешь? — мягко спросил Батманов.

— Ну а что здесь делать? Разве что деньги зарабатывать.

Сема забулькал пивом.

— Но этого-то ты никогда не умел, верно? Слышал, ты удачно женился...

— Быстро тут новости...

— Ну а как же? Следим, следим. Тоже не лыком шиты! Есть такой новый портал, для глобальных людей. Там про тебя тоже писали. Странно, что ты не слышал, я думал, что у тебя и подписка членская есть.

— Любопытно. А как называется?

— Называется — «Выскачка»! Остроумно, да? Типа вон из контекста. Выскочить из него в большой мир.

Сема продвигался к искомой кондиции очень быстро, я уже боялся не успеть. Зачем же куда-то выскакивать, куда он боится не успеть... Мимо огромного окна, близ которого они поселились, помчались мерцающие искры, Батманов сначала было подумал, что это пошел снег, но потом понял, что пока нет, просто налетел шквал с мелким холодным дождем, эта-то взвесь и мерцала в огне вывески и теплом свете окон.

— А мы тут, конечно, ждем, как все развалится, как поползет, мы даже пари заключили с одним пацаном из тех, кто причастен к решениям. Я говорю, что Сибирь цельным куском отвалится, за вычетом Якутии и Приморья, а он считает, что там тоже дробление более мелкое по интересам пойдет... Может, и прав.

Сема пролил пиво и принялся чертить пальцем на столе границы новых стран, на которые мы развалимся. Мы? — задал себе вопрос Батманов, — сухули вообще «мы»? Какое мне вообще дело? Пусть хоть на микрорайоны разваливаются. Рыбацкое против Купчино.

— Я-то, конечно, хотел бы остаться в центре, — делился Сема. — Питер, Пиетари, как его финны называют — это же крупнейший!.. мегаполис Северной Европы. При определенных усилиях мы можем стать центром торговли между

вами, цивилизованным миром, и всякими там Уральскими и Мансийскими республиками, где ресурсов — хоть жопой ешь. А между нами будет еще бывшая центральная Россия, откуда попрут дешевые и сознательные гастарбайтеры, не чета всякой черноте азиатской. И тогда одна питерская прописка будет гарантировать патрицианский статус... А у меня-то еще и фирмочка есть, и пара квартирок, сдаю студентам. В общем, не срать, перспективы интересные открываются.

Семен наконец присмотрелся к собеседнику; Батманов сидел с каким-то примороженным выражением, постукивая по столешнице зажигалкой.

— Ну, что думаешь? Не лукавь, я знаю, что у вас там... на зеленом холме тоже ждут примерно этого.

— Да никто не ждет ничего, — после небольшой паузы сообщил Батманов. — А вот поссать захотелось, это правда.

Он встал из-за стола и, прихрамывая, отправился в сторону дабла.

Дожидаюсь окончания съемочного процесса, Вадим и Шура сидели на стихийной террасе, которая на самом деле являлась крышей фойе спортивной качалки. Порностудия прилепилась к помещению жима одним своим боком. Электричество у нас тоже от них. Безлимит. Иначе разориться можно было бы на счетах, — хмыкнула Кира, не моргнув врубая видеосвет. Вадим в первый момент даже зажмурился от внезапной рези в глазах, так ярко это оказалось. Ослепший, он услышал шуршание артистов перед маскировочной сеткой и пиликающий звук включенной видеокамеры. И правда, Матвей, как зомби из американских ужастиков, не открывая глаз и немного пошатываясь, уже стоял на рабочем месте.

Терраса смотрела на закрытый питерский дворик. Шурка притащила им два плетеных стула с кухни и пепельницу. Где-то за его пределами гудели машины, — на набережной стояла традиционная пробка, — и шумел последними прогулочными су-

дами рукав Невы. Во дворике орали воробьи, лениво шевелили верхушками крон дерева. За спиной и под ногами звякал металл и раздавалось «Ха! Ух! Ха! У-ух!» И Вадим не всегда понимал — порнографические дружинники это издеваются над порнографическими протестующими или качки в зале тягают железо. Терешонку давно не было так хорошо, спокойно и даже радостно. Затягиваясь очередной сигаретой, он чувствовал, как наполняется легкостью и задорной жизненной энергией. Несмотря на всю неловкость ситуации, ему нравилась эта чокнутая компания и не хотелось никуда отсюда уходить.

— Черт! — пробормотал он, словно очнувшись от ласковой дремы и похлопывая себя по карманам.

— Что?

— Я же обещал Генриху, что приеду в деревню! Он должен был сегодня со своими ингерманландцами на митинг отправиться. А я, наоборот, — утром вернуться домой, у нас там собака. Не оставить одну дома. Надо ему позвонить... он меня убьет, блин. Не могу телефон найти.

Шурка поморщилась.

— Ты его на кухне оставил. На столе.

— А твой при тебе?

— Ну да, — неохотно ответила Волкова, вздохнула и полезла в задний карман брюк.

В первые два захода Генрих не взял трубку.

— Не слышит, наверное, — в очередной раз набирая номер, пробормотал Терешонок. Вскочив с плетеного стула, он начал вышагивать по крыше с одного конца в другой, четко впечатывая ботинки в металлические пластины. Когда на том конце ответили, Вадик уже собирался вешать трубку.

— Ну что тебе еще надо, Волкова? — крайне нелюбезно поприветствовал Генрих.

— О! Привет, Ген!

Вадик всей кожей ощутил минутное замешательство заикающегося друга.

— Ты с Шурой? А где Алевтина?

— Ген, долго объяснять. Потом расскажу, — тараторил Терешонок, сам понимая, что мнительный Генрих может себе надумать. — Ты прости меня, я так тут убрался, что нафиг про все забыл. Ты Тину в доме запер?

Тяжелый вздох:

— Нет, мы с Тиной едем на баррикады... Да, Тиночка?.. Ты-то где вообще?

— Эй, вы, там! Наверху! — закричали снизу: — Хорош по нашей крыше топтаться!

Вадим подошел к краю крыши. Внизу стоял бритый детина с бицухой шире Вадиковых ляжек.

— Простите, больше не буду!

Детина с неожиданным кокетством пригрозил ему пальцем и ушел обратно в зал. Терешонок отошел от края крыши к стене, прислонился к оконной раме. За окном в пространстве студии раздался утробный, с подстаныванием, рык, краткая тишина и бурные аплодисменты и смех.

— Эй, Шур, Вад! Мы дотрахались. Одеваемся! — подбежал к окну, прикрывая пах микроскопическим полотенцем, Ван Дамм.

— Господи. Что там у тебя происходит? Что это за звуки? Кто дотрахался? — раздалось из телефона.

— Даже не спрашивай, — пробормотал Вадим. — Встретимся на митинге.

На митинг порностудия поехала на маленькой горбатой девчачьей машинке. Машинка была красная, на фарах красовались огромные пластиковые реснички. Чтобы все смогли поместиться, Кира разложила два задних кресла, объединив пассажирские места с багажником. Ван Дамм и его приятель Сэм, одетые в БДСМ-вариацию формы доблестной Дружины, возлежали сзади, как римские патриции за обедом. Терешонок сидел по-турецки где-то в области заднего правого колеса. Антон смотрелся карманной версией дружинника —

галифе с оранжевыми лампасами, подтяжки на голый торс, к подтяжкам крепятся погоны, маленькое, узловатое тельце с автозагаром выглядит пугающим и крайне неприличным. Антона обнимает девушка в полосатой пижаме, похожей на тюремную робу из фильмов про гангстеров. Девушку зовут Даша. У нее новенькая силиконовая грудь третьего размера. Делали через пупок, что бы это ни значило. За ее сиськи все подержались перед выходом из студии. На удачу. Даша учится на филфаке. Рассказывая об этом, она ухмыляется и низким, грудным голосом произносит: — Фил фак, — и подмигивает Терешонку. Вадик в этот момент держится за неправдоподобно упругий силиконовый имплант и непроизвольно краснеет. Все ржут, и Ван Дамм хлопает его промеж лопаток. Он подается вперед, еще крепче впиваясь пальцами в теплую искусственную грудь, чувствуя дискомфортное напряжение в штанах.

Сидя в машине, Терешонок ловит себя на том, что заглядывает Даше в ворот пижамы, и ладонь немного покалывает от воспоминания об ее удачливой сиське. Поймав его взгляд, Антон подмигивает. Все снова ржут.

На переднем сиденье, рядом с Кирой, уселась Шурка. Она настраивает фотик. Матвей дремлет, прислонившись к передним сиденьям, пристроив голову на коленях у кавказца, которого все зовут Сэм. Сэм иногда поглаживает его по начинающей лысеть голове, на коленях у Матвея — сумка с видеокамерой. Он будет снимать их шествие на митинге. Это не обсуждается. Автомобиль с ресничками стремится к Пионерской площади, где назначен митинг, Кира врубает в салоне песенку группы «Выход»: «Пионеры в леса уходили, оставляя могилы предков! С их унылым собачьим воем, с их искусственными зубами!» Ее порнобригада хором затягивает: «Пионеры так много хотели, но всегда не хватало денег! А потом подвалили деньги, но уже ничего не надо! Пионеры еще вернутся — умирать на Васильевский остров!»

Гороховая между тем стоит, иные водители уже разворачиваются и уходят в сторону Адмиралтейства — ну и Васильевского острова, да.

— Мне кажется, Загородный перекрыт, — наконец сообщает Терешонок.

— Не ссы, лягуха, есть еще Большой Казачий, — заявляет Кира.

Они ныряют в переулок, продвигаются почти до угла и там находят место для парковки, дальше Кира решает не ехать — автомобили стоят везде, где только можно и даже где нельзя. Протестная порнобригада медленно и не без некоторого пафоса покидает транспортное средство; Вадиму кажется, что он видит происходящее будто со стороны: бледный петербургский полдень, сумрачные доходные дома, пара старушек с болонками и мужичков, вышедших воскресным утром за опохмелом, и эти... герои Риппербана. Антон, которому предстоит протестовать полуобнаженным, принимает пару глотков вискаря из фляжки, практикующий ЗОЖ Ван Дамм и магометанин Сэм растирают голые плечи.

— Die sündige Meile¹, — подмигивает Вадиму Даша.

— Предлагаю переименовать Гороховую в Греховную, — принимает подачу Ван Дамм.

— Отделение стро-ойсь! — командует Кира, закрывая машину. Матвей отбегает метров на десять вперед и включает камеру. Протестный отряд выдвигается на соединение с основными силами.

— ...Я вот тоже не совсем понимаю, зачем эту хреновину строить, и именно там, — сообщила Екатерина Игоревна за утренним кофе, пролистывая местную газету. — Быть может, и мне сходить с тобою?

¹Греховная миля, Риппербан (нем.).

— Не стоит. — Батманов глотком допил чай, встал и поцеловал бабушку в щеку. — Лучше в Летнем прогуляйся, его ведь тоже скоро закроют на какую-то реновацию.

— Да ты что? Вот это номер! — огорчилась Екатерина Игоревна.

Он будто поймал ее мысль — интересно, доживу ли до конца этой переделки. Бабушка сидела за круглым столом в комнате с камином, которая поочередно назначалась то гостиной, то столовой. Маленький, точный силуэт на фоне бледного осеннего света из расшторенных окон. Чтобы сбить себя, да и ее, с грустной ноты, он спросил ерунду из разряда известных и сто раз обговоренных в семье — слушай, а до уплотнения это гостиная была или столовая все же? Екатерина Игоревна всплеснула руками, охотно принимая подачу.

— Столовая, конечно. Она же к кухне примыкает. Ну ты даешь, Даниил Андреевич. А та комнатка, что сейчас кабинет, была кухаркина. А нынешняя спальня была гостиной... да, гостиной. Никто же не будет делать спальню со входом прямо из столовой, безобразие какое. А вот из гостиной шел уже коридор к холлу с одной стороны и на хозяйскую полувину — с другой. Там уже и были спальни, детская, гардеробная... В детской папа и мама поселили Мусю с Данечкой, когда полковник Батманов отдал Богу душу, в конце двадцать первого года это было, а я уже год спустя родилась и этой большой квартиры толком не помню — уплотнили нас то ли в двадцать втором, то ли в двадцать третьем, и родители мои поселились в бывшей гостиной, нынешней спальне, в кабинете жила Елизавета Филимоновна, бабушка моя по папе, и Муся Батманова, а здесь была детская — я, Данечка и Володенька, мой меньшей братишка, который потом погиб на фронте, так и жили до середины тридцатых, пока отец в силу не вошел и по его хлопотам Мусе и Данечке не дали комнату неподалеку, на Моховой... А к Батмановым-то еще

раньше пришли, Андрей Данилович, прадед твой, был очень упорный человек, он и февральскую не принял. Они в последний год в одной комнате жили втроем, там Батманов-старший и помер, после этого Муся с Данечкой к нам и перебрались. А была у них квартира в доме Сюзора, вот тут рядышком, обширные апартаменты, не чета нашим. Мопрара Игорь Викторович Варрен и Даня Батманов, Даня Первый, как мы его называли, брат твоего деда единокровный, они же служили на одном корабле в свое время, и оба были такие, немного либерального толка офицеры, мой отец потом был военспецом у большевиков, поэтому нас долго не трогали, он был человек умный и немного холодноватый... А вот Батмановы все были — порох! Даня в Кронштадтском восстании погиб, Андрей Данилович уж помирал, а все на Дон рвался, как мне Муся потом рассказывала... Да ты, я вижу, собрался уже? Ну иди, иди. А я и правда в Летнем погуляю.

Набережная Фонтанки, куда он вышел дворами, несла на себе тот отсвет безразличия небес, что характерен для любого сухого и бессолнечного петербургского дня в конце осени: мутная белизна над головой и шероховатость камня всех оттенков серого и желтоватого не нарушалась даже рекой, которой мелкая рябь сообщала фактуру ежиной шкурки. Батманов решил следовать вдоль Фонтанки гвардейской дорожкой — это был отцовский мем того периода, когда мемы и вовсе не были распространены, и означал он всего лишь путь от створа улицы Пестеля с Преображенским в конце, мимо семеновской полковой церкви Симеона и Анны на углу с Белинского к ротам близ станции метро «Технологический институт» и синему в золотых звездах куполу Троице-Измайловского собора. Три старинных гвардейских полка, таким образом, могли быть охвачены часовой прогулкой. Правда, тот самый прадед Андрей Данилович Батманов, который представлял в легендах самый чистый тип семейного характера, не служил ни в одном из них — кажется, в его био-

графии было кавалерийское училище, какой-то армейский полк, потом русско-японская в сводной кавбригаде, затем Конно-Гренадерский — тот самый, что базировался в Петергофе на спуске к Ораниенбауму, что позднее разровняла почти до нулевого ординара советская и противная ей германская артиллерия в битве за Ленинград.

Теперь он свернул с набережной у Семеновской площади на Гороховую: чуть дальше места ее слияния с Загородным проспектом, на Пионерской площади у ТюЗа, разворачивался новый этап битвы за город, как ее понимали участники. Уже на Гороховой он оказался если не в толпе, то в довольно плотном движении, люди шли по тротуару поодиночке и компаниями в состоянии, которое можно было охарактеризовать как нервически-приподнятое. Временами кто-то начинал скандировать: Это! Наш! Город!.. И Даньке было сложно с этим не согласиться. Он чувствовал, как и его тоже начинает подкидывать изнутри, будто какая труба зорьку сыграла, он даже поймал себя на том, что подтянулся и начал печатать шаг. Впрочем, помимо выкриков, никаких иных процессов не было — горожане шли на разборку с башней, будто на не самую приятную, но неизбежную работу. Он удивился тому, что контингент, как выжралось его бывшее начальство, был самым разным — от бабушек-активисток до стаек молодняка через вполне солидные пары и дружеские кружки людей средних лет.

Загородный действительно был перекрыт; по проспекту, вызванивая подковами о трамвайные пути немудреную музыку смуты, разъезжал эскадрон Дружины. Унтер на темно-рыжем дончаке направлял ручеек народа к пешеходному переходу в полста метрах на юго-запад. Ввиду столь знакомой картины Батманов инстинктивно подобрался и даже замер на мгновение; он хорошо представлял, как видится народное волнение из седла, но вот наоборот до сих пор не приходилось. Правда, он заметил, что дружинники не были

вооружены ничем, кроме плетей и дубинок — лишь у офицера, парня на золотистой лошади то ли донской, то ли буденновской породы, болталась на темляке церемониальная сабля; перехватывая рукоять, он указывал своим расположением вдоль улицы, словно гаишник — жезлом. Батманов на мгновение встретился с ним взглядом, у парня было спокойное и даже торжественное лицо, он явно чувствовал себя на месте.

Лейтенант привстал на стременах, заглядывая куда-то дальше; Данька проследил его взгляд. Через переход тянулась странная компания: впереди человек с камерой, за ним — девочка в тюремной робе, распахнутой на высокой груди, дальше выступали два хлопца, одетые в форму Дружины, но пешедралом. И кто-то еще семенил на полшага сзади.

Близорукий Батманов, присматриваясь, одновременно ускорил шаг. Да, третьим в компании путешествовал карлик — кажется, тоже по форме. На переходе все трое мужчин достали длинные плетки и принялись щелкать ими по асфальту вокруг девицы, которая начала оглушительно визжать. К группе моментально подлетели люди в жилетках «пресса», дружинный лейтеха, лицо которого сменило торжественное выражение на раздосадованное, тоже дал шенкеля и поехал к переходу прибавленной рысью.

Приблизившись к компании, дружинник остановил коня прямо перед оператором, который стукнулся затылком в дружелюбно вытянутую ему навстречу лошадиную морду и, не оглядываясь, технично слился куда-то в сторону, оставляя пространство для общения двум парням с плетками и их маленькому товарищу. Батманов тоже подошел поближе и разглядел, что молодые люди без рубашек. Подтяжки на голых спортивных торсах. Лейтенант дружины заметно скрипнул зубами.

— Лейтенант Васильев. Что это за клоунада? — звонко выпалил он, а дальше не нашелся что сказать, потому что

между парнями с плетками вышла девица в робе, а за нею еще две, не в костюмах, но тоже молодые и симпатичные: миниатюрная брюнетка с совершенно негритянскими жесткими и курчавыми волосами, вздыбленными черной шапкой вокруг бледного лица — свободу Анжеле Дэвис, — и полная шатенка с ямочками на щеках.

— Очень приятно, лейтенант... Васильев, — низким, грудным голосом с едва слышным придыханием приветствовала его девушка в робе. Подойдя сбоку, она склонила голову к плечу и ласково улыбнулась.

— А это у вас... лошадь?

— Да, так точно. Конь, — закашлявшись, лейтенант пытается прочистить горло.

— Мм... Рыженький, — гладит лошадиный нос Анжела Дэвис. Девушки незаметно берут всадника в клещи.

— Такой... большой, — низкий голос с придыханием. Ухоженная девичья рука гладит лошадиную шерсть рядом с седлом. Конь подергивает шкурой, лейтенант вздрагивает ногой в стремени. Как загипнотизированный, смотрит на небольшую, красивую ладонь, затем его взгляд непроизвольно ползет выше по руке и замирает в вырезе полосатой робы: — На вас похожа, лейтенант. Люблю рыженьких. — Низкий голос приобретает гипнотические нотки: — Что за порода?

— Моя? — хрипит лейтенант, покрасневший до самых корней светло-рыжеватых волос. И правда, похож на своего коня, — отмечает с тихим смешком Батманов.

Вокруг собирается небольшая любопытная толпа. Люди толкают друг друга локтями, посмеиваются. Видеооператор обходит компанию с другой стороны, стараясь занять более выгодную точку съемки. Дружинник на мгновение отвлекается:

— Не снимать!

— А мы для себя, — дергает плечиком Анжела Дэвис.

— Немножечко, — подает голос шатенка с ямочками.

— На память, — с обещанием произносит девушка в робе. Ее ухоженная рука трогает стремя: — А меня Даша зовут, — скидывает глаза на вконец офонаревшего парня: — А тебя?

— Кос... лейтенант Васильев.

— Такая толпа, — словно не слыша его старательно строгий голос, произносит Даша: — Вы не проводите нас?

— Будете нарушать — провожу в изолятор! — сердится дружинник, но лошадь под ним, словно угадав настроение всадника, пятится, переступая рельефными ногами. — Проходите, не задерживайтесь! — командует лейтенант Васильев.

Мимо него проходят сначала девушки — Даша в робе и с сиськами, затем Анжела Дэвис и та, с ямочками. Затем следуют парни в полуформе и карлик. Тут лейтенант Васильев отворачивается, стараясь не видеть этого бардака, в этот момент карлик Антон посылает ему воздушный поцелуй. За костюмированной группой тянутся ингерманландцы с желто-синими флажками, над их головами плывет огромный надувной крокодил, а под ногами путается маленькая крапово-серебристая спаниелька, вышагивают реконструкторы в советской форме времен последней Отечественной, шествуют Петр и Екатерина, колыхая высокими париками, со стороны площади уже слышатся песни каких-то полузабытых рок-героев и первые речи; над ТЮЗом, снижаясь по дуге, стрекочет вертолет, оттуда, верно, видна не только толпа на Пионерской и тянущиеся к ней ручейки народа, не только два ряда оцепления — конное и милицееское, но и стоящие дальше по проспекту автозаки, и даже сама тень Башни, нависшая над городом.

— Они решили воткнуть свой осиновый кол прямо в сердце русской Европы! — кричит дяденька с трибуны. — Это! Наш! Город! — откликается ему толпа знакомой речевой. — Мордор не пройдет! — сообщает тетенька из актива, завладев микрофоном. — Нет Мордору! — кричат митингующие.

— С-судя по хеакции, толкинистов тут собгалось погядочно, — комментирует сосед, вместе с Батмановым вытолкнутый на газончик между толпой и оцеплением. Данька невольнo обращает к нему взгляд — нечасто бывает, чтобы человек картавил и шепелявил одновременно, да еще и заикался слегка.

— Удивительно, что навехху в подобных акциях, как пгавило, оказываются люди, для котогых мы в свое время избобьели отличное словечко «неуподоблюсь». Ты только посмотри на них, — парень ткнул по направлению к трибуне початой бутылкой пива; интересно, как пронес, милиционеры вроде бы сумки шмонали. — Угощайся. — Бутылка пива «Охота крепкая» описала полукруг и остановилась у его лица — парень был выше Батманова почти на голову.

— Нет, спасибо, — отказался он и, чтобы сгладить, представился, почему-то на американский манер, — Дэниэл.

— Джонни, — кивнул парень.

— То есть, Даниил, конечно. Это я по привычке.

— Да мне похуй, Даня, я-то все хавно Джонни, — усмехнулся парень, при этом стало видно, что у него недостает передних зубов. Вечно мне везет на интересные знакомства, — развеселился про себя Батманов. Собеседник, меж тем, продолжал верхоглядствовать: — Вот почему бы им не запустить на тхибуну вон того, напгимер, высокого хега, тем более что он и сам гвется. Смотхи, какой кгасавчик... все бабцы хоть поняли бы, что не зря пленеблегли воскресным походом к маникюгше.

Батманов присмотрелся — у трибуны стоял еще один ряд оцепления, уже из активистов, сквозь который пытался прорваться статный мужчина лет сорока, на костюме, с породистым южнорусским лицом, в котором было еще и что-то то ли кавказское, то ли татарское. Его не пускали, потрясая какими-то бумажками — видимо, списками выступающих.

— Ягкий тип, — отрекомендовал его Джонни, — но на тхибуну его наше политбюхо не пустит, так и будут сопли жевать, пока замес не начнется.

— А ты-то сам с чего здесь? Поглазеть?

— Не, ты что! — возмущенно вылупил глаза Джонни. — Я геально п-пготив этой хегни. Я ж у профессога Сойкина на гаскопе габотал. Там же Мысовое гогодище в земле, новгоходское еще, потом Ландскгона шведская, котогую, пгавда, новгоходцы, такие молодчаги, пожгли чегез год, потом уже Ниеншанц. Откуда есть пошла питегская земля то есть. И они там хотя эту бандугу свою вкопать. Вахвагы! Не, я сознательно... Я и хлопцев своих позвал, только они все в похмелюге валяются. Кстати... давай дождемся замеса, а потом пойдем пиво пить. Ты, я вижу, пхи деньгах, а я места знаю.

— Да я тоже знаю. Я местный, в общем-то. Но пива можно попить. А что, думаешь, будет и замес?

— Непгегменно будет! Видишь, там флаги АКМ и нацбольские эти, с сехпом и молотом в куге. Если они пхипеглись, точно будет замес. Да и менты, глянть, пхи всех делах — каски, щиты... Даже этих конников нагнали, Дхужину, от котогой после ихних художеств лет пять назад только конное подгазделение и оставили. Они, гогоят, вообще звехи. Им тепегь и охужия не дают, и так все ссутся. А что ты гжешь, ты сам подумай, как такенная твагь на тебя поскачет! В общем, это все хавно как на холевой игге, когда пацаны с обеих сторон одоспешились, дгыны взяли и накидались слегка — замеса уже просто не может не произойти...

Генка с ингерманландцами зашел на площадь вскоре после них, Вадим видел чуть позади развевающиеся флажки со шведским крестом наоборот — синим на желтом поле, и с тонкой красной обводкой. Он хотел было отпасть от порнографов и пробиться к ним, но людская гуща отделила их, Генка с флажками, крокодилем и спаниелькой поплыл куда-то

вправо, а их с порнобригадой притерло почти к трибуне. Пока они плыли сквозь толпу народа, пока Шурка попросила постоять в кругу, чтобы ребята исполняли свое шоу — Ван Дамм с возмутительным правдоподобием изображал грубое соитие с Дашей, та визжала жалобно и страстно, Сэм и Антон щелкали кнутами, пока их со сцены просили прекратить и вызывали милиционеров на подмогу, пока милиционеры проталкивались сквозь, в этот их круг неожиданно втерся Алькин рок-герой. Он был красив, чисто выбрит, на костюме, рядом ошивалась Смирнова — бледная, в юбочке колоколом и коротком пальто. Терешонок поймал себя на том, что смотрит не на Альку, а на Батманова, и сравнивает его и с романтическим образом, преподнесенным в свое время ею, да и с самим собою — и с неудовольствием признается, что реальный Батманов выигрывает у обоих. Это был взрослый, уверенный в себе даже до легкого самолюбования человек, хорошо одетый и умеющий носить этот свой костюм — современный вариант доспехов, говорящих и о статусе мужчины, и об умении им распорядиться. На его фоне сам он мало чем отличался от веселых героев Риппербана, а если и отличался, то не в лучшую, не в сильную сторону. Единственное несоответствие, что царапало Терешонка, было даже не различие в возрасте — бывшему лейтенанту Ворону, по его прикидкам, должно быть слегка за тридцать, Батманов же выглядел на все тридцать пять или побольше, а странная для человека, прошедшего какие-никакие, а жернова системы, *непоротость*; прямо сей момент на митинге от него волнами расходился отчетливый драйв конфликта, пожалуй, можно было сказать даже — Батманов недвусмысленно нарывался. Вот он поднял руку, помахал и на неожиданно высокой ноте закричал: пресса! К нему тотчас протолкалась пара корреспондентов. Терешонок не успел удивиться подобной прыти литератора и эмигранта, когда тот приосанился перед камерой и представился:

— Максим Карабеев, Москва. Что я здесь вижу? Я вижу здесь искреннюю народную активность, я вижу здесь молодых ребят, — заграбастал, приобняв, Дашу, — которые представляют остроумный политический перфоманс. А что же ваши политические столпы? — взмах в сторону сцены. — Они не могут увлечь людей! Давайте спросим... девушка! — кивнул Альке. — Да-да, вы. Вот зачем вы пришли сегодня на площадь? Уж явно не за тем, чтобы слушать этих старых мудаков!

Алька сделала шаг к Максиму и тут увидела Терешонку. На его лице в этот момент застыл отпечаток внезапного понимания и такой детской обиды, что она вспыхнула и невольно отзеркалила его возмутительной палитрой из стыда, иронии и замешательства. Ответом на подобный вызов могло быть только одно, и Вадик тут поддался импульсу, о котором, впрочем, не пожалеет. Вытащил руки из карманов, сделал шаг и при включенных камерах без предисловий заехал в табло Максиму. Тот шатнулся назад, а затем резко подал вперед, оттолкнув с дороги Дашу; та взвизгнула, потом низко, пугающе захохотала, рванула робу на груди, обнажая свои удачливые силиконовые груди; защелкали затворы фотокамер. Максим, неловко споткнувшись, впечатался лбом в нос Терешонка; Вадим, на миг ослепнув от острой боли во всем лице сразу, размахивал руками, как мельница в ураган, пытаясь достать ложноБатманова; карлик Антон повис на одной его руке, в то время как подоспевший громадный мент винтил другую за спину. Одновременно винтили Максима и пытались прикрыть сиськи хохочущей, уворачивающейся от рук Даши, а дяди и тети с трибуны говорили о неожиданном инциденте. Пока их вдвоем — Терешонка и Карабеева — вели, пригнув головы, к автозаку, а матерящегося карлика Антона здоровенный детина нес туда же, взяв под мышку на манер злобной гламурной собачонки, на левом фланге митинга бойцы АКМ вместе с нацболами, как и предполагал Джонни, пошли

на прорыв оцепления. Весь район Шанхая, примыкавший к Витебскому вокзалу, зашевелился. По Загородному корпус к корпусу выстроились кавалеристы; между ними пробегали отдельные люди, надеясь укрыться в садике напротив, за ними, развернувшись на девяносто, скакали дружинники и бежали космонавты. Данька видел, как ни за что ни про что отметелили людей на остановке троллейбуса, в то время как они с новым корешем Джонни стояли на вокзальном паркинге и наблюдали, как нацболы с ревом мчатся на цепь ОМОНа. Какой-то мирняк попробовал уйти из замеса и поскакал на парковку; менты понеслись за ними. Как бы нас тут тоже не угаботали, — забеспокоился Джонни. — Ровно, ровно стой, — повторял, как заклинание, Батманов. Они встали у капота припаркованной тачки, бодрясь и покуривая в ожидании встречи, ОМОН бежал на них, время от времени ударяя дубинками о щиты, словно какие-нибудь древние германцы. Над Пионерской площадью все так же стрекотал вертолет, и кто-то в мегафон сообщал, что станция метро «Пушкинская» закрыта.

— ...Ебать мой лысый череп! — расстроилась Кира. — Так, народ! Операторы — ко мне. Выходим отсюда, кто уцелеет — сбор у машины.

— Мотя, дай Сэму куртку, чтобы внимания меньше привлекал, — сообразила Шурка, скидывая свою джинсуху и отдавая Ван Дамму. — Где Дашка? Ее тоже надо того... прикрыть!

Даша потерялась, но с парнями они успели произвести это переодевание до того, как их оттеснили друг от друга какие-то рвущиеся в бой активисты. Площадь была оцеплена так, что выход оставался лишь через узкое горлышко к станции метро, которая, по интересному совпадению, была закрыта, и где как раз и творился самый лютый бардак. Шура разглядела, как менты несколько раз с особенным остервенен-

нием отоварили людей с камерами и в жилетках «пресса», и порадовалась, что не прихватила с собой такую же. Они с Кирой и Матвеем двигались в толпе вдоль кустов, не особенно торопясь лезть по направлению к выходу, откуда раздавались крики, мат и речевки вроде «Россия — все, остальное не существует». Россия разгулялась в этот день на славу; к середине дня вышло яркое осеннее солнце, небо очистилось, и сверкание милицейских щитов, вспышки камер и уже не проплывающие, а мечущиеся над толпой в беспорядке флаги различных политических групп создавали ощущение настоящего народного праздника. Казалось, накопившееся недовольство всеми жизненными неурядицами, от неподъемных платежей по ипотеке до остоебеневшей супруги или отвратительного климата с перспективой надвигающейся зимы выплеснулось в эту почти хэллоуинскую вакханалию: граждане орали и наскакивали на ментов, тетки били их сумками, а служители правопорядка, что какой-то час тому назад лениво пересмеивались в строю, внезапно будто обратились в людей иной породы, с подлинным энтузиазмом раздающих удары направо и налево. Как раз между рядами демонстрантов и колеблющейся цепью ментов застрял сумасшедший — он упал на спину и выл одну и ту же фразу, как рефрен, и матерился в перерывах; прислушавшись, можно было разобрать слова: а теперь мы вас, ру-у-усню, бу-у-удем немножко уубивать... Ебнутого долго никто не трогал, пока кто-то из сотрудников, буквально о него споткнувшись, не схватил за ногу и не потащил по асфальту — тело сумасшедшего оказалось неожиданно легким, и он в своем пуховике не по сезону будто не волочился, а катился за космонавтом.

Наконец Кира заметила образовавшуюся в милицейской цепи брешь — видимо, часть парней перекинули к метро, куда постепенно перемещался центр протестной активности. Пригнувшись, чтобы казаться еще меньше, она быстро потянула за собой Матвея с главной ценностью бригады —

дорогой видеокамерой. Опытная Шурка тоже воспользовалась моментом; проломившись сквозь кусты, они вылезли на Звенигородской, быстро пересекли Загородный и с Бородинской проездами и дворами вышли на Гороховую и дальше, к Большому Казачьему. У машины их уже ждали Ван Дамм, Даша и Сэм, которому слегка прилетело дубинкой — он катал по волосистой части головы жестяную банку с холодной газировкой; то есть, кроме Антона и Терешонка, потерь не было.

— Куда их могли повезти? — спросила Кира, залезая в машину и доставая ноутбук с мобильным модемом.

— Я тебе и без интернета скажу, — сообщила Шура. — Двадцать восьмой ближайший отдел, еще пятерка или семьдесят восьмой на Чехова, если тот переполнен, а он переполнен наверняка.

— Ну и куда нам рвать? — расстроилась Кира. — Давайте тогда разделимся.

— Куды бечь? — мрачно пошутил Ван Дамм.

— Да нет особого смысла там ошиваться сейчас, их все равно сразу не отпустят. Пока оформят, то-се. Я сейчас попробую подключить лоера одного, он все узнает.

Она начала набирать по мобильному.

Генрих успел схватить Альку за рукав, когда она ринулась за милиционерами, что уводили Карабеева и Вадима. Стой-стой! Тоже в автозак хочешь? Что у вас вообще за фигня тут происходит? Пиздец, пиздец, — только и повторяла Алевтина. Ладно, не до того сейчас, давай выбираться... — взял инициативу Генрих.

Он оттащил ее к газону, там быстро сдул своего крокодила, спрятал в сумку. Ридли, тоже примкнувший к ингерманландцам, свернул желто-сине-красный флаг, обмотав древко.

— Воткни здесь, — посоветовал ему Генрих. — Жаль, но придется бросить. Попробуем выйти через южную часть плаца на Марата. Типа, с собачкой прогуливаемся.

Тина понимающе смотрела грустными теплыми глазками и вертела обрубок хвоста. Молодые люди, пронизывая редящую толпу, направились к зданию ТЮЗа, улице Марата и Багратионовскому скверу.

— Здесь, на Семеновском плацу, между прочим, Федора Михайловича понарошку расстреляли. А потом еще народовольцев вешали, уже с концами. Так что место намоленное, — светским тоном сообщил ей Генрих. К их разочарованию, с задней стороны площади оцепление тоже пока не сняли, но в остальном все было тихо-мирно, не то что у метро, поэтому они принялись прогуливаться по краю газона, Генрих даже достал мячик и выпустил поводок спаниельки из карабина. Тина бегала за мячиком, а Алька шла рядом и не знала, с чего начать объяснение, которого с очевидностью ждал Генрих.

— Занято, наглухо. Видимо, востребован сегодня мой Сергей Петрович, — заявила Шура. — Давайте поедем пожать куда-нибудь, а через часок я еще раз позвоню.

— Я бы даже бахнул слегка, — слегка шепелявя, сообщил Сэм.

— Аллах не заругает? — усмехнулась Шура.

— После такого — поймет и даже одобрит.

— Что, Сэмчик, трахаться проще, чем протестовать? — подколола его Даша.

— Я б даже сказал — приятнее, — признался парень, открывая дверь машины.

— Давайте попробуем на Ваську пробиться, я там отличный кабак знаю — еда, пивас, водочка для интересующихся... Дешево, сердито и не травят. Я всегда там после лекций питаюсь, — высказался Ван Дамм.

— Ну, погнали, — вздохнула Кира. — Как там наш маленький друг, вот что тревожно.

— Слопают его на ужин всем отделом, — пошутила Шура.

— Вот видно, Шуренция, что ты не из наших девочка, — подал голос Матвей.

— А что?

— Все мысли о еде.

— А надо о чем?

— Па-е-ха-ли! — возгласила Кира с водительского сиденья, пока дело во взвинченной атмосфере не дошло до взаимных обид; завелась и выкрутила магнитоу на полную громкость: будем друг друга любить, завтра нас расстреляют — грохнула оттуда песня «Наутилуса».

...Слушай, ну я даже и не знаю, как тебе сказать... Нам с Вадимом надо во всем разобраться.

— Что, Андреич опять с Шуркой закрутил?

— Если бы! — вырвалось у Альки. — Впрочем, я не знаю.

Она снова замолчала. Отиравшийся чуть поодаль из деликатности Ридли негромко свистнул.

— Слышь, кажись оцепление снимают.

Один из милиционеров, впрочем, как раз обратил на них внимание, и Генрих, взяв Алевтину за локоть, галантно повлек ее из зоны видимости офицера. Они обошли здание театра и, не видя больше на своем пути людей в форме, пошли в сторону Марата.

— Что ж, не хочешь говорить — дело твое, — рассудил Гена. — Теперь, когда мы обрели вождеденную свободу передвижения, нам надо озаботиться возвращением оной нашему товарищу. У тебя есть знакомые юристы?

Алька почему-то покраснела.

— У Волковой наверняка есть, — предположил Ридли. — И она тоже здесь была, с этими...

Гена нахмурился.

— Ладно, придется, видимо, ей позвонить.

Он на ходу достал свою старенькую неубиваемую «нокию» и нажал пару кнопок — Алька машинально отметила, что Шуркин номер до сих пор был у него в быстром наборе.

— Привет снова. Ты там как, в отдел не уехала? Ну замечательно. Я вот насчет Андреича, которому не так повезло. Что? А. Понятно. Хорошо, мы подыедем.

Гена нажал отбой.

— Они на Ваську едут, в «Бруствер», оттуда будут звонить адвокату. Пойдемте на Марата, тормознем там мотор.

— А ты уверен, что нас повезут с собакой? — усомнился Ридли.

— Это ж не молосский дог тебе, да и хачводилы обычно не привередливы. Потопали.

...После того, как они счастливо избежали железных объятий системы, Джонни на радостях затащил Батманова в ближайшую разливуху на Гороховой и с широкой улыбкой произнес:

— Товагищ, я угощаю! Но — только здесь, дальше ты. Выбихай, что хочешь.

Выбирать на самом деле было особо не из чего — несколько сортов удивительно дешевой водки, два вида пива — темное и светлое, на закуску — бутерброды с сыром, бутерброды с яйцом и бутерброды с килькой за три рубля. От последней позиции Данька едва не прослезился.

— Отвык от такой экзотики, да, бхатан? — Джонни ткнул пальцем в выставленную на витрине кильку. — Дайте шесть! Или десять?

— Мне пары образцов специалитета, пожалуй, будет достаточно, — засмеялся Батманов. Килька по-честному пахла портянкой. Также они взяли триста водки для начала и по стакану светлого.

— Ну, что! — за столиком со снедью и выпивкой настроение Джонни, и так приподнятое, грозило перейти в экзальтацию. — За Ленинград!

Они чокнулись, отхлебнули пива. Пена смешно повисла у Джонни под носом.

— Это, конечно, по-своему феномен интегесный, — продолжал разглагольствовать он. — Вот заметь — Москву

чуть менее чем полностью к чехтям расхегачили, а наход там ни гу-гу. Ну, оно понятно, им некогда, они башли заколачивают. А у нас тут бабла нет, так что хазвлекаемся по-своему. Гоход трех хеволуций! Здесь даже флигелек какой мелкий снесут, и то гхадозащитники вопят, а тут такой повод для пхаздника дали. Я тебе точно говою, веселуха будет надолго, еба... Ну, давай.

Они быстро прикончили первую порцию выпивки, но Джонни, видимо, памятуя о своем обещании угощать только в этом месте, выдвинул идею пойти куда-нибудь еще.

— В одном заведении надихаются только лохи и жалкие алкаши, утхатившие вкус к жизни! А пхавильные пацаны чехедуют тгениховку печени с пгогулкой.

— Ничего не имею против бархоппинга. Только давай двинем в сторону Васьки, меня там к вечеру товарищ в гости ждет, он здесь тоже был, но мы в этой сутолоке потерялись.

— Заметано! Но по пути еще куда-нибудь завехнем, чтобы не тегать темп!

Джонни расплатился, они вышли на солнечную улицу и зашагали к Адмиралтейству, с каждым шагом все более довольные друг другом.

— А в-вообще что-то бходит, конечно, — продолжал разглагольствовать подогретый замесом и легкой выпивкой новый товарищ.

— Бродит или будет?

— И то, и дхугое! С одной стогоны — все эти любители п-побегать на ментов и скользкие типы на костюмах, и общая газболтанность, пгивычка к анагхии, что установилась в десятилетие нашей юности, хген вытхавишь тепей... с дхугой — зов земли. Не, ты не смейся, я ж тебе очевидные вещи говою. Ты смотхи — значительная, если не большая доля маггинальных субкультух сейчас обращена в пгошлое. Началось все с нас, то есть с эльфов, — со скромной гордостью констатировал Джонни, — затем пошли обдолбанные готы,

вольные ингехманландцы и дгевние новгоходцы и п-пхочие ге-конст... тьфу, блять! Да ты сам-то вот на кого учился?

— На историка.

— Во! Я же схазу вижу — модный чувак. В советское время в любом Доме пионеров были авиа-, авто-, хадиоконст... хуктогские кхужки, а сейчас сплошные кто? Ре...

— Конструкторы, — помог ему Батманов, не в силах наблюдать битву товарища с проклятым сонорным.

— Вот! Но точнее всего тему уловили хазные г-гхобокопатели, от идейных поисковиков до чегных агхеологов. Они вот четко поняли — земля пгоснулась и зовет... И схеди них, что показательно, есть и те, кто любит не нашего усатого, а кое-какого дхугого. Мертвые-то тут очень хазные лежат, в наших-то болотах. Смекаешь? Ты-то хоть от наших?

— Скажи же, скажи мне, товарищ, попал в рудники ты за чо, — усмехнулся Батманов.

— Я из леса вышел с дубиной, на небе светила луна! — радостно подхватил Джонни. — Ну, вот тепегь вегю, что наш. На пгохожих сегодня не будем нападать, давай-ка лучше завехнем еще накатим, погодка-то как хазгулялась, а?

Промытый светом осенний Ленинград по контрасту с блеклым утром звучал, как духовой оркестр после скандинавского трип-хопа, это ощущение создавалось несмотря даже на вымершую тишь ближайших к Пионерской улиц — прослышав о беспорядках, водители предпочли не соваться пока в эту часть города, движение по Гороховой было скудным, да и пешеходов негусто. Двое подгулявших оппозиционеров на удивление стремительно нанизали на линию своего пути Фонтанку, Грибанал и Мойку, Садовую с Казанской и обе Морские, лишь пару раз завернув в тайные распивочные, которые указал Джонни — одна находилась в продуктовом магазине, другая — где-то во дворах недалеко от Сенной. Джонни, окончательно расположившись к новому приятелю, всю дорогу сыпал, как из прохудившегося

мешка, байками из своей живописной жизни, не давая Батманову слова вставить — впрочем, тот и не рвался, истории про покражи новогодних ёлок или битвы толкиенистов друг с другом и с ментами были куда любопытнее и уж точно веселее того, что он в свою очередь мог бы поведать. А иной раз в рассказах Джонни сверкали такие удивительные переключки с тем, что он сам забыл, не хотел бы помнить и даже знать, или, напротив, по чему невосвратно, как выяснялось только сейчас, тосковал, что у него появлялось ощущение — ему рассказывают собственную жизнь с неожиданного ракурса, обнимая ее неким общим контекстом — жутковатым, но знакомым, своим. Ну а после посещения рюмочной во дворах с исполнением «Волховской застольной», битьем рюмок и попыткой заплакать, которая была отвергнута, вместо того подавальщица взяла с них обещание самим прикупить рюмки и притабанить в следующий визит, Батманов и вовсе стал поглядывать на своего долговязого беззубого спутника как на своего рода дух места, соткавшийся из осеннего тумана под лучами холодного солнца с миссией заново посвятить его в пленники города — родного, знакомого до каждого излома растущих с отступлением дня теней, торопливо и безнадежно отвергнутого и вот теперь возвращающего свою над ним власть.

— Я тебе вот что еще скажу, ты только не смейся сызнова, это у меня такая теогия сложилась, еще давненько... — На крыльце маленькой рюмочной, что выходила на глухой брандмауэр, Джонни с удовольствием затянулся дешевой вонючей сигаретой.

— Гони свою теорию, — согласился размякший Батманов.

И тот начал гнать, причем по мере развития мысленного сюжета из его речи постепенно пропадали все дефекты, а голос приобретал уж совсем потустороннюю убедительность.

— Видишь ли, в начале-сегедине девяностых, котохые ты, судя по всему, должен неплохо помнить... в те времена,

когда меньшая часть населения растаскивала страну, как горящий дом, на разнообразное барахло, а большая наблюдала за процессом с неммым укором и некоторой завистью, выделилась еще одна частичка, поначалу небольшая, казавшаяся несущественной... В нее входили разнообразные сообщества поклонников потустороннего, вроде астрологии и карт Таро, клубы сочинителей хокку, фанатов японской анимации, почитателей Толкиена, игроков в ролевые игры, любителей боя на мечях и пистолетах, стреляющих пластмассовыми дробинками, присосками, далее шариками с краской; также были писатели в газету «Сорока», среди которых выделялись: непризнанные гении в области изящной словесности, музыканты и адепты музыкальных направлений, любители ходить по крышам, ухаживать по кладбищам и любители лазать по городским подземельям, археологи-теоретики и черные копатели-практики, болельщики «Формулы-1»; все под разнообразными никами и все со слегка сдвинутой башней. Нормальные граждане — как те, что тащили, так и те, что не присоединились, дружно презирали мир этих странных, причудливых жизненных форм, и даже придумали специальное определение для его обитателей: «дезадаптанты». Они не знали, что скоро наступит Интернет, который, создав среду для распространения всех этих вирусов, превратит чуть не половину — а может, и побольше — активного населения страны в носителей того или иного штамма. Дойдет до того, что вскоре мы уже перестанем осознавать, как мало людей на самом деле обитает в реальности, насколько она пуста и просторна и напоминает ночной супермаркет, наполненный вещами и продуктами, со скупающим на кассе персоналом и двумя-тремя обескураженными посетителями. Большой, пусть холодный и малоприспособленный для жизни, напоминающий барак, но, — общий, — дом растащили по кирпичику. Взамен построили некоторое количество новых фешенебельных комплексов и особняков, иные

даже на Рублевке или на Канарах, где-то еще. Те, кому не досталось в этих домах места — не в качестве хозяев, так хотя бы в дворницкой или лакейской, те — ушли. Реальности как общего дома больше нет. Есть некое странное пространство, расчерченное заборами и по интенсивности бытия сравнимое с дантовым Лимбом для невинных язычников и некрещеных младенцев. Остальные души давно пребывают где-то не здесь...

Джонни замолчал и, проморгавшись, попробовал снова затянуться своей «Золотой Явой». За время его монолога та погасла; чертыхаясь, он несколько раз щелкнул зажигалкой.

— А где? — после недолгого молчания решился спросить Данька.

— Где-где! На боходе! — помотал головой Джонни. — Ну, еще по одной и к остхову твоему, а то на ужин опоздаешь.

...Когда они приблизились к Александровскому саду, выяснилось, что будто специально для этого случая включили фонтан перед Адмиралтейством. Он поработал всего каких-то минут пять, пока они приближались, рассыпал брызги среди облетевших деревьев, посверкал в косых лучах клонящегося к западу солнца и погас; когда они пересекли проспект, то увидели, что вода уже была спущена, и рабочий мужичок, прохлюпав в черных резиновых сапогах по неглубоко натекшим в чаше лужицам, осматривает механизм.

— Как там? — нервничала Кира.

— Теперь не берет просто. Голосовая почта включена.

— Давай номер, я со своего позвоню.

— На что ты намекаешь?

— Шура, ни на что. Но откуда я знаю, почему твой Сергей Петрович не берет трубу, когда ты звонишь. Может, ты его скандальные откровения тиснула где-нибудь и забыла.

Шура усмехнулась не без самодовольства. Репутация грязного гарри от журналистики ей определенно нравилась. Она продиктовала номер, Кира нажала вызов.

Дверь подвального бара открылась, затем с шумом захлопнулась. Высокий парень в камуфляжных штанах и распахнутым черном пальто замер на ступеньках, поболтал рукой, раздвигая пласты табачного дыма и выглядывая, где бы присесть. Они с Кирой увидели друг друга одновременно. Не отнимая трубку от уха, она приподнялась и замахала рукой.

— Джонни! Давай к нам!

Парень кивнул Кире, потом обернулся, кивнул человеку, вошедшему сразу за ним, и начал спускаться. Процесс этот немного затянулся, потому что Джонни, похоже, в этом баре знали все: одни старались обратить на себя его внимание, другие старательно отводили взгляд, какой-то волосатик даже схватил за хлястик пальто с явным намерением предъявить, но Джонни лишь обескураженно развел руками — пьян был, пгипатель, ни фи́га не помню. Хочешь — найди дгын, выйдем, и я тебя отовагю. Только этим и могу помочь. Все, все... Видишь, я с товагищем. Можем вдвоем тебя отовагить, только компаньона найди, а то нечестно.

Товарищ Джонни был невысокий человек, неброско и комфортно одетый, в короткой ухоженной бороде, с вьющейся темной шевелюрой. Вдвоем они смотрелись, как опустившийся Арагорн в сопровождении обстоятельного гнома — из тех, у кого и инструменты в порядке, и по кредиту он платит минута в минуту. Оба наконец протолкались к столику Киры, Шурки и их товарищей.

— Пхивет, девчонки! О, Ван Дамм, пхивет! Это Дэниел, он пгпехал откуда-то и схазу попал в отличный замес. Откуда ты, кстати, пгпехал?

— Из Нью-Йорка.

— Да! И вот стоим мы с Даней из Нью-Йохка на пахковке у метхо «Пушкинская», а на нас космонавты хуяют...

А он такой мне — ховно, ховно стой. Я схазу понял — человек бывалый и не ссыкло. А потом мы с ним слегка накидались.

— Вы тоже там были?

— Да кого там только не было!

— Блин, у нас там ребят замели в ментовку, второй час не можем до адвоката дозвониться.

— Кого замели-то?

— Андреича из поисковиков ингерманландских и еще одного, ты не знаешь.

— А, Тегешонка! Знаю, хезкий пацанчик. Я бы сам его на месте ментов угаботал, ха-ха!

— Давайте я своего адвоката наберу, мало ли, он свободен, — предложил незнакомец.

— Бля, точно! У вас же у всех там есть адвокат. А ты амегиканского с собой возишь или у тебя местный?

— Это, знаешь, как у моряка — по девушке в каждом порту.

Джонни расхохотался. Шура подвинула сумки — присаживайтесь. Незнакомец присел, снял перчатки, достал телефон. Подошла подавальщица. Дайте нам водки пожалуйста — быстрый взгляд на компанию — ноль пять и василеостровского темного... кто будет? Трубка откликнулась одновременно с собутельниками. Три пива, и... Алексей Иванович, день добрый. Ничего, что я в выходной? Да, по делу.

— И ты здесь, кхаса моя? — Джонни протолкался в конец стола и целовался с Дашей. — Да! Я, прикинь, сначала сисянами своими новыми потрясла, а когда меня ловить начали, за баннер у сцены спряталась! Хочешь потрогать?

— Угомонитесь! — шикнула на них Кира. — Человек с адвокатом разговаривает.

Недавнее напряжение под действием легкого опьянения, сдернувшего с компании и те невеликие пути стеснения, что у кого-то были, выплескивалось теперь; Шурка дергала ногой и лихорадочно листала блокнот, Сэм задирался к какому-то

неопрятному бородачу, Ван Дамм, наплевав на ЗОЖ, хлестал водку, Даша и Джонни, казалось, вот-вот уединятся прямо в барном сортире, только Матвей, не доев свою солянку, дремал на столе, обняв камеру, да Кира вслушивалась в разговор незнакомца.

— У меня знакомых приняли на том митинге у ТюЗа, слышали наверняка. А, вот как. Хорошо, минуто.

Отнял от уха телефон.

— Фамилии друзей ваших, — неожиданно звучно перекрывая голосом шум за столом.

— Терешонок Вадим Андреевич, — выпалила Шура. Кира: — И Антон... Черт, я фамилии его не помню. Шурка, вы релиз подписывали. Помнишь? Ну как не помнишь!

— Не помню, — Шурка напряглась. Кира цыкнула, — момент, — и полезла в свою вместительную дамскую сумочку за ноутбуком.

— Да Савватеев его фамилия! — крикнула Даша с дальнего конца стола. — Надо же знать, с кем фачишься, — незнакомцу, с легким кокетством. Тот только приподнял бровь, пересеченную коротким шрамом, как Кира теперь заметила.

— Терешонок Вадим Андреевич и Савватеев Антон, отчество уточним... Ну да, вряд ли. Я вам скину эсэмэской телефон, — Кире, одними губами, — ваш?.. Да, телефон девушки, которая этим делом заинтересована. Спасибо. Да, на связи.

— Он сейчас как раз в отдел едет коллегу выручать. Может, и ваши там найдутся. Кира, да? Запишите телефон — Алексей Иванович...

Им принесли новый заказ — водку, пиво. Ван Дамм разлил по рюмкам, Даша ушла в дабл — как ни странно, в одиночестве, Сэму так и не удалось нарваться на драку, Джонни снова принялся травить свои байки, которые мало кто слушал — не только компания, но и все посетители бара — даже и те, кто не появился на площади и теперь горько об этом

сожалел, были охвачены взвинченно-приподнятым настроением людей, хлебнувших легкого адреналина. Только Даня из Нью-Йорка, которого Кира про себя назвала гномом, выглядел расслабленным, почти умиротворенным. Спросил у нее номер, отбил обещанную смс, поднял голову.

— Я бы что-нибудь сжевал, но заказывать еще раз нет времени, — сообщил он Кире, которая ненароком встретилась с ним изучающим взглядом.

— У меня есть отбивная, я только кусочек отъела. Если не брезгуешь, — подвинула свою тарелку.

— Без проблем, — улыбнулся. — Мерси.

Нашел на столе вилку и начал без стеснения наворачивать питательную, но совершенно несъедобную отбивную под шапкой сыра и майонеза.

Шура, все так же подрагивая ногой, набрала кого-то, затем сообщила:

— Генка со своими застрял на Марата, никто их с собакой не брал, но вроде поймали какой-то хачмобиль, скоро будут. А что в Нью-Йорке думают о нашей башне? — гному.

— В Нью-Йорке своих полно... они бы вообще не поняли проблемы.

— Но вы-то против?

— Ну, ее в другом месте надо ставить, да, — незнакомец пожал плечами, задумчиво выбил кончиками пальцев какую-то мелодию на столешнице. — А так... возможно, людей надо начинать учить не индивидуализму, а адекватному выражению солидарности. Вот вы... мы — все, на площади, а затем в этом баре. Переживаем что-то особенное. Если бы в нас не было потребности к этому, мы бы и не стремились под раздачу, верно?

— У тебя что, акриловый маникюр? — внезапно спросила Кира.

— Вроде того... Свои-то попортились, — рассмеялся тот и слегка покраснел темно-розовым на скулах, и ярким

пятнышком — на облезшей, будто только с пляжа, спинке крупного носа.

— Сгрызли? — поддала Шура.

— До кости, — усмехнулся гость. — Ох, merde... — взгляд на часы, — я должен идти. Спасибо за компанию. Джонни!

Джонни уже зацепился в другом конце бара с какой-то компанией более благодарных слушателей. Пока! — помахал ему незнакомец, незаметно вытащил из бумажника тысячную купюру, подсунул ее под пепельницу, кивнул остающимся и вышел.

Как все же странно переживать что-то новое в местах, где когда-то твоя жизнь переворачивалась, как рождественский шар с загадочным полетом снега внутри; прикроешь глаза — и вот он снова летит в лицо, этот ледяной обжигающий ветер. Батманов поднялся из бара в Тучков переулок, достал сигарету. С наслаждением прикурив, в свежем и неизменно сыром здесь вечере направился в сторону Большого проспекта, где жил его знакомый кинокритик, к которому он был приглашен на ужин.

А минуту спустя к перекрестку Среднего и Тучкова подъехала вишневая девятинодевятка нелегального такси, и вскоре дверь «Бруствера» снова ухнула, на этот раз в подземелье спустились Алька, Ридли и Генрих со спаниельской на поводке.

Адвокат, подсказанный незнакомцем, оказался мужиком резковатым, но дельным, и Антона, поржав всем отделом, освободили тем же вечером, а Андреича выпустили на следующее утро после заседания, назначив ему минимальный штраф. Свою роль сыграло то, что Карабеев выступил благородно и отказался от предъявления частного обвинения за побои перед телекамерами. Интересно, что именно Максим Ильич был тем коллегой, которого ехал выручать Алексей Иванович, когда ему позвонили из «Бруствера»; впро-

чем, Карабеев от его услуг отказался, более того — на суде принялся митинговать, за что ему и вкатили по полной, пятнадцать суток административного ареста. Раздосадованный Алексей Иванович поделился с Вадимом предположением, что чего-то подобного тот и добивался — ореол жертвы режима еще не вредил ни одному оппозиционеру.

— Видишь, есть две основные линии защиты по делам с политической окраской — защита в интересах клиента и защита, грубо говоря, в интересах дела, как его понимает клиент или адвокат. Причем при выборе второго принципа доминирующим велики шансы, что клиент-то как раз и огребет по полной. То есть с точки зрения профессии это, вообще говоря, — дерьмо, а не работа. Но большинство знаменитых адвокатов предреволюционной поры, практику которых мы изучаем, действовали именно так. Да и нынешние громкие имена взяли ее на вооружение. Карабеева, кстати, за подобные фокусы статуса и лишили, насколько я слышал... Ну да теперь своя рука владыка, хочет посидеть в спецприемнике — дело хозяйское. Здравствуйте, девушка. Вы что-то хотели?

Вадим не заметил, как в кафе, где они сидели, подошла Алька и встала за его спиной.

— А... Алексей Иванович, это моя... подруга.

— Подруга? Хорошо. Подруга...

Алька поняла, что адвокат узнал ее — в то первое утро, когда она уходила от Карабеева, он стоял на съезде с ближнего мостика, ожидая кого-то. Профессионально хорошая зрительная память — у обоих.

— Сейчас еще Генрих с Шурой подъедут, — сообщила она, ускользая с неудобного поля.

— Ну хорошо. Празднуйте тут, — усмехнулся Алексей Иванович, — а я побегу, дела. Девушка, сколько с меня за кофе? — официантке.

— Я заплачу, — Вадим. — Спасибо, Алексей Иванович.

— Обращайтесь, если снова митинговать надумаете. Эта бодяга с башней, видимо, надолго, так что, если собираетесь продолжать в том же духе, советую приобрести абонемент.

— Буду иметь в виду, — улыбнулся Терешонок. Они обменялись рукопожатием, и адвокат удалился. Алька присела на его место, напротив Андреича. Официантка унесла пустую чашку с темной лужицей на дне.

— Будешь что-нибудь?

Помотала головой.

— Деньги есть. Съешь хотя бы пирожное. Нет? Ну ладно. Дождешься своего а эф кони с кичи, он тебя сводит в ресторан.

— Вадя, дело вообще не в том, — снова замотала головой так, что небрежно собранный хвостик грозил рассыпаться. Золотистой волной по плечам, нежным даже в плотной жакетке.

— А в чем же еще? — хохотнул Андреич. — Москвич в хорошем костюме, явно при деньгах, ну, староват для тебя слегка, но кого это ебет... То есть, тебя-то как раз ебет, и тебе, по ходу, нравится.

— Да. Мне нравится, — спокойно ответила она. — И дело не в деньгах. Подожди, не бей посуду... — Терешонок отодвинул от себя стол так резко, что приборы зазвенели. — Подожди, пожалуйста... Мы просто ошиблись. У тебя есть шаблон «невеста», и ты решил, что я к нему подхожу. А я нет. Я вообще про другое. Я долгое время стремилась к одному, а потом стало ясно, что этого нет, и я просто... уцепилась за тебя, ну вот как девчонка, которую мотоциклист снял на трассе, села позади тебя и поехала. Вот я такая девчонка, так ко мне и относись. Прости меня.

— Я щас расплачусь, блять, — ухмыльнулся Вадим и понял, что уже плачет. Слезы подступили неожиданно, как пьяная рвота, и были столь же позорны и неуместны. Он вскочил — благо, стол уже был отодвинут, и на нем уцеле-

ла его чашка с блюдцем, крошечный молочник и сахарница, чашку адвоката унесли, а Алевтина так ничего и не взяла. Когда он вернулся из дабла, умывшись и слегка придя в себя, Альки уже не было, официантка убирала со стола. Вадим расплатился и, не в силах дожидаться друзей, вышел из кафе под мелкий ленинградский дождь начала ноября.

...Различные проявления материального мира, кажется, имеют собственную память, иной раз — необычайно долгую. Так, несколько лет назад один из генералов городской культурной среды задал Вадиму прямой вопрос: что для вас важнее — деньги или слава? Конечно же, слава, тысяча чертей! — ответил он, как и подобает молодому д'Артаньяну. Что не помешало ему пару месяцев спустя сделать вполне разумный и взрослый выбор в пользу твердой зарплаты, а не малобюджетного, хоть и громкого, регионального проекта.

Но деньги — они, тысяча чертей, запомнили мой апломб.

С тех пор, когда откуда-нибудь, из самой что ни на есть серьезной конторы, от ответственных и достойнейших в своей области людей, я слышу похвалу своей работе, под ложечкой начинается тоскливое нытье. Я знаю, что таким образом обиженные денежные единицы в очередной раз подают сигнал, что их не будет, не в том объеме или не в те сроки. Вот тебе твой фирмам — усмеваются они, можешь намазать его на хлеб, выпить, покурить, купить стройматериалы для дома или подарок любимой девушке. Сводить ее в ресторан, оплатить съемную квартиру, пока нет своего дома, да хотя бы кинуть ей на телефон, чтобы можно было всегда позвониться... Скататься вместе с нею на море или, Бог мой, в соседнюю область — познакомить ее наконец с родителями. Жги, танцуй! Он рассеял купюры по стойке новооткрывшегося футбольного бара — эти проклятые деньги, одолженные в кои-то веки у отца, хотя, он подозревал, — скорее у маминого туристического друга, вот тоже — шведская семья почтенных годов, мама, папа и малыш, который очень

хотел собаку, но вынужден был довольствоваться Карлсоном. Набравшись в баре, он все набирал и набирал Альку; она не отвечала. Наконец его нашел Генрих, с Тиной на поводке и в компании с Шурой, которая, несмотря на миловидность, чем-то неуловимо смахивала на активную лесбиянку, как никогда напоминавший эксцентричного европейца. А вы... снова вместе? — расплылся Андреич в жалкой хмельной улыбке. Ну что ж, природа пустоты не терпит; где-то убыло, а где-то и прибыло... ничто не рождается из ничего, ничто не уходит. Пожалуй, я теперь поеду.

— Пожалуй, ты поедешь ко мне, — Генрих.

— Можно к нам, — подала голос Шура, присевшая за столик.

— На порностудию то есть? — ухмыльнулся Андреич.

— Да, Гена как раз рвался посмотреть, — не поведя и бровью, откликнулась Волкова.

— А поехали, да. — задумчиво согласился Генрих. — Туда с собакой можно?

— Полагаю, ей там будут рады куда больше, чем нам.

Они плыли в стоворчивом на этот раз такси через затопленный темным дождем город, фонари и светофоры цветными кляксами оседали на стекле, соскучившаяся Тина устроилась у него на коленях и тихонько сопела.

Он провел в городе еще две недели, наконец в утренних городских новостях показали короткое интервью с Карабеевым. Максим Ильич небрежно указывал на заклеенную пластырем скулу и говорил, что методы наших органов, как видите, не особенно гуманны. На втором плане Вадим разглядел строго одетую Алевтину, она была бледна и очень красива.

— Ну, верно. Тот бланш, что ты ему поставил, небось рассосался уже, пришлось импровизировать с пластырем, — сказала Кира, выйдя из своей комнаты на звук передачи в опустевшей студии — в кои-то веки у порнобригады был

выходной, и кроме хозяйки и квартиранта на базе никого не осталось. Кира присела рядом, посмотрела на мягкий породистый профиль парня и машинальным материнским жестом потрепала его по отросшим волосам. Вадим, не глядя на нее, обнял этого маленького женского ларрифлинта за талию и повалил на матрас. Ух ты! — рассмеялась Кира. Они некоторое время возились, путаясь в застежках его джинсов и ее комбинезона, а потом стало очень хорошо.

Конец своей отсидки Максим Ильич праздновал в том самом офисе на набережной Мойка-ривер, как он объяснял по телефону каким-то немецким журналисткам, что рвались его навестить. Спальня была закрыта, в небольшой приемной не протолкнуться, распахнули окна на набережную, обсиженные прилетавшими с Дворцовой свадебными голубями — парочка таких толклась на подоконнике прямо сейчас, распуская пышные махровые хвосты. Алька присела на окно с внутренней стороны, сама как птица — в темно-сером костюмчике: короткая юбка, жакет длинноват, и палево-розовой блузке с кружевным воротничком; Вадим бы, скорее всего, сравнил ее с сойкой из тех, что по осени неустанно поджирали сливы и яблоки в его саду. Карабеев, даже не переодевшись — линялые джинсы, джемпер, легкая небритость, — смотрелся павлином среди цесарок средних лет, грачей на костюмах и разнообразных канареек и воробьев. Как будто зная, что она уже никуда не денется, он от всей души наслаждался своим триумфом, время от времени поглядывая в сторону окна — оценил ли очередную тот самый благодарный зритель. Алевтина каждый раз улыбалась и приподнимала бокал в знак одобрения. Ей нравилось смотреть на то, как сверкает ее мужчина, как он привлекает и других мужчин, и остальных женщин, но выбрал при этом именно ее, и амплитуда движения ее колена, изящно закинутого на другое, покачивающееся, потихоньку увеличивалась,

подобно амплитуде хвоста довольной и ищущей внимания собаки.

Но гости постепенно расходились, время близилось к полуночи, Максим засел в беседе с двумя немками и их русским приятелем и по совместительству переводчиком — Карабеев поначалу пытался говорить с ними на английском и ломаном немецком, но инглиш, как слышала даже Алька, был у него разве что на сносном туристическом уровне, а дойч, судя по обескураженным лицам собеседниц, и вовсе никуда. Без четверти двенадцать, поскольку приглашения остаться так и не прозвучало и ее присутствие начало выглядеть так, как Алька более всего с ее обостренным эстетическим чувством боялась — то есть нелепо, неуместно, она привстала, незаметно поправила костюм, взяла на локоть сумку и вышла — будто бы в туалет, который на лестнице. Зашла туда, поправила прическу, щелкнула тюбиком губной помады, зачем-то продлевая ожидание. Дверь дабла, которую она по наитию не закрыла, тихо скрипнула. В проеме стоял Максим.

— Решила припудрить носик?

— Да, вроде того.

Он притворил за собою, щелкнул замок. Прижался и схватил за живот.

— У тебя гости там.

— Подождут.

— А у меня метро.

— Я дам тебе на такси.

— Так не пойдет, — спокойно ответила Алевтина.

— А как пойдет?

— Пусти.

Высвободилась, снова щелкнул замок, каблучки прозвучали по лестнице. Хлопнула дверь парадной. Уже под аркой к Мойке она услышала за спиной шаги. Он поймал ее за воротник пальто, развернул к себе.

— Поехали со мной в Москву.

Поздней осенью в полуопустевшей деревне как нигде чувствуется обширность и равнодушие наших лесных просторств. И пусть в сумерках неровно мигает уличный фонарь, а сосед через два дома сгребает жухлую листву и паданцы, чтобы не плодить вредителей, но никто не печет во дворах мясо, не коптит рыбу — зачем раскладывать огонь, если и так каждый день топится печка. Никто не поет песен, даже свадьбы давно принято играть в городе. Холодное, буро-желтоватое время растянуто и висит над землей редкой сетью истончившихся листьев, узлами в ней — твердые лишь на вид ядрышки последних неснятых яблок, так-то они почти все уже тронуты морозом и в тепле к утру раскиснут, выделяя при надавливании легкую пенку подбродившего сока.

Андреич скинул проволочное кольцо, символически запирающее калитку, пропустил в палисад Тину — та деловито потрусилась по дорожке, потряхивая плотными ушами и воодушевленно дергая обрубок хвоста. Дом надо было отпираться из внутреннего двора, он не стал торопиться — поставил сумку у входа на северную веранду, присел на ступеньку, достал прихваченный с собою малек. В метре над головою замерло на голой ветке крупное красно-желтое яблоко; коричневая полосатая — вспомнил он название сорта. Приподнялся, сорвал. Отхлебнул водки, откусил от яблока. На сломе обнаружилась запекшаяся дырочка, ход плодоярки. А червяк, видимо, уже во рту, — подумал он, приостановив движение челюстей. И в этот момент холодный бок яблока в ладони будто пустил по телу легкую дрожь; а это ведь мое яблоко — совершенно, окончательно мое. Мое яблоко, с моей яблони, из моего сада. И червяк в нем — тоже мой. И так радостно ему стало от этой мысли, что он, резко сглотив, почувствовал, как кусочек легко идет в горло, а тот самый сладковато-свежий запах поднимается в нос, и втянул поглубже осеннюю прель засыпающего сада, и отхлебнул еще из малька, а затем поднялся, подзвал спаниельку и пошел отпирать свой дом.

3. Новые годы

...Город был велик, на окраинах еще стояла перезрелая осень, а здесь уже неделю лежал снег. В городе был свой Арбат, свои Крещатик и Привоз, был Васильевский остров и своя Красная площадь, но секли, разумеется, на Сенной — там и билось сердце старого города, а то и целой державы. Там же в основание вековой практики, — впрочем, несколько лет как отмененной, но все равно старинной и почтенной, а значит, нуждающейся в уважении, — находившийся у власти молодой, но уже усталый диктатор с натянутой косметическими практиками кожей на барабанах лица повелел построить высокую Башню с багровым прожектором на вершине. Прожектор этот патетически настроенные горожане сразу нарекли Оком Мордора, а товарищи попроще стали называть Пламенеющим Очком. Диктатор, кстати, очков не носил и вообще на зрение не жаловался.

Против оскорбления национальной святыни (а площадь, ввиду столь многих спущенных на ее ладони шкур и штанов, безусловно, являлась таковой) вскоре выступили демократические силы, любители истории и культуры, разные фрики и сумасшедшие, а также некоторое количество обычных граждан. Зашумели демонстрации, зачастили туда-сюда крестные ходы по городским магистралям, произошло несколько столкновений разгневанных горожан с обычной и конной милицией, кое-кто угодил в обезьянник, кто-то попал под лошадь.

Молодой диктатор, несмотря на всю свою бесспорно людоедскую натуру, больше всего на свете не любил лишнего шума и всей этой толкотни, он и говорить-то предпочитал вполголоса — это знали все журналисты дворцового пула и заранее настраивали свою аппаратуру на сверхчувствительный режим на пресс-конференциях или, чем черт не шутит (хотя таким образом он шутил лишь в случаях из ряда вон выдающихся), в ходе развернутых интервью тет-а-тет. По-

этому, выждав приличный хорошо воспитанному диктатору срок, чтобы, не дай Бог, не показаться каким-то либеральным слизняком, он выпустил эдикт о переносе Башни на дальнюю окраину города, где она изо всех национальных святынь могла попать разве что древнее болото с выдающимися залежами торфа.

Общественность задумалась, кто-то поторопился и возликовать, но был резко окорочен союзниками. Вы что, не понимаете той простой вещи, что теперь Багровое Очко испортит нам вид на N-скую промзону, а в темноте эту чудовищную Башню будут наблюдать пассажиры самолетов, заходящих на посадку в наш аэропорт из стран Свободного Мира? Что они о нас подумают? Что вместо того, чтобы сечь нас, кровавый режим высек наше небо? Харкнул в него кровавой слюной замученных поколений?

И снова народ вышел на митинги, и побежал по главной улице марш, и поскакали милиционеры, и зорали в мегафоны ораторы и милицейские капитаны, и веселье продолжилось. Правда, в этот раз обычных граждан в толпе стало немного меньше, зато увеличались люди в странных костюмах полицейев, средневековых рыцарей, меховых зверей и даже огромной пиццы. А еще у протестантов появился свой Лидер — молодой сорокалетний человек из тех, что в своей жизни не работают ни дня. Даже в Макдоналдсе. Тем более там.

Диктатор снова взял паузу, в ходе которой совещался уже не только со своими сатрапами, но и с рядом представителей культурной общественности. Общественность, впрочем, так обмирала при виде первого лица, что могла выдавать только две реакции, а именно: невнятно бляеть или спрашивать — а ты с какого района? Я с района промзоны N, — немного стесняясь, говорил диктатор. И могу сказать, что мне, наверное, этот проект бы не помешал в свое время. Промзона N, — понимающе смотрели друг на друга деятели культуры. Ну и что с него взять, с таким-то бэкграундом?

По результатам этих встреч вышел новый эдикт: ввиду неодобрения культурной общественности не только перенести Башню в район промзоны N, но и положить ее горизонтально. Таким образом она никак не сможет испортить вид или напугать низколетающие самолеты. При этом, чтобы сохранить лицо, диктатор повелел по-прежнему называть Башню — Башней, только Горизонтальной.

Это будет уникальный проект! Представьте себе Башню, лежащую на поверхности земли, будто какой-нибудь удав или шланг — ни в одной стране мира такой нету, а у нас будет! — так захлебывались выпуски новостей под пятой режима.

Это возмутительно, — заявил Лидер Протеста. Это просто плевок в лицо. Горизонтальная Башня! Да мы станем не только пугалом, но и посмешищем всего Свободного Мира.

И с такими словами он снова вывел на площадь демократическую общественность, средневековых рыцарей, меховых зверей, школьников, студентов и человека-пиццу. Скучные обыватели на этот раз пугливо отсиживались дома.

Диктатор сидел в своей резиденции неподалеку от родной промзоны N и будущей лежачей Башни, щелкал пультом телевизора и вздыхал. Потом нажал секретную кнопку и вызвал секретного секретаря.

— Нарываются, как срака на драку, скажи? — сказал он на жаргоне своей юности.

Секретарь понимал его без слов, но в таком случае распоряжение следовало произнести.

— План Чэ, пацаны, — сказал диктатор.

И тут-то наконец начался тридцать седьмой год.

Он был встречен народным ликованием — практически как отложенный оргазм.

— «The Sleeping Tower» — под таким заголовком вышел этот его дебют в газете у Мерфи Галлагера, ирландско-лондонского левака, специалиста по урегулированию региональ-

ных конфликтов; одно из многих экзотических знакомств Гвен. Это был невысокий подвижный человек с птичьим профилем, родом из всамделишной республики Эйри, с арфой на обложке паспорта, объездивший полмира, говоривший на русском и еще паре языков помельче, словно шпион, да еще и женатый на камбоджийке. С Гвен у него когда-то был то ли роман, то ли до него слегка не дошло, а с Батмановым у них состоялось приятельство того рода, когда люди могут не видаться месяцами и даже годами, а потом выпить вместе и рассказать друг другу недавнюю личную драму и пару государственных тайн средней паршивости. Свинтив из Ленинграда даже раньше задуманного, в начале ноября, хоть было договорено, что вернется он только к Thanksgiving, Батманов полетел через Лондон, встретился с Мерфи в пабе между рейсами и впроброс рассказал ему о впечатлениях с родины. Мерфи хохотал, как школьник, а вскоре Батманов получил предложение написать сатирическую колонку в газету, которую издавал папаша Галлагер — наследник традиций Свифта из маленького портового городка, Мерфи-старший, который в ответ на батмановскую шутку при знакомстве — все ли члены клана Галлагеров носят это имя, усмехнулся и сообщил, что да, конечно, я же социалист и поклонник серийного производства, поэтому у меня четверо сыновей, и всех зовут Мерфи-1, 2, 3 и так далее, только вот дочку жена уговорила назвать Кейтлин. На самом деле братьев Мерфи-младшего звали Колин, Шон и, как ни странно, Дэниэл — так что ты будешь Дэниэл-2, ну ты же помнишь про серийное производство, — сказали ему Галлагеры, провожая в Нью-Йорк. Так или иначе, с этой колонки наконец начался не тридцать седьмой год, но его причудливая западная карьера. Но пока он почти два месяца дрейфовал в уютной американской жизни, добиваясь усыпления чувств, — и постепенно его отпускал родной город и его чудные боги и герои, что шевелили железом на набережных, стили на арках и постамен-

тах, выкидывали флаги на площадях и окунались в рюмку среди дубовых столов и карт военных действий подвальной пивной. Около американского Рождества, сверкающего всеми огнями в разливах джингл беллз, ему пришло сообщение о том, что найден покупатель на петергофскую квартиру. И он уцепился за эту возможность. Гвен, — осторожно начал он, — у меня есть покупатель в Петербурге. Отлично, — сказала жена, — пусть твой юрист оформит бумаги, а покупатель переведет деньги на счет. — Слушай, у нас так не делается. Много стремных квартир, левые люди продают, потом хозяева опротестовывают сделки. Все боятся. Нужно мое присутствие. Гвен молчала, цепляя к ушам какие-то дебильные а-ля негритянские клипсы, они собирались куда-то идти. Факин буллит, — наконец сказала она; он улыбнулся — никогда не стеснялась в выражениях. Давай я, — предложил. Защелкнул ее тонкие мочки в эти... варварские клещи. Супер, — оценила она, — я понимаю, — сказала она. — Ты хочешь повидать Кэтрин... Игорев? Grandmother. Я уважаю твои чувства. Она старенькая. Езжай, конечно. И клюнула его в щеку, пожурив — ты еще не одет. Советую джинсы и пиджак, вечер не слишком формальный.

В тот раз Питер встретил его погодой почти нью-йоркской — шквалистый ветер и уверенный плюс, на газонах зеленела трава. Сделку с петергофской квартирой подтвердили в день его приезда, — были подписаны бумаги, деньги заложены в ячейку, — но сдавалась она до конца года; с жильцами договорились о том, что те съедут в первую неделю каникул. Екатерина Игоревна, не особо надеясь на его новогодние обещания, заранее приобрела праздничную ветеранскую пуховку в санаторий «Волна», или «Дюна», или «Берег» — и встретила его радостно, но в хлопотах и между делом.

— Так что как-нибудь сам повеселись, хорошо? К нам бы позвала, но что тебе со старухами делать. Сам разберешься, друзей позовешь. Да?

— Bien sûr.

Она рассмеялась, поднялась на цыпочки и ткнула сухими губами ему в щеку. Мне кажется, или ты подрост? Или нет, это я. Расту в землю.

Батманов проводил ее, ловкую и легонькую, взглядом. Екатерина Игоревна стремительно устрекотала в коридор на своих цокающих башмачках. Он вызвал ей такси и остался один в фамильном гнезде на одной из малых речек великого города. В холодильнике были водка, испанское игристое, баночка икры, холодная буженина и россыпь абхазских мандаринов. За окнами смеркалось, но до боя курантов еще целая временная плешь. Он достал водку, плеснул в тамблер со льдом, очистил мандарин. Все предвещало Новый год в компании семейных портретов. Вот прадед Батманов в кавалерийской полевой форме времен Русско-Японской и набега на Инкоу, в котором он, по легенде, тоже участвовал — надо бы наконец справиться в архивах. Вот его старший сын и наследник, Даниил Андреевич-первый, убитый при Кронштадтском мятеже каплей в щегольских усах и фуражке с овальным имперским солнышком. Вот второй прадед, бабушкин отец Игорь Викторович Варрен-Ворон, высокий лысеющий офицер в сталинской еще форме с внимательным взглядом темных глаз и скептической складкой губ, преподаватель флотской Академии имени Фрунзе. И Владимир Игоревич, Володя, младший двоюродный дед, как ни странно подобное определение родства для того, кто погиб юношей. Из того поколения предвоенных старшеклассников, от которого почти никого не осталось: пошел в ополчение, сгинул где-то под Лугой в первое военное лето. А вот дед Батманов-Ворон, Даниил Андреевич-второй, лейтенант перед отправкой на фронт, досрочный выпуск лета 41-го — кадровый, повезло чуть больше. Буйные темные кудри, веселые глаза. Мечтал о море, на палубу до победы так и не ступил, воевал в морской пехоте. Вот бабушка с ним,

свадебный снимок — расписались в одну из его увольнительных, еще до того, как город взяли в кольцо. Щелкнул корреспондент, потом было в газете для поднятия боевого духа. Вот бабушка уже с отцом на выпуске, тот в парадке и с кортиком, над верхней губой — намек на усы, дед уже лет десять как помер, после войны еще походил по северным морям, окончательно прикончил здоровье, со службы уволили; обиженный, он наговорил соседу за банкой что-то такое, что даже могущественный тесть не смог выручить, сам с трудом удержался, а кажда Дэ-А Ворон в отставке и вовсе уехал по спецпутевке на семь лет осваивать вечную мерзлоту — выпотрошенный после осколочного в полость тела инвалид, и после всех этих приключений, само собою, долго не прожил. Вот бабушка с мамой и отец на втором плане — уже незадолго до тридцати, но выглядит ровесником молодой жены: статный, русоволосый, мечтательный, в прабабкину поповскую линию Воскресенских пошел, белая ворона среди разнообразных кшатрийских южан. А свекровь и невестка похожи, как мать и дочь — только сейчас заметил: миниатюрные брюнетки, не уступающие друг дружке в женской харизме. Вспомнилась их давняя размолвка — музыкантша Люба Коваль все время возмущалась, что Екатерина Игоревна во время наездов в гости никогда не предлагает ей тапочек. Как-то даже выразилась в том смысле: что за приличный дом, где нету тапочек. Бабушка на вопрос только вскинула легкие брови-крылышки. Тут Данька сам опростоволосился — мам, в приличных домах тапочек не принято. Грузное молчание. Екатерина Игоревна виновато разводила руками, но дело было сделано — мама в тот же день забрала квартировавшего у бабушки аристократа домой. Впрочем, скоро сама умотала на гастроли, а занятой отец тайком от жены вернул Даньку обратно. Он даже в первый класс пошел здесь, во французскую школу на Греческом. Два года отучился, потом у мамы поменялось что-то, она на время перестала

кататься с концертами, устроилась преподавать в петергофскую музыкалку и решила сама заняться воспитанием, забрала сына в Петергоф. Но бабушка оставалась легальным поводом для его возвращений, лучше сказать — побегов. Теперь он понимал, что все же не только поводом. Стандартный эдипов комплекс в его случае распределился надвое. Матери досталась безотчетная животная привязанность и восхищение витальностью безмысленного таланта — изящная полуеврейка-полухохлушка с каштановыми кудрями, фигурой, напоминающей линии цыганской гитары и точеными мускулистыми ручками, которыми она растягивала меха своего аккордеона и ставила отцу точные фингалы — хотя, нечего сказать, за дело. Не то чтобы глупенькая — практическая жилка причудливо сочеталась у Любви Григорьевны с эстетическим чувством высшего порядка, а среднее звено было выпущено, срезано начисто, будто неверный локон. Мать могла рыдать на симфонических концертах и педантично рассчитывать семейный бюджет, но книжки на полках упорно пыталась подбирать по цвету. Когда отец возмущался, какого черта Кант стоит рядом с Александром Дюма-отцом, Любовь Григорьевна только распахивала ресницы, и глаза застывали на лице чернильными медузами. Можно сказать, в этом смысле она была человеком донельзя современным — из мира радостного консьюмеризма, чуждого любим иерархиям.

Мир Екатерины Игоревны, напротив, был строг и прекрасен именно чистотой определенности. Бабушка всегда знала, о чем можно поговорить с соседкой, а о чем — только в семейном кругу. Было также много вещей, о которых она предпочитала молчать. Музыкантшей она была не то что посредственной — никакой, в чем с легкостью признавалась. Проработав полжизни учительницей музыки, она смеялась, что это все равно, могла бы с тем же успехом преподавать французский или там гражданскую оборону — мои универ-

ситеты, — говорила бабушка. Домашнее воспитание плюс курсы младших командиров, противовоздушная оборона, без отрыва от производства — в войну пошла на завод и всю блокаду здесь провела, отказалась уезжать с родителями в Астрахань, куда эвакуировали Академию, потому что Даня и Володя здесь, на Ленинградском фронте, куда же она поедет...

Ну, еще танцы могла бы преподавать, — смеялась. Данька, ну-ка, раз-два-три-и-оп-поворот; учила его в этой гостиной танцевать вальс. Сейчас уже не получится — радикулит. Что еще покоряло в Екатерине Игоревне — никогда не красивой, но необыкновенно обаятельной, с легкими и неправильными, французиными чертами лица, с ироничными своими бровками и копной волос черное серебро, так это юмор — задиристый и одновременно тактичный, уместный всегда. Данька не помнил, чтобы бабушка хоть раз пошутила нелепо, хоть иногда и бывало — почти зло. Юмор — тоже черта людей, ощущающих иерархию и дистанции, хотя бы потому, что один из важнейших приемов — нарушение дистанций или игра с несопоставимым. Мама шутить не умела; умела только смеяться. Бабушка смеялась редко, и то в качестве одобрения, а не над чем-то. Бабушка была умна, наблюдательна и ей никогда не пришлось бы в голову поставить рядом критику чистого разума и сентиментальный роман. Она сама была — воплощенный чистый разум одновременно с его критикой; иногда ему думалось, что, начни Екатерина Игоревна писать, она заткнула бы за пояс и его самого, и всех мучившихся словом мужиков в их старинной, пожившей семье — и отца с его псевдостругацкой дидактической фантастикой, и деда со стишками, и его самого. Но Екатерина Игоревна жила чистым героем-очевидцем, не собираясь ни в чем убеждать современников. Кому она была намерена отчитаться, рассказать все то, что надумала и поняла за восемьдесят лет жизни, — Данька, кажется, догадывался, но недостаточно верил.

Так что ничего нет удивительного в том, что по мере даже не восстановления, нет, скорее выращивания себя заново его все больше тянуло именно сюда, непременно обратно, к каменному ядру тяжелого северного города, и это, конечно, было не только потому, что, как ты рубанул матери, боялся, что бабушка умрет в одиночестве. И не только потому, что чем дальше, тем больше доставала вечная вот эта эмигрантская истерика об оставшихся, как о добровольцах с того света — зачем матери было это лишнее подтверждение правильности своего выбора, он никак не мог взять в толк. Он понял и принял креольскую глубинку Робсонов, он полюбил Нью-Йорк с его трехмерной географической сеткой города-космопорта, он не видел в этих новых впечатляющих мирах никакого противоречия со своей страной, с одним «но» — там следовало начать жизнь заново. И вроде бы тот огрызок, черенок человека, каким он был, когда его прибило к этим неожиданно гостеприимным берегам, готов был не только пустить корни, но и принять прививку нового растения — бывает же, что абрикос прививают на терновник, а капризулю-черешню — на вишневый дичок, но чем дальше он отходил от едва не погубившей растеньице суровой евразийской зимы, тем яснее становилось, что садовник просчитался; чем больше Батманов социализировался внешне, тем сильнее исподволь давала себя знать корневая природа, изначальный культурный код, та, другая, оставленная и старательно забытая жизнь; и отказаться от нее — как приказать сделать аборт любимой женщине. Да, он невероятно, катастрофически в той жизни профачился, он до сих пор не знает, как с этим быть, и мать еще и расшатывала его — напоминаниями, экзальтированной жалостью, упреками в непрактичности, добиваясь, пожалуй, противоположного эффекта — он все больше ощущал необходимость не забыть и забить, но понять, что же, собственно, и почему произошло с ним, с ними,

как получилось так, что из душноватого, но безопасного и поразительно цивилизованного мира его детства их всех выбросило в феодализм *as is*.

Любаче, не стовариваясь, подпевала Гвен — как часто бывает, концепция их союза менялась по мере развития отношений; жене требовалось не то что большее, но принципиально иное, и он рад был бы дать ей это, но сам чувствовал, что не справляется, что растет в совершенно другую сторону; понять бы еще в какую... Привычно считать, что мужчина должен быть женщине опорой, вокруг которой она заплетается, как вьюн или вот роскошная глициния, *wisteria* — так называют ее на американском Юге, но то, что справедливо для связи одного плана — материального или даже душевного, может оказаться в метафизической, если угодно, параллели устроенным по принципу совершенно противоположному. Мало что может быть важнее чем то, каким тебя видит женщина, с которой ты живешь одну жизнь, можешь ли ты принять этот образ себя, насколько он тебе соответствует; и, если нет, если она смотрит какой-то иной фильм — про Джеймса Бонда или там про русского литератора в изгнании, тебе в какой-то момент останется только выйти и тихонько прикрыть дверь, оставив ее наедине с любимой кинокартиной. Все, конечно, осложнялось еще и тем, что, легко заговорив поначалу на естественном языке глобального мира, сталкивающего людей чуждых культур и бэкграундов, — то есть на языке сексуальности, они вовремя не озаботились выучить какой-то другой, более того — ему все чаще казалось, что сама Гвен, дитя этого мозаичного мира — мать креолка, отец породистый эксцентричный британец, биологический родитель Веры — какой-то месоамериканский мачо, попросту и не знает никаких других, более трепетных наречий, кроме постельного да еще языка совместно оплачиваемых счетов и вечеринок, на которых предполагается присутствие мистера и миссис,

он задолбался ходить по таким после получения ею работы в нью-йоркской архитектурной фирме. Ты отлично справился, — шептала ему она по дороге в такси домой; а Батманов все чаще чувствовал себя если не ученой обезьянкой, то в лучшем случае консортом при входящей в силу молодой королеве — ну, молодой по меркам того мира, в который она входила, мира больших денег и крупных заказов.

К кому тут потянешься? Понятно, к тому, кто возвращает тебя к себе, к соратнику, который владеет секретом эскейпа из разнообразных ловушек. Екатерина Игоревна была таким соратником, к тому же она помнила и принимала его таким, каким он был задуман, так же как она когда-то оказалась способна принять длинную и непростую историю семьи и страны в очень разных, подчас противоречивых ее инкарнациях. Когда после избавления из дурки Батманов чувствовал, что в своем разочаровании шаг за шагом движется к вариации духовного фашизма, последней стадии мизантропии, гори же все синим красивым пламенем, в то странное зависшее между кошмарным прошлым и неясным будущим время, захватившее в свой плен многих его соотечественников и ровесников, бабушка вечерами часто заводила грампластинку с каким-нибудь скрипучим танго и, думая, что никто не видит, мечтательно раскачивалась на каблучках около проигрывателя, а Данька стоял в проеме комнаты и курил, и чуял, как схватывает горло. Это было очень, очень красиво. Человек, переживший расстрелы друзей и родственников, мерзлые штабеля тел на улицах, заключение и смерть любимого, и в то же время способный спокойно смотреть на соседку-стукачку и по вечерам раскачиваться на каблучках под французский вальс (и ничего, ничего не забыть при этом!), такой человек был ему непременно необходим тогда, нужен он был и после, когда он сознательно терял себя в новой причудливой жизни, примерял новые страны и чуждые роли, но всегда знал при этом, что

где-то далеко есть тот, та, кто хранит базовую версию его программы, ничего от него не требуя, не особо и ожидая, напротив — тем самым надежным якорем давая ему свободу направления и маневра.

Так было до последнего времени.

За те шесть лет, что миновали с его визита по поводу квартиры, с того Нового года, наконец-то благополучного для обеих его стран и семей, когда он позволил Екатерине Игоревне не занимать его своим стариковским обществом и о чем теперь вспоминал с непоправимой досадой, — то было время, когда они могли легко пренебрегать обществом друг друга, пребывая в иллюзии позитивного движения, — Батманов успел вместе с Мерфи или с его коллегами скататься в десяток беспокойных регионов, написать километр отчетов оттуда — едких и горьких одновременно, заслужить репутацию анфан террибля в новой нью-йоркской тусовке Гвен, репутацию, которой супруга одновременно бравировала и тяготилась, вырастить Веру, которую все вокруг считали его дочерью, да и ему было приятно так о ней думать, тем более что общих в биологическом смысле детей с ним Гвен не захотела — не из неприятия к нему, просто, кажется, она в принципе не очень-то принимала эту сторону жизни, она и с Верой-то общалась, как с инопланетянином, маленьким черноглазым алиеном, случайно закинутым в ее пространство, Батманов то и дело чувствовал себя переводчиком между этими двумя формами жизни. Также они, — или скорее она, денег от петергофской квартиры хватало разве что на то, чтобы компенсировать его временную нетрудоспособность, да еще на недорогой надежный пикап, раскатывать по стране и возить Веру в школу, — купили старую ферму в Нью-Джерси. Он приметил это владение, — дом, службы, несколько десятков акров персиковых садов, которыми был знаменит этот штат, и заброшенное картофельное поле, — съехав с шоссе и заплутав, — и тут же очаровался зацветающими розовой

пенной кряжистыми деревцами, беспорядочно разросшимся фермерским домиком в старинном стиле кейп-код: с огромной каминной трубой, мансардой со скворечниками окон, а также высокими и узкими окнами первого этажа мелкой английской расстекловки, что были снабжены крепкими деревянными ставнями, и окрестным пейзажем, дышавшем покоем в часе езды от муравейника одноэтажных предметов. Стояла табличка *sale*, номер телефона агента. Привез туда Гвен, она пробурчала что это, конечно, *rain in the ass*, но где-то через пару месяцев, на годовщину свадьбы, сообщила, что ферма куплена — ею и двумя партнерами, они производят конверсию земель под застройку, но дом с кусочком сада она решила оставить себе — перестрою его и продадим, ну или себе оставим, по ситуации. Но пока можешь там зависать, заодно и за работами присмотришь. Еще через полгода, с окончанием ремонта, туда была сослана и Вера; в его обязанности отныне входило возить ее в школу в Риджвуде — между командировками и светскими обязанностями мистера Гвендолин Л. Холланд-Батманов (ничего, если я присоединю твою фамилию? моя для нашей сферы слишком *wasp*), тогда-то, конечно, нью-йоркский апартмент, царство Гвен; в Стоун-Пич и в Нью-Йорке даже бар отличался, он собрал на ферме неплохой винный погреб и коллекцию хайланд-скотча и бурбонов, к которым приистрастился на Юге, а Гвен держала у себя в лофте островные молты, пахнувшие, как севший на травянистую мель санитарный корабль, и еще внезапно водку, ее она могла выхлебать со льдом честные пол-литра за вечер и ни в одном глазу... Что касается взаимной сексуальной свободы, то этот пункт контракта был оговорен между ними много лет назад, тогда еще, когда он и не задумывался о том, к чему это может привести в перспективе более-менее отдаленной. Так или иначе, с годами он все больше восхищался женой, одновременно все больше глядя на нее со стороны — оба не могли не понимать этой дина-

мики, но обоим она до поры странным образом не мешала. Теперь, снова оказавшись в опустевшей ленинградской квартире — Батманов вернулся из госпиталя, поговорил по скайпу с Верой — Гвен была занята, только он включил телек с привычными уже кострами Майдана, раздался звонок в дверь. Полчаса до боя курантов. Поразмыслив, открыл — что мы теряем в конце-то концов? На пороге стояла молодая рыжая женщина с высоким бородатым парнем, в руках у них было настоящее шампанское и бенгальские огни, а за спинами — компания, еще человека четыре.

— С наступающим! — сообщила дама. — Мы соседи ваши, я Надя, а это мой муж Никита, Катерина Игоревна нас знает. У нас тут свет внезапно рубануло, видимо, полетела проводка! Даже и президента не заценить. Не возражаете, если мы у вас... немного зажжем?

Батманов сделал приглашающий жест и посторонился. Проходите. С наступающим. И вас.

— А это наши друзья — Лина, Илья, Сирил и Джош. Они из Америки приехали.

— Nice to meet... Все из Америки?

— Нет, только Сирил и Джош, Илья и Лина с Петроградки, что, в общем, почти та же фигня. У нас еще уточка есть, с брусникой и апельсинами.

— Проходите, пожалуйста. Утку можно на стол. Я не накрывал особо...

Квартира ожила и зашевелилась; Данька вытащил наконец из холодильника блюдо с бужениной, достал багет и икру. Соседи расселись вокруг стола, удивились отсутствию елки, Джош и Сирил были из Юты и говорили по-русски, нас заслали с мормонской миссией, но мы ассимилировались, — говорили они. Батманов таких американцев и в Штатах-то не встречал, ну да, большая страна, большие страны. А вы тоже там бывали? А я там живу. Или уже нет. Я не знаю.

А вы тоже революцией в городе Ка интересуетесь? Мы хотим туда поехать потусить, пока все не закончилось... Я только что оттуда, и закончится это не скоро, по ощущению. И что там? Там... барабаны, что бы это ни значило. Каждый день гимн и молебен. Площадь поет, хором. Сначала гимн, потом молебен. И так до полного просветления. Затем где-то находят тела — кто на ялынке повесился, кого просто в подворотне пристукнули.

Президент в телевизоре договорил свои минуты из Владивостока, под звон курантов все встали, принялись чокаться, легкая винная пена падала на скатерть и на утку в брусничных каплях. Надя дернула хвостик хлопושки. Заиграл гимн, гости потянулись к еде. Батманов остался стоять. *Excusez-moi... Please remain standing by my country hymn*, — сказал он на своем по-прежнему сомнительном при волнении английском. Он чувствовал, что ему неудобно за это требование, но в то же время ощущал его необходимым. Три дня назад Екатерину Игоревну госпитализировали с обширным инсультом, а сам он срочно вылетел из Борисполя в Пулково. Сейчас он, приехав из госпиталя, смотрел, как из-за стола сначала вскочили привычные к почитанию национальных святынь американцы Сирил и Джош, затем поднялись и соотечественники с Петроградки, и соседская семейная пара. Наступал новый, четырнадцатый год. Все стремительно менялось.

...Когда же все-таки началась лажа, или, если вернее, когда надо было все понять и рвать когти? Уж явно не прошлым вечером, когда она вернулась чуть раньше с Сониной дачи и обнаружила дома под подушкой этот интимный сюрприз. Пикантный привет. Немного грязненький, в буквальном смысле. Быть может, около полугода назад, когда она впервые отметила его холодность, почти как в анекдоте про жену, у которой вечно болит голова? Наверное, тогда у него все и нача-

лось с этой Ладой, Ледой, лебедь ты, блин, мой сизокрылый. И ведь он же намекал, что эта квартира уже не очень ему нужна, по крайней мере, платить за нее все чаще приходилось ей одной, отговаривался, что денег нет, что у бывшей проблемы на работе и надо дать на детей. Она соглашалась, конечно, дети ведь это святое, а вскоре и сама залетела, странно даже, как это вышло при его всегдашней осторожности и их более чем эпизодическом в то время сексе. Ну а тут уж какое валить, разве что на аборт. По поводу этого варианта он высказался культурно: все будет, как ты решишь! Ты свободная женщина в свободной стране. Страна резко стала свободной, женщина тоже. И она уловила, конечно, этот нюанс, но отбросила его, отнеся на обычный страх мужчины перед неминуемым изменением жизни. Главное же было, конечно, то, что она уже не могла расстаться с этим ребенком, с его ребенком, возможно, у него будут такие же яркие насмешливые глаза, или этот дерзкий ястребиный нос... даже девочке он мог бы пойти, ну и что, такая вот нестандартная внешность. Впрочем, ей сразу казалось, что это мальчик, она уже перебирала имена — Илюша в честь его отца, или Петр в честь ее деда... правда, Петр с отчеством не очень, хотя само имя ей всегда нравилось своей определенностью. Или... но нет, он же знает ее историю, это имя не подойдет. Позже УЗИ действительно показало — пацан. Нет, с этого момента уйти было уже невозможно. Когда же?..

Верно, тогда, когда она почти сделала, но почему-то не довела до конца. Кажется, это был второй год их личного летоисчисления, самое его начало. Она ждала своего умного, красивого, взрослого мужчину с его важной работы, предусмотрительно расправилась со своими делами пораньше, заскочила в магазин, купила правильное мясо, правильный сыр и правильное вино. Еще — баклажан и томатов для сое. Еще подобрала фильм, который они посмотрят. Тоже правильный. Ее мужчина любил, чтобы все было кра-

сиво, как он ей не раз говорил. Учил. Наставлял. А ей нравилось учиться быть такой, какой он хочет, чтобы она была. Ужин тихо остывал на плите, она немного нервничала, что придется разогреть. Наконец в замке закрутился ключ. Он вошел вместе с волною холода — осень в тот год началась ровно по календарю. Она наблюдала, как он снимает куртку, разувается. Подала рожок для обуви. Он прошел в ванную, заплескала вода. Ужин готов, — сказала она из-за двери. Я накрою в комнате? Не дождавшись ответа, постучалась, приоткрыла дверь. Он без единого слова потянул ручку на себя. Она обмерла. Не ожидая уже хорошего поворота, но действуя согласно программе, положила салфетки, принесла приборы, подставку для горячего. Вынула слегка охлажденное вино — так предпочитал. В ожидании присела за стол. Зашел, стал переодеваться, не глядя на нее. Костюм на плечики. Топчется в одних трусах, ноги худые. Джинсы, рубашка. Стал невозможно близкий, домашний. И в этом своем родном облике со смешком заметил: ты прямо как именинница. Маленькая хозяйка большого дома. Усмехнулся неожиданно неприятно. Она вспомнила, что иногда ловила у него это отталкивающее насекомое выражение. Особенно в первые месяцы их знакомства. А потом просто перестала обращать внимание. Тем временем засучил рукава рубашки на загорелых предплечьях. Присел, чуть подавшись вперед. Знаешь, я вот уже в который раз задаю себе один вопрос. Какой? — едва шевеля губами, произнесла она. — Что ты, вообще говоря, здесь делаешь?

В тот вечер она встала, прошла мимо него, неловко задев стол бедром; бокалы на высоких ножках дрогнули, но не упали — он придержал столешницу. Она вышла в коридор, оделась и уехала к Соне. Это была новая приятельница, девчонка чуть старше ее, замужем за собственным партнером по какому-то мутному бизнесу и любителем разных интересных вещей. Они с этим ее Яриком жили в пентхаусе

престижного жилого комплекса, та постоянно выговаривала, зачем она терпит своего старпера-нищеврода; я-то хоть знаю, за что мучаюсь, — посмеивалась Соня. У Сони они просидели полночи за бутылкой коньяка, затем та проводила ее в гостевую спальню. Утром, выдавая зубную щетку и полотенце, округлила глаза — блин, ты спала вообще? Как убитая, — ответила она. Да ни фиги! Ты рыдала всю ночь, я даже музло включила, чтоб не слышать. Первый раз такое... чтобы человек плакал во сне. Правда так его любишь? Не знаю. Ввалился Ярик, всю ночь где-то зависавший, и она поехала домой. То есть, не домой — к нему, в эту жопу мира недалеко от Южного автовокзала. С твердым намерением собрать вещи.

Вещи ее оказались уже собраны, как и его — ты куда пропала? Я тебе звонил. Телефон разрядился. Я основное собрал, глянь, что еще может быть нужно на неделю в теплой стране. Свалилась приятная командировочка, отправляемся с тобой в Египет. Достал билеты, как фокусник, потряс ими для наглядности. Самолет через четыре часа, так что давай в темпе. Ну что ты надутая такая?

Он ничего ей не пообещал тогда, не объяснился, извинений она тоже не услышала. До сих пор непонятно, как так вообще произошло, какой пиздой она думала, но она без возражений взяла сумку, что он ей собрал — белье, купальник, босоножки, джинсы-футболки-сарафан-солнечные очки, и улетела с ним в Каир. Она, впрочем, достаточно быстро поняла, что командировки никакой не было, ну и верно — не с братьями же мусульманами ему там встречаться, и приняла эту поездку как его способ сказать сорян. Впрочем, когда несколько месяцев спустя в хорошую минуту она напомнила ему об этом происшествии, он только удивленно приподнял короткие густые брови и переспросил — я это сказал? Ну надо же. Совершенно не помню. Иди-ка сюда. Это было в какой-то гостинице во время всамделишной на этот раз

командировки, куда он взял ее за хорошее поведение, а также и потому, что новые места всегда обостряли его желание, он будто рвался их пометить подобным образом, и взять ее с собой — это был еще и его способ сохранить своеобразную верность, и в той гостинице небольшого провинциального русского города, где он помогал с выборами — или их имитацией — очередному демократическому кандидату, они трахались так, что в какой-то момент свалились с кровати на пол.

Так много было хорошего... и так много дерьма. Уйдешь в тот или этот момент — и вырежешь все вкуче; поцелуй на Крымском мосту и паспорт, который она случайно нашла, а там — вранье о разводе, лимита не разводится с москвичками, как жестко сказала ей Соня, прогулка в Ботаническом саду, похожем на лес, вино из горлышка и кормление уток, но также и дни, когда заканчивались деньги, и она просила в долг у Сони или Вероники, чтобы приготовить ему ужин, а он будто не замечал этого. Ее рухнувшая карьера, в которой он же ее и упрекал — нечего на мне висеть! Вот уж верно; тут он был кругом прав.

Ночи, что она просиживала за дизайном вшивых листов для его друзей. Освоила ради этого дерьма фотошоп. Влезла в кредит, чтобы купить графический планшет. Ах, да, был же еще кредит на подержанную иномарку. Тоже на ее имя. Ему надо быть мобильным в поездках по провинциям. В первые же полгода он ее разбил. Ничего серьезного, но в ремонт машину так и не отдали. Умерла так умерла — сказал он, ей и тогда стоило задуматься — о машине это или о ком еще. Его карьера, впечатлившись которой, она забросила свое художество, тоже шла ни шатко ни валко — но он, казалось, и не переживал об этом всерьез, и лишь со временем она стала понимать, что двигателем ее возлюбленного была не потребность в справедливости и даже не личное честолюбие, а своеобразный артистизм — не обладая под-

линным актерским темпераментом, требующим если не глубины, то полноты переживания, — а он был в этом плане поверхностен, словно родная ей Маркизова лужа, — этот человек отличался азартом игрока и недюжинной страстью к рисовке. Она не раз замечала, как по утрам перед зеркалом он строит себе гримасы, будто тренируясь перед спектаклем; сам он объяснял это профилактикой морщин, даже не ловя легкого комизма подобных ужимок для мужика далеко на пятом десятке, не артиста и не профессионального шоумена, отца двоих детей и фактического мужа двух женщин — с одной из которых жил, а другую, видимо, постоянно имел в виду. Главным для него, похоже, было оказаться в красивой позе в центре всеобщего внимания, и ради этих моментов он был готов совершать как отважные на грани бесшабашного героизма, так и весьма сомнительные поступки. Когда митинговая активность, бурлившая несколько лет, постепенно пошла на спад, на смену представлениям на площади пришли шоу на присемах, да и попросту в кабаках. Раз за разом наблюдая за его выходами, она начала ловить себя на том, что все больше его стесняется, и под это дело сама принялась несимпатично набираться, в последний раз даже упала где-то на Бульварном и рассадила коленку в прелестных шелковых колготках, что он привез из заграничного вояжа... Ранка зияла в обрамлении травянистого шелка — как вишенка — сказал он тогда, и поцеловал. Пошлятина какая, — надо мною движутся назад лампы больничного коридора, трусы липкие от крови, в ноздрях засел неистребимый запах железа и что-то дергает глубоко в животе, а тут какие-то вишенки.

Он пришел утром, я кинула ему в морду тоже — трусы, демонстративно оставленные в разоренной постели. Леда оставила, или Лада, хрен разберешь эти собачьи имена тех, что тебя уже помоложе. А тебе уже без малого тридцать, ты едешь на каталке по больничному коридору и с каждым

метром теряешь ребенка — Петра, Илюшу или Данечку. Вскоре его остатки выскребут из тебя и выкинут в биологические отходы. Тут бы взвыть или разрыдаться, царапая себе лицо или внезапно безжизненный живот, но чувств будто бы не осталось. Тишина. Словно это и не ребенок умер, а я. И теперь все будет хорошо.

— Вы родственник? — спрашивает медсестра.

— Я... друг, — говорит Максим Ильич.

Дай же лапу, Дружок.

Или — нет. Не надо ни лапы, ни вдоха обо мне, ничего не нужно больше; изнутри одновременно с болью толкнулось чувство, будто кто-то другой вошел в комнату — тот, кого я пыталась тобою заменить, кто не отошел в сторону, когда имел все возможности и даже право это сделать; его-то я и хотела видеть, но увидеть никогда более не смогу, только вот это странное ощущение присутствия и будет временами со мною; а тебя не хочу ни сейчас, ни тогда, never ever, с этой твоей головогрудью разумного жука: красивая голова едва вертится на короткой шее в поиске ближайшей камеры: но здесь нету камер, нету славы и успеха, только боль, боль и утрата. Пшел вон.

С таким же примерно выражением, как и теперь, в больнице, это существо смотрело на нее той ночью в офисе на Мойке, отбив свои пятнадцать почетных суток за борьбу с оком Мордора, или Башней, а на самом деле за дурацкую нелепую драку с Терешонком; это был внимательный интерес хищника к добыче, которая странно себя ведет и может быть опасной, но одновременно служит его жизненным залогом. Тогда он рассказывал, как они будут жить в Москве — куда ходить, с кем знаться, затем они смотрели на ноуте видосы его свежих и давних интервью, и еще *этой* зачитывал комментарии и даже статьи о митингах, и даже увлекаясь всем этим воодушевляющим контентом, он слегка следил ее реакцию, будто при первой примете рассеяния

ее восхищенного взгляда опасался перестать существовать. Писец, даже какая-то литература имеется, смотри. Выдающийся пасквиль! Какая-то лондонская левацкая газетенка, мне сделали выборку и перевод... Кстати, тот самый Батманов, которым ты интересовалась. «...Моложавый человек из тех, что в жизни не работают ни дня, даже в Макдональдсе!» Вот же хуйло какое! Сам в Макдональдс иди, от всей души тебе желаю. Билеты я нам на среду взял, на вечерний «Сапсан».

В пустой квартире, куда она вернулась после больницы, было слишком много их прежней жизни; от этого присутствия у нее потихоньку ехала крыша. Она даже начала, страшно сказать, *со-жалеть*. Снова в уме называть его Максом. Думать, что и у него тоже — травма. При этом первое время не могла спать на кровати — подходя, сразу вспоминала про чужие трусы, приветливо подсунутые под подушку. Не могла открыть почту — там наверняка скопились ненужные к ней вопросы, и их волей-неволей прочтешь, это не трубка, которую можно просто отключить... Наконец открыла; за время, что она лежала в больнице, а потом дома на диванчике в кухне, ей пришло несколько писем на электронку; на удивление, она прочла их практически как словарь или медицинскую энциклопедию: индифферентно. Одно — от Макса, он сообщал что «как ты и хотела — наш проект завершен», он возвращается к жене, у них дочь-подросток, с которой та не справляется. Было непонятно, почему он не назвал девочку по имени, Марьяной, ведь Альке было не просто известно о ее существовании, они вполне были знакомы: совершенно обычная, немного балованная девчонка-тинейджер из в меру обеспеченной московской семьи с типичным набором интересов — японские мульты, фильмы про вампиров, сериалы, интернет; Марьяна с Алькой ходили вместе в кино в те родительские дни, когда Макс бывал занят, все это, конечно, по секрету от Ани, его бывшей — и вот

теперь снова актуальной жены. Понятно, что ребенок здесь выступил скорее поводом, слишком уж произвольно включались у Максима отцовские чувства; впрочем, если от этого поворота выиграет хотя бы Марьяна, это может хоть немного примирить с произошедшим... Более всего, конечно, оглушала та легкость, с которой Макс выключил, погасил ее в своей жизни — не то что без *со-жалений*, но даже без обиды или гнева, будто она была заставкой на экране ноутбука, и не было ни телесной и душевной близости, ни совместных воспоминаний и планов, ни, в конце-то концов, этих шести лет, столь многое поменявших в ее жизни и практически ничего не изменивших в нем, будто они были всего лишь рябью, пробежавшей по воде от случайного порыва ветра.

Вторая мессага была от той самой Лады, явно написанная под газом, смысл — отвали от моего мужика. Она несколько раз перечитала ее, чтобы уловить путаный ход мысли — еще и потому, что была под антидепрессантами, которые ей привезла Соня. Потом отметила иронию ситуации — одна телка, присосавшись к бутылке по поводу мужика, пишет другой, закинувшейся таблетками. Отвечать она Ладе не стала, зато вскоре вволю насмотрелась на позор соперницы в блоге Карабеева, который снова начала просматривать с маниакальной тягой преступника к месту гибели жертвы; Лада регулярно писала и туда, устраивая безобразные истерики в комментариях, потом пропала — видимо, бывший любовник ее забанил. Тут же подключился хор карабеевских поклонниц, выражавших возмущение неадекватностью девушки и полную поддержку — Максиму Ильичу, в каждой из этих несчастных баб читалась готовность занять освободившееся место; все это напоминало собачью свадьбу с поправкой на гендерную инверсию и выглядело еще более отвратительно, чем срыв отставленной пассивности.

Общение ее сократилось до минимума; знакомых по хужожке она растеряла еще в первые два года, и с тех пор ее мо-

сковский круг составляли почти исключительно знакомые Максима, даже с Соней они познакомились на какой-то из его тусовок. Сестре позвонить боялась — в последний раз, когда они встречались, Альке пришлось защищать Макса перед Вероникой, в процессе она раскололась и сообщила, что они ждут ребенка, и Карабеев ничего, заботится. Теперь же она не могла себе простить этого многолетнего, считай, идиотничанья, этой привычки делать хорошую мину при плохой игре — да, Максим был по-своему привязан к ней, что доказывал хотя бы изрядный пробег их отношений, но вкладывать в эту его привязанность какое-то иное содержание помимо эгоистического было, конечно, верхом самонадеянности. Она написала Артуру Лажевскому, с которым не общалась со времен Тершонка, но он все так же торчал в своем Хабаровске, куда уехал за какой-то девицей после окончания универа. С девицей не вышло, а вот с Дальним Востоком роман оказался серьезным; Артур уже много лет работал в местном вузе, даже отыскал в окрестностях каких-то ссыльно-польских родичей. За эти годы они разошлись не только территориально; бывший ее фамилляр, как дразнили Артура молодые археологи, вообще не понял ее страданий, лишь отрубил — а чего ты хотела, связавшись с женатым москвичом из политоты? Это иная порода людей, они всех нас купят и продадут за рюмкой в баре. После Лажевского она, дрожа и стесняясь, набрала в поиске соцсети — Даниил Ворон; ей выскочили аккаунты парочки малолетних готов и еще какой-то чувак из города Набережные Челны, позировавший на фоне явно чужого бумера. Что бы ей ни мерещилось, Ворона не было в интернете, а, значит, не было вовсе; разве что в ее голове.

Через пару недель после ее возвращения из клиники она выпила две бутылки вина, под таблетками особо не забрало, но условный рефлекс сработал, и она набрала номер Карабеева. Разговор начался вроде бы ровно, но уже

на второй минуте она раскисла в сопли и начала лепетать какой-то жалкий бред, в том числе пожаловалась и на то, что не знает, чем будет платить за квартиру; последние годы она зарабатывала в основном продажей рукодельных шарфиков, но для хода этого бизнеса нужно было постоянно и предупредительно суетиться под клиентами в интернете, на что сейчас не было никаких сил. Макс спокойным голосом спросил ее: Аля, я что, должен от тебя откупиться?.. Не найдясь, что ответить, она попросту нажала отбой. Все верно, умерла так умерла.

Назавтра, когда она болталась в остывшей ванне, словно желе, ей позвонил некий Андрей Степанович, он настаивал на встрече. После нескольких отказов Алевтина согласилась увидеться с ним в кофейне у дома. Это оказался человек карабеевских лет, он что-то долго выспрашивал у нее про Максима, про их отношения и где его найти. Алька выпила три или четыре эспрессо и две рюмки коньяка, хотя было утро и Андрей смотрел на нее почти с ужасом. Наконец она поймала в фокус его лицо и сказала, собрав, как ей казалось, в одной фразе всю информацию, что могла его интересовать:

— Карабеев ушел от меня к жене, с которой не жил лет десять... Еще он трахался с какой-то Ладой... имя, как у гончей сучки.

Андрей молчал.

— А больше я ничего не знаю.

— Лада — это моя дочь, — сообщил Андрей. — Имя супруга выбрала, я-то хотел Машенькой назвать.

Алька пожалала плечами. Встала и пошла к выходу. Мужчина догнал ее уже на улице.

— Слушай, я что могу обещать... я этому мудаку глаз на жопу натяну.

Алька повела в его сторону взглядом, как она с веселой обреченностью поняла — слегка косящим и безумным: будто его уже натянули.

— А смысл? Вы все такие, — и затем попросила: — Не трогай его.

Дома она собрала все свои платья, чулки, лифчики, — после больницы схуднула так, что хранить в них было особенно нечего, — увязала их и выбросила в мусоропровод. После этого обрезала волосы канцелярскими ножницами, нашла в туалетном шкафчике не выкинутую по совпадению басму от хозяйки или бывших жильцов и покрасила голову в черный цвет. Натянула старые джинсы Макса (они болтались), его же застиранную футболку и на нее свой старый свитер. Написала хозяйке имейл, а на зеркале карандашом для век — «Je suis lieutenant Le Corbeau»¹, вышла и выкинула ключи в почтовый ящик на двери квартиры. Когда она выскользнула из метро в центре, то отметила — Москва принаряжалась к Новому году, с моста было видно, как через пустое место гостиницы «Россия» в Зарядье просвечивают башни средневекового города.

¹Я — лейтенант Ворон (*фр.*).

Разо третье

Ты не один утратил день возврата

Милы кладбищенские грядки.
А ну, сыграем с жизнью в прятки.
Оставим счастье на потом.
Но как оставить в беспорядке
свой дом?

Борис Рыжий

Когда мы в Россию вернемся...
О, Гамлет восточный, когда?

Георгий Адамович

1. Феникс этих лесов

Дождь лился за ворот. Резиновые сапоги смачно целовались с раскисшей дорогой. Встреченные утром деревенские подарили апельсин, но были до того пьяны, что не смогли объяснить, как выйти из лесу. Из лесу он все же выбрался и теперь расхлебывал километры совхозных полей, но так и ни души, только рыжие собаки да на корню киснувшая капуста. Решив свернуть, он пошел по борозде вдоль линии электропередачи. Пересек поле, углубился в чахлый лесок и мимо пустующих участков вышел к берегу залива. Дождь все не прекращался, колотил по днищам проржавевших моторок, втапывал в песок спелые листья. Столкнув в воду приткнувшуюся к волнорезу плоскодонку, он зачерпнул сапогами мутной сероватой воды, залез внутрь и выбрал весла.

Лодка была худая, навстречу дождю тихо вползали солоноватые волны. Подчиняясь мерному ритму дня, переходящего в сумерки, он наконец задремал. Очнулся от холода. Сидя в полузатопленной лодке у травянистого берега свалки, увидел недалеко груды домов и светлые прорези окон. Выбрался на камни, оглянулся на хмурую студенистую массу залива, на узкий, змеящийся к лесу пляж, посмотрел на город и заплакал. Провел по лицу мокрым брезентовым рукавом и медленно отправился прочь, к лесу.

Назавтра подморозило. Переночевав на двух сотках в сложенной из фанеры и ДСП хибаре, он миновал насыпь, источенную норами гастарбайтеров. Пересек железнодорожную линию, оглядываясь на змейки дыма, что колыхались из тонких скрюченных труб. Трубы торчали из насыпи, как прутики из муравейника, те, что втыкают, чтобы собрать волшебную кислоту; струйки дыма плыли и растворялись в мокром воздухе большими ниточками слюны. За железкой начиналась промзона; чуть дальше — новые недорогие дома, жилой комплекс. Заводик щедро точил испарения; выбрасывал их из каждой щели, бесконечно тлел. Новостройки от первых этажей до последних тихо плыли в розовато-молочном мареве. Поезд прогрохотал, поддавая в спину железным ветром.

Его тянуло к берегу, но, преодолев заборы, а затем заводскую свалку, он увидел, что море замерзло. Схваченные на бегу маленькие ершистые волны выглядели застигнутыми за вечным недобрым делом. Мусорный песок пляжа гладок и тверд, как бальный паркет, камни у края остановившейся воды покрыты изморозью. Корявые их очертания напоминают застарелые продукты в морозилке, передержанное мясо земли. Тростник застыл в вычурных позах икебаны, по жухлой траве последним ветром разметаны пустые ракушки. Он долго шел вдоль и приблел к границе старого парка; ограда уходила в море. Вокруг двух последних столбов ограды за-

стыло море грязными языками волн. Последний столб чернеет, как пестик в цветке оледеневшей камелии. Осторожно ступая по пенному льду, он мимо ограды перебрался в парк. Крупные старые деревья опоясаны обручами; свежая древесная плоть выпирает и бугрится над железными ремнями, как квашня. С маленького мыска было видно, как разгорается ввечеру маяк на острове Котлин. Прислонился к гладкой березе; та колыхала ветки на небе цвета черненого серебра. Мраморный денек бледнея, темнеет. Из-под берегового уступа пробивается ручей. Тугая коса живой воды впадает в целое море мертвой. В тростниковой норке у ручья возится толстый селезень. Бешеная бегущая вода разбивает лед, тормозит застывшие колтуны волн. Большая сизая льдина, вибрируя, как противолодочный катер, по наклонной отрывается от берега. Вмерзшие ботинки носками к тускнеющему солнцу торчат, как стойки у тральщика. Где-то не очень далеко, за пару километров от берега, море еще не замерзло, и запоздавший катер торопится, прочесав зеленовато-бурую шкуру залива, встать на якорь в ближайшей гавани.

Позавчера, в последний из теплых дней, рыбаки-браконьеры причалили у ограды старого парка с богатым уловом. Разложили костер, распатронули пару судачков. Нанизали на пруты.

Дым пах мокрой тряпкой. Море подлизывалось к корме вытасченной наполовину лодки. Осень..! — сказал один, счищая с рыбы подкопченную вместе с чешуей шкуру. Скоро зима. Да ты что, — поддержал второй. Правда, что ли? Посмеялись.

Один китаёза сделал кино — осень, зима и снова весна. Да, это прямо про нашу жизнь. Отхлебнув из горла на сером в сумерках берегу, тянет пофилософствовать. Тогда я тоже могу кино — рассудил второй. Ты не китаёза. Кто тебе поверит? Нежная рыба плоть пахнет водорослью. На зубах что-то скрипнуло. Рыбак задумчиво поковырялся во рту и из-

влек три судачьих ребра, острых и гибких, несколько хрустящих чешуек и крошечный нательный крестик. Ну ни хрена себе, — поразился философ. Тоже — божья тварь, — задумчиво сказал второй. И в свою очередь выплюнул на ладонь что-то железное. Поднес к огню. Пуля? — поразился первый. Нет, — покачал головой напарник. Коронка. И встряхнул кистью, как обжигаясь. Вот блядь, — завозился первый. А я думаю, че их там много так.

Улов закопали под яблоней на огороде, в маленьком дачном поселке у границ южного предместья. Грязный и сырой город рушился в овраг кирпичной россыпью домов, сизый лес гудел выстрелами. По первому снегу началась охота на белок.

Сизый облачный лес гудел двигателями воздушного корабля; погрузившись в работу, он пропустил момент, когда стюардесса сообщала о необходимости выключить электронные приборы — сосед коснулся его плеча, обращая на это внимание; под крылом уже расстился город, распустившийся на великой русской реке, как листва — на ветке. Не русской, — поправился он мысленно. Больше нет.

Приближался ли он к дому или же к неприятностям, но еще на подлете у него, что называется, задрожали пальцы; едва он раскрыл ноутбук над воздушным пространством страны У, пошли слова, складывающиеся в историю; собственно, отчасти для этого он и мотался по всем этим странным и неудобным местам, где легко можно было словить пулю и с гораздо меньшей вероятностью — Пулитцера. Ради этого чувства, когда после суток, а то и нескольких, оказываешься в неизменно плохой гостинице или съемном апартаменте с пузырьком какого-то пойла; третий мир, знакомый по обрушенной юности, где приходится откручиваться от предложений секса и дури, где можно курить везде и всё, где чувствуешь себя мужчиной, хоть это и неправильно, сви-

детельствует о внутренних неладах, пора к психотерапевту, как не раз говорила ему Гвен.

Но в этот раз она сама благословила его на подвиг — двойной контракт (ассистента-переводчика для одного мутного парижанина и очеркиста для небольшого, но почтенного нью-йоркского издательства) обещал ни много ни мало — перемену участи. Насчет второго стоваривались в «Алгонкине», что само по себе было некоторой заявкой; на этот ланч он пришел с Гвен, а ее знакомый и его потенциальный издатель и заказчик Себастиан — с политиканом из команды одного демократического конгрессмена, широко известного в узких кругах филантропа, мецената, и прочая и проч. Издатель был молодой, тихий и умный, он почему-то сразу вызвал у него что-то похожее на сочувствие; политик — неопределенного возраста оживленная натура, красивый wasp, возможно, гей, но не из тех, кто будет разгуливать с радужным флагом по улице. Панели темного дерева, стол, покрытый крахмальной скатертью, бесшумные официанты — Америка as is, не та, что на импорт, а та, что in God we trust, да и в миссии своей не имеет ни малейших сомнений. После изучающей беседы за здоровой обильной пищей позволили себе дижестив.

— Мне говорили, что у вас в прошлом были проблемы с российской государственной системой, — сказал помощник конгрессмена, причем реплика балансировала между вопросом и утверждением, склоняясь к последнему.

— Эти проблемы исчерпаны. Насколько я знаю, российские органы мною давно не интересуются.

— Wishful thinking... — улыбнулся доктор Монро, как он сам себя представил. — Впрочем, в моих глазах это характеризует вас скорее с хорошей стороны. Я немного завидую вам — вы будете наблюдать процесс делания истории, а мы надеемся через вас быть тому свидетелями... У вас есть родственники в К?

— Есть, по маминой линии.

— Excellent. То есть вы едете домой — в каком-то смысле. Что же, за ваш и наш успех. И — возвращайтесь к вашей очаровательной супруге и хорошим гонорарам. — Доктор Монро усмехнулся. — Вот еще... скажите, а почему вы до сих пор не подали на гражданство? Может быть, какие-то трудности?

— Да нет, скорее некоторый творческий беспорядок в делах, — соврал Батманов. Гвен выстрелила в него взглядом со своего места наискосок.

— У нас это в планах, — дополнила. — В ближайших.

— Тем не менее вы оформили re-entry permit¹.

— Это было сделано в связи с нашим отъездом в Лондон. Из-за моего архитектурного контракта в Британии. Мы не знаем, на сколько это затянется. Теперь, конечно, многое изменилось, — она улыбнулась доктору Монро так, как умеют только эти англосаксы старинной крови; будто подписываясь под договором.

Гвен сражалась за него до последнего; он даже почувствовал укол вины — эта его поездка ломилась в том числе из-за их внутреннего кризиса — проект отправки Веры в частную школу в Англии, продажа Стоун-Пича, совместная безо всяких скидок жизнь в Лондоне после нескольких лет фактически гостевого брака — в какой-то момент он почувствовал, что его скручивает изнутри, будто психический механизм поставили на отжим. И тогда он, еще до всяких людей из «Алгонкина», попросил Мерфи срочно найти ему привычную выездную работу. Тот молчал некоторое время, потом прислал телегой² контакты этого Рене, сопроводив комментарием: хотя я бы на твоём месте подумал, связываться ли с этим

¹ Дословно — разрешение на возвращение; документ, позволяющий обладателю грин-карты США вернуться в страну без потери статуса после длительного (от полугода до двух лет) отсутствия.

² Жаргонное название сервиса Telegram.

лягушатником, — дальше ряд смайликов, означающих в их лексиконе — оружие, наркотики, стремный секс, и под финал указание зайти в darkweb для полного впечатления.

Тем не менее Батманов согласился, сообщил об этом Гвен, которая приняла командировку в город К стоически и незадолго до его назначенного уже отъезда нашла Себастиана, заинтересованного в горячей книге очерков с места событий. Майдан к тому моменту уже стоял дня три, лягушатник нарисовался где-то за неделю до начала волнений, что, впрочем, его не удивляло и не смущало — за несколько лет работы с Мерфи он не раз имел возможность убедиться, что революция — не то дело, что можно пустить на самотек.

Контракт с людьми из «Алгонкина» он получил; ему выплатили неплохой аванс, также свалилась сумма от француза на расходы, так что в город К он летел практически во всеоружии — немного царапало, что не сумел отстоять Веру от этого фешенебельного интерната, но тут уж мать в своем праве. Daniel, мама настояла, чтобы я взяла математику и экономику, но я отбила dramatic art и античные цивилизации, как ты мне говорил — наш европейский культурный код; еще я хочу взять вторым языком русский, но это пока секрет, — писала ему дочь. Wishful thinking — пришло ему в голову, но он быстро убрал этот депрессняк и написал девочке, — испанский, если что, тоже o'k, Corta-Bonita¹, muy bien².

Рене, мон бон ами, дорогой Ренар, — бормотал Батманов в такт стремительно устаревшей песенке в такси из аэропорта, — еще немного, и Прованс.

Город К даже в самый нефотогеничный месяц года выглядел очень красивым и праздничным. Несмотря на то что раскинулся он на многие километры вдоль широкой, немного

¹ Маленькая красotka, красotka-коротышка (*исп.*).

² Очень хорошо (*исп.*).

ленивой реки, на большой город он похож не был. Скорее на множество гостеприимных, обаятельных пригородов, слепленных друг с другом. Или на город из параллельной вселенной, где причудливо склеились, как осколки разбитых зеркал, осколки других городов. Потому что были тут и Бассейная улица, и ВДНХ, и ЦУМ, и проспект Народного Ополчения, и Театральная площадь.

Ноябрь здесь пах не дождем и холодом, а каштанами и сытной обильной едой.

Забросив багаж, он проехался на неудобном здешнем метро и вышел на площадь перед цирком. Цирк своим видом напоминал переевший стероидов павильон ленинградского метро Площадь Восстания; восточная стена была оплетена сеткой плюща, с которого уже облетели листья, и было похоже, что здание цирка поймал в свои сети огромный невидимый рыбак. Поймал, а вытянуть это огромное чудище не смог, да так и бросил. Повернув в сторону ленивой реки, он прошел мимо Ботанического сада, где гуляли старики и женщины с детьми, прошел мимо нескольких соборов и парков, свернул в сторону крытого рынка, похожего на Балтийский вокзал, прикидывающийся рядовым супермаркетом. Дороги города К причудливо извивались, но не по оси X, а по оси Y, то устремляясь вверх, то круто падая вниз.

Квартиру для себя и французского нанимателя он снял на улице Бассейной. Не смог отказать себе в этом, увидев объявление на сайте, тем более что по параметрам она подходила — просторная трешка с двумя спальнями, оформленная, конечно, в несколько бордельном духе. Впрочем, мсье Рене был не слишком притязателен, лишь оговорил наличие обустроенной для пати гостиной, отдельный санузел для каждой спальни и ширину кровати в своей комнате. Прямо под окнами располагался магазин рукодельной косметики, от запахов которой щекотало в носу; зато в этом же здании было две кофейни, парикмахерская, пивная и винный бу-

тик — все, что нужно для холостой жизни в революционном городе. С революцией вот только небольшая получилась накладка. Город жил обычной жизнью. Не было чувства тревоги и каких-то неминуемых перемен. Вернее, это чувство оказалось строго локализованным, к нему надо было идти, словно в театр.

Он летел сюда, разглядывая фотографии масштабных протестов, которыми пестрели новостные ленты интернет-изданий. В принципе, он, конечно, понимал, что не может быть прямо как в советских фильмах, изображавших революционный Петроград. Или как в некоторых теплых странах, где из темноты в узкой улочке вырывается пикап с автоматчиками. Когда весь город в огне, толпах возмущенных пролетариев и баррикадах. Но в городе К получалось так, что вся революция не выходила за пределы небольшой в общем-то площади и пока не мешала ни горожанам, ни гостям города. Если бы не интернет и телевидение, то уже на соседней улице легко было забыть, зачем ты сюда приехал. Несколько раз в попытках дойти до палаток протестующих Батманову даже казалось, что он заблудился и пошел не в ту сторону.

Стоило ему активировать местную сим-карту, как тут же булькнул скайп. Звонила мамина родственница Елена.

— Ну и как это понимать, я тебя спрашиваю? — без предисловий начала она. — Приехал, никому не сказал. Поселился в каком-то отеле!

Слово «отель» было сказано, словно он решил побомжевать под мостом.

— Я квартиру снял, — сказал и закусил щеку изнутри. Елена Вассовна в короткие минуты их общения, на правах престарелой двоюродной сестры легко могла довести до нервного тика.

— Что? Квартиру? — слово «квартира» было сказано с той же интонацией, что и слово «отель».

— Лена Вассовна, — сказал и был тут же перебит причитаниями родственницы. Что, наверное, и к лучшему, потому что не стоило ее так называть. На самом деле звали ее Елена Ивановна. Но, поскольку отца ее никто и никогда не видел, то за глаза родственники дали ей в качестве отчества имя ее матери Вассы.

— За кого ты нас вообще принимаешь? — продолжала тем временем Лена Вассовна. — Мы что, не могли тебя у себя устроить? Как не родня, честное слово!

— Я обязательно приеду в гости, — послушно ответил Батманов.

В отличие от московской или британской родни, услужливо скидывавшей ему контакты хороших гостиниц, здешние родственники на подобную независимость реагировали болезненно.

Семья Елены Вассовны Пушкиной жила, как сказали бы в его петергофском детстве, за линией. То есть по другую сторону крупной железнодорожной развязки. Массив жилых домов советской постройки вытянулся вдоль парка. По его ранним воспоминаниям, у Елены и ее мужа была огромная четырехкомнатная квартира, напичканная предметами советской роскоши. В первой половине восьмидесятых они гордились видеомэгафоном и кассетным проигрывателем какой-то иностранной фирмы. Привычки у людей меняются редко. Видеомэгафон в гостиной сменила модная плазменная панель, но на полках стояли все те же фарфоровые статуэтки, в серванте — чешский сервиз с игривыми сюжетами, словно инсценировка удавшейся во всех смыслах жизни. На полке над телевизором располагалась модная цифровая рамка, по которой показывали памятные фотографии из единственной поездки Леночки в Египет. Это мельтешение по краю зрения немного сбивало с толку, если пытаться посмотреть телевизор. Телевизор, правда, тоже

немного сбивал с толку своим мельтешением и отсутствием генеральной точки зрения.

Помимо пожилой супружеской пары в квартире жили их великовозрастный сын и дальняя родственница из деревни, работающая при каком-то министерстве. Оба молодых человека, находясь на пороге сорокалетия, ничуть не тяготились материнской заботой Елены Вассовны. Заботу эту Елена попыталась распространить и на него. Наведываться в гости приходилось часто. Елена готовила обеды из расчета на ново-прибывшего родственника, и ничто не могло заставить ее этого не делать.

— Ты куда это собрался, Саш? — поймала Елена в коридоре своего сына.

— Поеду на площадь Революции, — надевая куртку, ответил Саша. Этот Саша был высоким, слегка рыхловатым мужчиной, какими бывают люди от природы сильного телосложения, все свое время проводящие в офисе.

— Но ты же не покушал! Погоди! — с этими словами она побежала на кухню. Налить в термос супа.

— А это что? — отец приподнял клапан сумки, повешенной на дверную ручку, и вытащил оттуда какой-то художественный объект из фольги.

— Это шапочка от излучений, — без запинки ответила вернувшаяся с термосом Леночка.

Сергей Юрьевич закашлялся:

— Что это, говоришь?

— Шапочка из фольги, пап. Чтобы избежать вражеских излучений.

Сергей Юрьевич задумчиво пошевелил бровями, крикнул, видимо пытаясь смолчать, но все-таки не удержался.

— Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Знаешь, а я ведь понимаю, почему тебя жена выгнала, — машинально вытащил из-за уха сигаретку, прилепил ее на губу, полез в карман за зажигалкой.

— Это кого ты тут сукой назвал, а? — Леночка отвесила мужу подзатыльник. — Не мешай мальчику вершить историю. Курить марш на балкон!

— Это не она его выгнала, он сам от этой стервы ушел! — крикнула она вслед Сергею Юрьевичу, послушно двинувшись в сторону балкона.

Сергей Юрьевич курил теперь только на балконе. Леночка раньше курила вместе с ним и даже легко могла заткнуть его за пояс в этом вопросе, но с легкой руки своей подружки-работодательницы немного помешалась на ЗОЖ. Спасибо, что не на сыроедении, беззлобно приговаривал Сергей и шел на балкон. Балкон был большой для советской постройки, на нем помещались круглый стол и три кресла вокруг, вдоль стены стоял стеллаж с цветочными горшками и книгами. Еще Данька заметил там коробку шахмат. Никакого привычного советскому глазу жуткого бардака. По случаю практически постоянной прописки Сергея Юрьевича на этом балконе, хозяин даже установил там тепловую пушку. Которую и включил сейчас, усаживаясь в одно из кресел.

— Ты-то хоть куришь? — Сергей Юрьевич вытащил из кармана джинсов слегка помятую пачку, открыл и протянул Батманову. — Садись.

Данька взял сигарету, сел. Вдохнул сладкий воздух города К, смешанный с табачным дымом.

Сергей Юрьевич затянулся шумно, со вкусом.

— Это все, конечно, очень странно выглядит, но он парень искренний. Хоть и не очень далекий. Мать, сам видишь, какая, от своей юбки его никогда не отпускала. Даже когда он сам ребенка завел. Ничего. Побуянит там недолго за компанию, дурь выйдет, и все на спад пойдет. Ему надо пар выпустить, понимаешь?

Данька пожал плечами.

— Не веришь мне? Ты-то оригинал, я знаю. Тебе хочется видеть, как делают историю. Но это не оно. Сам подумай —

у нас Новый год через несколько недель. У студентов сессии, менеджеры в Израиль или в Египет поедут. Остальные до марта будут пить, ходить по гостям. Ты же помнишь, как у нас любят ходить по гостям. И тратить деньги здесь и сейчас. Вкусно и сытно пить и есть. А потом сидеть без денег. Это традиция. А морозить жопы на площадях — это не наша традиция. Всё это, — Сергей Юрьевич нарисовал какую-то неопределенную фигуру в воздухе, — рассосется.

С Тоней они познакомились на фейсбуке еще до его приезда из NY, на фотках и видеозаписях это была скуластая, широколицая и румяная женщина с толстой черной косой. Коса эта лежала толстым змеем между лопаток или на плече. Судя по фотографиям, Тоня очень гордилась своей косой. Еще она увлекалась ролевыми играми чуть ли не во всех разновидностях — на странице мелькала реклама онлайн-игрушек, видео исторических танцев где-то в лесах чередовались с фотками в кожаных прикидах, равно напоминающих доспехи фэнтезийной воительницы и униформу доминатрикс. Накануне их первой встречи она постриглась и сменила имя в профайле на Деницу. Последнее он узнал, пока ждал ее и по привычке полез в телефон, чтобы удостовериться, что за последние пятнадцать минут в ленте ничего нового не произошло. Дурацкая, болезненная привычка.

Тоня-Деница пришла в кафе неподалеку от площади Революции в черной куртке и камуфляжных брюках, которые подчеркивали широкие бедра и полные ноги, тогда как белоснежная футболка под распахнутой косухой рисовала короткий узкий торс с заметными, симпатичной аккуратности круглыми грудками; при щедрых формах в фигуре было отчетливое изящество. Серебристые бусины мороси осели на гладких, лежащих, словно шлем, вороных волосах. От нее, в контраст с уютным ароматом кофе и выпечки, пахло сыростью, холодом и немного дымом. А глаза у нее были

ярко-серыми, даже и без косметики будто подведенными короткой щеточкой темных ресниц. Но все эти впечатлительности реальности перебивались безумным внутренним жаром, радиацией, которую она излучала, как маленькое недоброе солнце; яркая, с горящими глазами и хрипловатым голосом, быстро жуя пирожок с сердцем, с придыханием рассказывала про свободу жить так, как хочется.

— Ты должен это увидеть! Только тогда ты поймешь, какое же это счастье — вот так стоять на баррикадах. Я же раньше в офисе работала. Рекламу продавала. В конторе онлайн-игр. Такая скука! У нас все там было — и еда из ресторана, и бассейн тремя этажами ниже, и групповые выезды на природу, в оборудованные коттеджи. А сейчас я в палатке на морозе. Я никогда не жила более, чем сегодня. Пойдем со мной! — она схватила его за руку, не в силах долго усидеть на месте, вытягивая из-за стола, с мягкого кресла; железная трубочка-бомбилья из колбочки с мате резко царапнула по передним зубам. Поднимаясь, хватая сумку с неубиваемым армейским ноутбуком, Данька еще раз отметил про себя сильный, нервический жар широкой ладонки.

— А зачем ты вообще в офис пошла? — на ходу соображал он. Площадь входила в его планы, там была назначена встреча с мсье Ренаром, как он заочно прозвал своего французского патрона.

— В смысле — зачем? А куда еще? В проститутки? — выпалила она. — Ты думаешь, у нас тут распределение по сверхспособностям? Ха-ха! Кто где может, там и устроился. Но мы теперь все поменяем...

Пока она тащила его по улицам, их чуть не сбила машина скорой помощи.

— Там людям постоянно становится плохо с сердцем, — сообщила ему Дени, как она попросила ее называть. — Все ужасно волнуются, отпустит нас наконец Рашка или нет, — говорила она на чистейшем русском. — Я в Питере немного

училась, ну да ты читал в моем блоге. На учителя русского и литературы. А ты что закончил?..

— Чего я только не закончил.

— Интересничаешь! — усмехнулась Дени. В этот момент реакции на его пошловатый пацанский ответ он понял, что сообразительность у этой девушки причудливо сочетается с безумием.

— Мне еще нравится, что мое уменьшительное теперь как у Дейнерис, которая освобождает рабов из-под ига. Неужели не смотрел? Ты, кстати, по типуaju немного смахиваешь на Джона Сноу. И загадочный тоже. А вот Дейнерис блондинка... но я себе волосы ради образа жечь не стану.

— У тебя красивые волосы, — сделал он осторожный комплимент.

— Нравится? Хочешь — потрогай! О, а вот и мои друзья!

При входе на площадь стояла группа уличных музыкантов. Впрочем, уличными они только прикидывались — здесь был большой барабан, флейта, скрипка и даже средневековая колесная лира. Десяток людей в средневековых костюмах или зимних куртках танцевали под знакомую ему мелодию, высоко задирая ноги, размахивая руками и кривляясь, как в пляске святого Витта. Трое были в звериных масках, горящая недалеко бочка с мазутом отбрасывала на них причудливые отблески и тени, а из-под масок раздавались голоса на знакомом ему полузабытом языке:

Ai vist lo lop, lo rainard, lèbre
 Ai vist lo lop, rainard dancar
 Ai vist lo lop, lo rainard, lèbre
 Ai vist lo lop, rainard dancar
 Totei tres fasiàn lo torn de l'aubre
 Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre
 Totei tres fasiàn lo torn de l'aubre
 Fasiàn lo torn dau boisson folhat

Aqui triman tota l'annada
 Pèr se ganhar quauquei soùs
 Aqui triman tota l'annada
 Pèr se ganhar quauquei soùs
 Rèn que dins una mesada
 Ai vis lo lop, lo rainard, la lèbre
 Nos i fotèm tot pel cuol
 Ai vis lo lèbre, lo rainard, lo lop¹.

Он остановился за танцующими; Дени тоже, но при этом начала инстинктивно приплясывать на месте. Женский голос довольно точно выводил мелодию средневековой эстампиды, варьируя открытые и закрытые окончания пунктов; на проигрышах высокая солистка с пушистыми светлыми волосами прижимала к губам истерично посвистывающую флейту, а парнишка рядом бухал в огромный басовый барабан, эти низкие содрогания отдавались где-то внизу живота. Танец был энергичен и короток, но музы-

¹ Я видел волка, лису и зайца,
 Видел танцующих волка с лисой.
 Я видел волка, лису и зайца,
 Видел танцующих волка с лисой.
 Все они под деревом плясали.
 Я видел волка, лису и зайца,
 Все они под деревом плясали,
 Кружились под изумрудной листвой.

Чтобы денег скопить немного,
 Я гнул спину целый год.
 Чтобы денег скопить немного,
 Я гнул спину целый год.
 В итоге нет у меня ничего.
 Я видел волка, лису и зайца.
 Всё, что мне теперь осталось, —
 Смотреть на зайца и волка с лисой.

(Окситанская народная песня)

канты, как и танцоры, будто не могли остановиться — мелодия, вильнув, пошла на второй круг, постепенно ускоряясь; крепкий двойной мате, волшебство узнавания *своего* или же атмосфера вечерней площади были тому причиной, но в какой-то момент Батманов ощутил, что не может более оставаться наблюдателем; он подхватил Деницу за узкую спину, и они рванулись в круг. Когда-то он неплохо танцевал, но после давней травмы знал, что не может ловить колебания равновесия с прежней легкостью, уверенность ушла, и на американских вечеринках, немного потоптавшись в паре с Гвен, он обычно подпирал стену. Но тут его коленожность неожиданно сыграла на руку — или, вернее, на ногу: буйство площадной пляски будто требовало чего-то подобного; припадая на более пострадавшую правую ступню, он задавал телу несоразмерный и оттого еще более выразительный импульс. Они вертелись в хороводе пар и отдельных танцоров; красивые волосы Дени, взметаясь, касались его лица, а их бедра иной раз сталкивались — в эти моменты девушка всхрапывала, обнажая крупные крепкие зубы, а в какой-то момент она повернулась к нему вполоборота и толкнула тазом, словно кобыла, которая поддразнивает жеребца. Вскоре мелодия, наконец исчерпавшись, оборвалась гулким ударом барабана, ряды танцующих смешались; они оказались против пары в масках, Лиса и Зайчихи; Лис, не поднимая маски, изобразил комично-галантный поклон и представился:

— Maître Renard.¹

— Maître Corbeau², — подыграл он.

Мастер Ренар высоко расхохотался.

Так он познакомился со своим французским патроном.

¹ Мастер Лис (*фр.*).

² Мастер Ворон; как и Мастер Лис (Ренар) — персонаж басни Лафонтена, а также средневекового «Романа о Лисе» (*фр.*).

Над знакомой с детства площадью спускался густой и пока всего лишь прохладный осенний вечер, плотный и темный, отсвечивающий огнями реклам и горящих бочек. Где-то впереди раскрывала крылья грудастая стела и шевелилась толпа, время от времени люди принимались что-то выкрикивать нестройным хором. Все это выглядело, будто он действительно попал в любимый Деницей сериал. Мэтр Ренар на вопрос о том, где его вещи, таинственно сообщил, что он не прилетел, а приехал, поэтому оставил багаж в камере хранения вокзала и сразу устремился на Майдан. А сейчас ему надо поспать пару часиков, и затем он снова будет в распоряжении мамзелей (галантный поклон Зайчихе и Денице). Данька отдал ему комплект ключей, и Ренар уехал на такси, договорились созвониться. Они остались втроем, мамзель Зайчиха под маской оказалась неброской, но миловидной женщиной тридцати лет или около. Она поначалу заговорила с Батмановым по-французски, но он быстро разочаровал ее, сообщив о своем статусе толмача и сопровождающего — и не мог не отметить, как искорка живого интереса в глазах Авроры, как представилась зайка, не то чтобы потухла, но перешла в дежурный режим. Из вежливости или из удобства, но они стали говорить по-русски; в отличии от Деницы с ее почти ленинградским прононсом, Аврора была обладательницей мягкого фрикативного г и глуховато-рокошущего французистого р, это звучало по-своему мило. Вскоре музыканты сделали паузу, и девушки потянули его знакомиться. Солистку звали Норой, — не иначе, от Алиенор, решил он, пошарив в привычном контексте, — она протянула ему початую бутылку вина; они выпили и немного поговорили о нюансах окситанского произношения — ансамбль исполнял эстампиду в варианте, слегка отличающемся от общепринятого, который помнился ему по универу; впрочем, эти твердые окончания сообщали песне дополнительную энергию. —

А вы знаете этот язык? Я-то как попугай пою, хотя очень хочу выучить, — пояснила Нора. — Вряд ли кто-то сейчас может сказать всерьез, что знает тот язык, что был когда-то, — усмехнулся Батманов. — Или диалекты, или реконструкции — говорят, около двух миллионов активных носителей, но все это в некоторой степени искусственно. Жаль, конечно — на мой пристрастный взгляд, одно из самых гармоничных и певучих наречий, что вообще существовало. — Вот-вот, — неожиданно вклинилась зайка-Аврора и заговорила с горячностью, неожиданной для тихони, которая легко в ней угадывалась:

— Теперь вы понимаете, почему люди вышли? Дело не только в коррупции или там бедности... Мы боимся исчезнуть. Прямо вот как эти окситанцы, которые умели хорошо жить, петь и танцевать, и у которых был могущественный северный сосед с веками отшлифованной военной машиной.

— Что-то я пока не слышал, чтобы к вам собирали Симона де Монфора, — улыбнулся Батманов, глядя на миниатюрную Зайчиху сверху вниз, что было немного непривычным впечатлением при его собственном небольшом росте. — А собственные катары у вас завелись уже?

Аврора сердито сдула со лба легкую челку.

— Вот это имперское высокомерие очень обижает. И неважно, откуда вы прибыли — из Москвы или из Нью-Йорка.

Данька подавил порыв присесть перед ней на корточки, как при разговоре с ребенком, и лишь изобразил шуточный поклон, что становился, похоже, жестом этого вечера.

— Я не хотел вас обидеть. У меня пока нет никаких стереотипов, ни русских, ни американских, вот просто чистый лист.

— Ошибаетесь, — весомо заметила Нора, пожимая плечами, — как бы вы ни старались, это попросту невозможно.

— Туше, — согласился он.

Они допили вино, и музыканты снова взялись за инструменты.

Дрейфуя по краю площади и стараясь не забираться глубоко в толпу, они болтали с Авророй о куртуазной поэзии, краем глаза он наблюдал происходящее на сцене и в зале — ораторы сменялись музыкальными номерами, публика смеялась, знакоилась или встречала знакомых, расслабленно выпивала. Деница по мере сил принимала участие в движухе, время от времени выкрикивая речевки или подпрыгивая, но после каждой эскапады снова завладевала его рукой, немного ревниво поглядывая на мадемуазель Зайчиху. В тот момент, когда Аврора отвлеклась на встреченного знакомого, Батманов склонился к уху Дени и тихонько предупредил: я женат, sweetу. Она вскинула на него глаза и прошипела: ну и что? Я не дура, вообще-то... видела фотки на твоей странице. А еще я не видела ни одного женатого мужика, который время от времени себе не позволял бы...

— Ты права, у нас свободные отношения, — сухо заметил он. Это техническое обсуждение почему-то его покорило, и сексуальный интерес к ней, в котором он вполне отдавал отчет, несколько подугас.

Вскоре позвонил Ренар и сообщил о встрече, назначенной у него в ресторане. Подъезжай и девок бери, обоих, — без экивоков распорядился он. Батманову показалось, что он увидел, как Ренар на своем конце сети облизнул суховатые тонкие губы.

В ресторане их ждали трое местных — безотчетно полагающий мужик средних лет в усах, упорно говоривший на этой их мове, что доставляло некоторые затруднения при переводе, хлыщ в очочках, явно заднеприводный, и стриженный парень со слегка поплывшей фигурой бывшего спортсмена, которого он про себя окрестил Боевиком. Чуть позже подошел еще один, этого клиента идентифицировать было труднее: бородака, шарфик, подчеркнуто грамотная речь; сошел бы за интеллектуала, если бы не руки в шрамах, с привычно сбитыми костяшками. Этот последний, культуролог, как

он представился, немного говорил по-немецки, и в какой-то момент Батманов заметил, что время от времени кто-нибудь из остальных что-то говорит ему, а после тот шепчется непосредственно с Ренаром. Немецкого он не знал, да и вслушиваться не пытался, но отдельные слова долетали, и вскоре Батманов понял, что эти конспираторы договариваются о покупке тяжелой наркоты. Революционэры, блин, — усмехнулся про себя Данька и принялся развлекать заскучавших девиц, не забывая опрокидывать рюмку за рюмкой. Разошлись под утро, вчетвером поехали на квартиру. Ренар, очевидно, успел что-то слопать в туалете, куда выходил одновременно с Немцем, и находился в приподнятом настроении. Усач душный, с ним... как это? *Он n'ai jamais vu une pie avec un corbeau*¹, каши не сваришь. А с остальными будем работать, — сообщил он Батманову, прищелкнув пальцами, и тихонько, то-ненько рассмеялся.

На базе Ренар увел к себе зардевшуюся Аврору, а Данька сдался на милость этой безумной матери драконов; секс, впрочем, немного взбудрил его, и к середине дня он проснулся без похмелья и даже без следов джет-лага.

В следующие несколько дней в квартире на Бассейной установился своеобразный распорядок, который вызывал у Батманова невольные ассоциации с теорией одного американского оригинала, предположившего, что средневековые горожане имели обыкновение спать в несколько приемов, отводя середину ночи для всяческих игривых дел. Назначенное ли французу имя играло свою роль, или то была просто привычка опытного прожигателя жизни, но мэтр Ренар имел обыкновение, проснувшись незадолго до полудня, освежившись душем и попив зеленого чаю со стаканом сока двух выжатых апельсинов и половинки лимона, отпра-

¹ Не увидишь сороку с вороной (Гусь свинье не товарищ) (*фр.*).

виться по делам, последнюю вечернюю встречу провести за плотной трапезой, после чего, иногда прихватив с собою безотказную Аврору, иной раз в одиночестве, отправиться на базу и на три-четыре часа затвориться в спальне. Около полуночи Ренар просыпался и ехал на площадь или снова с кем-то встречаться. Ночные встречи и люди отличались от дневных; если в светлое время суток преобладал официоз, — француз был членом правления нескольких фондов, сотрудником исследовательского центра политической аналитики по республикам Закавказья, также входил в редколлегии кое-каких интернет-медиа, — то в темноте творились дела иного рода; покупка крэка и таблеток, которой Батманов стал свидетелем в первую ночь, была едва ли не самым безобидным из них. Кроме того, Ренар едва ли не всюду возил с собою сумку с кэшем, повторяя свое *l'argent est le nerf de la guerre*¹, к охране которой как-то попытался пристегнуть своего русско-американского ассистента; у Даньки хватило ума отказаться, сообщив, что о подобном не было никакой меж ними договоренности, француз закономерно окрысился. Так или иначе, для американских очерков эти впечатления совершенно не годились, более того — все говорило о том, что праздничная расслабленность площадного театра неминуемо и вскоре сменится иной тональностью.

Так оно и случилось. В одну из ночей они сидели в китайском ресторане недалеко от места основных событий, когда Ренару позвонили. — *Allons*, — приказал он, закончив разговор на немецком. Такси вызывать не стали, прошли улицами, благо было недалеко. На площади происходил, как бы выразился один его ленинградский знакомый, конкретный замес. Небольшой отряд космонавтов, наступая, теснил отдельные группки манифестантов, сминая палатки и опрокидывая го-

¹ Деньги — нерв войны (*фр.*).

рящие бочки, содержимое которых растекалось по мостовой, продолжая полыхать. Грохали петарды и шумовые гранаты, пасмурную ночь постепенно застилал дым. На краю площади стояла машина с наполовину выгруженной огромной елкой, в елку тоже летели петарды и в какой-то момент она занялась. Рабочие в оранжевых жилетках коммунальной службы, даже не пытаясь тушить, побежали в разные стороны, словно ссыпавшиеся с дерева игрушки.

— *C'est fait*¹, — удовлетворенно заметил Ренар, сняв действие на телефон. И распорядился — позвони девкам, поедем праздновать.

— Что праздновать? — позволил себе дурацкий вопрос Батманов.

— *Vonne année*², — помахал ему из-за плеча француз, удаляясь к тому месту, откуда удобно было вызвать такси.

В ту ночь в ресторан приехали Немец, Деница и Аврора, о делах почти не говорили, и он позволил себе выпить больше обычного; от порошка отказался, памятуя о непременно для себя расплате в виде депрессивного отходняка. По залу бродила цветочница с огромным ведром разноцветных роз, рекомендуя кавалерам осчастливить дам; Ренар подозвал ее и галантно предложил Авроре выбрать цветы. Та, залившись тонким румянцем на нежном личике, охая и восторгаясь, пожелала пять пышных чайных роз; приняюхивалась, шевеля кончиком длинного, слегка вздернутого носа... а девочка влюблена, — отметил про себя Батманов. От него, по всему, ждали похожего жеста, но за годы командировочных интрижек он выработал железное правило не играть в любовь со временными симпатиями, и довольно уверенно изобразил неотесанного болвана, в итоге цветы для Деницы купил Немец. На Бассейной сразу ушел к себе; вздрюченная

¹ Сделано (*фр.*).

² С Новым годом (*фр.*).

снежком компания веселилась до света, из гостиной раздавались смех, стоны, крики в разной тональности.

Поднявшись около полудня, он нашел в зале Аврору; та сидела в кресле в одних трусах, подтянув колени к животу, и водила пальцем по чайному столику, рисуя на полировке узоры из рассыпанного порошка; на ковре валялись оторванные головки цветов — нежно-кремовых и бордовых. Вид у девчонки был не на шутку припизженный.

— Эй, — Данька щелкнул пальцами перед ее носом. — Ты в норме?

— Не знаю, — она подняла на него глаза, окруженные пятнами растекшейся косметики. — Выпить бы.

— Сейчас тебе апельсин выжму.

Он ушел в кухню, включил комбайн. Аврора бесшумно оказалась за спиной, внимательно следила за его руками: как он берет стакан, наливает сок, разрывает пакет с замороженными сердечками и кидает пару кубиков льда. Взвесив на ладони пакет, повернулся к ней, прижал ко лбу, она придержала, признательно дернув углом бледного рта.

— Лучше?

Она кивнула.

— Слушай, — подняла на него глаза. — Ты ведь давно живешь... на Западе.

— Ну.

— Скажи... это правда — по-европейски? — ее голос упал в шепот.

— Что именно?

— Ну вот вчера... Мы хорошо посидели, немного выпили.

Немного? — не удержался он от внутренней реплики. — Ну, о'к.

— Потом поехали сюда. Я думала, все будет, как обычно...

Ну, ты с Деницей, а мы с Рене. Вместе. А этот...

— Немец.

— Да. Он в гостиной поспит.

Замолчала. Хорошо бы на этом все, но так, конечно же, не бывает. Даже в сказках. Посадил ее на барный стул, отвернулся, чтобы сделать себе чай.

— А ты ушел.

Чай или мате? Открыл холодильник, нашел внизу початую бутылку водки, плеснул в рюмку, туда же вбил перепелиное яйцо.

— И мы без тебя еще выпили. Ну и еще всякое. А потом Рене позвал нас всех к себе. Я думала, только меня, но он позвал всех.

Нет, этот поток уже не остановить. Выпил свой коктейль; водка бахнула в голову, яйцо обволокло нёбо и гортань. Голос Авроры становился все более замороженным, будто лед, который она все еще прижимала к голове, как-то влиял на речевые функции.

— И там он нам рассказал, чего надо. У него есть такой шелковый галстук, он учил меня завязывать по-всякому. Этим галстуком Деница начала его... душить. А мужчина, Немец, как ты говоришь, он встал сзади, и...

Повисло молчание. Можно было бы и дальше ждать, как она барахтается, но это почему-то было трудно.

— Содомировал твоего Рене, — сформулировал Батманов, оборачиваясь.

— Да? — она вскинула глаза. — Я и не знала, как это так назвать... по-научному.

Он с трудом подавил смех, который должен был выйти циничным и истерическим одновременно.

— А меня просит — *rompre-moi le dard*... Феллацио.

— Я понял.

— Но я не смогла, ушла. Нет, я не какая-то ханжа, если бы вот наедине... А они там продолжили. Я совсем не ожидала такого. Он же мне цветы подарил, мы в кино ходили, на романтическую комедию.

— Я у мамы дурочка, — подытожил он. — Пей сок.

Отвернулся, чтобы сделать себе еще. Пропадай моя губерния. И, зная заранее, что вскоре ему будет стыдно сказанного, произнес:

— Моя жена тоже как-то пригласила в гости... супружескую пару. Освежить отношения. Нет, я не думаю, что у нас бы до уровня мэтра Ренара дошло, мы простаки в этом смысле. Но я, честно говоря, тоже где-то час сидел и беседовал об искусстве, пока вкурил, что вообще запланировано. И, нет, не весь Запад такой. Это к вам сюда эмиссары едут, передовой, так сказать, отряд прогресса. Конечно, каждый сам для себя решает, что ему о'к, но ты права — психика не резиновая, если ее вот так без нужды растягивать, то рано или поздно говно повалится.

— А что вы с женой тогда? И этими людьми?

— Да ничего. Я их выставил. Первый раз выставил гостей Гвен. Потом нашел эту Джессику и выебал ее один на один, просто из вредности, — взгляд на часы. — Давай в душ и собрайся, скоро эти либертены поднимутся...

Проводив Зайчиху, он открыл в кухне форточку и присел с очередным стаканом на подоконник. Над улицей кружился мелкий снег, он таял, не долетая до земли; город К, похоже, еще не осознал того, что произошло ночью. Зато для него, как похмельный конденсат на стекле, проступала уверенность в том, что и его проекту карьерного прорыва, и его браку наступает конец. Впрочем, как многие решения, принятые подобными утрами, эта определенность могла истаять на полпути, оставив в памяти лишь тонкий холодный след. Но в иных случаях и того бывает достаточно.

Похоже, после того как Батманов не только отказался сторожить его кэш, но и манкировал командной игрой в спальне француза, Ренар в некоторой степени утратил к нему доверие; как бы то ни было, в следующие дни он ангажировал его в основном на дневные встречи, сделав сво-

им ночным наперсником безотказного Немца. Данька про себя считал, что к лучшему: не только ночные похождения, но и ночная деловая активность Ренара вызывала у него инстинктивное желание держаться подальше; старый стал, осторожный. В освободившееся время он раз или два сходил на ужин к Пушкиным, но в основном шлялся по городу, наблюдая столь знакомый по прошлым командировкам с Мерфи стремительный дрейф уличного движа прочь от цивилизации; еще вернее было бы сказать, что город К будто сносило по неожиданно ускорившемуся течению реки из окултуренных верховий к разбойничьей вольнице ниже по карте: перекрытые баррикадами улицы и смена публики на площади — все меньше встречалось расслабленных горожан: семей, хорошо одетых женщин и стариков, на их место являлись крепкие мужчины в удобной одежде, с самодельным оружием и закрытыми лицами. Маски служили безошибочным маркером того, что ситуация если не выходит, то *переходит* под иной контроль. Стычки с полицией становились чаще и жестче, и вскоре уже воспринимались как обыденность, появились первые жертвы и начались захваты правительственных зданий. Сейчас он как раз стоял напротив от одного из них; часа два назад туда вломилась толпа молодчиков, из разбитых окон летели стулья, порхали растерзанные кипы бумаг, неподалеку от него даже грохнулся о мостовую горшок с фикусом как символ офисного мещанства, теперь из здания потянулся черный дым. Пока он зачарованно наблюдал эту никогда не наскучивающую картину энтропии, кто-то дернул его за рукав.

— Привет! А где твой француз? Почему вы перестали приглашать нас тусоваться?

Рядом стояла Деница — покрасневшаяся, чумазая, в скатанной шапочкой балаклаве, и возбужденно, без умолку тараторила. Он машинально потянулся и вытер зажатый в руке платком сажу с ее крепкой скулы.

— Очевидно, мэтр Ренар нашел себе новых товарищей по играм. Меня, видишь, тоже оставили.

— Так ты у нас брошенка! — расхохоталась Дени. — Ну, не все коту...

От девушки пахло алкоголем, а блеск глаз и состояние зрачков выдавали и еще какие-то допинги.

— Хочешь зайти внутрь? Я уже была. Там офигительный вид на город. И я знаю, как пройти... без проблем.

Она опять взяла его за руку. Все разумное в нем предполагало отказаться, но, как и в первую встречу, его увлекала эта горячая энергия.

— Сейчас... — пробормотал он. — Разгонюсь немного... до твоего состояния.

Он достал из нагрудного кармана небольшую металлическую фляжку, отхлебнул.

— Что это? Виски?

— Шило. Спирт с травами. В молодости в экспедициях приохотился.

— В молодости? — расхохоталась она. — Старичок ты мой! Сколько тебе вообще?

— Тридцать семь стукнуло.

— Когда?

— Сегодня.

— Ну ты даешь! Повод отпраздновать. Погнали!

Он спрятал фляжку, и они быстрым шагом пошли к скрытому от зевак боковому входу в горящее здание. Дени снова тащила его за руку. Где твои мозги? Не иначе, в Америке оставил. На скатерти «Алгонкина». Или еще раньше.

Шило зашло в голову, мир вокруг начал слегка вращаться. Дени тащила его по лестнице черного хода, дыма здесь видно не было, но запах гари ощущался, он закрыл шарфом нижнюю половину лица и в выездной униформе — американская армейская куртка, брюки с карманами на бедрах, высокие шнурованные ботинки — стал практически неот-

личим от встречных активистов, что бежали по лестнице вниз-вверх или отирались на площадках, поигрывая бейсбольными битами или прутами арматуры. У кого-то встречалось и огнестрельное. Дени походя знакомила с поляками, румынами, гражданами Великой Пармы, что непременно отложится от москалей, и москвичами, готовыми отложиться ото всей остальной России, питерским журналистом, что плакал над разбитой камерой, и скинхедами, которые ему ее разбили, приняв за агента Кремля; все тут, весь мир славянский! — причитала Деница. Славянский мир и миры иные бурлили, питаюсь энергией распада, он уже знал, что эта электростанция заработала надолго, и плотина, которая будет воздвигнута из выдернутой брусчатки, мешков с первым снегом, опрокинутого городского транспорта и обломков городской жизни и человеческих судеб, надолго разделит то, что долгое время было единым, затопит клокочущим морем его, и ее, и многих других земных обитателей время, снесет усадьбы и налаженный быт, а будучи наконец прорванной, обновит мир — но не к лучшему, а попросту к чему-то другому.

Когда они преодолели все этажи этой вавилонской башни и по пожарной лестнице поднялись на крышу, внизу раскинулся огромный город. Теперь он пах не каштанами и аппетитным кулинарным чадом, а вонью давно не мытых толп и горелой резины, мазутом и перегаром. Он достал фляжку и отхлебнул шила, покатал во рту, обжигая слизистую.

— А мне? — спросила Дени.

— Ты и так в порядке.

— А вот ты — нет! — и вытряхнула на ладонь пару таблеток. — Съешь, покинь свою долбаную матрицу! — попросила она.

Батманов посмотрел в ее глаза сиамской кошки с точками зрачков и понял, что у него нет ни одной мысли против. Дым стлался откуда-то из-под ног, с этажей под ними, постепенно

заволакивая городскую панораму. Он взял с ее ладони вещь, повертел между пальцами и кинул в рот.

— Я так и знала, что ты из наших, — восхищенно улыбнулась Деница. — Рисковый парень, — выражение ее лица неуловимо переменилось, она хихикнула: — Откуда ты знаешь, что я тебе подсунула?

— Диоксин?

— Еще версии!..

Ее разбирало все больше, она аж приплясывала на месте. Он взял ее за руку, унимая. Они постояли еще немного, глядя на то, как город К скрывается внизу, лишь огни пробиваются, пронизывая дымку. Постепенно ему стало казаться, что он плывет в ней, теряя крышу под ногами; а над головой ее и не было вовсе.

— Как ты смотришь на то, что я тебя трахну? — услышал он ее голос, как сквозь вату.

— Дубак же, — чей-то ровный ответ.

— Хорошо, тогда я тебе отсосу. В честь дня рождения!

Он почувствовал, как она приподняла полу его куртки и начала возиться с ремнем брюк. Резинку надень, в кармане на бедре, — сказал. — Зачем? Ты болеешь? — Вроде нет. Но так правильно. — Ебать, вы, русские, скучные. Потому мы и не хотим больше вашего языка фашистского. Перешла на мову, бормотала что-то. Русский язык во рту не о'кей, а русский хер — нормально; про себя констатировал он, а еще краем сознания удивился, как она его... раскусила. Прижала зубами член, но легкая боль была, пожалуй, приятной.

— Не ссышь? — опрокинула лицо снизу вверх.

— В рот не нассу, не бойся. Для того и резинка, в том числе.

— Вот ведь бл..! — Забулькала. — У меня твое хозяйство, кто тут должен бояться?

— Отсоси или отваливай, — слегка подтолкнул. Легкий ветер принес хлопья чего-то сгоревшего — бумаги, ткани.

Она быстро и качественно закончила blowjob, он вспомнил Гвен, которая делала это, пожалуй, изощренней, но куда более... механически, и понял, что вот уже третью неделю здесь не скучает по жене. Что со мною не так? Я ведь всем ей обязан, буквально — всем.

В том-то и дело.

Дени поднялась, он признательно поцеловал ее небольшой крепкий рот, снял резинку и поискал глазами, куда выкинуть. Деница смотрела на него в привычном уже недоумении.

— Что? — Здесь скоро весь город разнесут, а он урну ищет, — расхохоталась. Взяла у него презерватив, скомкала и выбросила через ограждение.

Выбравшись из горевшего все увереннее здания, они вышли на площадь. Кажется, именно сейчас вещество, которое она ему скормила, начало работать в полную силу; и я спросил у нее, с какого яду я русский, прилетев из Штатов переводить француза, и удовлетворился ответом — со стороны виднее, и рассказал про здешнего деда Григория, героя последней Отечественной, ничего страшного, вы до него не доберетесь, он уже четверть века как помре, крепкий был дед, мы с ним бодались на каникулах постоянно, крапивой по жопе любил меня... огулять — ну, если поймает. Рассказал ей про Великий Новгород, и про Русскую Правду — как мудрый князь перед новгородцами на коленях стоял, после того как те обиделись на беспредел его наемных варягов, так и был принят первый и для здешних тоже земель закон... И наш постоит! — смеялась Деница. Он радостно согласился с этим. — Я бы многих политиканов пригласил поползать... по Бродвею, по Невскому или по Тверской. Или по вашим великим холмам, почему нет, следует чтить традиции. — Только русская — сообщила она — нехорошее слово. Чем же оно нехорошо? — кажется, они с этой темой заходили на третий круг. — Вы разве не Русь?

— Нет! — закричала Деница. — В том-то все и дело, что мы больше не Русь! Мы не отвечаем за разграбление Новгорода, за пожары Москвы, за покорение Сибири, за сталинские лагеря и за Сталинград, где каждый дом был превращен в крепость... За девятьсот дней вашего Ленинграда не отвечаем — они не наши! Не отвечаем за Бабий Яр, не гордимся взятием Берлина и первым полетом в космос. Мы свободны от всей этой ебучей истории, мы будем все жить, как на курорте, когда ты не думаешь ни о будущем, ни о былом.

— Как туземцы, что ли?

— Да! Как на Гоа.

И тут он увидел, что она говорит чистую правду — что вся площадь — это гигантский трайб, потрясающий самодельными музыкальными инструментами, бьющий в крышки от мусорных ящиков и трясущий сиськами — крепкими или не очень, и впервые, именно после почти полного погружения на крыше, почувствовал себя здесь чужим до риска развоплощения; истаяв в дыме над городом К, он полетит в маленький казачий райцентр, происхождение из которого служило предметом гордости его местных родственников, и перед ним снова встанут степные и речные дороги разных империй — Российской и Османской, и Речь, мать ее, Польшитая, загомонит сеймом, и повеселится при Грюнвальде Великое княжество Литовское и Русское, и загуляет новгородское вече, выплеснувшись на улицы против власти трехсот золотых поясов, и вся эта красочная панорама никогда не перестанет быть вместе с крепким, жилистым дедом Григорием, и бабкой Расей, что кормила его варениками с творогом и какой-то еврейской рыбой, по которым он будет всю жизнь скучать, и с дядьями и тетками Григорьевичами, и двоюродными сестрами-братьями, разлетевшимися по одной шестой, Алексеевичи — в Москву, Климовичи — в далекое Приморье, а Вассовна вот здесь; этот его народный корень, в отличие от рафинированного петербургского, не только

не иссох, но и расползся. И в тот момент, когда он задумался об этом, его и Деницу начала разносить друг от друга толпа — это был эффект того рода, что особенно впечатляют в кино. Он помахал ей, но не стал сопротивляться неизбежному, и, удаляясь от, все слышал в ушах забытого в квартире плеера песню своей экспедиционной юности: переведи меня через Майдан. Спасибо, что перевела, сладостный мой враг; теперь я все понял.

Над великой русскою рекой поднимался туман, где-то в городе летели в небеса исчезнувшие фрески Десятинной церкви, и мумии монахов спали в своих спертых норах. Если бы я был Рюрикович, — понял он, — я бы вышел и встал на колени перед этой взбесившейся Русью. И даже если с моею ничтожной славой они бы меня... разорвали.

У него шумело в голове, в квартире на Бассейной наверняка назревала очередная красочная вечеринка, Бог мой, как скучен этот инерционный зрелый разврат, наверное, надо в Черкассы... Тренькнул айфон: это был, на удивление, не Ренар. Американский коллега Стивен звал в какой-то бар. Понимая, что пренебрегает светскими, да и служебными обязанностями, он отклонил приглашение. Над буджацкими степями идут наши с бунчуками, — распевал он, спускаясь по Андреевской горке, и с каждой саженью вниз одолевала невозвратная, горькая и родная тоска.

...В сказочной деревне его детства, расположившейся вдоль холодной речки Стугны, на холмах неподалеку от города К и в виду Днепровского моря, через которое предполагалось переехать, чтоб попасть в эту Верхнесалтановку, не осталось ничего знакомого, кроме слегка завалившейся на бок мазанки старой Вассы. Она последняя держала круговую оборону. Впрочем, оставалось ей явно немного. Глубоко втянув носом воздух, он не ощутил ни одного знакомого аромата. Сегодняшняя деревня пахла сырым асфальтом, до-

рогими особняками и немного прозрачным хвойным лесом. Деревня его детства пахла солнцем, чесноком, куриным пометом, но надо всеми прочими ароматами витал и летом, и осенью, и даже по весне густой аптечный аромат луговых трав. Деревня его детства напоминала подробную и обширную декорацию к фильму «Свадьба в Малиновке» — белые домики с тростниковыми крышами, аисты, невысокие плетеные заборы с задорными головами подсолнухов над ними и связки лука и кукурузы, сохнувшие на крюках вдоль беленых стен. Маковые поля, сменяющие алые всполохи цветков на змеиное шуршание сухих маковых головок на ветру по концу очередного лета... В лето перед походом в первый класс они с приятелем до отупения наелись мака молочной спелости, замешивая его с сахаром. До сих пор помнился вкусный молочный аромат неспелого макового зерна и блаженное тугоумие, наступавшее после миски этого лакомства. Первый слабый опыт употребления веществ.

На месте луга с лекарственными травами теперь стояли три дорогих дома за высокими заборами. Дом его стариков давно был продан. Сейчас на их бывший участок вела заасфальтированная дорога, которая упиралась в высокий забор с видеокамерами. Соседскую шелковицу срубили — вот за это было обидно: прекрасное, щедрое дерево. Единственное, что осталось нетронутым, — высокие тополя, обильно увешанные шарами вечнозеленой омелы, что твои чирлидерши. Первое романтическое воспоминание детства — яркая деревенская свадьба с ряжеными и музыкантами — волшебные названия их инструментов вкусно переливались: «цимбалы», «бандура», «дрымба»; первая кружка слабой кисловатой бражки, которой угощали всю окрестную мелюзгу, весело ударившая в голову. Первая прогулка с девочкой среди терпко пахнущих тополей и первый неловкий поцелуй, прилетевший от той самой соседской девчонки. Ему тогда стукнуло восемь. Девочка была постарше и авторитетно заявила,

что омелы растут, чтобы под ними целоваться. Американская традиция. С легким придыханием сообщила она.

Омел в деревне его детства было очень много, целоваться можно было под каждой.

Нахохлившуюся старую Вассу они с Александром Сергеевичем Пушкиным отконвоировали в вотчину, изловив на Майдане, где она приставала к бритым молодчикам, плюясь и ругая их на всех трех славянских языках, какие знала, плюс полузабытый идиш, произвольно переходя с одного на другой. То, что Вассу надо ловить в эпицентре революции, в истерике заламывая руки, сообщила сегодня утром Лена Вассовна, вырвав Даньку ранним звонком из тяжелого похмельного сна, будто выступив орудием судьбы, которой он вчера на площади обещал навестить дедовскую деревню.

— Пушкин-младший уже там. Но ему мать не дастся. Да и вдвоем вы ее вернее найдете.

Мобильным Васса не пользовалась, поэтому это был тот еще квест. Проблуждав с полтора часа по Майдану, они с Пушкиным-младшим нашли ее у полевой кухни; опытная бабулька верно рассудила, что здесь тропа народная зарастать не будет, и для агитации самое место. Васса была старшей дочерью деда Григория и бабки Раи, еще довоенного года выпуска; после ухода отца на фронт и стремительной оккупации края она выросла в партизанском отряде, где только и могла скрыться еврейка и комсомолка Рая с двумя детьми-погодками, — Вассой и Климом, — от всего, что свалилось с нашествием врага на огромную страну. Васса до сих пор умела разжигать костер в чаще, строить шалаш и неплохо стреляла по воронам, которые нет-нет да разоряли ее тыквенную деляночку, устроенную коммунистическим способом самозахвата в невырубленном пока лесочке. На середине восьмого десятка это была крепкая худощавая бабка с пионерской стрижкой-каре, ее она наострилась делать дома перед зеркалом, и узловатыми, сведенными артритом рука-

ми, которыми она ловко и деловито отстукивала любимые папиросы «Беломорканал». Глядя на ее сердитую гримасу, отражающуюся в окне междугороднего автобуса, Батманов думал, что в смысле эмансипации Васса Григорьевна может дать фору Денице и ее товаркам, что плясали на Майдане с оголенными сиськами. Дочь Елену она родила без мужа, и все обывательские инсинуации на эту тему пресекала решительным взблеском темных глаз под красиво очерченными крылатыми бровями.

— Ты а-вот тоже буржуй. Каких поискать, — на отрывистом русском говорила она. — Хорошо в Омерике устроился. Давно, я вижу, по жопе не получаю.

— Стараюсь не допускать подобного, — расплывчато возразил он.

— Жопа, она для того и предназначена, чтобы получать. Эти все. Тоже получают. Умоются еще своим Майданом! — ее голос пошел наверх.

— Тихо, тихо, — Батманов приобнял Вассу; соседи по автобусу уже начинали оборачиваться. Они переезжали Днепровское море, за окнами плескалась серая речная вода и кое-где торчали голые коньки хат, законсервированных водохранилищем. По легенде, фамильный хутор поднепровских Ковалей, сведших свой род от сечевых козаков, располагался тоже где-то здесь: на дне. После строительства ДнепроГЭС они и переселились в Верхнесалтановку.

— Эх, Вороня-Вороня... рука у тебя хорошая, теплая и крепка. Козак, — одобрила Васса. Вороня было его детским прозвищем в материнской семье — незамысловатое, по отцовской фамилии. — Я знаю, что ты в батину больше родню, но мы тоже не лыком шиты. И я тебе точно грю — я дождусь, пока эта вся ебанина закончится, и как по улицам К проедет броневая американская машина советской полковой разведки с красной звездой, а там уж батя мой Грицко Иванович, старший сержант, носатый, в усах и с вороним

чубом. В-от раз дожили, и теперь доживем. А бороду сбрей, не идет тебе. Усы можешь оставить...

Угол в хате Вассы был забит тыквами, они с Пушкиным расселись за столом, Васса хлопотала. Знаете ведь, хлопци? Угол тыквы за зиму зъишь, и можешь весь год пить без нутряного ущерба. Поставила на стол миску тыквенной каши, солонину и яблоки, пузырь тоже.

— А ты, я знаю, вареники любишь. Завтра сделаю, завтра...

Запустила скрюченную кисть в кудрявую голову племянника, дернула крепко.

— Оберег сделаю. Все время рядом со смертью будешь, тебе надо. А ты не звидуй! — Пушкину. — Тебе еще и по жопе не прилетало толком... Но прилетит, прилетит.

Утром она отдала Батманову крошечную ладанку с крестиком на одном гайтане.

— Знаю что некрещен, мы ж все коммуняки были. К попу сходи, хоть у себя, хоть у нас... Эй, а у вас-то там и попов нету, небось? У нас тогда сходи. Прочти «Верую» и потом повесь. Просто прочти, не думай, это иной раз лишне.

Сегодня в доме Пушкиных царило напряжение. Елена Вассовна на кухне громко и сердито гремела кастрюлями, Сергей сидел, закутавшись в колючее НАТОвское одеяло на балконе, даже не включив тепловую пушку, незажженная сигарета подергивалась в уголке рта. Дальняя родственница тихо бубнила с кем-то по скайпу — невнятный голос доносился на балкон из приоткрытого окна ее комнаты, а Александр Сергеевич сразу, как приехали, отчитался матери о здоровье бабушки, юркнул к себе и теперь на полной громкости неистово рубился в танчики — боевых действий ему мало, беззлобно прокомментировал Сергей Юрьевич звуки из комнаты сына. Данька хотел было откланяться, но Елена Вассовна зыркнула на него недобрый взглядом, и он понял, что лучше в этот раз не нагнетать и без возражений остаться

на обед. Да и к ее домашней стряпне он уже пристрастился, чего уж.

Посидев в гостиной, щелкая пультом от телевизора, но так и не сосредоточившись ни на одном канале, вышел к Сергею Юрьевичу.

— Ненавижу, когда она так делает. Хоть домой с работы не приходи, — бросил в воздух Сергей Юрьевич. Данька не стал комментировать, но солидарно вздохнул. Елена Вассовна умела напрягать обстановку, не говоря при этом ни слова. Но сейчас со стороны кухни раздался звук открываемого окна и голос хозяйки, высунувшейся на свет божий чуть ли не по талию:

— Кушать подано. Младшего с собой захватите!

Обед был накрыт на кухне. Данька и Сергей Юрьевич традиционно уже расположились на неудобном диванчике-уголке. Еще один атрибут советского благополучия. Еще одно воспоминание из детства — мама, после очередной поездки к родне, пилит отца за постыдные деревянные табуретки и с придыханием произносит фразу «кухонный уголок». Отец ее тогда так и не понял. А Данька сейчас подметил, что эта поездка принесла неожиданно много детских воспоминаний. Ни за что бы не подумал, что столько их связано с городом К и окрестностями.

Из своих комнат высунулись Пушкин-младший и деревенская родственница. На родственницу Елена Вассовна готовила отдельно — та была на диете. Всем остальным же достался рассольник с почкой и биточки из мозгов с салатом. За мозгами Леночка раз в неделю спозаранок ездила на рынок, к «своей» фермерше.

— Только у нее мозги свежие. Только ее мозгам я могу стопроцентно доверять! — заявила Елена, снимая фартук и садясь со всеми за стол. Пушкин-старший хмыкнул, размешивая в рассольнике жирную маслянистую сметану.

— Мозгоед ты наш.

— Сережа, — строгая пауза и поджатые губы под утиным носиком. — Не нервируй меня. Давайте все кушать уже. Остынет.

Все молча приступили к трапезе. А Даньке вспомнилось, как всегда было шумно за столом у маминой родни. В далеком детстве, приезжая на каникулы из Ленинграда, он часто не мог понять, ссорятся они или просто разговаривают, шутят или вот-вот подерутся. Разница и правда была почти незаметна.

Понимая, что разговор не клеится, Сергей Юрьевич потянулся за пультом и сделал небольшой кухонный телевизор погромче. Нашел новостной канал, удовлетворенно кивнул и привстал, потянувшись за хлебом.

— Не, ну вы гляньте! Ну вы только гляньте, а?! — грохнув ладонью по столу, Елена Вассовна вскочила на ноги.

— Что случилось? — Сергей Юрьевич выронил хлеб, Александр Сергеевич подавился рассольником и теперь громко пытался откашляться, вращая глазами на сильно покрасневшем лице. Но Елена Вассовна, наверное, впервые в жизни проигнорировала тот факт, что сыну угрожает смертельная опасность.

— Ты только глянь! — Схватив пульт, выжала звук на максимальную громкость. В телевизоре еще несколько секунд выступала Васса у полевой кухни, понося революционеров и сочувствующих. — Позор-то какой! Божечки! Какой позор!

— Леночка, да успокойся. Ты серьезно? — Сергей Юрьевич встал из-за стола и бочком пытался протиснуться к выходу.

— Ты что? Ты что, не понимаешь? — Леночка начала краснеть лицом и вращать глазами, задыхаясь. — Она меня на весь мир тут позорит! Дура старая!

— Лееночка! — Сергей беспомощно развел руками, озираясь в поисках моральной поддержки.

Деревенская родственница дернула плечом, быстро доеда свой диетический рацион и явно собираясь слиться к себе, пока не поздно. Пушкин-младший продолжал кашлять. Данька неловко отвел глаза.

— Она же специально это делает! Неужели же непонятно?

— Лена! Думаю... последний, кого твоя мать имела в виду, это ты! — голос Сергея Юрьевича стал громче. Елена Вассовна по-девчачьи топнула ногой и бросила на пол льняную салфетку.

— Васса Григорьевна имеет право на свое мнение. Леночка, ты просто перепугалась за нее, я понимаю. — Пушкин-старший примирительно протянул руки к жене, но та неожиданно прытко отскочила в сторону.

— Какое у нее может быть мнение? Она совок и зомби! Сашенька сказал мне, что бабушка совершенно потеряла связь с реальностью!

— Да это вы с Сашенькой потеряли связь с реальностью! Шапочки из фольги чего стоят!

— Это ирония была! Сатира! Юмор! Только иронией можно бороться с захватчиком!

— Каким, блин, захватчиком? Инопланетным? Марс атакует?

Данька посмотрел в сторону Александра Сергеевича. Но Сашенька, с неожиданной для такого крупного человека ловкостью, уже куда-то сбежал из кухни.

— Это фатальная беспечность, Сережа!

— Леночка, давай я тебя обниму! И ты успокоишься!

Оба уже орали в полный голос, и последняя фраза Сергея Юрьевича звучала более как угроза.

— Нет! Не обнимешь. Не нужны мне обнимашки с врагом! — Лена Вассовна схватила массивную скалку с разделочного столика и, замахнувшись ею, как бэттер бейсбольной битой, отступила в коридор.

Арена боевых действий переместилась в гостиную. Сергей Юрьевич, широко расставив руки, наступал на Лену Васовну, пятившуюся, занеся над плечом скалку.

— Вот ты мозгам своей фермерши доверяешь, а надо бы своим мозгам доверять! Хотя куда тебе! Кто еще здесь зомби!

— Ах, ты! — Скалка полетела в Сергея Юрьевича, тот увернулся, скалка ударилась в стекло серванта. Раздался переливчатый звон гэдээровского полного сервиза «Мадонна» на двенадцать персон, кусочки перламутрового фарфора усыпали армянский ковер «Ереван», удостоенный золотой медали на ярмарке в Лейпциге весной 1964 года; от следующего удара — уже Сергеем Юрьевичем, которого Леночка оттолкнула, хлопнули дверцы полированной чешской стенки — той самой, за которой два месяца стояли ночами в очереди; стенка покосилась, выбрасывая из своих недр коробочки с фотопленкой ORWO и слайдами, запечатлевшими отдых семейства Пушкиных в Крыму 1980 года, с маленьким еще Сашенькой; на притулившийся в углу у окна сложенный стол-книжку со стены посыпалась грузинская чеканка — вот Прометей с орлом неловко заваливается на бок, вот три богатыря, тревожно вглядывающиеся вдаль, падают и со звонким гулом выкатываются в центр комнаты, и теперь латунные глаза их следят за раскачивающимися подвесками хрустальной люстры, вот девушка, ласково кормящая кошулю с рук, на мгновение зависает на стене на одном гвоздике, но тоже срывается и ударяется о массивную пепельницу муранского стекла: их звон вливается в общую какофонию прощания с прошлым.

Побоище ширилось, усеивая осколками советской роскоши пространство квартиры, и не было ни в бывшем СССР, ни в странах соцлагеря такого режиссера, который вовремя сказал бы всем «Стоп! Снято!».

— Сань! — крикнул Данька в глубину квартиры, не особенно надеясь на отклик. — Похоже, твои родители решили

обновить интерьер. — К его ногам покати́лась неубиваемая керамическая миска из поездки то ли в Молдавию, то ли на Северный Кавказ. — Ну, что... принимай, деревня, трактор, в этом доме не должно остаться ни одного целого стекла... Чур, я бью вон ту вазу.

Схватил с недалекой тумбочки психоделическое произведение богемских стеклодувов и плавным жестом грохнул вазу о кусочек паркета, выступающего из-под ковра. Хозяева замерли на мгновение, как в детской игре — чтобы, очнувшись, уже вдвоем сообщить гостю свое о нем обновленное мнение.

— Данила, ты охренел? — поинтересовался Сергей Юрьевич.

— Москаль! — взвизгнула Леночка.

— Пиндос, — пробасил Сергей Юрьевич.

— Вот и поговорили, — пробормотал Батманов, с привычной осторожностью помещая ноги в ботинки.

Пустынная в этот час улица одного из спальных районов города К встретила его нежным предрождественским снежком; впрочем, всем известно, как обманчиво это время, когда тьма над здешнею щедрой землей властвует безраздельно.

2. Фурор

...Пустые ботинки. Легко, непринужденно, из навзничь льда — невидимое небо. Вмерзли носками к солнцу. Не вырвать. Из воды, во льду, скользят, плюх на крестец. Двое хлюпают старческим смехом — вечно нет денег, вечно пьяны с чего-то. Третий елозит задом по мокрой льдине, вбивает ноги в хорошие ботинки. Вмерзли, заразы, маловаты. Вбил. Не вырвать. Льдина ломается, медленно раскачиваясь одним концом в воду. Глубже, хотя не очень. Полузатопленная, отрывается — плыть. Тюлени на монетах суоми с щетинистыми носами. Двое уходят, тихихикая к своему берегу. Куда вы —

не вырвать. Мраморный денек, бледнея, темнеет. Лыдина, вибрируя, как противолодочный катер, по накатанной-наклонной вглубь всевер. Ботинки носками к солнцу торчат, как вот эти хреновины у тральщика. Они нашли себе нового обывателя.

Когда у нас тоже будет весна, питерские предместья кисти Брейгеля хлынут за пределы отведенного колорита снега со старых берегов в новейшие лужи, каждая из которых — Маркизова. Некий сумасшедший западник дождался-таки здесь и сейчас европейского средневековья: дорога, бледно бредут чухонцы, перемигиваются автолюбители, бабушки возделывают клубнику и топинамбур. Корпоративная общность тех, кто ездит на метро, подтверждается в часы пик. Недобрыми пингвинами мы заполняем эскалатор, совсем озверевшими — перрон и отваливающие в темноту вагоны. «Любимый», — говорит кто-то из тесноты, глаза рядом стоящих ракообразно выкатываются. Сонная девушка краснеет — сорвалось. Как удивительно, наш город тоже порой посещают эротические фантазии. Пока она доберется до ступенек, наверху уже смыкается вечер. Синий-синий — весна. Ее обгоняет молодой человек — из немногих, кому могло быть адресовано ее тайное слово. Кому надо вечером бежать вверх — выдохлись и стоят. Она делает несколько шагов вслед, но затем просто провожает взгляд. Знакомые темные волосы анфас, как правило, оказываются с нечищенными зубами. Уже когда он на кромке эскалаторного колодца (каждый метр дорого стоит), кто-то замечает, что парень босиком. Мадемуазель краснеет, как собственно за себя. Подле обезвреженных турникетов на выходе его можно видеть снова. Почему-то медлит, но на залитом синим, и Луной, и иллюминацией Невском пускается в толпу, где раздетые ноги к Дому Книги, вечерний колокол по ходу напомнит — вольный город постепенно подбирается, как мозоли брусчатки. До размеров ремесленной цитадели. Как

съежишься морщинами в своего пусть вымышленного родовитого предка, не хватит воображения — в отца или мать, до размеров подлежащего материала, до терпких опытных извилин греческого ореха. Дайте мне сложный синтаксис, — воскликнет при встрече. Оборачивается: хочешь семечек? Мадемуазель останавливается в двух-четырех шагах, хлопает глазами. Ты ведь за мной шла? Зубы чистые. Кивает. Босой парень тоже дергает подбородком. Ну так семечек? Обозначась, — говорит она. Чё, давно не виделись? — Да. — А чё так? — Он взорвался в машине. — Бывает, — говорит он как «заливаешь».

С таким лицом не взрываются в машине.

— Да ты конкретно двинутая, — смеется, — я Вася, — говорит он этой высокой босоногой девушке, темноволосой, худой и стриженной под парня. — А ты кто?

— А я — лейтенант Ворон, — грустно говорит она. Подбрасывает на ладони семечки, как монетки.

— Так тебя и называть?

— Так меня и называй.

— А у тебя странное имя для девушки.

— У меня? Для девушки?..

— Не, ну ты даешь! Ты откуда такая приехала?

— Ты Вася, а я с Васильевского.

— Это я знаю, видел тебя еще на «Приморской». Я живу там вообще-то.

— Я тоже.

— Где именно?

— На Смоленском кладбище. Мой-то вообще на Красненьком, но оно жуткое очень, там река в *тот* мир спускается, тянет меня, но и я пока — тяну. А Смоленское хорошее. Трамвай ходит, залив близко.

— Трамвай уже не ходит, несколько лет как.

— Неважно, я все равно на нем езжу.

— Ну так... поехали?..

Он берет ее за руку — семечки из руки просыпаются на променад, как в сказке про заблудившихся детей.

С Василием Шадриним лейтенант Ворон повстречался (повстречалась? повстречались? не изобретено еще адекватного ее состоянию рода) одной из тех оттепелей конца зимы, что так лукаво напоминают весну. Она вот уже пару месяцев как пребывала в родном городе, зависая в различных субкультурных компаниях, где ее ценили за неподдельный шарм — настоящих буйных мало. Семья отчаялась справиться с ее подвигами, время от времени Вероника оплачивала ей телефон и присылала сообщения с предложениями приехать помыться и поесть. Звонить уже не пыталась. Ты понимаешь, что у тебя гормональный сбой на фоне позднего выкидыша? — вразумляла ее сестра в те несколько раз, что Ворон прилетал в материнскую башню в Автово. Барышня, вы о чем вообще? Это, знаете ли, как анекдот про камер-юнкера Пушкина, который регулов не соблюдает. Щелкнув каблуками, камер-юнкер, корнет или, вот, — лейтенант, — удалялся, но в тот день, выйдя из-под обнаженных деревьев Смоленского кладбища, ему почему-то захотелось разуться. Это Шадрина и зацепило, пошел, как за крысоловом — не каждый день видишь в метро этакую аниме-картинку: бушлат, галифе, под метр восемьдесят ростом в темной шевелюре и молочной бледности женственного лица; и — босиком. По заплыванной платформе, по ребристым ступеням эскалатора (каждый городской ребенок знает, что кромка зубчатого порожка может тебя *засосать*), но и по нему, босыми ногами, тоже. Длинные ступни из тех, что еще принято называть римскими — с большим и первым пальцем равной длины, правая решительно поставлена на ступеньку выше, узкая голень длится до высокого колена, плотно охваченного тканью цвета хаки. Когда он окликнул ее на переходе, уже чувствуя, как непременно теряет, он обернулся по-мужски —

одновременно корпусом и бедрами, без вот этого пленительного девачкового изгиба, и это сразило его окончательно. С того момента он не мог уже упустить, отпустить этого лейтенанта Ворона; и когда, пройдясь по хорошим барам, где от его нового знакомого не то чтобы шарахались, но отстранялись — слегка припахивало: не бомжом, но как будто мертвечиной, они поймали такси и оказались у него дома, он уже знал, что с этим человеком все пойдет совершенно особенно. Вася сразу проводил Ворона в гостевую спальню, деликатно сообщил, где ванная, выделил полотенце, белье и пожертвовал свой шампунь-унисекс, привезенный из Токио. И несколько дней не беспокоил его. Попросту — чтобы не спугнуть.

Так вот с какой смертью я буду рядом; накликала тетка! Батманов сидел на затынутой малиновым бархатом банкетке в головах кровати Екатерины Игоревны и держал ее за руку, пока сиделка меняла памперс. Бабушка тихонько хныкала, иной раз порываясь вывернуться из рук незнакомого человека; разбитое тело не слушалось ее, но определенные неудобства медсестре она причиняла; тогда Данька приобнимал ее за плечи, сдерживая, и негромко шипел, как поступают с рассадившими локоть или коленку детьми.

— Надо еще анализы взять, при выписке делали, но это неделю назад... покажут динамику, — сказала Анна Егоровна, убирая грязный памперс в полиэтиленовый пакет, заранее приготовленный у кровати, и начиная протирать бабушку гигиенической салфеткой.

Какая уж тут динамика, — подумал Данька. Придя в себя, вот уже месяц с лишним бабушка оставалась в одном и том же состоянии — не двигалась и не говорила, только мычала или плакала иногда, а еще менее пострадавшей рукою пыталась отпихнуть от себя ложечку с детской смесью, которой ее пичкала медсестра или вот он.

Анна Егоровна закончила с бабушкиным туалетом и понесла выкидывать пакет с памперсом и грязными салфетками, ловко подцепив его на запястье, а в руки взяла тазик с теплым мыльным раствором, стоявший на табуретке.

— Хочешь соку? — безнадежно спросил ее он, доставая из тумбочки маленькую коробочку с приклеенной трубочкой. — Персиковый, как вы любите...

Бабушка не стала на этот раз упрячиться и позволила вложить трубочку в рот. Губы были слегка скошены, из-за чего один край рта вечно приоткрыт; сок, пузырясь, стекал оттуда по щеке на подушку. Батманов взял салфетку и подхватил струйку, прежде чем на наволочке образовалось привычное уже пятно.

— Сейчас попьешь и телик включим, потом будем завтракать. Здесь поешь или в столовой?

Екатерина Игоревна не реагировала. Он потянулся за пультом и включил панель, повешенную в простенок вместо Байрона. Раньше панель висела в столовой у камина; очень по-лондонски, — сказала бы Гвен. Телик он подарил Екатерине Игоревне пару лет назад на день рождения, заказал через интернет, сам в тот раз не доехав. Екатерина Игоревна долго советовалась с ним по скайпу, куда определить панель, чтобы «не портило, а играло»; его еще позабавило тогда, что в обустройстве питерской квартиры он, получается, принимает куда более непосредственное участие, нежели в перестройке Стоун-Пича. С каждым приездом он замечал, как семейное гнездо немного меняется; сюда переселялись не только его подарки из-за океана, но и, частично, сама американская жизнь: на пианино в гостиной среди семейных карточек появилась фотография — он, Вера и Гвен, в кабинете на стене — вид на Бруклинский мост и портрет Фолкнера, в кухне на холодильнике — фото фолкнеровской усадьбы в окрестностях миссисипского Оксфорда. Вот она, восприимчивость русской культуры, — смеялся он. Этот синтез был

для него, пожалуй, гармоничнее, чем даже любимая мыза Персиковая Косточка с ее старыми стенами и новым дизайном, служившим предметом уважительной зависти соседей, собиравшихся к ним на backyard party.

Всего за неделю, прошедшую со дня возвращения Екатерины Игоревны из госпиталя, это изящная и теплая квартира во дворах между Фонтанкой и Пантелеймонской церковью приобрела неистребимо госпитальные черты, пропахла лекарствами, средствами ухода и, несмотря на все старания Анны Егоровны, тяжелым духом лежачего больного. Ему казалось, что бабушка мучилась еще и от этого; иной раз она втягивала носом воздух и смотрела на него виновато и умоляюще. Тогда он наклонялся, целовал ее в скулу в прожилках лопнувших сосудов и приоткрывал форточку. В спальню врвался слегка приглушенный несколькими колодцами шум оживленной улицы, иногда — перезвон колоколов Пантелеймона. Эти отзвуки внешнего мира, как и телевизор, казалось, ненадолго отвлекали Екатерину Игоревну от самой себя.

Сейчас он машинально щелкал пультом, отыскивая что-нибудь, что могло заинтересовать бабушку — старый фильм, что-нибудь про природу или симфонический концерт. На одном из мелких каналов шли новости: сообщалось об очередном витке противостояния протестующих и постепенно сдающем свои позиции коррумпированном правительстве; тоже мне, — усмехнулся про себя он, — о том, что презик падет, было понятно и даже известно еще пару месяцев назад всем, кому не лень об этом задуматься. Прошло сообщение под грифом «срочно»: в окрестностях К найдено тело гражданина Кахетии; предположительно, он был задушен и затем уже привезен в лес. Батманов поймал себя на том, что сделал жест пальцами, как бывает, когда хотят увеличить картинку на телефоне или планшете; впрочем, и без этих пассов было ясно, что на фотке в роли гражданина Кахе-

тии мелькнул мэтр Ренар. Треугольное лицо французского патрона застыло в странной гримасе не ужаса или экстаза, но бесконечного недоумения: одна бровь чуть выше другой, приоткрытый тонкий рот симметрично изгибается под чуть скособоченным длинным носом, словно рупор античной маски — он даже не сразу понял, что это не посмертное изображение, но попросту неудачная фотография. Лицо Ренара мелькнуло и пропало, диктор перешел к другим новостям; Данька, спохватившись, перебросил сразу на две кнопки вперед, искоса взглянув на Екатерину Игоревну, которой в ее состоянии подобное было совершенно ни к чему. Бабушка смотрела на экран со странным оживлением, будто вглядываясь во что-то также ей знакомое; когда картинка поменялась на балетный спектакль, шедший по другому каналу, лицо ее моментально ослабло и приняло привычное теперь капризно-растерянное выражение.

— Давайте я у нее кровь возьму, пока вы не покормили, — предложила Анна Егоровна, появляясь в дверях.

— А мы уже сок пили, — виновато сказал он, даже и не поймав себя на том, что говорит о Екатерине Игоревне и себе вместе и во множественном числе, как иные матери — о грудничках.

— Это вы зря, конечно, — улыбнулась медсестра. — Ну давайте тогда завтра, но помните, что документы хорошо бы подать до конца недели, чтобы на следующей пройти отборочную, в таких случаях время имеет большое значение.

— Да, я понимаю.

В больнице им порекомендовали хороший реабилитационный центр для неврологических больных при Университете, но туда надо было еще попасть, пройдя отборочную комиссию, и дело было даже не в деньгах.

— Тогда я пойду, наверное. До вечера вы и сами справитесь. Вы хорошо справляетесь, — ободряюще улыбнулась немолодая, уютная медсестра. «Для мужика», — продолжил

он про себя ее реплику. В первые дни он предположил, что и сам может производить все эти удручающие, но в общем нехитрые манипуляции по уходу, оставив Анне Егоровне наблюдение за состоянием, уколы, вот это все... Да и уколы он тоже мог бы ставить, сам иной раз неделями сидел на обезболивающих, не было бы счастья... и курс тактической медицины перед одной из командировок был не лишним. Но Анна Егоровна посмотрела на него с таким сомнением, что он сдался. Впрочем, не только поэтому; барьер стыдливости между ним и Екатериной Игоревной, пожалуй, был одним из последних рубежей, за который цеплялась надежда хотя бы на частичное возвращение их прежней связи, в которой наряду с дружеством и родственной теплотой было, он отдавал себе в этом отчет, еще и что-то романтическое.

Проводив медсестру, он поправил постель и, оставив Екатерину Игоревну с «Жизелью», отправился в кухню готовить нехитрый завтрак. Помешивал овсянку, а в голове вертелась последняя неделя в К, когда он после битвы у Пушкиных примчался по звонку на Бассейную — нужно было срочно взять в прокат машину; еще Ренар предупредил, что лучше это сделать на его ай-ди. Документы лежали на столе в гостиной: грузинский почему-то паспорт, международные права. Он собрал ксивы и отправился в круглосуточную контору, где легко закрыли глаза на необходимость присутствия Ренара за небольшое пожертвование; взял, так получилось, черный Renault Latitude. Тем же вечером подхватил француза у одного из центральных ресторанов; тот скинул ему на телефон точку назначения. Ехали по навигатору, этого направления он не знал.

Пунктом назначения оказалась усадьба за высоким забором, с камерами, смотревшими в мир. Ренар, видимо, еще по дороге сообщил номера; бесшумно открылись ворота, они заехали по указателям на парковку, где уже стояло с дюжину автомобилей разных классов — от дорожных кабриолетов

до тюнингованного «уазика». Затем они прошли по освещенной фонарями дорожке к дому; при виде широкой лестницы, нарядной публички с бокалами на террасе и швейцара в ливрее он порадовался, что, заехав на Бассейную, догадался надеть пиджак. На террасе Ренар обменялся приветствиями с несколькими людьми, причем его услуги переводчика не потребовались — все отвечали патрону на сносном французском. С террасы они попали в холл, где их встретил хозяин резиденции — мужчина средних лет и непримечательной наружности, при этом излучавший такую пронизывающую уверенность, что в его присутствии становилось не по себе. Он спокойно выждал, пока Ренар рассыпался в любезностях, отвечать не торопился, коротко взглянул на Батманова, сразу уяснив его роль при французе, выслушал перевод и, похлопав Ренара по плечу, по-русски сообщил, как много слышал и долго ждал этого дня, под конец бормотнув: Михариа тквени нахва!¹ — Дзалиэн михариа!² — закивал француз, зайдясь своим тоненьким покашливающим смехом, и улыбнулся заговорщицки, а у Даньки в этот момент завертелись в голове какие-то ассоциации из времени подготовки к одной несостоявшейся кавказской командировке, когда он привычно составлял в голове фотобанк портретов персон, *имеющих значение*, чего в этот раз он, кстати, толком не успел проделать, и это сказывалось, сказывалось... и непримечательный тип явно был в той подборке, только вот в каком качестве? Припомнить он так и не успел: хозяин отвлекся на очередных новоприбывших, а Ренар, вильнув к лакею с подносом шампанского, зацепил бокал и направился в гостиную; Батманов последовал за патроном. Просочившись сквозь гостиную, где происходил прием, блеском и значительностью достойный архитектурных заказчиков Гвен, они вышли на задний

¹ Рад вас видеть (*грузинск.*).

² Очень рад (*грузинск.*).

двор. Здесь шла уже другая вечеринка, напоминавшая неформальное соседское пати: публика попроще видом, чьи-то жены с детьми, какой-то верзила готовил сосиски, аниматоры в костюмах забавляли собравшихся. Тут они тоже не задержались, углубились в сад, обширностью более напоминающий парк, по дороге Ренар сунулся в гостевой домик, куда Батманов не пустил швейцар, с ухмылкой сообщив ему, что здесь господину переводчик не понадобится; француз распорядился подождать, Данька кивнул и отошел к скамейке, вынул сигарету, закурил. Вскоре Ренар появился обратно, *ne donnent pas d'attraper le buzz*?¹ — Хихикнул. — *Eh bien, allons-y*?²... Они продолжили прогулку под облетевшими деревьями и мерцающим легким снежком, морозец усиливался, неприятно пощипывал лицо, вернулась привычная боль в пальцах, напомнившая Батманову, почему он предпочитал поездки по теплым странам, он пожалел, что оставил перчатки в машине. На пересечении аллей показалась фигура мужчины, одетого, казалось, совершенно несоответственно ни одной из здешних вечеринок, во что-то полувоенное. Данька подумал было, что это охранник, но тут мужчина характерно качнулся и слегка захмелевшим голосом крикнул в темноту: Гей! Вороня! Братуня!

Батманов вздрогнул, но это было не к нему; из-под развесистого каштана показался братуня — действительно похожий на своего товарища и осанкой, и прикидом, и развинченной походкой. Ренар, от которого расходились волны заинтересованности, заторопился за ними. Мужчины свернули на боковую аллею и пошли, углубляясь в парк, все более темный и заросший — вскоре пропали скамейки, урны, садовая скульптура, затем прекратились фонари, некоторое время они шли в полной темноте на теплый свет в нескольких

¹ Не дают тебе оторваться? (*фр.*).

² Что ж, пойдем (*фр.*).

сотнях метров впереди, в какой-то момент Данька ощутил запах и понял, что это свет живого огня — фонари по краям аллеи заменили чадающие факелы, а где-то еще дальше, кажется, пылал огромный костер. Братуни двумя силуэтами качались на фоне приближающегося зарева.

Когда они с Ренаром пересекли границу тени, на них из-под деревьев выдвинулась троица в камуфляже, с обнаженными торсами; Ренар на переходе в рыжий огненный свет сослепу чуть не столкнулся с первым из поста, тот затормозил его вытянутой рукой, ткнув костяшками пальцев в грудь.

— Куда прешь? Нельзя сюда.

Ренар принялся объяснять свой интерес и статус, Данька начал было переводить, но патрульный остановил его взмахом руки:

— Скажи ему просто, что здесь закрытая вечеринка.

— *Seulement pour ses*¹... — пробормотал Батманов.

— А вот местный проходит, — неожиданно заявил тот из троицы, что стоял позади первых двух; несмотря на темень, он был в солнечных очках в пол-лица.

— Ты уверен?

— Наш, шибеник, — засмеялся тот. — Ты ж знаешь, я как баба — сердцем чую.

— Верх скидай, — распорядился первый.

Почему-то у него тогда даже не возникло мысли отвернуться от странного доверия; он кивнул французу и молча стянул с плеч пиджак, затем рубашку.

— Ничего себе ты отмечен, — уважительно протянул один из хлопцев, кивая на его старый операционный шрам вдоль ребер. — Дикая Охота, да? Это ихний гимн² любит, чтобы кровишки море.

¹ Тут для своих (*фр.*).

² «Скрывающийся под маской», одно из обличий Одина, от лица которого идет повествование «Речей Гримнира» в Старшей Эдде.

— Скажи своему гостю, что его проводят, — распорядился мужик в очках. — В бильярдную, наверное? Он же у тебя не дурак поебаться?

— Certainement¹, — машинально ответил он, наконец сообразив, почему его не пустили в гостевой домик — точно, там и бильярд был, увидел мимо швейцара... Впрочем, это слегка польстило — само собою, его не считали своим, но и холопом не считали, при холопах не стесняются.

— Ну вот и добре, — усмехнулся боец в очках; по движению мимики Батманов наконец понял, что он слеп.

— Давай, вороня, чеши, скоро начнем. Шмот с собой, там есть где кинуть, — постовой положил руку ему на затылок и притянул к себе так, что они стукнулись голыми плечами; Батманов ощутил прикосновение чужой прохладной кожи к собственной, еще не успевшей остыть в зимней ночи. Затем тот же ритуал был повторен двумя другими братьями. Кивнув, словно все это было ему привычно, он двинулся по аллее между дрожащими факелами к свету костра на заснеженной поляне, где в кругу уже собравшихся высилось, как он теперь разглядел, большое дерево с обпиленными снизу ветвями, на одной из которых была повешена одноглазая маска с темнеющим на светлой личине высунутым языком. Из-под навеса на противоположном конце поляны доносился запах жарящегося на углях мяса и нарастающий бит суровой этноэлектроники, вокалист рычал на каком-то скандинавском языке про троллей, голые по пояс мужики в кругу равномерно притоптывали под завораживающий ритм. Данька положил пиджак и рубашку на длинную скамью, установленную по краю поляны, и начал выглядывать, где он при хорошем обзоре будет не слишком заметен сам. К сожалению, этот фокус не прошел — один из парней, торчавших на посту, как раз подтянулся к собранию, заметил его и, подойдя, звучно

¹ Так точно (*фр.*).

хлопнул пятерней меж лопаток — че застыл, Охота? Давай в круг.

Они встали к остальным. Такого количества полуголых мужиков Батманов, признаться, не видел аж со своей недолгой службы в Дружине, и это вкупе со всеобщей серьезностью начинало провоцировать его на неуместную веселость. Реакция на адреналин, — сообразил он. Трудно было не отдавать себе отчет, что компания на поляне подобралась куда более стремная, чем Ренар с его либертенами. Пока же под басовый бит и завывания чего-то похожего на варган в круг вывели высокого, мощного, очень белокожего парня. Поставили его под деревом, а изо рта маски вниз начала медленно сползать петля. Музыка напряглась до предела, при этом не повышаясь, а понижаясь, она скрежетала и ухала, отдаваясь гулом от диафрагмы до низа живота. Круг начал раскачиваться, ему ничего не оставалось, как принять эту все более жутковатую игру. На одном из басовых ударов парень шумно вздохнул — на самом деле, конечно, не он, а невидимый певец, но казалось, что именно он, и надел петлю себе на шею. И та поползла вверх. Ноги жертвы оторвались от земли, и тут же по кругу бойцов прокатилось — Висел я! — с одного конца. — В ветвях на ветру! — с другого. Девять долгих ночей! На дереве том! Ноги парня непроизвольно дернулись. Затем дернулось тело, выгибаясь. Руками он пытался ослабить петлю, это пока спасало. У меня были связаны. Сейчас правая инстинктивно пошла вверх, к замершему горлу. Круг взревел. Чьи корни сокрыты! В глазах потемнело, реальность разъезжалась по швам. Строки Старшей Эдды рифмовались с историей про поэта Державина, который вешал татарву. Он чувствовал, как натягивается веревка, как вместе с нею на разрыв напрягаются мышцы и сухожилия, тело выгибается натянутым луком за невидимой тетивой, из горла вырывается хрип: в недрр-рах неведомых! — и затихает, оборванный толчком под ребра. Из темноты в круг

вышел человек в маске, с длинной жердью в руках, плавным жестом ткнул парня в грудь, приподнимая, давая вздохнуть. Батманов, уже готовый рвануться вперед, чтобы прервать и его, и собственную муку, наконец задышал вместе с казнимым, слегка согнулся, успокаивая пульс, а когда снова поднял голову, то разглядел, что в руках у маски была не просто жердь, а длиннющая плодорезка со свисающим шнуром. Орудую ею, гримнир прищипнул все еще задыхающемуся парню складку кожи, тут же кто-то невидимый отпустил веревку с петлею, и посвященный рухнул с дерева, оставив между лезвий инструмента кусок плоти. Пронзенный копьем! Стал созревать я! — ревел круг, а Данька никак не мог отдышаться, так что сосед снова хлопнул его меж лопаток и вместе со всеми проорал, так, что зазвенело в ушах: Слово от слова! Дело от дела!

— Забирает, скажи? — шепотом сказал ему боец. — Сколько раз видишь, а все равно.

— Не говори... — помотал головой Батманов. — Еще как.

— Наш-то гримнир-Садовник еще по-божески. У дракарцев вообще заточенное весло используют, вот такенная рана остается. У вас тоже что-то зверское, да?

— Ага. У нас лопату.

— Что?! Вы ж Охотники! Почему лопата?

— Мы Дикая Охота. Из мертвецов, не слышал, что ли? Лопата. Заступ могильный.

— А-а, — с уважением протянул боец. — То-то я гляжу, у тебя от сих до сих распаханно.

Местный гримнир тем временем шел по кругу, демонстрируя бойцам кровотокащий лоскут в плодорезке. Батманову снова нестерпимо захотелось расхохотаться, но тут взгляд Садовника остановился на нем, и он узнал хозяина дома. Смеяться сразу расхотелось. Он кивнул и, как и все, прикоснулся к жертве, а затем незаметно обтер липкие пальцы о штанину. Затем Садовник покормил маску на дереве

со своей плодорезки и негромко произнес: Отец Могила принял нашего брата. Снова заиграла музыка, затихшая где-то на кульминации обряда, новопосвященного увели зашивать, а под навесом началась уже обычная мужская пьянка, и Батманов воспользовался всеобщим расслабоном, чтобы свинтить.

Ренара он ждал в машине, покуривая, постепенно отходя от впечатлений. Время шло странно, будто рывками — пару раз ему казалось, что уже начинает светать, но при взгляде на часы становилось ясно, что прошло всего ничего, а свет в небе — видимо, удивительные для этого времени зарницы, сухая гроза. Гости почти разъехались, когда к машине подошел один из охранников — уже настоящий, на костюме и с гарнитурой в ухе, постучал в стекло и протянул ему конверт. Вам просили передать. На память.

Батманов с некоторой опаской принял подарок, поднял стекло и распечатал конверт. Там лежал жетон, похожий на армейский, на одной стороне которого были выгравированы руны электромонтера — ну, понятно, странно, кстати, что они там на поляне зигу не кидали; на другой — еще одна руна, Перт, которую еще называют знаком феникса. *Le Phénix de ces bois*¹, — пробормотал он из Лафонтена.

Maître Renard между тем несколько следующих дней пытал своего ассистента насчет той части праздника, куда сам не был допущен, но тот как воды в рот набрал. Выйдя тем же утром в darkweb, он узнал то, что ему следовало выяснить еще перед отъездом, — а именно, что страна У вот уже почти двадцать лет была покрыта сетью неформальных мужских сообществ вроде тех же «Садовых Гномов», на собрании которых он присутствовал. Забавным в них были только названия. Ведь, как говаривал один его ленинградский знако-

¹ Феникс этих лесов (*фр.*) — из басни Лафонтена «Le Corbeau et le Renard» («Мастер Ворон и Мастер Лис»).

мый, если пацаны уже взяли дыны и одоспешились, замеса просто не может не произойти.

Было кислое утро на границе февраля и марта, когда лейтенант Ворон засобирался из своего временного гнезда. Он выпил стакан воды, выкурил в форточку утреннюю сигарету. В последний раз полюбовался видом из окна. Это временное гнездо, как никакое иное, напоминало птичий дом мечты. Элитный жилой комплекс на Морской набережной окнами смотрел на залив. Мимо окон иногда пролетали чайки. Другая, более мелкая птица так высоко не забиралась. Собственно, потому Ворон и решил отсюда уехать. Очень уж хотелось остаться. Остаться, чтобы каждое утро вот так смотреть в окно на бесшовную текстуру заснеженного залива и сизого, пасмурного неба. С привычной женской приметливостью, от которой никак не получалось избавиться, лейтенант оценил пусть и холостяцкую, но в то же время уютную и явно очень дорогую квартиру нового знакомого, а также его, знакомого, ненавязчивость — за то время, пока он здесь гостил, полноценно с хозяином они виделись от силы раза три. Затушив сигарету, прикрыл форточку, прошлепал босыми ногами в сторону ванной.

Сам не зная почему, поселив у себя лейтенанта Ворона, Василий перестал шататься по собственной квартире неприбранным. Даже без футболки выходить из своей спальни как-то стеснялся. Как гимназистка, ей-богу. Через закрытую дверь его спальни слышно было, как Ворон ходит по кухне, потом звук включившейся воды в ванной. Ванных комнат в его квартире было две, потому обычно по этим вопросам они не пересекались. Ворон неизменно занимал ту, что была с ванной-джакузи, Василию же оставалась душевая. В остальном быту хозяина лейтенант совершенно не мешал. Был тих и неразговорчив. А также очень привлекателен. Однако последнее Вася держал при себе. Особенно после пары взглядов,

как бы спрашивающих: ты часом не гей? Ну это Вася так про себя обозвал. Ворон же как раз ни о чем подобном не спрашивал. Просто, совершенно ничего для этого не делая, сбивал с толку. Ломал все Васины системы наведения. Тревожил и будоражил, будил какой-то творческий, веселый зуд. Хотелось схватить это диво-дивное и показать всему миру. Потянувшись, Василий встал из-за компьютера. Хрустнула кожа удобного рабочего стула, хрустнули засидевшиеся косточки, когда он потянулся, зевая. Чашечка кофе будет очень кстати, подумал и вышел в коридор. И замер. В приоткрытой двери ванной комнаты лейтенант Ворон расчесывал темные волосы. Руки равномерно летали, пересекая плавным движением перебинтованную грудь. Что у твоей воительницы Фа Мулан из диснеевского мультфильма. Узкая спина с острыми лопатками заканчивалась в серых в ромбик мужских боксерах, обтянувших худую и, черт возьми, женственную задницу. Смутившись, вскинул взгляд наверх и в зеркале столкнулся с лейтенантом взглядом. И сразу же понял, что Ворон уходит.

Василий проскользнул в кухню, сварил кофе на двоих, досыпал в вазочку модного коричневого сахара. Ворон вскоре присоединился — в своих оливковых галифе и рубашке цвета мокрого асфальта, прелестно сочетающейся с темными волосами и бледной матовой кожей. Василий поставил ему чашку, тот признательно кивнул, взял со стола и пригубил кофе — стоя, опершись о разделочную столешницу высоко расположенным изящным задом. В быту он был настолько молчалив, что Васе иной раз хотелось выпросить у него голос, но Ворон, словно чувствуя это, говорил мало и редко. Любуясь своим постояльцем и переживая острую тоску в преддверии разлуки, Василий осторожно спросил:

— Ничего, если я тебя сниму на телефон? На память.

Ворон милостиво махнул худой кистью с длинными пальцами, гладкими и одновременно жилистыми, в них чувствовалась сила и точность.

Вася включил камеру. Ворон стоял, скрестив ноги в узких коленях, посматривая в окно.

— Скажи что-нибудь, — попросил он, замирая от предчувствия, что лейтенант его попросту пошлет.

Тот уставился на него поверх чашки, неожиданно улыбнулся и пропел в маршевом ритме мальчишеским ломающимся тембром:

Mais qu'y a-t-il derrière la porte
Et qui m'attend déjà
Ange ou démon qu'importe
Au-devant de la porte il y a toi...¹

И еще пару раз притопнул босыми ногами о теплый пол. Вася немного знал по-французски по учебе в гимназии, по крайней мере, про дверь, ангела и демона он уловил. Это ему понравилось, это казалось очень готично и даже няшно по-своему. Очень хорошо вышло, — осторожно сказал он, — показать тебе?

— Не надо, — ответил Ворон и, глотком допив кофе, пошел в прихожую. Натянул там ботинки прямо на голые ноги, накинул черный бушлат, замотался пестрой арафаткой. Рассовал по карманам какую-то свою мелочевку — старенький телефон, зарядку к нему, гигиенические салфетки, паспорт, сигареты, комок мелких денег. Упаковку презервативов, на которой невольно остановился васин взгляд.

Он стоял, смотрел на эти безжалостные приготовления.

— Слушай, — решил наконец сказать. — У меня вот лишний телефон есть, я обновил модель. Может, возьмешь? Я туда забил свой номер, если что...

¹ Есть ли что-то за этой дверью? И кто ждет меня? Ангел или демон — какая разница, если ты стоишь на пороге этой двери (*фр.*). Из песни «La Mort» Жака Бреля.

— Если что, я сам тебя найду, — через плечо сказал лейтенант. — А пока — adieu.

И вышел из квартиры, не оглянувшись.

— ...Вы там уже все out of your fucking mind, но ты... ты попросту ебанулся!

Что Гвен освоила в совершенстве за годы совместной жизни, так это произношение столь ценимых ею русских матерных слов и их производных. Только что она по пунктам перечислила все безумные поступки своего благоверного — вместо того чтобы после стабилизации состояния Екатерины Игоревны вернуться к работе в город К, ты прислал Себастиану на просмотр какой-то возмутительный этюд наркотрипа с полуголыми мужиками, инсценирующими скандинавскую сагу, за чем последовал вполне предсказуемый разрыв контракта с возвращением аванса. Более того! И после этого ты не угомонился, но опубликовал этот свой шит в отвратительной левацкой газетенке Галлагеров, которые тоже out of fucking mind, причем давно и всем семейством. Ты отказался вернуться в Лондон даже тогда, когда Granny прошла курс реабилитации, и ты вроде бы устроил ее в хороший, как сам говорил, центр для таких больных! Нет, нет и нет! Вместо этого ты берешь билет в противоположном направлении — на этот ваш fucking-promised peninsula, где вот-вот заварится каша почище, чем в К! Нет, я отчасти понимаю, почему ты слинял из К, там становилось опасно, но зачем теперь-то... From one fucking fire to another bloody hell, так у вас говорят?..

Батманов действительно никак не мог отключиться от того, что Гвен назвала траханым пламенем, что для него звучало почти тавтологией; просматривая в интернете сцены многотысячных выступлений на обетованном полуострове под неожиданно обретшим значение триколором, он начинал даже по-своему понимать сбрендивших жителей го-

рода К — его самого будто подключили к неисчерпаемому источнику жизненной энергии, парадоксальным образом не направленной ни на какой конкретный объект, поскольку общей для многих и многих подобных ему носителей какого-то определенного неотъемлемого свойства, с которым он ничего не мог поделать, никак его задавить, ампутировать, даже изменить, свойства более существенного, чем цвет волос, форма носа, пол, возраст, даже самый язык, который до поры казался ему маркером совершенно определяющим... При этом ему, признаться, было немного неловко перед Гвен за этот открывшийся признак, как за утаенную не болезнь, нет, но — особенность; поскольку никаких рациональных объяснений для нее у него не было, более того — казалось, что он в чем-то ее обманул, на годы прикинувшись кем-то, кем, как оказалось, вовсе не являлся, домашним и накрепко прирученным, в то время как сам был все тем же дикарем, чьи когти отросли и принялись царапать паркет, будто эти неудобные шпоры, а пусть бы даже и кирзачи — его военных предков, а ноздри привычно задрожали, лишь ощутив запах весенней степи, дыма и вот — морской соли траханного обетованного полуострова, как называла Гвен место его назначения. В Севастополе, на броненосце «Синоп», начинал службу его прадед Игорь Викторович Варрен, или Ворон — уже по советскому паспорту, тот самый офицер, что смотрел на него с фамильных фото в мундире РККА, вместе с батмановской контрой, олицетворяя непрерывность даже не истории, не страны, но общего о ней чувства.

— ...Jean Robson говорил, что ты мог бы авторский курс по документальной прозе у них в колледже вести, на своем любимом фолкнеровском Юге. После того как вернемся из Лондона, помнишь? Своими действиями ты закрываешь себе эту возможность прямо сейчас, понимаешь ли ты это?

Как большинство решительных людей, Гвен в гневе бледнела и становилась привлекательнее, он даже залюбовался

ею в окошке видеозвонка. При этом с подобными ловушками надо было кончать. Он вытряс из портсигара скрученную заранее папироску с ванильным табаком и закурил прямо в экран, что было уже совершенно детским проявлением неповиновения.

— Что? Ты опять закурил? Твои легкие... твоя страховка! — взвизгнула жена. — *J'en ai rien à branler*¹, — заметил он на языке, одинаково родном и одинаково чуждом для них обоих — это была единственная степень дипломатичности, на которую он был сейчас способен. — *Well, pompe-toi ton dard!*² — в тон ему ответила Гвен и отключилась.

Больше всего в сутках Янина Грабовская-Мурашкина ненавидела утро. Не день, пусть длинный и похожий в последние годы на день сурка: салон, личный тренер, встреча в кафе на территории коттеджного поселка с приятельницами, как в каком-то дебильном ситкоме; не бесконечный унылый и одинокий вечер, в компании пары бутылок красного и сериалов про зомби. Да-да. Последние несколько лет, после того как они с мужем отправили сына в престижную школу за границей, а дочке наняли гувернантку, она под села на сериалы про зомби-апокалипсис. Ей нравилось смотреть фильмы про то, как бывшие воротнички и жители загородных коттеджей жрут оставшихся в живых. Иногда она ловила себя на мысли, что зомби-апокалипсис — это не худший сценарий в жизни. Первые, кого она сожрала, были бы муж и парочка приятельниц. Так вот, больше дней, ночей и вечеров Яна ненавидела утро. Те неприятные минуты перед зеркалом, когда она, почти уткнувшись в серебристое стекло, в упор разглядывала поплывшее лицо и заломы на лбу и вокруг носа и никак не могла понять, когда она успела из молодой

¹ Да подروحить мне на это (*фр.*).

² Ну и отсоси себе (*фр.*).

красотки с дахабского пляжа, — той, что с верным рыцарем с его узкой галией, в оттопыренных плавках, и всером местных поклонников, — превратиться в, как там сказал супруг, стареющую женщину, чей роман уже только с алкоголем. Да. Стареющую. С алкоголем. В стареющую женщину с алкоголем, в глуши под Выборгом.

Сначала она была очень благодарна мужу, когда он указывал ей на недостатки. Это не давало ей расслабиться. Держало в тонусе, пока более счастливые ровесницы приходили в непотребно-бегемотный вид. Ежедневный спорт, регулярные посещения клиник красоты, дорогая косметика. Но муж никогда не был доволен. Пока они жили в Питере, она частенько поднимала себе самооценку, флиртуя с мужчинами заведомо моложе ее. Но вот уже несколько лет как муж настоял на том, чтобы они с дочерью жили в загородном доме. Да, впервые он заговорил об этом после рождения Наташки, когда она была менее всего способна к сопротивлению. Теперь муж бывал наездами. Яна злилась, что он сослал ее в эту марсианскую колонию. У нее не было даже личного автомобиля. Был водитель. Водитель работал на ее мужа. Водитель возил ее к тренеру, к подругам, в салон. Обо всех передвижениях докладывалось супругу. Он был помешан на контроле. Пугающе, чрезмерно помешан. Но Яну никогда не привлекали пятьдесят оттенков серого в ее спальне. В кино — возможно. Она не ханжа, а современная женщина. Но не в спальне. В итоге она сидела в своей марсианской колонии, а пятьдесят оттенков серого супругу обеспечивала двадцатилетняя приезжая девица. Из тех, борзых провинциалок. Плавали, знаем.

Яна вздохнула, отлепив вспотевший лоб от зеркала. Натянула спортивный костюм, выпила положенные пол-литра воды с L-карнитином и вышла на террасу. Дом стоял на озере. Терраса выходила прямо к воде. Пора было на пробежку. Но тут тренькнуло оповещение в телефоне — новая запись от близкого друга. Близким другом она назначила своего —

как это? Давнего любовника? Возлюбленного? Или первую любовь? Короче, это был первый парень ее возраста, с которым она когда-то трахнулась. Тот, смешной, с узкой талией и патриархальными, как ей казалось тогда, замашками. О, она ничего не знала о патриархате тогда. Теперь она вот уже около полугода следила за его приключениями с интересом и, чего уж скрывать, легкой завистью: тусовки в Нью-Йорке, компании в Лондоне, дом на Восточном побережье, командировки на Ближний и Дальний Восток. Жена. Конечно же, жена. Такие парни без присмотра не остаются. Сейчас Даниил Батманов поделился воспоминанием. Яна решила, что пробежку она не отложит, надо тренировать волю. Но все время, пока она потряхивала собою в аллее между коротеньких новых сосен, перемежаемых туей и можжевельником, она возвращалась к этому воспоминанию. О чем оно? Неужели о ней?

...Это был тот раз, когда мы прилетели в Оксфорд. Не британский Оксфорд, вовсе американский. С тяжелой и уже несколько душной в начале апреля южной ночью и толстенькой черной стюардессой в шлепках, которая привычной, практически морской походкой качалась в маленьком самолете внутренних авиалиний. В порту нас встретил мой новый родич Жан Робсон, профессор Ole Miss, прелестный креол кофейного цвета, мы сразу выпили из его фляжки и поехали жрать невыносимую мексиканскую еду. Это был первый мой год в Штатах, я никак не мог нарадоваться на американскую провинцию. В тот раз я зачем-то вдобавок к своему темно-синему бушлату нацепил синий же стетсон, Жан дико хохотал от подобного сочетания. Ничего, говорю я ему — Dixie's Land я тоже владею. У нас, кстати, рабство раньше вашего отменили. И что, небось твой пра-пра владел деревенькой? Жан подковался перед встречей. Один, говорю, владел, другой сидел *в крепости*, хоть из казаков родом — то есть все примерно как у тебя. Жан засмеялся снова, и мы поехали в даунтаун на пати его подруги по универу.

В баре было не протолкнуться, подруга была мила — пухлая лесбиянка, похожая, кстати, на русскую барыньку, как их обычно представляют: породистое лицо, тонкий, слегка жеманный, но при этом командный голос.

— Where are you come from? France? Или нет, не пойму что-то? — озадачилась она на середине разговора.

— Nope. Россия. Просто второй язык отсвечивает на третий, минуя родной, понимаешь?

Заказал всем выпивку. Заскучал по Гвен, — Гвен, привет! И в середине вечера вымелся на площадь. Она была пуста, шумел только бар за спиной. И я пошел вперед и вниз по улицам, примерно помня адрес обиталища Жана.

Он позвонил мне вскоре, я уверил, что все о'к.

Шел по тихим улицам одинаковых белых домов. Насвистывал Johnny Comes Marching Home, прошел памятник солдату Конфедерации, луна карабкалась вверх, и тень моя удлинялась. Свернул мимо газ стейшн и вышел на длинную дорогу, на краю которой расцветал удивительный в ночи сад. Это было такое обширное поле, редко заставленное цветущими деревьями, мерцающими в лунном свете, что хотелось закричать от восторга. Но горло перехватило, и ничего кроме тихого Johnny не вылетало из него. William Faulkner's Grave — 20 steps to the East, — сообщил мне указатель, и я повернул, конечно.

В ослепительной южной ночи памятник мерцал, как барная стойка — да он и был ею. Все ступени фолкнеровского памятника были заставлены бурбоном — старым, молодым, дешевым и дорогим, ополовиненным, полным и на донышке. Чего здесь не хватало — твоих сапог для верховой езды, дорогая Эстелл.

Разумеется, я прямо здесь выпил за то, чтобы это прекратилось.

Нигде в этой твоей Америке, дорогая Гвен, мне не было так уютно, как здесь — на могиле, заставленной бутыл-

ками, на которую темно-синяя ночь опускает лунные блики и серебристо-розовые лепестки.

Где всадники во враждебной вроде бы серой форме скачут чрез ночь, а затем она оглашается возмутительным свистом розового кабриолета, полного обкуренных девчонок, и я вскакиваю чрез бортик, приподнимая синюю северную шляпу...

Под записью было несколько комментариев:

Jane Robson: Wow!

Adel Collins: !!

Vera Holland Batmanov: well, next date in St-Pete?.. (like)

Mr June: Помню-помню, как ты нас водил по болотам с водяными змеями :) В России сейчас?

Daniel Batmanov: Да, по семейным, если окажешься — дай знать, буду рад.

Яна погоняла курсор туда-сюда, посмотрела на часы в правом нижнем окошке макбука, посмотрела на себя в отражении французского окна на террасу, поставила Батманову лайк и включила окошко личного сообщения.

Привет, ты в Питере? Не хочешь ли как-нибудь попить кофе?

Курсор дрожал, ответа не было, хотя зеленый огонек напротив имени сообщал, что он в сети. Яна свернула сессию и отправилась проверить дочь.

Ее девочка, Наташа Витальевна, постоянно раздражала ее. Если с сыном они просто существовали в параллельных мирах — и к лучшему, что муж его отослал, то девочка ее просто бесила. Она была все то, что не нравилось Яне в себе и в жизни. Наташа была толстенькая и упругая, казалось, если ее резко ткнуть, то легко-смуглая кожа лопнет, и она вся выбрызнется на свежесерый палас, на ровно окрашенные

светлые стены, словно какой-нибудь Чужой. У Наташи были ярко-красные маленькие губки и резкий голос; когда они еще жили в городе и отдали ее в хороший садик «с целью социализации», воспитатели жаловались, что девочка катается на других детях с горки. Наташа выучилась читать на планшете, подаренном отцом, сама вылезала в интернет, но подцепляла там исключительно ругательства на всех доступных языках, и на вечерах с гостями обожала внезапно заорать что-нибудь вроде: Шит! Факинг блади хелл! Хуй! Ха-ха! Хуй. При этом ее светло-карие, в отца, глаза, резко искрились восторгом: и Яна понимала, что все, что делает девочка — совсем не случайно. Наташа была маленьким демоном, отпочковавшимся от ее мужа будто вовсе без ее участия, Яна не могла не отдавать себе отчет в том, что она не просто не любила дочь, но, пожалуй, и побаивалась ее.

Она зашла в залу с фортепиано, где гувернантка Наилия — скорее всего, из пристроенных любовниц мужа красивая полуазиатка, показывала Наташе гаммы. Девочка нетерпеливо выслушала задание, придвинулась плотной жопкой к инструменту, будто круглая табуреточка была приклеена к ней — без помощи Наили и без участия ног, не достававших ни до пола, ни до педалей, и начала играть какие-то странные мелодии, которые Виталий называл конфуцианскими гимнами. На лице девочки было редкое выражение умиротворения.

Яна вздохнула и вернулась к себе, в залу с выходом на террасу. Телефон снова — аж второй раз за утро! — разразился оповещением. Батманов сообщил, что готов встретиться.

Последние дни он был словно подкинут в воздух одушевлением и ожиданием; бабушка была пристроена, заказаны билеты в Крым, и было чувство — что-то начиналось. Временами ему было немного страшно от этой своей новой *оторванности*, от того, что он явно переменял всю свою прошлую жизнь, оставляя под ногами только иллюзорное

чувство верного направления. У него будто постоянно подрагивало где-то в районе диафрагмы, и еще хотелось танцевать, он даже по знакомым с детства улицам ходил, приплясывая; этой сумасшедшей весной было нельзя не согласиться на предложение своей первой любви о встрече... Он был уверен, что настолько пережил все это, что ничем неожиданным обернуться не может. Так оно и было в первые минуты — Яна совершенно оправдала его ожидания, выглядела прелестно, хоть и несколько *overdone*, несла какую-то чепуху... Он следил за красивыми ухоженными руками, за маленьким улыбающимся ртом и испытывал наслаждение узнавания. Сам витая мыслями в этом солнечном марте.

То, что если Данька не обрюзг и не разжирел, как кабан, она с ним непременно переспит, Яна решила заранее. И вроде бы все шло согласно намеченному плану — они на удивление легко перешли ко второму этапу — Батманов с готовностью согласился продолжить вечер в «одном симпатичном месте» — и, когда она привела его в недавно открывшуюся, но уже любимую сидрерию, не стал чиниться будним днем и относительно ранним вечером, сам взял пинту, порекомендовал ей сухой валлийский, на поверку действительно оказавшийся очень приятным, с изысканной болотно-гнилостной ноткой, затем они еще съели по чашке французского наваристого супа и он даже заплатил за обоих, что было безусловно хорошим знаком. Но предложения поехать к нему она не дождалась ни после сидрерии, ни после близлежащего квирбарчика, который решила ему показать со значением — мол и мы тоже не льком шиты, Европа, чай! Барчик не произвел на него особого впечатления, он только двусмысленно похвалил огромный принт с целующимися Брежневым и Хонеккером над стойкой — для туристов и экспатов, мол, в самый раз, оценил твой юмор. Оттуда они перешли в другой бар, поспокойнее, где он мигом повстречал давнего знакомого — это придало непринужденности вечеру, но не способствовало

ее цели, поэтому она вскоре потащила его в следующее заведение, благо в последние годы бары в родном городе росли как грибы; не успеешь оглянуться, и на знакомой улице уже и химчистки днем с огнем не сыскать, везде только наливают. Она, в принципе, рассматривала и тот вариант, что ему просто некуда или неудобно ее пригласить, и на этот случай прихватила ключи от их старого дома, еще периода первоначального накопления капитала кирпичной домовины на Волхонском шоссе, с узкими прорезями окон, напоминавшими бойницы, и высоким глухим забором по периметру. Обычно дом сдавался, но в этом году все никак не находились желающие, что оказалось на руку. Теперь Яна вертела в кармане злополучные ключи, с удивлением отмечая, что попросту не понимает, как перейти из одной плоскости, эээ, в перпендикулярно другую: Батманов оставался дружелюбен, прост и абсолютно неприступен. К тому псевдофранцузскому кабаку на Петроградке, знакомому еще по прошлой жизни, они добрались уже за полночь — и набрались к этому времени уже несколько чересчур. Впрочем, по Даньке особенно не было заметно, разве что немного поплыла речь, а вот она, выходя из такси, едва не грохнулась коленкой о поребрик; да и грохнулась бы, если бы он не подхватил ее под локоть. Это столь знакомое его движение, ощущение небольшой сильной руки на плече, направляющее ее к столику на едва открывшейся террасе кафе а-ля Вольтер, или Дидро, или как там оно называлось, вопреки ожиданиям настроило ее не на чашку кофе и финальный акт эротического штурма, как она себе внутренне порешала, но на то лишь, чтобы подозвать официанта и заказать очередное просекко, надеясь одним глотком смыть накотившую неловкую сентиментальность.

Обратную дорогу она помнила плохо — кажется, они ехали вместе в такси и она рыдала у него на плече, а он даже не успокаивал, просто покачивал, как ребенка, и время от времени подавал салфетки.

Утром, выбравшись из кровати и обнаружив себя одетой, а на тумбочке — заботливый тазик, стакан воды и влажное полотенце, Яна в приступе похмельного стыда сжала руки так, что маникюр вонзился в ладони. Надо же было настолько потерять квалификацию... и привлекательность. Прав, наверное, Виталий Валентинович, она всего лишь никому не нужная стареющая алкоголичка. Подошла к зеркалу, мельком глянула в помятое отражение и скрылась в ванной. Принимая душ, заметила на полочке над раковиной мужские часы. Забыл, наверное... надо будет как-то передать. Хотя одна мысль о встрече после вчерашнего позора — мучительна. Со злостью подумала — мог бы все-таки и выебать по старой памяти пьяную подругу, ишь, трепетный какой!

Наскоро приведя себя в порядок, накинула халат и включила соковыжималку, чтобы спастись фрешем — по счастью, от предыдущих жильцов осталось в холодильнике несколько подвявших апельсинов. И вышла на террасу — день был холодный, но яростно-солнечный, как бывает ранней весной, и на южной стороне уже ощутимо пригревало.

На террасе, по-хозяйски устроившись в плетеном кресле, расположился Батманов. Он тоже недавно вышел из душа, волосы еще мокрые, очки задраны на лоб, крупные черты эффектно подсвечены полуденным солнцем. Рубашка не застегнута.

Повернул голову в ее сторону, — с добрым утром, — не обидная усмешка. Неплохо вчера зажгли, да? — она, кутаясь в халат. Давно не видел семейной резиденции с таким количеством камер, — отметил. — Вы что, кинолюбители?

— Они специально на такой случай, — спокойно сообщила Яна. — Если включены, меня просто вышвырнут, а тебя... отметелят где-нибудь. Ну, или нет. В зависимости от степени пренебрежения ко мне Виталика.

Пожал плечами.

— Ты, мне кажется, все ждешь, что я ужаснусь и скажу, что в Штатах твой благоверный давно бы поехал ин джейл. Может, и поехал бы. А может, и нет. Люди разные везде. И каждый сам выбирает, сколько ему терпеть и ради чего.

Встал из кресла, запахивая рубашку. Яна движением отчаяния качнулась к нему. Подхватил, улыбнулся. Легко тронул кончик ее носа знакомым игривым жестом.

— Такая отвага...

— Что?

— Подкупает.

И наконец поцеловал.

Ворон улетел и не обещал вернуться. Вася чуть-чуть походил в Академию, где он учился с перерывами на загулы и академические отпуска, посидел с отцом в ресторане и съездил к матери в Комарово. Высокобуржуазный быт родителей, отца — крупного регионального чиновника, и матери, — его отставленной, но не разведенной по взаимному соглашению жены, при малейших с ним соприкосновениях вызывал у него чувство недоумения и даже досады. Эти люди были ему неинтересны, как почти всегда бывает у юных детей со стареющими предками, но в его случае на все еще накладывалась тонкая маслянистая пленка давней и всем удобной, необходимой лжи. После окончания школы и поступления в Академию госслужбы отец в знак одобрения купил ему квартиру на Ваське. К окончанию первого курса — умеренный автомобиль, полноприводную Audi C-класса, на которой он позорился перед однокурсниками с хищными бумерами и изящными мерсами, и поэтому предпочитал ездить на такси. Не то чтобы его как-то особенно угнетало это незначительное внешнее несоответствие своей среде, внутреннее его несовпадение с нею было гораздо серьезнее, и именно поэтому он предпочитал не выламываться лишний раз.

В один из дней он зашел после Академии перекусить в близлежащий подвальный бар, по странной прихоти облюбованный в том числе и его соучениками — был особенный шик закатиться именно сюда, в гадюшник с дешевым местным пивом и резиновыми отбивными с гарниром из баночного горошка, а не в средней пристойности сетевой итальянский ресторан за углом. Основной контингент «Бруствера» составляли окрестные пролетарии и нищие интеллектуалы из также недалекого большого Университета, эта типичная смычка последние годы несколько разбавилась такими, как Вася, — оригинальничающей золотой молодежью. Пару раз в месяц они закатывали здесь шумные пирушки, поили вкруговую весь кабак и били посуду, составляя за один вечер недельную кассу заведения. Но в этот день Василий зашел просто поесть, выпить пинту «василеостровского» и, может быть, рюмку дешевой водки. Каково же было его удивление, когда, спустившись по ступеням в знакомый подвал и постепенно привыкая к полумраку, он разглядел за столом под крайним окном лейтенанта Ворона, который буднично ел солянку. Ложка с ритмичной аккуратностью двигалась от горшочка ко рту, время от времени Ворон приподнимал лицо к окошку, что исходило бледным влажным светом ленинградской весны, и под глазами становились заметны прозрачные синеватые тени, странным образом сообщавшие облику лейтенанта скорее сосредоточенность, нежели изможденность. Вася без предисловий завернул к столу и уселся напротив.

— Привет.

— Здравствуй, — не удивившись его появлению, кивнул Ворон и, вынув изо рта попавшуюся оливку, выложил ее на салфетку рядом. — Не люблю, когда в супе. Так ем, а в супе не нравится, — доверительно сообщил он Василию.

Вася с пониманием кивнул.

— Какими судьбами? — позволил себе поинтересоваться он.

— Что значит какими? — удивился лейтенант. — Это мое любимое кафе. Привык к нему, еще когда на истфаке учился.

— Ты учился на истфаке?

Лейтенант кивнул.

— Давно. Еще до армии. И до того, как меня убили.

О том, что лейтенанта убили, Вася слышал впервые, но отнесся с полным доверием. Ворон доел суп, аккуратно отложил ложку на салфетку рядом с одинокой оливкой.

— Закажешь что-нибудь? Я посижу с тобой немного.

— Сейчас, — спохватился Вася. — Может, что-нибудь для тебя? Выпьешь? Пиво, водка?

— Я не пью, — покачал головой лейтенант. — Своей дури хватает. Возьми мне чай с лимоном.

Молодой человек поднялся и пошел к стойке. Ворон проводил его взглядом. Последнее время он стал чувствовать, что начинает терять с самим собою связь, как будто жизненные силы лейтенанта действительно истончались вместе с самой его личностью. Это пугало Альку, она несколько раз съездила зайцем в Петергоф, перебегая из вагона в вагон, и долго бродила по микрорайону «Аэродром», где когда-то жил Ворон, смотрела на окна его старой квартиры, которые запомнила благодаря нескольким приметным деревьям, росшим под ними; за прошедшие десять... нет, больше! — лет они вымахали и виднелись издалека над крышей стандартной пятиэтажки. Она вспоминала его быструю, слегка пружинистую походку с манерой разбрасывать носки чуть-чуть кнаружи, вспоминала вспыхивающую улыбку, в которой до самого конца было что-то детское, его привычки — кажется, он не любил кофе, в столовке все время брал чай с кружком лимона, а вот выпить был вообще-то не дурак, но от этого ей пришлось отказаться не столько в силу недостатка средств — в компаниях, к которым она время от времени прибывалась, ей охотно и даже временами настойчиво наливали, но скорее из-за того, что даже и в легком опьянении она еще больше

утрачивала связь с его личностью, которую так старалась сохранить и зафиксировать в себе. Она уже чувствовала, что исчезновение лейтенанта Ворона — лишь вопрос времени, и старалась провести с ним как можно больше, при этом находясь в ясном сознании и полноте чувств. То женское и несчастное, что поднималось в ней тогда, когда лейтенант Ворон сходил со сцены, ощущалось как болото, в которое ее затягивает с каждым разом все глубже и безнадежнее, оно не просто пугало ее, но вызывало чувство душного отворачивания. Образ Ворона один стоял между нею и этим чувством, он был чистой и гордой жертвой, которой одной она могла спастись от грязи и унижения, которым добровольно дала себя подвергнуть, изменив его памяти. Она понимала, что исчезающее волшебство его присутствия необходимо уловить сетью каких-то внешних ритуалов, и в этой ситуации ей мог помочь кто-то, кто не подвергал сомнению ее право *быть с ним и быть им*, и ей казалось, что этот крупный доверчивый парень, явно очарованный ее (его!) образом, мог ей как никто помочь в этом. Именно поэтому лейтенант Ворон не прервал беседу, не закрылся перед новым знакомым и даже позволил ему заказать себе чаю с лимоном, который, она помнила, предпочитал ее Даниил Андреевич сладкому столовскому кофе, разминая лимон ложкой, чтобы он выпустил побольше сока, и прихлебывая кисловатый терпкий напиток за какой-нибудь книжкой из тех, что он вечно таскал с собою... Вот, надо еще завести книжку, может даже и на французском, которого она не знала, просто заучила на слух несколько строк из шансонье Бреля, которого он когда-то упоминал при ней.

Все дни после их встречи Яна не могла не думать о нем. Его манера обращаться с нею была знакомой и новой одновременно, а вернее всего было бы сказать, что его определенно властная чувственность ничем не оскорбляла ее,

в отличие от грубых игр Виталия Валентиновича. На этой волне ее, что называется, повело — она писала ему сообщения о встрече, игривые эсэмэски, она постоянно чувствовала внутренний жар, а при воспоминании о нем ее начинало легко и возбужденно подкидывать, она даже елозила задом на стуле, пока писала ему. Но Батманов если и был на волне, то явно на другой: следующие две недели он неизбежно увиливал от встреч даже при том, что явно никуда не улетел, она его знала, он не мог бы не написать что-то оттуда, если бы в самом деле был там.

Данька действительно не попал на полуостров ни тем рейсом, на который у него был взят билет — то есть на следующий день после свидания с Яной, — ни позже, но не позволил ей и не написал, несмотря на то, что их близость поначалу оставила в нем теплый, признательный след. Ее податливая отзывчивость и неожиданная настроенность на него дала ему то чувство, которого он давно не испытывал ни с женой, ни тем более с командировочными пассиями. Переполненный этим ощущением и внутренне размякший, из дома на Волхонке он поехал в пансионат, куда устроил бабушку и который ему поначалу понравился уютным расположением недалеко от Петергофа, на краю одного из полузаброшенных парков, и какой-то особенной домашностью атмосферы. Но в этот его визит, о котором он без заведомого намерения не предупредил сотрудников, впечатления изменились. Екатерина Игоревна вместо двухместной комнаты с симпатичной лежачей, но в уме и с сохранной речью бабусей-соседкой, куда ее поначалу поместили и которая была оплачена на месяц вперед, оказалась в четырехместной палате с застоявшимся несвежим духом подтекающих старческих тел. Физическое состояние ее видимо не ухудшилось, но, увидев его, Екатерина Игоревна неожиданно сморщилась лицом и принялась неостановимо хныкать. Жалкие слезы потекли по ее полурасслабленному лицу со скошенным ртом, из кото-

рого потянулась ниточка слюны; наклонясь к ней, он почувствовал тяжелый запах изо рта, который явно говорил о том, что ежедневный туалет проводился с регулярной небрежностью. Он гладил ее по голове, успокаивая, затем деликатно приподнял одеяло, чем вызвал новый приступ бессильных рыданий. Наконец ему удалось осмотреть тело. Пролежней, слава богу, не было, но гигиена оставляла желать лучшего, к тому же на бабушке было какое-то чужое белье, ветхое и застиранное, с желтоватыми пятнами в соответствующих местах. Медсестра, проводившая его в палату, вяло, вполголоса оправдывалась и окончательно стихла под холодным, почти ненавидящим взглядом визитера. Батманов едва смог улестить Екатерину Игоревну повторяющимися обещаниями вернуться вскоре, и, мягко оторвав от себя ее руки, поманил сотрудницу в коридор.

— У вас совесть есть вообще? Это черт знает что такое! Издеваться над беспомощными... я вас засужу, — гудел его голос в коридоре, куда более презентабельном, нежели покинутая палата. — Я забираю ее. Готовьте машину для перевозки, носилки, что там еще...

Сестра только развела руками.

— Вечер, воскресенье... Директора нет на месте, шофер тоже выходной, сегодня не предполагалось никого возить. И документы не оформить. Разумеется, вы в своем праве, но давайте завтра с утра.

— Черт знает что такое, — повторил он и вернулся в палату.

Он провел там еще часа полтора, поменял на бабушке памперс, вымыл ее, затребовав каталку в душевую, переодел в принесенные медсестрой из кладовой вещи. После легкого ужина, в ходе которого Екатерина Игоревна против обыкновения не капризничала, съела и творожок, и булочку, напилась чаю с молоком и с детской гордостью посматривала на соседок, которых быстро и без особых сантиментов,

словно обслуживая поломанные механизмы, обихаживали сиделки, он посидел, держа ее за руку, пока она не заснула, умиротворенная, начав слегка посапывать, как обиженный и сладко наплакавшийся, но наконец-то прощенный ребенок. Затем позвонил Анне Егоровне, которая, по счастью, оказалась свободна ближайшие три дня, потом заступала к очередной лежачей бабусе, но обещала завтра же подыскать себе надежную замену и по возможности вернуться к ним. Вызвал такси до станции и поехал домой обустройства все к завтрашнему водворению Екатерины Игоревны в родной дом. Острая жалость и чувство вины при этом не могли заглушить чувства легкой досады от находящейся под угрозой срыва столь желанной поездки; про себя он решил, что если Анна Егоровна сможет взять на себя уход за бабушкой хотя бы на неделю, он все же не будет сдавать билет, но все неоднозначно-приятные мысли о Яне, которым он предавался по дороге в пансионат, вымело новыми переживаниями и заботами практически бесследно, он даже удивился, обнаружив поздним вечером в телефоне ее эсэмэску с нежным намеком на следующую встречу.

Наутро Екатерины Игоревны в пансионате не оказалось. Сотрудница объяснила, что ночью бабушка каким-то непостижимым образом сумела сползти с кровати, упала и повредила запястье; с переломом и ушибами ее увезли в Николаевскую больницу, которую во времена его жизни в Петергофе называли «истребительной». Вне себя от возмущения и тревоги, он помчался туда; ни о какой поездке на полуостров, понятное дело, теперь не приходилось и думать. Сообщения же, которыми его в следующие дни засыпала Грабовская, поначалу оставляли равнодушным, но постепенно начали попросту раздражать.

Шло время, Крым вернулся в Россию, Яна, она уже понимала это, тоже готова была сдать Даниэлю со всеми потрохами, она даже иногда думала в том ключе — как он примет

ее дочь. В том, что примет, у нее не было сомнений. Она иногда посматривала на Наташку его взглядом и понимала, что дочь понравится ему, в них был какой-то общий — огонь? Потом, правда, встряхивалась, вспоминала про деньги, трогала руками стены особняка и начинала плакать. Она не могла быть счастлива без денег, и теперь, как ей казалось, не могла быть счастлива еще и без Даньки, который вместе со своим естественным бонтоном человеческого отношения нес еще и память, и восхищение их юности. Ей все время вспоминалось, как он прижал ее бедра к животу и надвинулся одним порывистым движением, обнажив в обычной своей кривовато-мальчишеской улыбке ряд верхних зубов с двумя чуть более крупными передними резцами и блестящими, немного выступающими клыками, не забыв поцеловать ее под коленкой.

Виталий Валентинович приезжал за время ее томления дважды, в первый раз привычно ее избил, во второй просто проигнорировал. Она знала, что он знает, что она вот уже несколько раз ездила в город в бар на Некрасова, подкарауливая там Даньку, при этом была уверена, что он не знает о нем, более того — ему нет до этой стороны ее жизни особого дела, хотя любое откровенное неповиновение с ее стороны непременно будет наказано.

На третий или четвертый раз она наконец увидела Батманова.

Даниэль вошел легко одетым — тогда только она поняла, что он живет по соседству. Джинсы, пуловер, борода. Все.

Он не удивился, увидев ее за стойкой, заказал пастис; тебе? Яна приканчивала бокал белого: повторите, да.

— Не ожидал тебя здесь увидеть, — максимум выражения неудовольствия.

— А я... — начала она.

— Так... не возражаешь выйти?

Вдоль улицы тянулись вечерние сумерки.

— Я не отвечал тебе, потому что не до того. Но и, кроме... Видишь, ты мила мне, но какие у нас перспективы? Мы оба не свободны, и я просто...

— Не готов рубить сук, на котором сидишь, — усмехнулась Яна. — Мы оба неплохо устроились, ты — так вообще выше любых ожиданий. Вот правда, не ожидала от тебя подобной гибкости.

Она то ли подмигивала, то ли глаз дергался.

— Сильно сказано, — кивнул Батманов, глядя на нее новым внимательно-откровенным выражением, — и не поспоришь особенно. Ну, так береги себя, — наклонился к ее скуле, не коснувшись, затем развернулся всем корпусом и ушел в сторону Литейного.

Яна допила бокал и позвонила водителю. Виталик снова отпиздит, ну да все равно. Сидя на скамейке у бара, она разрыдалась. Какая-то незнакомая женщина успокаивала ее.

В тот раз они засиделись в «Бруствере» до ночи, Вася пил пинту за пинтой, Ворон тянул свой чай, и вокруг них постепенно собиралась компания завсегдатаев, причем Василий отмечал, что если поначалу они слетались, привлеченные его реноме богатенького и щедрого буратины, то, разглядев собеседника, переключались на него.

— Крутой косплей! — одобрительно сообщил очередной приятель по стакану, которого в «Бруствере» считали особенно модным властителем дум и поэтому иногда даже наливали в долг. — У меня дочка тоже увлекается... это из аниме какого-то?

— Скорее из анимы.

— О, ничего себе! Какие вы знаете существительные.

— Вы отлично уловили негативный смысл моего проекта.

— Какой же?

— Сущности как отрицания того, чем невозможно более быть. В какой-то момент ты говоришь себе — я не это, не это

и не то, этим я быть не хочу, тем — не способен, и тогда для тебя остается не так уж много вариантов... Подобное принятие и составляет особенную прелесть зрелости как осознанной свободы и необходимости выбора.

Властитель дум хмыкнул и чокнулся с Вороном стаканом, тот прислонил к его граненой стенке изящный кулак со слегка потемневшими костяшками. Категорично-многозначительная, без намека на грубость и обычное тщеславное хамство полунищей богемы манера его нового товарища вести разговор, судя по всему, была сочтена оригинальной и располагала к нему не меньше, чем нетривиальная внешность.

Время шло к закрытию, бар пустел. Ворон тоже стал собираться.

— Ты н-не возражаешь провести ночь у меня? — замирая, спросил Вася.

— У тебя, но не с тобой, — сразу расставил точки над *i* лейтенант.

— Да-да, разумеется... Только вот не знаю, что делать с тачкой. Она у меня немного стремно припаркована, эвакуатор может утащить к утру. Надо, наверное, вызвать трезвого водителя...

— Зачем? Я сам поведу.

— Ты? Ну, давай.

Они вышли во влажную и уже теплеющую ночь, поднимался юго-западный ветер. Прошли переулком, цокая по брусчатке, отыскивали Васину белую «ауди». Хозяин открыл дверь, пропустил Ворона на водительское сиденье, забил в навигатор адрес по Морской набережной.

— Ты уверен? — пристегиваясь.

— Хочешь сам? Нет? Ну, рванули.

Эту поездку Василий не забудет никогда. Они мчались по ночному городу, повизгивая на поворотах, притормаживая перед светофорами в последний момент. Ворон вел смело и даже как-то слишком легко, будто человек, не знакомый

с превратностями дорожного движения. Звериное чутье подсказывало Шадрину, что поездка была по-настоящему опасной, хотя они ни разу даже ничего не нарушили критично. Сидя на пассажирском сиденье, он постоянно ловил себя на том, что инстинктивно жмет педаль тормоза. Наконец они пришвартовались на Морской набережной, парковался Ворон как раз преувеличенно аккуратно. По-женски, — подумал про себя Василий и выдохнул.

— Давно водишь? — буркнул он вслед за тем лейтенанту.

— Да я и не вожу особенно. Бывший учил немного, — сообщил тот, отстегиваясь — лента ремня поползла через плоскую грудь. Это был первый раз, когда Ворон выдал в себе базовый пол, да еще таким возмутительным образом. Вася, правда, был не в силах воспользоваться ситуацией. Хмыкнул:

— А права-то есть у тебя?

— Дороги? Кому нужны дороги, — меланхолично ответил Ворон. — Завтра надо будет еще кое-куда съездить. Ты свою школу можешь прогулять?

— Завтра первое мая, выходной, — напомнил Василий. — Но только завтра, чур, я за баранкой. Мне эта тачка не нравится, конечно, но не до такой же степени.

Ворон ничего не ответил.

...Они жили в угловой квартире стандартного для этого времени и страны дома. Да, вот точно, в этой, с березкой, дубом и американским красным кленом у парадки. Окна, в том числе эркер его детской комнаты, скромным таким фонариком, выходили одним боком на три дерева, другим — на заросший Английский парк, в котором о культурной деятельности человека напоминали только обугленные, сочащиеся тонкой рыжей пылью развалины одноименного дворца и мемориал защитникам Ораниенбаумского плацдарма с дырчатой мшистой стеной. Зимой парк не чистили; обнаглевший раkitник задерживал снег, от крайних домов до бывших аллей, где начинались большие деревья,

было метров двести: они лежали плотной, примятой кое-где осторожными тропками снежной подушкой. Весной парк не торопился таять; приход весны опознавался тем, что вода из-под крана начинала противно пахнуть. С этого момента Данька знал, что во время одиноких вылазок в парк, — парни со двора не находили там ничего интересного, — следует осторожнее ходить по льду пруда и маленьких питавших его речек: то тут, то там появлялись буро-зеленые промоины, чуть позже начинавшие вздуваться коварными рыхлыми пузырями. Однажды такой пузырь треснул и разошелся у него под ногами; барахтаясь в вонючей ледяной кашнице, спасся он тем, что сразу хлопнулся на живот и ерзая, как полураздавленный червяк, выбрался под ветки нависающего над прудом ивняка. Хватаясь за ветки, перебирая руками, выполз на берег и некоторое время лежал там, отдуваясь и коченея, унимая колотящееся сердце и попутно соображая, где теперь высушить одежду, чтобы не заругала мать. Согреваясь бегом, он добрался до дома и нырнул в соседний подъезд, где полчаса клацал зубами у батареи, пока не догадался сунуться к классной учительнице со странным именем Тамила, соврав, что мама уехала на гастроли, а отца, как часто по вечерам, нету дома, — единственный на тот момент друган Витька жил далеко, к нему надо было ехать на автобусе.

Тамила, кажется, все поняла, но не удивилась и раскрывать его наивный обман тоже не сочла нужным. Запихнула в наполненную чуть не кипятком ванну, одежду разбросала по веревкам, что тянулись поперек тесной кухни. Потом принесла шмотки какого-то из своих внучат, в которых невеликий росточком Данька утоп и нахохлился, стесняясь. Напоила чаем и в качестве культурной нагрузки усадила читать «Капитанскую дочку». В школе Тамила вела русский язык и литературу.

В эти дни он снова начал перечитывать Пушкина, именно прозу, со стихами как-то не задалось с того самого детства,

а другого уже не будет, поэтому — вот, проза. Он менял Екатерине Игоревне памперсы, кормил ее с ложки, читал «Капитанскую дочку» и смотрел новости в интернете: вслед за полуостровом начались выступления по всему, практически, востоку страны У, и хоть его с привычным комом в горле солидарно переворачивало при виде масс людей, идущих под триколором с кликами «Россия! Россия!», за этим воодушевлением он чувствовал угрозу нарастающей, все более близкой и, кажется, уже неостановимой лавины — бандитская разборка элит и подручных варягов оборачивалась иным жанром. Пока, впрочем, люди еще разговаривали — говорили дипломаты, и даже президенты обеих его гигантских стран иногда созванивались, чтобы чем-то пригрозить друг другу по поводу третьей страны У, он звонил Гвен по скайпу, а ему, в свою очередь, звонили родственники из К, Лена Вассовна кричала, что *они* украли у нее любимый курорт, Сергей Юрьевич обеспокоенно спрашивал, будут ли те же *они* закрывать со своей стороны границу — ну, мало ли, ты слышал что-то... — говорил он, и кричал, и вздыхал: у его брата была жена с русским гражданством и связанный с Россией бизнес. Разговаривали пока даже танкисты, отправленные умирять бурлящий восток страны У: застряв на вспаханном поле и свесившись из люка боевой машины, командир ругался с подбежавшими поселянами, весенняя степь оглашалась одинаковым раскатисто-хэкающим матом, местные прыгали вокруг танка, толкали его в бока, словно выпихивая с посов заблудившуюся скотину. После таких новостей Батманов ложился на время успокоенным, но спал чутко, памятуя об открывшейся способности Екатерины Игоревны убежать с кровати. А наутро снова кто-то мчался по улицам с арматурой, ломал двери административных зданий, срывал одни флаги и водружал другие, и все новые и новые стада техники гнали по дорогам, словно кто-то кликал по юнитам в компьютерной игре, упрямо подтаскивая их ближе друг к дру-

гу. После травмы у бабушки частично вернулась речь — то, с чем не смогли справиться медики университетского центра, обеспечили жулики из пансионата. Правда, сознание ее так и не прояснилось, и реагировала она больше не на его попытки коммуникации, а на работающий телевизор: при виде очередной колонны или бойцов с оружием могла пропеть отрывок какой-нибудь песни времен той, настоящей войны, причем, будто улавливая направление движения, выбирала самые грозные — из тех, что он даже и не помнил, чтобы она пела. Винтовочка точная, винтовочка прочная, верная подруга красного стрелка. Вспомним о тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу. Болванкой в танк ударило. Пылают города, охваченные дымом. Артиллеристы, Сталин дал приказ.

— Не знал, что ты у меня такая милитаристка, — бормотал Данька, скармливая ей фруктовое пюре, краем глаза поглядывая новости и думая о том, что если уж мир выжил из ума наиболее традиционным для нашей территории способом, то кому, как не Екатерине Игоревне, чувствовать это.

...В Петергоф они с Василием приехали только к полудню, теперь стояли в виду корпусов и башенки бывшего часового завода «Ракета», былой, наряду с фонтанами, гордости городка. Лейтенант Ворон огляделся — вокруг лежал Английский парк, последний — и неизменный — рубеж обороны Ораниенбаумского плацдарма. Развалины дворца постройки Кваренги, на осень сорок первого — штаб морской авиации Краснознаменого Балтфлота, гляделись в поплывшее бельмо все еще ледяного пруда, что никак не мог вскрыться, лишь набухал, словно готовясь разродиться весенней жизнью, как верхушка гигантского скрытого под землей яйца. На руинах происходила репетиция очередной исторической реконструкции. Парни в форме стрекотали холостыми, забираясь

на низкий холм, придавленный плитами и битым кирпичом. Трахнула шумовая граната. Он заметил, что Вася снимает его на телефон. В это время в ближней группе атакующих красноармейцев боец с красным знаменем упал — видимо, по сценарию убитым, остальные залегли. Лейтенант в этих своих галифе и бушлате метнулся к развалинам, пригнувшись, подхватил знамя, затем вытянулся во весь рост и махнул рукой. Взвод поднялся и полез по камням, снова заработало стрелковое противника, но атака катилась уже неостановимо. Вскоре Вася увидел, что красноармейцы наконец овладели руинами, над изломами гранитных глыб взвился красный флаг и раздалось звучное «ура».

— Имя, звание! Че форма такая странная? Ополченец? С какого клуба?

— А тебе не по херу? — улыбнулся герой. — Высоту-то взяли... Лейтенант Ворон.

...Мальчик в арафатке и с маской черепа на нижней половине лица взял аккорд и сообщил в камеру: девочки и мальчики взяли в руки ластик, звездочки затерли и рисуют свастики. Да, пускай в моем сердце и трезубец, желтосиние полотна и бездонная печаль, но я не скакал и никогда скакать не буду... как меня ни называйте, а я теперь москаль. Мужики, огонь!

— Вот такая песня, ночью в интернете подцепил, — прокомментировал певец, закончив исполнение. Ворон и Вася сидели у реконского костра в дикой части парка, компания немного пила, с аппетитом закусывала и взбудораженно обсуждала последние политические события. Вася пока не мог отделаться от чувства, что и это — часть реконструкции, игры.

— А ты ведь бой тоже снимал? — спросил его худощавый парень с кукольным лицом, в форме офицера вермахта.

— Да, вот с того момента как ваш знаменосец упал. То есть, знаменосец противника.

— Да наш, наш, здесь все наши... А знаменосец — это для красоты просто, гребаный театр, администрация всегда просит, — поморщился фриц. — Скинешь потом видос?

— Не вопрос, на ютуб залью и ссылку кину.

— Понимаю, что кому-то надо, но как же задолбало в этой форме бегать, особенно после всего этого в К... — поделился чувак из вермахта. Он, кстати, и исполнял песню про свастики. — Но, видишь, меня папа с мамой Генрихом назвали, потом Гогенцоллернами занимался, да и форма есть, давненько еще собрал, так что без вариантов... А ты все-таки из какого клуба? (Ворону).

Тот приподнял недлинную и широкую, домиком, бровь, усмехнулся, коротко глянул не узнававшему Генриху прямо в глаза и, протянув руку, сказал сиплым мальчишеским тенором:

— Дай-ка инструмент... На два голоса, а?...

Утро следующего дня Батманов пропустил. Терапевт неделю назад прописал прокапать Екатерине Игоревне витамины, Анна Егоровна поставила канюлю, как ему показалось, грубо, бабушка хныкала; они с медсестрой разругались, словно вконец надоевшие супруги, та ушла в слезах, он побежал за нею, но с полдороги вернулся, взял бумажник и бумажную авоську и отправился за покупками, но вместо ближайшего приличного магазина вышел на Фонтанкин берег, перешел Пантелеймоновский мост и почесал по противоположной стороне — вдоль ржаво-мокрого Инженерного замка, затем здания цирка, мимо размахивающих ногами клодтовых коней. Остановился лишь на старинном Чернышовом мосту, что косо стоял от сквера на Спасском острове к улице Ломоносова, наблюдал медленное течение ерика, что волок на мелкой ряби последние сгустки льда и легкие стайки мелких чаек, и огромный синий купол Троице-Измайловского собора впереди. Надолго бабушку он не мог оставить,

поэтому, спрямив у Владимирской церкви, вернулся по Литейному, прихватив в маркете питательную индейку, овощи, фермерский творожок, ржаной хлеб с зернышками и пару бутылок вина — для себя на вечер. Екатерина Игоревна мирно спала за баррикадой из кресел, которой он приноровился оборудовать ее ложе на время своих отлучек — чтоб не свалилась с кровати. Данька погладил ее лоб, почти не касаясь, и пошел готовить обед, включив фоном маленький кухонный телик. Он поставил варить бульон из индейкиных плеч и томиться — соте из филе с тыквой и стручковой фасолью. Приготовление еды всегда успокаивало. Но тут из телевизора послышались выстрелы. Он увидел, как одна группа боевиков бежит на другую, между ними мелькают фиалковым первоцветом милицейские рубашки, за ними — гражданские протестующие. Что-то подобное происходило постоянно в последние месяцы, поэтому он снял дошедший бульон с плиты, отцедил часть охладиться в мисочку для Екатерины Игоревны, выключил огонь под соте и отправился накрывать стол. Был прохладный выходной и когда-то праздничный день, поэтому он разжег в гостиной голландку, уже давно служившую камином.

Они как раз трапезничали в гостиной, сидя на своих заведенных местах — бабушка в условной голове стола, спиной-боком к окну, он лицом к дверям, рядышком, помогал ей есть — она то и дело роняла ложку из единственной слегка работающей руки, и препятствовал попыткам насыпать соте в бульон, а еще налить туда же разбавленное вино из бокала, когда забытый в кухне телевизор снова дал о себе знать, оттуда раздались крики, Екатерина Игоревна даже забыла побалтывать и выплескивать тюрю, которую она, несмотря на все его усилия, устроила в своей тарелке. Батманов встал и пошел в кухню, чтобы выключить телевизор, но не смог сразу, на полминуты замер перед изображением. На экране большое советское здание высывало в мир языки пламени

из двойных дверей и широких окон, а из окон повыше с криками выпрыгивали люди; когда они достигали земли, раздавался шлепок, будто невидимый скульптор бросил кусок глины в общую массу, а крик обрывался. Вокруг здания тоже стоял народ, и с одной стороны дверей падающих добивали бейсбольными битами, с другой — подхватывали с асфальта и неумело тащили на рекламных щитах и полотнищах брезента к сигналящей «скорой». И то, и другое происходило одновременно. Люди — те, что падали, что тащили и что добивали, тоже не отличались внешне. Кричали они — те, кто еще помнил слова, — тоже на одном языке. Легкая одежда и густеющие южные сумерки сообщали о том, что в городе, где это происходило, уже наступила весна.

Батманов выключил телевизор, вернулся в гостиную и увидел, что Екатерина Игоревна раскачивает свое кресло, как она делала всегда, когда хотела, но не могла переместиться — руки не слушались, и силы не было в них больше. Он вытер ей подбородок, снял салфетку с груди и покатил по комнате, останавливаясь то тут, то там. У большого фотопортрета Данечки — его деда, ее покойного мужа. Нет. У фортепиано — иногда бабушка любила по старой памяти потрогать клавиши. Тоже нет. Екатерина Игоревна хотела к камину. Он подкатил ее против огня, не слишком близко, но чтобы было хорошо видно и достигало тепло, зафиксировал колесики и стал убирать посуду. Затем присел рядом, подлил себе вина, и так они долго смотрели в огонь. Утром у него случился первый за многие годы приступ стенокардии, настолько неожиданный, что пришлось его перетерпеть без таблеток.

А потом позвонил Саша, тот самый мистер June.

— Уф, ну ты в порядке. Помню, что хотел на юг лететь, в сети не появляешься, черт-те что подумали.

— Нет, я в Питере. Бабушку не оставить.

— Ну и к лучшему, извини... беспокоились.

— Сань, что там вообще происходит? Ты хоть что-то понимаешь?

— Не особо. Мне кажется, это пока не поддается... Я тебе там ссылку прислал, вспомнил историю, что ты мне в Оксфорде рассказывал. Удивительное, что называется, совпадение.

— Сейчас, открываю.

На видео, которое быстро пошло на телефоне — качество было невысоким, отряд реконструкторов сначала брал штурмом развалины екатерининского дворца в Английском парке, знакомые ему не то что как пять пальцев — как линии на ладони, впереди бежал стройный черноволосый юноша в галифе и морском бушлате, с красным знаменем. Затем тот же юноша вместе с другим парнем, в форме вермахта, у походного костра пел одну из тех песенок новой войны, что в изобилии появились в интернете. После исполнения они представились:

— Лейтенант Ворон.

— И пленный ганс.

Данька какое-то время ползал пальцами по экрану, пытаясь увеличить изображение, пока ему это наконец не удалось, и тогда он разглядел в новоявленном лейтенанте Вороне — Алевтину Смирнову. У нее было то же самое лицо сердечком, лишь со слегка потяжелевшим, удлинившимся подбородком, крупный рот грустного клоуна и карие глазащи внешними уголками вниз. Он не понимал, как все остальные принимают — или соглашаются принимать ее — за парня. Закончив петь, она улыбнулась и сделала пальцами знак victory.

3. Скрытая крепость

Все это лето он слабел, словно какая-то Снегурочка — ничего фатального, но волнами налетали приступы стенокардии, на любой дождь ныли пальцы, он даже посматривал

в зеркало по утрам — не начнут ли отваливаться приведенные в порядок американской пластической хирургией ушные раковины. Пытался взять энтропию под контроль, если даже не для себя, то; через день возил Екатерину Игоревну в Летний сад и раз в неделю — в Таврик, где они просиживали обычно по полдня, он брал шашлык на вынос в ресторанчике на горке, там неплохой был, бабушке — куриный, себе — из баранины, еще с собой была вода, вино и хлеб, они пристраивались на берегу пруда, и он разговаривал с нею, пусть она и не отвечала — только иногда смеялась невпопад или выкрикивала французские ругательства. Все для того, чтобы меньше смотреть в интернет, который грозил перемолоть в безвольное, буквально, желе — сообщения о полномасштабных уже боевых действиях на востоке страны У, такое ощущение, вычитали его из реальности. С каникулами детства в городе К и реализованной в Америке идентичностью русского как сочетания самых разнообразных черт, в том числе и той части, что воевала сейчас сама с собою, его рвало по швам с каждым упавшим снарядом. Его представление о себе, сформированное русско-советским семейным мифом полиэтничной и при этом единой культуры, за американские годы, пожалуй, лишь законсервировалось, и теперь он с недоумением наблюдал людей одного с собою языка и даже корня, которые объявляли себя кем-то иным; на этом фоне он сам стал казаться себе реликтом другой реальности, ныне не существующей. Поймал себя на детском бзике периода пробуждения эго — умываясь, с недоумением уставился на собственную ладонь, отказываясь идентифицировать себя с этим телом, с этими небольшими, широковатыми в основании ладонями, недлинными, но твердо очерченными, довольно изящными, надо отметить, пальцами с крупными ногтевыми пластинами... вот ногти точно чужие, акрил... что-то случилось? Не мог вспомнить что и несколько минут загонял себя об-

ратно в телесную реальность буквально волевым усилием, повторяя: это я, я.

Что еще хуже, наряду с попытками развоплощения, он все больше утрачивал эмоциональный контакт с Екатериной Игоревной, постепенно она становилась для него скорее телом, которое нужно содержать в чистоте и покое, и каждое нарушение этого порядка — будь то неожиданно обильное испражнение или ее бессвязные, а значит, и бессмысленные жалобы, вызывали в нем уже не сочувствие, даже не жалость, скорее глухое раздражение. Он думал о том, что, посылая человеку подобную смерть — ну а что это еще, как не длительная агония, не назвать же подобное жизнью, — судьба, мучая ее, испытывая близких, одновременно анестезирует их; сам переход уже не кажется чем-то устрашающим и трагичным на фоне длящегося и длящегося тихого кошмара. Но он не хотел, он не просил подобного; ведь Екатерина Игоревна была не только его прекрасной дамой, как с иронической ревностью замечала мать, но и тем самым связующим корнем, который делал его собою, и вот ведь как вышло — одновременно с южной войной и агонией Е. И., что рубила по еще живому, этот корень начал засыхать и в его сердце.

Он перестал читать сводки и смотреть новостные стримы, оставил в избранном только сумасшедший канал лейтенанта Ворона, но и там то и дело проскакивали люди, отправляющиеся на войну, которая была затеяна, теперь он понимал, с единственной целью — так или иначе если не уничтожить, то отменить таких, как он; ту войну, зарождение которой он застал и в которую тем не менее никак не мог поверить. Лейтенант Ворон комментировал происходящее с самых жестоких, мизантропических позиций, и он был все более склонен соглашаться с нею... Нет, с ним — ведь это были и его мысли теперь, а его самого становилось все меньше, его едва хватало на простые действия: менять памперс, мыть,

кормить, возить в сад и тупить там в книжку на скамейке или лежать на траве рядом с инвалидной коляской, глядя в душное ленинградское небо середины лета, вызывая в памяти воспоминания, связанные с этой ныне беспомощной, выжившей из ума старухой, воспоминания, причиняющие боль, но оставляющие его, да и ее, живыми.

Вот их первая вылазка на соседнюю крышу какой-то дальней уже весной — бабушка знала все крыши в округе и выходы на них... в блокаду она сначала вместе с девчонками с завода тушила зажигалки, а затем пошла добровольцем в часть ПВО после того, как мужиков оттуда в очередной раз забрали и перекинули на позиции. Тогда ему впервые открылось это море крыш, город сверху, вместе со вставшими перед внутренним взором аэростатами заграждения в холодном небе над темным городом, эти-то пузыри во время операции Айсштосс, «ледяной удар», выпихнули из ленинградского неба сотню бомбардировщиков с истребителями прикрытия... Эта операция стала еще и днем рождения нашей армии, Ленинградской армии ПВО, — торжественно говорила Екатерина Игоревна, и он видел ее, даже не молодую пятидесяти-с-чем-то-летнюю бабушку, что бодро вылезала из слухового окна, страхуя оторопевшего мальчонку, а восемнадцатилетнюю девочку в комбинезоне и беретке, с биноклем в руках и противогазной сумкой через плечо... А было дело, один лейтенант у нас на аэростате улетел. На три километра... трос оборвался. Он долго держался там, стравил газ, но не повезло ему, упал в Неву между нами и немцем, те его из пулемета... храбрый был парень! Про ужасы окруженного врагом, голодом и лютой зимой города она не рассказывала ему, берегла, но он и сам чувствовал в лакунах меж фразами этот адский посвист. И старался думать о том, с чем может хотя бы попытаться совладать человек, о том, например, смог бы он на высоте в несколько километров карабкаться к болтающемуся в воздушных потоках шару по обрывку троса,

сдирая ладони, направлять его к дому; задача не из легких, но и то более посильная, чем выжить и остаться человеком в ледяной могиле, в которую превратился родной город, милый дом. Чуть-чуть не долетел... Они раньше много бродили с Екатериной Игоревной по городу, по всем его линиям — и вширь, и вглубь, с нею ему и открылось существование реальности сразу в нескольких, во многих временах; бабушка легко перескакивала с истории Кавалергардского полка на путь Раскольниковова к старушке-процентщице, затем — на утопление Распутина или, вот, любимую ленинградскую армию ПВО. В своих странствиях они ели булки с кефиром на скамейках во дворах или перекусывали пышками и кофе в многочисленных забегаловках, та, что на Конюшенной-Желябова, была лишь одной из многих, зато именно там им в свое время был выдан нагоняй Любовью Григорьевной; она шла с мужем в Филармонию и захотела поглядеть на сына, Данька тогда жил у Екатерины Игоревны, и бабушка неосмотрительно назначила встречу в пышечной... Он запомнил смущенного отца в морском мундире и Любачу, которая, краснея пятнами на лице, выговаривала Е. И. — не могли бы вы в следующий раз отвести внука в *нормальное* кафе, а бабушка, прямая и веселая, смотрела на невестку, по-птичьей склонив голову набок и слегка посмеиваясь. Пока они там разбирались, он успел умять штук пять пышек — три свои и две бабушкины; из-за них, собственно, и был сыр-бор. Потом мать с отцом ушли слушать Баха или Генделя, и он не видел их еще несколько недель, даже и не скучал особо — бабушкино воспитание, одновременно свободное и с нотками строгости, но неизменно учитывающее его достоинство, гонор — как говорила мать, легло на характер с непринужденной точностью хорошо пригнанной... формы? Родители были уже другими, оба; позднесоветская пришибленность сочеталась в них с нарастающей буржуазностью, перестроечное обращение ко всему до-октябрьскому выглядело, как

он теперь понимал, имитацией, причем имитацией не самого лучшего в старом укладе, которого оба не застали даже следа, знали из советских книжек и одобренной классики, как правило, настроенной критически, и потому механически воспроизводили Салтыкова-Щедрина и пьесы Островского о дремучей купеческой жизни; вот хотя бы его брак с Гвен, который столь радовал Любачу и при мысли о начале которого его до сих пор обдавало душной волной стыда. Ты, прямо скажем, немного можешь предложить такой женщине... поэтому веди-ка себя поскромнее! Но большее этой мещанской прямолинейности была деликатность Екатерины Игоревны, которая, кажется, все понимала про эту его историю, и лишь с грустью надеялась на то, что хотя бы внутри него не так все *грубо* устроено. Красные мифы из книжек его детства странным образом перекликались с бабушкиной старорежимной четкостью и грацией чувств, а вот советская школа, советские родители, мама в этой своей песцовой папаше, с одобренными гастролями по соцстранам, и отец с вегетарианским диссидентством были уже явно из другой сказки, между ними не пропасть была, а будто лужа, натекшая с чешских сапожек Любачи на коврик в прихожей Ворон-Батмановского родового гнезда. Она все время оставляла их там, даже заходя минут на десять, хоть Екатерина Игоревна и повторяла, что достаточно просто вытереть, тапочек все равно нет. А как легка на подъем была Екатерина Игоревна, как она удивилась, когда отец отказался от возможности пойти в кругосветку на гидрографическом корабле, никто теперь и не вспомнит почему, но она тогда высказалась в том духе — лучше бы я носила твой кортик... А Данька в свой последний до ее болезни приезд даже не нашел времени свозить ее куда-нибудь; только обещал — возьму, мол, машину, отправимся в Пушкинские горы или хотя бы в Выборг, где-то там в ее детстве Игорь Викторович снимал на лето дачу, бабушка любила эти места, скалистую уже Финляндию: замок на острове, шхеры, парк Монрепо.

Теперь-то все их путешествия — через речку и обратно, даже до Таврика приходится вызывать специальное такси; он толкал коляску по аллее Летнего в той части, что после реконструкции превратили в реплику Петергофа, когда на голову свалился тот самый Саня, мистер June. На дворе, впрочем, был July, переходящий в August, львиное время летних страстей, что на этот раз были мимо, совсем мимо него.

— Привет, мы тут неожиданно в Питере... идем по Троицкому с Петроградки в центр. Ты там не поблизости слушаем?

Батманов неслышно вздохнул. А где ему быть еще. Сашу и его прелестную маленькую жену он по-человечески любил и, наверное, был бы рад видеть, при этом заранее не очень-то радовался тому, что они увидят его. Что они увидят в нем. Но коварный мистер June не оставлял выбора.

— Я в Летнем с бабушкой, но мы вряд ли очень веселая компания, — честно предупредил его Данька.

— Ничего, мы тоже не в духе, нам серию завернули.

У них был семейный подряд — писательская пара, зарабатывали они в основном сценариями для телика и кино.

— Мы около Александра и Цезаря.

— Неплохая компания! А ты говоришь. До встречи!

Минут десять спустя он увидел их, шедших со стороны ворот к Неве, две фигуры — высокий, чуть сутулящийся Саша и его миниатюрная жена, которую он и звал Джун, так-то она была Женей, оба с почти одинаковыми рюкзаками, у Саши побольше, у Джун поменьше. Они когда-то познакомились в Оксфорде на фолкнеровском конгрессе, где Батманов подвизался *facilitator*'ом, то есть нянькой, при группе молодых русских писателей, приехавших в Штаты по одной из программ культурного обмена. Саша и Джун тогда были единственными из соотечественников, кто заинтересовался личностью странного экспата, Саня даже раскачал его на то, чтобы он показал им наброски «Макарова», после чего за-

метил — старик, да ты же пишешь лучше, чем большинство тех, кто сюда приехал в роли писателей... завидно даже, по-хорошему. Он и потом пытался как-то мотивировать Даньку на участие в литпроцессе, организовал ему пару презентаций книжки в Москве, но Батманов не вовлекся, писательская среда казалась ему до нездоровья герметичной.

— Ну, привет... Здравствуйте, — Екатерине Игоревне. Та смотрела на высокого человека, чуть склонившегося к ней, с детским любопытством.

— Екатерина Игоревна... Александр, Евгения... — сообщил всем Данька, вставая со скамьи. Бабушка кивнула и кокетливо протянула Сане ладошку в старческих пигментных пятнах, тыльной стороной вверх. Тот подержал ее птичью лапку со скрюченными пальчиками и галантно склонился ниже, бабушка просияла.

Ребята присели.

— Да, выглядишь ты неважно, — с мягкой прямоотой сказал мистер Юпе, заглядывая в его лицо.

— Да вот, стенокардия вернулась, нитроглицерином питаюсь, как аскорбинкой. Потряхивает постоянно...

Батманов посмотрел на свои ноги в разношенных уже мокалинах, с неопрятным заломом на правом, под женски приметливым взглядом Джун вспомнил, что уже две недели не подбривал бороду и наконец смутился.

— Невозможно за этим всем наблюдать, что происходит... но и не следить невозможно. Я сначала все смотрел — кто куда зашел, где обстреляли, но отсюда все равно хрен что поймешь, только расстраиваешься. Запретил себе новостную повестку... но тут начали всякие люди писать, в основном из К, я там кое с кем познакомился. Особенно после того, как самолет упал, я там поддержал петицию про бесполетную зону, они после этого как с цепи сорвались. Девушка одна... у нее был роман с моим французом, которого потом мертвым нашли. Все писала мне. Сначала хотела выяснить, что про-

изошло, но что я знаю, я же еще до Нового года улетел. Потом совсем с глузду съехала. Она бухгалтером работала на фирме на одной, с российским капиталом, так вот, в один день взяла и перевела все оборотные средства в фонд поддержки этой их войсковой операции. Написала об этом на странице у себя. Что вот, поборолась с захватчиками. Местные ее хвалили все, настоящим патриотом называли. Я сдуру-спьяну написал ей комментарий такой, ироничный. Напомнил о себе на свою голову. Она стала отвечать, назвала агентом гэбухи, обвинила меня в смерти Ренара, и что я его вовлек в варварский разврат. Я тогда прислал ей в личку сочинения маркиза де Сада, чтобы таким образом указать на корни традиции... Она пропала на неделю, а потом повесилась у себя на съемной квартире. Воссоединилась с Ренаром... черт ее знает, эту Аврору. С ума посходили они там все. Жалко ее ужасно. И ощущение все больше, что вокруг смерть, я его помню, это чувство сужающегося коридора... — замолчал, испуганно посмотрел на Екатерину Игоревну, что ж со мной такое, зачем об этом при ней. Но бабушка дремала. Солнечные пятна и тени от крупных листьев карликовых лип плясали на ее лице, с Невы прилетал легкий освежающий ветерок, прекрасный день, вроде бы.

— Да, ну дела... — протянул Саша. — Пушкин умер, Лермонтова убили, да и мне что-то нездоровится. Понимаю тебя, но ты заканчивай с такими мыслями.

— А что Гвен, Вера? — спросила Джун.

— В Грецию поехали, на яхте по островам. Может, потом сюда заглянут, но это не точно, она не то что дуется на меня, но как-то положила, похоже. Можно ее понять.

— Может, тебе на работу устроиться? Сиделку оплатишь.

— Деньги есть пока, Гвен продала дом и мой трак вместе с ним. Перевела мне... выходное пособие, — усмехнулся, не растягивая рта, только верхняя губа и крылья носа вздрогнули. — Я весной переговаривался с вузом одним, из модных, у них связи со Штатами, они хотели меня взять семинар ве-

сти... передумали потом. Неправильная у меня политическая позиция. Так вот черкнешь что-то в сети, потом одни в работе отказывают, другая вовсе вешается.

— Черт, Дань, ты меня пугаешь, — с легким осуждением сказала Джун.

— Я сам себя пугаю. Только вот не страшно уже. Пойдемте, я хоть вас обедом накормлю. А то готовлю, бабушка не ест почти, скоро сам в дверь проходить перестану. Когда готовишь еду, знаете, иллюзия контроля и гармонизации мира... Пойдем, а то что-то распизделся я... ой, — прикрыл рот кулаком. Екатерина Игоревна проснулась и посматривала на внука с выражением, будто не узнает этого чужого, слегка поплывшего фигурой и буйно заросшего кудрями и бородой почти сорокалетнего мужика. Они встали, собрались и медленно пошли по аллее к выходу на Фонтанку, Данька катил коляску, по лицу у него пробегали мимические движения, как бывает с людьми, в продолжительном одиночестве отвыкшими следить за выражением лица. Джун коротко положила ему ладонь на предплечье и успокаивающе кивнула. Он посмотрел на нее и улыбнулся, впервые за все время, что они провели в саду.

— *Vonjour sa va!* Это лейтенант Ворон, мы продолжаем наше путешествие по миру мертвых. Сегодня в древнем русском городе Пскове, здесь очередной фестиваль исторической реконструкции, они здесь с весны до осени проходят, можно даже сказать, что в теплое время года город населяют тени его старинных жителей... Вот, например, один из них, Вадим Андреев сын, ратник... времен осады города Стефаном Баторием, так?

— Так, — с улыбкой ответил Ворону статный молодой мужчина в темно-русой бородке и костюме шестнадцатого века. Батманову показалось, или реконструктор посматривает на Ворона с мягкой иронией? Лейтенанта, впрочем,

это не смущало, он махнул тонкой рукой, окольцованной перстнями, и продолжил выделяться. На Вороне в этот раз была темная свита чуть ниже колен на костяных застежках, маленькая средневековая шапочка с меховым окольшем и, неожиданно, тяжелые роговые очки.

Что-то новенькое, — подумал Батманов, располагаясь поудобнее у ноутбука с бокалом. Впрочем, новенькое лейтенант выдавал почти каждую неделю, за последние пару месяцев он говорил с викингами в Старой Ладоге и беседовал с добровольцами, отправлявшимися воевать на восток страны У, рассказывал про альбигойцев со стен Монсеюра, уморительно коверкая французский — Батманов тогда со смеху чуть не свалился со стула, интервьюировал готов на кладбище Александро-Невской лавры и поедал рыбу фугу в Киото, а затем еще и показал инсценировку сэппуку, рискованно обнажив забинтованную грудь и нежно-впалый живот; Данька неожиданно поймал себя на том, что ему неловко смотреть на это шоу, будто себя на весь мир демонстрирует кто-то очень близкий. Впрочем, куда ближе? В речи Ворона то и дело проскакивали его собственные словечки, байки, которые он рассказывал им целую жизнь назад, даже интонации... Артистизм и памятьливость Алевины были выше всяких похвал, ему было по-своему лестно, что он послужил таким благодарным материалом для ее артистического проекта, в конце концов, как говорила Джун, художник — это такая сволочь, которая тащит в свой мир детали жизни совершенно без зазрения, и надо позволять ему это, ведь он ворует их у тебя не только для забавы, но и, в идеале, для вечности. Такая вот теперь вечность, на ютубе, вечность длиной в неделю, до следующего обновления канала.

— Сегодня мы находимся на раскопе квартала кожевников XIV века и поговорим о башмаках.

Ворон потряс в воздухе кожаной заготовкой из тех, что грудой были навалены на длинных столах вдоль ямы в овраге.

Был сентябрь, археологи уже заканчивали работу, студенты у столов мыли и сортировали рядовые находки.

— Это вот заготовка для пулена, — сообщил Ворону и его зрителям Вадим Андреев сын. — Такие башмаки с длиннющими носами, которые нам известны в основном по Западной Европе, тем не менее мода на них не обошла и Псков...

— А может, здесь просто было налажено их массовое производство? Ну, как сейчас, когда кроссовки «Адидас» делаются в Китае?

Вадим усмехнулся. Аналогия ему явно не понравилась.

— Считается, что пулены в моду ввел Готфрид Плантагенет, у которого был некоторый непорядок с ногами. Когти росли или пальцев не хватало?

— Нарост на пальце, — поправил Вадим.

— А что вы скажете о том, что носком пулена, набитым паклей, рыцари на пирах доводили до оргазма дам, даже не поднимаясь из-за стола?

— Брехня, мне кажется... — реконструктор покраснел.

— А почему же тогда церковь называла эти ботиночки когтями сатаны?

— На колени вставать неудобно? — подлаживаясь под тон Ворона, предположил собеседник.

— А давай попробуем? — Ворон медленно, с какой-то даже торжественностью подмигнул в камеру темным подведенным глазом, план сполз на его ноги, на них были те самые пулены.

— Воспользуюсь вашей помощью, — пробормотал лейтенант и, споро перебирая руками по кафтану реконструктора, начал опускаться на колени. Зрелище было уже не просто неловким, а каким-то пугающе-неудобным. Встав в желтоватую сентябрьскую травку, он поерзал немного и заявил:

— Да нет, норм, стоять можно.

И внезапно заголосил фальцетом:

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое... Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя... Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну.

Реконструктор Вадим в испуге попытался поднять лейтенанта с колен, но тот крепко держался за полы его кафтана и не давался, тогда Вадим попробовал разжать его пальцы, но захват был крепок; он отступал, надеясь, что Ворон отцепится, а лейтенант полз за ним, камера цепко держала кадр, отврати лицо Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти; сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей... Да будет тебе, я не зляюсь давно! — беспомощно воскликнул наконец Вадим.

Вокруг раздавался то смех, то удивленные возгласы, но Ворон никак не реагировал на них, пока не дочитал полностью Пятидесятый покаянный псалом Давида, сочиненный царем после того, как он убил благочестивого Урию и вошел к жене его Вирсавии. Закончив, лейтенант поднялся, деловито отряхнул изящные ноги в плотных чулках, и на экране появилась заставка стрима: мультяшный ворон, что открывал клюв и каркал — en-chan-te!¹

Батманов проснулся за столом, лежа на нем грудью, плечами и головой; открытый ноутбук за ночь проиграл все выпуски лейтенанта Le Corbeau и теперь исполнял французскую средневековую музыку, рядом стоял пустой бокал из под вина с натекшим вокруг донышка багровым кольцом, под столом — опорожненные бутылки, счетом три, в памяти у него всплыл кающийся Ворон, но он был не совсем уверен, не привиделось ли ему это юродство, а пересматривать выпуск, чтобы выяснить, не только не тянуло, но было даже как-то ссыкотно — будто он сам имел непосредственное отношение к позору на раскопе. Он глянул на часы

¹ Очаровательно; также — рад встрече (фр.).

в нижнем правом углу экрана и вскочил с кресла — было полдесятого, он уже на полтора часа опоздал с бабушкиным туалетом. Вышел из кабинета, прошел через гостиную в спальню Екатерины Игоревны — бабушка действительно уже проснулась и посмотрела на него со своего ложа с видом оскорбленного величества. Сейчас-сейчас, — кивнул он и побежал за тазиком, полотенцами, нежным мылом для интимной гигиены, заодно прополоскал рот от неприятного вкуса, более подробно приводить себя в порядок времени уже не было.

Процедура сегодня была закономерно тяжелой; бабушка не капризничала, не пыталась оттолкнуть его руки, но лежала бревно бревном и самой своей упрямой неподвижностью мешала ему обрабатывать тело и менять белье — пока он подтирал и ворочал ее, сам весь взмок. А в самый деликатный момент принялась что-то мычать. Несколько раз переспросив, он наконец разобрал вопрос — *qui es-tu*, ты кто. Даней назвали, — усмехнулся.

— *Daniel n'est plus*¹, — с удивительной четкостью произнесла Екатерина Игоревна и отвернула лицо к стене.

Наезжая изредка в гости к маме, лейтенант Ворон удивлялся, как быстро и неумолимо растет город. Раньше, в её детстве, их семейная высотка, напоминающая донжон при крепости, стояла почти на самом отшибе. За их блоком еще пара домов, а дальше стихийная городская свалка, еще немного дальше — мутный и грязный залив. Роза ветров была такая, что частенько поддувало со стороны моря, тогда воздух был солоноватый и пахивал тухлыми яйцами, будто у какого-то великана испортился завтрак. В такие дни лейтенанту казалось, что и одежда её, и кожа, и волосы пропитались этими тяжелыми испарениями. По дороге в школу она приню-

¹ Даниэля больше нет (*фр.*).

живалась к себе, стараясь убедиться, что от одежды не несет. Только вот чайки, чайки всегда орали романтично.

Теперь на месте бывшей свалки вырос красивый микрорайон с домами бизнес-класса. Дорога, ранее заканчивающаяся безнадежным, мрачноватым тупиком, теперь продолжалась в прозрачную, солнечную, беловатую даль, пересекаясь летящими арками малой копии вантового моста. Как на иллюстрациях советских фантастических книг про светлое будущее и покорение далекого космоса. Глядя на эту перспективу, так и хотелось встать в красивую позу коммунистического космонавта и гордо щурить глаза на солнце.

Из окна маленькой маминой кухни, правда, всей этой красоты видно не было. Чуть наклонившись над подоконником, можно было увидеть крышу детского садика, новую игровую площадку и, чуть подалее, площадку с тренажерами, на которых крутились подростки и пенсионеры. Вдоль площадок по новеньким дорожкам прогуливались женщины с колясками. Очень много колясок. Лейтенант почувствовал, как сжимает грудь, и вернулся к столу. Мама рассказывала про новую управляющую компанию.

— Представляешь, Аль, то есть лейтенант, всё теперь делают, домофоны чинят, лампочки светодиодные в подъезде вкрутили, площадки вот детские... а еще и квартплата теперь ниже. Не то что те, наши прошлые крохоборы.

— Угу, — согласился Ворон. Крохоборы. В последние дни лейтенант ловил себя на том, что к нему возвращается здоровый, крестьянский аппетит. Но старался держать себя в руках. В гнезде, у Васи, это было не трудно. Максимум, на что его друг был способен — это заказать пиццу по телефону. Пиццу лейтенант как-то не жаловал. А вот от аромата маминой стряпни аж слюнки текли. А может, это Вероника приготовила? С нею такое случалось — наготовить, а потом раздавать всем, кому повезло пробегать мимо. Сестра и пле-

мянница вот уже два года как жили с матерью, Марфа здесь и в школу пошла — Олег, Вероникин бывший, был, в принципе, не против отдать жене и дочке полквартиры, только вот разменять однушку на Ропшинском шоссе не получалось никак, поэтому Олег там жил со своей новой женщиной, а Вероника и Марфа — с мамой.

— А как у вас дела с тем чудесным мальчиком? Васей ведь его зовут?

— А что с Васей?

— Ну... ты же понимаешь, Аль... То есть, товарищ лейтенант Ворон, — поправила себя Светлана Анатольевна. — Такие мальчики на дороге не валяются!

— Мама, — окрик Вероники из коридора, — не поддерживай ее в этом вороньем сумасшествии!

— А что? Как-никак, а работало же! В кои-то веки у нее отношения с хорошим, обеспеченным мальчиком. А вот ты, Ника, себя запустила! Поэтому я не удивляюсь тому, что Олег...

— Мама! Ты этого Васю в глаза не видела. Только на фотках вконтакте, на фоне тропических пляжей и автомобилей, — кипятилась сестра.

— Да! — мама скомкала красивое полотенце и бросила на разделочный стол. — Эти фотографии, между прочим, о многом говорят. Не то что ты с твоим Олегом, какую-то конуру третий год поделить не можете!

Вероника зашла в кухню, вздернув бровь, наблюдала, как Алевтина подкладывает себе пюре с котлетой. Слава богу. Она стала невообразимо тощей, и это ей не шло. Да еще и эти волосы, стриженные, выкрашенные в черный цвет, что делали бледную от природы кожу нездорово-сероатой.

— Надо жить в ногу со временем, — продолжала тем временем мать. — Аленька... э... товарищ лейтенант, хоть съездила в Таиланд, во Францию!

Вероника закатила глаза.

— Дорогая, не пора ли тебе куда-нибудь съездить... например, в табло, — грубо передразнила она мать. Светлана Анатольевна надеялась на новых внуков, но эти разговоры при Альке были запрещены, а помимо внуков мама надеялась на красивую жизнь. У Вероники с этим не очень получалось. Жизнь у нее была самая обычная, даже вот и без квартиры теперь. Да и машину который год поменять не получалось. А вот у Альки могло получиться. И с машиной, и с Васей — то есть, сначала с Васей, а потом уже, конечно, и со всем остальным.

— Отношения бывают разными, ты же знаешь, не будь ханжой, — говорила Веронике Светлана Анатольевна, — главное — это искренность чувств и заинтересованность друг в друге! Вот у Леночки дочка: чудесный, тонкий человек, знает три языка, французский в совершенстве...

Вероника кивнула и привычно отключилась. Знала она эту Леночку и ее дочку. Дочка жила между Францией и Москвой, работала в эскорте. Мама Леночка называла это интеллектуальной деятельностью, о да. Мама Светочка верила подруге. Часами выслушивала по телефону или по скайпу дочку Леночки и ее планы про то, как захомутать очередного зажиточного клиента. Они строили грандиозные планы, напоминавшие смесь передачи «Давай поженимся» с не очень качественным латиноамериканским сериалом. Мама ставила Леночкину дочку в пример обеим своим дочерям, но доставалось в основном Веронике, потому что Алька была лейтенант Ворон и ей все было более-менее по барабану, да и в семейном гнезде Ворон бывал нечасто. А Вероника все чаще срывалась и начинала кричать про элитных проституток, затем осекалась — при собственной-то дочери, прикрывала дверь в кухню и переходила на злобный шепот. Мама невозмутимо поправляла ее, что Надин — эй, ма, ну кем еще мог бы стать человек, которого родная мать называет Надин? — не проститутка, а куртизанка, тонкая натура с большими жизнен-

ными перспективами. Пфф! Держите меня семеро! Как такие вещи укладывались в голове у бывшего советского инженера и комсомольской активистки, какой Вероника еще помнила Светлану Анатольевну, ей было не понять. Раньше, до лейтенанта Ворона, Алька ее в этом полностью поддерживала. Лейтенант же Ворон просто молчал. И наворачивал пюре. А потом улетал со своим Васей на французский юг, на Шпицберген или в Ростов, или куда там они еще летали. Как птицы. Как вольные птицы, не нуждающиеся в деньгах, которых у Васи было до фига. Вероника поглядывала на сестру, то есть на французского лейтенанта с большими жизненными перспективами, и повторяла про себя пословицу, услышанную на работе применительно к стране У: сумасшедший-то он может и сумасшедший, но в борщ себе не насрет.

Сцена покаяния лейтенанта Ворона поселила в нем какую-то новую, дополнительную червоточину, будто этот сюжет имел к нему большее отношение, нежели обычно, будто он не был уже просто материалом для Алькиного проекта, но был связан с ним глубже и больше. Это подействовало; Даниил Андреевич наконец испугался, он ведь не имел права исчезать пока, он еще не провел самого дорогого своего родича по отрезку предсмертного пути, как сказал бы Ворон... Теперь он поставил за правило неуклонно сокращать дозу выпитого вечерами, полностью запретил себе соцсети и, вдобавок — стрим Ворона, и взялся за диалоги для глупого криминального сериала — работа, которую подкинули ему Саша и Джун, а вот сегодня встречался с редактором нового шоу, очередной адаптации очередной американской мистики для российского ТВ, глаза бы мои ее не глядели, будто своей дури не хватало, и так муть в голове, отрезок предсмертного пути, проводник меж мирами, бабушка с Анной Егоровной сейчас, но медсестру надо отпустить к пяти, она должна сегодня забирать внука из садика, у них уже образовались почти

семейные отношения, иной раз она приходила к ним с маленьким Тимошей или даже оставляла его с Данькой, такая, видно, у него судьба, с чужими детьми нянчиться.

— Ну, понятно все? — девочка-редактор, сидевшая напротив, вывела его из задумчивости. Они встречались в знаменитом ленфильмовском кафе, могли бы и где-то еще, редакторша приехала из Москвы, но Анфисе, кажется, нравилось пока играть в киношницу. Молодая еще, лет двадцать шесть — двадцать семь, прикинул про себя Батманов. Айфон, макбук, планы когда-нибудь переехать на родину любимых гаджетов. Не то что он, балбес: в обратном направлении.

— Да чего уж непонятного, — кивнул он, — передрать штатников в ноль, как обычно.

— Да, вот пока так у нас, — немного обиделась редакторша, — но надо же учиться... на образцах!

Так себе образец, второразрядное шоу про призраков в кампусе маленького южного городка вроде миссисипского Оксфорда. Из-за знакомства с натурой его и порекомендовали на этот проект, и только после предварительного обсуждения выяснилось, что русскую версию будут снимать, скорее всего, даже и не в Петербурге, как планировалось поначалу, а в Москве, и главная героиня, в оригинале — девушка из небогатой религиозной семьи «библейского пояса», у нас будет дочерью олигарха. А почему не президента? — спросил тогда он. Президента нельзя, на полном серьезе ответила Анфиса. Никакой политики, только красивая жизнь и немного волшебства, люди у нас такое любят. Откуда тебе знать, что любят люди, — подумал он тогда, но промолчал, работа нужна все же, хоть такая, отправить голову в отпуск, сначала свою, потом зрителя.

— Хорошо, — покорно сказал он. — Будем учиться. Не возражаете, если выйду покурить? Взять вам еще кофе?

Он спустился по лестнице в обширный коридор-кишку, где помещались двери в съемочные павильоны, прошел его из конца в конец и открыл дверь во внутренний двор сту-

дии, где среди зданий постановочных цехов росло несколько деревьев и стоял монумент студийцам, что не вернулись с последней большой войны. Был уже конец ноября, время — начало пятого, и без того полутемный двор затопили влажные сумерки. Данька скрутил себе папиросу с ванильным табаком, к которому пристрастился на родине, прошелся по двору, мягко ступая по слегка схваченной морозцем грязи, по тихо хрустящим палым листьям на небольшом газоне у памятника. Впереди было здание костюмерного цеха, куда он сунулся из любопытства в один из своих прошлых визитов. Интересно, — подумалось ему, — Смирнова для своих шоу здесь костюмы берет, или ее друзья-реконы снабжают? Он внезапно представил, как она бы вышла из цеха с какими-нибудь балахонами и военной формой в аккуратных чехлах, настолько зримо, что оживленное сценарной работой воображение передало ему ощущение этого свидания. Внутри все замерло — сладко и чуточку нервно, и Батманов понял, что не просто хотел бы этой встречи, но — что она рано или поздно произойдет.

День его рождения в середине декабря выдался с погодой совершенно лондонской — будто привет от его космополитического семейства. Впрочем, Гвен и Вера сейчас были в Штатах, готовились к Рождеству в доме миз Иды, он тоже должен был лететь туда через неделю, договорились, что Анна Егоровна отпустит его на десять дней до Нового года. Так что все поздравления — по заокеанскому времени, вечером. С чем поздравлять, правда, не совсем ясно, но детское ожидание чуда почему-то не исчезало. Накануне он прибрал квартиру, готовить особо ничего не стал, хватит жрать уже, сделал только тефтели с расчетом на Екатерину Игоревну и мелкого Тимофея, малыш любил их, особенно после того, как он посадил его на истории про Карлсона; Анна Егоровна накануне так тонко выясняла его планы и намерения, что он был

почти уверен — они собирались нагрянуть в середине дня. Так и случилось — медсестра пришла с внуком и тортиком, они сели за стол, съели тефтели, съели торт, выпили немного вина и портвейна, который Анна Егоровна предпочитала остальным алкогольным напиткам. Медсестра расчувствовалась, на прощание расцеловала Батманова, а Тимофей даже предложил подарить дяде Дане свой водяной пистолет. Он уложил бабушку, которая немного приустила за торжеством, посидел еще за неубранным столом, попивая вино и отвечая в интернете на поздравления далеких друзей, и, решив сделать себе поблажку, в первый раз за пару месяцев зашел на канал лейтенанта Ворона.

А-шан-те! — привычно кричала птица; обновлений не было уже пару недель, зато висел короткий рекламный ролик, сбаванный, кажется, из всей возможной милитарно-готической анимэшной клюквы: летящие над большим и мрачным городом черные птицы, симфонические завывания, фигура спиной к зрителю на высокой крыше, в галифе и черном развевающимся пальто под британского Шерлока, и объявление загробным голосом: лейтенант Ворон в свой день рождения прилетит на улицу N, welcome home, вход донейшн, готовьтесь к неожиданностям! Вот тебе и чудо в перьях, — подумал Данька, обалдело перемещая пальцы по тачпаду, — many happy returns.

Он посмотрел на время — без четверти восемь, через пятнадцать минут лейтенант Ворон прилетит в квир-барчик на соседней улице, куда весной водила его Грабовская. Заглянул к Екатерине Игоревне. Бабушка спала, дыхание было ровным, даже щеки слегка розовели. Он поправил подушку, придвинул к кровати банкетку и оба кресла, чтоб невзначай не свалилась, поменял футболку, надел любимый зеленый свитер британских ВС с налокотниками и пальто — не такое красивое, как у Ворона, но тоже черное и английское, взял перчатки, зонтик и вышел из квартиры.

В баре полумрак, играет нестареющий постпанк, публики уже порядочно, Алевтины, то есть лейтенанта Ворона, пока не видно. Ну, понятно, надо потянуть ожидание для пуще-го драматизма. Батманов кинул пару сотен в полевую сумку со знаком доллара, что висела у входа, взял себе дринк и присел за столик в дальнем углу. Гости перемещались по залу, большинство, казалось, были знакомы друг с другом, примерный возраст — в районе двадцати пяти, моложе его и даже, пожалуй, помоложе лейтенанта Ворона. До него почему-то только сейчас дошло, что Алевтине уже тридцатник. Впрочем, какая блади разница, в этом мире кидалтов все равны до сорока, а то и пятидесяти. Заиграла бодрая песенка Bauhaus с ударением на слабую долю, он внутренне радостно подтянулся, поймав себя на том, что ожидает явления героя вечера, словно ребенок — Деда Мороза с персональным подарком.

Погас свет, хлопнула дверь, затопали ноги, что-то упало, кто-то охнул, девушка вскрикнула в испуге... Резкий голос скомандовал: всем оставаться на своих местах! В мелькании света подствольных фонариков стали видны фигуры людей в камуфляже и масках, вертящие туда-сюда стволами автоматов. Батманов невольно положил руки на стол, чувствуя, как скакнул адреналин. Но уже в следующую секунду разглядел, что стволы страйкбольные. В баре звучали испуганные голоса, «менты» распахивали посетителей по стенам. Он тоже с готовностью поднялся, встал в позу морской звезды и позволил похлопать себя по туловищу, краем глаза заметив, что брошенное на спинку стула пальто соскользнуло на пол, а зонтик неловко смахнул под стол один из артистов, вот с вещами не додумали ребята, как бы не пропало что в суматохе, Впрочем, наверное, кроме него, все свои... Обыскав народ, бойцы посадили публику на пол в центре зала, сами заняли места по периметру. Снова заиграла музыка, хлопнула входная дверь, над ней еще звякнул колокольчик. Данька из-за

плеча посмотрел назад, ближайший боец тут же ткнул его стволом — слегка, лишь символически обозначив возможное насилие. В бар вошел лейтенант Ворон, но не в обычном своем бушлате или новом черном пальто, а в чертовски знакомой длиннополой шинели, галифе, берцах и кепи, которое он снял в дверях, отряхнув с козырька уличную морось. Форма Дружины. Бойцы по стенам замерли как статуи, словно не замечая новоприбывшего. Ворон прошел мимо сидящих на полу людей, мимо бойцов к маленькой низкой сцене, и остановился там. Музыка становилась все более печальной и гипнотической, зазвонил колокол: *Undead, undead, undead...* Все наши мертвые восстанут, — сообщил какой-то новый участник группы *Vauhaus*. Все наши павшие поднимутся. Все, кого мы упустили, как лед меж пальцами. Как мыло в армейской по-душевой. Они выскочат из решетки слива и скажут — привет. Мы выдернем их своей надеждой. Движением легких — *un-dead!*.. Задержанные между тем сидели тихо: несмотря на то, что карнавальность действия не могла уже не быть очевидной, Батманов чувствовал всеобщее напряжение, люди даже дышали будто через раз, многие пригнули головы. Ворон стоял на полутемной сцене, оглядывая зал. Наконец заговорил.

— У меня день рождения сегодня. И я могу сделать себе подарок. Я могу вывести отсюда одного из вас. Но только одного.

Пауза. Шаги по сцене — в одну сторону, в другую.

— Сейчас я обойду зал, и каждый из вас скажет мне, почему это должен быть именно он. Или она. Подумайте хорошенько. От этого зависит... всё. Почему я должен вывести именно вас.

Лейтенант подождал немного, будто давая людям время на осознание, и медленно пошел по залу, наклоняясь к каждому. Полы длинной шинели колыхались; когда лейтенант приблизился к нему, Батманов ощутил аромат знакомого пар-

фюма, которым сам увлекался по юности. Этот запах словно включил в нем что-то давнее с куда большим эффектом, чем все это доморощенное маски-шоу, он почувствовал знакомый холодок в животе и будто проваливается куда-то вниз, одновременно задыхаясь и понимая, что забыл дома свой нитроглицерин; он опустил голову и несколько раз ритмично вздохнул, как его учил терапевт, что когда-то убирал ему пост-травматик, вокруг люди говорили что-то с претензией на глубину или оригинальность, уже расслабившись в присутствии любимого артиста; Данька не вслушивался. Когда лейтенант коснулся накладки на его плече, он просто выдохнул в очередной раз и сказал первое, что пришло в голову: ты не должна.

Спускаясь с небольшой сцены, где после театрализованной части вечера объявлял гостей-музыкантов, лейтенант Ворон чувствовал легкую вибрацию, проходящую через все тело. С непривычки к живым выступлениям перед публикой, на которых-таки настоял его друг и теперь еще и продюсер Василий, эта вибрация ощущалась как послевкусие от удара током. Когда тело потряхивает, но не поймешь, болезненно или, наоборот, приятно. Клуб был полон, но лейтенант легко пробрался к бару, отвечая на приветствия знакомых реконов, которые уже сняли маски и отставили стволы, и на улыбки кое-каких постоянных поклонников его героя. На стойке его ожидала традиционная стопка. После шоу ему это было необходимо. До — никогда. Резко запрокинув голову, хлопнул беленькую, дергая горлом в том месте, где должен быть кадык. Тепло растеклось под кожей, ослабляя вибрацию. Образ лейтенанта дернулся и замерцал, как мираж над водой. Алька упрямо тряхнула головой, возвращая Ворона на место.

— Ты как, в порядке? — подошел Вася. Ворон развернулся от стойки всем корпусом, кивнул.

— Все отлично. Пойду отолю. Скрути мне папиросу. — Лейтенант сжал плечо Шадрина, плавным движением поднимаясь с барного стула. Все действительно было в порядке, нервное электричество постепенно отпускало... если не считать, наверное, легкого заусенца от какой-то детали во время первой части шоу. Один из зрителей едва не сбил его, обратившись в женском роде. Те, кто обычно приходил на выступления Ворона, хорошо знали, что это запрещенный прием, лучший способ вызвать неудовольствие кумира, и воздерживались, а откровенных недоброжелателей или провокаторов пока не было в их кругу, ну или Вася как-то с ними объяснялся, она не знает... Вот, опять она! Кто же это был? И голос такой... приятный, не сказать, что хейтерский. Жалко, если хейтер. Внешности сказавшего она не помнила не только потому, что было темно, но и поскольку лейтенант постарался поскорее пройти мимо этого гостя, не глядя, ваясь, не задерживая внимание, будто его и не было вовсе, этого — ты не должна. Будет еще мне указывать, — накручивал себя Ворон. Какое им всем дело. Все-таки не все было в порядке. Нет. И надо же, что именно в этот вечер, такой особенный вечер его дня рождения.

Подойдя к даблам, он уверенно выбрал тот, где треугольничек на двери был повернут основанием вверх. Еще один плюс лейтенанта Ворона — никакой очереди в сортир. А вот Алевтине пришлось бы постоять, ожидая под дверью. Словно подтверждая его мысли, в женском туалете звонко засмеялись несколько голосов. Уверенно дернув на себя дверь с правильным треугольничком, стремительно двинулся мимо раковин в сторону кабинок, но замер, сбитый взглядом через зеркало. Обернулся. Привычно. Всем корпусом. Чувствуя, как лейтенант Ворон остается за спиной, словно оторванный от нее этим резким движением. Челюсть дернулась в попытке что-то произнести.

Взгляд на нее через немного волнистую ртутную поверхность зеркала. Человек смотрел, как всегда, немного сверху,

с еле различимой улыбкой. Будто ожидал, что она сейчас скажет что-то задиристое и смешное и ему надо будет в очередной раз... снизойти. Лицо блестело от капель воды, он выключил кран и выдернул пару бумажных полотенец. Вытер руки, лицо, отряхнул недлинную бороду. Надел очки, лежавшие на бортике раковины. Сердце глухо бухнуло в груди. Сейчас обернется, и. Но нет — на стекла попала вода, он снова снял очки и принялся вытирать их рукавом оливкового армейского свитера, все еще стоя спиной. Пауза затянулась.

— Ну, привет. Товарищ лейтенант, — усмехнулся, глядя на нее через зеркало. — Думаю вот, взять автограф... или все-таки дать? — приподнял бровь, пересеченную рубчиком давнего шрама, и наконец обернулся к Альке.

Она глотнула непослушным, как при внезапной ангине, горлом, почувствовав, что все-таки ошиблась дверью, глухо пробормотала, — извините, — и выскочила обратно в шумный коридор.

Застыл, ловя на себе взгляды публики. Все видят, как сползает с нее маска. Личина. Защита. Да нет, этого же не может быть. Резко развернулась, метнувшись обратно, и на финальном движении звонко получила в лоб распахнувшейся дверью.

— Факин шит! Алеветина, прости! — Даниил Андреевич подхватил ее за локоть, аккуратно прислоня к стене напротив: — Очень больно? Не каждый день бьешь себя самого по лбу... — короткий смех. — Ладно, ладно, не буду. Иди, там никого нет. Я понимаю, ты в образе, тебе полагается... Хочешь, посторожу?

— Этого еще не хватало, — пробормотал лейтенант Ворон. — Да и какая разница, там все равно кабинки.

— Ну да, верно. Я у стойки буду, подходи, поболтаем. Рад видеть, кстати... — светски кивнул он и взял со стула за ближайшим столиком короткое черное пальто и зонтик. Глядя ему вслед, она заметила, что он прихрамывает.

Вернувшись в тубзик, она застыла у зеркала. Где удивление от случившегося чуда? Ведь это чудо, правда же? Она смотрела на свое отражение, и оно казалось ей все более нелепым, она не могла не сравнивать его с другим, тень которого будто еще присутствовала на поверхности, похожая на... самурайского генерала в исполнении Тосиро Мифунэ, фильм «Скрытая крепость» — 1958, режиссер Акира Куросава, Вася задолбал ее лейтенанта японским кинематографом.

Он изменился. И не изменился вовсе. Те же резкие брови вразлет, глаза с раскосинкой. Лицо стало как будто шире и мягче, плечи более покатые, потяжелели. Еще из-за этого силуэт такой самурайский. Может, ей показалось? Может, это не он? И еще у него борода. Идет ему. Сейчас многие носят, модно. О чем ты думаешь? Тебе борода не светит, кончита вурст. Надо действительно отлить и возвращаться. Вдруг он не дождется, уйдет? Где искать тогда? Ее подкинуло страхом. Она быстро метнулась в кабинку, обратно, вымыла руки, осторожно ополоснула лицо, чтобы не потревожить грим, сдула со лба вороную челку и решительно вышла в зал.

Даниил Андреевич сидел у стойки боком, покачивал оджинсованной ногой и болтал с барменшей Криссей, в борде иногда взблескивала улыбка, локти лежали на стойке. Он действительно потяжелел, даже несколько оплыл с возрастом, появилась такая... монголоидная тюленистость, но при этом грация и упругость движений никуда не делись, вот подогнул ногу на перекладину стула, привстал, словно... на стременах, указывая подбородком на какую-то бутылку. Она уже стояла рядом и чувствовала легкий аромат ванильного табака, шедший от него. Мужики почему-то часто любят с ароматизаторами, — отметила. Она курила чистый.

— Твоя папироса, — сказал из-за ее плеча Василий.
Даниил Андреевич обернулся на голос.

— А, вот и ты! Хотел угостить тебя... в честь нашего дня рождения, — снова улыбка. Тема явно его веселила. — Или пойдем покурим сначала?

— Как хоти... как хочешь. Ты гость. И мы тоже хотели, но подарка у меня нет. Познакомься, это мой друг Василий, он тоже участвует... в проекте.

— Deal, следующий круг с вас, — кивнул он, протягивая Васе ладонь для рукопожатия. — Даниил... Батманов. Так что на Ворона у вас, считай, монополия теперь. Аля, кончай напрягаться, я вовсе не против... ты как художник имеешь полное право высосать кровь из любого, кто пробежал мимо. Из меня в том числе. Мне нравится ваш канал. Я только про покаяние не понял, все же... — сдвинул брови, — подобные практики, молитва... дело серьезное, я бы не стал просто так.

Алевтина даже не успела ничего пояснить, как он быстро добавил:

— Впрочем, не мое дело. Ты будешь пастис? Анис любишь? В Провансе вы были, я видел, не могли не попробовать. Три пастиса, Крися, будь добра... Воду и лед отдельно.

Они взяли пастис и пошли покурить, это он предложил, почему бы и нет, два удовольствия сразу.

— Не ожидала вас увидеть, — призналась она.

— На то и был расчет! Эй, мы вроде на «ты»?

Она посмотрела искоса. Он явно не подозревал, до какой степени не ожидала. За время ее выступления за бортом резко похолодало, кругом все еще было черным-черно, но с неба вместо водяной мороси летел мелкий искрящийся снег, придавая ночи, действительно, праздничность. И даже обещание, будто и впрямь скоро Рождество, и для нее теперь тоже. Она так много хотела ему сказать, что не говорила ничего, к тому же и Вася торчал рядом, будь он неладен. Они с Батмановым, — все же это был он тогда, на той несостоявшейся литературной встрече, с тоской подумала она, чувствуя, что

ее до головокружения затягивает водоворот прошлого, — так вот, они с Васей болтали о какой-то ерунде, кажется, Даниил Андреевич делился своими впечатлениями от их квеста, что слишком быстро, мол, понятно — бойцы липовые, потом у него заиграл телефон, — простите, жена звонит, — сказал он, отошел в сторону и заговорил по-английски. Она старалась не вслушиваться, но не могла не уловить, что в интонациях была одновременно и мягкость, и напряжение. Докурив, они с Василием зашли обратно, но, подойдя к стойке, она сразу взглянула на то место, где он сидел — пальто взял, но зонтик висит на крючке под столешницей; значит, еще вернется. Батманов действительно зашел спустя минут пять, взял зонтик, потом направился к ним; она наблюдала краем глаза, вытянувшись в струну.

— Мне уже надо идти, но угощение за вами... Я здесь недалеко, как-нибудь увидимся.

Он посмотрел на Алевтину, что-то в ее лице заставило его задержать взгляд.

— Или в гости заходите. На Рождество я в Штаты, но потом вернусь. Заходите в Новый год, или на каникулах. Запишешь номер?

В гнездо на Морской набережной они поехали большой компанией. У Васи было припасено кое-что для вечера, но лейтенант Ворон на этот раз отказался от вещей, только слегка подкурился, чтобы хоть как-то сбросить нервную дрожь. Гости долго гомонили в зале, так что Василий лишь под утро, проходя мимо комнаты лейтенанта, прислушался и понял, что за дверью раздаются тихие, похожие на клеткот рыдания. Не будь он под наркотиками, постеснялся бы, но сейчас осторожно отворил дверь спальни и вошел. Ворон лежал на кровати одетым, лицом в подушку, спина тряслась. Эй, эй, — прошептал Вася, — ну что ты? Скажи, что... Скажи мне.

Ворон затих, но потом снова будто закашлялся.

— Это бывший твой был? Эта скотина демшизовая? Скажи только, наваляем ему, — решительно предложил Вася.

— Нет. Нет, — глухо, в нос. — Это знакомый один. Между нами... ничего не было никогда, — сказала Алька и только тут поняла, что это, пожалуй, правда. И зарыдала уже в голос, по-женски неостановимо. Вася вздохнул, прилег рядом и обнял ее за худую спину. Так они и заснули.

4. К берегу

Во второй половине декабря было много выступлений, они погоняли в нескольких кабаках квест с маски-шоу, также Ворона приглашали вести вечера сетевых поэтов. Он вошел в моду. Вася с удивлением сказал лейтенанту, что они начинают неплохо зарабатывать на этом проекте; в основном, конечно, на интернет-рекламе, но и офлайн сборы тоже растут. А она поймала себя на том, что начала относиться к происходящему иначе. Причем не постепенно, а как отрезало. Теперь это было шоу. Она стала тренировать Ворона перед зеркалом; то, чего никогда не делала раньше. Она попыталась примерить Данькину легкую хромоту, но поняла, что она не идет персонажу — он должен быть не ближе к прототипу, а дальше от него. Так ее Ворон пошел развинченной широкой походкой и начал гримасничать, еще она придумала рисовать ему одну бровь чуть выше другой (это было все же немножко от Даньки, ну да ладно, с него не убудет). А еще она считала дни до Нового года и читала его фейсбук. За все те годы. Вскоре ей казалось, что она знает его жизнь лучше, чем он, и может сдать по ней экзамен. И каждое утро она повторяла себе: он приедет через неделю... четыре, три, два дня. И вы станете друзьями, как и должны были — такая мантра, такая судьба. Она слушала музыку зайдеко, найдя по ссылке ансамбль его матери и отчима, она учила американские ругательства, которые он пару раз допустил в речи,

единственное, чего она не позволяла себе — заходить на странички его жены и дочери (у него не было статуса о семейном положении, но по фоткам все было, в общем, понятно). Это только его, личное. Одно, чего она не смогла не отметить, — что Vera Holland Batmanov не могла быть его кровным ребенком, ей было семнадцать, она помнила его с двадцати трех, и никакого ребенка у него тогда не было. Но девочка была невероятно, поразительно на него похожа, и она не могла не почувствовать к ней симпатии; а вот Гвен ей не понравилась — холеная самоуверенная тетка из тех, какой она никогда не была и не будет.

Наконец настало тридцатое декабря, когда Батманов должен был вернуться в Ленинград. Она думала позвонить ему тем же вечером, но потом вспомнила про свой японский джет-лаг и решила отложить до завтра. В конце концов, беды не будет, если мы попросту закатимся поздравить его вечером тридцать первого. Или их. Наверное, он будет с семьей. Что-то внутри сжалось, но она заставила себя встряхнуться. Ты не могла мечтать и о том, чтобы снова его увидеть и разговаривать с ним: не жадничайте, товарищ лейтенант.

Накануне, тридцатого, у них снова было выступление, после они катались по городу и к утру еще были не совсем трезвы. Но во второй половине дня Вася сел за руль, и они поехали тусоваться, по дороге слегка освежаясь порошком. Где-то ближе к десяти она набрала Даниила Андреевича.

— Да, — раздался в трубке знакомый голос, — заходите, конечно. Я даже ёлку притащил, — смешок, — правда, не нарядил пока.

Они еще немного помотались по округе, выпили в паре баров, Вася бросил машину, и к одиннадцати подошли с настоящим французским шампанским и мандаринами по указанному адресу. Заходили с Фонтанки — можно было еще с Пестеля-Пантелеймоновской, но получилось так. Полу-

круглая арка была изукрашена лепниной, впереди сверкал освещенный двор. Затем еще один, с сумрачными заснеженными деревьями. И последний, с машинами полиции — здесь располагался то ли суд, то ли прокуратура. А вход в Данькино родовое гнездо был под очередной аркой, в колодце — узком, как шахта лифта. Лестничные окна, впрочем, выходили в человеческое пространство — двор с просветом в улицу и ангелами на карнизах. А через огромные окна пустующей квартиры напротив была видна красная Пантелеймонская церковь.

Они позвонили в дверь. Хозяин открыл, сбрасывая фартук. Если не считать фартука, выглядел он как-то даже слишком формально: классические брюки, сизая рубашка в частую полоску, шейный платок. В холле стояла большая пушистая сосна.

— Это же не ёлка, — не смог удержаться от смеха лейтенант Ворон.

— Если идешь на базар утром тридцать первого, выбирать особо не приходится, — сердито ответил Данька, но тут же исправился в легком полупоклоне: — Проходите, пожалуйста. С наступающим. Шампанское на лед...

Они прошли через кухонный чад — в этой странной квартире холл выходил сразу к плите, и по небольшому коридору попали в гостиную. Это была большая, пожалуй, даже очень большая комната с пылающей ампирной голландкой в одном конце и обширным окном во двор с ангелами — в другом. У одной стены стояло фортепиано, у другой — застекленный шкаф ар нуво с книжками, посредине — круглый стол с венскими стульями, у окна — две симметричные оттоманки и ломберный столик, у печки — два английских кресла и чайный, а на каминной полке — реплика античной театральной маски. На стенах висели портреты, фотокарточками также была заставлена и верхняя крышка пианино.

Стол накрыт белой скатертью, посредине ваза с фруктами, приборы, более пока ничего. У стола в инвалидном кресле сидела худощавая разодетая и покрашенная старуха в позе королевы Британии и обеих Индий. Или императрицы Всероссийской, чего уж там, — шепнул ей Вася. Они поздоровались с величественной бабкой, но та ничего не ответила, лишь пожевала губами, пустив нитку слюны из угла расслабленного рта.

— Вы присаживайтесь, пожалуйста. Выпьете вина для начала? — раздался голос хозяина. Одновременно прозвенел звонок в холле. Послышались голоса. Батманов принес вино, лейтенант с Васей присели у печки. Старуха так и взирала на них с невозмутимостью статуи, капая на кружевной воротничок платья. Вскоре в гостиной появилось шумное семейство — супружеская пара, молодая бабушка и ребенок. Мальчик сразу подошел к Алевтине и сообщил, что его зовут Тимофей Дмитриевич Коновалов. Хорошо, — согласился лейтенант Ворон, обласкав ребенка. Тимофей Дмитриевич убежал к столу, мать почистила ему мандарин, по гостиной поплыл терпко-сладкий запах, смешиваясь с легким смолистым чадом пылающих дров, с духами гостей и впитавшимся в обои ароматом ванильного табака.

Батманов принес ведро с шампанским, женщины помогли с закусками. До полуночи оставалось около получаса, гости начали скромно есть, болтать и поздравлять друг дружку. Даниил Андреевич положил королеве обеих Индий жульен и помогал ей есть с ложки. Старуха роняла кусочки на салфетку-слюнявчик, Даниил Андреевич вытирал ей губы, играла тихая музыка. Примерно так же обстояло дело с Тимофеем Дмитриевичем, что сидел на коленях у мамы, полноватой брюнетки с ямочками на щеках, и время от времени шумно плевал попавшуюся в крупном гибридном мандарине косточку на крахмальную скатерть.

— Слушай, — наклонился Вася к лейтенанту Ворону, — поехали отсюда, а? Хоть куда. Хоть в «Вокзал». Нет же сил смотреть.

Алька издала гортанный смешок и незаметно кивнула.

Они незаметно выскочили в коридор, оделись и побежали. Еще на лестнице Вася вызвал убер.

— Как встретишь год, так его и проведешь, — комментировал он в машине. — На хрена нам эта богадельня, так?

Лейтенант Ворон промолчал. Он был рад, что они смылись со скучного вечера, но прямо сейчас набивал Батманову эсэмэску: «С Новым Годом! Спасибо за аперитив!»

«Вокзал», или просто Зал, самый большой гей-клуб города, был, понятное дело, битком, но их пропустили — у Ворона здесь были свои поклонники, Вася даже обсуждал вариант выступления в этом заведении. Строго говоря, Зал нельзя было назвать классическим гей-клубом, большая часть его помещений — баров, ресторанных площадок, танцполов, и даже зальчик со сценой и амфитеатром были открыты для самой разнообразной публики, и слетались сюда в основном не люди лунного света, а пьяные натуралы в поисках пикантных ощущений. Начав новый год в Зале под сладкий синти-поп, в окружении снеговиков в меховых трусах, Вася и Ворон не успокоились, а поехали далее, по более оригинальным местам, цепляя к себе случайных соразвратников, словно снежный ком в теплую погоду. Вынырнули из своего трипа они только через пару дней; Ворон очнулся на пушистом ковре в Васиной гостиной в окружении каких-то тел от ощущения, что ему что-то объяснили во сне. Он пошел полежать в ванную, и только там, скинув несвежую форму и прикрыв глаза в любимом джакузи с гидромассажем, понял, что ему снилась та самая величественная старуха, только не такая, как сейчас, а много лет назад, в Данькиной петергофской квартире, она смотрела на них с Мишей этим их фамильным нежно-снисходительным взглядом и поясняла, что у их

Даниила Андреевича есть бабушка. От этого воспоминания Альку затопил такой жгучий стыд, что она даже погрузилась в ванну с головой и какое-то время булькала там вместе с гидромассажем, пуская в теплую воду беспомощные пузырьки. Выйдя из ванной и отыскав свой телефон, она нашла там множество забитых по улету новых контактов, — какие-то Лисы, Мурзилки, Pidarok_v_poloso4ку, Кот... Что за Кот, сутенер, что ли? — а также ответ от Даниила Андреевича, что пришел ей наутро первого числа: «Спасибо что зашли, но идея вштыриться перед этим была не очень. Вон аппёе!»

Стыдиться дальше ей уже было некуда, она только вяло подумала, что идея дружбы с ним, похоже, проваливается — она снова творила какие-то глупости, он снова снисходительно ее поучал. Как и не было всех этих лет. Как не было.

Невозможно было не опасаться того, как он примет ее общество после их новогоднего явления, поэтому лейтенант Ворон решил взять паузу; поздравив Батманова с православным Рождеством, в гости напрашиваться на этот раз не стал, тем более что даже и в ясном сознании ощущал — все-таки было в наряженной, словно кукла, при этом явно давно находящейся отчасти в мире ином бедной Екатерине Игоревне что-то жуткое, напоминающее популярные на заре фотографии изображения разодетых и помещенных безутешными родственниками в жизненные позы покойников. Он не был уверен, что готов так скоро повторить испытание этим зрелищем.

При следующей их встрече в последних числах января, когда они с Васей пригласили Даниила Андреевича выпить отложенный круг в честь уже ее, Алевтины, дня рождения, — ради такого дела она даже в первый раз более чем за год надела пусть и андрогинную, но вполне человеческую одежду, — Батманов, уловив минуту с ней наедине, уже всерьез повторил свою новогоднюю сентенцию. Ты взрослый чело-

век и можешь строить свои отношения с веществами, как тебе угодно. Но меня от этого зрелища уволь. Под наркотой я видеть тебя не хочу, тем более в своем доме. Он сказал это без уверток, с жесткой прямоотой, но и без малейшего наезда, потому настолько необидно, что у нее как будто что-то вспыхнуло в голове: а что, так тоже можно?.. Она, пожалуй, ни разу не слышала ни от кого такого ясного, доброжелательного тона предельной честности. А ведь это так просто. Снимает массу проблем. Она даже попробовала повторить про себя его интонацию, затем кивнула и произнесла:

— Хорошо, я поняла тебя.

Они стали общаться; поначалу встречались раз в неделю в хипстерских барчиках, щедро разбросанных в окрестностях его дома, но она каждый раз замечала, как он дергается, поглядывая в телефон, связанный с медицинским радиобраслетом Екатерины Игоревны.

— Видишь, я понимаю сам, что уже финиш, лучше не будет, и может даже к ней милосерднее, чтоб поскорее. Но мне просто жутко от мысли, что она там... может отойти, пока я тут очередную стопку опрокидываю. Это жестоко и нечестно... Уж коли взялся.

— Накручиваешь себя, — констатировал Ворон, опрокидывая очередную стопку. — Но, если так будет лучше, могу попросту иногда к тебе заходить, — обалдев от собственного нахальства. И добавил: — Конечно, в те дни, что у меня свободны от ненавистных тебе допингов. Ну, ты понимаешь.

— Понимаю. Спасибо. У меня, признаться, со всем этим... не очень-то широкий круг общения.

Еще бы, — подумал про себя лейтенант Ворон. И стал иногда захаживать к старшему товарищу.

Первое время его визиты не продолжались долго — хозяину все равно надо было то кормить, то давать лекарства, то менять белье, то сажать на кресло, что было при посторон-

нем делать неудобно. Но постепенно она, кажется, переставала быть такой уж посторонней. И раньше, чем он удосужился объяснить ей, начала понимать причину производившей столь тяжелое впечатление привычки наряжать Екатерину Игоревну к обеду, иной раз даже подкрашивая ей губы и нанося за ушко духи.

— Человеку надо помогать оставаться человеком, даже если он уже не понимает смысла этого... хоть я и не уверен, что бабушка не понимает. В конце концов, что мы знаем об этой тюрьме под названием «нарушение когнитивных функций»? Что там творится, в этом мозгу, лишенном способностей объясниться с нами? Может, там целые миры... Даже наверняка.

Он помолчал, болтая в чашке ложечкой. Она приносила с собой иногда бутылку вина, иногда что-нибудь сладкое. Откуда-то знала, что он любит. Он и правда любил. Еще одна трогательная черта.

— Нет, я понимаю, что со стороны это выглядит немногим более рационально, чем твое шоу... — сказал и внезапно осекся. Даже покраснел, не решаясь поднять на нее глаза, — прости.

Если бы поднял, заметил бы, что она наблюдает это смущение с явным удовольствием. При его нынешней манере резать правду-матку такая деликатность о чем-то да говорила. На самом деле о многом. И поняла, что настал момент для того вопроса, который она не могла ему когда-нибудь не задать.

— Скажи, пожалуйста, а почему ты исчез?

— То есть? — вскинул глаза, возвращаясь в свое обычное теперь состояние собранной ясности.

— Мы... многие из нас думали, что ты погиб, — спряталась за множественным числом.

— Да?.. — непритворное, хоть и не до ошеломления, удивление. — Ну, это то, что называется «невозможность смерти в сознании живущего». Видела акулу Херста? Ну

разумеется, ты же художник... Поскольку я был определенно жив, то как-то и не думал в ту сторону, что кому-то придет в голову меня хоронить. Скорее рабочей была версия... двусмысленного исчезновения, в связи с которым небезосновательно было предполагать некоторые проблемы с законом. Мы ее, в общем, и отыграли — я уехал из медсанчасти в дурку безымянным, но до этого один доктор там, он как-то принял во мне участие, дал позвонить Екатерине Игоревне. Сказал — не знаю, что ты там про себя помнишь, мне-то кажется, что даже многовато, но проблем устраивать не буду... Если не хочешь сгнить в ПНИ, на столе телефон, позвони, кому доверяешь. И вышел из кабинета... Через неделю бабушка забрала меня из этого Заячьего Ремиза, потом я поменял паспорт на прадедовскую фамилию и свинтил в Штаты. — Он помолчал, по лицу пробежала тень. Той весны, которой он все-таки дождался, но с тех пор не вполне был собой. Вернулся в светлый, шумный верхний мир, который не знает и не задумывается о своей подкладке, но сам навсегда будто бы вывернутый наизнанку. За окнами короткий и в то же время бесконечный ленинградский февраль наносил на стекла сероватую патину сумерек. Лейтенант Ворон подумал о том, как, описав двенадцатилетний круг, они вернулись обратно, даже в тот же сезон, только разрыв ткани теперь переместился в пространстве на пару тысяч верст к югу, а вот здесь все заросло, как и не было той прорехи — новыми домами, новыми людьми, свежим дорожным полотном благополучного времени. Только такие фрики, как он, как они, сознают, насколько зыбко все это и ненадежно.

Батманов покачал головой и усмехнулся коротко, одними ноздрями.

— Так, теперь, чтобы все точки над *i* и больше не возвращаться.... Я кошмарно облажался, люди умерли... из-за меня, и хотя некоторые из них вполне этого заслуживали...

А другие — совершенно нет... — Она заметила, что он ненароком закусил губу, и ей аж поплохело от этой мучительной откровенности. Впрочем, прерывать его она не собиралась. Помолчав еще с полминуты, он закончил:

— И отвечать за это в том или ином виде всю оставшуюся жизнь я был совершенно не готов.

— Поясни, — произнесла она, сознавая, что в его глазах имеет право на эту жестокость. Он, кажется, уже был близок к срыву, но в очередной раз сдержался, лишь резко стукнул кончиками пальцев по столу. Впрочем, он и сам сознавал, что сейчас уже не получится остановиться на полдороге.

— Как же я надеялся избежать этого разговора! Столько лет от него... увивал. Ну, давай раз и навсегда. Я очень виноват перед вами, перед тобой. И за Мишу, и за цепь своих косяков и малодушия... и за дикие выходки с тобою той ночью, хотя это, конечно, меньшее. Меня ничуть не извиняет, но, может, хоть объясняет отчасти то, что я действительно верил — я справлюсь, неважно уже, какой ценой, ведь я готов был... и наутро твой парень будет жив и свободен. И бесился тогда уже только из-за себя, все представлял, как наутро Боря, как и собирался, — ебанет по нашей тачке из РПГ с криком «аллах акбар», он у нас парень с юмором, и все, финита ля комедия, в зимнее небо на огненной колеснице, и краснеть за свои безобразия мне уже не придется. — Он снова усмехнулся и посмотрел на нее. — Но вышло иначе. Не те люди умерли. А я с этим живу. И если ты думаешь, что я забыл себе, простил себе, то это не так. Хоть я и не думаю об этом каждый божий день, конечно. Много других занятий — ем, пью, сношаюсь, выхожу на охоту за материальными благами. Прямо как та акула.

Алевтина... или лейтенант Ворон?.. заворуженно смотрел на самого себя волшебную дюжину лет спустя. Тот человек смотрел, который то ли сгорел в машине на свалке у порта «Петролес», то ли был удушен в гараже пьяными бандита-

ми, то ли просто исчез на льду залива, между небом и водой, замершей на время.

— Видишь ли, — начал он, подбирая слова. — Обвиняя себя, ты прекрасно понимаешь, что никто другой тебя всерьез обвинить не может. Мало кто из людей сел бы в машину и поехал умирать за какого-то парня, это большее, что человек может сделать, и ты это сделал. А дальше уж, как карта ляжет. Нет-нет, я понимаю, ты — не все, и ты должен был спасти, не допустить, разобраться... Если бы все это говорил тот очень молодой человек, которого мы оба знали, я бы не очень удивился, но теперь-то ты должен понимать, что из некоторых историй не существует хорошего выхода, и предполагать, что он не был найден, и демонстративно винить себя в этом — та же возмутительная самонадеянность, та самая, что стоила жизни и Мише, и тебе. Той жизни, которая могла бы у тебя быть.

Она не добавила — у нас, потому что это и так было понятно. Она же — лейтенант Ворон.

Быстрый, и вот теперь действительно ошеломленный взгляд на него, на нее: словно сквозь свежееотмытые очки.

— Смотришь на меня, как на продавщицу шавермы, что внезапно процитировала Конфуция.

— Ты совершенно права. Я — не все... — резкая усмешка исчезает так же быстро, как появляется. Прямой, в кои-то веки без тени ироничной опосредованности, взгляд: — Но дело не только в самонадеянности. Спасибо, хоть не сказала — гордыне... Наверное, я просто так и не смог пережить смерть Миши, смириться с нею. Это как ребенок, который сидит перед разбитой вазой и умоляет кого-то всесильного, чтобы все стало, как пять минут назад, когда ваза была цела...

Батманов на мгновение не справился с мимикой, лицо повело гримасой, он быстро отхлебнул своего кислого чаю, кадык задергался.

— Ох, Данечка, — засмеялась она, привставая и отворачиваясь, чтобы дать ему время овладеть собой, и с этой женской интонацией, и с женской же деликатностью наконец превратилась в Альку. — Кончай уже пялиться на осколки. В конце концов, кто сказал, что нет где-то мира, в котором ваза цела?

— То же могу посоветовать и тебе, — глухо сказал он и тоже поднялся.

— Туше, — согласилась она. — Но, знаешь, твой образ даже начал приносить нам кое-какой доход.

— Предлагаешь потребовать проценты?

— Нет, я еще хотела спросить...

— А-ля! — измученно. — Я и так уже будто кросс в полной выкладке пробежал.

— Я не о том. Кто это на портрете, в дореволюционной форме и с усами?

— На этом? — Они подошли к стене, у которой находилось фортепиано, заставленное карточками лет за полтараста, и теперь стояли, едва не соприкасаясь плечами.

— Да.

— Дедовский брат по отцу и мой нынешний полный тезка. Погиб во время Кронштадтского мятежа. Знаешь, нельзя иногда не думать о том, что род — в некотором смысле грибница, и если какая-то веточка безвременно уничтожится, то позже она может воспроизвестись с пугающей точностью... От него ничего не осталось — ни детей, ни писем, ни документов, только эта фотография. И мое имя.

— Судьба осталась.

— Ну да, я же и говорю — веточка.

— На дереве, в прибрежном лесу близ форта Серая Лошадь.

— Откуда ты знаешь, что он служил на Серой Лошади?

— Ты же мне и рассказывал. Перед тем как отправиться повторять судьбу предка, — улыбнулась она с мягкой иронией.

На самом деле не рассказывал, но это уж слишком для одного вечера. Данька явно почувствовал то же.

— Так, все. Выгоняю тебя, извини, у Екатерины Игоревны сегодня ванна по расписанию, а завтра у меня еще встреча с адвокатом, мы там одних жуликов от паллиативной медицины пытаемся закошмарить, надо подготовиться...

Закрыв дверь за Алевтиной, он уже понимал, что дело не только в расписании; она говорила с ним именно так, как он сам бы мог говорить с собою, как будто действительно ты — это я... Поймал себя еще и на внутреннем продолжении диалога, и бросило в жар. Много лет как забытое головокружение. Да нет, гормоны просто. Сексуальное воздержание дает о себе знать; кровь не вода все же. Не ломай девчонке жизнь, такой замечательный у нее Вася. Хоть и наркоман. Ну да кто без греха? Алька вот конкретно ебанутая, теперь ведь ясно, что это не просто шоу... Он отогнал эту мысль — как ему казалось, из уважения к ней, на самом же деле... На самом деле, у тебя еще может с Гвен наладиться. В последнее время, с этим удивительным оживлением чувств, он начал по ней скучать. И эта тоска, эмоциональный, да и чувственный голод... заставил его метаться в поисках объекта. Надо вечером вспомнить жену и передернуть хоть. Пока же он пружинисто упал на пол, на руки, и в первый раз за длительное время отжался раз тридцать подряд, представляя под собою женское тело, намеренно снижая звенящий полет какого-то нового чувства. Но ни одна из грубых и ясных мыслей не могла заглушить мечты о том, что в его жизни начало происходить что-то, чего, пожалуй, не происходило с ним до этого никогда.

Дней за десять до Пасхи они с лейтенантом получили от этого его Батманова приглашение на обед. С одной стороны, идти Василию совершенно не хотелось, он чувствовал, как Ворона в присутствии этого человека замыкает на нем, что бы он там ни говорил, с другой — было лестно, что в гла-

зах Батманова они с лейтенантом были настолько близки, что и приглашать их следовало вместе. Последнее настолько его успокоило, что, уезжая утром того воскресенья на время подвернувшуюся встречу, он выдал Ворону бутылку коллекционного скотча в подарок хозяину и единственное, о чем попросил, — иди в образе. Это напоминание было не лишним; в последние пару месяцев лейтенант все чаще съезжал на гражданку, в его гардеробе помимо привычных галифе, строгих рубашек, бушлатов и шинелей появились вельветовые брюки и блузы ярких расцветок, в которых он скорее походил на звезду глэм-рока, и, хуже того, в иных ракурсах выглядел уже девчонка девчонкой.

Лейтенант послушался, хоть и не без молчаливого сопротивления; перед выходом Вася воровато заглянул в его комнату и увидел на вешалке у кровати подобранный костюм — оливковые галифе (ах, как они его торкали!), грубый ремень со звездой и НАТОвский оливковый же свитер с налокотниками и накладками под погоны на плечах. Этот свитер немного озадачил, кое-что напомнив ему, но он решил не лезть в бутылку по мелочам и, весело покручивая на пальце ключи от машины, вышел из квартиры в сторону лифтов.

Пару часов спустя Алька, одевшись, сунула в глубокий карман бушлата плоскую бутылку подарочного вискаря, перекинула через плечо полевую сумку с планшетом, бумажником, ключами и носовыми платочками, в карман брюк — неубиваемый полевой телефон, который Данька подарил ей на январский бездник, этот аппарат на диво удобно лежал в ее крупной ладони, а еще им было возможно при случае заколотить гвоздь или стукнуть кого-нибудь по башке, и спустилась во двор, где ее ожидало такси. С некоторых пор лейтенант Ворон почти перестал перемещаться по городу на общественном транспорте, Вася подкалывал ее, что она, мол, схватила звездную болезнь, но дело было в другом. Она

больше не чувствовала себя естественно в привычном вроде бы луке, было ощущение, что прохожие пялятся на нее, гадая, что же это за чудо-юдо. На самом деле в центре Питера никому не было особого дела до нее и ее внешности, но чувство было сильным, как все иррациональное.

Еще с лестницы черного хода она слышала веселые голоса из квартиры. Входная дверь была не заперта, ее явно ждали. Она отворила дверь и увидела холл, против обыкновения завешанный одеждой, брошенную как попало обувь разных размеров, а из просвета в кухню крепкая юница с модно подбритой половиной чернявой головы, что помещивала какую-то стряпню на плите, обернулась к ней и сказала — wow!

Лейтенант Ворон замер на пороге, толкнув руки в карманы брюк, так что бутыль дорогущего пойла едва не выскользнула на пол уже из кармана пальто. Девушка среагировала стремительно — метнулась от плиты и подхватила батла, затем быстро приобняла Ворона и толкнула ему навстречу крепкую ладошку.

— Я Вера. Come in! — и снова повторила: — Wow!.. looking marvelous.

Пока у лейтенанта в голове вертелись варианты саморепрезентации, из гостиной показался хозяин и разобрался с этим:

— Вера, meet Аля, dearest friend of mine... Аля, это моя дочь Вера. А где Василий?

Пока они выясняли, где же все-таки Василий, Батманов помог лейтенанту Ворону снять бушлат, при этом они чуть не запутались в ремне сумки, Вера восхищенно потрогала звезду на бляхе уже поясного ремня и сообщила, что ее байолоджикал фазер тоже был коммунист, но это не так уж важно, Даниэль круче, хоть у него и нет такого ремня, почему нет, — обиделся Батманов, — есть где-то, на антресолях валяется, Вера обняла теперь Даниэля, повисла на нем с просьбами

достать и подарить ремень с такой чумовой пряжкой, она его увезет с собой в Лондон и будет там всех... удивлять; из гостинной показались новые гости — супружеская пара, высокий мужчина примерно батмановских лет и его маленькая жена, и еще их дочка, года на два помладше Веры, лейтенант Ворон чувствовал, что у него голова идет кругом, но тут Батманов прекратил эту толкотню и загнал всех обратно в залу.

Там на своем месте у окна сидела торжественная Екатерина Игоревна, и когда лейтенант Ворон подошел к ней символически поздороваться, бабушка перевела на нее взгляд и улыбнулась так, что на мгновение показалось — узнала.

— Мы едем на Пасху во Псков, по твоему совету... то есть, вашего видеоблога, — поделился с ней планами Батманов, усадив за стол. — Представь, я был там всего лишь однажды, в юности, как раз на раскопках. Помню смутно — Гремячая башня, Кром, белые церкви мастера Кирилла, что умер во время чумы... Спирт «роял», само собою. Вот сегодня в ночь и выдвигаемся. Видела там трак во дворе? Взял в аренду, счастлив как слон после купанья. Давно не был за рулем... Саня и Джун предлагают вести по очереди, но в мои планы входит их напоить и рулить всю дорогу самому. Можешь, кстати, пошутить про мужиков, которые любят большие тачки. У ребят есть прием на рискованные при ребенке темы говорить по-английски, но моя Вера не дает такой форы... — подмигнул дочери.

— Да, я боле-мене знаю весь язык, что ты можешь тоже, — похвасталась Вера. — А про мужиков знаю уже наверняка больше ты.

— Вот, уела... — согласился Батманов. Все захохотали.

— А вы — та самая девушка, которая лейтенант Ворон? — неосторожно поинтересовалась Джун. Алька поняла, что он говорил о ней с друзьями. Ей было и неловко, и чертовски приятно.

— Да, вроде бы, — сказала она.

Снова смех. Даниил Андреевич, правда, слегка смутился.

— У вас случайно не было при встрече разборки в духе — на земле есть место только для одного из нас? — продолжила Джун.

— Нет, не было.

— А кто таков этот Ворон и как он связан с ты? — спросила Вера.

— Это давняя история, все забывал тебе рассказать, — съехал Данька, уронив на скатерть кусок рыбы.

— Жаль, что Гвен не смогла приехать, — подсадовала Джун. — Да, Сань?

— Да-да, жаль.

— Oh, тут вся в своем стадионе. Она очень, очень рабочая. Наверное, ей пора вступить в коммюнист парти.

— Ну, за отличную пати! — улыбнулся Саша и поднял бокал, делая уместную паузу.

— Да, там Алья принес скотч. Такой, что любит мой dead... дед. Папа Гвен. У меня дед рок-н-ролл стар in his youth, но сейчас он водит даблдеккер в Лондоне и счастлив. Они чем-то похожи с Даниэль.

— Думаешь, я скоро тоже стану водить троллейбус?

— А даблдеккер нет в Питере? Тогда троллейбус, да, пуркуа па.

— Бельчонок, ты что не ешь ничего? — обратился высокий Саша к своей дочери. Девочка за весь вечер пока не сказала ни слова, но внимательно посматривала на всех присутствующих, и Алке показалось, что она поняла больше других. Впрочем, так бывает с молчаливыми людьми — они кажутся остальным и мудрее, и проницательней.

Из Пскова Батманов писал ей несколько раз — представляешь, мы остановились на улице Пушкина, а рядом, на Некрасова, следственный изолятор, и за той же оградой — церковь Николы Явленного на Торге семнадцатого века. Изо-

лятор тоже в старинном здании, настоящий острог с мощными белыми стенами, синим весенним вечером маленькие зарешеченные окна светятся и сидельцы перекликаются из хаты в хату, рядом у магазина «Пятерочка» бойкий мужичок с блатной повадкой стреляет монетки на бухло, не сегодня-завтра поедет по какой-нибудь мелкой уголовщине за этот забор, и я на минутку ему позавидовал, что он увидит близко этот храм за оградой, а я вот нет. Ты вообрази, какое это сильное ощущение — после лет слепоглухоты считывать весь контекст разом, на всю длину поперечно-продольных нитей, да еще и в объеме.

Второе: ...почему-то думаю здесь о путях даже не преодоления, скорее ассимиляции травм; их, наверное, всего-то два, можно назвать центробежным и центростремительным, то есть ты либо убегаешь от трудного опыта, подменяя или хотя бы маскируя его чем-то иным: новым кругом, другим гражданством, местом жизни, даже переменной гендера, пола и возраста (в разных культурах возраст считывается по-своему), а на деле, скорее всего, ему подчиняясь, как шарик — примененной к нему силе и катящийся прочь; либо ты его преодолеваешь или встраиваешь, как уж выйдет, и становишься наконец-то собою, каким был задуман. Кто-то мог быть задуман и как постоянная переменная, возможно, мир многообразен... важна честность, страшнее всего тут погоня за модой, не те ставки. А кем задуман — не спрашивай, я не особенно религиозен, хотя есть внутри неотменяемое чувство проявленности чего-то большего и даже родства с ним, на нашей территории — пусть вот через эти белые церковки, насупившиеся и даже будто посеревшие от горя на Страстной.

Третье: ...Вере понравился Изборск, ну еще бы. Мы ходили по стенам крепости и видели, как в Изборско-Мальскую долину возвращаются лебеди. Здесь уже оттаяли ключи (или не замерзали вовсе?), они спускаются из своих нор на взгорке

таким полупрозрачным шелковым водяным полотном, запах свежей воды доносится заранее сквозь лес, а безлиственные пока дубравы вокруг напоминают о мастерах северного ренессанса, кажется, что вот-вот из-под деревьев выскочат охотники с собаками на створках в этих своих кирпично-красных чулках, крашенных маренной, и шапочках с пестрыми перышками. Завтра Джун с девочками пойдут на комикс про супергероя, которого они ждали целых полтора года — вообрази, какое терпение! — а мы с Саней двинем в город Остров. Он меня давно интригует хотя бы названием, нужно побывать, когда еще случится...

Лейтенант Ворон не стал писать, что город Остров уже был в их жизни. В эту Страстную пятницу они сами собирались за город — мама, Вероника и Марфа ехали на дачу в Лоцманское, она впервые за много лет решила к ним присоединиться. Вася был ангажирован на семейное празднество в Комарово, Пасха в этом году совпадала с днем рождения матери Аллы Станиславовны, отец, хоть и не жил с нею, держал маску, к тому же был своеобразно религиозен. В планах семейства Шадриных было освящение яиц и куличей, всенощная, а на следующий день банкет в прибрежном ресторане. В планах семейства Смирновых была уборка участка в субботу, затем бабушку Светочку надо было забросить в загородный дом ее подруги Леночки в Дубочках, а Вероника с Марфой поедут на утреню в Рамбов, в белый храм Архангела Михаила. Вероника крестила там дочь, с тех пор считала себя прихожанкой. Лейтенант Ворон должен был остаться топить печку и дожидаться родню с празднования.

— Что, может, хочешь с нами? — спросила Вероника, присматривая за одеванием дочери — Марфа в свои почти десять лет все еще могла застегнуть молнию от куртки с молнией от кенгурушки. Субботняя программа была выполнена — листья и старую траву сгребли с уступа на песок дикого

пляжа, там же разложили костер, сейчас он тихо дотлевал рыжим пятном на темнеющем берегу. Подрезали вишни и даже покрасили скамейку.

Алька вспомнила его письмо про Никольскую церковь, и как он хотел бы туда попасть, и неожиданно согласилась.

— Пожалуй, да. Только у меня юбки нет.

— Да и пофиг, там батюшка норм, не гоняет, да и такая толпа будет, что никто не заметит. Шапку возьми просто, башку прикрыть.

Они долго плутали в этих Дубочках, чтобы удобно высадить Светлану Анатольевну на образцовый огород ее подружки, потом Вероника еще искала, где паркануться в Рамбове, к началу службы они, таким образом, опоздали. Зашли уже в толпу, встали сбоку. Впрочем, храм был устроен хорошо, и даже с места у дверей, где должны стоять оглашенные, все было видно. Вероника с Марфой шушукались и переминались, воск от свечки капал девочке на руку, она капризничала. Алка поначалу наблюдала в основном за людьми — это был соборный храм небольшого областного города, и все здесь происходило спокойно и деловито. Вот зашла бригада скорой помощи, постояли, послушали, перекрестились, вышли: поехали по вызову. Вот заглянул наряд полиции, охранявший праздник. Они заходили по очереди, оставляя кого-то снаружи. Даже пожарные появились, рядом была областная станция МЧС. Этим всем людям без Бога никуда, — внезапно подумала про себя Алевтина. И обратила взгляд к службе. С галереи раздавалось печальное пение, клир ходил вокруг алтаря, постепенно выводя народ под весеннее небо на крестный ход. Она шла чуть поодаль, наблюдая эту шевелящуюся змейку из людей и огней, в церковь снова попала одной из последних. Тут возгласили: Христос воскрес, прихожане откликнулись — воистину! — засияла люстра и открылись Царские врата, и она, театральный художник по академической школе, с каким-то умиротворением по-

няла, что перед нею происходит древнейшая версия театра. Это не было, как говорил когда-то Максим, дремучее, древнее, страшное, это было древнее и культурное, развившееся от античной мистерии к вот этому волшебному радостному действу, от которого у нее невольно наворачивались слезы; она даже поклонилась вместе со всеми, когда священник произносил благословения. Затем этот хрупкий моложавый батюшка, забавно напоминающий Арамиса из фильма про трех мушкетеров, христосовался с прихожанами, дарил яйца и давал Причастие, но тут она уже чувствовала себя посторонней. И все же, пожалуй, это было сильнее, чем театр, ведь здесь она сама была участником — пусть тем, кто пока лишь ждет своего выхода, который может и не случиться. Да они все были. Весь город с его людьми, город и берег.

В пустеющей церкви Вероника расставляла свечи за тех и за этих, всем ведь известно, что в пасхальную ночь просьбы имеют особенную силу, Марфа дергала ее за куртку, порываясь куда-то бежать, с колокольни раздавался милый, хоть и совершенно немелодичный звон. Лейтенант Ворон в древнерусской шапочке с меховым околышем бродил под сводами, заглядывая вверх, ему хотелось то ли полететь, то ли заплакать под этим теплым сиянием. Тогда мимо прошел толстенький пожилой дьячок в праздничной ризе и, отловив расшалившуюся Марфу, спросил:

— А ты-то что не наверху? Там уж всю звонят.

— Можно посмотреть? — спросила Вероника.

— Сходите, сходите. Даже нужно! Христос воскрес. Надо всех оповестить. — Улыбнулся и открыл маленькую дверку в стене близ свечной лавки.

Пройдя за кулисы, они долго карабкались по крутой лестнице в шахте, напоминавшей внутренности огромного корабля, и наконец оказались в открытом гнезде высокой колокольни, отделенном от неба лишь куполом и ажурной вязью чугунных решеток. Тут уже было много людей и детей,

что бежали по приставленным к колоколам лесенкам и дергали за веревки. Башня гудела веселым диссонансом, а сквозь полукруглые пролеты было видно душераздирающей синевы апрельское предрассветное небо, город, берег, полоска льда вдоль него и искрившееся синее море с Кронштадтской крепостью на горизонте.

Дождавшись своей очереди, Алька с Марфой забрались на скамью, взяли каждая по несколько веревочек и стали подбирать мелодию. Она не складывалась пока, колокола — большие и маленькие, пели вразнобой, но каждое их движение отзывалось и летело над побережьем в прозрачной весенней ночи. Так они стояли, смеялись и звенели на весь город, пока Марфа не захотела писать. Алька помогла девочке слезть с лесенки, освобождая место для другой девочки, Вероника стояла у проема и фоткала панораму на телефон. Алька представила своего нового самурайского Ворона в гнезде колокольни, полной звоном и детьми, в его черных усах и бороде, с блеском редкой улыбки; да, суров и ошеломителен, и очень был бы здесь к месту, на птичьей высоте, среди колокольного звона и гомонящих детей... В этом празднике она удивительным образом почувствовала близость с людьми, от которых ее привычно отделял внутренний надлом, да и с ним почувствовала новую близость тоже, близость, основанную не на общей драме, но на возможности общего... Дальше, пожалуй, она боялась и думать, но чувствовала, что тот дерзкий, умный, не по годам добрый юноша, кого она знала когда-то, остается нежным воспоминанием, теряющим остроту и драматизм, а этот новый Ворон становится на его место, как новая жизнь — на место принятой и пережитой смерти. Мне же не обязательно от него чего-то хотеть, — подумала она. Кто сказал, что это необходимо? Достаточно того, что он просто есть, просто узнать человека — и то есть счастье. Почему мне должно быть что-то от него нужно? Кто мне это обещал?

Но и небо, и башня, и спящий город, и топающая по ступенькам вниз Марфа, и даже резкий окрик Вероники, не говоря уже о звонкой свежести апрельского утра — обещали ей что-то.

Был прекрасный, солнечный майский день, и Василий решил прошвырнуться по городу. Шумному, немного пыльному по такой погоде, до безобразия курортному. Припарковал машину у Биржи, пешком, в расслабленном темпе прошелся до Петропавловки. Там пару дней назад открылся фестиваль песчаных фигур, почему бы не посмотреть? Ворон утром свинтил к маме. Как давно догадывался Василий — потрепать домашнего. Вопреки обыкновению, прихватил с собой пухлый, набитый чем-то рюкзак. Возит, что ли, матушке шмотки перешивать, — хмыкнул про себя Шадрин. Лейтенант пока не критично, но уверенно входил в, так сказать, хорошую спортивную форму, главное, догадался ей вовремя абонемент в жим купить, бледного гота не вернуть, так пусть будет хотя бы солдат Джейн.

Он пребывал в приподнятом настроении ровно до тех пор, пока не увидел их. Его лейтенанта Ворона и этого ее Батманова. Так бы и прошел мимо, не обратив внимания на очередной стихийный пикник на песчаном пляже, если бы не приметная инвалидная коляска. Коляска стояла чуть в стороне от расстеленного на песке одеяла, на коротенькой травке, видимо, чтобы колеса не увязли. В коляске сидела знакомая величественная старуха, накрытая под подбородок зеленым пледом. Ее-то в первую очередь Шадрин и узнал, потому что его лейтенанта узнать было практически невозможно. Куда-то делись утренние галифе, хабэшка и берцы. На Вороне, вернее, черт возьми, на Алевтине, были девчоночьи джинсы, тенниски и легкая травянистая блузка с косым воротом — так, чтобы кокетливо съезжала на одно плечо. Ветер трепал мягкую ткань, то надувая ее, как парус, то плотно прилепляя

к округлой груди. А ведь ты и не подозревал, что у нее такие, эмм, заметные сиськи, — грубо подумал, прячась за палаткой уличного кафе, наблюдая. Волосы ее были подвязаны шелковым шейным, как когда-то предполагалось, платком, открывая невозможно трогательную, бледную шею. На минуту Шадрин забыл обо всем, любуясь коротким темным хвостиком, щекотавшим эту полупрозрачную кожу. Но чья-то фигура загородила ему обзор. Батманов. Подошел к одеялу, обошел вокруг и плюхнулся рядом, по-турецки поджав ноги. В обеих руках рожки с мороженым. В правой — два, в левой один. Один рожок положил в пластиковый контейнер на краю одеяла, видимо, когда подтаст, снова будет с ложечки кормить свою старуху, другой протянул Алевтине. Несколько минут оба без малейшей неловкости посвятили лакомству. Алька смотрела на сверкающую золотисто-синюю реку, счастливо улыбаясь, не замечая, как тает ее мороженое, капая розовой пенкой на костяшки пальцев. Вася слотнул. Батманов тоже наблюдал побег мороженого, да нет такого мужика, который смог бы не смотреть на это, затем решил и, взяв ее за запястье, бережно повернул так, чтобы она не закапала свои джинсы. Алька вздрогнула, обернув к нему лицо. Вася почувствовал, как сводит мышцы в районе поясницы от внезапного возбуждения, и челюсть — от стыда и злости. Он не мог не заметить, как хороши были оба, рядом, — оленьей грации Алька и посвежевший, с какой-то юной ладностью во всей фигуре Батманов, еще и эти темные кудри отпустил, Вася даже поймал себя на том, что невольно залюбовался соперником... Данька что-то сказал Алевтине, приподняв одну бровь, та дернула плечом, краснея и улыбаясь, дождалась, пока тот отвлекся, поднося рожок ко рту, и ткнула его под локоть, фыркая и смеясь своей глупой шутке. Шадрин никогда не слышал, как она смеется, да что там, он и такой кокетливой ее не видел. Видел ли он ее вообще? Батманов на секунду обалдел, а потом тоже засмеялся в голос, запро-

кидывая вымазанное лицо, а затем вытер рукой нос и бороду, озираясь в поисках салфеток. Вася отвернулся, не в силах смотреть на эту обидную пастораль, и, черный как туча, зашагал к воротам в крепость... Хуже всего было не то, что Алька залипла на этого чужого мужика из ее неизвестного ему прошлого, с этим-то было понятно сразу... но нельзя было не заметить, что и этот ее Даниил Андреевич с того момента, как он последний раз видел их рядом, а всего-то прошло месяца полтора, от этой своей взрослой дружелюбной светскости перешел к совершенно иному тону.

— А почему ты книжку-то свою про город К не написал в итоге? — спросила Алевтина, чтобы как-то унять волшебную дрожь от этого их шутливое и все же, наверное, нечаянного сближения. Она заметила, что Данька, достав салфетки из своей хипстерской авоськи, воспользовался перемещением, чтобы на этот раз сесть немного, но подальше от нее.

— Слушай, ну было совершенно ясно, что моему издателю не подойдет то, что я мог бы написать... Я даже прислал ему главу для очистки совести, и мы вместе пришли к выводу, что, так сказать, ошиблись, поторопились, moving on... Ты удивишься, но Америка с их нынешней идеологической системой чем-то напоминает поздний СССР, душный такой вегетарианский совок. Конечно, как и у нас тогда, там есть масса лазеек, страна-то огромная, укладов и течений множество. Но эти лазейки надо искать, а я не настолько... ассимилировался.

— А почему не написать по-русски и здесь не издать?

— Не задавался этим вопросом. Хотя, это мысль... видишь, все же ассимилировался — американец не станет приниматься за работу без денег или хотя бы их перспективы... Что ты смеешься?

— Тоже мне, американец.

— А что, не похож? Там, между прочим, очень всякие люди есть.

— Очень разные. Так по-русски. Ты сейчас похож, знаешь, разве что на такого американца, что под колючкой из Мексики приполз.

— Ах ты! — сделал шутливо-агрессивное движение к ней.

— Адъос, амиго, — засмеялась и вскочила. — Пойду уже, надо еще вернуть себя в состояние Ворона, а то Шадрин во мне разочаруется.

— Строгий продюсер! Подожди немного, мы тоже скоро... зайдешь ко мне, там переоденешься.

— Спасибо, но это не очень удобно, наверное.

Он уже и сам это понял, хотя бы по болезненно-приятному жжению в районе солнечного сплетения, когда он смотрел на нее снизу вверх, на этот высокий, легкий, очень женственный силуэт на фоне сверкающей реки и плещущего на Нарышкином бастионе петровского гюйса.

Голова, конечно, немного кругом шла; когда она возвращалась на Морскую набережную, уже в образе, и в лифте даже вспомнила пошлый анекдот; съешь лимон, подумай о мертвых щенятах. Но думалось — вернее, даже не думалось, просто шел неостановимой киноплёнкой весь этот день: как он, перед тем как ехать гулять, сажал в кресло Екатерину Игоревну; наклонился, взял ее на руки, под футболкой на сильной спине напряглись мускулы, она даже назвала их про себя по очереди, по анатомическому атласу для художников. Как она сравнила его с самураем, только что лохматым; видимо, я ронин, — предположил он. Как скинул мокасины на пляже, она в первый раз увидела его изуродованные ноги. Он, видимо, не комплексовал, привык давно, не видел здесь ничего удручающего или даже особенного, но для нее в этих стопах с отнятыми пальцами была такая болезненная интимность, что перехватило дыхание, она с ужасом вспомнила этот их выпуск про пулены; на левой ноге у него осталось три пальца, спеленатых рубцовой тканью, и большой дей-

ствительно торчал каким-то уродливым, с поплывшим ногтем, наростом, а вот правая, обстриженная начисто, смешно и дико напоминала ножку китайской принцессы. И это его прикосновение, столь осторожное, даже робкое, когда он спас ее джинсы от мороженого; наверное, он первый раз прикоснулся к ней с того момента, когда при первой встрече ей прилетело дверью тубзика... А ведь он не институтка и не хипстер-задрот из тех, что называют себя модно — асексуалами, значит ли эта робость?..

— Значит, так, товарищ лейтенант. Присядь, присядь, пожалуйста.

Вася явно нервничал. Достал тамблер, плеснул себе вискаря — будешь? Ей не хотелось.

— Оттягивал этот разговор, но больше нельзя. Как твой друг... и продюсер. — Он попытался сдвинуть свои светлые растрепанные брови, вышло смешно, у Даньки куда убедительнее. — Ты и... этот мужик с балетной фамилией. Я не знаю, что там у вас было в прошлом. Но сейчас... ты сама говорила, что он женат. Дело не мое, конечно, ебись хоть с турецким султаном, у которого их вагон, но ты явно на этого чувака залипла. Это начинает сказываться на работе — раз, и два — я просто боюсь... за тебя. — Голос Шадрина дрогнул.

— Боишься, прости, чего? За мою девичью честь, что ли? — сильным голосом Ворона ответил лейтенант.

— Нет, конечно. Ебись с кем хочешь, я же сказал. Боюсь, что он причинит тебе боль. Сама посуди — ты бегаешь к женатому мужику, как на работу... Даже если он и не заинтересован, он же не деревянный. Американка эта его, соответственно, в Америке...

— В Лондоне, — глухо сказала Алька.

— Еще лучше, с одной стороны — не потрахать, но и лететь, в принципе, недалеко. Он тут с тобой пофестивалит немного, пока бабушка не помрет, а потом — адье, Ландон коллин. А ты снова у разбитого корыта и на таблетках. Ты

забыла, как я тебе мозгоправа оплачивал, чтобы ты хоть немного в ум пришла после этого твоего политехнолога? Как потом с антидепрессантов слезала? — Вася, забывшись, начал обращаться к ней в женском роде, но лейтенант и не заметил. Не заметила. Она сидела совершенно убитая, будто ребенок, у которого отобрали давно желанную игрушку.

— В общем, так. Давай просто проверим. Я думаю, он человек-то в принципе порядочный, но тут такое дело — если само в руки идет, кто откажется. Сама знаешь, мы, мужики, такие. Я, на секундочку, — не мужик. Я твой продюсер.

Шадрин снова сдвинул брови. Если бы Алевтина была сейчас внимательнее, заметила бы, что еще и покраснел.

— Обещай мне, что сделаешь паузу. Не будешь ему звонить или писать первой. Пусть сам подумает, что ему там от тебя надо и надо ли вообще. Если проявится — значит, его инициатива, и в случае плохого поведения мы его, если что, накажем. Ты сама знаешь, возможности у меня есть. Если нет, ну...

Лейтенант Ворон сидел, уставившись в стену.

— Что молчим? Deal, как говорит твой Батманов?

— Хорошо, — сказал Ворон. — Я не буду ему звонить. Какое-то время.

Наклонил голову, поднялся и ушел к себе.

Как иногда бывает с людьми, судьбы которых так или иначе связаны, Батманов сегодня вечером думал примерно в том же направлении. Тем более что накануне Гвен сообщила ему о своем намерении приехать посмотреть белые ночи — как ни удивительно, за все годы их брака в Питере она не бывала ни разу. В этой связи сегодняшнее... сегодняшние его вольности с Алькой выглядели, пожалуй, не порядочно. Нет, он и на минуту бы не задумался затащить в постель какую-нибудь левую девицу, как он делал до этого не раз и как делала Гвен — и с девицами, и с парнями. Но с Алевтиной так поступать было категорически нельзя. И не

только из-за того понимания, что было очевидным между ними, но и потому, что он всеми, как говорил один его приятель-философ, чувствовалищами ловил обаяние душевной хрупкости и внутренней чистоты, от нее исходящих — и было совершенно не важно, во скольких постелях она побывала и что там происходит в их этом фешенебельном скворце на Ваське, человек такой душевной организации может хоть на панели стоять, и то скорее погибнет, чем утратит эту нежную цельность светящегося на ветке яблока, целого мира, напитанного пьянящей свежестью искренности — как в первый день творения.

...Заведясь в конце апреля, лето полетело, словно с горки; Батманов написал свой сериал и почти помирился с женой, они много болтали по скайпу, иногда — голяком, такой был у них прикол еще со времен его дальних тревожных командировок. Екатерина Игоревна тоже вошла в хорошую колею: с удовольствием ела, гуляла и спала, напоминая этим уже покладистое домашнее животное. Ее браслет показывал почти спортивные данные, и Данька все чаще оставлял бабушку на Анну Егоровну, которой как раз потребовались деньги: дети ждали второго ребенка, это стоило. Но к началу июля невестка Анны Егоровны легла на сохранение, Тимоше необходима была постоянная нянька, а у Гвен уже взяты билеты, Батманов нашел по рекомендации другую медсестру, но все же человек новый, не очень доверял ей.

Алевтина не звонила, не писала и не заходила уже почти два месяца; они регулярно обменивались лайками в фейсбуке, и изредка — комментариями, он следил за их оживившимся стримом, они с Васей сделали выпуски из Казани (про взятие города Иваном Грозным), Самары (про космос) и какого-то Мордовинса, тоже в Поволжье. Он с удовольствием и легкой грустью наблюдал их молодую, интересную жизнь. Неделю назад она сообщила, что они садятся в Питере за монтаж

полнометражного сборника путешествий и приключений лейтенанта Ворона, также она готова к встречам и общению с поклонниками. И он, пометавшись немного в поисках кого-то, кто мог бы избавить его от жгучего беспокойства за Екатерину Игоревну в три дня пребывания Гвен, позвонил Альке с готовностью, в принципе, услышать отказ, но все же, все же. После недолгих светских реверансов изложил свое дело — приезжает жена, нужно буквально дня три смотреть, чтобы все в порядке. Ухаживать не нужно, все сделают...

— Хорошо, — ответила Смирнова. — Я как раз в городе.

— Да, я знаю, потому и позвонил. Спасибо тебе.

Он, признаться, ждал Алевтину, но в назначенный день пришел лейтенант Ворон. Снова похудевший, собранный, с короткой стрижкой, напоминающей прическу, которую носила Вера — подбритые виски и куп волос от затылка до челки.

— Обновление имиджа, — неловко отметил он. — Жизнь бьет ключом?

— Как сказать, — ответил лейтенант. — Давай, показывай поле деятельности.

— О'кей, хорошо. Поля деятельности, собственно, нет... Медсестра придет к вечеру, поменяет, что нужно, ты проследи просто и переночуй сегодня-завтра. Я там оставил белье на диване в кабинете. Если что-то экстренное, у меня оповещение в телефоне, я тебя дерну даже среди ночи, уж извини...

— Ага, вали давай... — рассеянно ответил лейтенант. — Вы куда — Эрмитаж, Пушкин, Петергоф?

— Примерно так, — сумрачно ответил Батманов; тон Алевтины, да и облик царапал его, но он не хотел сейчас развивать эту мысль, поэтому просто собрался и вышел. Гвен сняла номер на Моховой, в гостинице на три-четыре номера. В двух, буквально, шагах.

Выгуливая супругу по Петергофу, Данька поймал себя на том, что в городе своего детства он тоже уже больше ту-

рист. Петергоф отмыли, покрасили и будто бы покрыли лаком для большего глянца. Прошвырнулись по туристическому маршруту — Самсон, Шахматная горка, петровские Монплеизир, Адам и Ева — личинка нынешнего великолепия, код райского сада. Адам цел, у Евы повреждена мраморная нога и для остойчивости пристроен к высокому заду мраморный пень: все четыре года оккупации первая женщина пролежала спрятанная в земле под немецким блиндажом, что построили над нею; сдвиги почвы, то-сё, Ева треснула, из земли вынимали по частям. Гвен крутила головой от треснувшей Евы к нему, пока он ей все это рассказывал, кивала, не понимая драмы; как любой, кто не пережил утрату дома. Ес, это обычная итальянская скульптура, покажи наконец золото царей... Итальянская скульптура среди елок — вот наше ноу-хау... Золото для дураков (осекся).

Вышли в город, уже почти чужой, он все ловил себя на том, что под до невозможности буржуазным, безусловно уютным и комфортным, ищет что-то знакомое и родное — как вот этот шов выше колена у лупоглазой мраморной дамы. Ах, а вот здесь была булочная у школы. Мы бегали сюда на переменах. Теперь здесь приличное хипстерское место с подвешенным кофе, рядом брусчатка, дворик со скульптурами кошек. В обнимку с каменными котиками тут же селфи: Гвен облюбовала белого; а тебя давай на фоне черного! Пожалуй, воздержусь от селфи с котиками. Гвен передернула плечами, и он сфоткал ее и с черным, и с розовым, из карельского гранита.

Здесь был сквер напротив школы. Тут рос прекрасный шиповник, цветущий два раза за лето. И лиственница. И на берегу озера стояли два адмиральских домика, народная топонирика. По городской легенде, здесь после войны поселили какого-то адмирала. Или двух — контр-и-вице. Теперь гостиничный комплекс, которому место на хорошем альпийском курорте. Красиво вписаться своими изломами в горный

пейзаж — никак не в этот, плоский и водяной. А домики снесли.

Тут над прудом была тарзанка, с которой они плюхались в Ольгин пруд с таинственным когда-то островом, островами. На них стояли две императорские виллы, Помпейская и Неаполитанская, и жили реставраторы, которые возились с этими виллами десятилетиями; я бы на их месте поступил так же — кому не хочется жить в центре Петергофа, но на своем маленьком острове с царской виллой и дубами — родичами того, что с могилы Вашингтона, желуди были подарены еще в то время, когда русский и американец братья навек. Он рассказал Гвен и эту историю, она только хмыкнула, подержав породистые ноздри. В эту их первую за нынешний год встречу они старались обходить политику.

Хей, а в здании бывшего вытрезвителя теперь ресторан. Ну что, пообедаем в вытрезвителе? Или отвести тебя в городской шалман, где играет блатняк, сидят полубандитские мужики, но при том весьма приличный шашлык? Тебе должно понравиться, — последнее подумал, но вслух произносить не стал. И без того звучало, как выступление истеричной, обиженной супруги. Болтовня по скайпу не подготовила его к тому, что он, оказывается, совершенно не способен был терпеть ее обычное... лидерство? самодурство?... на своей территории. И это еще полбеды — при встрече оказалось, что ту своеобразную, но все же ощутимую химию, которая была между ними все эти американские годы, теперь (или здесь?) словно вырубил напильником. Им и без того надо было серьезно поговорить, что-то решить наконец. Но оба почему-то откладывали личный разговор, обескураженные, — он видел, что и она поглядывает на него с холодноватым удивлением не самого приятного открытия, — делая вид, что наслаждаются теплым летним днем в этом чужом, туристическом, но очень живом городке. С площади перед кинотеатром, шедевром конструктивизма с множеством углов из стекла

и бетона и масками на фасаде, грохотала музыка. Ведущий поздравлял всех с днем семьи, любви и верности. Да. Вот ирония. И, кстати, шалман перестал быть шалманом. Голубые занавески, белые диванчики, обитые искусственной кожей. Ни одного бандита или даже грубого работяги. Если только бандитами теперь не подрабатывали молодые женщины с детскими колясками. В шалмане его юности теперь праздновали детские дни рождения. Клоун и Баба-Яга заставляли ручную крысу прыгать через кольцо. Да, жизнь никогда не станет прежней.

— Какое интересное бандитское место, а? — выскочила за ним Гвен: — А тот, что Baba Yaga — это их крестный отец?

— Скорее крестная babooshka, — ответил, усмехаясь и коверкая родное слово на американский манер.

Гвен тем временем нашла ларек с tandug и захотела попробовать. Риск — это мое второе имя. Перекусим в каком-нибудь скверике. Я уже поняла, что здесь их много. Вот неподальску как раз один такой.

Скверик сбоку от храма Петра и Павла, единственной достопримечательностью которого раньше был желтый домик общественного туалета, превратился в декорацию к детским спектаклям и фотозону для брачующихся, которые с завидной регулярностью высыпали из новенького, тронь-захрустит, здания ЗАГСа, и по зеленым аллеям бежали к специальному шатру, где их встречали рисом и розовыми лепестками. Везде семья, любовь и верность... аж противно, — присаживаясь на извилистую, вьющуюся по внутреннему кругу лавку, подумал Батманов. Декорация была про сказочный лес, с изогнутыми по металлическим аркам березками, кривыми дорожками с подсветкой, скамейками-качелями, болтающимися на цепях между свечками туй. В небе то и дело пролетали стайки уток. А в центре сквера расположился поющий фонтан-шутиха, который притягивал к себе мальчиков от трех до пятидесяти. И если дошкольникам мамы

меняли намоченные футболки и трусы прямо здесь, за скамейками-качелями, то мужчины постарше, попрыгав под коварными струями, просто ржали и шли дальше по своим делам, мокрые как цуцики. А ведь когда-то здесь был пьяный угол — у рынка, помимо бандитского шалмана, бесперебойно работали несколько магазинов с алкашкой; затарившись, местные жители шли на тот самый Ольгин пруд с поникшими ивами, где была и распивочная на пленэре, и лаунж для притомленных Бахусом.

От его веселой и жутковатой юности, когда знакомому иностранцу буквально в этом сквере дважды, с перерывом в несколько недель, проломили голову, теперь не осталось и следа. В декорациях социальной драмы с криминальным уклоном шла семейная комедия. И это было прекрасно.

Гвен доела свое хачапури, он подал салфетку. Промокнув лицо, она решила начать.

— Мне не нравится, что ты пишешь свой фейсбук. Пусть по-русски, все равно. Есть кому перевести. У меня на фирме разговоры.

— Не их гребаное дело, ты не находишь?

— Их. Их и мое. We are connected.

— Ну а я связан с тем, о чем пишу.

— С этой войной ты связан? С этой гребаной бандитской войной в У? Это уже не твоя, не ваша страна.

— Ваша?.. — пауза. — О'кей, не моя страна, пусть так. Но война, к сожалению, моя.

— Что за странные идеи...

— Гвен, ты не понимаешь. Моя мама родилась в У. Мои родственники живут там. И они сейчас, мы сейчас друг против друга. Нет, Гвен, это моя война. Это война против меня и против таких, как я, кто не считает этих людей чужими. А как я могу считать чужой свою двоюродную сестру, ее мужа, моего племянника ебанутого?.. Это война за то, чтобы нас сделать чужими.

— Ну так и прекратите войну, если не хотите отчуждения.

— Я бы с радостью. Но, боюсь, до этого придется ее сначала выиграть.

Время белых ночей подходило к концу, летний вечер тихо гас, оставляя в небе жемчужный свет налитанного зарею влажного тумана. Фонтан рассыпался нежными всполохами, компания гардемарин из ближайшего училища прыгала по площадке, уворачиваясь от внезапно взметавшихся водяных плетей. Среди ребят было двое чернокожих и один китаец. Словно в пандан заиграл Севастопольский вальс; он летел над туями, над коваными скамейками, над фуражками курсантов и, обвивая главы собора, уходил в завешанную легкой облачной кисеей высь.

— Я устала. Если хочешь, можешь сидеть ночь. А я возьму такси.

— Сейчас вызову.

Проводив Гвен на машину, он еще полночи бродил по городку, уехал лишь первой маршруткой, которые в интересах туристов начинали ходить около пяти утра. Жена спала на своей стороне кровати, на столике лежал ноут и стоял пустой бокал из-под вина. На глазах Гвен была маска для сна, в ушах беруши. Ему стало жаль ее, такую сильную и такую одинокую с ним; да с кем бы то ни было. Во все эти три дня они так и не прикоснулись друг к другу.

Когда он, посадив Гвен на самолет, вернулся в квартиру с окнами во двор ангелов, как прозвала его Вера, лейтенант Ворон сидел в кресле у кровати Екатерины Игоревны и комментировал футбольный матч. Бабушка, возлежав на стопке подушек, временами согласно или же возмущенно гугукала, как огромный младенец-переросток, или же отпускала французские ругательства (нрзб). Батманов не дозвонился в дверь и открыл своим ключом (футбол был врублен на ту

громкость, что создавался практически эффект стадиона), а затем застыл на пороге спальни, невольно залюбовавшись этой своеобразной идиллией.

— Не, ну ты посмотри! Им за каждое шевеление булками платят, как работяге за всю жизнь, а они ползают, словно мандавошки по мокрому...

— Bordel de merde!¹ — согласилась Екатерина Игоревна.

— И это еще слабо сказано! — поддакнул Ворон.

Данька, не удержавшись, расхохотался.

— Еще и ржет там кто-то, прикинь.

В следующий момент, краем глаза заметив тень от его фигуры, лейтенант испуганно подобрался и воровато взглянул на импортированный из гостиной старинный ломберный столик, на котором стояла бутылка «колы», коробочка из-под шоколадного коктейля, что любила Е. И., валялась коробка из-под пиццы и салфетка с недоеденным яблочным пирогом.

— Ничего-ничего, развлекайтесь... Старый да малый, — улыбнулся хозяин. Подошел к кровати, поцеловал бабушку в скулу, признательно сжал плечо лейтенанта и отправился в душ. День был жаркий, еще и в пробке по дороге из Пулково пришлось постоять.

— Если ты не переедешь в Штаты вскоре, ты, скорее всего, потеряешь грин-кард. И потом будут проблемы въехать, — спокойно предупредила его Гвен, когда они прощались перед стойкой регистрации.

— Не потеряю, — заверил ее он. — Скорее всего, я от нее попросту откажусь.

— Why? — Гвен распахнула свои красивые глаза, окруженные темновато-бронзовой, стареющей кожей.

— Я хочу и дальше вас... навещать, — попытался смягчить он. — Но так, как раньше, не будет уже. Ты же сама понимаешь.

¹ Говенный бордель (*фр.*).

— Да. Понимаю, что ты попросту идиот, — замолчала на мгновение, с неожиданной грустью уточнила: — У тебя есть кто-нибудь? Не секс, а...

— Я понял. У меня и секса-то нет, — усмехнулся, сказав правду и одновременно лукавив.

— Идиот, — Гвен торжествующе чмокнула его в щеку. — А у меня есть.

Вымывшись, он врубил на полную холодный кран и постоял под ледяным душем, медленно считая до десяти. Не каждый день разрушаешь свою жизнь из-за не совсем понятного даже тебе самому чувства, ну или даже такой сложной их комбинации.

Когда он вышел из ванной, футбол уже закончился, лейтенант Алька прибрал объедки со столика и теперь собирал свои шмотки в рюкзак с мордой какого-то анимэшного персонажа.

— Хочешь, на обед оставайся, — предложил он.

— Не, поеду. Дела.

Насколько он был непосредствен с Екатериной Игоревной, настолько же ровно и замкнуто теперь держал себя с ним. Батманов интуитивно понимал причину этого, и именно потому ничего не мог поделать.

— Хорошо. Спасибо тебе огромное. У вас, наверное, большие планы на лето... Куда теперь направитесь?

Господи, что я несу. Да тебе же просто хочется ее задержать.

— У Шадрина сногшибательная идея поехать на восток У и сделать выпуск оттуда... там кое-какие наши товарищи еще с прошлого лета, — буднично сказал Ворон. — Я ему пытаюсь объяснить, что это не какой-то экстремальный туризм, там по серьезке все. Ну да ты куда лучше меня понимаешь, наверное. Не то чтобы я зассал, хотя башку там могут отстрелить запросто, но туда нужно ехать, только если знаешь, что сможешь помочь хоть чем-то... Так что настраиваю его гума-

нитаркой помочь, бабла-то у него хоть жопой ешь. А Ворон пусть летит на Камчатку.

— Да, на Камчатку, — эхом откликнулся Батманов. — Аль, я тут, конечно, ничего не могу, но если вы решитесь на эту авантюру, чего не советую, ты позвони мне, хорошо?

— Меня зовут лейтенант Ворон, — сказала она и с холодной прямоотой посмотрела ему в глаза. — Чао. Икорки тебе привезем.

Несмотря на все старания вернуть и удержать лейтенанта Ворона, Алевина все больше чувствовала, что у нее не получается, не выходит больше каменный цветок. Она по полдня проводила в качалке, отвезла к матери все шмотки, которые можно было счесть хоть немного девчоночьими, засыпала и просыпалась под печально-агрессивную музыку, которая раньше помогала ей находиться в образе, но ее внутренний Ворон, похоже, действительно улетел в ту весеннюю ночь с колокольни Михайловского собора, а настоящий жил по известному адресу, кормил бабушку с ложечки, болтал по скайпу с женой и дочерью, ожидая освобождения от добровольно принятой ноши, чтобы снова свинтить за океан и оставить ее здесь со своей неприбранной жизнью. Поездка на Камчатку обернулась сущим адом; Вася был недоволен ее луком, ее подачей, говорил, что она больше не Ворон, а просто какая-то бучиха в милитари, они дико ругались и едва не угодили в местную ментовку по наркоте, которую он умудрился достать даже в Петропавловске. Ожидая обратного рейса на взлетке на фоне вулканов, Шадрин, понимая, что перегнул палку, принялся извиняться и наконец-то додумался прямо спросить, что происходит.

— Это все началось с Батманова, да? Ты хочешь быть деушкой для него, а не Вороном для меня, — хныкал этот лосяра под два метра ростом.

— Не совсем так однозначно, конечно... — вздохнул лейтенант, на время снова превратившись в того, кто когда-то поймал Васину душу в подземелье под Невским проспектом. — Видишь ли, Батманов — это и есть лейтенант Ворон. И теперь, когда я не могу больше отрицать факт его существования... чувствую себя до некоторой степени самозванцем.

— То есть? — сказать, что Шадрин офигел, значит не сказать ничего. С него даже хмель слетел, хоть он и выжрал перед полетом ноль семь беленькой в жало.

— Ну вот то и есть. Он служил в Дружине, давно, там тяжелая была история, моего... наш общий знакомый умер, Данька пытался спасти его, но сам чуть не погиб. Потом сменил фамилию и уехал в Штаты. Я как бы в его память Вороном прикинулась, потому что мне это нужно было после мудака известного... чтоб не утратить, так сказать, веру в человечество.

— Не, ну ты...

— Что? Больная на голову? На себя посмотри. Залип на бабу с перебинтованной грудью и под мальчика стриженую. Может, тебе тоже просто с мужиком переспать?

— Что значит тоже? Вы... ты спишь с ним все-таки?

— Нет, он со мною не спит. Хотя это мало что меняет. Проект надо сворачивать, вот я тебе о чем.

— Да, ты права, — неожиданно спокойно сказал Шадрин. — Дай мне в рюкзаке, там еще пузырь остался... Ну, за завершение Ворона. Ты зря мне раньше не сказала.

Отхлебнул, протянул ей. Алька тоже пригубила.

— Кстати, ты ошибаешься все же. Я не твоего лейтенанта Ворона, я тебя люблю. А с мужиками у меня отец спит, хватит и того... что? Ты не догадалась разве? Ну вот такой у нас сегодня день открытых дверей. Да, и настоящий лейтенант Ворон — это все же именно ты, а не он... он теперь просто оловонец, который цепляется за старуху, потому что не может с собственной разобраться жизнью.

В середине августа состояние Екатерины Игоревны после недолгого просветления резко ухудшилось. Выраженного кризиса не было, она просто ослабла и постоянно находилась в полусне, будто уже не на пол-, а где-то на три четверти пути к другому, темному берегу. Несмотря на то, что Батманов давно ожидал подобного и, казалось, должен был быть внутренне готов, на нем это сказалось самым удручающим образом. Он все чаще ловил себя на том, что если раньше боялся того, что бабушка отойдет без его поддержки, то теперь при одной мысли, что она отойдет на его глазах, его охватывала холодная паника. Он был бы и рад теперь чаще смываться из дома, но, во-первых, Анна Егоровна все еще безвылазно находилась на даче с Тимофеем, а во-вторых, он все-таки не мог позволить себе подобного малодушия. Поэтому он, напротив, притащил в ее спальню раскладушку и теперь ночевал рядом, прислушиваясь к ее дыханию, хрипам и всхлипам, категорически не высыпаясь и постепенно доводя себя до состояния зомби. Таким и застала его Алевтина, вернувшись с Камчатки в первую неделю сентября и наведавшись, чтобы сообщить о прекращении лейтенанта Ворона. Едва он открыл дверь, она поняла, что Ворон ему сейчас совершенно побоку — осунувшийся, глаза красные, подчеркнутые резкими тенями, будто его несильно, но давно и регулярно бьют в нос.

— Эй, так нельзя, — с новой для себя решительностью сказала она. — Ты так сам себя скорее до ручки доведешь.

— Не исключено. Сам не ожидал, что так... Знаешь, со мною в этот год произошло что-то, что я стал бояться смерти. Не до дрожи, не до умопомрачения, но вот ушло то свойство с нею, которое позволяло мне раньше как-то спокойно...

— Так это нормально вообще-то.

— Думаешь? — хмыкнул.

Она не думала, она знала. Теперь-то она знала, что он на самом деле был *там*, в этом заокеанском лимбе для добро-

детельных язычников, и то, что вернуло его обратно, нельзя назвать иначе как чудом.

— Меня друзья давно зовут на шашлык в деревню. Может, позвонишь той сестре, что была, когда Гвен к тебе приезжала, и съездим на полдня? Она нормальная, эта Вика, ты не волнуйся.

— А если?...

— Не «если». Если, или, вернее, — когда это случится, ты не должен быть полудохлым, как сейчас, тебе нужны силы, чтобы поддержать ее. А старики предпочитают уходить в межсезонье, так что с каждой неделей все больше вероятность.

Откуда-то она знала, что в тот день, когда она увезет его в Ижору к Терешонкам, ничего не случится; чтобы подвести черту под этим их зависанием и по-настоящему освободить друг друга, ей необходимо было показать ему то место, где она едва не стала счастливой, могла бы стать, если не примеряла бы упорно этот чудесный мир на совершенно другого человека. Ему следовало увидеть то место, которое она выбрала для Вадима, но на самом-то деле — для него; только вот ему оно не понадобилось, у него в Америке свой нашелся сад, с персиковыми деревьями в розовом цвету и зеленой лужайкой. Только эта уверенность и давала ей силы так говорить с ним, ведь действительно, случись что с Екатериной Игоревной в их отсутствие — он ни себе, ни ей этого никогда не простит, и это ей было известно тоже.

Они отправились в Ижору в ближайшую субботу, день выдался прохладным и солнечным, она захала за Данькой с утра, он как раз давал сиделке последние указания. Собравшись, они вышли на пустынную в летний еще уик-энд Пантелеймоновскую, которая с небольшой площадью перед красной моряцкой церковью казалась перенесенной из какого-то небольшого волшебного городка, даже и не поверить, что вокруг распустился огромный, пышный

и местами грязноватый мегаполис. Пантелеймон прозвонил одиннадцать, с другого конца улицы ему откликнулся Преображенский собор. Они быстро дотопали до Литейной перспективы и сели на прямой троллейбус в сторону Балтийского вокзала.

Терешонок действительно давно зазывал ее в гости в когда-то их общий, теперь же его семейный дом; рачительный скобарь, он даже постепенно выкупил у Генриха его избушку, оставив за ним, впрочем, право приезжать, когда вздумается. Вадим Андреич вот уже лет семь как был женат на бывшей сокурснице Оленьке, той самой, с которой когда-то с первой познакомил Альку Артур Лажевский в лагере на Сойкинском. У Терешонок были две дочери-погодки, шестилетняя Софья и пятилетняя Прасковья.

Алькина — вернее, лейтенанта Ворона, прошлогодняя выходка на раскопе, парадоксальным образом действительно смогла похоронить их давнюю историю, и тень обиды, которую, что бы он ни говорил, Вадим ощущал еще долго, окончательно растаяла тем вечером во Пскове, у реконструкторского костра в лагере с видом на Гремячую башню — где, по поверью, на бочках с золотом спит проклятая матерью княжна. После они еще несколько раз виделись на каких-то тусовках, а этим летом в Старой Ладогe, куда они с Василием приехали поснимать очередной фестиваль, Алептина, как о чем-то очевидном, проболталась о том, что прототип ее героя чудесным образом вернулся с того света и живет на набережной Фонтанки, ухаживая за парализованной бабушкой. Ну дела, чудеса на виражах, — недоверчиво сказал тогда Терешонок. — Ты уж извини, но я тебе не поверю, пока ты мне его лично не предъявишь. Да не верь, мне-то что, — отмахнулся лейтенант Ворон. И тогда Терешонок понял, что склонен, пожалуй, хотя бы допустить. Что ж, приезжайте как-нибудь в гости, не чужие люди, чай; ты мне

столько о нем рассказывала, что я, пожалуй, могу считать твоего Даниила Андреевича членом своей семьи, — усмехнулся Вадим. А вот это вряд ли произойдет, — сказал тогда Ворон, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. Это было как раз то время, когда они с Д. А., не сговариваясь, оставили друг друга на расстоянии.

— ...Представь, к нам завтра придет лейтенант Ворон. Более того, даже в двух экземплярах, не побоюсь этого слова, — сообщил Андреич Генриху, который зависал у друзей уже вторую неделю, в очередной раз разругавшись с Шуркой.

— А второй-то откуда? Он подружку, что ли, завел? До сих пор не могу забыть, как не узнал Алевтину на прошлогодней реконструкции в Петергофе. Пацан пацаном, хоть и пидароватый слегка.

— Не, второй — оригинальная версия. Ну, тот самый, по которому она на Сойкинском страдала. Вернулся из Штатов недавно.

— Он туда на льдине, что ли, отплыл?.. Несом течением.

— А еще говорят, что мужчины не сплетничают, — в дверях мастерской показалась Оленька со всегдашней своей детско-материнской улыбкой. — Давайте ужинать уже, вы же не удержитесь бутылочку раздавить, а гости завтра в первой половине дня придут, им надо в город вернуться не поздно, как мне Аля объяснила.

— Да ладно, завтра ведь и делать-то ничего не надо... Мясо я замариновал, встанем, очаг запалим... — Терешонок с удовольствием потянулся. Он потяжелел в плечах и талии, пышная русая шевелюра немного отползла со лба, он уже мало напоминал того стройного юношу, что рассекал по дорогам Северо-Запада на древнем байке, а то и на битюге Власии, но в целом выглядел человеком, полностью довольным жизнью. Генрих изменился мало. Оленька после родов слегка раздалась в бедрах, но все равно со своей мягко-смуглой светящейся кожей и ясными водяными глазами

выглядела значительно моложе супруга. Переглянувшись и засмеявшись ни от чего, разве что от взаимной приязни и перспективы приятного вечера и еще более интересного завтрашнего дня, молодые люди покинули мастерскую, которую делили по-прежнему, и спустились в сад, где на большом самодельном столе был накрыт нехитрый ужин — салат из собственных овощей, тушеные кабачки, бульон и биточки из соседской курицы. Девочки были накормлены раньше и уже уложены, так было заведено главой семейства; Терешонок оказался отцом заботливым, но не без строгости.

Наутро хозяева ждали гостей или к полудню, или уж после двух — такой был перерыв в электричках, и после двенадцати мужчины отправились во внутренний двор раскочегаривать жаровню, там у Андреича была устроена целая зона отдыха с очагом, коптильней, тяжелым столом и столбами под тент на случай дождя, а также скамейками из соснового горбыля и качелями для Сони и Паши. Оленька в доме кормила девочек обедом, чтобы дети потом не слишком лезли к огню, и никто поначалу не обратил внимания на залиvistый лай молодого пса по кличке д'Артаньян, или Дарт — тут между супругами были разночтения, Андреичу с детства нравились «Три мушкетера», а Оленька была поклонницей «Звездных войн», поэтому и был найден такой своеобразный компромисс. Дарт был слегка дурковат и мог лаять целыми днями и на что попало. Только когда старенькая глуховатая Тина тоже поднялась и потрусила к калитке, Генрих сообразил, что кто-то, наверное, явился; спаниелька по пустякам свою увесистую тушку не утруждала.

— Андреич!.. там, видно, пришел кто.

Гена как раз возился с жаровней; Вадим прикрыл таз с мясом, чтобы предупредить нападение на шашлык одного из двух полудомашних котов, Цезаря или Брута, а может, и сразу обоих, и, обогнув дом, вышел в палисадник.

У калитки действительно стояли гости — Алевтина прыгала, размахивая руками и выкликая хозяев, отчего Дарт заводился все больше, изображая большого и страшного пса, чуть в стороне от нее стоял невысокий молодой мужчина с легкой сумкой через плечо, с темной недлинной бородой и темными вьющимися волосами, он задумчиво покачивался с пятки на носок и смотрел то вдоль улицы, то в сад за оградой, куда у них никак не получалось попасть. Он первым заметил Вадима и спокойным движением руки остановил пляски Алевтины у забора, прикоснувшись к ее локтю, на что она среагировала моментально, обернувшись сначала к нему, затем и к Терешонку.

Вадим с интересом разглядывал Алькиного героя девичьих грез, о котором ему в свое время изрядно поехали по ушам. Батманов показался ему неожиданно негромким, даже и не слишком ярким, разве что эта джим-моррисоновская шевелюра привлекала внимание, а еще он выглядел моложе, чем можно было ожидать; впрочем, здесь, возможно, сыграл свою роль лощеный зрелый облик Карабеева, которого он когда-то с ним спутал. Вместе они с Алевтиной напоминали обычную парочку центровых горожан из тех, что начинают день с coffee to go, заканчивают в интеллигентном баре, а на выходных, вот, выбрались к друзьям за город.

Терешонок скомандовал Дарту — свои! — отпер калитку и пропустил гостей.

— Даниил Андреевич... рад знакомству наконец, — не удержался он от легкой иронии. Батманов посмотрел прямо ему в лицо, кивнул, улыбнулся и уверенным жестом протянул ладонь.

— Вадим? Извините, не знаю вашего отчества.

— Очень просто, как и у вас, — хитро улыбнулся хозяин. Гость совпадению совершенно не удивился, да и иронии не уловил.

— Очень приятно, Вадим Андреевич.

Они пожали руки, и Батманов качнулся в сторону, пропуская Алевтину вперед.

Прошли в сад, поздоровались с Генрихом, посмотрели крутой каменный очаг и коптилку, Батманов с готовностью выразил восхищение, полюбовались изобильными сливами трех сортов, прошли в дом, познакомились с хозяйкой и детьми, гость вынул из сумки бутылку вина и коробку с бисквитом, хозяин оценил вино, хозяйка быстро переводила глаза с Альки на Даниила Андреевича, чему-то улыбаясь, девочки проявили интерес к сладостям, Тина проявила интерес к Альке, узнав ее, затем Алька, памятуя о традиционных представлениях Терешонка о распределении ролей, предложила Оленьке помочь с приготовлением салатов, они занялись салатами, а мужчины направились на двор к очагу. Она заметила, что Данька, перед тем как выйти, нашел ее глазами, будто ожидал содействия с этими новыми для него людьми, она улыбнулась ему, показывая, что все идет, как нужно, и они с Вадимом вышли из дома.

Терешонок продолжал незаметно присматриваться к гостю, и тот чем дальше, тем больше казался ему совершенно обычным, хотя и, скорее всего, приятным парнем. Он был вежлив, молчалив, даже как-то медитативен; умело помог Генриху с очагом, не отказался от стопки, на вопрос о том, как они просочились меж электричками, объяснил, что немного знает эти места, захотелось пройтись по горке мимо энпэ времен Крымской войны, который здесь называли Царским лужком, и дальше через речной овраг, поэтому они доехали в два приема — сначала на скоростной электричке до райцентра, затем сели на областной автобус.

— Многое здесь изменилось?

— Да не то чтобы. Кольцевую построили, дамбу замкнули... Невская губа, считай, стала внутренним водоемом. Новых домов прибавилось. А в остальном... что здесь менять? Только портить.

Терешонок, хоть и был склонен внутренне с ним согласиться, немного обиделся — он вот уже несколько лет занимался в поселке всякой молодежной движухой, считался чиновником муниципалитета и не отказался бы от восторгов не только по поводу коптилки, но и насчет преобразования края в целом. Даниил Андреевич, не перебивая, выслушал его горячий рассказ о последних достижениях, практически со всем согласился — правда, настолько спокойно, без огонька, что это не доставило Вадиму никакого удовольствия от одержанной риторической победы. В свое время он объяснил себе исчезновение Альки тем, что проект жизни, который он предлагал ей, был для нее слишком, удручающе тривиальным, тем удивительнее было не увидеть в главном, наверное, человеке ее жизни ничего выдающегося. Он вспомнил ее батики, на которых близкие и соседи представляли в образах мифических героев и святых, и понял, что, похоже, когда-то она так же создала своего Даниила Андреевича из этого вечного студента в безупречном кажуал, с хорошими манерами и полным отсутствием горячего интереса хоть к чему-либо. Терешонок пошел в дом узнать у женщин перспективы салатов, водка же в конце концов стынет, а также взять новую порцию мяса, а когда вернулся, увидел, что Батманов присел на качели и, по ощущению, внимательно рассматривает свой кирпичного оттенка мокасины. Окликнув его, а затем приблизившись и присмотревшись, он понял, что гость спит.

Из дома появились женщины с салатами, Гена принес холодную водку и расставил запотевшие рюмки, шашлык был готов и истекал соком.

— А где Да... — завертела головой Алька.

— Даниил Андреевич перешел в ждущий режим, — кивнул Терешонок на детскую скамейку-качалку под старой яблоней. — Ты ведь знаешь, где у него тачпад?

Алевтина зарделась. Извините. Я сейчас его разбуджу.

— Не надо, — вдруг заступилась Оленька. — Давай я лучше плед принесу, он у тебя умученный какой-то.

Сели за стол, выпили, потекла беседа. Он краем сознания улавливал отзвуки этих симпатичных молодых голосов, вот уже который раз пытался вынырнуть на них, как на ориентир, но, с усилием подняв голову, не удержал ее, откинулся на спинку скамейки и видел сквозь ресницы, как вращается над ним крепкая сфера золотистого с иззеленью яблока, вместе с нею вращается целый мир, вот его протащило будто на ободе колеса через святающийся розовым цветом сакуры любимый садик в Централ Парке с египетским обелиском, Иглой Клеопатры, посредине, затем в зелени деревьев на набережной Виктории мелькнул его лондонский двойник с двумя новодельными сфинксами у подножия, пронеслась в вышине крылато-грудастая дева Майдана и встала воинственная до оторопи сталинградская Родина-Мать; но все эти облики вытеснила высокая, сильная, грациозная фигура молодой женщины, что укрыла его чем-то теплым, пахнущим котами, детьми и псинкой, прерывая болезненный от долгой усталости озноб. Мир качнулся еще разок и утонул в долгой неге и яблочной свежести; хорошо бы так навсегда, но голоса все чаще прорывали и этот кокон, только теперь ему виделись не полный пружинистой энергии Нью-Йорк, не эксцентричный Лондон, не сладко-жирный город К, а какие-то маленькие городки с выцветшими от солнца бульварами, пыльными пятиэтажками и розами в палисадниках, и окна на многих домах были пусты и черны, с вылетевшими стеклами, а те, что пока целы — заклеены лентами бумаги, как на блокадных фото. И на улицах не было ни души, лишь в тени здания пробежал яркий глупый фазан и еще две косули подбирали с тротуара осыпающуюся жердель.

Там, на востоке У... здесь, на востоке У — понял он, и понял также, что вот-вот вернется его детский кошмар, он уже сел в этот злополучный бусик со своей октябратской звез-

дочкой, и тот ускорился, подскакивая на убитых амортизаторах, неся по бульвару Разведчика мимо каштанов и пыльных пятиэтажек, сквозь тяжелый зимний вечер, переходящий в долгую ночь, и сквозь унылое утро ранней весны, в ослепительный пустынно-молчаливый день, тот, что с выбитыми окнами, фазаном и железным вкусом крови на языке. На очередном подлете он схватился за край сиденья, чтоб не упасть, и с этим движением его вытряхнуло в щедрый сентябрьский сад на родном южном берегу Маркизовой лужи; над ним качались ветви огромной антоновской яблони, слышался озорной детский смех, Алька смотрела на него с нежной тревогой, Оленька подкладывала ей салат, Вадим и Генрих вонзались по политике с привычностью актеров в радиопьесе.

Он наконец-то вслушался в их все более завоядящиеся голоса; оба товарища бодались с патриотических позиций, но Гена с контркультурного крыла, а Терешонок, как ныне человек государственный, с охранительного.

— ...Охренительного! — кипятился Генрих. — Вот, смотри, что второй год творится в У — люди вышли за нас, и что? Их просто бросили! Это напоминает анекдот про штатников, которые импортируют демократию исключительно в богатые ресурсами страны; ах, нефти у них нет? На хрена им тогда демократия?

— Так там и творится вся эта катавасия, потому что такие, типа тебя, горячие головы лодку раскачали! — возражал Терешонок.

— Ой, ребята, что ж это у вас штамп на штампе... — раздался из-под дерева негромкий голос, компания замолчала, послышался еще и скрип качелей, Соня и Паша, спрятавшись в шатре нагруженных плодами веток, подталкивали качель сзади, от этого гость и проснулся.

— Что, и вам есть что сказать по теме? — слегка поддел его уже разгоряченный первыми рюмками Терешонок. Батманов поднялся с качелей, пожимая плечами.

— Человек не котик, неизбежно пытается найти в происходящем какой-то смысл. Особенно если оно настолько катастрофично, как в последние годы, — снова заговорил он, подходя к столу.

Оленька подвинула к нему тарелку с приборами, незаметно смахнув с ее молочного доньшка слетевший вишневый листик, уже тронутый осенней ржавчиной по краям.

— Вдуматься... это ж не таджики из горного кишлака, которые, будем честны, при всем опыте совместной жизни для людей русской культуры существа достаточно непонятные, внезапно нас возненавидели. Это трещина в самом ядрышке пошла. У меня, так случилось, есть родня в К... И мой племянник двоюродный по имени Саша Пушкин, вот буквально Александр Сергеевич, намедни сообщил, что записался воевать против российского агрессора. Александр Пушкин против Российской империи, хороший заголовок для скандальной судебной хроники или конспирологического романа... Нет, для историка и философа наши времена, конечно, жуткий такой подарок. Есть такой философ Саша Станишевский, он вовремя поймал самый адекватный времени раздел этого знания.

— Знаю его, — оживился Генрих. — Занимается философией лжи и мистификаций... слушал спецкурс когда-то. Направление тогда показалось мне экзотическим, но, пожалуй, вы правы, именно оно определяет современность.

— Каким, интересно, образом? — нахмурился Вадим.

— Тебе, мироеду, не понять! — слегка пнул товарища Генрих.

— Тихо, тихо... — Батманов поймал на столе покотившееся от чьего-то движения яблоко, лишь полчаса назад взятое с ветки, обтер его рукавом длинной футболки и начал медленно резать. Вместе с заработавшей мыслью в госте будто проступила другая личность, и при всей взвешенности рефлексий в его движениях появилось что-то даже угрожающее.

— Метафизический, если угодно, урок нашему поколению... а это начиная примерно с меня и заканчивая Алевтиной, середина семидесятых-середина восьмидесятых, состоит едва ли не главным образом в том, что человеческий мир — это многоголосый ненадежный рассказчик, который врет себе и другим на каждом шагу и сам же верит в свою брехню до степени отправки кондиционеров по жилым домам носителей одного с тобою культурного кода.

Корень этого зла на нашей территории, вероятно, в многолетней подверженности пропаганде... Тут СССР со всеми его плюсами дал один жирнейший минус — потому что раз закодированного человека можно как совершенно разболтать, выдернув программу, что и случилось с нами лет двадцать — двадцать пять назад, в десятилетие моей юности, так и перекодировать до установок практически полярных. А еще это тот случай, когда более простая система бьет более сложную. Вот американская концепция нации: она основана прежде всего на общности судьбы, «мы» против «они», наше совместное предприятие и другие, конкурирующие. А демократия — это скорее вишенка на торте; американская идентичность не сочетает многие, скорее наслаивается поверх. — Он быстро посмотрел на Вадима, удостоверившись что тот следит за нитью его монолога. — Русское, советское самосознание куда сложнее: тут и русский мир — русский рим, и счастье всего человечества, и мы поедem, мы помчимся на оленях-снегоходе-космическом корабле Восток, и граничит с Богом, и в космос летал, а Бога не встретил... — Он помолчал, никто не торопился ни возразить, ни добавить. — Все это вместе сложно уместить в сознании не слишком развитом, поэтому вещество распадается на плесень и на липовый мед, и кто-то начинает ходить с портретом последнего императора, кто-то набивает себе профиль Сталина, а кто-то решает быть ингерманландцем, карелом или вот украинцем, и всеми силами пытается забыть о том, какой

при всем региональном многоцветии создан здесь обширный и глубокий русско-советский космос, это ж просто дух захватывает... Нет, я сам рад иногда подумать о финно-угорской мифологии или традициях казанских татар, эта магия вплетена в нас особенностями вышивки по натянутой мембране родовой памяти, но вот все эти новоявленные попытки отсечь общее ради частного, и весьма иллюзорного частного, — не более чем популярная реконструкция, игры в хоббитов, если угодно...

— В твой огород, — Терешонок с удовольствием ткнул пальцем в Генриха.

— Кстати, верно, ведь как всякое упрощение — это шаг вниз по эволюционной лестнице, на которую кто-то же до тебя и для тебя забирался...

— Да, и учился быть одновременно казаком, коммунистом, украинцем, мордвой, поляком, ленинградцем, тихоокеанцем, азиатом и европейцем и даже индейцем из фильмов с Гойко Митичем, — усмехнулся Батманов. — То есть учился быть русским и... граничить с Богом.

Над столом повисла тишина. Оленька посмотрела на Альку и одобрительно пожала плечами, из-за чего стало одновременно и неловко, и головокружительно хорошо.

— Символический капитал всемирной отзывчивости, — улыбнулся Терешонок. — Ух, аж мысль заиграла... Ну, за твое возвращение, — поднял рюмку и потянулся к Батманову. — Я было подумал — притащила Алевтинка какого-то хипстера, из тех что все о крафтовом пиве и шмотках, а ты от какой кот Баюн, право... под яблоней.

— Да, года идут, а дурь все та же, — пробормотала Алевтина под звон стекла. Она увидела, как Терешонок на мгновение замер, удивленный фамильярностью, но Даниил Андреевич лишь улыбнулся и лениво толкнул ее плечом:

— Чучуть отличается состав, поверь мне. Баюн сказки рассказывает, им я побывал уже, спасибо. И в этом качестве

тоже... виновен в сегодняшнем, — он выпил водку, не почувствовав крепости. После месяцев житья в спертom воздухе центра города, да что там — практически четырех стенах квартиры, его несколько повело.

— На самом деле все сводится к двум вариантам — к принятию жизни или отрицанию ее; во всей полноте. Одни пионерские дети поверили в скандинавские тефтельки и всемогущество западного права, прогресса и медицины, а другие очень хотели бы в это поверить, но знают, что впереди много труда, не всегда оплачиваемого сообразно, болезни родных и чья-то безвременная смерть. Может быть, даже и твоя. И с этим нам ничего не сделать в пределах поколения, не улететь ни на какую счастливую планету. Только яблоки падают, родители стареют, дети — кому повезло — приносят в кармашках желуди. А у нас шашлык горит, кстати.

Мужики подорвались спасать шашлык, Данька поначалу не двинулся, посмотрел на Оленьку, на Альку, улыбнулся и сказал:

— Спасибо за плед. Всего, наверное, полчаса-час, а словно заново родился под вашей яблоней.

Встал и пошел к очагу, помогать новым товарищам.

Прибежали девочки, начали ласкаться к матери, словно котята. Оленька наклонилась через стол к Альке и шепнула:

— Глаза у него удивительные, да?

Ох, не подливала бы ты масла в огонь.

Оставшуюся часть вечера Алька не без иронии наблюдала торжество столь знакомого ей обаяния; Даниил Андреевич исподволь приручал хозяев, так что вскоре Терешонок с Генрихом уже смотрели ему в рот, Оленька смеялась раньше, чем он закачивал очередной тот, а Соня с Пашей рвались познать «дядю Ворона» со своими куклами и плюшевым леопардом. Удивительнее было другое — Данька, кажется, на этот раз не просто расточал харизму от полноты жизни,

но намеренно старался понравиться, нет-нет даже поглядывая на нее — как, мол, развит успех или уже достаточно?

Но вот начало смеркаться, и он, словно какая золушка, все чаще вытаскивал телефон, проверял показания Е. И., смотрел на время и уже порывался вызвать такси. Слегка подвыпивший Терешонок никак не мог расстаться и в качестве последнего развлечения потащил своего нового друга осмотреть главные сокровища усадьбы: гараж со взятым в кредит «уазиком-патриот», мастерскую с новеньким инструментом, аккуратно разложенным на полках, коллекцию топоров Fiskars в сарае, старую циркулярную пилу — хоть сейчас в музей, а все еще на ходу! И вот наконец дело дошло до самого важного. Они прошли в мансардный кабинет, Андреич торжественно достал ключ и отпер оружейный сейф. Там стояла пара неплохих охотничьих двустволок, винтовка-мелкашка и даже старинная бердана, заряжающаяся через дуло. Батманов вертел в руках один предмет за другим — со знанием вопроса, но без видимого интереса. Андреич задел прикладом ветошь, сложенную на дне, и на пол с грубым лязгом грохнулся табельный пистолет. Батманов хотел было сделать вид, что не заметил, но какое-то чувство сильнее его заставило наклониться и подобрать оружие под застывшим взглядом Терешонка. Обычный пэ-эм, явно не новый; хозяин пустился было в какие-то путанные объяснения, которых Данька попросту не слышал; эта самолично доведенная до ума штука привычно легла в ладонь, а номер... Номер впечатался в память с той четкостью, что ночью, в любой степени подпития, разбуди — назовешь.

— Откуда он у тебя? — ровно спросил Батманов.

Андреич снова начал рассказывать что-то про неприятный случай, и что надо было, конечно, сбросить этот стремный ствол, а он вовсе не при делах, просто мужика пожалел, хороший мужик, детей из детдома взял, церковь в поселке строит...

— Нет, ты не понял, — еще раз произнес гость. — Я спросил — откуда у тебя мой пистолет?

Данька привычно выщелкнул магазин, благо даже дурацкое колечко сохранилось.

— Патроны к нему у тебя наверняка тоже есть, — задумчиво сказал он.

Терешонок послушно залез в сейф, вытащил коробочку. Батманов взвесил на руке, положил в карман.

— Пойдем.

— Куда?

— К речке. Надо его, я думаю, утопить наконец.

Посмотрел на Вадима своими внимательными глазами.

— Слушай, лет десять тому назад... нет, больше... это был чистый ствол. Его списали просто. Но ты представляешь, сколько он гулял, пока попал к тебе, я даже не хочу знать уже, каким образом? У тебя семья, а его надо просто скинуть. Вместе со всею этой... — не договорил он.

Они спустились с чердака, незаметно от девчонок и Генриха вышли во второй внутренний дворик, мимо баньки, и там Андреич отворил калитку, ведущую на склон к реке. По дороге рассказывал, как пацан из непростой, но очень симпатичной семьи, сам приемный, притащил этот пестик в турпоход. Андреич ствол отобрал, нужно было, конечно, по закону кипиш поднять, но сам же понимаешь — бывший детдомовец, семья хорошая, и у кого грехов не бывает, а так вернут пацана в детдом просто, а батя еще и присядет.

— Он стрелять ни в кого не хотел, притащил похвастаться.

— Да понял я, понял.

Спустились к реке. Черная, или Сапойожи по-местному, напивавшись августовскими ливнями, стремительно неслась в сторону недалекого моря. Данька стоял на краю невысокого обрыва, глядя в улетающую тьму с бурунами на месте

ледниковых валунов, застрявших в русле. Казалось, ему было трудно оторвать взгляд от этого движения.

— А давай постреляем... напоследок? — нерешительно предложил Вадим. — На том берегу стопудняк никого нет, я иногда здесь по пням из мелкашки фигачу. Жаль просто так бросать...

Батманов молча протянул ему пэ-эм и коробку с патронами. Андреич некоторое время пыхтел, заправляя магазин, затем раздался характерный щелчок.

— Слушай, — внезапно сказал Терешонок. — А что ты насчет Алевины думаешь? Твои намерения?

Батманов приподнял голову, переводя взгляд. Вадим стоял чуть выше по склону, снял с предохранителя и передернул затвор. В темноте раздался глубокий и одновременно резкий, словно взрыв, смех гостя.

— Знаешь, в подобной ситуации я склонен согласиться на любое предложение.

Концами пальцев отвел ствол в сторону.

— Извини, — Вадим опустил оружие. — Ты пойми, когда мы с ней встретились, я ее заинтересовал, как сейчас понимаю, потому что Андреич по отчеству, истфак и на коне приехал. Она, чтоб ты знал, тебя по всем больницам нашего берега разыскивала.

Шум реки вышел на первый план, когда Данька — дай-ка — мягко вынул из ладони Терешонка свой пистолет. Рука нависла над течением, раздался один за другим выстрелы. Разрядив весь магазин в белеющий на противоположном берегу высокий березовый пенек, он быстро отер рукоять о футболку и швырнул оружие в Черную речку, что как никогда оправдала свое название. Повернулся и зашагал вверх по склону. Вадим последовал за ним. На полпути им встретились Генрих и Алька, всполошенные выстрелами в овраге.

— Вадь, вы там не охренели часом? — вопил Генрих, едва успевая вниз по тропке за длинноногой и легкой Алькой.

А Терешонок отметил только, как Батманов, встретившись с бывшей его невестой, коротко обнял ее за талию, направляя обратно и вверх.

— Набережная Фонтанки?

— Ага.

Хлопнула дверца машины, такси тронулось, они сидели рядом в полутьме, сильно пахло отдушкой «бабл-гам».

...Не, ну вы даете... поболтали про А-эС-Пушкина и отравились пострелять на Черную речку. Отличное завершение вечера. Мы там пересрались все.

— Да прекрати, все же нормально.

Она почувствовала, как он в темноте взял ее ладонь, слегка сжал пальцы. И не отпустил.

Слова Терешонка в овраге подсветили для него то, что он склонен был считать творческой шизой на травматическом опыте юности, с иной стороны, со стороны уж совершенно простой, ясной, человеческой. Она, просто... — и на этом месте внутри что-то вспыхивало и рвалось, будто из застывшей куколки в стадию имаго. Это простое объяснение могло показаться тривиальным и даже пугающим для другого мужчины, мы часто и небезосновательно опасаемся чрезмерности чувства женщины, но ты не все, как в свое время сказала Аля, и глубина и размах ее о нем истории, что казалась ему теперь большей, чем все, что он сам мог о себе надумать, что охватила его пятном света, словно чьим-то высоким и теплым взглядом, рождала в нем только горячее желание отклика и соответствия. Он мог бы еще поразмышлять о любящем сердце, которое прозревает в человеке божественный о нем замысел, но сейчас не хотелось мыслей, хотелось только быть с нею в этом движении и бесконечной благодарности за непрошенное и безусловно незаслуженное чудо.

— Дать... послушай, ты извини, конечно, но ты время от времени подаешь сигналы... несколько противоречи-

вые, — сказала она и мягко отобрала руку. В его упавшей ладони осталось соединенное, умноженное тепло.

У нее запиликало оповещение в планшете. Странно, — пробормотала она, — это стрим из гнезда пошел.

— На вашем канале? — он повернул к ней бледное в темноте лицо.

— Да, — шевельнулся ее особенно отчетливый от вина рот.

Она открыла видео, на мгновение ослепнув от яркого электронного портала, и сначала не поняла, что вообще происходит. В гостиной было все, буквально, вверх дном, Вася и несколько их случайных приятелей, которых было много в гнезде последнее время, стояли кто лицом к стене, а кто и лежал на полу с руками на затылке. И по гостиной разгуливали люди в форме.

— Похоже на римейк вашего маски-шоу, — не без ехидства, как показалось ей, прокомментировал Батманов. Алька молча пялилась в экран. Один из ребят неосторожно пошевелился, служивый в камуфляже тут же треснул его ребром ботинка по голени. Вскоре кто-то из ментов, видимо, захлопнул ноутбук с камерой; стрим прервался.

— Я должна ехать туда, — сказала Алевтина.

— На кой? — раздосадованно спросил он. — Чем ты там можешь? Хочешь, чтобы тебя тоже приняли?

— Это мои друзья, — она посмотрела на него решительно и зло.

— Ну поздравляю. Передачи им сможешь носить, — он пытался, но не мог справиться с раздражением не на нее даже, скорее на эти новые обстоятельства, что грозили поселить в нем сомнение и снова все запутать.

Она продолжала смотреть в темный экран.

— Да успокойся ты, ничего твоему Шадрину не будет... Ты же сама говорила, что там батя в силе.

— Они поругались на той неделе.

— А вот это неразумно.

— Подбрось меня до Морской, — попросила она. — Это минут десять крюк.

Он еле слышно выматерился.

— Аль, ты же понимаешь, что я не смогу тебя сейчас подстраховать?

— Не надо меня страховать. Просто не хочу терять время.

— Шеф, план меняется, — после недолгой паузы сказал он водителю, — сначала на Морскую набережную, дом..?

Она назвала адрес. Доехали молча. У парадной Алевтина выскочила, не попрощавшись, побежала к дверям мимо двух полицейских машин.

Таксист завелся, разворачиваясь; постойте! Данька толкнул дверь и тоже вывалился из машины; в сердцах хлопнул по крыше. Склонился к водительскому стеклу.

— Поставьте на ожидание, я вернусь скоро.

Бегом поднялся по ступенькам к лифтам; кабина уже ушла, он проследил счетчик этажей на экране и зашел в грузовой.

Когда доехал на этаж, на площадке уже стояли менты, держали Василия и еще одного мальчиша. Батманов вышел и посторонился, давая дорогу.

— В какой отдел задержанных повезешь?

— В РУВД повезем, что далеко ездить, — хохотнул высокий сержант.

Алька стояла чуть дальше, прислонившись к стене, бледная и очевидно напуганная.

— Девушка, что вы здесь застыли, — сказал ей один из бойцов. — Домой идите, поздно уже.

Батманов подошел к ней, взял за локоть. Отдушка больше не перебивала запахи, от него веяло дымом и порохом. Как когда-то. И как когда-то...

— За ними поедешь? Ну да, конечно... — достал телефон, ввел в поиск РУВД по району. — О, это через пару домов

всего лишь. Пешком дойдешь. Телефон адвоката дать? Кину эсэмэской тебе... Ладно, мне пора.

Сжал ее локоть, посмотрел коротко и пристально, — прошу, не наделай глупостей — затем развернулся и побежал вниз по лестнице, оба лифта были уже заняты полицейскими.

Она вышла вскоре после него, — в густую и еще теплую приморскую ночь, что пахла сладко тлеющей шотландской розой, распустившейся по хорошему лету во второй раз, — и увидела, как отъезжают одна за другой машины — сначала его такси, за ней две полицейские, легковушка и «газель»; они уходили из двора в разных направлениях, и Аля, не сознавая того, следила взглядом за той, что с шашечками и в сторону центра.

Василия выпустили на следующий день, в отличие от нескольких других ребят, которым не так повезло с родителями. Алька встретила его недалеко от управления, дозвонившись сразу, как он включил телефон. На Шадрине лица не было, этот домашний в общем-то мальчик в первый раз столкнулся с ситуацией, когда ты никто и звать тебя никак, до твоего комфорта и ощущений никому нет дела.

— У меня полчаса всего, зайдем за вещами и все.

— А что потом?

— Потом в нарколожку поеду. Это батя все устроил, гнида, ненавижу... Соседи давно жаловались, он прикрывал. Ну не хочешь — не прикрывай, приехал бы участковый, объяснились бы... Нет, он устроил веселуху по полной. Если из-за меня еще кто-то из этих придурков на тюрячку поедет... — Шадрин дернул кончиком носа, будто сейчас расплачется, но сдержался, только сплюнул на асфальт.

Они зашли в парадную, поднялись на этаж и застали там выкинутые на лестницу шмотки и запертую дверь с новыми замками. Какой-то парниша, либо Кот, либо Pidarok_v_Poloso4ku, копался в вещах, выискивая то ли свое, то ли наиболее ценное.

— Нет, вот это номер, час от часу не легче, — огорчился Василий и принялся кого-то набирать по телефону.

Алька смотрела на грудку вещей, сваленных на площадке, на Коте уже были Васины штаны, выкинутые, видимо, за компанию; они были ему сильно велики, парень подвернул их чуть не на треть длины. Ее сценические костюмы тоже валялись на полу, она пошевелила кучу, выбрала несколько любимых шмоток и перекинула их через плечо. Вскоре приехал охранник Шадрин-старшего с ключами, запустил их в гнездо и встал у двери комнаты, наблюдая за Васиными сборами.

— Там в туалете за окном ноут спрятал, — шепнул ей Шадрин, проходя мимо. — У тебя сумка удобная, достань и вынеси. Там весь наш Ворон.

Так она и сделала. У подъезда Василия уже ждала машина. Они порывисто обнялись, охранник открыл перед ним дверь, сел вперед, и бумер отъехал с торжественностью катафалка.

Вчера поздно ночью семья Смирновых вернулась из загородной резиденции, закрыв сезон, и сегодня с утра пораньше в семейном донжоне гудел пылесос: Марфуша наводила порядок в жилых комнатах. Благословенны бабушки, умеющие такое хитрое кун-фу; Вероника прямо диву давалась, ловко как в свое время Светлана Анатольевна убедила внучку, что пылесосить — это весело и интересно и, на самом деле, любая из них вот прямо сейчас радостно отберет у девочки эту домашнюю привилегию. С тех пор в их женском монастыре, ведь даже волнистый попугайчик Гоша оказался самочкой, почти как лейтенант Ворон, — проблема пыли была решена. А пока гудит пылесос, можно успеть принять ванну или накрасить ногти, или потрепаться по телефону с приятельницами. Но сегодня не до того. Светлана Анатольевна закрывает изнутри кухонную дверь, снимает красивый передник с оборочка-

ми, вешает его на крючок, наливает две кружки кофе, одну протягивает Веронике. Вероника подливает себе сливок и кладет два кусочка сахара, болтая в чашке ложечкой с веселым набалдашником-чебурашкой из полимерной глины. Алькина работа. Первый курс Академии. Все чайные ложки тогда обзавелись мультперсонажами. Светлана Анатольевна кидает кусочек сахара за щеку и делает глоток черного. Это значит, что на кухне собрался семейный совет.

— Меня тревожит наш лейтенант, — мама делает пробный бросок и замолкает, ожидая, видимо, что Вероника знает что-то, о чем ей неизвестно. Вероника грызет сахар вместо конфеты и жмет плечами.

— Звонила мне на днях, спрашивала, когда мы закрываем сезон в Лоцманском. Хочет там пожить некоторое время, — отрывисто продолжает Светлана Анатольевна. — А их канал на ютубе давно не обновлялся.

Мама нынче счастливая обладательница бэушного планшета, приобретенного с невероятной скидкой здесь, неподалеку, на легендарной Юноне, а соответственно, стремительно продвинутая — у нас теперь не только вконтакт и одноклассники в смартфоне, но и аккаунты на фейсбуке, в твиттере, и даже свой инстаграм. Первым делом, не без технической помощи Марфуши, подписалась на канал лейтенанта Ворона и посадила на него некоторых своих коллег. Вот они, чудеса материнской любви. Непонятно только, что тревожит ее больше — неявные пока перемены в жизни младшей дочери или отсутствие очередного стрима на единственном канале, на который она подписана.

— Наш Ворон такая талантливая девочка! Такие интересные передачи. И вот на тебе. Все бросить. Зарыть талант в землю. В очередной раз.

Вероника поморщилась.

— Мама, называй вещи своими именами. Ты боишься, что они поссорились с Васей.

— Конечно! — Светлана Анатольевна громко ставит кружку на стол и подается корпусом вперед, понижая голос, будто собирается поведать государственную тайну. — Мы хоть с Василием и не виделись лично ни разу, я ему писала. Мы общались. Он чудесный человек. Добрый, умный и чуткий. И очень любит нашего лейтенанта. Недавно он сказал мне, что их канал теперь хорошо зарабатывает на рекламе. А теперь вот уже несколько дней не отвечает.

Вероника поморщилась снова.

— Мам, Вася в клинике уже три дня, — грустно вздыхает Вероника, понимая, что сейчас она выболтает все, что знает.

— Это Алевтина его довела? — Оу, ну вот теперь Алевтина. Куда только подевался наш лейтенант Ворон? Почему, как только кто-то из нас косячит, так сразу Алевтина, Вероника, а вот лейтенанту Ворону вся любовь и уважение. Заделаться, что ли, генералом Цаплей?

— У нее другой мужчина? Очередной неудачник? Без машины, работы и активной жизненной позиции? — Веронике страшно даже было представить, как может выглядеть в версии мамы активная жизненная позиция.

— Женатый, опять?! — голос Светланы Анатольевны с каждым вопросом поднимался все выше.

— Не Алевтина, а тонна кокаина Васю твоего любимого довела. Прости мне невольную рифму, — грубовато оборвала ее Вероника.

Светлана Анатольевна резко замолчала и как-то осела на стуле, сгорбившись. Лицо стало растерянным, как у ребенка, которому сказали, что деда Мороза не существует. Веронике даже стало жалко ее, как бывало жалко Марфу, когда та узнавала, что динозавры, например, вымерли, или еще какие-то сведения, которые делают нас старше и черствее.

Она потянулась через стол, взять маму за руку. Но та, не дождавшись, всплеснула крупными смирновскими кистями:

— Ты такая злая, потому что завидуешь!

Ой, всё! — подумала Вероника, слыша, что пылесос в гостиной затих.

Одновременно открылась дверь. Лейтенант Ворон приехал за ключами от дома в Лоцманском.

Приморская осень зависла между условным теплом и окончательным холодом; днем солнце еще пригревало, но вечерами и утром трава уже похрустывала под шагами. Это совершенно резонировало с ее состоянием какой-то беспечной растерянности; Вася находился в клинике, встречи им не разрешали. Канал еще приносил кое-какие деньги, время от времени она выводила понемногу с электронного кошелька на карту и ходила за продуктами в местный лабаз, подумывала, не купить ли на зиму дров — их запас был явно недостаточен, а возвращаться в город под крылышко к маме и Веронике ей совершенно не улыбалось. Было ясно, что канал рано или поздно сдохнет без обновлений, снова входить в образ Ворона уже не было ни сил, ни желания, да и без Васи она бы, скорее всего, не справилась с производством. Что делать дальше со своей жизнью, она представляла смутно, но, в конце концов, всегда можно устроиться кассиром в «Дикси» и ходить на работу за пять минут от дома. Батманов пару дней спустя после разорения гнезда написал вопросительную эсэмэску — все ли, мол, в порядке, удовлетворился ответом — более-менее, и пропал с радаров. Навязываться ему в своей неопределенной ситуации она не хотела, он наверняка почувствовал бы потребность принять в ней участие, а у человека и своих проблем навалом.

Прошло, наверное, недели две или три, а может, и все четыре — в Лоцманском у нее установились странные отношения со временем, — когда поздно вечером раздался звонок, на экране высветилось — ДАн, как она на автомате записала

его когда-то; с некоторым трепетом приняла вызов. Голос был будто простуженный.

— Аля?

— Да-да. Привет.

— Моя... Екатерина Игоревна умерла.

Признаться, она поняла это с первых секунд, но теперь запуталась в словах, обозначающих чувства.

— Ой... оч... очень сочувствую. Как ты? Хочешь, я приеду? — сказала и сообразила, что задача трудновыполнима — последняя электричка ушла с час назад, на такси у нее не было кэша.

— Не надо, я в порядке. Завтра много дел, надо уснуть... наглотался таблеток уже, скоро срубит, наверное. Похороны в пятницу.

— Я буду.

— В Пантелеймоне в двенадцать отпевание, потом кладбище.

— Держись...

— Спасибо. Ну, пока.

Обряд был сдержан и малолюден, мелко крестились две старушки-соседки, печально стоял маленький старичок, тихо хныкала расчувствовавшаяся Анна Егоровна; строгий батюшка прочел подорожную молитву; и даруй Царствие Небесное и сотвори ей вечную память и вечный поко-ой. Батманов стоял с лицом собранным и каким-то просветленным, лишь временами на нем появлялось выражение детской растерянности, тогда яркая моложавая дама в шляпке под вуалью стискивала его руку и что-то ему шептала, чем вызывала неудовольствие молящихся. Алевтина поняла, что это его мать, и немного удивилась ее присутствию — Даниил как-то обмолвился, что она не очень ладила со свекровью. Прощаясь, он положил руки на бортики гроба, будто в последнем объятии.

На кладбище долго шли по дорожке за тележкой с гробом, которую катили могильщики — катафалк не мог проехать в ту старую часть кладбища, где бабушка еще при жизни застолбила себе место рядом со своими мужчинами, мужем и сыном. Аля долго всматривалась в портреты на этих могилах, два молодых лица. Батманов подошел к ней, остановился рядом и чуть сзади, кивнул на старичка — представь, это бабушкин последний поклонник... Они давно не общались, но вот, пришел. А как он узнал, что она умерла? Ты никогда не поймешь этого их кун-фу, — покачал он головой с грустной усмешкой, — но старички всегда узнают. Возможно, у них грибница... или тайное общество.

— Здравствуйте, — раздался рядом мелодичный женский голос. — Кажется, мы не знакомы. Даня, представь нас.

— Мама, позже, — поморщился Батманов. Мать внимательно смотрела на эту незнакомую высокую девушку с короткой и смелой стрижкой. Вы тоже сиделка? Могильщики закончили подравнивать стенки, взяли гроб на ремни; медленно качаясь, он уплывал вниз, и вопрос матери вместе с ним повис в воздухе. Батманов следил за движением, задержав дыхание, и лишь когда домовина шлепнулась о глинистый пласт, кончик его носа слегка дернулся, выдавая не эмоции даже, скорее физиологию. Выдохнув, он почему-то посмотрел вверх.

День был яркий и ветреный; раньше, чем кто-то успел кинуть землю, на гроб просыпались золотые листья, сорванные с ближайших деревьев. Над свежим холмиком глотнули водки из пластиковых стаканчиков, Данька поправил цветы и поставил Екатерине Игоревне граненый стакан с ломтиком хлеба, — пластиковый надо, этот сопрут, — возразила Анна Егоровна, он только отмахнулся; мать прослезилась, затем Батманов отдал початую бутылку могильщикам, и все пошли к машине.

Алька уже и сама не рада была, что взялась помочь; пока она перекладывала оставшуюся еду из сервизных салатниц в пластиковые миски и убирала в холодильник, пока складывала посуду в раковину и мыла ее, пока убирала в сушилку в правильном, — припоминая, как делал при ней хозяин, — порядке, она постоянно слышала из столовой мелодичный голос Любови Григорьевны с приобретенным за годы вдали от родины, а может, и базовым мяукающим акцентом, и чаще всего этот голос произносил слово «жена». Ради такого случая Любача, как она за поминальным столом попросила ее называть, даже изменила американской привычке говорить о невестке запросто и по имени, а в ее тоне наряду с интонациями печального увещания все чаще слышались визгливые оттенки южнорусского скандала. Данькины реплики время от времени пытались перекрыть излияния матери холодноватой плотиной и басовито брякались в этот поток, словно булыжники, не в силах помешать его движению и сразу опускаясь на дно. Из понятной неловкости он старался говорить вполголоса. Эта неловкость передавалась ей и жгла с каждой минутой даже больше, чем собственные мысли о возможных толкованиях ситуации такой милой, такой внезапно похожей на сына живенькой пожилой американкой.

— ...а квартиру следует продать.

— ...с чего ты взяла...

Все, хватит. Алька поставила последнюю тарелку в сушилку, вытерла руки, сняла фартук и надела пальто — одно из своих сценических, коротких и черных. Несколько быстрых шагов по коридору.

— Я закончила и уйду. Еще раз мои соболезнования, — не стараясь подбирать слова, сообщила она. Мать и сын сидели за знакомым круглым столом, Любача спиной к окну, там, где обычно Екатерина Игоревна, Даниил Андреевич —

напротив и как-то боком, будто каждую минуту готовился сбежать, но почему-то откладывал.

Она повернулась и пошла к выходу, не дожидаясь его реакции. Шаги слышались за спиной — даже прихрамывая, он двигался с какой-то особенной стремительностью.

— Аля, минуту, — громко сказал он. — Я хотел бы принести извинения за Любовь Григорьевну, она говорила, не имея достаточного представления... Я очень тебе признателен.

Уже в конце первой фразы она почувствовала, как его собранность дает трещину — голос слегка поплыл, взгляд начал уходить в сторону. С трудом договорив, он замотал головой и резко втянул носом воздух.

Стыд и возмущение за то, как ее намерения неверно (или как раз слишком правильно?) поняли, окончательно вытеснило ощущение уже не романтического, но бабье-го к нему сочувствия — к мужику, что только похоронил близкую женщину, посвятив ей без малого два года жизни, и на него тут же налетает несколько фурий с указаниями, как ему распорядиться оставшимися. Качнувшись к нему, она некрепко обняла с намерением тут же отстраниться, но Данька удержал ее, прижав ладонью голову к своей. Она почувствовала, как дергается изнутри его грудь, и услышала звуки, будто выкипает чайник. Это продолжалось не больше минуты, но в это время она заметила из-за его плеча, как в коридоре, ведущем из столовой на кухню, проплыл силуэт Любви Григорьевны. Мать показалась лишь на пару мгновений.

После нескольких резких вдохов Батманов мягко высвободился, шагнул к раковине и повернул кран. Склонившись над хлещущей водой, он несколько раз плеснул себе в лицо полной горстью и застыл, упираясь в края ладонями. Побелевшие на его небольших изящных руках искусственные ногти вместе с антрацитовыми лацканами похоронно-

го пиджака производили пугающее впечатление — будто закопали кого-то не того, а настоящий покойник: подкрашенный, напوماженный, при полном параде, разгуливает среди живых.

Но тут он мотнул головой, с гладких завитков волос и бороды полетели в ее сторону крупные капли — будто собака отряхнулась, и жуткое наваждение рассеялось.

— Спасибо тебе. Я позвоню, — сказал он.

Алька коротко сжала его плечо, он кивнул еще раз, и она вышла.

С электрички дорога была через лес. Между городком Лебяжье, колебавшимся от курортного до военного (именно отсюда уходила ветка на старые береговые форты), и предыдущим поселком Большая Ижора, находилась платформа Чайка. Полустанок среди высокого холодного леса, где по первому снегу земля была, как пегая лошадь — резкие пятна белизны на рыжей от павших иголок подстилке. Он шел сквозь заиндевшие просветы, где звуки отдаются далеко, и у первого пепелища его встретила большая остроносая псина. По левую руку был сторевший дом; сосны около тоже оплавилась, одна сломалась, как изведенная спичка, торчала угольным острием в небо. Собака улыбнулась и завертела пушистым хвостом; от зеленого колодца вывернула хозяйка.

— Земля у берега дорожает, — сказала Аллька. — Дома горят, как свечки.

Едва заметно кивнув, он пошел на полшага за ней и собакой. Пересекли пустое шоссе; мимо церкви потянулись по прибрежной улице. Дома здесь стояли совсем впритык к морю; волны бились под окнами.

— Не заливают? — бросил он.

— Нет, — сказала Аллька. — Вернее, редко. Не каждый год.

В холодной комнате одна на другую громоздились тыквы и пузатые поздние кабачки; как головы. Алька запустила собаку, насыпала ей корм и пошла внутрь — подкинуть дров в высокую голландскую печь. Данька потоптался в сенях и вышел; пес, не доев, вымелся следом за ним. Не голоден? Собака посмотрела на него, вильнула хвостом и отправилась инспектировать соседний участок.

Холодная сердцевина октября, за домом со стороны маленькой застекленной веранды — низкий берег залива, уступ в пару метров и узкая полоса пляжа. Когда-то здесь жили лоцмана, но и сейчас корабли тянутся вдоль линии горизонта, ждут очереди в порт, ловят последние деньки навигации, и нет-нет да проскочит шустрая моторка с баржи или сухогруза — к устью старого, полузаросшего-полузасыпанного канала, по краям обсиженного лодками и яликами густо, на манер грибов-опят. Поселок по-прежнему живет морем. Над заливом куполом висит ситцево-голубое небо, но от берега напирают сизые тучи, и вода бугрится влажно, как фотобумага, с которой проблесками сползает цветная эмульсия: там волна еще голубая, и солнце горит на ней, а следующая уже скучна и монохромна, глухого оттенка свинца.

Алька подогрела вино и вынесла его на улицу. Батманов сидел на скамейке лицом в панораму, опустив плечи и хищно вскинув голову. Она помнила этого человека и в то же время не узнавала его; недавно поймала себя на мысли, что боится при случайной встрече не поздороваться с ним на улице. После похорон она ходила по городу и вглядывалась в лица; иногда в электричке или в метро, натолкнувшись взглядом на хоть чем-то похожего человека, смотрела долго и пристально — он? Будто боялась не вспомнить, обидеть, чувствовала, как тихо сходит с ума, ожидая встречи, и уже не особенно надеялась на нее — ну и что, что сказал позвонит, может, весь

этот год с прошлого декабря попросту привиделся лейтенанту Ворону в очередном трипе.

Бороду сбрил — почему-то только сейчас отметила; и показалось, что это привет специально для нее, ведь только и именно ей этот посуровевший бледный мужчина покажется моложе с немодной голой мордой. Сейчас сидит, окаменев ниже плеч, глаза прищурены, и только ноздри подрагивают. Поежился, неуверенно улыбнулся. Красиво здесь. Выпили вина. Поднимался ветер, сдвигая тучи по-над лесом; море побежало мелкой сердитой волной. Вспыхнуло солнце, и тростник на мелководье загорелся, стал ржаво-золотисто-рыж; в зарослях бродил отставший дикий гусак. Он глубоко и мелодично, снизу наверх, плакал. Батманов зажмурился, как ужаленный этим внезапным светом, звуком, памятью; облокотился о разошедший столик и положил голову на руки. На башку посыпались стронувшиеся от ветра вишневые листья. На флагштоке соседского лодочного сарая захлопала парусина. Н-не могу, — промычал, грубым грудным голосом, в рукав брезентовой куртки. Алька в восторженном ужасе узнавания, — наконец-то! — зачарованно следила игру бликов на его волосах, коротких и ярко-черных. Склоненная фигура вращалась в пейзаж. Больно, — сказал Данька уже спокойнее и поднял голову, — вырваться тяжело, а обратно — совсем никак. Сопротивляешься весь, а тебя как в колючий песок голого укапывают и говорят — живи. Здесь, тут, немедленно. Чистое небо распахивалось над горизонтом все шире, но над близким морем непогода нарастала, и Алька разглядела, что и его глаза под стеклами легких очков не темно-серые вовсе, а сизо-синие, тревожные — как взъерошенное предштормовое море.

Fine

САД ЗАПЕРТЫЙ

Курчатова и Венглинская

*Санкт-Петербург — Петергоф — Большая Ижора — Псков
2006; ноябрь 2016 — декабрь 2017*

Авторы благодарят своих издателей, а также близких, друзей и коллег, не отказавших нам в поддержке во время работы над этой книгой.